Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[illegible] И. Д.
[illegible]
[illegible] М. Н.
[illegible] М. Н.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЖОРЖ САНД

МОПРА

●

ОРАС

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1974

Вступительная статья
И. Лилеевой

И (Фр)
С 18

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

Иллюстрации
Е. Ракузина

© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

С $\frac{0734\text{-}126}{028(01)\text{-}74}$ Подп. изд.

ДВА РОМАНА ЖОРЖ САНД

Короткое и звучное имя Жорж Санд появилось впервые на обложке романа «Индиана», вышедшего в Париже в 1832 году. Тогда мало кто знал, что Жорж Санд — псевдоним Авроры Дюдеван, молодой женщины, всего год тому назад приехавшей в Париж после разрыва с мужем и выполнявшей скромную литературную работу в газете «Фигаро». С момента выхода в свет «Индианы» Аврора Дюдеван стала известной писательницей Жорж Санд, которую позднее Н. Г. Чернышевский назовет «первой славой французской литературы».

На протяжении многих десятилетий творчество Жорж Санд было в центре общественной и литературной жизни Франции. Почти в каждом своем романе она затрагивала острые проблемы современности, требовала от общества ответа на поставленные ею актуальные вопросы, у нее была счастливая писательская судьба — Жорж Санд никогда не знала равнодушия читателей, никогда не могла пожаловаться на невнимание критики. Мало кто из писателей XIX века вызывал такие ожесточенные споры: ею либо восторгались, либо полностью ее отвергали; «она познала,— говорил Виктор Гюго,— что у восхищения есть оборотная сторона — ненависть, у восторга своя изнанка — оскорбление». Одни — и это были лучшие люди ее времени — видели в Жорж Санд страстную искательницу социальной правды, ценили ее книги за искреннюю любовь к человеку; другие, а их было немало, считали ее опасной разрушительницей общественных устоев, проповедницей «сатанинских» идей, матерью всех пороков; они с нескрываемой ненавистью поносили ее книги, оскорбляли ее личность; вокруг имени Жорж Санд еще при жизни возникало немало всевозможных, иногда самых невероятных россказней, она была постоянной мишенью карикатуристов, а жизнь ее — темой многочисленных фельетонов и сатирических заметок.

Жорж Санд действительно была женщиной необыкновенной для своего времени, она намного опередила свой век. Ревнители старых порядков и обычаев не могли простить ей дерзкого желания быть независимой, отказа подчиниться власти и капризам неумного, ограниченного мужа, барона Дюдевана, с нескрываемым презрением относившегося к литературной деятельности жены. Все в Жорж Санд раздражало обывателя: и эта ее смелость, и то, что она из озорного желания «эпатировать» буржуа курила сигары, нередко появлялась в более удобной мужской одежде, что она открыто утверждала свое право самой выбирать себе спутника жизни. Ей не могли простить, что она променяла спокойное существование хозяйки поместья Ноан на беспокойную профессию писателя, а имя баронессы Дюдеван — на мужской псевдоним, что в своих книгах она не только рассказывала о сентиментальных переживаниях своих героинь, но осмеливалась поднимать серьезные социальные проблемы.

В начале XIX века женщина, принадлежавшая даже к привилегированным кругам, как правило, не была самостоятельной. Ее общественное положение определялось прежде всего тем, что она была чьей-то дочерью, женой, вдовой, наконец, содержанкой, но не ее личными, интеллектуальными и нравственными достоинствами, не ее социальной деятельностью. Жорж Санд не испугалась ни материальных трудностей, ни клеветы, ни злорадного осуждения современников. Она — первая женщина-писательница во Франции, которая стала жить своим литературным трудом, когда и авторского права еще, по сути дела, не существовало. Она сумела доказать, что женщина может быть независимой и играть значительную роль в общественной, культурной и в политической жизни.

Время безжалостно, но справедливо. В наши дни только историки литературы вспоминают имена врагов и хулителей Жорж Санд. В центре городка Ла-Шатр, в провинции Берри во Франции, некогда столь возмущавшегося образом жизни своей современницы, стоит теперь статуя писательницы, творчеством которой гордится французская культура.

Теперь нам во многом смешон ужас обывателей XIX века перед Жорж Санд, мы вполне можем забыть ее личные слабости, жизненные крайности и ошибки. Нас прежде всего интересуют ее книги, выражающие чаяния, иллюзии, заблуждения и сомнения людей ее времени, а это свойственно лишь настоящим художникам.

Формирование Жорж Санд как писательницы происходило в атмосфере едва закончившейся Июльской революции 1830 года, уничтожившей реакционный режим Реставрации, свергнувшей королевскую династию Бурбонов. Когда Аврора Дюдеван (1804—1876) в январе 1831 года приехала в Париж, город жил еще отзвуками трех славных дней Июля. И хотя буржуазия уверяла, что посаженный ею на трон король Луи-Филипп Орлеанский — это «лучшая из республик», такое мнение отнюдь не разделялось демократическими кругами Франции. Революционные дни Июля разбудили народную ненависть к монархии, к старому дворянству, к католической

церкви; в годы существования Июльской монархии (1830—1848) росли и крепли силы республиканской оппозиции. Жорж Санд стала свидетельницей февральских событий 1831 года, когда восставший народ разгромил церковь Сен-Жермен и дворец парижского архиепископа; она наблюдала сентябрьские волнения 1831 года, вспыхнувшие в Париже в связи с отказом Луи-Филиппа помочь польским повстанцам; ноябрь 1831 года потряс Францию восстанием ткачей Лиона, которые выступили под лозунгом: «Жить — работая, или умереть — сражаясь!»

Общественный подъем начала 30-х годов не мог не отразиться на литературной жизни страны. Уже во всю силу прозвучал в драме «Эрнани» (1830) и в романе «Собор Парижской богоматери» (1831) вдохновенный голос Виктора Гюго, исполненный ненависти к угнетению и восхищения бунтующей человеческой личностью. Одерживали первые успехи социальные романы Стендаля и Бальзака. Литература поворачивалась лицом к современности. Книги Жорж Санд «Индиана» (1832) и последовавшие затем «Валентина» (1832), «Лелия» (1833), «Жак» (1834) вышли в разгар романтизма, поставили ее в ряды передовых писателей ее времени. Наиболее близка она оказалась демократическим романтикам.

История «Индианы» — рассказ о борьбе женщины против писаных и неписаных законов буржуазного брака — имела большое общественное значение. Речь шла не только о свободе чувства для женщины, оскорбляемой мужем, жестоко обманутой возлюбленным, но о независимости и достоинстве личности вообще; так называемый «женский вопрос» перерастал у Жорж Санд в проблему свободы человека. «Единственное чувство, руководившее мною, было ясно осознанное, пламенное отвращение к грубому животному рабству... это протест против тирании вообще...» — утверждала сама писательница. Но в те годы она понимала свободу только как свободу личную. Героини ранних романов — Индиана, Валентина, Лелия — в своих тщетных поисках истины еще не выходили из круга личных чувств и переживаний. Ничего не ожидая от людей, они погружались в круговорот неистовых страстей, напрасно искали спасения вдали от общества, на лоне природы.

Как и многие ее современники, Жорж Санд в ту пору зачитывалась Байроном. И «байронический герой» — одинокий бунтарь, непонятый людьми, бросающий вызов несправедливому обществу и заранее обреченный на поражение в этом неравном поединке,— сохранял для нее все свое обаяние. Французская литература периода романтизма на все лады варьировала образ байронического героя, то наполняя его взрывчатым социальным содержанием (как в романтических драмах 30-х годов Виктора Гюго), то придавая ему оттенок безнадежной скорби и разочарованности (как в романе А. де Мюссе «Исповедь сына века», 1831).

Роман «Лелия» в его первом варианте явился наиболее полным и глубоким выражением исканий и противоречий Жорж Санд в начале 30-х годов. «Лелия» — своего рода «исповедь дочери века», исповедь женщины,

мучительно задумывающейся над жизнью, с тревогой и болью вглядывающейся в окружающий мир, с которым она не может примириться, но вместе с тем не знает, как преодолеть его. Лелия — яркий романтический образ, необыкновенная, таинственная и загадочная женщина, несущая в себе нечто роковое и демоническое. Она погружена в размышления о жизни и людях, ее сжигает дух сомнения, скептицизма и безверия. Она все превратила в «проклятые вопросы»: любовь, судьба и положение женщины, цель человеческой жизни, вопросы религии, ограниченность человеческого познания — все ее мучает и терзает. Проклиная мир, Лелия замыкается в гордом, одиноком отчаянии. Источник его — понимание фальши цивилизации, построенной на социальной несправедливости, понимание тщетности своего одинокого бунта. Роман «Лелия» 1833 года звучал трагическим апофеозом романтического бунтарского индивидуализма.

Однако Жорж Санд была слишком живым, активным человеком, ее слишком глубоко волновали вопросы общественной жизни, чтобы она могла долго оставаться со своими героями вне большого мира, где люди живут и борются, работают и мечтают, страдают и радуются. Ведь даже в начале 30-х годов, делясь замыслом «Лелии», Жорж Санд писала своему другу Ф. Роллина: «Есть страдание, которое переносится труднее, чем все страдания, поражающие нас лично... Это общие несчастья, страдания всего человечества». Начиная с середины 30-х годов внимание писательницы привлекает все передовое в общественной жизни ее страны.

Революционная мысль во Франции тех лет развивалась под сильным влиянием идей утопического социализма. Учение Сен-Симона, мечты Фурье об идеальных коммунах — фаланстерах, горячая убежденность социалистов-утопистов в необходимости общественных преобразований, их резкая и глубокая критика несправедливости капиталистического мира, равно как и их наивная вера в возможность достижения социализма путем мирной проповеди нравственного прогресса, находили самое широкое распространение. Страстная искательница социальной правды, Жорж Санд увлекалась различными социальными учениями своего времени. Она часто ошибалась и путалась в поисках пути к лучшему будущему; ее поэтическая восторженность влекла ее то к иллюзиям сенсимонистов, то к проповедям «христианского социализма», то к идеям левых республиканцев, но она всегда была искренна в своем стремлении помочь освобождению человечества.

В 1835 году Жорж Санд познакомилась с философскими трудами Пьера Леру, оказавшими на нее сильное влияние. Во взглядах этого мыслителя соединялись идеи утопического социализма и христианского мистицизма. Жорж Санд особенно увлекло учение Леру о всеобщем братстве и о непрерывном моральном прогрессе как смысле истории. Она здесь черпала уверенность в том, что победа социальной справедливости неизбежна и что путь ко всеобщему счастью лежит через нравственное самосовершенствование отдельного человека и всего человечества.

Творчество писательницы в конце 30-х годов приобретает новое звучание. Она создает произведения, содержание которых выходит далеко за пределы романтического бунта одиноких героинь ее первых романов. Книги Жорж Санд теперь тесно связаны с важнейшими вопросами общественно-политической жизни. Если в ранних романах крайний индивидуализм романтических бунтарей изображался с живым сочувствием, то теперь Жорж Санд приходит к утверждению, что человек должен жить не один и для себя, а с людьми и для людей. Герои ее новых книг увлечены идеями социальных реформ. Отказ от романтического индивидуализма, осуждение его знаменовали важную веху в творчестве писательницы и отчетливо прозвучали в романе «Мопра́».

* * *

Этот роман, законченный в 1837 году, по форме — исторический; он переносит читателя в последние десятилетия XVIII века. С первых же страниц читатель оказывается в атмосфере традиционного уже в ту пору романтического «средневековья»: тут и угрюмый феодальный замок, и таинственная полуразрушенная башня, и демонические злодеи, преследующие идеальную красавицу, и колдунья-цыганка, и долгий любовный искус героя, и таинственные ночные пейзажи. И на этом фоне даны некоторые черты реальной жизни предреволюционной Франции.

Жорж Санд не раз замечает, что ее интересуют только события жизни героев, а не история сама по себе. Однако судьбы персонажей, развитие их характеров, их взаимоотношения оказываются тесно связанными с исторической действительностью: с революцией 1789 года во Франции, с идеями просвещения, с американской войной за независимость, а история XVIII века переплетается с важнейшими политическими проблемами XIX века — эпохи, когда жила сама писательница.

Начиная с «Мопра» историческая тема занимает в творчестве Жорж Санд значительное место, и это было вполне в традиции литературы ее времени. После Великой французской революции естественно было стремление понять ход истории и в первую очередь осмыслить только что пережитую грандиозную историческую ломку. Опыт революции убедительно показал, что движущей силой истории являются отнюдь не исключительно монархи и полководцы, выдающиеся личности, как это изображалось в литературе прошлого, а прежде всего народные массы. Стало ясно, что судьбы отдельных людей неразрывно связаны с историческими событиями их эпохи, с судьбою их народа, их страны. «Отец исторического романа»,— как назвал его Белинский,— Вальтер Скотт, чьи книги стали известны во Франции с 1816 года, открыл писателям французского романтизма новый подход к изображению человека как части народа, как детища общества своего времени. Но главное, что привлекало французских романтиков в историческом жанре, была возможность по-своему раскрыть философию истории,

истолковать нравственный смысл исторических процессов. Один из органов французского романтизма, журнал «Глоб» («Le Globe»), писал в 1828 году, что задача исторического романа «не в том, чтобы точно передать внешние детали события, но в том, чтобы раскрыть тайну непонятных происшествий, а в том, чтобы осветить нравственную сторону истории». В том же духе трактовали исторический процесс и многие ученые историки, выступившие во Франции в период Реставрации, в 20-е годы XIX века. Писателям же демократического романтизма — Виктору Гюго, Жорж Санд — исторический жанр давал возможность показать историю человечества как неуклонный нравственный прогресс, которому суждено преодолеть все силы реакции и привести человечество к светлому будущему.

Понятен поэтому интерес Жорж Санд к XVIII веку, которому она посвятила романы «Мопра», «Кадис», «Нанон», «Консуэло». Революцию конца XVIII века она понимает в духе историков своего времени — как закономерное явление, как нравственное возмездие высшим сословиям феодального общества за их многовековые преступления против народа. Мрачный замок Рош-Мопра возвышается в романе над всей округой зловещим символом феодального произвола и насилия. С острой неприязнью изображено в книге старое дворянство, «порода мелких феодальных тиранов, которые в течение стольких веков наводняли и разоряли Францию». Начиная с «Мопра» антифеодальная тема не раз будет возникать в творчестве Жорж Санд и особенно отчетливо и полно прозвучит в романе «Консуэло» (1847).

Конец XVIII века во Франции был временем расцвета просветительской мысли. В самых отдаленных уголках страны звучал язвительный смех Вольтера, были слышны страстные обличения Руссо. Жорж Санд, воспитанная на книгах просветителей, с большой симпатией рассказывает в романе «Мопра» о просвещенных обитателях замка Сент-Севэр, где по вечерам увлекаются чтением Монтескье, Руссо и Кондильяка.

В центре романа история жизни Бернара Мопра, становления его личности. Вначале юноша Бернар, выросший в разбойничьем логове Рош-Мопра, среди людей, не признающих никаких обязанностей перед обществом,— грубый, невежественный и дикий человек. В жизни он руководствуется только эгоизмом, знает лишь один закон — право сильного и совершенно чужд любви к людям. В этом образе чувствуется полемика Жорж Санд с руссоистской концепцией «естественного человека». Отрицая цивилизацию, построенную на социальной несправедливости, Руссо утверждал, что человек обладает врожденным нравственным чувством, которое не развивается, а лишь извращается обществом, и с недоверием относился к культуре. Жорж Санд на примере Бернара Мопра утверждает благотворное влияние культуры на личность, показывает, что человек не может жить один, без людей. С другой стороны, молодой Мопра кое в чем сродни образам романтических отщепенцев — разбойников, отшельников, попиравших в порыве бунтарского индивидуализма законы человеческого общежития, какие нередко встречались на страницах литературных произведений на-

чала XIX века. Но он не вызывает восхищения Жорж Санд. Писательница как бы пересматривает свое отношение к своим собственным ранним персонажам, она теперь лишает индивидуализм героического ореола, осуждает Бернара Мопра за эгоизм и презрение к людям. Он обретает человеческое достоинство, лишь научившись любить и уважать людей, служить интересам других. Любовь и просвещение — вот те силы, которые, по мысли Жорж Санд, способны изменить человека, сделать его лучше, а следовательно, в конечном счете, преобразовать все общество. Бернар Мопра, общаясь с умной, образованной Эдме и просвещенным аббатом, постепенно превращается из дикаря и разбойника в человека благородных чувств и помыслов. Не животная эгоистическая страсть, а глубокое чувство, пробуждающее в человеке все самое лучшее, способное выдержать любые испытания,— такова любовь, соединяющая в конце романа Бернара и Эдме.

Белинский отозвался восторженной рецензией на русский перевод «Мопра», вышедший в 1841 году. Он писал, что Жорж Санд заставляет героя «...любить благоговейно и беззаветно, всего ожидать от любви, а не от прав своих и свято уважать личную свободу любимой женщины. Прекрасная мысль эта развита в высшей степени поэтическим образом». В предшествующих своих книгах Жорж Санд оспаривала незыблемость буржуазного брака, видя в нем освященное законом насилие над свободой женщины. В романе «Мопра» она утверждает возможность счастливого свободного союза двух людей, связанных истинной любовью.

Гуманизм, вера в людей пронизывают все творчество Жорж Санд. «И какая человечность дышит в каждой строке, в каждом слове этой гениальной женщины... она находит человека во всех сословиях, во всех слоях общества, любит его, сострадает ему, гордится им и плачет о нем»,— говорит Белинский в упомянутой выше рецензии.

В идейном замысле романа «Мопра» большую роль играет образ крестьянина Пасьянса. Это — народный мудрец, постоянное общение с природой сформировало его созерцательную, поэтическую натуру. Жорж Санд наделяет Пасьянса подлинной человечностью, душевным благородством, чувством справедливости, собственного достоинства. Это он, простой крестьянин, дает Бернару Мопра первый урок уважения к людям, независимо от их положения в обществе, становится опорой в мучительном процессе нравственного развития героя. Но при этом Пасьянс развивается и сам. Жорж Санд отнюдь не любуется «девственной», не тронутой цивилизацией личностью крестьянина. С помощью Эдме Пасьянс приобщается к культуре, знакомится с философией Руссо, с поэзией Гомера, Тассо. Книги раскрывают перед ним новый мир мыслей и чувств, обогащают его духовно. Пасьянс, конечно, не похож на реального французского крестьянина XVIII века, так же как столяр Пьер Гюгенен из романа «Странствующий подмастерье» имеет мало общего с французским рабочим середины XIX века. Это были дорогие для писательницы, но в большой степени условные и абстрактные образы. Для Жорж Санд, так же как для ее великого современника Виктора

Гюго, «народ» — понятие скорее нравственное, нежели социальное, средоточие их представлений о добре и душевном величии. Поэтому герой из народа у Жорж Санд — это прежде всего человек, не причастный к миру корысти, зла и насилия. Жорж Санд творила по законам своей романтической эстетики, и ее мало беспокоил вопрос о внешнем правдоподобии народных героев ее романов. Они — воплощение ее нравственного идеала и представляют собою образы-символы. Одним из таких идеализированных героев и является Пасьянс. Жорж Санд делает его суровым судьей феодального мира, вкладывает в его уста пророческие слова о неизбежности народной революции: «Довольно бедняк терпел! Восстанет он на богача, и разрушит замки его, и поделит земли его». Но, признавая и оправдывая революцию в прошлом и сочувствуя прогрессивным движениям своего времени, Жорж Санд, обращаясь к настоящему, не может отказаться от утопической мечты о переустройстве на справедливых началах общества путем совместных действий лучших представителей народа и высших классов. Поэтому в ее книгах часто изображаются просвещенные дворяне, социальные реформаторы, отказавшиеся от сословных предрассудков, несущие народу свои знания, способности и богатство. Именно так поступает в романе «Мопра» Эдме, которая вместе с Пасьянсом преобразует жизнь крестьян всей близлежащей округи. Образы «кающихся» дворян, стремящихся искупить перед народом преступления своего класса, будут встречаться и в последующих романах Жорж Санд (Альберт Рудольштат в «Консуэло», граф Шатобрен — в романе «Грех господина Антуана» и др.).

Дальнейшее философское переосмысление проблемы индивидуализма нашло выражение во втором варианте романа «Лелия» (1839). Жорж Санд не просто переделывает это произведение, но, по сути дела, пишет другую книгу. «Вычеркнуть из своей жизни всю тщеславную суету... плакать о нищете бедных и видеть успокоение в падении богатых» — так определяла она сама новую идею романа.

Развенчанию индивидуализма посвящен и роман «Орас» (1841). Жорж Санд связывает теперь индивидуализм с самой сущностью буржуазного общества. Она развивает и углубляет мысль, высказанную ею еще в 30-х годах XIX века в предисловии к книге Сенанкура «Оберман», о том, что в ее время из жизни исчезли нравственные идеалы, что всеобщая погоня за богатством разжигает непомерный эгоизм и честолюбие, что «личный интерес» становится движущей пружиной современности. То же явление отмечал в своих произведениях, начиная с «Шагреневой кожи» (1831), и Бальзак; молодые честолюбцы, писал он, либо сгорают в огне неутоленной жажды богатства и власти, либо нравственно погибают в безудержном разгуле эгоистических страстей.

Жорж Санд приходит к пониманию той истины, что поэтизированный романтиками индивидуализм, утверждение личностью своего исключительного права на ничем не ограниченную свободу,— чаще всего лишь красивая мантия, прикрывающая весьма прозаический буржуазный эгоизм. Ибо

буржуазное общество знает только одну свободу — свободу обогащения, и именно к ней свелись на практике все громкие фразы о свободе, которыми буржуазные политиканы обманывали народ, сражавшийся на июльских баррикадах 1830 года. Орас как раз из тех людей, у которых за благородными фразами о высоких идеалах скрываются мелкий эгоизм, крайнее честолюбие и неудовлетворенное тщеславие. Разыгрывая из себя выдающегося человека, Орас на поверку оказывается пустоцветом и фразером. Одна из наиболее отталкивающих его черт — стремление выдать свои эгоистические побуждения за проявления высоких чувств и скрыть за пышными тирадами самые неблаговидные поступки. Он не просто не платит долгов, а, став в позу благородного негодования, упрекает в мелочности своего кредитора; за сентиментальными речами прячет равнодушие к своим родителям; охладев к Марте, мучает ее упреками, обвиняя ее в том, что она будто бы не понимает исключительности его натуры, посягает на его духовную независимость.

Орас любит в духе времени произносить красивые слова о свободе и равенстве, хотя на самом деле презирает народ. Он клянется республиканскими идеями, но его больше всего влечет в светские салоны, к аристократам. (Эти подлинные симпатии Ораса убедительно раскрыты в прекрасно написанном эпизоде увлечения его виконтессой де Шейи.) Орас только играет в революционность. Он становится членом тайной республиканской организации Жана Ларавиньера, но, рассуждая о революции, ни минуты не думает о народе; он думает только о себе, о собственной карьере и популярности. При этом он сам начинает верить в свои разглагольствования и актерствует даже наедине с собой. «Продолжая в принципе отвергать революцию, которая дала бы права народу, он в то же время поверил в нее, захотел принять в ней участие, надеясь обрести в революции славу, сильные ощущения и простор для своего честолюбия». Когда же началось восстание и уже нельзя было ограничиться зажигательными речами, а надо было идти на баррикады и рисковать жизнью, Орас струсил и подло бросил товарищей, сославшись на выдуманную болезнь матери. Романтические идеалы, революционные фразы юного Ораса с годами превращаются в пустую и высокопарную декламацию преуспевающего буржуа. Не без иронии рассказывает Жорж Санд о дальнейшей судьбе Ораса, который становится модным адвокатом.

Образ Ораса — наиболее значительное социальное обобщение Жорж Санд. Она показала в нем не только несостоятельность романтической «исключительности», но с большой художественной силой раскрыла лицемерие буржуазно-республиканской фразеологии своего времени, за которой крылась потенциальная готовность к предательству народных интересов. О социальном значении образа Ораса прекрасно сказал А. И. Герцен, высоко оценивший этот роман Жорж Санд: «Орас — главный виновник бедствий, обрушившихся на Европу в последнее время. Он увлек своими фразами массы так, как увлек Марту в романе, для того, чтобы предать их

при первой опасности... Сходство схвачено поразительно...»[1] Герцен писал это в 1856 году после революции 1848 года, в ходе которой буржуазия Франции и других европейских стран цинично предала трудящиеся массы — своих вчерашних соратников по борьбе против монархии, учинила над ними кровавую расправу, а затем предала и буржуазно-демократическую республику, расчистив путь для реакционных политических режимов.

Орасу противопоставлен в романе рабочий Поль Арсен. Это противопоставление имеет большой социальный смысл и чрезвычайно важно для понимания творчества Жорж Санд. В отличие от многих авторов социальных романов тех лет, в том числе ее современника Эжена Сю, которые стремились лишь вызывать сострадание к народу, Жорж Санд верит в его будущее. Она восхищается душевной красотой и нравственной силой своих народных героев, творцов и тружеников. «Будущее должно принадлежать племени суровых пролетариев, готовых силой взять все права человека»,— говорила она в частном письме 1837 года.

Поль Арсен, с виду скромный и неказистый юноша, превосходит, однако, Ораса душевным благородством и богатством внутреннего мира. Ради любимой женщины и сестер он жертвует своим призванием, не стыдится никакой, самой черной работы, он способен на истинное, глубокое чувство и начисто лишен орасовского себялюбия. В отличие от Ораса, Арсен — человек действия, он храбро сражается в Июльские дни 1830 года.

Рядом с Арсеном на страницах романа появляется шумный и неугомонный студент Жан Ларавиньер, весельчак, балагур, всегда готовый пойти на помощь товарищу. Его томит жажда деятельности, он тайно собирает оружие, вербует соратников-республиканцев, готов отдать жизнь за свободу народа. Ему не хватает выдержки, осмотрительности, у него весьма смутное представление о конечной цели борьбы, но он покоряет своим искренним энтузиазмом и преданностью идее. Ларавиньер — наиболее убедительная фигура среди положительных героев романа, это образ, выхваченный из жизни. Именно такие люди — неимущие студенты, начинающие юристы, ученики живописных мастерских, молодые поэты, одушевленные республиканскими и демократическими идеалами,— сражались и умирали на парижских баррикадах в годы Июльской монархии. О них писал Энгельс, что они «в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс»[2].

Об этом герое Жорж Санд с восхищением говорил В. Белинский: «Помните Ларавиньера? Вот человек и мужчина! Но как трудно сделаться таким человеком...» Моральное величие Арсена и Ларавиньера еще ярче оттеняет фразерство и никчемность Ораса.

Республиканское восстание 1832 года в Париже является кульминацией сюжета в романе Жорж Санд. Оно окончательно выявляет характеры

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 12, М., АН СССР, 1957, с. 336.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, с. 37.

действующих лиц: самоотверженность и героизм Арсена и Ларавиньера, мужество и доброту Марты, нравственную несостоятельность Ораса. Реальным событиям, разыгравшимся у монастыря Сен-Мерри 5—6 июля 1832 года, посвящено в романе сравнительно немного страниц, но тема революции проходит через всю книгу, начиная с воспоминаний об Июльских днях 1830 года и кончая рассказом о героической гибели Ларавиньера во время восстания 1839 года. Жорж Санд не скрывает своего презрения к лавочникам, с негодованием говорит о косной буржуазии, «которая обратила все силы и установления государства в предмет позорного торга».

Острота социальных проблем, затронутых в романе «Орас», его антибуржуазность напугали журнал «Ревю де Дё Монд», где обычно печаталась Жорж Санд и куда она вначале предложила свое новое произведение. Редактор этого почтенного, благонамеренного журнала Бюлоз потребовал от Жорж Санд значительных изменений и прежде всего смягчения социальной остроты книги. По этому поводу Жорж Санд писала друзьям: «Сей милый человек боится поссориться со своим милым правительством». Она категорически отказалась что-либо менять в романе и ответила Бюлозу следующим письмом: «Я ясно вижу, что вы требуете от меня невозможного. Вы хотите всего-навсего, чтобы я говорила об эпохе 30-х годов, не изображая ее героев, чтобы я вам показала студентов 1830 года преданными правительству Луи-Филиппа, показала пролетария, который не скорбел бы после Июльских дней о восстановлении монархии. Вы хотите видеть гризеток, не похожих на настоящих гризеток. Вы хотите, наконец, чтобы я говорила о буржуазии, не упоминая о том, что она глупа и несправедлива, чтобы я говорила об обществе, не указывая, что оно абсурдно и безжалостно... Перелистайте лучше несколько страниц «Жака» или «Мопра». Во всех моих книгах, даже самых «невинных», вроде «Мозаистов» или «Последней Альдини», вы всегда найдете протест против вашей буржуазии, ваших героев, вашего правительства, вашей социальной несправедливости. Вы найдете в них неизменную симпатию к людям из народа... У меня нет ни одной книги, где бы я не выступала против неравенства и привилегий (деньги — это ведь главная привилегия)... Вторая часть моего романа не связана ни с какими политическими событиями, и в ней, очевидно, нечего менять, но третья часть повергнет вас в отчаяние. Мои герои сражаются у монастыря Сен-Мерри и... удивительное дело — рабочий и студент-республиканец сражаются против монархии! Как вам это нравится? Очевидно, куда благоразумнее было бы отправить их в ряды жандармов, но жизненная правда не позволила мне этого сделать, и, клянусь, мои герои бились у стен Сен-Мерри как сущие дьяволы!»

В «Орасе» мы находим все типичные мотивы романов Жорж Санд. Тут и «кающийся дворянин» Теофиль, блудный сын своего класса, тянущийся к народу, и проблема женского равноправия, которая решается на сей раз в духе сен-симонизма: путь к независимости женщины писательница видит теперь не в индивидуалистическом бунте, как было в ранних романах, а

в труде. Наконец, здесь изображен своеобразный «фаланстер», где совместно проживают и трудятся несколько работниц. Союз образованного дворянина Теофиля и простой швеи Эжени, построенный на взаимном уважении и искренней любви, по мысли Жорж Санд, указывает путь к преодолению классовых противоречий. Жорж Санд не скрывает заданности, тенденциозности этой линии романа, но смущается тем обстоятельством, что многие положения оказываются натянутыми, а персонажи откровенно идеализированными. Так, деревенская девушка Марта — это возвышенная, чувствительная натура, наделенная врожденным артистизмом и душевной утонченностью, житейская грязь не оставила на ней никакого следа. Гризетка Эжени — образец доброты, тонкого ума, достоинства и великодушия. Идеальные герои, по большей части происходящие из социальных низов, наделенные богатой духовной жизнью и мечтающие не только о личном счастье, но и о счастье народа, привлекали Жорж Санд и в романах, созданных ею в следующее десятилетие. Таков столяр Пьер Гюгенен, человек большого сердца, вдохновенный мастер своего дела («Странствующий подмастерье»), свободолюбивый плотник Жанплу («Грех господина Антуана»), благородный по натуре мельник Луи («Мельник из Анжибо»). Вера в неисчерпаемые творческие возможности простого человека, пафос национально-освободительной борьбы, мечта о большом народном искусстве пронизывают роман «Консуэло».

Анатоль Франс однажды очень точно определил особенности творческого метода Жорж Санд, сказав, что она была «великим мастером идеального». Действительно, писательница любила повторять, что «искусство — есть искание идеальной правды». Эстетическая концепция Жорж Санд была тесно связана с ее философско-историческими взглядами, с верой в то, что развитие человечества определяется стремлением к идеалу. Поэтому для нее задача искусства была в том, чтобы обнаружить в действительности хотя бы малейшие проявления идеального. К романтическим произведениям Жорж Санд, конечно, не следует подходить с теми же критериями, что и к произведениям реалистического искусства, в них властвуют иные законы. В многократных спорах с Бальзаком Жорж Санд отстаивала право художника создавать идеализированные характеры: «Вы хотите и умеете изображать человека таким, каким он предстает перед нашими глазами...— писала она,— а я стремлюсь изображать человека таким, каким я хотела, чтобы он был, каким он, по-моему, должен быть». Воплощение «идеальной правды» Жорж Санд и считала высшей правдой искусства.

Несовпадение характеров идеальных героев с обликом реальных людей ее времени столь же мало беспокоило Жорж Санд, как и внешнее неправдоподобие событий в ее романах. Она сознательно создает особый поэтический мир, подвластный лишь ее творческой фантазии, причем щедро черпает из художественного арсенала низовых демократических жанров своего времени — газетного приключенческого «романа-фельетона» и мелодрамы. Неожиданные повороты действия, роковые совпадения и случайно-

сти, «узнавания», ситуации, когда герои на волоске от гибели и спасение приходит в последнюю секунду,— всё это обычные приемы в романах Жорж Санд. По воле автора герои «Мопра» легко находят друг друга на обоих полушариях и встречаются как раз тогда, когда это требуется по сюжету; раненый Арсен попадает в ту самую мансарду, где живет Марта, а чудесно воскресший Ларавиньер появляется в ту самую минуту, когда он необходим своим друзьям. Но все эти несообразности объясняются особым романтическим углом зрения автора и органически вытекают из художественной системы ее романов.

Для творческой манеры Жорж Санд характерно сочетание динамичного, остросюжетного повествования с пространными авторскими размышлениями на моральные и философские темы. Писательница постоянно присутствует в своих произведениях и направляет мысль читателя в желательную для нее сторону, как бы подсказывает ему оценку тех или иных действующих лиц. Взволнованная авторская интонация, проповеднический пафос отличают книги Жорж Санд, для которой литература всегда была орудием нравственного воспитания, активной общественно-преобразующей силой.

Своеобразные ландшафты, описания старинных замков, таинственные ночные сцены, озаренные колеблющимся пламенем костра или бледным светом луны, картины природы в романах Жорж Санд также одухотворены пристрастным, взволнованным авторским отношением и оживают под ее пером. Недаром такой тонкий мастер лирического пейзажа, как И. С. Тургенев, восторгался живописным даром Жорж Санд. «Она умеет рисовать даже благоухание, даже мельчайшие звуки»,— писал он. Особенно часто обращалась Жорж Санд к изображению родных ей мест провинции Берри, где происходит действие многих ее романов, в том числе и «Мопра». Описания замка Рош-Мопра, башни Газо, тихого старинного парка в Сен-Севэре относятся к лучшим ее страницам.

* * *

Сороковые годы — время наивысшего подъема не только литературной, но и общественной деятельности Жорж Санд. Она много работает, создает роман за романом. Ее дом на улице Пигаль, 16, становится одним из центров литературной жизни Парижа. Бальзак встречался там с Генрихом Гейне. Пьер Леру, композитор Ференц Лист, увлекавшийся в те годы учением Сен-Симона, были частыми посетителями дома Жорж Санд. Близость Жорж Санд с Шопеном, поселившимся в соседнем флигеле, привлекала в гостиную писательницы многочисленных представителей польской эмиграции; здесь часто читал свои стихи поэт Мицкевич, здесь можно было видеть сидящего за мольбертом художника Эжена Делакруа, картины которого, подаренные хозяйке дома, яркими пятнами выделялись на темных стенах гостиной. Известная певица Полина Виардо восхищала присутст-

вующих своим замечательным голосом. Всех этих выдающихся людей объединяла дружба с Жорж Санд. Поздно вечером, когда утихали все споры, расходились многочисленные гости и все погружалось в тишину, Жорж Санд садилась за письменный стол. Она писала обычно ночью, часов до шести утра. Ее перо быстро бежало по бумаге, едва поспевая за стремительным полетом мысли и воображения. Строчки ровного почерка покрывали страницу за страницей...

Поистине удивительной была энергия этой женщины, ее работоспособность, ее живой интерес к идейной и политической жизни Франции. В 1841 году она основала вместе с Пьером Леру и Луи Виардо журнал «Независимое обозрение» («La Revue Indépendente»), рупор идей утопического социализма, где печатала свои статьи и романы. В 1843 году по инициативе Жорж Санд на ее родине в Берри создается оппозиционная газета «Эндрский просветитель» («L'Eclaireur d'Endre»), на страницах которой Жорж Санд разоблачает темные дела клерикалов, пишет о тяжелом труде крестьян. С 1844 года писательница сотрудничает в левореспубликанской парижской газете «Реформа» («La Reforme»). Жорж Санд внимательно следила за развитием рабочей поэзии, сохранилась ее переписка со многими рабочими-поэтами: с каменщиком Понси, с ткачом Магю, с слесарем Жиланом; в своих письмах она ободряет их, выражает уверенность в творческих силах народа. Рабочим-поэтам она помогала не только советами, но нередко поддерживала их материально, редактировала, издавала сборники их стихотворений со своими предисловиями. В «Независимом обозрении» Жорж Санд опубликовала две статьи: «Диалоги о пролетарской поэзии» и «О народных поэтах».

В эти годы политическая мысль Жорж Санд обретает бо́льшую ясность; несмотря на увлечения идеями утопического социализма, она допускает теперь и возможность гражданской войны как средства разрешения классовых противоречий буржуазного общества. Словами Жорж Санд из очерка «Ян Жижка» (1844): «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса» — Карл Маркс заканчивает свою работу «Нищета философии» [1].

Жорж Санд была одним из активных участников февральской революции 1848 года. Со всем присущим ей пылом она бросается в гущу политической жизни республики. Она принимает деятельное участие в организации народного театра, в издании газеты «Дело народа» («La Cause du peuple»), сближается с наиболее радикальными кругами левых республиканцев, публикует «Письма к народу», «Письма к среднему классу», выступает в защиту завоеваний буржуазной революции. Жорж Санд редактор и основной автор «Бюллетеня республики», левое направление которого вы-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, с. 185. В Москве в Институте Маркса — Энгельса — Ленина хранится экземпляр «Нищеты философии» с собственноручной надписью К. Маркса: «Г-же Жорж Санд от автора».

зывало ненависть реакции. Она пишет ряд очерков о тяжелом положении рабочих, требуя улучшения их жизни, повышения оплаты труда женщин-работниц. В апреле 1848 года, накануне выборов в Учредительное собрание, Жорж Санд публикует статью в шестнадцатом «Бюллетене республики», где прямо указывает, что если реакции удастся повлиять на ход выборов и протащить своих ставленников в Учредительное собрание, то народ должен открыто выступить на защиту своих прав и интересов. Однако она не смогла разобраться в ходе дальнейших событий, приведших к классовым боям июня 1848 года, когда впервые пролетариат и буржуазия оказались по разные стороны баррикад. Июньские события разрушили романтические иллюзии о возможности классового мира и перестройки буржуазного общества путем нравственной проповеди. Не поняв исторического значения Июньских дней, считая народное восстание против буржуазной республики ошибкой, Жорж Санд тем не менее резко осудила кровавую расправу буржуазии с рабочими. «Я не могу верить в Республику, которая начала с убийства рабочих»,— писала она в июне 1848 года.

После Июня Жорж Санд отходит от политической активности; в романах, написанных после этого периода, она уже не ставит больших социальных проблем. Она создает идиллические произведения о сельской жизни, рисует поэтические картины природы («Маленькая Фадетта», 1848; «Франсуа — найденыш», 1848), возвращается к изображению мира личных чувств. Но до конца жизни она была верна гуманистическим идеалам.

Теперь Жорж Санд почти безвыездно живет в своем доме в Ноане, в провинции Берри, отдавая большую часть времени семье своего сына, увлекаясь домашним театром марионеток. В Ноане ее навещают друзья, среди них — И. С. Тургенев. Ее постоянным корреспондентом был Флобер, который с уважением называл ее своим учителем. Жорж Санд умерла в 1876 году, семидесяти двух лет от роду. Над ее гробом Виктор Гюго сказал: «Я оплакиваю умершую и приветствую бессмертную...»

Влияние Жорж Санд на мысль и литературу XIX века было огромно не только во Франции, но и за ее пределами. Наиболее горячий и живой отклик ее творчество нашло в России. Ее романами зачитывались передовые круги русского общества, защищая их от нападок Булгарина и Сенковского; книгами и личностью Жорж Санд восхищались в кружке Грановского, ее высоко ценили Боткин, Некрасов. Достоевский посвятил ее памяти прочувствованные слова благодарности и восхищения. И. С. Тургенев, выражая чувства многих современников, в некрологе Жорж Санд назвал ее «одной из наших святых».

Русские революционные демократы увидели в Жорж Санд свою союзницу. В. Г. Белинский первым в 1847 году определил общественное значение ее романов, назвав их романами социальными. А. И. Герцен много раз подчеркивал революционное звучание ее произведений, именно этим объясняя ненависть к ней реакционной критики. Жорж Санд была одним из любимых писателей Н. Г. Чернышевского. Он переводил для «Современ-

ника» главы из ее мемуаров, восторженно отзывался о ней и в своих статьях, и в письмах. В небольшом перечне самых необходимых вещей, которые Чернышевский просил разрешения взять с собой в ссылку, было несколько книг Жорж Санд. М. Е. Салтыков-Щедрин отмечал, что для русских людей XIX века имя Жорж Санд было неразрывно связано с «идейной, героической» литературой Франции первой половины XIX века.

Конечно, с течением времени слава Жорж Санд несколько померкла. В ее огромном творческом наследии есть слабые и справедливо забытые произведения; некоторые ее романы кажутся теперь сентиментальными, наивными, а ее идеалы утопичными. Но нельзя не вспомнить в этой связи слова В. Г. Белинского: «Каковы бы ни были ее начала, с ними можно не соглашаться, их можно не разделять, их можно находить ложными; но ее самой нельзя не уважать, как человека, для которого убеждения есть верования души и сердца. Оттого многие из ее произведений глубоко западают в душу и никогда не изглаживаются из ума и памяти».

Жорж Санд — это цѣлая эпоха в развитии передового искусства XIX века; ее славу составляют книги, наиболее ярко подтвердившие ее же слова: «При любой степени одаренности нельзя стать поэтом или художником, не будучи эхом человечества».

И. ЛИЛЕЕВА

ПЕРЕВОД
Л. КОГАН и Я. ЛЕСЮКА

ОТ АВТОРА

Незадолго до того, как, помнится, в 1836 году в Ноане я написала роман «Мопра́», закончилось мое дело о разводе. И тогда-то брак, с уродствами которого я до той поры боролась, давая, быть может, повод полагать — поскольку мне не удалось достаточно полно развить свою мысль,— будто я отрицаю его по существу, предстал передо мною во всем нравственном величии своих принципов.

Нет худа без добра для того, кто умеет размышлять: чем яснее я видела, как мучительно и тягостно рвать супружеские узы, тем сильнее ощущала, насколько недостает браку того, что составляет основу счастья и равенства,— в понимании самом высоком и еще недоступном современному обществу. Более того — общество старается принизить священный институт брака, уподобляя его коммерческой сделке. Оно всячески подрывает устои этого священного института, чему способствуют и нравы самого общества, и его предрассудки, и его лицемерная подозрительность.

Когда, желая чем-нибудь себя занять и рассеяться, я начала писать роман, мне пришла в голову мысль изобразить любовь исключительную, вечную — до брака, в браке и после того, как оборвется жизнь одного из супругов. Потому-то я и заставила восьмидесятилетнего героя моей книги провозгласить верность единственной женщине, которую он любил.

Идеалом любви является, безусловно, верность до гроба. Законы нравственности и религии сделали этот идеал священным, имущественные соображения его искажают, а гражданские законы зачастую препятствуют его осуществлению либо превращают в одну только видимость; но здесь не место это доказывать. Да на

роман «Мопра» и не возложена столь трудная задача. Чувство, обуревавшее меня, когда я его писала, выражено словами Бернара Мопра в конце книги: «Она была единственной женщиной, которую я любил; никогда другая не привлекла моего взора и не испытала страстного пожатия моей руки».

Жорж Санд

5 июня 1851 г.

Гюставу Папэ

Хотя, быть может, такой стародавний обычай и противен моде,— прошу тебя, брат и друг, принять посвящение этой повести, для тебя не новой. Многое в ней было подслушано мною в хижинах нашей черной долины. Жить бы и умереть там, ежевечерне повторяя, как заклинание, милые нашему сердцу слова: «Sancta simplicitas!» [1]

Жорж Санд

[1] Святая простота! *(лат.)*

На границе Марша и Берри, в местности, которая называется Варенной и представляет собой обширную пустошь, пересеченную дубовыми и каштановыми лесами, в самой глухой чащобе этого края, можно встретить развалины притаившегося в лощине небольшого замка. Зубчатые башенки его открываются взору приблизительно в сотне шагов от опускной решетки главного входа. Вековые деревья, окружающие замок, и скалистые вершины, встающие над ним, погребли его в неизбывном мраке, и, пожалуй, лишь при полуденном свете можно пробраться по заброшенной тропинке, ведущей ко входу, не споткнувшись об узловатые корни и старые пни, на каждом шагу преграждающие путь. Эта угрюмая лощина, эти унылые развалины и есть Рош-Мопра́.

Не так давно последний из Мопра, которому эти мрачные владения достались в наследство, приказал снести кровлю замка и распродать все балки; потом, словно желая надругаться над памятью предков, он велел сорвать ворота, разрушить северную башню, разобрать до основания крепостную стену и удалился вместе с рабочими, отряхнув прах от ног своих и предоставив поместье лисам, орланам и змеям. С той поры какой-нибудь дровосек или угольщик, живущий в одной из хижин, что разбросаны окрест, проходя утром по краю лощины Рош-Мопра, дерзко насвистывает или посылает этим развалинам крепкое проклятие; но на склоне дня, едва с высоты бойниц донесется крик козодоя, дровосек или угольщик молча спешит мимо и время от времени осеняет себя крестным знамением, как бы заклиная нечистую силу, гнездящуюся в разрушенном замке.

Признаюсь, мне и самому делалось как-то не по себе, если случалось проезжать ночью этой лощиной; не стану клятвенно заверять, что в иную грозовую ночь и я не пришпоривал коня, спеша избавиться от тягостного чувства, навеянного соседством старого замка: ибо еще в детстве имя Мопра пугало меня не меньше, чем

имена Картуша и Синей Бороды, а в страшных сновидениях тех лет прадедовские сказки о людоедах и оборотнях зачастую переплетались с подлинными и весьма недавними событиями, создавшими семейству Мопра недобрую славу по всей округе.

Порой, когда, охотясь за зверем и наскучив ждать в засаде, мы с приятелями подходили погреться у костра, который угольщики жгут всю ночь напролет, я слышал, как при нашем приближении роковое имя Мопра замирало у кого-нибудь на устах. Но, едва нас узнав и уверившись, что призрак одного из этих разбойников не затаился среди пришельцев, люди начинали шепотом плести такие небылицы, что волосы подымались дыбом. Я не стану вам их пересказывать — довольно и того, что эти страшные россказни омрачили мою душу.

Отсюда не следует, что повесть, которую я для вас предназначаю, будет приятной и веселой; напротив, я прошу у вас прощения, представляя на ваш суд описание событий столь мрачных; но к впечатлению, какое повествование это на меня произвело, примешивается нечто до того утешительное и, если осмелюсь так выразиться, до того благодетельное для души, что, надеюсь, вы не осудите меня, снисходя к тем выводам, какие оно подсказывает. Впрочем, историю эту поведали мне совсем недавно; вы просите меня что-нибудь рассказать; вот превосходный случай, и, принимая во внимание леность и бесплодие моего воображения, я не премину им воспользоваться.

На прошлой неделе мне удалось наконец повстречаться с Бернаром Мопра. Последний отпрыск этого семейства, он давно уже порвал со своей гнусной родней и, в знак отвращения к воспоминаниям детства, разрушил фамильный замок. Бернар — один из самых уважаемых людей в округе; живет он на равнине близ Шатору́, в красивом деревенском доме. Как-то раз очутившись я неподалеку от этих мест с моим другом, который его знал; когда я выразил желание повидать Бернара, друг тотчас же проводил меня к нему, посулив радушный прием.

Примечательная жизнь этого старца была мне в общих чертах известна; но я всегда испытывал горячее желание узнать ее в подробностях и, главное, из его собственных уст. Необычайная судьба его представлялась мне чуть ли не философской проблемой, ждущей разрешения, а потому я с особым интересом присматривался к его чертам, повадкам, ко всей окружающей его обстановке.

Бернару Мопра не менее восьмидесяти лет, но крепкое здоровье, прямой стан, твердая поступь и отсутствие каких бы то ни было признаков старческой немощи позволяют дать ему пятнадцатью — двадцатью годами меньше. Лицо его могло бы показаться на редкость красивым, если бы не выражение суровости, кото-

рое невольно воскресило перед моим взором тени его предков. Сдается, что внешне он походит на них. Подтвердить это мог бы лишь он сам,— ведь ни я, ни мой друг не знали никого из Мопра,— но как раз об этом мы и остерегались его расспрашивать.

Насколько мы заметили, слуги исполняли его приказания с быстротой и точностью, необычайными для беррийцев. И все-таки при малейшей видимости промедления он повышал голос, хмурил брови, еще очень черные, несмотря на белоснежную гриву волос, и в нетерпении ворчал, что заставляло самых неповоротливых лететь как на крыльях. Такие его повадки вначале неприятно меня поразили: я находил, что все это, пожалуй, очень уж в духе Мопра; но отечески мягкое обращение Бернара со слугами минуту спустя, а также их усердие, которое, на мой взгляд, отнюдь не было внушено страхом, вскоре примирили меня со стариком. Принял он нас, впрочем, с отменной учтивостью, изъясняясь самым изысканным образом. Обед уже подходил к концу, когда по досадной случайности кто-то забыл притворить дверь и старик почувствовал, как снаружи потянуло холодом; страшное проклятие, вырвавшееся у него, заставило нас с другом удивленно переглянуться. Бернар Мопра это заметил.

— Простите, господа,— обратился он к нам.— Я веду себя как человек несдержанный. Удивительно ли? Я старая ветвь, по счастью, отломившаяся от прогнившего ствола и пересаженная на добрую почву, но все такая же узловатая и грубая, как дикий остролист — ее родоначальник. А мне ведь больших трудов стоила моя нынешняя сдержанность и кротость. О, ежели б я смел, я бросил бы горький упрек провидению, зачем оно отмерило мне жизнь столь же скупо, как и прочим смертным! Кто лет сорок — пятьдесят бился, чтобы из волка превратиться в человека, тот должен прожить лишнюю сотню лет, дабы вкусить плоды своей победы. Но к чему мне жить? — грустно сказал старик.— Ее уже нет, волшебницы, преобразившей меня, и она не может порадоваться на дело рук своих. Ну что ж, давно пора кончать и мне!

Он обернулся и, поглядев на меня своими большими, на редкость живыми глазами, продолжал:

— Так-то, милейший, я догадываюсь, что вас ко мне привело: любопытствуете узнать мою историю? Подсаживайтесь к очагу и будьте покойны: хоть я и Мопра, я не брошу вас в огонь вместо полена. Вы доставите мне огромное удовольствие, ежели послушаете меня. Ваш друг подтвердит, однако, что я говорю о себе не очень охотно: частенько боишься столкнуться с глупцом. Но о вас я наслышан, знаю, что вы за человек и чем занимаетесь: вы наблюдатель и рассказчик; стало быть, уж не взыщите, любопытны и болтливы.

Он расхохотался, я тоже принужденно засмеялся, начиная опасаться, что он над нами издевается; невольно вспомнились мне проделки его деда, который так зло потешался над любопытными простофилями, дерзавшими к нему заглянуть. Но старик дружелюбно взял меня под руку и, усадив за стол, где стояли чашки, поближе к пылавшему камину, сказал:

— Не сердитесь; в мои лета трудно излечиться от склонности подшучивать, которая у всех Мопра в крови; но шучу я совсем беззлобно. Откровенно говоря, я рад вас видеть и поведать вам историю моей жизни. Человек, настрадавшийся так, как я, заслуживает правдивого летописца, который уберег бы память о нем от любых упреков. Так слушайте же меня и пейте свой кофе.

Я молча подал ему чашку; он отстранил ее с улыбкой, казалось говорившей: «Оставим это для вашего изнеженного поколения».

И начал свой рассказ такими словами.

I

— Вы живете неподалеку от Рош-Мопра, и вам, должно быть, не раз случалось проходить мимо его развалин; нет надобности поэтому их описывать. Могу лишь сказать, что прежде обитель эта была куда менее привлекательна, нежели теперь. В тот день, когда я приказал сорвать с нее кровлю, солнце впервые озарило сырые углы, где протекало мое детство, и ящерицы, которым уступил я это жилище, чувствуют себя там куда привольнее, нежели я в те времена; они, по крайней мере, видят дневной свет и могут согреть холодное тело в лучах полуденного солнца.

Были в роду Мопра старшая и младшая ветвь. Я принадлежу к старшей. Дед мой, тот самый Тристан Мопра, что промотал свое состояние и опозорил имя, был до того свиреп, что о нем и поныне рассказывают всяческие небылицы. Крестьяне верят и по сию пору, будто дух Тристана Мопра вселяется то в колдуна, указующего злодеям путь к селениям Варенны, то в старого зайца-беляка, который перебегает дорогу человеку, задумавшему недоброе. Когда я появился на свет, единственным представителем младшей ветви Мопра был господин Юбер де Мопра, прозванный «кавалером», ибо он некогда принадлежал к мальтийскому ордену и был столь же добр, сколь его кузен был злобен. Будучи младшим в семье, он обрек себя на безбрачие; но когда все братья и сестры господина Юбера умерли, он попросил освободить его от принятого им на себя обета и за год до моего рождения женился. Прежде чем изменить столь решительно свой образ жизни, он, говорят,

приложил немало стараний, пытаясь найти среди мужчин старшей ветви достойного наследника, способного возвысить пришедшее в упадок имя Мопра и сохранить состояние, процветавшее в руках представителей младшей ветви. Пытался он также привести в порядок дела своего двоюродного брата Тристана и не раз умиротворял его заимодавцев. Но, убедившись, что своими благодеяниями лишь поощряет семейные пороки, а взамен уважения и признательности никогда не встречает ничего, кроме затаенной ненависти да самой злобной зависти, он порвал всякие отношения со своими родичами и, невзирая на преклонный возраст (ему было за шестьдесят), женился, рассчитывая иметь наследников. У него родилась дочь, а затем с надеждой на потомство ему пришлось проститься, ибо вскоре жена его умерла от тяжкой болезни, которую врачи назвали «желудочными коликами». Господин Юбер де Мопра покинул эти края и лишь изредка навещал свои владения, расположенные в шести лье от Рош-Мопра, на краю Варенны, у Фроманталя. Это был человек разумный, справедливый и просвещенный: отец его, следуя духу времени, дал ему образование, что отнюдь не лишило господина Юбера ни твердости характера, ни отваги; подобно своим предкам, он с гордостью носил рыцарское прозвище *Сорвиголова,* наследственное в старинном роду Мопра. Что касается представителей старшей ветви, они показали себя с самой дурной стороны и столь прочно сохранили разбойничьи феодальные навыки, что получили прозвище «Мопра Душегубы». Отец мой, старший из сыновей Тристана, один только был женат. Я единственный его отпрыск. Следует сообщить вам здесь об одном обстоятельстве, которое стало мне известно много позднее. Узнав о моем рождении, Юбер де Мопра просил моих родителей отдать ребенка ему на воспитание; он готов был, если предоставят ему полную свободу, сделать меня своим наследником. Но тут отца моего случайно убили на охоте, а дед отклонил предложение Юбера, заявив, что его сыновья — единственные законные наследники младшей ветви рода и он всеми силами воспротивится тому, чтобы имение было отказано мне. Тем временем у Юбера родилась дочь. Но когда семь лет спустя жена его умерла, не оставив ему других детей, желание увековечить родовое имя, что свойственно тогда было всякому дворянину, побудило его вторично обратиться к моей матери с тою же просьбой. Не знаю, что она ему ответила: мать моя в ту пору занемогла и вскоре скончалась. Деревенские врачи и у нее установили «желудочные колики». Последние два дня жизни моей матушки дед не оставлял ее.

Меня что-то познабливает... Налейте-ка стакан испанского... Да нет, ничего — это со мной бывает; как начну все вспоминать, не по себе становится. Пройдет!

Он залпом осушил стакан вина, а за ним и мы, ибо, вглядываясь в его суровое лицо, слушая бессвязную, отрывистую речь, мы тоже ощутили какой-то холодок. Бернар продолжал:

— Итак, семи лет я остался сиротой. Дед дочиста ограбил матушкин дом, унес все деньги и все тряпки, какие только можно было унести, остальное бросил, заявив, что не желает иметь дела с «законниками»; не дожидаясь, когда покойница будет предана погребению, он схватил меня за шиворот и кинул на круп своего коня, приговаривая: «Ну что ж, воспитанничек, едем! Да смотри не реви — нежничать я с тобою не стану».

И в самом деле, уже через несколько минут он изрядно отстегал меня хлыстом, отчего я не только перестал реветь, но весь съежился, подобрался, словно черепаха под панцирем, и всю дорогу не смел дохнуть.

Тристан Мопра, высокий, костлявый старик, был косоглаз. Я и сейчас вижу его как живого. Тот вечер оставил по себе неизгладимую память. Все страхи, навеянные материнскими рассказами о гнусном свекре и его сыновьях-душегубах, внезапно стали явью. Помнится, сквозь густую чащу деревьев временами проглядывала луна. Конь у деда моего был такой же сильный, жилистый и злой, как он сам. При каждом ударе хлыста жеребец становился на дыбы, а хозяин его на удары не скупился. Конь стрелой перелетал через овраги и ручьи, которыми вдоль и поперек изрезана Варенна. При каждом толчке я терял равновесие и в страхе цеплялся за лошадиную сбрую или дедовскую куртку. Старик же столь мало обо мне тревожился, что, наверно, не дал бы себе труда меня подобрать, если бы я упал. Иногда, заметив мой испуг, он начинал надо мною насмехаться и, желая пришугнуть сильнее, снова заставлял коня подыматься на дыбы. Десятки раз малодушие охватывало меня, я готов был разжать руки и упасть навзничь, но врожденная жажда жизни мешала мне поддаться приступу минутного отчаяния. Наконец около полуночи дед резко осадил коня перед небольшими стрельчатыми воротами, и тотчас подъемный мост взвился позади нас. Я обливался холодным потом; дед снял меня с лошади и швырнул на руки какому-то отвратительному хромому верзиле, а тот потащил в дом; так я попал в Рош-Мопра; верзила же оказался моим дядей Жаном.

Дед мой и восемь его сыновей были последышами уже почти исчезнувшей в ту пору у нас в провинции породы мелких феодальных тиранов, которые в течение стольких веков наводняли и разоряли Францию. Прогресс, стремительно шествовавший навстречу великим революционным схваткам, все успешнее сметал

со своего пути узаконенный разбой и бесчинства феодалов. Лучи просвещения, какое-то подобие хорошего вкуса, смутное отражение галантных нравов двора, а может быть, и предчувствие близкого и грозного пробуждения народа проникали и в старинные замки, и в полудеревенские усадьбы мелких дворянчиков. Даже в самых глубинных провинциях страны, по причине своей отдаленности наиболее отсталых, чувство социальной справедливости начинало одерживать верх над варварскими обычаями. Не один бездельник вынужден был, вопреки дворянским привилегиям, умерить свой поров. Кое-где крестьяне, доведенные до крайности, жестоко расправлялись со своими господами; суды же и не пытались вмешиваться в эти дела, а родичи пострадавших не осмеливались требовать возмездия.

Несмотря на такое брожение умов, дед мой долгое время бесчинствовал в наших краях, не встречая никакого противодействия. Но он был обременен большой семьей, которую надо было прокормить, к тому же каждый из его сыновей, как и он сам, наделен был множеством пороков; заимодавцы стали наконец преследовать моего деда и докучать ему, уже не страшась его угроз и, более того, угрожая ему самому. Теперь приходилось думать, как ускользнуть от судебного пристава, как избежать поминутных стычек, в которых, несмотря на свою многочисленность, единодушие и богатырскую силу, Мопра уже не могли похвастать превосходством, ибо весь народ принял сторону их врагов и каждый почитал своим долгом ополчиться против разбойничьего семейства. Тогда Тристан, собрав вокруг себя весь свой выводок, подобно тому как вепрь, уцелев после охоты, собирает разбежавшихся кабанят, удалился в свой замок и, подняв мост, заперся там вместе с дюжиной поселян-браконьеров и беглых солдат, бывших у него в услужении; как и Тристан, они оказались вынуждены, по его выражению, «уйти от света» — искать надежного пристанища за крепостными стенами. На площадке перед замком составили в козлы охотничьи ружья, карабины, мушкеты, снесли туда колья и тесаки, а привратнику отдали приказ подпускать на расстояние ружейного выстрела не более двух человек.

С того дня Мопра и его сыновья порвали с законами общества, как порвали они раньше с законами нравственности. Они превратились в шайку разбойников. Преданные и верные им браконьеры снабжали замок дичью, сами же Мопра взимали незаконные поборы с окрестных хуторов. Крестьяне наши, как вы знаете, не трусы (вовсе нет!), однако уступчивы и покладисты — то ли из равнодушия, то ли по причине недоверия к законам, в которых они искони ничего не смыслили да и поныне разбираются с грехом пополам. Ни одна из французских провинций не питала такой при-

верженности к обычаям старины, ни одна не терпела насилия феодалов дольше, нежели наша. Нигде, может статься, титул сеньора не сохранялся за иными владельцами замков до самого последнего времени, и нигде нельзя с такой легкостью напугать жителей нелепыми, вздорными политическими слухами, как у нас. В то время среди глухих, отрезанных от внешнего мира деревень единственным на всю округу могущественным родом были Мопра; они без труда убедили своих вассалов, что крепостное право будет восстановлено и смутьяны получат по заслугам. Крестьяне поколебались, тревожно прислушиваясь к голосам одиночек, призывавших отстаивать свободу, поразмыслили и сочли за благо покориться. Денег Мопра не требовали. Звонкая монета — это то, что здешнему крестьянину труднее всего добыть и что всего досаднее выпустить из рук даже тогда, когда ему предлагают возместить долг не деньгами, а продуктами сельскохозяйственного труда на вдвое большую сумму. Излюбленная его поговорка — деньги всего дороже: ведь деньги для него это нечто иное, чем затрата физической энергии: это и средство общения с людьми за пределами его деревни, плод расчета и бережливости, итог напряжения всех духовных сил, которое заставляет крестьянина позабыть о привычной нерадивости; одним словом, добывание денег — труд умственный, то есть для крестьянина труд самый тягостный, самый хлопотливый.

Хорошо зная местные нравы и не очень нуждаясь в деньгах, поскольку платить долги они не собирались, Мопра взимали оброк лишь натурой. Поборы шли с кого каплунами, с кого телятами, с того зерном, с другого кормом для скота и так далее. Обирали Мопра с умом, требуя от каждого лишь то, что он мог дать, не урезая себя сверх меры; всем сулили они покровительство и помощь и до известной степени держали слово. Они истребляли волков и лис, укрывали беглых и, запугивая сборщиков соляного налога и податных чиновников, помогали обкрадывать казну.

Пользуясь легковерием бедняков, Мопра внушали им ложные представления относительно их истинных выгод, развращали простой люд, искажая понятия нравственного достоинства и естественной свободы. Все население края вслед за Мопра порвало с законностью, а чиновников, призванных стоять на страже порядка, застращали до того, что спустя несколько лет здесь и вовсе позабыли о соблюдении законов.

Итак, хотя неподалеку от этих мест Франция быстро шагала к раскрепощению неимущих классов, Варенна стремительно катилась вспять, к исконной тирании местных дворянчиков. Тем сподручнее было Мопра совращать бедняков: якобы опростившись, они подчеркивали свое отличие от местных дворян, сохранявших высокомерные повадки времен былого могущества. Дед мой не

упускал случая внушить крестьянам такую же ненависть к своему кузену Юберу де Мопра, какую питал к нему сам. Ведь тот принимал своих крестьян, сидя в кресле, пока они стояли перед ним с непокрытой головою, а Тристан Мопра сажал их за стол и распивал с ними винцо, которое они ему приносили в качестве добровольного даяния. Глубокой ночью слуги выпроваживали мертвецки пьяных гостей, и лес, озаренный светом факелов, оглашали непристойные песни. Распутство окончательно разложило крестьян. В каждой семье у разбойников Мопра были наложницы, и все терпели это, находя в том выгоду или же, как ни прискорбно сознаться, удовлетворение своему тщеславию. Разбросанность крестьянских усадеб благоприятствовала пороку: ни шума, ни огласки. Будь тут хоть маленькая деревушка, в ней зародилось бы и одержало верх общественное мнение; здесь же были только рассеянные окрест лачуги да уединенные мызы; степи и лесные засеки пролегали между домишками, так что в одной семье не знали, что делается в другой. А соблазн могущественнее совести. Бесполезно говорить, какими узами порока господа были связаны с рабами: распутство, лихоимство и мотовство служили примером и наставлением моей юности; а жилось в замке превесело. Мопра издевались над правосудием, не платили заимодавцам ни процентов, ни долгов; судейских же, когда те осмеливались предъявить повестку с вызовом в суд, избивали; стражников, если те подъезжали слишком близко к замковым башням, обстреливали из бойниц. На суды они призывали чуму, на глашатаев новой философии — голодуху, на представителей младшей ветви Мопра — погибель, и все это с видом паладинов XII века. Дед мой то и дело похвалялся своей родословной и удалью предков; он сокрушался о добрых старых временах, когда сеньоры располагали орудиями пытки, «каменными мешками», а главное — пушками. Мы же были вооружены только вилами, дубинками да скверной кулевриной, из которой, впрочем, дядя Жан весьма метко попадал в цель; этого было достаточно, чтобы держать в почтительном страхе всю округу с ее слабосильным воинством.

II

Старик Мопра был коварным и хищным зверем — чем-то средним между рысью и лисой. Природное красноречие и некоторый лоск, приданный воспитанием, помогали ему в его плутнях. Он вел себя подчеркнуто учтиво, но в средствах убеждения, особенно для тех, кому хотел отомстить, недостатка не испытывал. Заманив жертву к себе, Тристан жестоко с ней расправлялся; обратиться

же в суд потерпевший не мог за отсутствием свидетелей. Злодейства свои Мопра вершил с такою ловкостью, что озадачил всех в округе, внушив соседям чувство, весьма похожее на почтение. Схватить преступника за пределами его берлоги не удавалось, хотя он и выходил из нее без видимых предосторожностей. В этом человеке жило какое-то злое начало, и сыновья, не питавшие к нему любви, поскольку были на нее не способны, беспрекословно и слепо покорялись власти его ненавистного превосходства. Он умел выволочить их из самой отчаянной переделки; когда же затворников замка начинала томить скука, витавшая под оледеневшими сводами, воображение этого свирепого шутника изобретало забавы, вполне достойные воровского притона. Случалось, подвернется под руку братьям Мопра какой-нибудь жалкий нищенствующий монах — вот тут-то они и позабавятся, всячески стращая его и мучая: либо подпалят бороду, либо спустят на веревке в колодец и будут ни живого ни мертвого там держать, пока не заставят спеть непристойную песенку или произнести какие-нибудь кощунственные слова. Вся округа знала о злоключении пристава и четырех судебных исполнителей: их гостеприимно препроводили в замок и оказали им там наилюбезнейший и весьма пышный прием. Дед мой притворился, что добровольно подчиняется судебному постановлению, он охотно помог составить опись всей движимости, какая была назначена к продаже за долги; когда же подали обед и королевские служаки уселись за стол, Тристан сказал судебному приставу:

— Ах ты господи! Совсем позабыл! Есть у меня на конюшне еще одна кляча; не бог весть что, да как бы вас не упрекнули, ежели вы не упомянете ее в вашей описи; вижу, вы человек почтенный, не хочется вводить вас в заблуждение. Ступайте-ка за мною да взгляните на нее, это займет не более минуты.

Пристав доверчиво последовал за хитрецом; у входа в конюшню Мопра, который успел его опередить, предложил чиновнику просунуть голову в дверь и заглянуть внутрь. Желая проявить снисходительность при исполнении служебного долга и не придираться к мелочам, пристав так и поступил; но тут Мопра резко захлопнул дверь и с такою силой прищемил створкой шею чиновника, что у несчастного захватило дух. Полагая, что судейский достаточно наказан, Тристан снова распахнул дверь, с отменной учтивостью попросил извинения за оплошность и предложил потерпевшему руку, дабы проводить его к столу. Отказаться судейский счел неуместным. Но, едва вернувшись в залу, где находились его собратья, он упал на стул и, указывая на свое мертвенно-бледное лицо и ссадины на шее, стал жаловаться на подстроенную ему ловушку и требовать правосудия. Тут мой дед проявил прису-

щее ему коварство и, глумясь над своей жертвой, разыграл предерзкую комедию. Приняв достойный вид, он стал упрекать судейского, что тот возвел на него напраслину; дед утверждал это с притворной учтивостью и кротостью, призывая гостей в свидетели своего безупречного поведения; он радушно угостил судейских великолепным обедом и, умоляя простить ему скромный прием, сослался на стесненные обстоятельства. Бедняга пристав не посмел отказаться: полумертвый от боли, он вынужден был отобедать. Мопра же до такой степени одурачил своими заверениями его собратьев, что те, сочтя пристава сумасшедшим и лгуном, продолжали весело попивать винцо да закусывать. Покинули они Рош-Мопра вдребезги пьяные, вознося хвалу владельцу замка и насмехаясь над пострадавшим, а тот, едва успев сойти с лошади, испустил дух на пороге своего дома.

Гордость и опора старика Мопра, восемь его сыновей, все в равной мере походили на него как физической силой, так и грубостью нрава; все они — кто в большей, кто в меньшей степени — отличались отцовской хитростью и злобной насмешливостью. Надо сказать, что это были настоящие негодяи, способные на любое злодеяние, и совершенные тупицы, когда дело касалось благородных мыслей или добрых чувств; была в них все же своего рода отчаянная отвага, не лишенная в моих глазах некоего величия. Но пора вам рассказать о себе, о том, как складывался мой характер в недрах той мерзкой трясины, куда господу богу угодно было меня погрузить, едва я вышел из младенческого возраста.

Я солгал бы, повествуя о годах моего детства, когда бы, стремясь вызвать у вас сострадание, стал утверждать, что родился с благородными задатками, с чистой и непорочной душой. Не ведаю, сударь, было ли это так. Быть может, есть непорочные души, быть может, нет; ни вам, да и никому другому никогда этого не узнать. Как ответить на вопрос: заложены ли в нас неодолимые склонности и способно ли воспитание только изменить их, или же ему дано их искоренить? Что до меня, я не решусь об этом судить: я не метафизик, не психолог, не философ; но я прожил страшную жизнь, господа, и, будь я законодателем, я повелел бы вырвать язык или отрубить руку всякому, кто осмеливается проповедовать устно или письменно, что человеческие характеры предопределены и человек столь же мало поддается перевоспитанию, как плотоядный тигр. Господь уберег меня от подобного заблуждения.

Могу только вам сказать, что, не обладая, быть может, от природы достоинствами матушки, я унаследовал от нее понятие добра. Уже в детстве бывал я неистов — и то было неистовство мрачное и непобедимое: в ярости я становился слеп и жесток, перед лицом опасности — малодушно подозрителен, а в борении с

нею — безрассудно отважен; иначе говоря, я был робок и в то же время смел, потому что был жизнелюбив. Мать одна только умела совладать с моим возмутительным упрямством, и я покорялся ей, не рассуждая, ибо сознание мое весьма отстало в своем развитии,— покорялся, словно под действием магнетической силы. Лишь ее материнской власти, да еще власти другой женщины, которая повлияла на меня впоследствии, было под силу наставить меня на путь истинный. Но мать я потерял прежде, нежели она успела всерьез меня чему-нибудь научить; когда же я попал в Рош-Мопра, злодеяния, там совершавшиеся, вызывали во мне лишь бессознательное отвращение, которое, возможно, было бы слишком слабым, если бы к нему не примешивался страх.

Но я от всей души благодарю небо за муки, которые там претерпел, в особенности же за ту ненависть, какую питал ко мне дядя Жан. Несчастье уберегло меня от равнодушия ко злу, страдания научили ненавидеть злодеев.

Самым отталкивающим из всего выводка Мопра был, конечно, Жан. Когда-то он упал с лошади и остался калекой; невозможность совершать такие же злодейства, как братья, озлобила его до чрезвычайности. Когда все отправлялись на промысел, он поневоле оставался дома, потому что ездить верхом не мог. Единственной его отрадой были легкие стычки с вооруженными стражниками, когда те время от времени, как бы для очистки совести, бесплодно осаждали замок. Укрывшись за нарочно устроенным каменным бруствером, Жан спокойно посиживал у кулеврины и, по его словам, вновь обретал утраченные им по причине безделья сон и аппетит, лишь когда ему удавалось подстрелить какого-нибудь стражника. Бывало, и не дожидаясь нападения, вскарабкается он на свою излюбленную площадку позади бруствера и сидит, словно кот, подстерегающий добычу; едва завидит он вдали случайного прохожего, как начинает изощряться в меткой стрельбе, пока не заставит того повернуть вспять. Это называлось у Жана «убрать мусор с дороги».

Я был еще слишком мал, чтобы ездить с дядьями на охоту и участвовать в грабежах, и так случилось, что Жан сделался моим опекуном и наставником, иначе говоря — тюремщиком и палачом. Не стану подробно описывать вам свое адское существование. Повинуясь жестоким прихотям этого чудовища, я почти десять лет кряду терпел голод и холод, брань, заточение и побои. Развратить меня ему не удалось, отчего он жестоко меня возненавидел. А уберег меня от мерзких соблазнов крутой, строптивый и дикарский нрав. Для добродетели мне, быть может, твердости и не хватало, но для ненависти ее было, слава богу, достаточно. Я скорее дал бы себя четвертовать, нежели согласился угождать моему тирану. Так

я и вырос, не постигнув прелести порока. Однако ж понятия мои об общественном устройстве были настолько необычны, что ремесло моих дядюшек само по себе не внушало мне отвращения. Воспитанный в стенах Рош-Мопра и постоянно находясь на осадном положении, я, как вы легко можете себе представить, разделял воззрения, достойные какого-нибудь вооруженного наемника времен феодального варварства. То, что другие люди за пределами нашего логова называли убийством, грабежом и мучительством, меня учили именовать сражением, победой и одолением врага. Вся история человечества сводилась для меня к рыцарским легендам и балладам, которые вечерами слышал я от деда, когда у него выдавалось немного времени, чтобы заняться, как он это называл, моим воспитанием; если же я задавал ему какой-нибудь вопрос касательно наших дней, он отвечал, что времена очень переменились, что все французы стали изменниками и предателями, что они застращали королей и те трусливо отвернулись от дворянства, а оно, в свою очередь, малодушно отреклось от своих привилегий и позволяет мужикам устанавливать законы. Я слушал, с удивлением, почти с негодованием взирая на воссозданную им картину нашей эпохи, еще для меня непостижимой. Дед мой не был силен в истории: никаких книг в Рош-Мопра не водилось, за исключением романа о сыновьях Эмона и нескольких хроник подобного же рода, привезенных нашими слугами с какой-нибудь местной ярмарки. Из хаоса моего невежества в сознании всплывали только три имени: Карл Великий, Людовик XI и Людовик XIV, ибо, толкуя о попранных правах дворянства, дед мой часто называл эти имена. Я же, честно говоря, путал всех королей и далеко не был уверен, что дед мой и вправду не знавал Карла Великого, так как упоминал он о нем чаще и охотнее, нежели о ком-либо другом.

Деятельная натура заставляла меня восхищаться воинственными подвигами дядюшек, и я испытывал великую охоту разделить с ними эти подвиги; но в то же время холодная жестокость, которую обнаруживали Мопра, возвращаясь из походов, вероломство, с каким они заманивали к себе какого-нибудь простофилю, вымогая у него выкуп или подвергая его пыткам, вызывали у меня странное, тягостное чувство; говоря откровенно, я и ныне с трудом могу в нем разобраться. Нравственных устоев у меня не было никаких, и неудивительно, если б я примирился с правом сильного, узаконенным в Рош-Мопра; но унижения и страдания, которым подвергал меня, пользуясь этим правом, дядя Жан, учили не мириться с произволом. Признавая лишь право смелого, я от всей души презирал тех пленников Рош-Мопра, что, убоявшись смерти, покупали себе жизнь ценою бесчестия. Лишения и пытки, какие терпели здесь узники — порою женщины и дети,— находили, на

мой взгляд, свое единственное объяснение в кровожадности Мопра. Не знаю, были ли мне доступны добрые чувства, они ли внушили мне сострадание к жертвам,— одно несомненно: я испытывал ту невольную эгоистическую жалость, что, преобразившись в чувство более возвышенное и благородное, превращается у людей цивилизованных в милосердие. Ведь по малейшей прихоти моих утеснителей я тоже мог подвергнуться любым пыткам; поэтому, несмотря на мою внешнюю грубость, сердце содрогалось у меня от страха и омерзения, тем более что, заметив, как я бледнею при виде гнусных истязаний, Жан насмешливо приговаривал:

— Вот так я и с тобою разделаюсь, если не будешь слушаться.

Знаю одно: от всех этих мерзостей мне становилось невмоготу, кровь застывала в жилах, горло сжимала спазма, и я убегал, боясь испустить вопль, подобный тем, что раздирали мой слух. Но со временем я огрубел, впечатлительность притупилась, а привычка помогла скрывать то, что именовали моим малодушием. Я стыдился этих признаков слабости и принуждал себя улыбаться тою же хищной улыбкой, какую я видел на лицах моих родичей. Но мне никак не удавалось подавить судорожный трепет, временами пробегавший по моим членам, и смертельный холод, проникавший в мои жилы всякий раз, как повторялись эти тягостные сцены. Непостижимое смятение охватывало меня при виде женщин, которых то приводили, то волокли насильно под кровлю Рош-Мопра. Юношеский пыл пробуждался во мне, и я с вожделением глядел на добычу моих дядей; но к вожделению, которое зарождалось во мне, примешивалась невыразимая тоска. В глазах всех, кто меня окружал, женщины были презренными существами; тщетно, когда жажда наслаждения искушала меня, пытался я отогнать от себя эту мысль. В голове у меня все мешалось, а взбудораженные нервы придавали моим ощущениям болезненное неистовство.

Надо признаться, что нравом природа наделила меня столь же крутым, как у моих сородичей; если же сердцем я и был добрее, то повадки у меня были не менее наглые, а забавы не менее грубые. Небесполезно будет рассказать здесь об одном происшествии, рисующем мою юношескую запальчивость, тем более что последствия его оказали влияние на всю мою дальнейшую жизнь.

III

В трех лье от Рош-Мопра, по дороге к Фроманталю, вы, должно быть, заметили в лесной чаще одинокую старую башню, знаменитую трагической кончиной какого-то узника: лет сто тому назад не в меру ретивый палач, проезжая мимо и желая угодить

сеньору из рода Монра, счел за благо повесить арестанта без суда и следствия.

Уже задолго до того времени, о котором я веду речь, башня Газо угрожала превратиться в развалины и потому пустовала; она числилась государственным владением, и в ней — не столько из милосердия, сколько по забывчивости — позволили ютиться старику поселянину, человеку весьма странному, жившему в полном одиночестве и известному в округе под именем папаши Пасьянса.

— О нем говорила мне бабка моей кормилицы,— вставил я,— она считала его колдуном.

— Вот-вот, и раз уж мы коснулись этого предмета, следует пояснить вам, что за человек был Пасьянс,— ведь мне еще не раз случится упомянуть о нем в моем рассказе, а довелось мне его узнать весьма близко.

Пасьянс был деревенский философ. Небо наделило его светлым умом, но образования ему не хватало; по воле неведомого рока ум его решительно восставал даже против той малости знаний, какие удалось ему приобрести. Так, будучи в Н-ской школе кармелитов, он не проявил даже видимости прилежания и убегал с уроков куда охотнее, нежели кто-либо из его сверстников. То был человек, по природе своей склонный к созерцательности, беспечный и кроткий, но гордый и одержимый неистовой страстью к независимости. Пасьянс верил в бога, но враждовал со всякой обрядностью, был строптив, весьма задирист и крайне нетерпим к лицемерам. Монастырские обычаи оказались не по нем, и стоило Пасьянсу разок-другой поговорить с монахами по душам — его выгнали из школы. С тех пор сделался он злейшим врагом, как он выражался, «монашеской шатии» и открыто стал на сторону священника из Брианта, которого обвиняли в янсенизме. Однако и священнику обучение Пасьянса удавалось не лучше, нежели монахам. При всей своей богатырской силе и большой любознательности, молодой крестьянин проявлял непреодолимое отвращение к какому бы то ни было труду — как физическому, так и умственному. Он придерживался своей самобытной философии, и оспаривать его доводы священнику было трудно. «Раз потребности у тебя умеренные, то и деньги тебе ни к чему, а раз нужды в деньгах нет, так и работать незачем»,— утверждал Пасьянс. Примером служил он сам: в том возрасте, когда страсти кипят, он соблюдал суровое воздержание — не пил ничего, кроме воды, ни разу не переступил порог кабачка, вовсе не умел танцевать, с женщинами был всегда до

крайности робок и неуклюж; да, впрочем, его странности, равно как суровый вид и слегка насмешливый ум ничуть им не нравились. И, словно радуясь, что за нелюбовь он может отплатить им презрением, или же находя утешение в мудром воздержании, он, как некогда Диоген, любил поносить суетные наслаждения ближних, а если иной раз во время деревенского празднества и видели его на гулянье, он отделывался какой-нибудь безобидной остротой, в которой явственно проглядывал неколебимо здравый смысл. Нравственная нетерпимость его проявлялась иной раз в желчных выходках, а речи наводили уныние или же пугали людей с нечистой совестью. Это создавало ему злейших врагов; ярые ненавистники Пасьянса или простаки, изумленные его чудачествами, утвердили за ним славу колдуна.

Я неточно выразился, сказав, что Пасьянсу не хватало образования. Ум его, жаждавший постигнуть великие тайны природы, стремился все схватить мгновенно. Уже на первых порах священник-янсенист, дававший ему уроки, был до чрезвычайности смущен и напуган дерзновенностью ученика, который осыпал его градом смелых вопросов и блистательных возражений; учитель вынужден был тратить столько красноречия, дабы успокоить и обуздать ученика, что у него не хватило времени преподать Пасьянсу грамоту, и в итоге десятилетнего обучения, которое всякий раз прерывали то ли по прихоти, то ли по необходимости, он так и не выучился читать. Потея от натуги, он с трудом разбирал полстраничек в час, да и то вряд ли понимал смысл большинства слов, выражающих отвлеченные понятия. И все же эти понятия вошли в его плоть и кровь — вы убеждались в этом, видя, слыша Пасьянса; а ведь просто чудо, как умел он передать их своим деревенским, одушевленным варварской поэзией языком! Слушая его, вы не знали, то ли восхищаться вам, то ли смеяться над ним.

Он же, всегда сосредоточенный, всегда независимый, не желал сколько-нибудь считаться с логикой. Стоик по природе и по убеждению, он страстно проповедовал отказ от суетных благ и, неколебимый в своем отречении, наголову разбивал бедного священника; в этих-то спорах, как часто говаривал мне Пасьянс в последние годы жизни, он и приобрел свои философские познания. Пытаясь устоять под ударами его мощной, как таран, самобытной логики, янсенист вынужден был ссылаться на свидетельства всех отцов церкви, противопоставляя им, а зачастую и подкрепляя ими, доктрины всевозможных ученых и мудрецов древности. Изумленные глаза Пасьянса, по собственному его выражению, «вылезали на лоб», слова замирали на устах, и, радуясь, что он может познавать без усилий, не давая себе труда изучать, он заставлял священника подолгу втолковывать себе воззрения и описывать жизнь какого-

либо великого мыслителя. Видя, что Пасьянс молчит и весь — внимание, наставник торжествовал; но в ту минуту, когда священнику казалось, что ему удалось привести этот мятежный ум к покорности, Пасьянс, заслышав, как деревенские часы бьют полночь, поднимался и, сердечно прощаясь с хозяином, который провожал его до крыльца, ужасал его каким-нибудь лаконичным, но едким замечанием, смешивая в одну кучу святого Иеронима, Платона и Евсевия, Сенеку, Тертуллиана и Аристотеля.

Священник не желал признаться самому себе в умственном превосходстве своего невежественного слушателя. И все же его до чрезвычайности удивляло, что, проводя с этим крестьянином немало зимних вечеров у камелька, он не испытывает ни утомления, ни скуки; он недоумевал, почему, беседуя с деревенским учителем или даже настоятелем монастыря, сведущими в латыни и в греческом, он неизменно либо ощущает скуку, либо замечает их неправоту. Зная, какой высоконравственный человек Пасьянс, священник объяснял его неотразимую силу властным, всепокоряющим обаянием добродетели. И каждый вечер смиренно каялся он перед богом, что в споре с учеником недостаточно твердо придерживался христианских догматов. Ангелу-хранителю своему он признавался, что, гордый своею ученостью, довольный благочестивым вниманием слушателя, несколько увлекается мыслью за пределы религиозных наставлений: слишком охотно ссылается на светских авторов и даже испытывает опасное удовольствие, прогуливаясь со своим учеником по полям древности и срывая цветы язычества, не окропленные святою водой крещения, аромат коих вдыхать с таким восторгом служителю церкви не подобает.

Пасьянс преданно любил священника: то был единственный его друг, единственный, кто связывал его с людьми, единственный, кто, держа перед ним светоч науки, приобщал его к богу. Крестьянин сильно преувеличивал ученость своего наставника. Ему было невдомек, что даже люди самые просвещенные и сведущие зачастую представляют себе превратно или не представляют вовсе путь развития человеческого познания. Пасьянс был бы избавлен от жестокого душевного смятения, если бы мог убедиться, что учитель его часто заблуждается и что виною тому сам человек, а не истина как таковая. Не подозревая того и видя, что вековой опыт не отвечает врожденному чувству справедливости, Пасьянс всем существом своим ушел в мечты; живя в одиночестве, бродя по окрестностям в любое время дня и ночи, погружаясь в размышления, столь несвойственные людям его сословия, он давал все более оснований верить басням, утверждавшим за ним славу колдуна.

Священника в монастыре не любили. Кое-кто из монахов, разоблаченных Пасьянсом, ненавидел его самого. Наставник и ученик

стали жертвой постоянных преследований. Невежественные монахи не остановились перед тем, чтобы очернить служителя церкви в глазах епископа, обвинив его, вкупе с колдуном Пасьянсом, в чернокнижии. В деревне и по всей округе началось нечто вроде религиозной войны. Все, кто был против монастыря, шли за священником, и наоборот. Пасьянс не удостаивал эту борьбу своим вмешательством. Как-то утром пришел он к своему другу и, обняв его, сказал со слезами:

— Вас одного признаю я в целом свете; не хочу, чтобы из-за меня вы терпели гонения; никого, кроме вас, у меня нет, никого я не люблю; вот и уйду я в лес, стану там жить, как первобытные люди. Досталось мне в наследство поле, дает оно ливров пятьдесят дохода; ни к какой другой земле я рук не приложил; да еще половина жалких моих прибытков шла сеньору в уплату десятины; надеюсь, мне уж до самой смерти не придется на другого, как лошадь, работать. Но ежели прогонят вас, лишат прихода и жалованья, и придется вам землю пахать, только подайте весточку — и увидите: руки у меня не отсохли от безделья.

Тщетно пастырь противился такому решению. Пасьянс ушел, унося с собой единственное свое имущество — куртку, что была у него на плечах, да книгу, где кратко излагалось учение его излюбленного философа — Эпиктета. Благодаря постоянному упражнению Пасьянс, не слишком себя переутомляя, мог прочитать до трех страниц этой книги в день. Деревенский отшельник «удалился в пустынь». Поначалу построил он в лесу шалаш из древесных ветвей, но его осаждали волки. Тогда он нашел убежище в подземелье башни Газо, всю нехитрую обстановку которого составляли постель из мха и деревянные чурбаки. Лесные коренья, дикие плоды и козье молоко — такова была обычная еда Пасьянса, весьма немногим уступавшая его прежней деревенской пище. Я ничуть не преувеличиваю: стоит взглянуть на крестьянина в иных уголках Варенны, чтобы составить себе представление о том, до какой степени воздержания может дойти человек без ущерба для здоровья. Но даже среди вареннских крестьян с их стоическими навыками Пасьянс был исключением. Вино ни разу не обагрило его уст, хлеб же всегда представлялся ему излишеством. Отшельник не презирал и учение Пифагора. С некоторых пор он встречался с другом лишь изредка, но всякий раз говорил священнику, что, не веря в переселение душ как таковое и не ставя себе за правило есть одну только растительную пищу, он, ограничиваясь ею, втайне испытывает радостное чувство, ибо отныне избавлен от необходимости каждодневно убивать невинных животных.

Пасьянс принял это необычайное решение в возрасте сорока лет; когда я впервые его увидел, ему уже минуло шестьдесят,

однако здоровье у него было могучее. Он привык из года в год совершать прогулки по всей округе. Но я подробнее расскажу об отшельнической жизни Пасьянса, когда буду описывать мою собственную жизнь.

В ту пору лесные объездчики, не столько движимые состраданием, сколько опасаясь «дурного глаза», разрешили Пасьянсу приютиться в башне Газо; они предупредили его, однако, что при первом же порыве бури башня может обрушиться ему на голову; на это Пасьянс философски возразил, что ежели ему суждено быть раздавленным, то любое дерево в лесу может рухнуть на него совершенно так же, как и кровля башни Газо.

Я должен просить вашего снисхождения за чрезмерные длинноты этого, быть может, слишком пространного жизнеописания. Но перед тем как окончательно вывести на сцену моего героя Пасьянса, следует еще добавить, что за двадцать лет взгляды священника изменились. Преклоняясь перед философией, этот славный человек невольно перенес свое преклонение на самих философов, далеко не правоверных. Внутреннее противоборство ему не помогло, и труды Жан-Жака Руссо увлекли его в область новых идей. И вот как-то утром, когда, посетив больных, священник возвращался домой, ему повстречался Пасьянс: на скалистом склоне Кревана он собирал коренья себе на обед. Священник уселся на друидическом камне рядом с крестьянином и стал излагать ему, сам того не подозревая, «Исповедание веры савойского викария». Пасьянс куда охотнее вкушал от плодов этой поэтической религии, нежели от прежней канонической веры. Он с такой готовностью внимал новым учениям в кратком пересказе священника, что это побуждало господина Обера не раз тайком, будто ненароком, встречаться со своим учеником на уединенных возвышенностях Варенны. Таинственные их собеседования воспламеняли воображение Пасьянса, которое он в своем отшельничестве сохранил нетронутым и пылким; беседы эти зажгли его всем волшебством идей и чаяний, какие наполняли брожением тогдашнюю Францию от версальского двора до самых глухих вересковых пустошей. Пасьянс увлекся Жан-Жаком и заставил прочитать себе все, что могло быть прочитано священником не в ущерб его пастырскому долгу. Выпросив затем у него «Общественный договор», Пасьянс уединился в башне Газо и тут же принялся разбирать книгу по складам.

Священник, осчастлививший Пасьянса этой манной небесной, постарался преподнести ее со всяческими оговорками и полагал, что, предоставляя своему ученику восхищаться величием мыслей и чувств философа, он, однако ж, достаточно предостерег его от анархической отравы. Но все, чему он учил Пасьянса ранее, все

удачные ссылки на древних, одним словом, вся теология верного служителя церкви, словно хрупкий мостик, была снесена потоком дикарского красноречия и необузданных восторгов, накопленных Пасьянсом в его отшельничестве. Напуганный священник вынужден был отступить. Заглянув в собственную душу, он обнаружил зияющие провалы в своем понятии о мире: оно трещало по всем швам. Под лучами всходившего на политическом горизонте нового солнца, вызвавшего переворот в умах, то косное, что было в его сознании, растаяло, подобно легкому снежку при первом веянии весны. Восторженность Пасьянса, своеобразие его поэтического уединения, налагавшего на него отпечаток вдохновенности, романтический характер их таинственных встреч (гнусные преследования монахов придавали какое-то благородство их бунтарству) — все это настолько захватило священника, что в 1770 году, будучи уже очень далек от янсенизма, он тщетно пытался найти опору в какой-нибудь религиозной ереси, дабы, утвердившись в ней, не скатиться в бездну философии, которая усилиями Пасьянса то и дело разверзалась перед ним и которую пастырь, вооруженный хитросплетениями римской теологии, безуспешно пытался обойти.

IV

— Я рассказывал вам о жизни и философских исканиях Пасьянса, как они мне представляются ныне,— помедлив, продолжал Бернар,— и мне довольно трудно вернуться к впечатлению от первой встречи с колдуном из башни Газо. Постараюсь, однако, в точности воспроизвести все, как оно сохранилось у меня в памяти.

Как-то летним вечером возвращался я с ватагой крестьянских мальчишек из лесу, где мы на манок ловили птиц; тут-то и привелось мне впервые проходить мимо башни Газо. Шел мне тринадцатый год; среди моих спутников я был самым рослым и сильным, к тому же я неукоснительно пользовался своими феодальными преимуществами. Отношения наши являли собой забавное сочетание панибратства и раболепия. Порой, когда охотничий пыл или усталость целого дня с особенной силой овладевали мальчишками, мне приходилось уступать их желаниям; и, как всякий деспот, я уже научился вовремя сдаваться и никогда не показывать вида, что принужден к этому силой необходимости; но при случае я брал свое, и тогда ненавистное имя Мопра заставляло их трепетать.

Уже смеркалось; мы весело шагали, сбивая камнями гроздья рябины и подражая птичьим голосам; вдруг мальчишка, который шел впереди, попятился и объявил, что нога его не ступит на тро-

пинку, проходящую мимо башни Газо. Двое других поддержали его. Третий возразил, что сходить с тропинки опасно, можно заблудиться — ночь на носу, а волков тьма-тьмущая!

— Ну, ты, негодник! — властно прикрикнул я и подтолкнул нашего проводника.— Ступай-ка по тропинке и не приставай со всяким вздором!

— *Чур меня!* — пролепетал мальчуган.— Я там колдуна в дверях заприметил; он все бормочет, будто *наговаривает;* чего доброго, станет меня весь год лихорадка трепать...

— Да нет же! — сказал другой.— Он не на всякого порчу напускает, он малышей не трогает; надо только пройти потихоньку и не задирать его; что он нам сделает?

— Были бы мы одни — так уж ладно, а то ведь с нами господин Бернар, тут беды не миновать!

— Ты что это плетешь, болван? — воскликнул я и замахнулся кулаком.

— Я тут, ваша милость, ни при чем,— отозвался мальчуган.— Не жалует этот старый *лешак* господ. Колдун говаривал не раз: «Чтоб ему, господину Тристану, со всеми его сыновьями на одном суку повиснуть!»

— Ах, так? Ну ладно! — ответил я.— Вот подойдем поближе, тогда видно будет! Кто за меня — иди со мной; кто меня бросит — тот трус!

Двое моих спутников, движимые самолюбием, пошли следом. Остальные сделали вид, что не отстают, но, пройдя несколько шагов, разбежались и скрылись в чаще; я же горделиво продолжал путь в сопровождении двух своих приспешников. Малыш Сильвен шагал впереди; завидев издалека Пасьянса, он поспешил снять шляпу; мы поравнялись со стариком, который стоял, опустив голову, и, казалось, не обращал на нас ни малейшего внимания, и тут перепуганный мальчуган дрожащим голосом пролепетал:

— Добрый вечер и... и доброй ночи, сударь!

Выведенный из задумчивости, колдун вздрогнул, словно пробудившись от сна, и я не без некоторого трепета уставился на его загорелое лицо, наполовину заросшее седой бородой. Голова у него была большая и совершенно лысая, а на оголенном лбу резко выделялись косматые брови, из-под которых, подобно молниям, сверкающим сквозь поблекшую в конце лета листву, блестели удивленные, глубоко посаженные глаза. Низкорослый, широкоплечий, он был сложен как гладиатор. На нем горделиво красовались неопрятные лохмотья. Лицо у него было широкое и грубое, как у Сократа; и если в его резких чертах и просвечивал незаурядный ум, мне не дано было это заметить. Он показался мне диким зверем, мерзким животным. Ненависть захлестнула меня; решив ото-

мстить за поношение всего моего рода, я вложил камень в рогатку и без дальних проволочек с силой метнул в колдуна.

Камень вылетел, когда Пасьянс отвечал на приветствие мальчугана.

— Добрый вечер, малыши, да благословит вас бог!..— только успел произнести старик; но тут камень, просвистев у него над ухом, угодил в ручную сову, ютившуюся среди плюща, которым была увита дверь. Сова, единственная отрада старика, готова была уже пробудиться в наступавших сумерках.

С пронзительным криком окровавленная птица упала к ногам хозяина. Пасьянс ответил воплем и замер в изумлении и ярости. Вдруг быстрым движением схватив за лапы трепещущую птицу, он поднял ее с земли и пошел нам навстречу.

— Говорите, негодники, кто швырнул камень? — громовым голосом закричал он.

Тот из моих спутников, что шел позади, поспешил удрать, а Сильвен, схваченный огромной ручищей колдуна, упал на колени и стал клясться пречистою девой и святою Соланж, покровительницей Берри, что неповинен в убийстве совы. Признаюсь, у меня было сильное искушение скрыться в чаще, предоставив мальчугану самому выпутываться из этой передряги как бог на душу положит. Я думал увидеть старого, дряхлого шарлатана и вовсе не желал угодить в лапы такому силачу; но гордость удержала меня.

— Горе тебе, ежели это ты, негодник! — приговаривал Пасьянс, обращаясь к моему дрожавшему от страха спутнику.— Мал ты еще, но как вырастешь, будешь бесчестным человеком. Мерзость-то какая: потехи ради причинил горе старику, а ведь я ничего дурного тебе не сделал! И хитрость-то какова, трусливый ты притворщик! А еще так учтиво со мной здоровается! Лгун ты, бесчестный обманщик! Отнял у меня единственного друга, единственное мое сокровище, да еще радуешься чужой напасти! Пусть приберет тебя господь поскорее, ежели суждено тебе по этой дорожке пойти!

— Ах, господин Пасьянс! — заплакал мальчуган, умоляюще складывая руки.— Не проклинайте меня, не накликайте на меня беду, не насылайте *порчу!* Это не я! Убей меня бог, если это я!..

— Ежели не ты, выходит, он, что ли? — заревел Пасьянс, схватив меня за шиворот и встряхнув так, словно пытался вырвать с корнем деревце.

— Да, я! — услышал он высокомерный ответ.— И знай, что зовут меня Бернар Мопра и что мужик, осмелившийся тронуть дворянина, достоин смерти!

— Смерти? Это ты угрожаешь мне смертью? — воскликнул старик, изумленный и негодующий.— Где же тогда господь бог, если такой сопляк может грозить старому человеку? Смерти! Да ты и впрямь Мопра, вылитое их подобие, пащенок проклятый! Едва на свет успел народиться, а уж смертью грозишь! Этакий волчонок! Да знаешь ли ты, что сам ее достоин, и не за то, что натворил, а за то, что ты отцовское отродье и дядюшкин племянник! Эх, и рад же я, что Мопра мне в руки попался! Посмотримка, больше ли веса в каком-то негодном дворянчике, нежели в добром христианине?..

С этими словами Пасьянс, словно зайчонка, приподнял меня над землей.

— А ты, малыш, ступай домой,— сказал он, обращаясь к моему спутнику,— да не бойся: Пасьянс на своего брата в обиде не будет; он прощает братьям своим, потому — они неученые, как и он, не ведают, что творят; но Мопра — они-то и читать и писать горазды, а злоба в них с того лишь крепчает... Ступай... Нет, постой! Хоть раз в жизни увидишь, как мужицкая рука дворянина высекла. Смотри же, малыш, запомни да родне своей расскажи.

Побледнев от гнева, судорожно стиснув зубы, я отчаянно сопротивлялся. С пугающим хладнокровием Пасьянс лозой привязал меня к дереву. Ему ничего не стоило своей широкой мозолистой рукой согнуть меня, как тростинку, а я ведь был на редкость силен для своих лет. К ветке дерева, нависшей надо мною, он привязал сову, и кровь ее капала прямо мне на голову; ужас пронизывал меня. И хотя я знал, что так наказывают охотничью собаку, если она кидается на дичь, у меня от ярости, отчаяния и воплей моего спутника помутилось в голове; я готов был поверить, что надо мной тяготеет какое-то ужасное заклятие; вздумай Пасьянс превратить меня в сову, я был бы наказан не столь жестоко. Напрасно осыпал я его угрозами, напрасно клялся чудовищно отомстить, напрасно мальчуган снова бросился на колени, тоскливо повторяя:

— Сударь, ради бога, ради вас самих, не троньте его! Мопра убьют вас.

Пасьянс расхохотался, пожал плечами и, вооружившись связкой остролиста, выпорол меня; должен сознаться: это было скорее унизительно, чем больно; едва увидев, что брызнула кровь, он остановился, отшвырнул розгу, и я даже заметил, как внезапно изменился он в лице, как дрогнул его голос, словно он раскаивался в своей жестокости.

— Мопра,— сказал он мне, скрестив руки на груди и глядя на меня в упор,— вот ты и наказан, вот ты и унижен, мой дворян-

чик; с меня хватит... Видел? Стоит мне пальцем шевельнуть — из тебя и дух вон; не пришлось бы тебе больше пакостить; схоронил бы я тебя тут, под каменным порогом. А кому в голову взбредет искать у старика Пасьянса балованного дворянского сынка? Да я, видишь ли, на зло непамятливый; только ты от боли застонал — я тебя и отпустил. Не люблю я людей терзать: я ведь не Мопра. А тебе не повредит разок самому испытать, каково-то муки терпеть. Может статься, это и отобьет у тебя охоту людей истязать, как из рода в род у Мопра повелось! Ступай! Зла я тебе не желаю; господь бог свершил свой праведный суд. А дядьям своим скажи, пусть хоть на угольях меня жарят или живьем лопают! Небось им кусок поперек горла станет. Подавятся!..

Пасьянс подобрал убитую сову и, угрюмо ее разглядывая, сказал:

— Крестьянский мальчонка такого бы не сделал. Это все дворянские забавы!

И уже с порога до нас донесся возглас, который вырывался у него в минуты больших невзгод и дал основание для его прозвища.

— *Терпение, терпение!* [1] — воскликнул он.

Если верить кумушкам, в его устах это было заклятие, и всякий раз, как Пасьянс его произносил, с обидчиками его непременно случалась беда. Сильвен перекрестился, чтобы отогнать нечистую силу. Страшное слово прогремело под сводами башни, и дверь с грохотом захлопнулась.

Спутник мой так спешил улизнуть, что чуть не забыл меня развязать, а едва только успел это сделать, взмолился:

— Перекреститесь, господом богом вас прошу, перекреститесь, того и гляди — заворожит он вас; не то волки нас загрызут, не то, чего доброго, *нечистая сила* повстречается!

— Дурак! — воскликнул я.— Подумаешь, велика важность! А вот ежели ты, на свою беду, кому-нибудь проболтаешься о том, что случилось, я тебя удушу!

— Ох, сударь, как же быть-то? — с наивной хитрецой возразил мальчишка.— Ведь колдун велел мне все отцу с матерью рассказать!

Я замахнулся, чтоб его ударить, но силы оставили меня. Задыхаясь от ярости, от всего, что перенес, я был почти что в обмороке; воспользовавшись этим, Сильвен сбежал.

Когда я пришел в себя, я был один; никогда прежде не заходил я в этот незнакомый уголок Варенны. Вокруг было пустынно до ужаса. Весь день нам то и дело попадались волчьи и кабаньи

[1] «Терпение» по-французски «пасьянс» (patience).

следы на песке. Наступила уже ночь; до Рош-Мопра оставалось еще два лье. Ворота будут закрыты, мост поднят; если я не доберусь туда до десяти часов, меня встретят ружейными залпами. Можно было поставить сто против одного, что, не зная дороги, я не смогу за час пройти два лье. Между тем я скорее согласился бы тысячу раз умереть, нежели просить убежища у обитателя башни Газо, сколь бы милостиво он мне его ни предлагал. Гордыня моя уязвлена была сильнее, нежели плоть.

Я наугад пустился дальше. Тропинка без конца петляла; множество стежек пересекало ее то тут, то там. Перейдя через огороженное пастбище, я вышел на равнину. Здесь всякий след тропинки терялся. Наудачу перебравшись через изгородь, я оказался в поле. Была темная ночь, но даже при свете дня немыслимо было бы отыскать дорогу среди мелких крестьянских наделов, тесно лепившихся друг к другу по склонам, заросшим колючим терновником. Я разглядел наконец вересковые заросли; за ними шел лес, и мои чуть улегшиеся страхи возобновились; признаюсь, я до смерти боялся. Натасканный на храбрость, как охотничий пес, я был отважен на людях. Движимый тщеславием, при свидетелях я был смельчаком, но среди ночи, предоставленный самому себе, измученный усталостью и голодом, хотя голода я не чувствовал, взбудораженный всем пережитым, я поддался невообразимому смятению. Так блуждал я до рассвета. Я знал наверняка, что дядюшки встретят меня побоями, и все же мечтал о возвращении, словно в Рош-Мопра меня ждал рай земной. Не раз до моего слуха доносился — по счастью, издалека — волчий вой; кровь леденела у меня в жилах, и, словно действительность была недостаточно страшной, разгоряченное воображение рисовало самые фантастические картины. Пасьянс слыл *оборотнем,* а вы знаете, что в оборотней верят в любом краю. И вот мне мерещилось, что страшный старик, оскалив *волчью пасть,* гонится за мною сквозь лесные дебри, а за ним несется голодная волчья стая. Кролики то и дело выскакивали у меня из-под ног, и от неожиданности я чуть не падал навзничь. Тогда, зная, что никто меня не видит, я начинал отчаянно креститься, ибо, притворяясь неверующим, я, конечно, в глубине души был одержим всевозможными суевериями, которые теперь пробудил во мне страх.

К утру я добрался наконец до Рош-Мопра. Переждав во рву, пока откроют ворота, никем не замеченный, проскользнул я к себе в комнату. И, коль скоро пристальное внимание моих дядей отнюдь не походило на неусыпную заботу, ночью никто не обнаружил моего отсутствия. Встретив на лестнице дядю Жана, я уверил его, что только встал; эта уловка оказалась удачной, и я на весь день завалился спать на сеновале.

V

Теперь я был в безопасности и с легкостью мог бы отомстить врагу; все побуждало меня к этому — хотя бы дерзостные речи, в которых Пасьянс поносил моих родичей, не говоря уж об оскорблении, нанесенном мне самому. Признаться в том, что меня подвергли порке, было невыносимо, а между тем стоило мне сказать лишь слово, и семеро Мопра мгновенно вскочили бы на коней, радуясь возможности проучить мужика, не платившего им никакой подати и достойного, по их мнению, виселицы в назидание прочим.

Однако дело не зашло так далеко: уж не знаю почему, мне непреодолимо претила такого рода месть, когда восемь человек нападают на одного. И хотя, обуянный гневом, я поклялся отомстить, меня удерживало какое-то чувство порядочности, которой я сам за собой не замечал. Возможно также, что слова Пасьянса, помимо моего ведома, пробудили в душе моей благодетельный стыд. Заслуженные проклятия, которые обрушивал он на дворянство, заставили меня, быть может, в какой-то степени проникнуться понятиями справедливости. Одним словом, то, что я считал дотоле проявлением слабости или предосудительной жалости, с некоторых пор стало представляться мне, пожалуй, чем-то более значительным и менее постыдным.

Как бы то ни было, обо всем случившемся я молчал. Я только поколотил Сильвена за то, что он удрал от меня и дабы неповадно ему было болтать о моих злоключениях. Горькое воспоминание о них уже заглохло во мне. Однажды, когда осень подходила к концу, случилось мне как-то вновь бродить по лесу вдвоем с Сильвеном. Незадачливый мальчишка постоянно льнул ко мне: только выйду я за ворота замка, а уж он, невзирая на грубое мое с ним обращение, не отстает от меня ни на шаг. Он защищал меня от нападок других мальчишек, утверждая, что я ничуть не злой, а только немного вспыльчивый. Сильвен принадлежал к тем кротким, безответным людям из народа, чье смирение питает гордыню и жестокость сильных мира сего. Так вот, мы расставляли с ним силки на жаворонков, когда мой деревенский паж, то и дело забегавший вперед, на разведку, вернулся и сказал:

— *Вот как пить дать повстречался мне оборотень, да с ним еще и крысолов.*

Услышав это предупреждение, я задрожал. Но злоба клокотала в моей груди, и я пошел прямо навстречу колдуну: возможно, что присутствие его приятеля, который был завсегдатаем Рош-Мопра и, как я полагал, должен был отнестись ко

мне сочувственно и с уважением, придавало мне некоторую уверенность в себе.

Маркас, прозванный «крысоловом», уничтожал крыс, куниц, ласок и других грызунов в жилищах и на полях всей округи. Благодеяния своего ремесла простирал он не только на одних берришонцев: ежегодно один-одинешенек пешком обходил он Ниверне, Марш, Лимузен и Сентонж, навещая каждый уголок, где только у людей хватало ума оценить его по заслугам. Его радушно встречали всюду — и в замках и в лачугах, так как этим ремеслом, переходившим в его семье от отца к сыну, успешно и добросовестно занимались и еще поныне занимаются все в роду Маркасов. Круглый год крысолов был обеспечен кровом и работой. С такой же непогрешимой правильностью, как земля вращается вокруг своей оси, он в определенный срок снова появлялся в тех же местах, где был год назад, с тою же собакой и тою же длинной шпагой в руках.

Маркас был не менее занятен и в своем роде даже более забавен, нежели «колдун» Пасьянс. Унылый и желчный, он был высок, сухощав и угловат, с повадками, исполненными медлительной величавости и задумчивости. Разговаривать он не любил и на все вопросы отвечал односложно; тем не менее он никогда не отступал от правил строжайшей вежливости и, обронив словечко, почтительнейшим и учтивейшим образом прикасался рукой к краю своей треуголки. Был ли он таким молчаливым по натуре, или же к благоразумной сдержанности вынуждало его ремесло бродячего крысолова, боязнь необдуманными речами отпугнуть кого-нибудь из своих многочисленных клиентов? Как знать! Маркас был вхож во все дома: днем перед ним раскрывались любые чердаки, вечером для него находилось местечко у любого кухонного очага. Ему было известно все, что делалось в округе, тем более что его задумчивый, сосредоточенный вид располагал к откровенности; однако он никогда не разносил сплетен.

Маркас, если хотите знать, меня поразил: я сам был свидетелем того, как родичи мои прилагали все усилия, чтобы заставить его разговориться. Они надеялись выведать у него, что делается в замке Сент-Севэр, у господина Юбера де Мопра, бывшего предметом их злобной вражды и зависти. И хотя *дон* Маркас (эту кличку он заслужил своими манерами и гордостью разорившегося идальго),— и хотя дон Маркас, говорю я, в этом случае, как и в прочих, оставался непроницаем, Мопра *Душегубы* всячески улещали его, надеясь вытянуть из него что-либо касательно Мопра *Сорвиголовы*.

Итак, никому не дано было знать, какие чувства испытывает Маркас по тому или иному поводу; оставалось предположить, что

он вообще не дает себе труда испытывать какие бы то ни было чувства. Однако видимое влечение к нему Пасьянса, который неделями сопутствовал крысолову в его скитаниях, наводило на мысль, что у Маркаса неспроста такой таинственный вид, что тут замешано какое-то колдовство, что не только длина его шпаги и ловкость пса способствуют столь чудесному истреблению крыс и ласок. Поговаривали тайком насчет чародейных трав, с помощью которых он выманивал из нор недоверчивых зверьков, но, поскольку это знахарство было всем на пользу, никто и не думал осуждать Маркаса.

Не знаю, наблюдали ли вы когда-нибудь такую охоту за грызунами. Она занятна, в особенности когда крыс ловят на сеновале. Человек и собака карабкаются по лесенке и с поразительной смелостью и проворством шныряют по чердачным балкам; пес, как кошка, почуявшая мышь, обнюхивает все дыры в стенах, делает стойку и выжидает в засаде, пока «дичь» не попадется на рапиру охотника, который то тут, то там протыкает снопы соломы и решительно истребляет врага; дон Маркас проделывал все это с подчеркнутой значительностью и важностью, и, уверяю вас, это зрелище представлялось столь же занимательным, сколь необычайным.

Завидев верного нашего слугу Маркаса, я счел возможным, презрев колдуна, отважно выступить навстречу. Сильвен глядел на меня с восхищением, да и сам Пасьянс, видимо, не ожидал подобной дерзости. Подчеркивая презрение к врагу, я притворился, что желаю говорить с Маркасом. Тогда Пасьянс легонько отстранил крысолова и, положив тяжелую руку мне на голову, спокойнейшим образом заметил:

— А ты, мой красавчик, подрос с тех пор.

Кровь бросилась мне в лицо. Я отшатнулся и высокомерно процедил:

— Поосторожней, мужик; помни, что, если уши у тебя целы, ты обязан этим только моей доброте.

— Уши целы!..— с горьким смехом повторил Пасьянс.

И, намекая на прозвище, присвоенное моей семье, добавил:

— Ты хочешь сказать, души у нас целы?.. *Терпение! Терпение!..* Недалеко, может статься, то время, когда мужики у дворян станут не уши, а головы и кошельки резать.

— Замолчите, почтеннейший! — торжественно произнес крысолов.— Такие речи философу не к лицу.

— А ты, пожалуй, прав,— ответил колдун.— И в самом деле, с чего это мне вздумалось мальчонку попрекать? Пожалуйся он своим дядьям, они бы меня живьем сварили: я ведь отстегал его

летом за одну проделку. Уж не знаю, что там у них в семействе приключилось, но только упустили такой удачный случай ближнему насолить!

— Знай, мужик,— сказал я,— что человек благородного происхождения мстит по-благородному. Не хотел я, чтобы за мою обиду расквитались с тобою те, кто тебя сильнее; годика два подожди, и тогда — слово дворянина! — я повешу тебя собственными руками на том самом дереве — уж я-то его сразу узнаю,— что перед входом в башню Газо. Это так же верно, как то, что я Мопра; а ежели ты добьешься у меня пощады, пускай тогда кличут меня оборотнем.

Пасьянс усмехнулся, но внезапно стал серьезным и устремил на меня глубокий взгляд, делавший его лицо столь примечательным. Обернувшись к крысолову, он сказал:

— Странное дело! Есть же что-то в этой породе! Возьми ты самого захудалого дворянчика, он, того и гляди, окажется куда отважнее самого храброго из нас. Э, да чего проще,— добавил он тихо,— так уж они приучены, а нам всё твердят, что мы, мол, рождены покорной скотинкой быть... Но... *Терпение!..*

С минуту он помолчал, потом очнулся от задумчивости и сказал с добродушной иронией:

— Так вам угодно меня повесить, милостивый государь *Соломинка?* Смотрите только, ешьте побольше, а то не дорастете до такого сучка, чтобы меня выдержал; впрочем, до той поры много еще воды утечет, то ли еще будет...

— Нехорошо, нехорошо,— с серьезным видом произнес крысолов.— Ну, да ладно, мир! Господин Бернар, простите Пасьянсу — стар он, не в себе!

— Ну уж нет! Пускай меня вешает! — воскликнул Пасьянс.— Он прав, так мне и надо! А ведь, в самом деле, пожалуй, так оно и будет, прежде чем что другое произойдет. Не торопись расти, барчук: сам-то я уж слишком быстро старюсь, а ты такой храбрец — не захочешь ведь ты напасть на беззащитного старика?

— А ты разве на меня не напал? — воскликнул я.— Разве это не произвол? Говори, разве это не подлость?

Пасьянс развел руками:

— Эх, детишки, детишки! Ты погляди, как рассуждает! Устами младенцев глаголет истина.

И он удалился в задумчивости, по своему обыкновению бормоча себе под нос какие-то изречения. Маркас снял шляпу и, отвесив мне поклон, бесстрастно сказал:

— Он неправ... жить надобно в мире... в покое... прощать!..

Оба исчезли, и на этом мое знакомство с Пасьянсом оборвалось. Возобнóвилось оно лишь долгое время спустя.

VI

Мне было пятнадцать лет, когда дед мой умер. Особой горести смерть его ни в ком не вызвала, но обитателей замка повергла в совершенное уныние. Дед являлся вдохновителем всех пороков, процветавших в Рош-Мопра, и, однако, при всей своей жестокости он был менее подлым, нежели его сыновья. С кончиной деда угас и тот ореол славы, который стяжала нам его отвага. Сыновья, дотоле еще соблюдавшие какую-то благопристойность, теперь все больше превращались в пьяниц и распутников. К тому же набеги их с каждым днем становились все гибельнее для окрестных жителей.

С нами оставалась лишь кучка наших ленников; содержали мы их хорошо, и все они были преданы нам, но обособленность наша и отсутствие поддержки давали себя знать. Насилия, чинимые нами, привели к тому, что округа обезлюдела. Мы внушали страх, и с каждым днем ширилась пустыня, образовавшаяся вокруг нас. Приходилось поэтому делать все более далекие вылазки, до самых окраин равнины. Здесь превосходство было не на нашей стороне; в одной из стычек тяжело ранили самого смелого из нас — дядю Лорана. Мы вынуждены были искать других источников существования. Их придумал Жан. Ловко шныряя по ярмаркам под самым разным обличьем, мы стали заниматься кражами. Были мы разбойниками, а сделались ворами, и презренное наше имя все более покрывалось позором. Мы стакнулись со всякими темными личностями, укрывавшимися в провинции, оказывая им, а они — нам, мошеннические услуги; так нам снова удалось избегнуть нищеты.

Я говорю «мы», ибо по смерти деда и я примкнул к этой своре душегубов. Уступая моим просьбам, дед незадолго до кончины разрешил мне разок-другой принять участие в набегах. Итак, перед вами человек, чьим ремеслом был разбой. Но оправдываться я не стану. Воспоминания отнюдь не пробуждают во мне угрызений совести — ведь не испытывает же их солдат, проделавший поход под командой своего генерала. Я полагал, что мы все еще живем в пору средневековья. Сила и мудрость установленных законов были для меня пустыми словами. Я чувствовал себя отважным и сильным, я сражался. Правда, последствия наших побед зачастую заставляли меня краснеть; но, не пожиная их плодов, я тем самым как бы умывал руки и нынче вспоминаю с удовлетворением, что не раз помогал поверженной жертве подняться и бежать.

Жизнь эта, утомительная, бурная и чреватая опасностями, отупляла. Она отвлекала от мучительных раздумий, какие могли бы зародиться в моей голове. Кроме того, она спасала меня от докучливой тирании Жана. Однако после смерти деда, когда шайка

Мопра докатилась до подвигов иного рода, я снова подпал под ненавистное владычество этого негодяя. К обману и мошенничеству я был вовсе не способен, к новому промыслу обнаруживал не только отвращение, но и полную непригодность. Дяди мои смотрели на меня как на обузу и снова стали меня притеснять. Они бы меня выгнали, но боялись, что, примирившись с обществом, я окажусь для них опасным врагом. Перед ними был выбор: либо кормить меня, либо опасаться; предполагалось (я узнал об этом позднее), придравшись к случаю, поссориться со мною, затеять драку и в драке от меня избавиться. Таково было предложение Жана. Но Антуан, более других унаследовавший твердость и своеобразную «отеческую» справедливость Тристана, возражал, доказывая, что я скорее полезен для шайки, нежели приношу ей вред. Я, мол, хороший воякa, а может случиться, что понадобится и лишняя пара кулаков. К тому же я могу еще «образоваться» по части жульничества: я еще весьма юн и весьма невежествен, но, если бы Жан захотел покорить меня кротостью, смягчить мою незавидную участь, а главное, просветить насчет истинного положения вещей, разъяснив, что для общества я погиб, что стоит мне появиться в кругу порядочных людей, как меня немедленно повесят,— тогда, быть может, мое упорство и гордыня будут сломлены, и я отступлю перед соблазном благополучия, с одной стороны, и перед неизбежностью, с другой. Прежде чем от меня избавиться, надо хотя бы испытать это средство.

— Ведь в прошлом году нас было десять Мопра,— заключил свои рассуждения Антуан.— Отец умер; ежели мы убьем Бернара, нас останется всего восемь.

Этот довод всех убедил. Меня выпустили из домашней темницы, где я томился уже несколько месяцев; выдали мне новую одежду, старое ружье заменили превосходным карабином, о каком я мог только мечтать; вкратце обрисовали, что ждет меня в обществе; стали наливать мне за обедом лучшее вино. Я обещал поразмыслить, а пока что тупел от безделья и пьянства, пожалуй, больше, нежели прежде от разбоя.

Между тем пребывание в темнице оставило во мне столь гнетущее воспоминание, что я поклялся самому себе скорее подвергнуться любым превратностям, уготованным мне во владениях французского короля, нежели снова терпеть жестокое обращение моих дядюшек. Только ложно понятое чувство чести удерживало меня в Рош-Мопра. Тучи над нашими головами явно сгущались. Вопреки нашим стараниям расположить к себе крестьян, те проявляли недовольство: свободолюбивые учения исподволь проникли и к ним; даже самым верным нашим слугам наскучило сытно есть да пить; они требовали денег, а их-то у нас и не было. Не раз

получали мы бумагу с приказом уплатить налоги в казну; заимодавцы, королевские сборщики податей и мятежные крестьяне — все было против нас, и все грозило нам гибелью, такою же, какая незадолго до того постигла в наших краях сеньора Племартэна [1].

Дядюшки мои долгое время тешили себя надеждой, что, примкнув к этому дворянчику, общими силами будут грабить население и оказывать сопротивление властям. Одолеваемый врагом, Племартэн обратился к нам за помощью, давая слово считать нас отныне друзьями и союзниками; но тут мы узнали о его поражении и злосчастной гибели. Понятно, что мы всегда были начеку. Приходилось либо покинуть эти края, либо готовиться к жестоким передрягам. Кое-кто из Мопра советовал избрать первый путь, другие упорствовали в желании последовать завету старика Мопра, хотя бы и пришлось погибнуть под развалинами замковой башни. Всякую мысль о бегстве или перемирии они называли трусливой и подлой. Боязнь заслужить подобный упрек, а быть может, и врожденное пристрастие ко всякого рода опасностям еще удерживали меня от разрыва с дядями; но во мне уже зрело отвращение к их гнусному образу жизни, готовое в любую минуту бурно прорваться наружу.

Как-то после обильного ужина мы остались за столом и продолжали попойку, толкуя бог весть о чем, да еще в самых непристойных выражениях. Погода была отвратительная; через плохо пригнанные рамы на пол стекала вода, а ветхие стены содрогались от бури. Ночной ветер свистел в трещинах сводчатого потолка, колебля пламя смоляных факелов. Во время попойки собутыльники немало издевались над моей пресловутою «добродетелью», объясняя мою дикую робость в обращении с женщинами обетом воздержания. Пробудив во мне таким образом ложный стыд, они и довели меня до беды. Защищаясь от грубых издевок и отвечая в том же духе, я пил до бесчувствия. Распаленный яростной игрой воображения, я стал похваляться, что буду дерзновенней и удачливей в любви, чем мои дяди, и докажу это с первой женщиной, которую занесет в Рош-Мопра. Под громкий хохот присутствующих вызов мой был принят. Взрывам дьявольского смеха вторили раскаты грома.

---

[1] Сеньор Племартэн оставил по себе в этом краю память, которая избавляет рассказ Мопра от упреков в преувеличении. Перо не в силах описать скотскую непристойность и утонченное мучительство, какими была отмечена жизнь этого безумца. Своей разнузданностью он поощрял разбойничьи феодальные обычаи, процветавшие в Берри до последнего дня старой монархии. Замок сеньора Племартэна был осажден, а сам он, невзирая на упорное сопротивление, схвачен и повешен. Многие из поныне здравствующих лиц, даже не очень преклонного возраста, знавали его.

Вдруг у ворот замка прозвучал рог. Все замерли в молчании. Трубными звуками Мопра созывали своих и давали о себе знать друг другу. Теперь же рог возвещал, что после дневного отсутствия в замок возвращается дядя Лоран и ждет, чтобы его впустили. У нас было достаточно поводов для опасений, поэтому, никому не доверяя, мы сами были ключниками и привратниками у себя в крепости. Жан поднялся, гремя связкой ключей, но замер, прислушиваясь к звукам рога, которые означали, что охотник вернулся с добычей и ждет, чтоб его встретили. В мгновение ока все Мопра, кроме меня, с факелами в руках очутились у опускной решетки; я же, охваченный глубоким безразличием ко всему и хмельной, едва держался на ногах.

— Если только это женщина,— воскликнул Антуан, выходя,— клянусь спасением отцовской души, щенок, мы присудим ее тебе! На словах ты удалец, а вот посмотрим, каков ты на деле!

Я по-прежнему сидел, облокотившись о стол, перемогая дурноту.

Дверь снова отворилась, и в залу уверенной походкой вошла необычайно одетая женщина. Я должен был сделать над собой усилие, чтобы окончательно не растеряться и понять, что нашептывал мне на ухо один из дядюшек. В самый разгар облавы на волков, в которой приняли участие многие из окрестных сеньоров с женами, лошадь этой юной особы испугалась и понесла. Когда же разгоряченный конь, ускакав примерно на одно лье от места охоты, наконец успокоился, всадница решила повернуть назад; но, плохо зная Варенну, все уголки которой похожи один на другой, она окончательно сбилась с пути. Гроза и ночной мрак повергли ее в полное замешательство. Попавшийся ей навстречу Лоран предложил проводить ее в замок Рошмор, где он якобы состоял лесничим; этот замок расположен был, по его словам, совсем неподалеку, в действительности же отстоял более чем на шесть лье от места их встречи. Дама приняла его предложение. Не будучи знакома с владелицей Рошмора, она находилась с ней в отдаленном родстве и льстила себя надеждой, что ей окажут гостеприимство. Никого из Мопра она никогда в глаза не видела: к тому же ей и в голову не приходило, что она находится поблизости от их логова. Поэтому незнакомка и последовала столь доверчиво за своим проводником; ей никогда в жизни не приходилось бывать в Рош-Мопра, и, позволив проводить себя в этот приют наших распутств, она вступила в залу, не подозревая, что попала в ловушку.

Я протер осоловевшие глаза и уставился на эту юную красавицу; от нее веяло спокойствием, прямодушием и чистотой, каких я не видывал на лицах тех, что попадали за решетку нашего зам-

ка (все это были либо наглые, продажные твари, либо покорные жертвы), и мне почудилось, что я вижу сон.

В рыцарских легендах, прочитанных мною, подвизались феи. Я почти поверил, что не то волшебница Моргана, не то Урганда явилась вершить над нами суд и расправу; на минуту мной овладело желание пасть на колени, чтобы оспорить приговор, ставивший меня на одну доску с моими дядями. Лоран поспешил предоставить слово Антуану, и тот, обратившись к незнакомке со всей учтивостью, на какую только был способен, принес извинения за охотничий наряд — свой и своих друзей. Они — племянники и двоюродные братья госпожи де Рошмор и ждут, когда эта крайне набожная дама вернется из часовни, закончив благочестивую беседу со своим духовником, дабы всем вместе сесть за стол.

При виде простодушия и доверчивости, с какими незнакомка выслушала эту забавную ложь, сердце мое сжалось, но я не отдавал себе отчета в своих чувствах.

— Я не желала бы беспокоить госпожу де Рошмор,— ответила дама дяде Жану, который, словно сатир, прилежно увивался вокруг нее,— уж очень мучит меня, что в эту минуту отец мой и друзья тревожатся обо мне: не хотелось бы здесь задерживаться. Передайте госпоже де Рошмор, что я молю ее предоставить мне свежего коня и проводника, чтобы я могла вернуться туда, где, как я полагаю, меня ждут.

— Сударыня,— с твердостью возразил Жан,— немыслимо снова пускаться в путь в такую непогоду; к тому же это лишь отдалит вашу встречу с друзьями, которые вас разыскивают. Дюжина наших слуг с факелами в руках, верхом на добрых конях тотчас же отправятся в разных направлениях; они обрыщут все уголки Варенны. Не иначе как через два часа,— и это самое большее,— родные узнают о вас, и вы увидите их здесь, где им уготовлен гостеприимный кров. Будьте же покойны и выпейте чего-нибудь подкрепляющего, чтобы восстановить свои силы: ведь вы промокли и разбиты усталостью.

— Я чувствовала бы голод, если б меня не одолевала тревога,— улыбаясь, ответила дама.— Попробую поесть; только не хлопочите, мне ничего особенного не нужно. Вы и так добры сверх меры.

Она подошла к столу, где, как прежде, облокотившись, сидел я, и, не обращая на меня внимания, взяла что-то из фруктов, лежавших на блюде. Я обернулся и уставился на нее с глупым и наглым видом. Она надменно выдержала мой взгляд. Так, по крайней мере, мне показалось. Позже я узнал, что она меня даже и не заметила, ибо, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойной и отплатить доверием за оказанное ей гостеприимство, она была весьма смущена неожиданным присутствием такого множества

странных, подозрительного вида, дурно одетых мужчин. И все же опасения не приходили ей в голову.

Я расслышал, как где-то рядом один из дядюшек сказал Жану:

— Ловко! Все идет как по маслу: попалась птичка в сети! Надо ее напоить — она защебечет.

— Погоди-ка,— ответил Жан,— постереги ее, тут дело серьезное, почище, чем простое развлечение. Надо нам посовещаться, тебя позовут, когда понадобится; пригляди только за Бернаром.

— А что? — резко спросил я, оборачиваясь к Жану.— Разве эта *девка* не моя? Разве дядя Антуан не клялся мне спасением отцовской души?

— Черт побери! А ведь он прав!..— сказал Антуан, подходя к нам, тогда как остальные Мопра окружили даму.— Послушайка, Бернар, я сдержу слово, но при одном условии...

— Каком же?

— Очень простом: пока что помалкивай — пусть красотка не знает, что попала не к старой Рошморихе.

— За кого вы меня принимаете? — ответил я, нахлобучив шляпу на глаза.— Дурак я, что ли? Постойте-ка... Хотите, притащу сверху бабкино платье и прикинусь благочестивой Рошморихой?

— Хорошая мысль,— сказал Лоран.

— Да, но прежде мне надо с вами потолковать,— возразил Жан.

И, подав братьям знак, он увел их прочь. Мне показалось, что, выходя, Жан поручил Антуану за мною присматривать, но тот с непонятным мне упорством отказался и пошел вместе с ними. Я остался наедине с незнакомкой.

Я был ошеломлен, растерян, и пребывание с ней наедине скорее повергло меня в замешательство, нежели обрадовало; затем я постарался отдать себе отчет в таинственных событиях, происходящих вокруг, и в угаре винных паров мне стало мерещиться довольно правдоподобное, но, как оказалось, совершенно неверное объяснение.

Все, чему я был свидетель, я толковал так: во-первых, эта столь безмятежная и нарядная дама — какая-нибудь веселая девица из тех, что не раз попадались мне на ярмарках; во-вторых, встретив ее на большой дороге, Лоран доставил ее в замок для развлечения всей честной компании; и, в-третьих, ей рассказали о моем пьяном бахвальстве и решили, подглядывая за нами в замочную скважину, проверить, насколько я опытен в обхождении с прекрасным полом... И как только меня осенила эта мысль, я вскочил, подошел к двери, дважды повернул ключ и задвинул засов, после чего возвратился к даме с твердым намерением не дать ей повода посмеяться над моей робостью.

Незнакомка сидела под навесом очага и, склонившись над огнем, сушила промокшую одежду, поэтому она не обратила внимания на то, что я запер дверь; но когда я подошел к ней, странное выражение моего лица заставило ее вздрогнуть. Для начала я решил ее поцеловать; однако стоило ей поднять на меня глаза, и — о чудо! — развязность моя мгновенно испарилась, у меня хватило духа только сказать:

— Ей-ей, барышня, вы прелестны и мне нравитесь; это так же верно, как то, что я зовусь Бернар Мопра.

— Бернар Мопра? — воскликнула она, вскакивая.— Вы, вы Бернар Мопра? Так прекратите же эти речи, вспомните, с кем вы говорите! Разве вам ничего не сказали?

— Мне-то не сказали, да я сам догадываюсь,— ухмыляясь, ответил я, подавляя в себе невольное почтение, какое внушала мне ее внезапная бледность и властное обращение.

— Догадываетесь — и так со мной разговариваете? — сказала она.— Возможно ли? Впрочем, мне ведь говорили, что вы дурно воспитаны, а все-таки мне всегда хотелось с вами встретиться.

— Неужто? — все так же с ухмылкой ответил я.— Эх вы, принцесса с большой дороги! Небось многих знавали на своем веку? Позвольте-ка, моя прелесть, приложиться к вашим губкам, и увидите, что я воспитан ничуть не хуже моих дядюшек, а с ними вы только что были так милы...

— Ваших дядюшек? — воскликнула она и, внезапно схватив свой стул, как бы движимая инстинктом самозащиты, поставила его между нами.— О боже! боже! Стало быть, я не у госпожи Рошмор?

— Звучит похоже, начало, во всяком случае, такое же...

— Рош-Мопра!..— прошептала она, затрепетав, словно лань, которая слышит завыванье волчьей стаи.

Губы ее побелели, черты исказила тревога. Я тоже задрожал, охваченный невольным состраданием, и чуть было сразу не переменил обращение. «Что же ее удивляет? — думалось мне.— Уж не играет ли она комедию? Предположим, Мопра и не подслушивают нас где-нибудь здесь, под дверью; не перескажет ли она им потом слово в слово все, что произойдет между нами? Но ведь она дрожит как осиновый лист. А что, если она комедиантка?Я видел такую — она играла Женевьеву Брабантскую и плакала так, что вправду ей поверишь». Весьма озадаченный, я растерянно глядел то на нее, то на двери, ожидая, что вот-вот под громкий хохот моих дядюшек они распахнутся настежь.

Эта женщина была хороша как ясный день. Не думаю, чтоб когда-либо еще существовала такая красавица. Это не только мое мнение: слава о ее красоте и по сию пору не померкла в наших

краях. Стройная, довольно высокого роста, она держалась удивительно непринужденно. У нее были черные глаза, белая кожа и волосы как вороново крыло. В улыбке и взоре непостижимо сочеталось выражение доброты и проницательности; казалось, небо подарило ей две души: одну — воплощение ума, другую — воплощение чувства. Она по натуре была весела и бесстрашна: горести людские еще не посмели коснуться этого ангела; ничто еще не заставило ее страдать, ничто не научило подозрительности и страху. Итак, страдала она впервые, и это я, грубое животное, был тому виною. Я принимал ее за распутную девку, она же была ангелом чистоты.

Юная Эдме де Мопра приходилась мне двоюродной теткой. Она была дочерью господина Юбера, прозванного «кавалером», которому я доводился внучатым племянником. Господин Юбер, будучи уже в летах, вышел из мальтийского ордена и только тогда женился; моя тетушка и я были ровесниками. И мне и ей исполнилось семнадцать лет, разница в возрасте составляла несколько месяцев. И это была наша первая встреча! Та, кого я любой ценой, ценой собственной жизни, обязан был бы защищать против всех и вся, удрученная стояла передо мной, трепеща, словно жертва перед палачом.

Я озабоченно шагал по зале. Она сделала над собой огромное усилие, подошла ко мне и, назвав свое имя, добавила:

— Не может быть, чтобы вы оказались таким же негодяем, как все эти разбойники; я знаю, какую гнусную жизнь они ведут. Вы молоды, ваша мать была добрая и умная женщина. Отец мой хотел усыновить и воспитать вас. Он до сих пор сожалеет, что ему не удалось извлечь вас из пропасти, в которой вы очутились. Он писал вам не раз. Неужто вы не получали его писем? Вспомните об узах крови, Бернар, ведь вы мой близкий родственник; зачем же хотите вы надо мной надругаться? Убьют меня тут или станут пытать? Почему они обманули меня, сказали, что я в Рошморе? Почему ушли с таким таинственным видом? Что они затевают? Что здесь происходит?

Слова замерли у нее на устах: снаружи донесся ружейный выстрел. Ему ответила кулеврина, и зловещие звуки рога возвестили тревогу, потрясая мрачные стены башни. Мадемуазель де Мопра упала на стул. Я не двинулся с места, подозревая, что все это лишь продолжение комедии, придуманной, чтобы надо мной посмеяться; я твердо решил не обращать внимания на тревогу, пока не получу веские доказательства, что она не ложная.

— Ну что ж,— сказал я, подходя к гостье,— признайтесь, что это шутка: вы не мадемуазель де Мопра и хотите испытать, насколько я искушен в любви.

— Клянусь богом,— ответила она, беря меня за руки своими холодными как лед руками,— я Эдме, ваша родственница, ваша пленница, ваш друг; ведь я всегда помнила о вас, всегда умоляла отца не оставлять вас... Но послушайте, Бернар, там идет перестрелка, я слышу ружейные залпы! Это, наверно, отец! Он явился за мной, его убьют! Ах, Бернар, голубчик, бегите туда! — вскричала она, упав передо мной на колени.— Не давайте им убить его! Уговорите их пощадить отца! Ведь это лучший из людей! Скажите им: раз уж они так нас ненавидят, так жаждут пролить нашу кровь, пусть убьют меня! Пусть вырвут мое сердце, но пощадят отца...

Снаружи донесся негодующий возглас.

— Где этот трус? Где этот щенок проклятый? — кричал дядя Лоран.

Он стал неистово дергать дверь; она была надежно заперта и выдержала его натиск.

— Вот негодяй! Тешится любовью, а нас тут покамест потрошат. Бернар, стражники напали! Дядя Луи убит. Выходи, Бернар, бога ради, выходи!

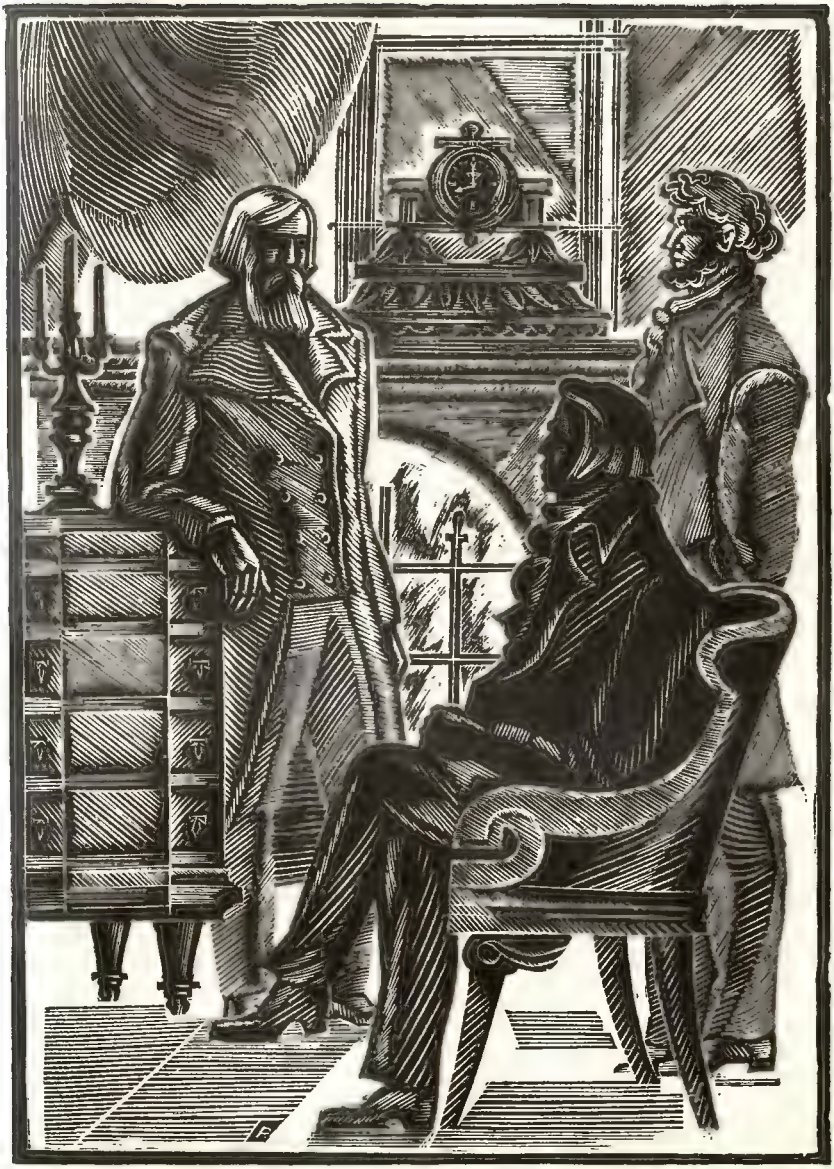
— Ну вас к черту! Провалитесь хоть все к черту в пекло! — закричал я.— Туда вам и дорога! Ни единому слову не верю! Не так я глуп, как вы воображаете; трусы вы и лгуны вдобавок!.. А я поклялся, что эта женщина будет моя, и отпущу ее, когда мне вздумается!

— Сам ступай к черту!..— ответил Лоран.— Нечего прикидываться...

Мушкетные выстрелы раздавались все чаще. Послышались ужасные вопли, Лоран перестал ломиться в дверь и поспешил на шум. Подобная торопливость столь убедительно подтверждала истинность его слов, что приходилось им верить. При мысли, что меня могут обвинить в трусости, я бросился к дверям.

— О Бернар! О господин де Мопра! — воскликнула Эдме, неотступно следуя за мной.— Позвольте мне пойти с вами; я брошусь к ногам ваших дядюшек, я заставлю их прекратить эту бойню, отдам им все, что у меня есть, жизнь мою, ежели они того пожелают, но спасу отца!..

— Погодите,— сказал я, обернувшись к ней.— А вдруг они надо мной подшутили? Пока прохвосты слуги постреливают во дворе, дядюшки стоят, пожалуй, под дверью да только и ждут, чтобы поднять меня на смех. Тетка ли вы мне двоюродная или какая-нибудь там... Поклянитесь сначала, тогда и я тоже дам клятву. Если вы доступная девица, а я поверю вашему кривлянью и оставлю вас в покое, клянитесь, что станете моей любовницей и не потерпите никого другого возле себя, пока я не воспользуюсь



«Мопра»

своим правом; иначе, даю слово, я проучу вас, как проучил нынче утром мою пегую суку Флору. Если же вы Эдме, клянусь, что своим телом заслоню вашего отца от всякого, кто покусится на его жизнь. Но что обещаете мне вы, какую клятву дадите?

— Спасите отца, и клянусь, я стану вашей женой! — воскликнула она.

— За мной дело не станет! — ответил я, воодушевленный ее порывом, хотя ее благородная самоотверженность и недоступна была моему разумению.— Но я должен иметь залог, чтобы в любом случае не остаться в дураках!

Она без сопротивления позволила себя поцеловать; щеки ее были холодны как лед. Машинально пошла она за мною к выходу; я вынужден был ее оттолкнуть, и хотя сделал это легонько, она упала, словно без чувств. Мало-помалу я начинал понимать, в каком очутился положении: в коридоре не было ни души, а крики и пальба, доносившиеся снаружи, становились все более угрожающими. Я бросился к оружию, но вдруг, побуждаемый подозрительностью, а возможно, и каким-то иным чувством, вернулся и на два поворота ключа запер двери залы, где оставил Эдме. Сунув ключ в карман и на бегу заряжая ружье, я поспешил к укреплениям.

Оказалось, что на нас просто напали стражники, все это не имело никакого отношения к мадемуазель де Мопра. Заимодавцы добились приказа о взятии нас под стражу. Судейские, терпевшие от Мопра побои и поношение, потребовали у королевского прокурора при областном суде в Бурже распоряжения об аресте, которое весьма усердно старались выполнить вооруженные стражники. Они рассчитывали, что ночью, застигнув нас врасплох, легко с нами справятся. Но мы оказались более подготовленными к обороне, нежели они полагали; наши люди были отважны и хорошо вооружены; к тому же бились мы не на жизнь, а на смерть, дрались с храбростью отчаяния, и в этом было наше огромное преимущество. Наш отряд состоял из двадцати четырех человек, у противника было более полусотни солдат. Десятка два крестьян метали в нас камни с обоих флангов, но они причиняли больший ущерб своим союзникам, нежели нам.

Ожесточенная схватка продолжалась около получаса, затем враг, устрашенный решительным отпором, отступил и прекратил атаку; но вскоре он вновь перешел в наступление и был отброшен, понеся потери. Атака опять была приостановлена. Нам троекратно предлагали сдаться, обещая сохранить жизнь. Антуан Мопра ответил непристойной бранью. Стражники были в нерешительности, но не уходили.

Я храбро сражался, выполняя то, что почитал своим долгом. Передышка затянулась. Во мраке нельзя было судить о местона-

хождении неприятеля; сберегая драгоценный порох, мы не решались стрелять наугад. Опасаясь, что враг возобновит нападение, все мои дяди, как пригвожденные, стояли у крепостной стены. Дядя Луи был тяжело ранен. Я вспомнил о моей пленнице. В начале боя я слышал, как Жан Мопра предложил в случае нашего поражения выдать ее неприятелю при условии, что тот снимет осаду, если же нет — повесить на глазах у врага. Я не мог более сомневаться в правдивости слов незнакомки. Победа клонилась как будто на нашу сторону, и о пленнице забыли. Тут я заметил, что хитрец Жан, оторвавшись от любезной его сердцу кулеврины, из которой он палил с таким увлечением, во мраке крадется куда-то, словно кот. Неимоверная ревность овладела мною. Я бросил ружье и поспешил за Жаном, стиснув в руке нож и готовый, пожалуй, заколоть хитреца, если только он коснется той, которую я почитал своею добычей. Он подошел к двери, попытался ее открыть и внимательно поглядел в замочную скважину, желая убедиться, что жертва от него не ускользнула. Перестрелка возобновилась. Жан с поразительным при его хромоте проворством повернулся и, припадая на одну ногу, побежал к укреплениям. Притаившись во мраке, я пропустил его мимо и не пошел за ним. Не жажда убийства, а другая страсть овладела мною. Вспышка ревности воспламенила мою чувственность. От порохового дыма, крови, шума, грозившей нам опасности и водки, к которой мы то и дело прикладывались вкруговую, желая подбодриться, голова моя была как в огне. Достав из-за пояса ключ, я поспешно отпер двери, и когда предстал перед пленницей, я не был уже тем колеблющимся, неотесанным юнцом, которого ей удалось растрогать. Перед нею стоял свирепый разбойник из Рош-Мопра, на сей раз во сто крат более опасный, нежели прежде. Она стремительно бросилась мне навстречу. Я раскрыл ей свои объятия, но это не испугало ее; с возгласом: «Где мой отец?» — она кинулась мне на грудь.

— Отец? — сказал я, целуя ее.— Да его там нет. Он тут ни при чем, как, впрочем, и ты. Мы попросту *уложили* с дюжину стражников, вот и все. И, как всегда, победа за нами. Так что не тревожься об отце, как я не тревожусь о королевских служаках. Да будет мир меж нами, и предадимся любви!

С этими словами я поднес к губам кувшин с вином, оставленный на столе. Но она властно вырвала его у меня из рук; это придало мне смелости.

— Не пейте больше,— сказала она,— подумайте, что вы говорите. Так это правда? Можете вы поклясться честью, спасением души вашей матушки?

— Сущая правда, клянусь вашими прелестными розовыми губками,— отвечал я, пытаясь снова ее поцеловать.

Но Эдме в страхе отшатнулась.

— О боже! — воскликнула она.— Он пьян! Бернар! Бернар! Вспомните ваше обещание! Где ваше слово? Теперь-то вы ведь знаете, что я ваша кузина, ваша сестра!

— Ты либо моя любовница, либо жена,— твердил я, продолжая ее преследовать.

— Вы негодяй! — возразила она, отгоняя меня хлыстом.— Чем заслужили вы какие-то права на меня? Спасли моего отца?

— Я поклялся его спасти и спас бы, конечно, будь он здесь; стало быть, все равно что спас. А знаете ли, ежели бы я на этом попался, в Рош-Мопра придумали бы для меня самую жестокую, самую мучительную пытку! Да меня бы сожгли на медленном огне за измену! Я клялся, не таясь, меня могли услышать. Правда, это не слишком меня заботит; не так уж я дорожу жизнью — днем раньше, днем позже. Но вашими милостями, моя красотка, я дорожу и разыгрывать томного рыцаря не намерен; насмехаться над собою я не позволю. Решайтесь: либо вы будете моею сейчас же, либо, клянусь честью, я снова вмешаюсь в перепалку, и, если меня убьют, пеняйте на себя. Вы лишитесь вашего рыцаря, и вам придется иметь дело с семерыми Мопра сразу. Их-то в узде не удержишь! Боюсь, что лапки у вас для этого чересчур слабы, прелестная моя пташечка!

Я ронял бессвязные слова с единственной целью — отвлечь ее внимание и завладеть ее руками, заключить ее в объятия; на нее же мои речи произвели сильное впечатление. Отбежав в другой конец залы, она попыталась отворить окно; но ей не под силу было сдвинуть с места заржавевшую задвижку свинцовой рамы. Старания ее меня рассмешили. Охваченная тревогой, она скрестила руки и замерла; потом выражение ее лица внезапно переменилось,— казалось, она приняла решение: подошла и, улыбаясь, протянула мне руку. И так прекрасна была она в ту минуту, что словно туман поплыл у меня перед глазами и на мгновение скрыл ее от моих взоров.

Простите мне это ребячество, но я должен рассказать вам, как она была одета. После той необычайной ночи она никогда больше не надевала этот наряд, и все же я запомнил его до мелочей. Давно это было. Ну что же, проживи я еще столько, не забуду ни малейшей подробности — так поразил меня ее вид среди смятения, царившего вовне и внутри меня, когда ружейная пальба гремела на крепостном валу, молнии бороздили небо и буйный трепет стремительно гнал мою кровь от сердца к мозгу и обратно.

О, как она была хороша! Образ ее и сейчас еще стоит у меня перед глазами. Говорю вам, словно сейчас вижу ее в наряде ама-

зонки, какой носили в те времена: на ней была очень широкая суконная юбка; стан обтянут жемчужно-серого цвета атласным корсажем на пуговичках и перехвачен красным шарфом. Поверх надет, по тогдашней моде, короткий охотничий жакет, обшитый галунами и открытый на груди; серая фетровая шляпа с широкими, загнутыми спереди полями, увенчанная полудюжиной красных перьев, покрывала ее ненапудренные волосы, приподнятые на лбу и ниспадавшие на спину двумя длинными косами, как носят уроженки Берна. Косы такие длинные, что почти касались земли.

Это, как мне показалось, волшебное одеяние, и цветение юности, и благосклонность, с какою Эдме как будто принимала мои домогательства,— всего этого было довольно, чтобы я обезумел от любви и восторга. Я не мыслил ничего более сладостного, нежели обладание прекрасной женщиной, которой неведомы непристойные слова и покаянные слезы. Моим первым порывом было схватить ее в объятия, но, подчиняясь непобедимой потребности преклонения, отличающей первую любовь даже у самых грубых людей, я упал к ее ногам и обнял ее колени. И при этом я все еще воображал, что предмет моего поклонения самая настоящая распутница. Тем не менее я был близок к обмороку.

Она обняла мою голову своими прекрасными руками, восклицая:

— Ведь я знала, знала, что вы не такой, как эти выродки! Ах, боже мой! Вы спасете меня! Хвала создателю!.. Голубчик мой, скажите же — куда?.. Скорей!.. Бежим!.. Через окно? О нет, сударь, я не боюсь! Идемте же!

Я словно очнулся от сна, и, признаюсь, пробуждение мое было чрезвычайно тягостным.

— Что это значит? — спросил я, вставая с колен.— Вы мной играете? Разве вы забыли, где находитесь? Уж не считаете ли вы меня ребенком?

— Знаю, что я в Рош-Мопра,— бледнея, ответила она,— и надо мной, того и гляди, надругаются, убьют, если мне не удастся внушить вам хоть каплю жалости! Но мне это удастся! — воскликнула она, падая к моим ногам.— Вы не такой, как эти негодяи! Вы слишком юны, вам ли быть таким чудовищем! Я по лицу вашему прочла, что вам жаль меня. Вы поможете мне бежать, ведь правда? Правда же, *душенька*?

Она схватила мои руки и стала осыпать их горячими поцелуями, пытаясь поколебать мою решимость; я слушал и тупо глядел на нее, что едва ли могло ее успокоить. Мое сердце было мало доступно великодушию и состраданию, а в эту минуту страсть, более властная, нежели все прочие чувства, заглушила в нем жа-

лость, которую пыталась пробудить Эдме. Я пожирал ее глазами, не понимая ни слова из того, что она говорит. Одно только занимало меня: нравлюсь ли я ей или она хочет воспользоваться мною как орудием своего освобождения.

— Вижу, вы меня боитесь,— сказал я.— Напрасно: ведь я не причиню вам зла. Вы так красивы, что я жажду лишь ваших ласк.

— Да, но ваши родичи убьют меня,— воскликнула она,— вы хорошо это знаете! Неужто вы дадите меня убить? Ведь я вам нравлюсь, спасите же меня, потом я вас полюблю.

— О да, конечно, вы меня полюбите потом,— ответил я, глупо и недоверчиво усмехаясь,— потом, когда подговорите стражников меня повесить, а ведь я как-никак изрядно их отделал. Ну нет, прежде докажите, что меня любите, а уж потом я вас спасу! Тоже — потом!..

Тщетно гонялся я за нею по комнате: она ускользала. Но гнева она не обнаруживала и пыталась повлиять на меня ласковыми уговорами. Щадя во мне свою последнюю надежду, несчастная боялась меня разозлить. О, если бы мне дано было понять, что это за женщина, понять, какую роль я играю! Но, одержимый одной неотвязной мыслью, достойной хищного волка, я был на это не способен.

В ответ на все ее мольбы я твердил одно:

— Любишь ты меня или глумишься надо мной?

Наконец она поняла, с каким животным имеет дело, и решилась. Обвив руками мою шею, спрятав лицо у меня на груди, она позволила целовать свои волосы. Потом, мягко отстранив меня, сказала:

— Ах, боже мой! Неужто ты не замечаешь, что я люблю тебя, что ты понравился мне с первой же минуты, как я тебя увидела? Но пойми же, твои дяди ненавистны мне, я хочу принадлежать одному тебе!

— Ну да! — упрямо возразил я.— А сами-то думаете: «Вот дурень! Я смогу убедить его в чем угодно; стоит лишь мне сказать, что я его люблю, он и поверит, а я приведу его на виселицу!» Так вот, если вы меня любите, довольно одного только слова.

Эдме глядела на меня в тревоге, а я все искал ее губ, она же пыталась увернуться от моих поцелуев. Я держал ее руки в своих, теперь она могла лишь отдалить минуту своего поражения. Внезапно бледное ее лицо порозовело, она улыбнулась и с ангельски-кокетливым видом спросила:

— А вы? Вы меня любите?

С этой минуты победа оставалась за нею. У меня уже не было силы желать того, чего я желал; в моем рысьем мозгу произошел

переворот — я словно стал человеком, и в голосе моем прозвучало, пожалуй, человеческое чувство, когда впервые в жизни я воскликнул:

— Да, я люблю тебя! Люблю!

— Ну что ж! — нежно сказала она, взглянув на меня безумными глазами.— Вот мы и будем любить друг друга, а теперь бежим...

— Да, бежим,— ответил я.— Как ненавижу я и этот дом, и моих дядей!.. Давно уже хотелось мне бежать отсюда. Но, ты ведь знаешь: меня повесят.

— Не повесят тебя! — смеясь, возразила она.— Мой жених — председатель окружного суда.

— Жених? — воскликнул я, охваченный приступом еще более жгучей ревности.— Так ты собираешься замуж?

— А почему бы и нет? — ответила она, внимательно на меня поглядев.

Я побледнел и стиснул зубы.

— Ну, тогда...— сказал я и схватил ее в объятия, пытаясь унести.

— Ну, тогда получай,— ответила она, отпустив мне легкую пощечину.— Ты, я вижу, ревнуешь? Странный же ты ревнивец! Готов обладать любовницей ввечеру, чтобы в полночь уступить ее восьми пьяницам. А завтра они вернут ее тебе втоптанную в грязь.

— Ты права! — согласился я.— Беги же! Беги! Я буду защищать тебя до последней капли крови! Но их много, и они одолеют... А я погибну с мыслью, что ты достанешься им. Ужасно! Зачем ты напомнила мне об этом? Какая тоска... Ну что ж, ступай.

— О да! О да, мой ангел! — воскликнула она, с горячностью целуя меня в обе щеки.

Эта забытая с детства женская ласка чем-то напомнила мне последний материнский поцелуй; вместо наслаждения я ощутил глубокую грусть. Глаза мои наполнились слезами. Она заметила это и, целуя набежавшие слезинки, повторяла:

— Спаси меня! Спаси!

— А ты потом выйдешь замуж? Так слушай же! Клянись, что, пока я жив, у тебя не будет мужа! Ждать тебе придется недолго: дядюшки мои чинят расправу быстро да чисто — так они сами говорят.

— А ты разве не бежишь со мною? — возразила она.

— С тобою — нет! Повесят ли меня там, как разбойника, или здесь — за то, что я помог тебе бежать, не все ли равно? Так, по крайней мере, я не опозорю себя, прослыв доносчиком, и меня не повесят на площади перед всем честным народом.

— Я не оставлю тебя здесь,— вскричала она,— даже если мне суждено погибнуть! Бежим со мной! Не бойся ничего, верь моему слову. Я отвечаю за тебя перед богом. Убей меня, если я лгу! Но бежим скорей... О, боже! Они поют, я слышу их голоса. Они идут сюда! Ах, если ты не хочешь меня защитить, убей меня, сейчас же убей!

Она бросилась ко мне в объятия. Любовь и ревность переполняли мое сердце; и, верно, у меня явилась мысль ее убить; всякий раз, как вблизи раздавались голоса и топот ног, я хватался за свой охотничий нож. Кругом слышны были победные клики. Проклиная небо за то, что оно не даровало победу врагу, я привлек Эдме к себе на грудь, и мы замерли друг у друга в объятиях. Далекий ружейный залп возвестил, что сражение возобновилось. Я страстно прижал ее к сердцу.

— Ты похожа на ту робкую горлинку, что как-то раз, спасаясь от коршуна, забилась ко мне под куртку и спряталась у меня на груди.

— Но ты ведь не отдал ее коршуну, не правда ли? — спросила Эдме.

— Черта с два! И тебя не отдам, пташка ты моя лесная, прекрасная. Ведь эти злые ночные хищники тебя растерзают!

— Но как мы убежим? — спросила она, в страхе прислушиваясь к ружейной перестрелке.

— Очень просто,— сказал я,— ступай за мной.

Взяв факел, я приподнял крышку люка и помог Эдме спуститься в погреб. Оттуда мы проникли в подземелье, высеченное в скале. В старину оно служило надежной защитой. Гарнизон в замке был тогда внушительный; проникнув через подземелье в поле, по другую сторону от опускной решетки, можно было напасть на осаждающих с тыла, окружить их, и они оказывались между двух огней. Но прошли уже те времена, когда гарнизон Рош-Мопра мог разделиться на два отряда; да, впрочем, было бы безумием отважиться ночью на такую вылазку. Итак, мы с Эдме беспрепятственно добрались до выхода из подземелья; но тут меня обуял внезапный приступ ярости. Швырнув на землю факел, я спиною загородил дверь и объявил трепещущей пленнице:

— Ты отсюда не выйдешь, пока не станешь моей.

Стояла кромешная тьма. Грохот сражения уже не доходил до нас. Мы тысячу раз могли ускользнуть из подземелья, прежде чем нас настигнет погоня. Все здесь распаляло мою отвагу; судьба Эдме зависела от моей прихоти. Увидав, что чары ее не властны более надо мной и не могут пробудить во мне высокие чувства, она оставила свои мольбы и отступила во мрак подземелья.

— Отвори дверь,— сказала она,— и выйди первый, не то я убью себя. Я взяла твой охотничий нож: ты забыл его наверху. Ступай же к твоим дядям, но ты перешагнешь через мой труп!

Решимость, с какой она это произнесла, меня испугала.

— Верните нож,— сказал я,— или я отниму его у вас силой, чего бы это ни стоило.

— Не думаешь ли ты, что я боюсь смерти? — спокойно возразила она.— Попадись мне этот нож там, наверху, я не стала бы перед тобой унижаться!

— Горе мне! — вскричал я.— Вы меня обманываете! Вы не любите меня! Уходите! Я презираю вас, я не пойду за вами!

Говоря это, я распахнул перед нею дверь.

— Я не хочу уходить без вас, а вы, вы требуете, чтобы я ушла отсюда обесчещенной!.. Кто же из нас великодушней?

— Безумная! Вы мне солгали, а нынче не придумаете, как оставить меня в дураках. Но вы не уйдете отсюда, пока не дадите клятву, что станете моей любовницей, прежде чем выйдете замуж за вашего председателя или кого бы то ни было.

— Любовницей? — переспросила она.— Вот как? Сказали бы хоть «женой», чтобы умалить вашу дерзость!

— Любой из моих дядюшек так бы и сказал в надежде на ваше приданое, а мне нужна только ваша красота. Клянитесь, что будете принадлежать мне первому, и клянусь, я дам вам свободу! Если же ревность одолеет меня и не под силу будет ее терпеть — слово мужчины: я застрелюсь.

— Клянусь,— сказала Эдме,— что никому не буду принадлежать до вас.

— Это не то; клянитесь, что будете принадлежать мне первому.

— Это то же самое,— ответила она.— Клянусь!

— Евангелием? Христом? Спасением души? Прахом матери?

— Евангелием, Христом, спасением души, прахом матери!

— Хорошо!

— Погодите,— возразила она.— Клянитесь, что обещание мое и тогда, когда будет выполнено, навеки останется нашей тайной, что ни отец мой, ни кто другой, кто мог бы ему проговориться, никогда об этом не узнает.

— Никто и никогда! К чему? Только бы вы его сдержали!

Она заставила меня слово в слово повторить клятву, и, взявшись за руки в знак взаимного доверия, мы бросились вон из подземелья.

Побег становился все более чреват опасностями. Эдме страшилась осаждающих почти так же, как осажденных. Нам посчастли-

вилось не встретить ни тех, ни других, но бежать было нелегко. Ночь стояла безлунная, мы то и дело натыкались на деревья, а скользко было так, что едва можно было удержаться на ногах. Внезапно оба мы вздрогнули: раздалось какое-то треньканье; я догадался, что это звенит цепь, которой стреножена лошадь моего деда; десятью годами ранее та же лошадь доставила меня в Рош-Мопра. Старый конь был по-прежнему выносливым и норовистым. Смастерив из болтавшейся у него на шее веревки петлю и взнуздав коня, я накинул ему на спину свою куртку, усадил беглянку, развязал путы, вскочил на коня сам и, яростно пришпорив его, пустил галопом наугад. На наше счастье, конь знал дорогу лучше моего и даже в темноте сворачивал куда надо, не натыкаясь на деревья. Правда, он то и дело скользил и оступался, отчего нас так подбрасывало, что, если бы не стояла на карте наша жизнь, мы бы наверняка уже не раз свалились на землю, скача таким манером на неоседланной лошади. Но в подобных случаях самая безнадежная попытка удается как нельзя лучше: сам бог хранит того, кого преследуют люди. Казалось, опасность уже миновала, как вдруг лошадь наша споткнулась о пень и, зацепившись копытом за корневище, упала. Не успели мы опомниться, как она исчезла во мраке, и дробный топот становился все глуше и глуше. Я успел подхватить Эдме; она не ушиблась, но я вывихнул себе ногу, да так, что не мог ступить ни шагу. Эдме решила, что нога у меня сломана; мне и самому это казалось — такая сильная была боль. Но вскоре я забыл и думать о моих страданиях и тревогах. Нежная забота беглянки заставила меня позабыть обо всем. Напрасно умолял я ее продолжать путь без меня; теперь ей удалось бы спастись. Мы были уже довольно далеко от Рош-Мопра. Рассвет не заставит себя ждать. Чье бы жилище ни попалось ей на пути, защиту от Мопра она найдет повсюду.

— Я не покину тебя! — упрямо твердила Эдме.— Как ты доверился мне, так я вверяю свою судьбу тебе. Мы либо спасемся оба, либо оба погибнем!

— Я вижу свет! — воскликнул я.— О да! Я не ошибся! Вон там среди ветвей! Там кто-то живет. Эдме, ступайте постучитесь. Вы сможете спокойно оставить меня там и найдете проводника, который отведет вас домой.

— Я ни за что вас не оставлю,— сказала она,— но пойду узнаю, не окажут ли вам помощь.

— Нет, я не допущу, чтобы вы сами постучали в эту дверь! — возразил я.— Свет в доме глубокой ночью, в лесной глуши... А вдруг это какая-нибудь ловушка!

Я дотащился до двери. Она была холодна, словно железная; стены увиты были плющом.

— Кто там? — крикнули изнутри, прежде чем мы успели постучать.

— Мы спасены! — воскликнула Эдме.— Это голос Пасьянса.

— Мы погибли,— возразил я.— Он мой смертельный враг.

— Не бойтесь, ступайте за мной; сам бог привел нас сюда.

— Да, сам бог привел тебя сюда, душенька ты моя райская, звездочка утренняя,— сказал Пасьянс, распахивая дверь.— И кто бы с тобою ни был, милости просим и его в башню Газо.

Мы вошли под низкие своды. Посредине висела железная лампа. В зале, скудно освещенной ее неверным светом и пылающим в очаге хворостом, мы с удивлением обнаружили необычайных гостей, удостоивших своим присутствием башню Газо. Отблески пламени падали на бледное, задумчивое лицо мужчины в одежде священника, который сидел у огня. По другую сторону очага виднелась желтая длинная физиономия второго гостя, обрамленная тощей бороденкой и наполовину скрытая широкополой шляпой, а на стене вырисовывалась тень его носа, столь острого, что он мог сравниться разве только с тонкой рапирой, лежавшей на коленях его обладателя, или же с остроконечной мордочкой его тщедушного пса, напоминавшего громадную крысу; была какая-то таинственная гармония между этими тремя колючими остриями: носом Маркаса, его рапирой и собачьей мордой.

Маркас медленно привстал и коснулся рукою края шляпы. Так же поступил и священник-янсенист. Пес молчал, как и его господин. Вынырнув между ног хозяина, он оскалил зубы, прижал уши, но не залаял.

— Спокойно, Барсук,— приказал ему Маркас.

VII

Узнав Эдме, священник отступил с возгласом удивления. Но ничто не могло сравниться с изумлением Пасьянса, когда свет пылающей головни, заменявшей ему факел, озарил мое лицо.

— Голубка и медвежонок! — воскликнул он.— Что же это делается?

— Друг,— ответила Эдме, к моему удивлению вложив свою белую ручку в загрубевшую ладонь колдуна,— окажите ему такое же гостеприимство, как и мне: он освободил меня из Рош-Мопра. Я была захвачена в плен.

— Да простятся ему за то все беззакония, содеянные им и его родичами! — воскликнул священник.

Пасьянс, ни слова не говоря, взял меня под руку и повел к очагу. Меня усадили на единственный стул, и пока Эдме, кое-чего

недоговарпвая, повествовала о нашем приключении и расспрашивала об отце, оставленном ею на охоте, священник счел своим долгом осмотреть мою ногу. Пасьянс не мог сообщпть Эдме ничего нового. Днем в чаще то и дело раздавался зов охотничьего рога и выстрелы раз за разом нарушали лесную тишь. Но грянула буря, и Пасьянс не слыхал уже ничего, кроме завывания ветра,— откуда же ему было знать, что происходит в Варенне. Маркас проворно вскарабкался вверх по приставной лесенке, стоявшей на месте разрушенных ступенек. Пес его с изумительной ловкостью следовал за ним. Вскоре оба спустились к нам, и мы узнали, что на горизонте, со стороны Рош-Мопра, полыхает пламя пожара. При всей моей ненависти к этой обители и ее владельцам, я не мог подавить в себе горестного чувства, услышав, что, по всей видимости, фамильный замок, носивший мое родовое имя, захвачен и предан огню; это было позорное поражение, и багровое зарево казалось мне печатью, проставленной на моем гербе в знак победы тех, кого я называл мужичьем и деревенщиной. Я вскочил и, если бы не острая боль в ноге, ринулся бы к двери.

— Что с вами? — спросила Эдме, стоявшая возле меня.

— А то,— грубо ответил я,— что мне нужно вернуться! Это мой долг! Я скорее дам себя убить, чем допущу, чтобы мои дяди договаривались с чернью.

— С чернью? — воскликнул Пасьянс, впервые удостоив меня словом.— Кто это здесь толкует о черни? Я сам чернь! Такое мое звание, и уж я-то сумею заставить его уважать!

— Ну нет, только не меня! — сказал я, отталкивая священника, который пытался усадить меня на место.

— Вас-то мне учить не впервые! — заметил Пасьянс с презрительной усмешкой.

— Да ведь мы с тобой еще не расквитались! — воскликнул я и, преодолевая ужасную боль в ноге, вскочил и решительно оттолкнул Маркаса, который по примеру священника пожелал выступить в роли миротворца. Дон Маркас отлетел и упал навзничь прямо в золу. Задел я его не со зла, но, что и говорить, довольно грубо; бедняга же был до того тощ, что показался мне легче любого из грызунов, за которыми он охотился. Пасьянс стоял предо мною, скрестив руки на груди,— ни дать ни взять философ-стоик, но во взгляде его сквозила жгучая ненависть. Нетрудно было догадаться, что только законы гостеприимства не позволяют ему сокрушить меня, и он выжидает, когда я первый нанесу ему удар. Я и не заставил бы его долго ждать, однако Эдме, презрев опасность, какою грозило ей мое бешенство, схватила меня за руку, заявив не терпящим возражения тоном:

— Садитесь и успокойтесь! Слышите? Я вам приказываю!

Такая смелость и доверие поразили меня и восхитили. Она властно распоряжалась мною, и это само по себе как бы являлось подтверждением тех прав, на какие притязал я.

— Согласен! — ответил я, успокаиваясь. И добавил, глядя на Пасьянса: — Ты от меня не уйдешь!..

— Аминь! — ответил он, пожав плечами.

Маркас с большим хладнокровием поднялся, стряхнул с одежды золу и, не вступая со мной в пререкания, попытался на свой лад урезонить Пасьянса. Это было дело нелегкое, но односложные поучения Маркаса звучали среди нашей перепалки, словно эхо в бурю.

— Ведь стар,— выговаривал он хозяину,— а терпения нет! Ваша вина! Да, кругом ваша!

— Какой несносный! — говорила Эдме, положив руку мне на плечо.— Не вздумайте начать снова, не то я уйду совсем.

Я с наслаждением выслушивал ее попреки, не замечая, как быстро мы поменялись ролями. Теперь приказывала и угрожала она: стоило нам переступить порог башни Газо, и Эдме обрела надо мною прежнюю власть. Уединенная эта обитель, и посторонние свидетели нашей встречи, и суровый хозяин здешних мест — все это было уже тем обществом, в которое я вступал, ярмо которого я вскоре должен был ощутить.

— Ну вот,— сказала Эдме, обращаясь к Пасьянсу,— мы здесь никак не помиримся, а меня терзает тревога за бедного моего отца: сейчас, в глухую ночь, он ищет меня повсюду и, верно, в полном отчаянии. Пасьянс, милый! Придумай способ его разыскать. Этот бедный юноша пойдет со мною: не могу же я оставить его на твое попечение, если твоей любви ко мне не хватает даже на то, чтоб проявить к нему терпение и сострадание.

— Что это вы говорите? — воскликнул Пасьянс и провел рукой по лбу, словно очнулся ото сна.— А ведь ваша правда: я, старый дурак, совсем рехнулся! Дщерь господня! Скажи-ка этому мальчугану, то бишь дворянину, что за прошлое я у него прошу прощения; а что до настоящего — убогая моя келья к его услугам; верно я говорю?

— Верно, Пасьянс,— сказал священник.— Да ведь можно еще все уладить: лошадь у меня спокойная и надежная; мадемуазель де Мопра на нее сядет, а ты с Маркасом поведешь ее под уздцы; я же останусь здесь около пострадавшего. Обещаю хорошо за ним ухаживать и ничем его не прогневить. Ведь правда, господин Бернар, вы ничего против меня не имеете? Верите вы, что я вам не враг?

— Не знаю,— ответил я,— как вам будет угодно. Позаботьтесь о моей *кузине,* проводите ее; а я ни в ком и ни в чем не нуж-

даюсь. Охапка соломы, стакан вина — вот и все, чего бы мне хотелось, если это возможно.

— Вы получите и то и другое,— сказал Маркас, протягивая мне свою флягу,— сначала подкрепитесь, а я пойду на конюшню, оседлаю лошадь.

— Нет, я сам,— сказал Пасьянс.— Позаботьтесь-ка об этом юноше.

И он прошел в соседнее помещение, служившее конюшней для лошади священника, когда тот наведывался к Пасьянсу. Коня провели через залу, где находились мы, и Пасьянс, накрыв седло священнической рясой, с отеческой заботливостью подсадил на него Эдме.

— Погодите-ка,— сказала она, перед тем как тронуться в путь. Господин кюре! Клянетесь ли вы спасением души, что не покинете моего кузена, пока я не вернусь за ним вместе с отцом?

— Клянусь! — ответил священник.

— А вы, Бернар,— продолжала Эдме,— поклянетесь ли вы честью, что будете здесь меня ждать?

— Ну уж, не знаю,— ответил я,— это зависит от того, как долго придется ждать и хватит ли у меня терпения; но вам-то, сестрица, ведь известно, что мы еще свидимся хоть у черта на рогах, а по мне — чем скорей, тем лучше.

При свете головни, которою размахивал Пасьянс, проверяя, в порядке ли конская сбруя, я увидел, как прекрасное лицо Эдме сначала вспыхнуло, потом побледнело. Затем она подняла печально поникшую голову и пристально, странно на меня поглядела.

— Ну что ж, в путь? — спросил Маркас, открывая дверь.

— В час добрый,— ответил Пасьянс, беря лошадь под уздцы.— Эдме, доченька, не забудь наклонить голову под притолокой.

— Что там, Барсук? — осведомился Маркас и, выхватив из ножен прославленную шпагу, обагренную кровью грызунов, застыл на пороге.

Барсук остановился как вкопанный и, конечно, залаял бы, не будь он, как утверждал его хозяин, «немым от рождения»; однако он возвестил об опасности на свой лад — хриплым и отрывистым тявканьем, что служило у него явным признаком беспокойства и ярости...

— Тут что-то неспроста,— заметил Маркас.

Подав всаднице знак оставаться на месте, крысолов отважно шагнул в темноту. Раздался выстрел из какого-то огнестрельного оружия; все мы вздрогнули. Эдме легко спрыгнула с лошади и, повинуясь безотчетному порыву, не ускользнувшему от меня, укрылась за спинкой моего стула. Пасьянс выбежал вон из башни; священник поспешил к испуганной лошади, которая взвилась на

дыбы и попятилась на нас. Барсук наконец залаял. Позабыв о больной ноге, я одним прыжком очутился за дверью.

Поперек порога в луже крови лежал изрешеченный пулями человек. Я узнал дядю Лорана; смертельно раненный при осаде Рош-Мопра, он, казалось, был при последнем издыхании. Его доставил сюда дядя Леонар; он-то и стрелял сейчас, послав наугад последнюю пистолетную пулю, которая, к счастью, никого не задела.

Пасьянс сразу же приготовился дать отпор, однако, узнав Маркаса, беглецы не только не проявили враждебности, но попросили предоставить им убежище и помощь. Никому, конечно, и в голову не пришло отказать им в участии, естественном, если принять во внимание их плачевное положение. Стражники гнались за ними по пятам. Рош-Мопра стал добычей пламени; Луи и Пьер пали с оружием в руках; Антуан, Жан и Гоше бежали через потайной ход. Возможно, их уже успели схватить. Никакими словами не описать, как омерзителен был в эти минуты Лоран. Агония его была недолгой, но ужасной; священник бледнел, слушая его кощунственные проклятия. Едва успели закрыть дверь и опустить умирающего на землю, из груди его вырвался страшный хрип. Леонар, который признавал единственное лекарство — водку, осыпал меня бранью и оскорблениями за побег из Рош-Мопра; выхватив у меня из рук флягу Маркаса, он лезвием своего охотничьего ножа разжал стиснутые челюсти брата и, несмотря на наши увещания, вылил ему в глотку половину фляги. Несчастный Лоран привскочил, судорожно ловя руками воздух, вытянулся во весь рост и тут же грохнулся замертво на окровавленные плиты. Произносить надгробные речи было некогда: обитая железом дверь загудела под мощными ударами нападающих.

— Именем короля, отворите! Королевская стража, отворите! — кричали снаружи.

— Обороняйся! — воскликнул Леонар, выхватив нож и кидаясь к двери.— Эй, мужичье! Равняйся на дворян! А ты, Бернар, искупи свою вину, смой с себя позор! Не допусти, чтобы Мопра попал живьем в лапы стражникам!

Во мне заговорила отвага и спесь, я готов был последовать примеру Леонара, когда Пасьянс набросился на него и с богатырской силой пригвоздил к земле; став коленом ему на грудь, он велел Маркасу отворить дверь. Тот сделал это прежде, нежели я успел выступить в защиту дяди против беспощадного хозяина. Полдюжины стражников ворвались в башню и взяли ружья наизготовку; мы замерли под их дулами.

— Стой! — крикнул Пасьянс.— Никого не трогайте; вот пленник. Были бы мы с ним вдвоем, уж я бы не дал его в обиду, а мо-

жет быть, и помог ему спасти свою шкуру. Но тут есть честные люди,— чего ради они должны расплачиваться за этого прохвоста; я и не стану вовлекать их в перепалку. Вот Мопра. Помните же, что вы обязаны целым и невредимым передать его в руки правосудия. А этот уже мертв.

— Сдавайтесь, сударь! — сказал сержант, хватая Леонара.

— Никогда Мопра не даст трепать свое имя на суде,— угрюмо возразил Леонар.— Сдаюсь, получайте мою шкуру, но большего вам не получить!

Леонар покорно дал усадить себя на стул.

Его хотели связать, но тут он обратился к священнику:

— Окажите последнюю, единственную милость, отец мой! Дайте глотнуть из этой фляги: устал и до смерти выпить охота.

Наш славный священник передал пленнику флягу, которую тот залпом опустошил. Как ни был удручен Леонар, лицо его выражало ужасающее спокойствие. Погруженный в уныние, раздавленный неудачей, он, казалось, уже не в силах был бороться. Но когда ему стали связывать ноги, он выхватил у одного из стражников из-за пояса пистолет и пустил себе пулю в лоб.

Потрясенный этим страшным зрелищем, я впал в угрюмое оцепенение; до моего сознания уже ничего не доходило; окаменев от ужаса, я не замечал, что вот уже несколько минут являюсь предметом ожесточенного спора между стражниками и моими хозяевами. Кто-то из стражников утверждал, что узнал во мне одного из Мопра Душегубов. Пасьянс отрицал это, заверяя, что я не кто иной, как лесничий господина Юбера де Мопра, и сопровождаю его дочь. Спор этот мне наскучил, и я уже готов был назваться, когда рядом, словно призрак, появилась Эдме. Она все время стояла, прильнув к стене, позади испуганной лошади священника, которая, растопырив ноги и поводя горящими глазами, точно пыталась защитить девушку своим телом. Бледная как смерть, Эдме делала неимоверные усилия, чтобы заговорить, но от ужаса не в состоянии была разомкнуть уста и могла изъясняться только знаками. Тронутый ее молодостью и затруднительным положением, сержант почтительно ждал, когда к ней вернется дар речи. В конце концов стражники согласились не считать меня пленником и препроводить вместе с кузиной в замок ее отца, она же заверила честным словом, что там им будут даны удовлетворительные объяснения и веские ручательства на мой счет. Священник и оба свидетеля подтвердили заверения Эдме, после чего все мы отправились в путь; Эдме — на лошади сержанта, который пересел на лошадь одного из своих солдат, я — на лошади священника, Пасьянс и аббат — пешком; по бокам ехали стражники, а впереди,

сохраняя свое обычное бесстрастие среди всеобщего страха и уныния, шествовал Маркас. Двое стражников остались в башне, чтобы присутствовать при опознании трупов.

VIII

Мы продвинулись по лесу примерно на одно лье, на каждом перекрестке дороги окликая охотников; Эдме была уверена, что отец не возвратится домой, пока не разыщет ее, и умоляла стражников его найти. Те уступили с большой неохотой, опасаясь, что нас обнаружат и мы подвергнемся нападению бежавших из Рош-Мопра разбойников. В пути стражники рассказали нам, что это логово было захвачено лишь после третьего приступа, ибо нападающие щадили свои силы. Лейтенант, начальник патруля, хотел овладеть замком, не подвергая его разрушению и, главное, не убивая осажденных, но это оказалось невозможным — столь отчаянным было сопротивление. При вторичном штурме осаждающие потерпели такой урон, что им оставалось либо отступить, либо отважиться на крайние меры. Они открыли огонь по укреплениям вала, а при третьей схватке уже не щадили никого и ничего. Двое из братьев Мопра были убиты на развалинах бастиона, пятеро других исчезли. Шесть стражников пустились вдогонку по свежим следам в одном направлении и шесть в другом; стражники, которые сообщили нам эти подробности, гнались за Лораном и Леонаром по пятам; неподалеку от башни Газо они почти настигли злополучных беглецов, и пули их угодили в Лорана. Слышно было, как он завопил, что умирает. Леонар, по всей видимости, дотащил брата до жилища колдуна. Леонар — единственный из всех Мопра, о ком стоило пожалеть, ибо, пожалуй, он один был бы способен начать честную жизнь. Он и в разбое сохранял подчас некую рыцарственность, и свирепая его душа доступна была человеческим чувствам. Поэтому, весьма расстроенный его трагической гибелью, я погрузился в мрачное раздумье и, машинально продолжая свой путь, решил окончить дни подобно Леонару, ежели и я буду обречен на бесчестие, какое он не пожелал стерпеть.

Звук рогов и собачий лай внезапно возвестили о приближении охотничьей кавалькады. Громкими возгласами мы дали знать о себе; Пасьянс поспешил навстречу охотникам. Эдме, сгорая нетерпением увидеть отца и забыв об ужасах этой кровавой ночи, стегнула коня и первая поравнялась со своими. Когда мы присоединились к ним, я увидел ее в объятиях рослого, почтенного вида мужчины. Он был роскошно одет; его расшитая золотом охотничья куртка и великолепный нормандский конь, которого один из еге-

рей держал под уздцы, до того меня поразили, что я принял его за принца. Нежность, которую он выказывал дочери, была мне в диковинку, и я чуть ли не счел подобные ее проявления чрезмерными и несовместимыми с мужским достоинством; в то же время она вызывала во мне чувство, похожее на животную ревность, ибо мне и в голову не приходило, что этот щеголь может быть моим дядей. Эдме тихо, но оживленно о чем-то с ним разговаривала. Так продолжалось с минуту, потом старик подошел и сердечно меня расцеловал. Все это было мне внове; обласканный и осыпаемый всяческими добрыми словами, я оцепенел и лишился дара речи. Рослый молодой красавец, одетый столь же изысканно, как и господин Юбер, пожал мне руку со словами благодарности, в которых я ничего не понял. Из переговоров его со стражей я заключил, что он председатель суда и требует, чтоб мне позволили беспрепятственно следовать за моим дядей, кавалером мальтийского ордена, в его замок; он сам готов поручиться за меня честью. Стражники нас покинули: господина Юбера и председателя сопровождала свита достаточно многочисленная, и встреча с разбойниками была им не страшна. Как же я удивился, увидев живейшее свидетельство дружеских чувств, какие питал кавалер к Пасьянсу и Маркасу. Что до священника, то он держался с обоими вельможами как равный. Уже несколько месяцев он состоял капелланом замка Сент-Севэр, ибо придирки епархиального начальства заставили его покинуть свой приход.

Нежная привязанность всех окружающих к Эдме, родственные чувства, о которых я не имел представления, дружелюбие и сердечность в отношениях между почтительными простолюдинами и благожелательными господами — все, что я видел и слышал, походило на сон. Я смотрел во все глаза и не знал, что подумать. И только я попробовал было разобраться во всем этом, кавалькада наша снова двинулась в путь, и господин де ла Марш (председатель суда), отстранив меня, в сознании своих прав пустил коня рядом с лошадью моей кузины. Я вспомнил, как в Рош-Мопра Эдме сказала мне, что он ее жених. Ярость и ненависть овладели мною, и не знаю, каких только глупостей я не натворил бы, если бы Эдме, угадав, по-видимому, какие чувства меня обуревают, не сказала господину де ла Маршу, что хочет со мной поговорить, и не вернула меня на прежнее место, рядом с собою.

— Что скажете? — спросил я скорее поспешно, нежели учтиво.

— Ничего,— вполголоса ответила она.— Мне надо будет сказать вам многое, но позднее, а пока согласны ли вы исполнять любое мое желание?

— С какой же это стати, черт побери?

После некоторого колебания она с усилием произнесла:

— Потому что этим доказывают женщине свою любовь.

— А вы сомневаетесь в моей любви? — возмутился я.

— Как знать? — сказала она.

Ее недоверие весьма меня удивило, и я попытался рассеять его, как умел.

— Разве вы не прекрасны? — возразил я.— А я ведь мужчина, и к тому же молод. Вы, может быть, думаете, что я еще мальчишка и не замечаю женской красоты? Однако нынче, когда голова у меня трезвая, когда мне грустно и вовсе не до шуток, должен сказать, что влюблен в вас еще сильнее, нежели предполагал. Чем больше я на вас гляжу, тем краше вы мне кажетесь. Вот уж не думал, что женщина когда-либо так поразит меня своей красотой! По правде говоря, я не усну, пока...

— Замолчите! — сухо сказала Эдме.

— Ага, боитесь, что услышит господин де ла Марш? Будьте покойны, я умею держать свое слово; надеюсь, что и вы, девица благородного происхождения, сумеете сдержать свое.

Она умолкла. Ехать рядом могли по дороге только двое. Была глубокая тьма, и хотя господин Юбер и председатель держались позади нас, я набрался храбрости и хотел обвить рукою стан Эдме, как вдруг она сказала усталым, надломленным голосом:

— Простите, кузен, что я молчу: я с трудом понимаю, о чем вы говорите. Я изнемогаю от усталости, измучена до смерти... Но, к счастью, мы уже приехали. Поклянитесь, что полюбите моего отца, что во всем будете слушаться его наставлений и не станете ничего решать, не посоветовавшись со мной. Клянитесь же, если хотите, чтобы я поверила в вашу дружбу!

— А по мне, хоть и не верьте,— отвечал я.— Верьте зато в мою любовь. Поклясться же я могу в чем угодно. Ну, а вы неужто ничего не пообещаете мне сами, по доброй воле?

— Что же еще я могу вам обещать? Ведь все уже ваше,— сказала она очень серьезно.— Вы спасли мою честь, жизнь моя принадлежит вам.

Край неба посветлел, брезжило утро; мы прибыли в деревню Сент-Севэр и вскоре очутились во дворе замка. Эдме, бледная как смерть, спешилась и упала в объятия отца. Господин де ла Марш, вскрикнув, бросился ей на помощь. Она потеряла сознание. Священник занялся мною. Я был весьма озабочен своей судьбой. В отсутствие той, что сумела вырвать меня из разбойничьего вертепа, потеряли свою силу ее колдовские чары, и во мне пробудилась свойственная разбойнику подозрительность. Как затравленный волк, угрюмо озирался я вокруг, готовый броситься на первого, кто шелохнется или скажет неподобающее слово. Меня проводили

в роскошную комнату и тотчас же подали завтрак, сервированный с невиданным мною дотоле великолепием. Священник окружил меня вниманием; когда же ему удалось несколько меня успокоить, он ушел и занялся своим другом Пасьянсом. Тревога и смятение, одолевавшие меня, отступили перед здоровым аппетитом, свойственным юности. Ежели бы не почтительная угодливость слуги, одетого куда лучше меня, который, стоя за спинкой стула, вежливо предупреждал каждое мое желание, чему я не мог воспрепятствовать, я набросился бы на еду с ужасающей жадностью. Но зеленая ливрея слуги и его шелковые панталоны меня весьма смущали. Еще пуще смутился я, когда, укладывая меня спать, он опустился на колени и начал стаскивать с меня сапоги. Решив на сей раз, что он надо мной издевается, я чуть было не стукнул его кулаком по голове, но он занимался своим делом с такой серьезностью, что я только поглядел на него в изумлении.

И все же стоило мне очутиться в постели, без оружия, в окружении слуг, на цыпочках сновавших по комнате, как мною снова овладела подозрительность. Улучив минуту, когда меня оставили одного, я встал, взял с еще не прибранного стола самый длинный нож, какой только мог там сыскать, а затем, успокоенный, снова улегся в постель и, крепко зажав нож в руке, уснул глубоким сном.

Когда я проснулся, закатное солнце, пробиваясь сквозь красный шелковый полог, роняло свои розовые блики на тончайшие простыни и сверкало на позолоченных шарах, которые украшали изголовье и спинку кровати; ложе это оказалось таким удобным и мягким, что я готов был принести ему мои извинения за то, что позволил себе на него улечься. Приподнявшись, я увидел приветливое лицо почтенного старца, который, улыбаясь, откинул полог моей кровати. То был господин Юбер де Мопра, прозванный «кавалером». Он ласково спросил, как я себя чувствую. Мне хотелось быть учтивым, выразить признательность, но язык мой был столь груб и неотесан, что я невольно смутился, страдая от собственной неуклюжести. А тут, на беду, только я пошевелился, нож, с которым я делил ложе сна, упал к ногам господина Мопра; он его поднял, оглядел и в чрезвычайном удивлении посмотрел на меня. Я побагровел и что-то пролепетал, готовый выслушать упреки по поводу оскорбления, нанесенного гостеприимному хозяину; но господин Юбер был слишком учтив, чтобы требовать объяснений. Спокойно положив нож на камин, он вернулся ко мне и сказал:

— Теперь я знаю, Бернар, что обязан вам жизнью самого дорогого мне существа. Все мои дни посвящу я отныне тому, чтобы доказать вам свою признательность и уважение. Дочь моя тоже в долгу перед вами, и это долг священный. Не опасайтесь за ваше

будущее. Я знаю, какие преследования, какая месть ждет вас за то, что вы ушли к нам. Но я знаю также, от какой страшной участи могут избавить вас моя дружба и преданность. Вы сирота, а у меня нет сына. Хотите, я буду вам отцом?

Я растерянно глядел на него, не веря своим ушам. Изумление и робость не давали мне вымолвить ни слова. Господин Юбер и сам был несколько удивлен: он не ожидал, что я такой дикарь.

— Ну что ж,— сказал он.— Надеюсь, вы к нам привыкнете. Дайте хотя бы пожать вашу руку в знак того, что вы мне доверяете. Я пришлю к вам слугу; приказывайте ему — он в вашем распоряжении. Прошу вас только об одном: обещайте не выходить за ограду парка, пока я не приму меры, чтобы избавить вас от преследований закона. Вас могут привлечь к суду, обвинив в тех же злодеяниях, что и ваших недостойных дядей!

— Моих дядей? — воскликнул я, схватившись за голову.— Так, значит, это не был скверный сон? Где они? Что стало с Рош-Мопра?

— Рош-Мопра уцелел от пожара,— ответил господин Юбер.— Пострадали только службы, но я беру на себя отстроить ваш дом и выкупить родовое поместье у заимодавцев, добычей которых оно стало. Что до ваших дядей... по всей вероятности, вы являетесь единственным носителем имени, честь которого вам надлежит восстановить.

— Единственным? — воскликнул я.— Четверо братьев Мопра погибли этой ночью, но еще трое...

— Пятый, Гоше, погиб во время побега; его нашли сегодня утром: он утонул в пруду у Студеных ключей. Ни Жан, ни Антуан так и не сыскались; но лошадь Жана, как и плащ Антуана, найденные неподалеку от того места, где обнаружили труп Гоше,— зловещее свидетельство того, что и с ними произошло нечто подобное. Ежели и удалось кому-нибудь из Мопра ускользнуть, он не появится вновь — дело его проиграно; раз уж Мопра навлекли на свою голову неминуемые громы и молнии, лучше будет и для них и для нас, имеющих несчастье носить то же имя, столь ужасно погибнуть с оружием в руках, коли это им суждено, а не бесславно окончить дни свои на виселице. Покоримся же тому, что судил им господь. Суровый приговор: семеро братьев в расцвете молодости и сил в одну ночь призваны держать страшный ответ перед богом!.. Помолимся же за них, Бернар, и добрыми делами попытаемся искупить содеянное ими зло, смыть пятно, которым обесчестили они наш герб.

В этих словах сказался характер господина Юбера: благочестивый, справедливый и милосердный; кавалер, как и большинство дворян, движимый сословным высокомерием, часто пренебрегал

заповедью христианского смирения. Господин Юбер охотно бы усадил за свой стол бедняка, а в страстную пятницу омыл ноги двенадцати нищим, но это не избавляло его от всевозможных предрассудков нашей касты. Он находил, что его двоюродные братья, будучи дворянами, погрешили против человеческого достоинства много более, чем если бы они были простолюдинами. В противном случае бремя их вины было бы вполовину менее тяжким. Долгое время и я разделял это убеждение; оно вошло, если можно так выразиться, в мою плоть и кровь. Расстался я с ним лишь в итоге жестоких уроков, преподанных мне судьбой.

Затем господин Юбер подтвердил то, что уже говорила мне его дочь. С самого моего рождения он выражал горячее желание усыновить меня, но брат его Тристан упорно этому противился. Тут лицо господина Юбера омрачилось.

— Вы не знаете,— сказал он,— какие гибельные последствия имела для нас с вами моя попытка... Страшная тайна, кровь Атридов...

Вид у него был подавленный. Взяв меня за руку, он продолжал:

— Бернар, мы оба с вами жертвы своей жестокой родни; сейчас не время сводить счеты с теми, кто уже предстал перед грозным судом божьим, но родичи причинили мне непоправимое зло, разбили сердце... А зло, причиненное вам, мы исправим, клянусь памятью вашей матери! Они не дали вам образования, сделали таким же разбойником, как и они сами; но вы сохранили великодушие и чистоту души, столь же благородной, как душа той ангельской женщины, что дала вам жизнь. Вы загладите невольные грехи, совершенные по ребяческому неведению; вы получите образование, соответствующее вашему положению; вы восстановите фамильную честь, ведь правда, вы хотите этого? И я хочу. Я паду к вашим ногам, чтобы снискать ваше доверие, и я завоюю его, ибо самим провидением суждено вам стать моим сыном. О, когда-то я мечтал, что усыновлю вас по-настоящему! Ежели бы при моей вторичной попытке вас доверили моему попечению, вы бы воспитывались вместе с моею дочерью и, надо полагать, стали ее супругом. Но бог судил иначе. Вам еще только предстоит приступить к учению, она же свое заканчивает. Эдме в том возрасте, когда девушке пора устроить свою жизнь; да, впрочем, она уже сделала выбор: она любит господина де ла Марша и скоро выйдет за него замуж; она вам это сказала.

Я пролепетал что-то невнятное. Великодушные и ласковые речи почтенного старца глубоко меня тронули. Я чувствовал, что становлюсь другим человеком. Но стоило господину Юберу назвать имя своего будущего зятя, как во мне снова пробудились дикар-

ские инстинкты, и я понял, что никакие правила общественной морали не принудят меня отказаться от обладания тою, кого я считал своей добычей. Я то бледнел, то краснел, задыхаясь от гнева. По счастью, приход аббата Обера, янсенистского священника, прервал нашу беседу; он осведомился, как я себя чувствую после падения с лошади. Тут господин Юбер узнал, что я повредил ногу,— обстоятельство, которого он не заметил среди всех волнений, вызванных событиями более важными. Он послал за своим врачом, и меня окружили самой трогательной заботой; я покорился, побуждаемый признательностью, хотя и считал всю эту суетню не более как ребячеством.

Спросить господина Юбера о самочувствии его дочери я не отважился. С аббатом держался я смелее. Тот сообщил мне, что Эдме забылась долгим тревожным сном, и это его пугает; а по словам врача, который пришел вечером сделать мне перевязку, у кузины был сильный жар, врач опасался тяжкого недуга.

И действительно, несколько дней Эдме было так плохо, что ее состояние вызывало тревогу. В часы пережитых ею потрясений она держалась очень стойко. Теперь же наступил резкий упадок сил. Нельзя было вставать с постели и мне. Я шагу не мог ступить из-за острой боли в ноге, а врач пригрозил мне, что если я не полежу спокойно хотя бы несколько дней, то буду много месяцев прикован к постели. Я никогда не болел, да и теперь чувствовал себя совершенно здоровым; поэтому томительная скованность, сменившая привычную подвижность, наводила на меня гнетущую тоску. Лишь тот, кто вырос в лесных дебрях и привык к жестоким и грубым нравам, может понять, какое отчаяние и страх испытывал я, оставаясь более недели взаперти, за шелковым пологом моего ложа. Роскошно обставленная комната, золоченая кровать, назойливая заботливость слуг, даже изысканная пища — все эти пустяки, которые в первый день доставляли мне удовольствие, через двадцать четыре часа опостылели мне совершенно. Господин Юбер, поглощенный болезнью любимой дочери, навещал меня с прежней сердечностью, но заходил ненадолго. До чрезвычайности добр был ко мне и аббат. Ни тому, ни другому не осмеливался я признаться, каким несчастным я себя чувствую; но, оставаясь один, я готов был рычать, как лев, запертый в клетке, а по ночам, во сне, передо мной возникали, словно видения земного рая, мшистые лесные поляны, полог древесной листвы и даже угрюмые зубцы Рош-Мопра. Бывало, трагические сцены той ночи — мой побег и все с ним связанное — всплывали в памяти так ярко, что подчас я продолжал бредить ими даже наяву.

Посещение господина де ла Марша усилило мое отчаяние и сумятицу в голове. Он выказал большое ко мне расположение: то

и дело пожимая руку, предлагал свою дружбу, раз десять воскликнул, что готов пожертвовать за меня жизнью, и повторял еще бог весть какие заверения, которых я не слушал, ибо от его слов в висках у меня стучало, и, будь при мне охотничий нож, я бы наверняка набросился на гостя. Его немало удивили моя дикость и сумрачные взгляды, которые я на него кидал, но, услышав от аббата, что рассудок мой потрясен роковыми событиями, погубившими моих родичей, он снова рассыпался в уверениях и распрощался со мною как нельзя более учтиво и доброжелательно.

Хотя вежливость, какую проявляли все, начиная с хозяина дома и кончая последним слугой, меня и восхищала, я неслыханно ею тяготился; она внушена была искренним ко мне благоволением, но даже будь это и не так, я все равно не в состоянии был отличить простую вежливость от доброты. Поведение окружающих так непохоже было на хвастливое и насмешливое зубоскальство Мопра, что воспринималось мною словно какой-то неведомый мне язык, который я все же понимал, хотя и не научился им владеть.

Я обрел, впрочем, дар речи, когда аббат сообщил, что ему поручено заняться моим образованием; желая выяснить уровень моих знаний, он стал задавать мне вопросы. Мне было стыдно обнаружить свое невежество, которое далеко превосходило все, что он мог бы вообразить. Обуреваемый дикой гордыней, я объявил аббату, что, будучи дворянином, не имею ни малейшей охоты сделаться *канцелярской крысой.* Он расхохотался в ответ, чем я был весьма обижен. Дружески похлопав меня по плечу, аббат заметил, что я чудак, но со временем, конечно, изменю свои взгляды. Я побагровел от гнева, но тут вошел господин Юбер. Аббат изложил ему нашу беседу и сослался на мой ответ; дядюшка подавил улыбку.

— Дитя мое,— ласково сказал он,— я отнюдь не желаю докучать вам, хотя бы мной и руководили самые лучшие побуждения; не будем сегодня говорить о занятиях. Для того чтобы почувствовать к ним вкус, вы сперва должны понять их необходимость. У вас благородная душа, стало быть, вы рассудите по справедливости, и желание учиться придет к вам само собой. Поужинаем. Хотите есть? Хорошее вино вы любите?

— Куда больше латыни,— ответил я.

— Так вот, аббат, в наказание за то, что вы разыграли из себя такого педанта,— весело продолжал господин Юбер,— вы будете с нами пить вино. Эдме вне всякой опасности, а Бернару доктор разрешил подняться и посидеть в кресле. Мы поужинаем у него в комнате.

Ужин и вина были действительно так хороши, что, по обычаю обитателей Рош-Мопра, я не преминул напиться допьяна. Возможно, мне в этом помогли, желая, чтоб я разговорился и сразу же обнаружил, какой я невежа. Невоспитанность моя превзошла всякие ожидания; но, без сомнения, о задатках моих судили благосклонно, ибо от меня не отступились и принялись за обработку неотесанной глыбы, то есть моей особы, с рвением, свидетельствовавшим о возлагаемых на меня надеждах.

Уныние мое рассеялось, когда я стал выходить из комнаты. В первый день моим неотступным спутником был аббат. Томительность второго дня умерялась надеждой, что на третий мне разрешено будет видеть Эдме, а также дружелюбным отношением окружающих, прелесть которого я начинал ценить, по мере того как переставал ему удивляться. Присущая кавалеру доброта была самым верным средством преодолеть мою дикость; господин Юбер быстро завоевал мое сердце. То была первая в моей жизни привязанность. Она заняла место в моей душе наравне со страстной любовью к кузине, и мне даже в голову не приходило, что одно из этих чувств может противоречить другому. Я был весь стремление, весь порыв, весь желание. В душе подростка кипели страсти взрослого мужчины.

IX

Как-то утром, после завтрака, господин Юбер повел меня наконец к дочери. Дверь ее комнаты отворилась, и мне в лицо пахнуло таким благоуханным теплом, что у меня едва не закружилась голова. Незатейливая, но прелестная комната, обитая, как и вся мебель в ней, светлой узорчатой тканью, дышала ароматом цветов, наполнявших большие китайские вазы. Резвясь в золоченой клетке, нежно и сладостно пели африканские птицы. Нога утопала в коврах, более мягких, чем лесной мох в марте. Я был взволнован, глаза мои застилала пелена, ноги заплетались; я неуклюже спотыкался о мебель и все никак не мог подойти к Эдме. Кузина лежала на кушетке и небрежно вертела в руках перламутровый веер. Она показалась мне еще прекрасней, нежели раньше, но была так непохожа на ту, прежнюю, что, даже горя восторгом, я леденел от робости. Эдме протянула мне руку; я не знал, что правила вежливости дозволяют мне поцеловать ей руку в присутствии дяди. Я не слышал, о чем говорила мне кузина; вероятно, она сказала что-нибудь ласковое. Потом, как бы надломленная усталостью, она откинула голову на подушку и закрыла глаза.

— Мне нужно поработать,— сказал господин Юбер.— Побудьте с нею, но не давайте ей много разговаривать: она еще совсем слаба.

Поистине, это наставление походило на издевку; Эдме притворилась спящей, вероятно, для того, чтобы скрыть свое замешательство, а я не способен был побороть ее настороженность, и напоминать мне о необходимости молчания было, право же, слишком жестоко.

Господин Юбер открыл дверь в глубине комнаты и, выйдя, притворил ее за собой; по временам откуда-то доносился его кашель; я догадывался, что кабинет его отделяется от спальни Эдме лишь перегородкой. И все-таки я провел несколько блаженных минут с нею наедине, пока она притворялась спящей. Я мог украдкой вволю на нее наглядеться; в лице ее не было ни кровинки, оно было белее ее белого муслинового пеньюара и атласных домашних туфелек, отделанных лебяжьим пухом. Ее тонкая, прозрачная рука показалась мне доселе невиданной драгоценностью. Я представления не имел о том, что такое женщина; до сей поры красоту олицетворяли для меня молодость и здоровье в сочетании с мужественной отвагой. Представ передо мною впервые в образе амазонки, Эдме, хотя и в слабой степени, обладала этими чертами, и в этом обличье она была доступней моему пониманию; теперь же она казалась мне незнакомкой, и я не мог поверить, что вижу ту самую женщину, которую в Рош-Мопра держал в своих объятиях. Новизна обстановки, обстоятельства встречи, перелом в моем сознании, в которое начал проникать извне слабый луч света,— все это делало наше второе свидание с глазу на глаз совсем не похожим на первое.

Но странную, тревожную отраду, какую испытывал я, любуясь Эдме, смутил приход дуэньи, мадемуазель Леблан. В спальне она исполняла обязанности горничной, в гостиной же — компаньонки. Возможно, мадемуазель Леблан получила от своей госпожи приказание не оставлять нас одних; как бы то ни было, она уселась перед кушеткой, предоставив мне вместо прекрасного облика Эдме разочарованно созерцать ее собственную длинную и тощую спину; затем она вынула из кармана вязанье и спокойно принялась за работу. Птицы щебетали, господин Юбер покашливал, Эдме спала или притворялась, что спит, а я сидел в противоположном конце комнаты, делая вид, что разглядываю книгу с картинками, которую держал вверх ногами.

Спустя некоторое время я заметил, что Эдме не спит, а тихонько беседует с компаньонкой; мне показалось, что та украдкой то и дело на меня поглядывает. Желая избежать ее докучливых взглядов, я невольно пустился на хитрость, что было мне далеко

не чуждо: я уткнулся глазами в книгу, которую пристроил на столике у стены, да так и застыл, словно погрузившись в дремоту или чтение. Тогда мало-помалу дамы заговорили погромче, и я услышал, что они толкуют обо мне:

— Как хотите, сударыня, а пажа вы нашли себе забавного.

— Не смеши меня, Леблан. Какие могут быть нынче пажи? Ты что, считаешь, что мы живем во времена наших бабушек? Говорю тебе: отец его усыновил.

— Хорошо, конечно, что господин кавалер взяли себе приемного сына; но где, скажите на милость, откопали они это пугало?

Я метнул взгляд в сторону кушетки и заметил, что Эдме рассмеялась, прикрывшись веером. Ее забавляла болтовня этой старой девы, которую считали неглупой и которой позволяли говорить все, что придет ей на ум. Я был больно уязвлен тем, что кузина смеется надо мной.

— Да на кого он похож? Медведь какой-то или барсук, волк, коршун — все что хотите, только не человек! — продолжала Леблан.— Что за ручищи... А ножищи-то!.. Теперь еще ничего, когда немного соскоблили с него грязь; а поглядели бы вы на него, когда он явился в своей блузе и кожаных гетрах! Дрожь берет, как вспомнишь!..

— Неужели? — возразила Эдме.— А мне он в одежде браконьера больше нравился: она под стать его наружности и росту.

— Еще бы! Настоящий разбойник. Да вы, барышня, хоть его разглядели?

— О, конечно!

Я вздрогнул, услыхав, каким тоном Эдме произнесла это «о, конечно!», и, не знаю почему, снова ощутил на губах вкус поцелуя, которым она подарила меня в Рош-Мопра.

— Хоть бы причесался! — продолжала дуэнья.— Да ведь так и не удалось уговорить его напудрить волосы! Сен-Жан сказывал мне, что едва поднес пуховку к его гриве, а он в ярости как вскочит да как завопит: «Ни за что! Не дам пачкать себя мукой! А то и головой не пошевелить: все будешь чихать да кашлять...» Господи, ну и дикарь!

— Да ведь он прав! Если бы мода не поощряла такой нелепый обычай, все бы увидели, до чего это уродливо и неудобно. Длинные черные волосы куда красивее!

— Вот этакие? Ну и грива! Просто страх берет!

— Ведь не пудрят же волосы детям, а он еще дитя, совсем мальчик.

— Мальчик?.. Вот так малютка, боже правый! Да он сам любого ребенка проглотит и облизнется! Настоящий людоед! И откуда только взялся этот мужлан? Верно, господин кавалер

его прямо от плуга оторвали. Да как бишь его... Как же его зовут?..

— Вот любопытная! Я уже сказала: Бернар.

— Бернар? И только?

— Пока да. Что ты на него так смотришь?

— Спит, как сурок! Вот так увалень!.. Смотрю, не похож ли он на господина Юбера: могла ведь быть этакая минутная оплошность; предположим, господин кавалер забылись с какой-нибудь пастушкой.

— Однако, Леблан, вы слишком много себе позволяете!..

— Ах, боже мой, барышня! Разве господин Юбер не были тоже молоды? И разве оно мешает с летами стать добродетельным?

— Это тебе, конечно, известно по опыту? Но слушай: не вздумай дразнить этого юношу! Возможно, что ты и угадала: отец требует, чтобы с ним обращались как с членом семьи.

— Ну что ж, ежели вам так хочется!.. А мне-то что? Мне до него и дела нет!

— Ну, была бы ты лет на тридцать моложе...

— Надо думать, господин Юбер спросил у вас разрешения привести к вам этого разбойника?

— А ты сомневаешься? Есть ли на свете лучший отец, чем мой?

— Вы тоже, барышня, так добры... Другой бы это не слишком понравилось...

— Почему же? Мальчик он премилый; если дать ему хорошее воспитание...

— Он все равно останется таким же пугалом и уродом...

— Никакой он не урод, милая моя Леблан, но тебе по старости лет в этом не разобраться!

Разговор был прерван приходом господина Юбера, которому понадобилась какая-то книга.

— А, здесь мадемуазель Леблан? — спокойно заметил он.— Я полагал, Эдме, что вы беседуете с моим сыном наедине. Ну что ж, потолковали вы с ним? Сказали, что будете ему сестрой? Доволен ли ты ею, Бернар?

Ответ мой никому не мог бы повредить: охваченный смущением, я бессвязно пролепетал что-то невнятное. Господин Мопра снова ушел к себе в кабинет, я же опять уселся на стул, надеясь, что теперь-то кузина отошлет свою дуэнью и побеседует со мной. Но они пошептались немного, и дуэнья осталась; протекло еще два убийственных часа, а я все так же сидел на стуле, не решаясь пошевельнуться. Думаю, что Эдме и в самом деле заснула. Но вот позвонили к обеду, дядя зашел за мной и, выходя из комнаты, опять спросил:

— Ну что, поговорили?

— Да, папенька,— ответила Эдме с уверенностью, которая меня озадачила.

Такое поведение кузины свидетельствовало, на мой взгляд, о том, что прежде она надо мной потешалась, теперь же боится моих упреков. Но, вспомнив, как она говорила обо мне с мадемуазель Леблан, я снова обрел надежду. Мне даже пришло в голову, что, опасаясь отцовских подозрений, она прикидывается совершенно ко мне равнодушной лишь затем, чтобы, когда настанет час, ей легче было заключить меня в объятья. Я ждал в нерешительности. Но дни и ночи тянулись чередой, не принося разгадки; тщетно я надеялся, что тайным посланием меня предупредят о необходимости запастись терпением. По утрам Эдме выходила на часок в гостиную, по вечерам — к обеду, потом играла с отцом в пикет или в шашки. И все время ее охраняли так тщательно, что мне не удавалось даже обменяться с нею взглядом. В остальные часы она сидела взаперти у себя в комнате и была для меня недоступна. Видя, что я скучаю и чувствую себя пленником, господин Юбер говорил:

— Ступай к Эдме, поболтай с ней; она у себя в комнате, скажешь, что это я тебя послал.

Но тщетно я стучался к Эдме: заслышав шаги, она, конечно, узнавала мою тяжелую, нерешительную походку. Дверь ее комнаты ни разу не раскрылась передо мной; я был в отчаянии, в ярости.

Тут следует прервать рассказ о моих собственных испытаниях и поведать о том, что происходило тем временем в злополучном семействе Мопра. И Жан и Антуан действительно бежали, и, невзирая на самые тщательные розыски, схватить их не удавалось. На все их имущество был наложен арест, а Рош-Мопра, их родовое поместье, судебные власти назначили к продаже с торгов; однако до торгов дело не дошло. Господин Юбер де Мопра позаботился о том, чтобы покрыть исковые обязательства. Он приобрел поместье, оплатил векселя, и право собственности на Рош-Мопра перешло к нему.

Крохотный гарнизон Рош-Мопра, состоявший из самых низкопробных авантюристов, постигла та же участь, что и владельцев замка. Гарнизон этот, как вам известно, давно уже был сокращен до нескольких человек. Два-три были убиты, остальные бежали, и только один угодил в тюрьму. Его судили, и он поплатился за всех. Антуана и Жана Мопра тоже предполагали судить заочно. Им, очевидно, удалось бежать, ибо, когда осушили пруд у Студеных ключей, где раньше всплыло тело Гоше, их трупов

не обнаружили. Господин Юбер опасался, однако, что позорный приговор запятнает его честное имя, словно приговор этот мог что-нибудь прибавить к тому омерзению, какое внушало всем имя Мопра. Господин Юбер пустил в ход все то влияние, каким пользовался в провинции господин де ла Марш, да и он сам (в особенности по причине своих высоких нравственных качеств), чтобы замять дело, и это ему удалось. Что до меня, само собою разумеется, я не раз участвовал с моими дядюшками в грабежах и поборах; однако никто и не думал обвинять меня хотя бы перед судом общественного мнения. И если дяди мои вызывали всеобщую ненависть, на меня смотрели только как на жертву дурного воспитания, как на юного узника Рош-Мопра, одаренного счастливыми задатками. В силу своего великодушия и благоволения ко мне, равно как и желания восстановить честь семьи, господин Юбер, конечно, до чрезвычайности преувеличивал мои достоинства, пустив слух, будто я образец кротости и ума.

Утром того дня, когда господин Юбер приобрел права на замок Рош-Мопра, он зашел ко мне в комнату в сопровождении дочери и аббата и, показав купчую, которой увенчалась его благородная жертва (покупка Рош-Мопра обошлась почти в двести тысяч ливров), объявил, что я буду немедля введен не только во владение моей частью наследства, в общем незначительного, но и половины доходов с имения. Одновременно кавалер по завещанию передавал в мою собственность все имение в целом — основной капитал и проценты с него — *при одном условии:* что я согласен получить «приличествующее моему положению образование».

Все эти распоряжения, сделанные с такою простотой и добротой, были подсказаны Юберу как признательностью за мое отношение к Эдме, так и требованиям фамильной чести. Но он не ждал, что, заведя речь о моем образовании, натолкнется на такое сопротивление с моей стороны. Трудно передать, как раздосадовали меня эти слова — «при одном условии». Я готов был видеть в них следствие каких-то уловок, с помощью которых Эдме пыталась освободиться от данного мне обещания.

— Дядюшка,— ответил я, выслушав его великодушное предложение в полном молчании,— благодарю вас за все, что вы желаете для меня сделать. Но я не могу принять ваших милостей. В богатстве я не нуждаюсь: человеку моего склада не надобно ничего, кроме ломтя хлеба, ружья, охотничьей собаки да первой же харчевни у лесной опушки. Раз уж вы соблаговолили стать моим опекуном, выплачивайте мне лучше ренту в счет причитающейся восьмой доли поместья и не требуйте, чтобы я изучал латинскую дребедень. Дворянин достаточно образован, когда

умеет подстрелить чирка да подписать свое имя. Сделаться сеньором Рош-Мопра я не собираюсь, с меня довольно того, что я был его узником. Вы хороший человек, и, клянусь честью, я люблю вас, но я не люблю, когда мне ставят условия. Никогда я не делал ничего ради выгоды и предпочитаю остаться круглым дураком, нежели сделаться умником за счет ближнего. Никогда не соглашусь я также нанести подобный ущерб состоянию кузины. Я прекрасно знаю, что она охотно пожертвовала бы частью своего приданого, чтобы отделаться...

Эдме, которая до того была очень бледна и казалась рассеянной, решительно прервала мою речь, устремив на меня сверкающий взор.

— Чтобы отделаться от чего? Как вы сказали, Бернар?

Я видел, что, несмотря на все свое самообладание, она очень взволнована; она захлопнула веер с такой силой, что он сломался. Я ответил, бросив на нее взгляд, в котором сквозило, вероятно, простодушное лукавство деревенщины:

— Чтобы отделаться от необходимости сдержать слово, данное мне в Рош-Мопра, кузина.

Она побледнела еще больше; ужас, который не могла скрыть презрительная усмешка, отразился на ее лице.

— Какое же обещание вы ему дали, Эдме? — простодушно спросил господин Юбер, обернувшись к ней.

В ту же минуту священник украдкой стиснул мне руку, и я понял, что исповедник моей кузины был посвящен в нашу тайну.

Я пожал плечами: опасения моих собеседников были оскорбительны и жалки.

— Она обещала,— продолжал я, улыбаясь,— всегда считать меня своим другом и братом. Разве вы этого не говорили, Эдме? И разве дружбу доказывают с помощью денег?

Она с живостью вскочила и, протянув мне руку, растроганно сказала:

— Вы правы, Бернар; у вас благородное сердце, и я бы себе не простила, если бы хоть на минуту в этом усомнилась.

Я заметил слезу, повисшую у нее на реснице, и крепко пожал ей руку, должно быть, слишком крепко, потому что она слегка вскрикнула, хоть и наградила меня прелестной улыбкой. Кавалер обнял меня, аббат же, подскакивая на стуле, приговаривал:

— Вот и прекрасно! Как это благородно! Как прекрасно!.. Этого по книгам не выучить,— добавил он, обращаясь к кавалеру.— В сердцах детей запечатлены дух и слово божье...

— Вот увидите,— сказал глубоко растроганный господин Юбер,— этот Мопра восстановит честь нашего рода. Отныне, до-

рогой Бернар, я больше не буду толковать с тобой о делах. Я сам знаю, как мне поступать, и ты не помешаешь мне делать то, что я найду нужным, чтобы с твоею помощью восстановить честь моего доброго имени. Твои благородные чувства — залог того, что мне удастся осуществить мое намерение, но есть и еще кое-что: способности, образование, и ты не откажешься испробовать эти средства. Надеюсь, если ты нас любишь, ты не станешь ими пренебрегать; но говорить об этом еще рано. Щадя твою гордость, я готов обеспечить твое существование, не ставя никаких условий. Идемте, аббат, вы поедете со мной в город к моему поверенному. Карета ждет. Вы, дети, позавтракаете вдвоем. Ну-ка, Бернар, предложи руку кузине, или, скажем лучше, твоей сестре. Учись вежливому обращению, ибо оно выражает движения сердца.

— Вы правду говорите, дядюшка,— ответил я, грубовато подхватил Эдме под руку и повел ее к лестнице.

Эдме дрожала, но щеки ее снова порозовели, а на устах заиграла нежная улыбка.

Однако, только мы очутились за столом друг против друга, наше доброе согласие почти мгновенно улетучилось. Оба мы почувствовали себя скованными; будь мы одни, я нашел бы выход из неловкого положения в какой-нибудь грубоватой шутке, чем я спасался обычно, когда становилось невмоготу от собственной застенчивости; но присутствие Сен-Жана, который нам прислуживал, заставило меня молчать о самом главном. Тогда я заговорил о Пасьянсе, намереваясь расспросить Эдме, как завязалась у них дружба и что мне думать о мнимом колдуне. Она рассказала в общих чертах историю этого деревенского философа и добавила, что в башню Газо привел ее аббат Обер. Эдме поражали смышленость и мудрость лесного стоика, а беседа с ним доставляла ей необычайное удовольствие. Пасьянс же так привязался к Эдме, что с некоторых пор, изменив своим привычкам, стал частенько, навещая аббата, наведываться в гости и к ней.

Как вы сами понимаете, Эдме нелегко было все это мне втолковать. Я был весьма удивлен ее славословиями Пасьянсу и тем сочувствием, какое она проявляла к его революционным идеям. Я впервые слышал, чтобы о крестьянине говорили как о человеке. К тому же прежде я считал колдуна из башни Газо существом еще более ничтожным, нежели обычный крестьянин, а вот Эдме ставила его выше большинства знакомых ей людей; она была за Пасьянса и против знати. Отсюда я сделал вывод, что образование не столь уже необходимо, как уверяли меня дядя Юбер и аббат.

— Читать я умею немногим лучше Пасьянса,— сказал я.— И было бы неплохо, если бы мое общество показалось вам столь

же приятным, как его. Но вижу, что это далеко не так: ведь с тех пор, как я здесь...

Тут мы вышли из-за стола и направились в гостиную. Я обрадовался, что наконец-то останусь наедине с кузиной; но только я собрался блеснуть своим красноречием, как мы увидели входившего в противоположные двери господина де ла Марша. В душе я послал его ко всем чертям.

Господин де ла Марш был молод, знатен и во всем подражал модным веяниям времени. Он увлекался новой философией, слыл горячим вольтерьянцем, пылким почитателем Франклина, но, будучи скорее добрым малым, нежели мыслителем, постигал своих оракулов далеко не в той мере, как желал бы и как на то притязал: логика у него хромала; вот почему усвоенные им идеи показались ему гораздо менее привлекательными, а политические его чаяния — гораздо менее заманчивыми в тот день, когда французский народ вздумал их осуществить. Впрочем, преисполненный добрых чувств, господин де ла Марш воображал себя куда более увлеченным и романтичным, нежели то было на самом деле. Приверженный сословным предрассудкам сильнее, чем ему хотелось бы, он был весьма чувствителен к мнению света, хотя кичился своим свободомыслием. Таков был этот человек. Внешность его, весьма привлекательную, я находил крайне пошлой, ибо питал к нему самую нелепую вражду. Его учтивость в отношении Эдме казалась мне угодливостью; подражать ему представлялось мне постыдным, а между тем я весь был поглощен желанием перещеголять его по части небольших услуг, оказываемых кузине.

Мы спустились в обширный парк, который пересекает Эндра, представляющая здесь собою всего лишь красивый ручеек. Во время прогулки господин де ла Марш всячески старался быть приятным кузине: только заметит фиалку, непременно сорвет ее и поднесет Эдме. Мы подошли к речке, но тут оказалось, что буря, свирепствовавшая накануне, сорвала доску, переброшенную для перехода на другой берег. Тогда, не спрашивая разрешения кузины, я взял ее на руки и спокойно пустился вброд. Вода была по пояс, но я так крепко и ловко держал Эдме на вытянутых руках, что ни одна ленточка на ее платье не намокла. Господин де ла Марш, боясь показаться рядом со мною неженкой, без колебаний вошел в воду, не щадя своей нарядной одежды, и, несколько принужденно смеясь, последовал за мной; однако он то и дело спотыкался о камни, которыми было усеяно речное дно, хотя и не нес никакой тяжести; с трудом перебравшись через ручей, он присоединился к нам. Эдме было не до смеха. Полагаю, что, невольно подвергнув испытанию мою силу и отвагу, она устрашилась той

«Мопра»

неукротимой любви, какую мне внушала. Когда я осторожно опустил ее на землю, она сказала мне с возмущением:

— Бернар, прошу вас никогда не повторять подобных шуток!

— Ах, так! Вы бы не возмутились, если б это сделал кто-то другой,— возразил я.

— Другой никогда бы себе этого не позволил.

— Еще бы! Он бы поостерегся,— ответил я.— Вы поглядите только, как он спотыкается!.. А я вас сухонькой вынес! Фиалки-то рвать он умеет, но мой вам совет: в минуту опасности не отдавайте ему предпочтения.

Господин де ла Марш рассыпался в похвалах моему подвигу. Я надеялся, что он станет ревновать, но ему это словно и в голову не приходило: он весело подшучивал над жалким видом своего камзола. Было до чрезвычайности жарко, и к концу прогулки мы уже обсохли; но Эдме оставалась грустной и озабоченной. Мне казалось, что она делает над собой усилие, пытаясь выказывать мне такое же дружеское расположение, как во время завтрака. Это меня огорчило: ведь я был не только влюблен — я любил ее. Отличить одно чувство от другого я бы тогда не смог, но во мне жили и нежность и страсть.

К обеду вернулись господин Юбер и аббат. Они вполголоса переговаривались с господином де ла Маршем об упорядочении моих дел, и по тем обрывкам фраз, которые я невольно расслышал, я понял, что, как и было сказано утром, будущее мое блистательным образом обеспечено. Из ложного самолюбия я побоялся чистосердечно высказать свою признательность. Дядина щедрость меня смущала, казалась необъяснимой, я чуть ли не подозревал, что за ней кроется какая-то ловушка и меня хотят отдалить от кузины. Богатство меня не прельщало. Потребностей цивилизованного человека у меня не было, а дворянских предрассудков я придерживался, полагая это для себя делом чести, но отнюдь не из сословного тщеславия. И поскольку мне прямо ничего не говорили, я решил, хоть это было не очень красиво, притвориться, будто ничего не знаю о стараниях старого кавалера.

Эдме загрустила еще больше. Я заметил, как она в смутной тревоге устремляла свой взор то на господина де ла Марша, то на меня. Когда же я заговаривал — с ней ли или с другими,— она всякий раз вздрагивала и слегка хмурила брови, словно испытывая боль. После обеда она сразу же ушла к себе; отец в беспокойстве последовал за нею.

— Вы не замечаете, как переменилась за последнее время мадемуазель де Мопра? — спросил аббат, провожая их взглядом.

— Она похудела,— ответил де ла Марш,— но я нахожу, что ей это только к лицу.

— Это верно; боюсь, что она нездорова, хотя и не хочет в этом сознаться,—возразил аббат.— Ведь не только лицом она переменилась, но и характером: все грустит.

— Грустит? Да, по-моему, она никогда еще так не веселилась, как нынче утром; не правда ли, господин Бернар? На головную боль она стала жаловаться только после прогулки.

— Говорю вам, она грустит,— повторил аббат.— Если она теперь и весела, то весела не в меру; да и веселость ее какая-то неестественная, принужденная, что вовсе ей не свойственно; а потом она вдруг впадает в задумчивость. Этого я за ней никогда не замечал до той памятной ночи в лесу. Смею заверить, она много пережила в ту ночь.

— Конечно, видеть такую мерзость, как тогда в башне Газо...— согласился господин де ла Марш.— Да к тому же лошадь понесла и умчала ее в чащу, далеко от места охоты. Могу себе представить, как устала и испугалась Эдме, хотя она необыкновенно отважна!.. Скажите, дорогой господин Бернар, когда вы встретили ее в лесу, у нее был очень испуганный вид?

— В лесу? — переспросил я.— Да я вовсе не в лесу ее встретил.

— Ну, как же, конечно,— поспешно перебил меня аббат,— вы ведь встретили ее в Варенне... Кстати, господин Бернар, разрешите с глазу на глаз сказать вам несколько слов по поводу ваших владений в этом...

И, уведя меня из гостиной, аббат добавил вполголоса:

— Я не о делах хочу с вами говорить... Умоляю вас: никто, даже господин де ла Марш, не должен подозревать, что мадемуазель Эдме хоть минуту оставалась в Рош-Мопра.

— Да почему же? — спросил я.— Разве она не была там под моей защитой? Разве благодаря мне не вышла из замка незапятнанной? И как могут люди не узнать, что она два часа провела в Рош-Мопра?

— Этого не знает никто,— возразил аббат.— Эдме покинула замок, прежде чем в него ворвались осаждающие; ни один из владельцев Рош-Мопра не встанет из могилы и не вернется из далекого изгнания сообщить, что там была Эдме. Когда вы лучше узнаете свет, вы поймете, как важно для репутации молодой особы не давать повода для подозрений, что хотя бы тень опасности угрожала ее чести. А пока что молчите — заклинаю вас во имя ее отца, во имя дружбы, которую вы к ней питаете и лишь сегодня утром доказали столь благородным и трогательным образом!..

— Ловко сказано, господин аббат,— прервал его я,— но в ваших словах есть и другой, скрытый смысл, и хоть я и неуч, но догадываюсь, в чем дело. Передайте кузине: пусть не беспокоится;

уж кто-кто, а я не могу сомневаться в ее добродетели, да и мне ли помешать желанному для нее браку! Передайте, что я требую от нее лишь одного: она обещала мне в Роп-Мопра свою *дружбу*.

— Стало быть, это обещание имеет в ваших глазах какое-то особое значение? — спросил аббат.— Тогда почему же вы относитесь к нему с недоверием?

Я пристально взглянул на него, и так как мне показалось, что он встревожен, я не без злорадства решил помучить его и сказал, надеясь, что мои слова будут переданы Эдме:

— С недоверием? Ничуть! Просто, я вижу, кузина опасается, как бы господин де ла Марш не оставил ее, узнав о приключении в Роп-Мопра. Если этот молодчик способен подозревать Эдме и нанести ей оскорбление накануне свадьбы, есть, мне кажется, очень простой способ все исправить.

— Какой же, по-вашему?

— Вызвать его на дуэль и убить.

— Надеюсь, вы сделаете все возможное, чтобы избавить почтенного господина Юбера от этого рокового шага, чреватого страшной опасностью.

— Да, я сделаю все возможное — возьму на себя труд отомстить за кузину. Это мое право, господин аббат; я знаю, чего требует от меня долг дворянина, хотя и не изучал латынь. Так и передайте ей от моего имени. Пусть спит спокойно! Я буду молчать, а если это не поможет — буду драться.

— Но, Бернар,— мягко и вкрадчиво возразил аббат,— подумали ли вы о привязанности вашей кузины к господину де ла Маршу?

— Ну, так что ж! Тем более!..— в бешенстве воскликнул я и круто повернулся к нему спиной.

Весь наш разговор аббат передал своей духовной дочери. Положение достойного пастыря было чрезвычайно затруднительным. Соблюдая тайну исповеди, он в беседе со мной мог лишь уклончиво, намеками коснуться сделанного ему Эдме признания. И все же он надеялся, что его осторожные намеки помогут мне понять всю преступность моего упорства и заставят по-честному отказаться от Эдме. Аббат был обо мне слишком хорошего мнения: такая добродетель оказалась не по моим силам, да и не по моему разумению.

X

Прошло несколько дней; с виду все было спокойно. Эдме редко выходила из своей комнаты, сказавшись больной; господин де ла Марш приезжал почти ежедневно: его замок был расположен

неподалеку от Сент-Севэра. Несмотря на любезности, какими осыпал меня этот человек, я питал к нему все большее отвращение. Его напыщенные философствования были мне непонятны, я спорил с ним, со всей присущей мне грубостью отстаивая свои предрассудки. В моих тайных муках меня отчасти утешало лишь то, что и он, подобно мне, не имел доступа в комнаты Эдме.

Никаких событий за эту неделю не произошло, разве только что в хижине по соседству с замком поселился Пасьянс. С тех пор как аббат Обер нашел у господина Юбера убежище, где мог укрыться от преследований духовенства, ему незачем было встречаться с отшельником тайком. Аббат горячо уговаривал друга покинуть лесные дебри и переселиться к нему поближе. Пасьянс заставил себя долго упрашивать. Проведя столько лет в одиночестве, он так привык к башне Газо, что не сразу предпочел ей общество друга. Он утверждал к тому же, что общение с «великими мира сего» развратит аббата: вскоре он неприметно для себя попадет под влияние старых воззрений и охладеет к «святому делу». Но сердце Пасьянса покорила Эдме. Она-то и предложила ему поселиться в домике, принадлежавшем ее отцу и расположенном в живописной лощинке у входа в парк. Эдме уговаривала Пасьянса мягко и осторожно, стараясь не задеть его чувствительное самолюбие. Желая разрешить этот спор, аббат и пришел вместе с Маркасом в башню Газо в тот самый вечер, когда, застигнутые грозой, мы с Эдме нашли в ней приют. Последовавшие затем страшные события положили конец колебаниям Пасьянса. Сочувствуя учению пифагорейцев, он страшился всякого кровопролития. При виде умирающей лани у него, как у шекспировского Жака, навертывались слезы на глаза; тем более тяжко ему было зрелище человекоубийства; с той минуты, как башня Газо стала трагической ареной гибели двух человек, Пасьянсу повсюду мерещились в ней пятна крови; он ни за что не остался бы там даже на одну ночь. Пасьянс последовал за нами в Сент-Севэр и вскоре, поддавшись обаянию Эдме, позабыл о своих колебаниях и мудрствованиях. Да и домик, в котором он поселился, был настолько прост и беден, что Пасьянсу не пришлось бы краснеть за свою явную уступку цивилизации. Здесь не было полного уединения, как в башне Газо, зато Пасьянс не мог пожаловаться, что аббат и Эдме редко его навещают.

Тут рассказчик снова сделал отступление, чтобы подробно описать характер мадемуазель Мопра.

— Эдме жила скромно, в безвестности, а между тем вряд ли нашлась бы во Франции женщина, обладавшая бо́льшими совер-

неистовствами. Поверьте, что во мне говорит не личное пристрастие. У нее недоставало желания, да и не было нужды показываться в свете, иначе о ней заговорили бы и она затмила бы славой всех женщин ее круга. Но Эдме была счастлива в лоне семьи и при всех своих талантах и высоких добродетелях отличалась трогательной простотой. Она не знала себе цены, да и я недостаточно ценил ее в ту пору. Я был еще зверем алчущим и слышал только голос плоти, полагая, что люблю ее лишь за красоту. Надо сказать, что и жених Эдме, господин де ла Марш, понимал ее немногим лучше, чем я. Его дюжинный от природы ум питало рассудочное учение Вольтера и Гельвеция, а смелый ум кузины зажигало пламенное красноречие Жан-Жака. Пришло время, когда я понял Эдме; но господин де ла Марш так ее никогда и не понял.

Эдме с колыбели не знала матери; бесконечно добрый и беспечный отец доверял ей во всем, не мешал вдохновенным исканиям юной души, поэтому духовный мир Эдме складывался как бы сам по себе. Аббат Обер, у которого она приняла первое причастие, и не думал запрещать ей чтение философов, поскольку сам пленился их учением. Никто из окружающих не спорил с Эдме и даже не прекословил ей — ведь отец, кумиром которого она была, во всем ей потворствовал, так что у нее в голове уживались взгляды, казалось бы, совершенно противоположные: принципы философии, подготовлявшей крах христианства, и принципы христианства, осуждавшего дух философии. Чтобы объяснить себе это противоречие, надо вспомнить о впечатлении, какое произвело на аббата Обера «Исповедание веры савойского викария», о чем я уже рассказывал. Кроме того, как вам известно, в поэтических душах легко соседствуют мистическая вера и сомнение. Разительным и великолепным примером является Жан-Жак, а вы знаете, какое сочувствие возбуждал он в среде духовенства и аристократии, хотя и громил их с таким неистовством. Что за чудеса способен совершить человек, убежденный в своей правоте и наделенный возвышенным красноречием! Эдме пила из этого живительного источника со всей жадностью пламенной души. Изредка бывая в Париже, она и там выискивала людей, разделявших ее воззрения. Но во взглядах этих людей обнаружилось столько различных оттенков, так мало согласия и, главное, невзирая на модные веяния времени, столько закоренелых предрассудков, что она с большой охотой вернулась к своему одиночеству и поэтическим мечтаниям под сенью старых дубов отцовского парка. Уже тогда она говорила о своем разочаровании и с удивительно здравым смыслом, не свойственным ее возрасту и, пожалуй, ее полу, отвергала все представлявшиеся ей случаи завязать личное знакомство с теми философами, чьи произведения давали пищу ее уму.

— А ведь, знаете, я немного сибаритка,— улыбаясь, говорила она.— Предпочитаю вдыхать аромат роз, уже сорванных поутру и поставленных в вазу, нежели самой срывать их под лучами палящего солнца, рискуя уколоться о шипы.

Слово «сибаритка» можно было применить к ней лишь весьма условно. Воспитанная на лоне природы, сильная, подвижная, Эдме была весела и отважна и сочетала в себе прелесть нежной девической красоты с энергией физически и нравственно здорового человека. Эта гордая, бесстрашная девушка была приветлива и ласкова с людьми, ниже ее стоящими. Мне она частенько казалась высокомерной и спесивой; Пасьянс же и все окрестные бедняки считали ее добродушной и скромной.

Почти столь же страстно, как философов-спиритуалистов, Эдме любила высокую поэзию; она прогуливалась всегда с книжкой в руках. Однажды, когда у нее был с собою томик Тассо, она встретила Пасьянса. Он, по обыкновению, с любопытством стал расспрашивать ее о книге и авторе. Эдме пришлось пояснить ему, что такое крестовые походы, это было не так уж трудно. Благодаря рассказам аббата и своей удивительной способности запоминать события Пасьянс знал в общих чертах всемирную историю. Но гораздо труднее было ему уразуметь, где проходит граница между историей и эпической поэзией. Поэтический вымысел вызывал у него вначале возмущение: он полагал, что подобный обман нетерпим. Затем он уразумел, что эпическая поэзия, отнюдь не вводя в заблуждение потомство, могучей кистью увековечивает славу героических подвигов; тогда Пасьянс стал допытываться, почему же не все славнейшие деяния воспеты бардами и почему не вся история человечества отражена в столь доступной форме, которая без посредства ученых книг позволяет запечатлеть далекое прошлое в памяти поколений. Пасьянс попросил Эдме растолковать ему строфу из «Освобожденного Иерусалима»; стихи отшельнику очень понравились, и Эдме прочитала ему одну песню из поэмы в переводе на французский. Спустя несколько дней она познакомила Пасьянса с другой песней, а затем и со всей поэмой. Старик обрадовался, услыхав, что это героическое повествование пользуется всенародной известностью в Италии, и попробовал сокращенно изложить его содержание грубой прозой; память его не сохранила ни одного стиха. Пасьянс был, однако, живо захвачен прочитанным, и величавые образы вереницей проходили перед его мысленным взором. Он воплотил их во вдохновенном рассказе, и его варварское косноязычие было побеждено присущей ему поэтической одержимостью. Но повторить свое повествование Пасьянс уже не мог. Следовало записать услышанное из его уст, но это ни к чему бы не привело: если б ему и удалось прочитать эту

запись, память его, изощренная в одних только умствованиях, не могла бы воспроизвести дословно даже самый незначительный отрывок. Впрочем, Пасьянс часто цитировал прочитанное, и речь его достигала иногда поистине библейской силы; но, кроме кое-каких излюбленных им выражений да нескольких кратких сентенций, которые он все же усвоил, в голове у него не сохранилось ничего из того множества страниц, которые он неоднократно заставлял вновь и вновь прочитывать себе вслух, всякий раз внимая им с одинаковым волнением. Поистине отрадно было наблюдать за воздействием поэтических красот на эту могучую натуру. Аббат, Эдме, а позже и я постепенно познакомили Пасьянса с Гомером и Данте. «Божественная Комедия» так потрясла его, что он мог пересказать поэму от начала до конца, не опуская ни единой подробности, ни единого эпизода из странствий, встреч и переживаний поэта; но этим возможности Пасьянса исчерпывались. Когда же он пытался восстановить в памяти понравившееся ему выражение, ласкавшее его слух, речь его от обилия нахлынувших метафор и образов походила на бред.

Приобщившись к поэзии, Пасьянс совершенно переменился: он зажил в своем воображении той деятельной жизнью, какой не хватало ему в действительности. В волшебном зеркале поэзии видел он грандиозные битвы, героев в десять локтей ростом; он постиг любовь, которой никогда не знал; он сражался, любил, побеждал, просвещал и умиротворял народы; он обличал заблуждения рода человеческого, сооружал храмы во славу великого духа вселенной. На звездном небосводе видел он всех богов Олимпа — родоначальников древнего человечества; в созвездиях читал историю Золотого века и века Бронзового; голос зимнего ветра доносил к нему песни Морвена, в грозовых тучах приветствовал он тени Фингала и Комалы.

— Пока не познакомился я с поэтами,— говаривал Пасьянс на склоне дней,— я словно был лишен одного какого-то чувства. Я понимал, как важно им обладать, ибо потребность в нем ощущаешь так часто. Ночью я прогуливался в одиночестве, охваченный смятением, и спрашивал себя, почему не могу я уснуть, почему с таким наслаждением созерцаю звезды, глаз от них оторвать не в силах; почему иные краски заставляют мое сердце радостно биться, а иные звуки — тоскливо, до слез, сжиматься. Иногда я пугался: уж не спятил ли я? Ведь другие люди моего сословия не знают этой постоянной душевной смуты и живут безмятежно; я готов был счесть себя безумцем; однако же я утешался тем, что безумие мое сладостно и лучше я умру, нежели соглашусь от него излечиться. А нынче меня успокаивает сознание, что все умные люди во все времена находили подобные цвета и звуки прекрас-

ными, и с меня этого довольно, я готов понять их суть, всю важность их для человека. Меня радует мысль, что нет такого цветка, такого оттенка, нет дуновения ветерка, которые не привлекли бы внимание и не тронули бы сердца людей и затем не получили бы своего особого имени у всех народов. С тех пор как я узнал, что человек может, не теряя рассудка, наполнять мечтами вселенную и с помощью мечтаний находить ей разгадку, я погрузился в созерцание вселенной. И когда зрелище общественных бедствий и злодеяний жестоко ранит мое сердце и возмущает разум, я ухожу в свои мечты и говорю себе: ежели сумели люди единодушно возлюбить творение господа своего, наступит день, когда они единодушно возлюбят друг друга. Просвещенность, полагаю я, возрастет, сыновья будут знать больше отцов. А я хоть и невежда, но, может статься, первый из простолюдинов угадал то, что ни одним намеком не было мне подсказано другими. Быть может, и до меня были мятущиеся души, пытавшиеся себя понять, но жизнь прошла, а для них все окружающее так и осталось загадкой.

— Бедные мои люди! — воскликнул Пасьянс.— Нет нам спасения ни от тяжкого труда, ни от пагубы пьянства, ни от всяческих пороков, что разрушают мозг. У богатых есть деньги, и они покупают рабочие руки, а бедняк надрывается, чтобы прокормить семью; есть у нас кабаки и еще другие, более опасные заведения, и правительство, говорят, получает от них доходы; есть у нас попы: заберутся на кафедру да и читают нам проповедь о нашем долге перед сеньором, но о долге сеньора перед нами — никогда. Нет у нас такой школы, где бы объясняли нам наши права, где бы учили отличать наши истинные, благородные потребности от постыдных и губительных, где бы сказали, наконец, о чем можем и должны мы подумать вечером, пропотев целый день ради чужих барышей, когда сидим на пороге хижины, глядя, как вспыхивают на небосклоне сияющие звезды.

Так рассуждал Пасьянс; поверьте, что в переводе на наш трезвый язык его речь теряет всю свою прелесть, энергичность и силу. Но кто мог бы слово в слово передать рассуждения Пасьянса? Лишь он один обладал столь самобытной речью: то была помесь скупого, но могучего крестьянского словаря и самых смелых поэтических метафор, смелость которых Пасьянс даже усугублял. Его ум, стремившийся все обобщать, придавал порядок и последовательность пестроте этого наречия. Невероятная щедрость воображения восполняла сжатость его речи. Поглядели бы вы, как отважно сражались воля и убежденность Пасьянса с беспомощностью его языка; вряд ли кто-либо другой на его месте вышел бы из положения с честью; уверяю вас, если призадуматься над этим, а не потешаться над неправильными оборотами его речи и дерз-

новенностью метафор, то крестьянин этот давал пищу для важнейших наблюдений над развитием человеческого разума, заставлял умиленно восхищаться нравственной красотой простого человека.

Настало время, когда в силу исключительности моей судьбы я научился хорошо понимать Пасьянса и сочувствовать ему. Подобно ему я был невежествен; подобно ему, искал в окружающем мире разгадку самого себя, как ищут ключ к раскрытию тайны. Случайные обстоятельства — мое происхождение и богатство — дали мне возможность развить мои способности. Пасьянс же до самой смерти пробирался ощупью в потемках невежества, из которых он не хотел да и не умел выбраться; но то было для меня лишним поводом признать превосходство его могучей натуры, ибо он шел впереди по пути, слабо освещенному проблесками инстинкта, смелее, нежели я шагал при ярком свете факелов, зажженных знанием. Кроме того, у Пасьянса вовсе не было дурных наклонностей, с которыми ему пришлось бы бороться, а у меня их было сколько угодно.

Но в те времена Пасьянс был в моих глазах только чудаком, который забавлял Эдме и давал аббату Оберу повод для сострадания. Когда же они уважительно говорили со мною о старом крестьянине, я их не понимал: я воображал, что они в иносказательной форме хотят доказать мне преимущества образования и необходимость приняться за него смолоду, во избежание напрасных сожалений в старости.

Увидев, что Эдме направляется через парк к новому жилищу Пасьянса, я начинал бродить среди окружавшей домик лесной поросли, в надежде ненароком встретиться с кузиной, когда она в одиночестве будет возвращаться домой. Но всякий раз ей сопутствовал аббат, а иногда даже отец. Если же она и оставалась у Пасьянса одна, он провожал ее потом до самого замка. Частенько, укрывшись в тени гигантского тиса, склонившего свои бесчисленные ветви и пустившего густые побеги неподалеку от хижины, я видел на пороге Эдме. Она сидела с книгой на коленях, а Пасьянс слушал, скрестив руки на груди и понурив многодумную голову. Мне казалось, что Эдме пытается обучить его грамоте; я считал это пустой затеей, а упорство кузины — безумием. Но она была так хороша в лучах заката, под желтеющей виноградной листвой, укрывавшей хижину! Любуясь ею, я твердил про себя, что она моя, и клялся никогда не поддаться ни убеждению, ни силе, если меня попробуют принудить от нее отказаться.

С некоторых пор страдания мои достигли предела, и, не видя иного способа их избежать, я много, почти до бесчувствия пил за ужином. И вот наступала минута столь же для меня тягостная, сколь и оскорбительная: перед тем как уйти из гостиной, Эдме,

поцеловав отца и протянув для поцелуя руку господину де ла Маршу, бросала на ходу: «Доброй ночи, Бернар!» — тоном, казалось, говорившим: «Сегодня — так же, как вчера, завтра — так же, как сегодня. Все без перемен».

Напрасно усаживался я в кресло у самой двери, чтобы Эдме, проходя мимо, коснулась меня своим платьем; это было все, на что я мог рассчитывать; я даже не пытался протянуть ей руку, в надежде, что она ответит мне тем же: ведь, наверное, она подала бы мне свою с таким небрежным видом, что я, пожалуй, в ярости мог бы сломать ей пальцы.

За ужином я молча и тоскливо напивался и быстро пьянел. Мрачный, осоловелый, садился я в мое излюбленное кресло и не покидал его, пока не проходил хмель; тогда я шел прогуляться по парку, предаваясь бессмысленным мечтаниям и строя зловещие планы.

Окружающие словно не замечали моей скотской привычки. В семье относились ко мне с такой снисходительностью и добротой, что боялись сделать даже самый справедливый упрек, но мое постыдное пристрастие к вину давно уже привлекало внимание домашних, и аббат говорил об этом с Эдме. Однажды ввечеру, за ужином, она несколько раз пристально и как-то странно на меня взглянула; я посмотрел ей прямо в глаза, надеясь, что она вызовет меня на разговор; но, обменявшись недружелюбными взглядами, мы этим и ограничились. Подымаясь из-за стола, она вполголоса, скороговоркой, повелительно сказала мне:

— Перестаньте пить и старайтесь усвоить все, чему будет учить вас аббат.

Я был так возмущен ее властным тоном и приказанием, не сулящим никакой надежды, что вся моя робость улетучилась в мгновение ока. Выждав, когда Эдме направится к себе в комнату, я подстерег ее на лестнице.

— Уж не думаете ли вы, что одурачили меня, что я не замечаю обмана? Будто я не вижу: вот уже месяц я тут, а вы меня ни словом не удостоили, да еще водите, как простофилю, за нос. Вы мне солгали, а теперь презираете меня за глупое простодушие, за то, что я поверил вашим клятвам.

— Бернар, здесь не место и не время объясняться,— холодно сказала она.

— Ну, еще бы! У вас для меня никогда не найдется ни места, ни времени; не беспокойтесь, зато я сумею их найти! Вы сказали, что любите меня; обняли и поцеловали, вот сюда, в щеку,— я до сих пор ощущаю прикосновение ваших губ,— и сказали: «Спаси меня, и, клянусь Евангелием, клянусь честью, клянусь памятью моей матери и памятью твоей матери, я буду принадлежать тебе!»

Я знаю, вы говорили все это, боясь, что я прибегну к насилию, а теперь — это ясно — вы меня избегаете, боясь, что я воспользуюсь своим правом. Но вам ничего не поможет! Клянусь, вам недолго придется меня дурачить!

— Я никогда не буду вам принадлежать,— возразила она ледяным тоном,— если вы не перестанете разговаривать со мною подобным языком и не измените вашего обращения и ваших чувствований. Такого, как сейчас, я вас не боюсь! Я могла уступить вам, отчасти повинуясь страху, отчасти движимая благосклонностью: вы показались мне добрым и великодушным; но теперь, разлюбив вас, я перестала вас бояться. Исправьтесь, получите образование, и тогда посмотрим.

— Превосходно,— сказал я.— Вот что такое ваши обещания! Что ж, я буду поступать соответственно, и если мне не дано быть счастливым, отомстить я сумею!

— Мстите сколько угодно,— сказала она,— вы добьетесь лишь того, что я стану вас презирать.

Сказав это, она достала из-за корсажа листок бумаги и спокойнейшим образом поднесла его к свече.

— Что вы делаете? — воскликнул я.

— Сжигаю письмо, которое вам написала,— ответила она.— Я хотела помочь вам образумиться, но это бесполезно: с грубияном объясняться невозможно.

— Отдайте! — закричал я и кинулся к Эдме отнимать горящее письмо.

Но она увернулась, бесстрашно загасила рукою огонь, швырнула догорающую, словно факел, бумагу к моим ногам и скрылась во мраке. Напрасно поспешил я за нею. Она опередила меня и, добежав до своей комнаты, захлопнула за собою дверь. Я слышал, как щелкнула задвижка, и до меня донесся голос мадемуазель Леблан, осведомляющейся у своей юной госпожи о причине ее испуга.

— Пустяки,— дрожащим голосом ответила Эдме,— так, просто шутка!

Я спустился в сад и в неистовстве зашагал по аллеям. Ярость моя сменилась глубочайшим унынием. Дерзкая гордячка казалась мне сейчас прекрасней и желанней, нежели когда-либо. Противоборство, на которое мы наталкиваемся, всегда лишь возбуждает и разжигает наш пыл; это в природе вещей. Я чувствовал, что Эдме оскорблена, что она не любит меня, возможно, никогда не полюбит, и, хотя не желал отказаться от преступного замысла овладеть ею силой, ненависть ее причиняла мне страдание. Припав во мраке сада к какой-то стене и закрыв лицо руками, я разразился отчаянными рыданиями. Моя широкая грудь разрывалась, но сле-

зы не приносили облегчения — еще немного, и я закричал бы в голос; тогда я впился зубами в свой платок. Звуки моих приглушенных рыданий привлекли внимание: в часовенке за стеной, к которой я, забывшись, припал, кто-то молился. Прямо вровень с моей головой находилось стрельчатое окно с каменным *плетением,* образующим узор из трилистников.

— Кто там? — спросил чей-то голос, и в неверном свете восходящей луны смутно забелело чье-то лицо.

Я узнал Эдме и хотел бежать, но она просунула прелестную ручку сквозь переплет окна и, ухватив меня за воротник, спросила:

— Бернар, почему вы плачете?

Стыдясь, что меня застали врасплох в минуту слабости, радуясь, что Эдме не осталась к ней нечувствительной, я уступил этому сладостному насилию.

— У вас горе? — продолжала она.— Кто же заставляет вас так рыдать?

— Вы меня презираете, ненавидите — и еще спрашиваете, отчего я страдаю, отчего злюсь до бешенства!

— Так вы от злости плачете? — спросила она, убирая руку.

— От злости, но не только от злости,— ответил я.

— От чего же еще?

— Сам не знаю, может, и от горя, как вы говорите. Одно верно: я страдаю, грудь моя разрывается. Я должен с вами расстаться, Эдме; право же, лучше мне уйти и жить в лесной глуши, я не в силах оставаться здесь больше.

— Вы так страдаете? Отчего же? Скажите, Бернар. Пора нам объясниться.

— Да, теперь, когда нас разделяет стена. Конечно, тут я вам не страшен.

— По-моему, я только то и делаю, что проявляю к вам участие. Разве час тому назад, когда эта стена не разделяла нас, я относилась к вам не так участливо?

— Я думаю, Эдме, вы потому так бесстрашны, что у вас всегда есть способ уклониться от прямого ответа или сбить человека с толку красивыми словами. Эх! Не зря мне говорили, что женщины — все лгуньи и ни одна не стоит любви!

— Кто же это вам говорил? Уж не ваш ли дядя Жан, или дядя Гоше, или, может быть, ваш дед Тристан?

— Смейтесь, смейтесь надо мною сколько вам угодно! Не моя вина, что воспитали меня они. Но им случалось иной раз говорить и правду.

— Хотите, Бернар, я скажу вам, почему они считали женщин лгуньями?

— Скажите.

— Потому что они подчиняли себе слабых с помощью насилия и гнета. А когда властвуешь, вселяя страх, всегда рискуешь быть обманутым. Разве в детстве, спасаясь от колотушек, от жестокой расправы Жана, вы не скрывали свои проступки?

— Конечно, в этом было мое единственное спасение.

— Стало быть, в хитрости если не право, то спасение угнетенных. Понимаете?

— Понимаю, что люблю вас и что это не дает вам права меня обманывать.

— Кто же говорит, что я вас обманываю?

— Вы обманули меня: сказали, что любите, а не любили меня.

— Нет, я любила вас! Я видела, что, вопреки гнусным правилам, внушенным вам, ваше благородное сердце побуждает вас быть справедливым и честным. Я люблю вас и сейчас, потому что вижу, как вы торжествуете над этими гнусными правилами, а поддавшись дурному порыву, каетесь и льете чистосердечные слезы. Вот что я могу вам открыть как на духу, положа руку на сердце, когда вижу вас таким, как сейчас. Но бывают минуты, когда вы, на мой взгляд, настолько ниже самого себя, что я перестаю вас узнавать, и тогда мне кажется, что я вас не люблю. Только от вас зависит, Бернар, никогда не давать мне повода усомниться ни в вас, ни в себе.

— Но что для этого нужно?

— Избавиться от дурных привычек, слушаться добрых советов, открыть свое сердце велениям морали. Бернар, вы дикарь, но, поверьте, меня оскорбляет в вас не ваша неуклюжесть или неумение говорить любезности. Напротив: ваша грубоватая простота была бы для меня необыкновенно привлекательна, если бы за ней скрывались высокие помыслы и благородные чувства. Но ваши чувства и помыслы так же грубы, как и ваши манеры, а это для меня нестерпимо. Я знаю, вы не виноваты, и, если бы вы решили исправиться, я полюбила бы вас не только за достоинства, но и за ваши недостатки. Сострадание предшествует любви; но я не люблю, не могу любить дурное, и, если вы лелеете его в себе, вместо того чтобы искоренять, я не могу любить вас. Понимаете вы это?

— Нет.

— Как нет?

— Нет, говорю вам! Я не понимаю, чем я дурен. Если вам не претит то, что я не умею шаркать ножкой, что руки мои недостаточно белы, а речи недостаточно изысканны, чем же я могу быть вам противен? Не понимаю. С самого детства мне внушали дурные правила, но я им не следовал. Я никогда не верил, что дурные

поступки дозволены, по крайней мере, никогда не находил в них прелести. Если я и чинил зло, то лишь потому, что меня принуждали это делать. Дяди мои, их образ жизни всегда вызывали во мне отвращение. Я не хочу чужих страданий, не хочу грабить; деньги я презираю, а в Рош-Мопра им поклонялись. Я люблю вино, но умею быть трезвым и всю жизнь пил бы одну лишь воду, если бы ради доброго ужина мне приходилось, как моим дядюшкам, проливать чужую кровь. Но ведь я сражался с ними плечом к плечу, с ними и пил; мог ли я поступать иначе? Ну, а нынче, когда я волен поступать как мне заблагорассудится, кому я причиняю зло? Разве ваш аббат, толкующий о добродетели, считает меня убийцей или вором? Так признайтесь же, Эдме, в моей честности вы уверены, не считаете меня дурным человеком, но я вам не нравлюсь: мне недостает ума, а де ла Марша вы любите — ведь он умеет болтать всякий вздор, который я постыдился бы высказать вслух.

Выслушав меня очень внимательно и не отнимая руки, которую, припав к перешлету решетки, я держал в своей, она, улыбаясь, сказала:

— Но если бы для того, чтобы мне понравиться, чтобы я предпочла вас де ла Маршу, вам понадобилось, как вы говорите, нажить немного ума, разве вы этого не сделали бы?

— Не знаю,— не сразу ответил я,— пожалуй, я так поглупел, что и на это способен; не могу только понять, чем вы меня взяли? Но это было бы с моей стороны большое малодушие и большое безрассудство.

— Почему, Бернар?

— Потому что вряд ли стоит стараться ради женщины, которая любит мужчину не за его доброе сердце, а за остроумие. Так мне кажется.

Эдме помолчала, потом, пожав мне руку, сказала:

— У вас много больше ума и здравого смысла, чем можно было бы предположить. Что ж! Придется сказать вам все напрямик: признаюсь, вы и такой, как есть, даже если никогда не переменитесь, внушаете мне уважение и дружеские чувства, и я сохраню их до конца жизни. Будьте в этом уверены, Бернар, что бы я вам ни говорила в минуту гнева: вы ведь знаете, что я очень вспыльчива,— это у нас семейная черта. У Мопра кровь никогда не будет течь в жилах так же безмятежно, как у других людей. Пощадите же мою гордость — кому, как не вам, знать, что такое гордость! Никогда не кичитесь передо мной вашими правами. Чувству не прикажешь — его добиваются, его внушают; сделайте так, чтоб я полюбила вас, как прежде; никогда не говорите мне, что я обязана вас любить.

— А ведь это верно,— ответил я.— Но почему же вы иной раз так со мной разговариваете, словно я обязан вам подчиняться? Почему нынче вечером вы *запретили* мне пить и *приказали* учиться?

— Потому что, если нельзя приказать чувству, когда его нет, можно как-никак приказать чувству, когда оно есть. В вашем я уверена, потому-то и приказываю.

— Прекрасно! — порывисто воскликнул я.— Но я тоже имею право приказывать вашему чувству: ведь вы признались в нем... Эдме, я приказываю вам меня поцеловать.

— Пустите, Бернар! — вскрикнула она.— Вы сломаете мне руку! Смотрите, вы уже оцарапали меня, а все эта решетка.

— Почему вы заперлись от меня в этой крепости? — сказал я, покрывая поцелуями ее руку и маленькую царапину, которая на ней оказалась по моей вине.— Ах, до чего же мне не везет. Проклятая решетка! Эдме, наклоните же голову, я вас поцелую... Поцелую как сестру. Эдме, ну чего же вы боитесь?

— Но, дорогой Бернар,— ответила она,— в нашем кругу не принято целовать даже сестру, и, уж во всяком случае, целовать тайком. При отце я могу целовать вас хоть каждый день, если пожелаете, но тут — никогда!

— Так вы никогда меня не поцелуете? — воскликнул я, приходя в ярость, как это было мне свойственно.—А ваше обещание? А мои права?

— Если мы поженимся...— сказала она в замешательстве.— Когда вы закончите образование... Ведь я умоляю вас учиться.

— Вот проклятие! Вы издеваетесь надо мной! Да разве о женитьбе идет речь? Ничуть не бывало! Не нуждаюсь я в вашем состоянии — я вам это уже говорил!

— Мое состояние и ваше — теперь одно нераздельное целое. Между столь близкими родственниками «твое» и «мое» — пустые слова. Мне никогда и в голову не придет заподозрить вас в корыстных целях. Знаю, что вы любите меня, что постараетесь это доказать и что наступит день, когда любовь ваша перестанет меня отпугивать, когда я смогу принять ее перед богом и людьми.

— Если вы так думаете,—сказал я, совершенно забыв о своем гневе, ибо мысли мои получили новое направление,— тогда другое дело; но, по совести говоря, мне еще надо подумать... Мне не приходило в голову, что вы так на это смотрите.

— А как же иначе? — возразила она.— Может ли благородная девица, не обесчестив себя, принадлежать кому-либо, кроме супруга? Я не желаю себя бесчестить, но и вы, если любите меня,

этого не пожелаете; вы не захотите ведь причинить мне непоправимое зло. Будь у вас такое намерение, вы стали бы моим смертельным врагом.

— Погодите, погодите, Эдме,— прервал я ее,— я ничего не могу сказать о моих намерениях относительно вас; твердых намерений у меня никогда не было. Меня обуревали только желания, и всякий раз, подумав о вас, я начинал безумствовать. Вы хотите, чтобы мы поженились? Ах, бог ты мой! Да зачем?

— Затем, что уважающая себя девица может принадлежать мужчине, только если питает намерение, решимость, уверенность принадлежать ему вечно. Неужто вы этого не знаете?

— Я очень многого не знаю, о многом никогда и не задумывался!

— Воспитание научило бы вас, Бернар, судить о том, что для вас всего важнее: о вашем положении, о вашем долге, ваших чувствах. Вы не отдаете себе отчета ни в том, что у вас на сердце, ни в том, что у вас на уме; я же привыкла проверять себя во всем, всегда управлять собою, и вы хотите, чтоб я избрала своим повелителем человека, который рабски подчиняется инстинкту и действует по воле случая?

— Повелителем? Мужем? Да, я понимаю, что вы не можете подчинить всю свою жизнь такому грубому животному, как я... Так я ведь этого и не требую! Я и подумать об этом не могу без содрогания!

— И все-таки, Бернар, подумайте об этом! Подумайте хорошенько, послушайтесь моих советов, и вы поймете, как важно для вас совершенствоваться умственно, чтобы стать достойным нового положения, какое вы заняли в обществе, покинув Рош-Мопра; когда вы поймете всю необходимость этого, вы мне скажете, и мы решим, как нам поступить.

Она мягко отняла свою руку и, кажется, пожелала мне доброй ночи; но эти слова не дошли до моего слуха. Я погрузился в размышления, и когда поднял голову, чтобы ей ответить, ее уже не было. Я прошел в часовню; Эдме вернулась к себе через верхние хоры, которые сообщались с ее комнатой. Я спустился вниз, забрел в глубь парка и провел там всю ночь. Разговор с Эдме открыл передо мною новый мир. До сих пор я все еще оставался выкормышем Рош-Мопра и не подозревал, что способен или должен буду когда-либо отречься от самого себя; хотя привычки мои под влиянием обстоятельств изменились, образ мыслей оставался столь же ограниченным, как прежде. Слишком ощутимая власть того нового, что меня окружало, казалась мне оскорбительной, и я втайне напрягал всю силу воли, чтобы преодолеть охватившее меня чувство унижения. Думаю, что, не вмешайся

Эдме, ничто не смогло бы победить моего ожесточенного упорства и упрямого отчуждения. Пошлые житейские блага, наслаждение роскошью имели для меня только прелесть новизны. Тело мое тяготилось непривычной бездеятельностью; спокойствие этого дома, присущие ему порядок и безмолвие окончательно подавили бы меня, если б не присутствие Эдме и не обуревавшие меня желания; они наполняли весь замок моей тревогой, населяли его моими грезами. Ни на минуту не возникала у меня мысль стать главой этого дома, обладателем этих богатств, и мне отрадно было слышать, что Эдме отдает должное моему бескорыстию. Меж тем я все еще противился соблазну сочетать два столь несхожих понятия, как страсть и выгода. Я блуждал по парку, раздираемый сомнениями, и неприметно для себя очутился в поле. Ночь была восхитительная, полная луна лила потоки ясного света на истомленные солнечным зноем нивы. Поникшие цветы выпрямляли свои стебельки; каждый листок, казалось, всеми порами вдыхал влажную свежесть ночи. Ее сладостную прелесть ощутил и я: сердце стало биться сильно, но ровно. Смутная надежда наполняла душу; на луговых тропинках витал передо мною образ Эдме, не возбуждая более ни мучительных порывов, ни яростных желаний.

Я шел по голому лугу; зеленые степные пастбища кое-где пересечены были зарослями молодых деревьев. Огромные светло-рыжие быки недвижно возлежали на скошенной траве, казалось, погруженные в мирное раздумье. Мягкие очертания холмов вырисовывались на горизонте, и бархатистые макушки отливали серебром в непорочном сиянии луны. Впервые в жизни ощутил я чувственную прелесть и величавое обаяние ночи. Неведомое блаженство пронизало меня, и мнилось, впервые увидел я и луну, и луга, и эти склоны. И я вспомнил, как Эдме говорила, что ничего нет на свете прекраснее природы, и удивился, что до сих пор не понимал этого. Минутами мною овладевало желание молитвенно преклонить колена, обращаясь к богу, но меня удерживала боязнь, что я не найду слов и оскорблю его своей неумелой молитвой. Признаться ли вам в странной причуде, возникшей из хаоса моего неведения как ребяческое откровение поэтической любви? Луна освещала землю так ярко, что я различал в траве каждый цветок. Маленькая полевая маргаритка в белом воротничке с багряной бахромой вокруг золотой сердцевинки, осыпанной бриллиантами росы, показалась мне столь прекрасной, что я сорвал ее и в восторженном исступлении стал покрывать поцелуями, восклицая:

— Это ты, Эдме! Да, ты! Вот ты где! Теперь ты уже не бежишь от меня!

Каково же было мое замешательство, когда, приподнявшись, я увидел, что моему безумству был свидетель: передо мной стоял Пасьянс.

Застигнутый врасплох в минуту сумасбродства, я пришел в ярость и по старой разбойничьей привычке хотел было схватиться за нож, который носил обычно за кушаком; но ни ножа, ни кушака на месте не оказалось. Шелковый жилет с карманами напомнил мне, что с душегубством покончено. Пасьянс улыбнулся.

— Полно, полно, что ж тут такого? — мягко стал успокаивать он меня.— Думаете, я и сам не догадывался? Я хоть и прост, а смекаю, хоть и стар, а не слепой. С чего это ветви тиса колышутся всякий раз, как наша смиренница придет посидеть на пороге моего домика? Кто это, словно волчонок, рыщет, прячась за кустами, когда я провожаю прелестное дитя домой к ее отцу? Да что же тут худого? Оба вы молоды, красивы, к тому еще и родные по крови; стоит вам только пожелать, и вы станете достойным, порядочным юношей, словом, парою ей — ведь она у нас достойная, порядочная девушка.

Ярость моя сразу же улеглась, едва Пасьянс упомянул об Эдме. У меня была такая потребность говорить о ней, что я согласился бы слушать о ней даже дурное, лишь бы слышать ее имя. Я продолжал шагать рядом с крестьянином. Он ступал по влажной траве босиком. Правда, ноги его, давно отвыкшие от обуви, так загрубели, что им уже ничто не было страшно. На нем были синие, ничем не подпоясанные, то и дело сползавшие холщовые штаны да неказистая рубаха. Пасьянс не выносил стеснительной одежды, и его загорелая, выдубленная ветром кожа была нечувствительна и к зною и к холоду. И когда ему было уже за восемьдесят, он все еще расхаживал под жгучим солнцем с непокрытой головой, а зимой — в распахнутой навстречу северному ветру куртке. С тех пор как Эдме взяла его под свою опеку, он соблюдал некоторую опрятность, но в пренебрежении его к одежде, в ненависти ко всему, что выходило за пределы строго необходимого, было нечто сближавшее его с древними киниками. Однако всякой непристойности он гнушался. Борода его сверкала серебром, на зеркально-гладком черепе играли, словно в воде, лунные блики. Шагал он медленно, закинув голову и заложив руки за спину, с видом хозяина, обозревающего свои владения. Но чаще всего взгляд его тонул в небесах, и, прерывая беседу, Пасьянс иногда говорил, указывая на звездный небосвод:

— Поглядите, поглядите только, до чего красиво!

Я впервые видел, чтоб крестьянин восхищался небом, и, уж во всяком случае, впервые, чтоб он восхищался сознательно.

— Почему, папаша Пасьянс,— спросил я,— вы говорите, будто *стоит мне только пожелать*, и я стану порядочным юношей? Стало быть, вы меня за порядочного не считаете?

— Э, да вы не обижайтесь,— ответил старик.— Пасьянсу дозволено говорить все, что вздумается. Разве он не блаженненький?

— А Эдме утверждает, что вы мудрец!

— Право? Ну, уж если это утверждает наша святая голубка, так я и дам вам, сударь, мудрейший совет. Хотите меня послушать?

— Все здесь словно сговорились — лезут с советами. Да ладно уж, послушаю и вас.

— Вы влюблены в вашу кузину?

— Вот уж, право, смелый вопрос!

— Это не вопрос, я дело говорю. Послушайте меня: заставьте ее вас полюбить, да и женитесь на ней!

— А почему, папаша Пасьянс, вы проявляете ко мне такое участие?

— Потому что вы его заслуживаете, я-то знаю!

— Это кто вам сказал — аббат?

— Нет, не он.

— Эдме?

— Пожалуй. А все-таки она-то не слишком в вас влюблена, что и говорить. Но это уж ваша вина.

— Как так, Пасьянс?

— Да уж так: она желает, чтоб вы ученым стали, а вот вы не хотите. Эх! Будь Пасьянс в ваших летах, да ежели бы мог он высидеть, не задохнувшись, в четырех стенах хоть два часа кряду, да ежели бы все хлопотали об его образовании, как хлопочут о вашем, приговаривая: «Пасьянс, вот что было вчера; Пасьянс, вот что будет завтра...» Как бы не так! Я до всего сам должен докапываться, а сам до всего не скоро докопаешься! Так я и помру от старости, не узнав десятой доли того, что хотелось бы узнать! Но послушайте-ка, есть еще причина, почему вам надо жениться на Эдме.

— Какая же, любезный Пасьянс?

— Да та, что этот ла Марш ей вовсе не подходит. Я, конечно, так ей и сказал, и самому ла Маршу, и аббату — всем! Разве это мужчина? Духами от него так и разит,— пахнет, что твой цветник! Только, по мне, самая что ни на есть скромная богородская травка лучше!

— По чести говоря, я тоже его недолюбливаю. Ну, а если кузина его любит, Пасьянс, что тогда?

— Не любит его ваша кузина! Она думает: он хороший, *настоящий*... Да ведь как обманывается! А он и ее обманывает, и всех кругом обманывает. Я-то его знаю: уж такой он человек — *этого* у него нет.— Тут Пасьянс приложил руку к груди, указывая на сердце.— Такой он человек — все твердит: «Ах, добродетель! Ах, обездоленные! Ах, мудрые сердцем! Ах, друзья человечества!» — и все такое прочее. Ну так вот! Я-то знаю: бедняки с голоду подыхают у ворот его замка, а ему нипочем! Я знаю, что скажи ему кто-нибудь: «Отдай свой замок, ешь черный хлеб, земли раздай, ступай в солдаты, и не будет в мире обездоленных, и «род человеческий», как ты любишь говорить, будет спасен!» — а он в ответ: «Покорно благодарю! Пока еще я хозяин в своем поместье. Мне жить в замке не наскучило!» Э, я хорошо их раскусил, этаких «добрячков». Им до Эдме как до звезды небесной! Да откуда вам это знать! Вы за то ее любите, что она, как луговая маргаритка, хороша, а я за то ее люблю, что она — словно кроткая луна, которая землю всю озаряет. Эта девушка все свое раздаст: она и безделушку не нацепит, ведь одно золотое кольцо может целый год кого-нибудь кормить. Повстречается ей на дороге дитя с израненной ножкой, она туфли скинет да ребенку и отдаст, а сама босиком пойдет. Душа у нее, видишь ли, справедливая. Явись к ней завтра вся деревня Сент-Севэр да скажи: «Хватит с вас, барышня, пожили вы в роскоши, отдайте нам ваше добро, поработайте-ка сами!» — «Вы правы, друзья мои!» — весело ответит Эдме и пойдет на лужок стадо пасти! Такая же была у нее и мать; я-то ее матушку совсем молоденькой знавал, вот как нынче Эдме, да вашу знал тоже, вот как! Была она у вас умница, милосердная, справедливая. Вы, говорят, на нее похожи.

— Ах нет! — ответил я, растроганный речами Пасьянса.— Ни милосердие, ни справедливость мне незнакомы!

— Вам не случалось еще проявлять их, но они, я знаю, живы в вашем сердце. Поговаривают, будто я колдун, а ведь, пожалуй, верно: я человека с первого взгляда распознаю. Помните, что вы мне сказали когда-то на полянке в Валидэ? С вами еще был тогда Сильвен, а со мною Маркас. Вы сказали, что порядочный человек сам должен за свои обиды мстить. Так вот, сейчас и вспомнить кстати, господин Мопра: ежели вы тогда, в Газо, моими объяснениями недовольны остались, прямо скажите. Тут, как видите, никого нет, а я хоть и стар, да кулаки у меня не слабее ваших. Никто нам не помешает надавать друг другу хороших тумаков — это ведь естественное право каждого; и хоть я его не придерживаюсь, а никогда не откажусь, если кто потребует дать удовлетворение. Есть, я знаю, такие люди: с тоски зачахнет, ежели не сможет за себя отомстить. Да и сам я, к слову сказать: уж более полувека

прошло, а я все помню обиду... Вот и нынче, как подумаю, так опять моя ненависть к благородному сословию просыпается; и все я себя корю, как это я мог от чистого сердца кое-кому простить?

— Я на вас больше не в обиде, папаша Пасьянс, и даже более того — очень к вам расположен!

— Ну конечно, ведь я погладил вас по шерстке! Эх, молодежь! Смелей же, Мопра! Следуйте советам аббата — он праведник. Старайтесь понравиться кузине — это звездочка наша ясная! Стремитесь к истине, любите народ, презирайте тех, кто его презирает; будьте готовы ради него и собою пожертвовать... Слушайте, слушайте!.. Я знаю, что говорю: станьте другом народа!

— Разве народ лучше дворянства, Пасьянс? Только по совести — вы ведь мудрец. Говорите же правду!

— Народ лучше дворянства, ведь дворянство угнетает, а народ терпит. Но не вечно ему терпеть! Пора вам узнать правду. Видите вы эти звезды? Пройдет десять тысяч лет, а они все еще будут сиять на небосводе, как сияют сейчас; но меньше чем через сотню лет, а может быть, куда раньше, огромные перемены совершатся на земле. Поверьте человеку, который правды ищет, которому не вскружило голову великолепие сильных мира сего. Довольно бедняк терпел! Восстанет он на богача, и разрушит замки его, и поделит земли его. Мне уже не увидеть этого, но вы увидите: на месте этого парка вырастет десяток хижин, и десять семей станут жить на доходы от здешней земли. Не будет более ни слуг, ни господ, ни мужиков, ни сеньоров. Иные дворяне станут роптать и сдадутся, только покоряясь насилию: так поступили бы ваши дядюшки, если б дожили до этого часа; так поступит господин де ла Марш, хотя он и любит красивые слова. Иные же великодушно отдадут все, подобно Эдме, подобно вам, если вы прислушаетесь к голосу благоразумия. И было бы хорошо, ежели бы мужем Эдме оказался тогда настоящий мужчина, а не какой-то раздушенный щеголь. И было бы хорошо, ежели Бернар Мопра умел бы тогда пахать землю или охотиться на божьих тварей, чтобы прокормить семью; ибо старик Пасьянс будет покоиться в кладбищенской земле, поросшей бурьяном, и не сможет отплатить Эдме услугой за ее услуги. Не смейтесь, молодой человек, над тем, что я говорю, ибо устами моими глаголет бог. Взгляните на небо. Звезды мирно светят, и ничто не нарушает извечный порядок мироздания. Большие не пожирают малых, не нападают на своих соседок. Так вот, настанет время, когда подобный же мир воцарится и меж людьми. Господь пошлет бурю и сметет всякую нечисть. Крепко держитесь на ногах, сеньор Мопра, дабы устоять самому и поддержать Эдме; это я,

Пасьянс, говорю вам, ибо желаю вам только добра. Но есть другие — они пожелают вам зла; вот и надо, чтобы те, кто желает добра, стали сильными.

Мы подошли к хижине Пасьянса. Он остановился у ограды своей скромной обители и, облокотившись на частокол, размахивая свободной рукою, продолжал с жаром говорить. Глаза его сверкали, на лбу выступил пот; слова его звучали могучим глаголом древних пророков; простота, почти убожество, его одежды только подчеркивала г целивость жестов и проникновенность голоса. Французская революция показала впоследствии, какое пылкое красноречие и какая неумолимая логика свойственны народу. Но то, что я видел тогда, было столь ново и поразительно, что, увлеченный необузданным воображением, я опять, как в детские годы, поддался суеверному страху. Пасьянс протянул руку, и, покорный его призыву, я скорее с опаской, нежели с сочувствием подал ему свою. Мне вспомнился колдун из башни Газо, державший окровавленную сову над моей головой.

XI

Наутро я проснулся разбитый усталостью; все происшествия вчерашнего дня показались мне сном. Я вообразил, что Эдме пообещала стать моей женой лишь затем, чтоб заманить меня в свои сети и бесконечно отдалить осуществление моих надежд. Слова же колдуна я вспомнил с чувством глубокого унижения. Но так или иначе, они сделали свое дело. Переживания этого дня оставили во мне неизгладимый след: я был нынче не тем, что вчера, и никогда более не мог бы стать тем, чем был в Рош-Мопра.

Стояло уже позднее утро, но я лишь вознаградил себя за часы бессонницы. Я еще не поднялся, когда услыхал цокот конских копыт на мощеном дворе. То была лошадь господина де ла Марша. Изо дня в день являлся он в этот час, изо дня в день встречал он Эдме в то же время, что и я, и сегодня, когда, по уверениям кузины, я мог уже рассчитывать на ее руку, даже сегодня он, прежде нежели я, запечатлеет на этой руке, которая принадлежит мне, свой пошлый поцелуй. Мысль эта снова всколыхнула все мои сомнения. Как может Эдме терпеть его ухаживания, если действительно намерена выйти замуж за другого? То ли у нее не хватает смелости его оттолкнуть, то ли это должен сделать я? Я не знал обычаев того круга, в который вступал. Инстинкт повелевал мне отдаться на произвол страстей, а громче всего говорил во мне инстинкт.

Я наспех оделся. Бледный, взлохмаченный, вошел я в гостиную. Эдме тоже была бледна. Стояло дождливое, прохладное утро. В огромном камине горел огонь. Эдме в непринужденной позе, как в дни болезни, дремала в глубоком кресле, грея ножки у камина. Де ла Марш читал газету в другом конце комнаты. Когда я увидел Эдме, еще более, нежели я сам, измученную переживаниями прошедшего дня, гнев мой остыл; я тихонько уселся неподалеку, глядя на нее с нежностью.

— Это вы, Бернар? — спросила она, не шевелясь и не открывая глаз.

Эдме положила руки на подлокотники кресла и подперла подбородок изящно сплетенными пальцами. В те времена женщины почти всегда носили платья с короткими рукавами. Узенькая полоска пластыря, замеченная мною у нее чуть пониже локтя, заставила забиться мое сердце. Это я вчера слегка поранил ей руку, которую Эдме просунула сквозь оконную решетку. Ободренный ее полузабытьем, я осторожно приподнял кружева, ниспадавшие ей на локоть, и приник губами к дорогой моему сердцу царапине, что мог увидеть и наверняка увидел господин де ла Марш; но я сделал это умышленно. Я горел желанием затеять с ним ссору. Эдме вздрогнула и зарделась; но тут же, беспечно усмехнувшись, заметила:

— Вот уж подлинно, Бернар, вы любезничаете нынче, словно придворный аббат. Уж не сочинили ли вы этой ночью какой-нибудь мадригал?

Ее насмешка была для меня убийственной, но я не остался в долгу:

— Да, сочинил, вчера вечером под окошком часовни, и если он плох, кузина, то виноваты вы.

— Скорее уж ваше воспитание,— с живостью возразила Эдме.

Необыкновенно хороша была она в те минуты, когда в ней вспыхивали гордость и врожденная горячность.

— А по мне, я и так воспитан свыше всякой меры,— ответил я.— Слушайся я побольше здравого смысла, вы бы надо мной так не издевались.

— Право же, вы славно состязаетесь с Бернаром в остроумии и в иносказаниях,— сказал де ла Марш, с безразличным видом складывая газету и подходя к нам.

— Я считаю, что мы с кузиной квиты,— задетый его развязностью, возразил я.— Пускай прибережет свое остроумие для вам подобных.

Я встал с вызывающим видом, но де ла Марш словно и не заметил моего выпада. С непостижимой непринужденностью об-

локотившись о камин, он склонился к Эдме и нежно, почти прочувствованно, как спросил бы о здоровье ее собачки, осведомился:

— Что это с ним?

— Кто его знает! — в тон ему ответила Эдме и, вставая, добавила: — Не могу больше: голова разболелась. Проводите меня, я уйду к себе.

Она вышла, опираясь на его руку; я остолбенел.

Я поджидал в гостиной, полный решимости нанести оскорбление де ла Маршу [illegible]ко он возвратится, но тут вошел аббат, а вслед за ним [illegible]р. Они заговорили о вещах, мне вовсе не знакомых, как и все, что служило предметом беседы в этом доме. Я жаждал мщения, но в присутствии дяди не осмеливался выдать свои чувства, понимая, к чему обязывают меня уважение к хозяину дома и благодарность за оказанное гостеприимство. В Рош-Мопра я никогда не стал бы себя обуздывать. Обида и гнев клокотали во мне; я изнемогал от нетерпения, ожидая возможности отомстить. Заметив, как я изменился в лице, дядя несколько раз ласково осведомился, здоров ли я. Де ла Марш, казалось, ничего не замечал и ни о чем не подозревал. Один только аббат пытливо на меня поглядывал. Я ловил беспокойно устремленный на меня взгляд его голубых глаз; обнаружить в них искру природной проницательности обычно мешало свойственное им выражение робости. Аббат меня не любил. Легко было заметить, как его добродушная веселость сменялась невольным холодком, когда он обращался ко мне. Я видел, что при моем приближении лицо его всякий раз омрачалось.

В полуобморочном состоянии — столь непривычно и мучительно было мне себя приневоливать — я бросился вон. В парке, на траве, находил я обычно прибежище в минуты душевных бурь. Могучие дубы, вековые мхи, свисающие с древесных ветвей, бледные и душистые лесные цветы, свидетели моих тайных страданий, были друзьями моего детства; они остались моими неизменными друзьями и тогда, когда свою жизнь дикаря променял я на жизнь в цивилизованном обществе. Я закрыл лицо руками; не запомню, чтобы когда-либо еще в трудную минуту мне приходилось так страдать, а ведь впоследствии я пережил немало горестей. Уж если разобраться по-настоящему, я должен был почитать за счастье, что, покончив с жестоким и опасным разбойным ремеслом, обрел столько не чаянных мною благ: привязанности, богатство, свободу, образование, добрые советы и благие примеры. Но известно, что человеку суждено страдать при любом резком переходе от одного душевного состояния к другому, пусть даже от плохого к хорошему, от горестей к радостям и от усталости к покою, ибо при всяком крутом переломе в его судьбе

все силы его существа напрягаются и он может надломиться. Так иной раз бывает: ранним летом темные тучи окутают небо, налетит буря — и все на земле затрепещет, вот-вот рухнет под напором ветра.

В то мгновение я был поглощен одной мыслью: как найти способ утолить мою ненависть к де ла Маршу, ничем не выдав и даже не позволив заподозрить существование тайных уз, давших мне такую власть над Эдме. И хотя святость клятвы была в Рош-Мопра далеко не в почете, но, как я вам уже говорил, единственное, что я успел там прочитать, были кое-какие рыцарские баллады; они-то и внушили мне романтическую верность данному слову, и, пожалуй, то была единственная усвоенная мною добродетель. Вот почему я неколебимо соблюдал тайну, которая связывала меня с Эдме. «А вдруг подвернется благовидный предлог схватить врага за горло?» — думалось мне. Но, по правде говоря, нелегко найти такой предлог, когда имеешь дело с человеком, который с тобой нарочито учтив и предупредителен.

Я ломал голову, не зная, что придумать, и позабыл об обеде. Лишь увидев, как солнце садится за башнями замка, я спохватился, что мое отсутствие было наверняка замечено, и дома меня неминуемо ждут расспросы Эдме или холодный, проницательный взгляд аббата, всегда словно избегающий моих взоров, взгляд, который нежданно для меня проникал в самые глубины моей совести.

Решив не возвращаться до ночи, я растянулся на траве и попытался уснуть, чтобы дать отдых измученной голове. Я действительно уснул. Когда я открыл глаза, на небе, еще багровом от отблесков заката, вставала луна. Чуть слышный шорох заставил меня затрепетать; есть звуки, которые слышишь сердцем прежде, нежели они коснутся твоего слуха; бывает, легчайшее веяние любви потрясает до сокровенных глубин самую грубую натуру. Где-то неподалеку голос Эдме назвал мое имя, но за деревьями никого не было видно. Решив, что мне померещилось, я замер, затаил дыхание и стал прислушиваться. То была она: вдвоем с аббатом кузина направлялась к хижине отшельника. Остановившись в нескольких шагах от меня, на укромной тропинке, они разговаривали тем приглушенным, но внятным тоном, какой придает беседе особую доверительность.

— Боюсь,— говорила Эдме,— как бы он не учинил скандал господину де ла Маршу или не натворил чего-нибудь похуже; разве угадаешь, что он выкинет? Вы не знаете Бернара!

— Нужно во что бы то ни стало его отсюда убрать,— ответил аббат.— Нельзя вам жить, поминутно терпя грубые выходки какого-то разбойника!

— Конечно, так жить нельзя! С тех пор как он переступил порог нашего дома, я и минуты не могу вздохнуть свободно. То сижу, словно пленница, у себя в комнате, то вынуждена искать защиты у друзей,— шагу ступить не смею! Самое большее, если отважусь спуститься с лестницы, но через галерею не пройду, пока не вышлю на разведку Леблан. А ведь прежде я была такой смелой! Бедняжка Леблан думает, что я помешалась. До чего мне опостылело жить в неволе! Сплю я за надежными засовами и, знаете [illegible] один аббат, не расстаюсь с кинжалом — совсем как ге[illegible] шотландской баллады.

— А вдруг злосчастный Бернар попадется вам навстречу и вас напугает? Что тогда? Вы заколетесь своим кинжалом? Так ведь? Нет, с подобной участью примириться нельзя. Эдме, такое положение нетерпимо; надо что-то придумать! Я догадываюсь, что вы не пожелаете лишить Бернара благоволения вашего отца, а это неминуемо, если вы признаетесь ему в чудовищном договоре, который вынуждены были заключить в Рош-Мопра с этим разбойником. Но как бы то ни было... Ах, Эдме, бедняжка вы моя! Я не кровожаден, но несчетное число раз сожалел о том, что священнический сан мешает мне вызвать его на поединок и навсегда вас от него избавить!

Сердобольный аббат сокрушался с такой наивной откровенностью, что меня охватило непреодолимое желание выскочить из своей засады — хотя бы для того, чтобы подвергнуть испытанию воинственный пыл аббата. Но меня удержало искушение выведать наконец подлинные чувства и подлинные намерения Эдме на мой счет.

— Будьте покойны,— беспечно сказала она.— Если он истощит мое терпение, я не стану колебаться ни минуты: всажу в него кинжал. Уверена, что небольшое кровопускание охладит его пыл.

Они сделали еще несколько шагов и подошли ближе.

— Послушайте, Эдме,— сказал аббат, останавливаясь.— При Пасьянсе мы вынуждены об этом молчать; стало быть, надо довести наш разговор до конца и что-то решить сейчас. Бернар неминуемо доведет вас до беды. Думается, дитя мое, вы не делаете всего, что повелевает вам долг, дабы предупредить грозящие нам напасти, ибо то, что гибельно для вас, гибельно для нас всех, ранит нас в самое сердце.

— Слушаю вас, мой испытанный друг,— ответила Эдме.— Что ж, браните меня, но посоветуйте, как быть.

С этими словами она прислонилась к дереву, под которым я лежал, укрытый высокой травой и кустарником. Она могла бы, пожалуй, меня увидеть — ведь я-то видел ее очень хорошо. Но ей

и в голову не приходило, что я созерцаю ее небесные черты — то в скользящих тенях колеблемой легким ветерком листвы, то в бледной алмазной россыпи лунных бликов.

— Я говорю, Эдме,— продолжал аббат, скрестив руки на груди и время от времени потирая лоб,— я говорю, что вы не вполне ясно сознаете свое положение. Иногда оно безмерно удручает вас, вы даже впадаете в отчаяние и готовы умереть — да, да, дорогое дитя, вы довели себя до того, что здоровье ваше заметно пошатнулось; а иногда,— я должен сказать это, рискуя вызвать ваше недовольство,— вы созерцаете грозящую вам опасность с легкомыслием и веселостью, которые меня удивляют.

— Это серьезный упрек, друг мой,— ответила Эдме,— но я попробую оправдаться. Вы удивляетесь потому, что плохо знаете породу Монра. Это порода людей неукротимых, неисправимых, которые могут быть только *сорвиголовами* или *душегубами*. Как их ни обтесывай, в каждом Монра, даже самом благовоспитанном, останется немало сучков: из них выпирают гордыня и властолюбие, железная воля, глубокое презрение к жизни. Вы ведь знаете необыкновенную доброту моего отца; но стоит вам одолеть его в политическом споре или в шахматах, он так иной раз вспылит, что швырнет табакерку о стол и она разлетится вдребезги. Да и у меня в жилах течет горячая кровь, словно я вышла из самой гущи народной. Никогда не поверю, чтобы кто-нибудь из Монра мог блистать при дворе изящными манерами. Я от рожденья не знаю страха, а вы хотите, чтобы я цеплялась за жизнь! Правда, бывают минуты малодушия, когда мужество меня оставляет и я по-женски, как мне и положено, сокрушаюсь о своей участи. Однако стоит меня разозлить, пригрозить чем-нибудь, и во мне вскипает буйная кровь предков; и тогда, не в силах одолеть своих недругов, я, скрестив руки на груди, снисходительно смеюсь над их попытками меня застращать. Нет, аббат, я не преувеличиваю: не сегодня-завтра может случиться все, о чем я говорила. С той поры как дон Маркас наточил мой нож с перламутровой рукоятью,— а идальго умеет отточить лезвие,— я не расстаюсь с этим кинжалом ни днем, ни ночью; участь моя решена. Не так много силы у меня в руке, но ее хватит, чтобы ударить ножом себя в грудь, как хватает ее на то, чтобы стегнуть хлыстом коня. Стало быть, честь моя спасена, хотя жизнь моя держится на волоске, она зависит от какой-нибудь безделицы: выпьет ли господин Бернар вечером лишний стакан вина, попадусь ли я ему случайно на лестнице, померещится ли ему, что мы переглянулись с господином де ла Маршем... Что поделаешь! Разве, предаваясь отчаянию, можно стереть прошлое? Мы не в силах вырвать из книги нашей жизни ни единой страницы, зато можем швырнуть

эту книгу в огонь! Если бы я ночи напролет заклинала судьбу, помешала бы я ей в один злополучный день послать меня на охоту? Разве я все равно не заблудилась бы в лесу, не встретила там одного из Мопра Душегубов и он не привел бы меня в свою берлогу? А там я могла бы избежать позора, быть может, даже смерти, только навеки связав свою жизнь с жизнью юного дикаря, который не разделяет ни моих правил, ни воззрений, ни склонностей и, может быть (надо бы сказать: наверняка!), никогда не станет их разделять. [illegible] беда! Меня ждала счастливейшая участь! Я была горде[illegible] гордой дряхлого отца, готовилась стать супругой человека, которого уважаю и который мне нравится. Никакие горести, никакие предчувствия не тревожили меня, и я не ведала ни заботы, ни бессонных ночей. И что же? Богу не угодно было, чтоб эта чудесная жизнь текла без помех! Да свершится воля его. Бывают дни, когда крушение всех моих надежд представляется мне неминуемым; я кажусь себе тогда живой покойницей, а на жениха гляжу как на вдовца. Бедный мой отец! Если б не он, я не принимала бы это близко к сердцу. Но я не создана для невзгод и страха! Даже за то короткое время, что мне пришлось испытать их, жизнь опротивела мне.

— Какое доблестное и какое пугающее мужество! — воскликнул аббат дрогнувшим голосом.— Эдме, это почти похоже на самоубийство!

— О, я буду бороться за жизнь! — возразила она с жаром.— Но если мне не удастся выйти из всех этих испытаний с незапятнанной честью, я и не подумаю вступать в сделку с жизнью. Не так уж я благочестива и, самоуничижения ради, во искупление грехов, о которых никогда и не помышляла, не стану мириться с житейской грязью. Ежели бог оставит меня своею милостью и я вынуждена буду выбирать между позором или смертью...

— Это не может быть для вас позором, Эдме. Столь целомудренная душа, столь чистые помыслы...

— Ах, все равно! Я, может статься, не так уж добродетельна, как вы полагаете, и не слишком правоверная католичка, как, впрочем, и вы, аббат!.. Меня мало заботит свет — я его не люблю; я не боюсь, но и не презираю его суждений: мне попросту нет до них дела! Право, не знаю, какие правила добродетели смогут удержать меня от падения, если я поддамся греху. Я пролила немало слез, читая «Новую Элоизу». Но уже хотя бы потому, что я — Мопра и непреклонно горда, я никогда не потерплю мужской тирании: ни посягательств любовника, ни супружеских побоев; только рабские, трусливые души уступают силе и отказывают в ответ на смиренную мольбу. *Прекрасная пастушка,* святая Соланж, сложила голову на плахе, ибо не пожелала покориться

сеньору, который предъявил на нее права. А вы знаете, что, когда крестят девочек из рода Мопра, их из поколения в поколение препоручают покровительству этой заступницы Берри.

— О, я знаю, что вы гордая и сильная,— возразил аббат,— и ни одну женщину на свете не уважаю так, как вас; вот потому-то я и хочу, чтобы вы жили, были свободны, вступили в достойное вас супружество, дабы выполнить свой долг перед родом человеческим, отвечая назначению, которое чистые женщины, подобные вам, способны поднять на неслыханную высоту. Да и отцу вашему вы необходимы; пусть он еще крепок и бодр, смерть ваша свела бы его в могилу. Итак, гоните от себя мрачные мысли и позабудьте о своем роковом решении. То, что приключилось в Рош-Мопра, всего лишь дурной сон. Всех нас в ту страшную ночь душил кошмар, но пора нам проснуться: мы ведь не дети, которые цепенеют от страха. Перед вами единственный выход, и я вам на него уже указал.

— Но ведь я его считаю совершенно неприемлемым! Я поклялась всем, что есть для человека святого в мире!

— По законам человеческим клятва, вырванная путем угроз и насилия, недействительна. Что же до законов божеских, то в подобных обстоятельствах они безоговорочно разрешают нашу совесть от взятых обязательств. Будь вы правоверной католичкой, я пешком отправился бы в Рим, дабы освободить вас от безрассудного обета. Но мы с вами, Эдме, не подвластны папскому престолу...

— Значит, вы хотите, чтобы я стала клятвопреступницей?

— Вы, но не душа ваша!

— Нет, и душа! Я хорошо знала, на что иду, когда давала клятву; я могла тогда же убить себя — ведь в руках у меня был нож втрое больше этого. Мне захотелось жить, захотелось снова увидеть, обнять отца. Его снедала тревога, а для его спокойствия я отдала бы то, что дороже жизни,— мою бессмертную душу. Но затем — я сказала вам об этом еще вчера вечером — я возобновила свое обязательство, и притом добровольно, ибо между моим «любезным» и мною была толстая стена.

— Эдме, как могли вы поступить столь опрометчиво? Тут уж я перестаю вас понимать!

— Охотно этому верю: я и сама себя не понимаю,— сказала Эдме, и в голосе ее прозвучали странные ноты.

— Дитя мое, вы должны говорить со мной откровенно. Только я могу дать вам совет, мне одному можете вы поведать все, ибо тайна, охраняемая печатью дружбы, не менее священна, нежели тайна католической исповеди. Отвечайте же мне: неужто вы считаете для себя возможным брак с Бернаром Мопра?

— Раз это неизбежно, значит, возможно! — возразила Эдме.— В реку броситься возможно? Предаться горести, впасть в отчаяние возможно? Тогда и выйти замуж за Бернара Мопра тоже возможно.

— Ну, уж я-то, во всяком случае, не буду посредником при заключении столь неленого и прискорбного союза! — воскликнул аббат.— Вы — жена и рабыня этого разбойника! Да вы сами, Эдме, только что сказали, что не потерпите ни посягательств любовника, ни супруж[illegible] побоев.

— Вы думаете, он станет меня бить?

— Если не убьет!

— О нет,— задорно ответила она, играя кинжалом.— Прежде я сама убью его! Он Мопра, но и я тоже Мопра!

— Боже мой, Эдме! Вы смеетесь! Смеетесь, помышляя о таком замужестве! Но даже если бы человек этот был преисполнен к вам любви и уважения, подумали ли вы о том, что никогда не сможете понять друг друга, что помыслы его низменны, а язык и выражения грубы! При одной мысли о подобном союзе мне делается тошно! Великий боже! На каком языке станете вы с ним разговаривать?

Я снова чуть было не выскочил, горя желанием наброситься на человека, который так меня «славословит», но поборол свою ярость. Заговорила Эдме. Я весь превратился в слух.

— Я прекрасно знаю, что дня через три у меня не будет иного выхода, как перерезать себе горло; но раз так или иначе это должно свершиться, лучше уж идти навстречу неизбежности. Признаюсь, мне немного жаль расставаться с жизнью. Никто из тех, кто попадал в Рош-Мопра, не возвращался оттуда. Но мне не суждено было там умереть, я только обручилась со смертью. Ну что ж! Дотяну до свадьбы, а если Бернар будет мне слишком противен, убью себя сразу же после свадебного бала.

— Эдме, все это романтические бредни,— нетерпеливо прервал ее аббат.— Благодарение богу, отец ваш не согласится на этот брак: он дал слово господину де ла Маршу, и вы тоже. Только это слово имеет силу.

— Отец мой с радостью подпишет договор, который продлит его род и сохранит имя Мопра. А де ла Марш вернет мне слово без всяких усилий с моей стороны: стоит ему только узнать, что я два часа провела в Рош-Мопра, других объяснений не потребуется.

— Ежели он сочтет, что, даже сохранив чистоту, вы этим злосчастным приключением запятнали свою честь, он недостоин моего уважения.

— Сохранила благодаря Бернару! — сказала Эдме.— Ведь его-то я и должна благодарить; невзирая на все его оговорки и поставленные им условия, он поступил великодушно, а для разбойника — просто необычайно.

— Боже упаси! Я вовсе не отрицаю в этом юноше благие задатки, воспитание помогло бы их в нем развить. Это доброе начало как раз и заставит его внять голосу рассудка.

— Вы думаете, он станет учиться? Никогда! А если и возьмется за учение, то преуспеет не больше Пасьянса. Когда человек привык к животному существованию, он уже не способен мыслить.

— Верно; я об этом и не говорю. Я говорю, что надо с ним объясниться, дать ему понять, что долг чести обязывает его вернуть вам слово и примириться с тем, что вы станете супругой господина де ла Марша. Одно из двух: либо Бернар просто негодяй, и тогда он недостоин никакого уважения и пощады, либо он осознáет свое сумасбродство и всю преступность своих намерений и благоразумно, пристойно покорится своей участи. Освободите меня от обета молчания, дозвольте открыться ему, и я отвечаю вам за успех.

— А я убеждена в неудаче и никогда на это не соглашусь,— возразила Эдме.— Какой бы ни был Бернар, я решила выйти из этого поединка победительницей, а поступи я так, как хочется вам, он имел бы повод думать, что до сих пор я недостойно им играла.

— Что ж, есть еще одна возможность: вверить себя чести и благоразумию господина де ла Марша. Пусть он рассудит без принуждения и сам решит, как быть. Ведь имеете же вы право довериться ему свою тайну, а порядочность его для вас вне подозрений. Но если он окажется настолько низок, что вас покинет, вот еще одно, последнее, средство избавиться от посягательств Бернара — укройтесь за монастырской решеткой. Уйдите на несколько лет в монастырь, сделайте вид, что вы приняли постриг; Бернар вас забудет, а затем вам вернут свободу.

— Да, это единственно разумный выход, я уже о нем думала, но прибегнуть к нему еще не время.

— Разумеется. Попытайтесь же сперва открыться господину де ла Маршу. Ежели он человек мужественный, а это бесспорно, он окажет вам покровительство и позаботится о том, чтобы удалить Бернара,— уговорит его или заставит.

— Что вы, аббат! Каким же способом он может его заставить?..

— Тем, какой, по нашим обычаям и правилам чести, обеспечивает дворянину его шпага.

— Ах, аббат, и у вас горячая кровь! Да ведь именно этого я хочу избежать и избегну, даже если придется расплачиваться

жизнью и честью. Не желаю я, чтобы эти два человека дрались на поединке.

— Понимаю: один из них по праву заслужил место в вашем сердце. Но ясно, что в этом поединке опасность грозит не господину де ла Маршу.

— Значит, Бернару?! — в запальчивости воскликнула Эдме.— Но де ла Марш будет внушать мне просто омерзение, если вызовет бедного мальчика на поединок! Ведь он ничего, кроме дубинки да рогатки, в руках держать не умеет! Как только это могло прийти вам в голову, аббат. Сильно же вы, наверное, ненавидите нашего злополучного Бернара! По-вашему, в благодарность за то, что он с опасностью для жизни меня спас, я должна уничтожить его рукою моего нареченного? Нет, нет! Этого я не допущу! Я не позволю ни вызвать его на поединок, ни унизить, ни оскорбить! Он мне кузен, он Монра, почти что брат мой! Я не допущу, чтобы его изгнали из этого дома, скорее уйду сама!

— Весьма благородные чувства, Эдме. Но почему вы так горячитесь? — возразил аббат.— Я совсем растерян, и, признаюсь, если бы я не боялся вас оскорбить... Ваши попечения о юном Монра наводят на странную мысль.

— Какую же? Говорите! — немного резко сказала Эдме.

— Скажу, если вы настаиваете. Вы словно бы проявляете больше участия к этому юноше, нежели к господину де ла Маршу, а я предпочел бы обратное.

— Плохой вы, однако, христианин!.. Кто же из них, по-вашему, больше нуждается в моем участии? — улыбаясь, спросила Эдме.— Не закоренелый ли грешник, так и не прозревший?

— Но, Эдме, вы ведь любите господина де ла Марша! Ради самого неба, не шутите этим!

— Если под словом «любовь» вы разумеете доверие и дружбу, тогда я люблю де ла Марша,— серьезно ответила она,— если же вы разумеете под этим сострадание и участие, я люблю Бернара. Остается выяснить, какое из этих чувств сильнее. Это уж ваше дело, аббат. Меня это не слишком волнует, ибо я чувствую, что страстно люблю одного только отца и способна отдаться всей душой только велению долга. Возможно, я и пожалею о преданности и заботливом внимании де ла Марша; мне тяжко будет его огорчить, но придется вскоре объявить ему, что я не могу стать его женой. Однако это ничуть не приводит меня в отчаяние, я ведь знаю, что господин де ла Марш легко утешится. Я не шучу, аббат, он человек поверхностный и холодноватый.

— Ну что ж! Ежели такова ваша любовь к председателю, тем лучше: одним страданием для вас меньше. И все же ваше равно-

Мопра

душие к господину де ла Маршу лишает меня последней надежды на то, что вы избавитесь от Бернара Мопра.

— Право же, дорогой аббат, не стоит огорчаться: либо Бернар откликнется на преданность и дружбу, исправится, либо я от него избавлюсь.

— Но каким же путем?

— Уйду в монастырь или убью себя.

Эдме сказала это спокойно, но так тряхнула длинными черными кудрями, что они рассыпались у нее по плечам и одна прядь упала на бледное лицо.

— Ну, полноте,— добавила она,— господь придет нам на помощь; только безумцы и нечестивцы сомневаются в нем в минуту опасности. Разве мы безбожники? К чему же так отчаиваться? Идемте к Пасьянсу, он изречет какой-нибудь афоризм, который нас сразу успокоит; он ведь наш старый оракул: разрешает любые вопросы, хотя ни в одном не сведущ.

Они ушли, а я погрузился в уныние.

О, как эта ночь непохожа была на предыдущую! Я снова сделал шаг по жизненному пути, но теперь передо мной расстилалась не цветущая тропа, а каменистая и бесплодная. Мне стала ясной до предела та мерзкая роль, которую я играл; я прочитал все, что таилось в глубинах сердца Эдме,— все отвращение и страх, какие я ей внушал. Ничто не могло утолить мою печаль, как ничто уже не могло распалить мой гнев. Она нисколько не любила де ла Марша, нисколько не играла ни им, ни мною: она не любила ни его, ни меня! И как только я мог вообразить, что ее великодушная жалость, ее несравненная верность слову и есть любовь?! Как мог я,— когда это кичливое самообольщение проходило,— как мог я воображать, будто только любовь к другому дает ей силы устоять перед моей страстью? Итак, все мое неистовство было напрасно. Единственное, чего я мог добиться,— это бегства Эдме или ее смерти! Смерть! При мысли об этом кровь леденела в моих жилах, жало раскаяния вонзалось в сердце, и оно сжималось до боли. В этот мучительный вечер воззвал ко мне суровый глас провидения. Мне стали наконец понятны законы, диктуемые целомудрием и священной свободой человека, которые до того я в невежестве своем поносил и оскорблял. Законы эти изумляли меня больше чем когда-либо, но теперь я их понял, они были слишком очевидны, не нуждались ни в каких доказательствах. Душа Эдме, стойкой и правдивой, открылась мне, словно гора Синайская, на коей перст божий начертал непреложную заповедь. Итак, добродетель ее не была притворством! Кинжал ее отточен, и она готова в любую минуту кровью смыть с себя скверну моей любви!.. И меня так страшило, что Эдме может умереть в моих объятиях, так печалило, что

моя надежда победить ее упорство оскорбляет ее, что я готов был на все, лишь бы искупить свою вину и вернуть Эдме спокойствие.

Уйти? Но именно это было свыше моих сил, ибо в то самое время, как во мне пробуждались чувства почтительности и благоговения, в душе моей, словно вовсе преображенной, росла любовь и заполняла все мое существо. Эдме предстала мне в новом свете. Она уже не была для меня юной красавицей, одно появление которой приводило в смятение все мои чувства; она представлялась мне юношей, прекрасным словно серафим; ровесником — гордым, смелым, неколебимым в вопросах чести, великодушным, способным на ту возвышенную дружбу, что связывала побратимов; я видел в ней юношу, поглощенного одной лишь страстной любовью к всевышнему, подобно тем паладинам в золотых доспехах, что, преодолевая суровые испытания, совершали походы в Святую землю.

С этой минуты исступление страсти, помутившее мой рассудок, утихло, любовь заняла свое место в непорочных глубинах моего сердца, чувство преданности перестало быть для меня загадкой. Я решил с завтрашнего же дня проявлять покорную нежность. Вернулся я очень поздно, разбитый усталостью, измученный пережитым, изнемогая от голода. Пройдя в буфетную, я взял кусок хлеба и съел его, орошая слезами. Я стоял, прислонившись к потухающей печке, при тусклом свете догорающей лампы. Вошла Эдме, не заметив меня, она достала из пузатого буфета пригоршню вишен и медленно подошла к печи; она была бледна и погружена в задумчивость. Увидев меня, она вскрикнула и выронила вишни.

— Эдме,— промолвил я,— ради бога, не бойтесь меня. Это все, что я могу сказать. Я хотел бы сказать так много, но не умею...

— В другой раз, милый кузен,— ответила она, силясь улыбнуться.

Пребывание наедине со мной ее страшило, и она не умела этого скрыть.

Я не пытался ее удерживать. Недоверие, проявленное Эдме, глубоко опечалило меня; я был унижен. Но разве вправе я был жаловаться? И все же никогда еще человек так сильно не нуждался в ласковом слове.

Эдме направилась уже было к двери; сердце мое разрывалось; я разразился слезами, как накануне, под окном часовни. Эдме помедлила на пороге: она колебалась. Но тут сердечная доброта взяла верх над ее опасениями: она вернулась и остановилась в нескольких шагах от моего стула.

— Бернар,— сказала она,— вы несчастливы? Неужто я тому виной?

Я был не в силах ответить, я стыдился своих слез; но чем усердней старался я их удержать, тем яростнее сотрясалась от ры-

дший моя грудь. Когда плачут такие силачи, каким был я, они сотрясаются в судорогах. Казалось, наступил мой смертный час.

— Говори же, говори! Что с тобой? — воскликнула Эдме в порыве сестринской нежности.

Она решилась положить руку мне на плечо. Она с нетерпением ждала ответа, крупная слеза катилась у нее по щеке. Я бросился перед нею на колени, пытаясь заговорить, но не в силах был вымолвить ни слова. Я лепетал лишь «завтра»...

— Завтра? Что — завтра? — переспросила Эдме.— Разве тебе здесь не по душе? Уж не хочешь ли ты уйти?

— Уйду, если вы так хотите. Скажите только слово, и вы никогда больше меня не увидите!

— Я вовсе не хочу, чтобы ты ушел,— возразила она.— Вы ведь останетесь, не правда ли?

— Приказывайте,— ответил я.

Она взглянула на меня с удивлением; я продолжал стоять на коленях; она облокотилась о спинку моего стула.

— Я уверена, что на самом деле ты очень хороший,— сказала она, словно разрешая для себя какой-то внутренний спор.— Мопра никогда не останавливается на полпути: раз уже ты смог быть хорошим хоть несколько минут, ты наверняка проживешь благородно всю свою жизнь.

— Да, проживу! — ответил я.

— Правда? — с простодушной радостью переспросила она.

— Клянусь честью, Эдме! Моей и твоей! Теперь ты не побоишься пожать мою руку?

— Конечно, нет! — ответила она.

Эдме протянула мне руку, но все еще дрожала.

— Так вы решили жить по-хорошему? — спросила она.

— Да, и вам никогда и ни в чем не придется меня упрекнуть,— ответил я.— А теперь, Эдме, ступайте к себе и можете не запираться на засов: я вам более не страшен. Отныне я буду желать лишь того, чего желаете вы.

Она снова устремила на меня удивленный взгляд и, пожав мне руку, ушла, еще и еще раз оглядываясь на меня, словно не веря в возможность столь быстрого преображения; на пороге она задержалась и с чувством сказала:

— Вам тоже надо отдохнуть — вы такой усталый и грустный, вы очень переменились за эти два дня. Поберегите себя, Бернар, если не хотите меня огорчить.

Она ласково, по-дружески мне кивнула. Было в ее больших, запавших от страдания глазах что-то неуловимое: в них мелькало то недоверие, то надежда, то любопытство, то нежность — все эти чувства сливались в ее взоре.

— Стану беречь себя, лягу спать, не буду грустить,— отвечал я.

— И начнете учиться?

— И начну учиться... А вы, Эдме, простите мне все огорчения, какие я вам причинил, и полюбите меня хоть чуточку?

— Даже очень полюблю, если вы всегда будете таким, как нынче,— ответила она.

Наутро, едва рассвело, я вошел к аббату в комнату; он уже встал и занимался чтением.

— Господин Обер,— сказал я,— вы не раз предлагали давать мне уроки; я хотел бы воспользоваться вашим любезным предложением.

Почти всю ночь напролет обдумывал я эту вступительную фразу и поведение, какого буду придерживаться в отношении аббата. Не могу сказать, чтобы в глубине души я его ненавидел: я видел его доброту и понимал, что его попросту коробят мои недостатки; но все же я не мог преодолеть чувства горечи. Совесть моя говорила, что, как плохо ни отзывался обо мне аббат в беседе с Эдме, я это заслужил; однако мне казалось, что он мог бы больше сказать о моих «хороших задатках», между тем он упомянул о них только вскользь, хотя они не могли укрыться от столь проницательного человека. Поэтому я решил держаться с ним гордо и холодно. Желая быть последовательным, я собирался во время урока проявить примерное послушание и, кротко поблагодарив аббата, уйти сразу же, как только урок кончится. Словом, я хотел унизить аббата как воспитателя. Я ведь знал, что он получает содержание от моего дяди и что отказаться от занятий со мной — значит либо отвергнуть получаемое жалованье, либо выказать себя неблагодарным. Рассуждал я вполне логично, но движим был весьма дурным чувством; позднее я так сожалел о своем поведении, что дружески исповедался аббату, умоляя его отпустить мне это прегрешение.

Но не будем предвосхищать события; я хочу сказать, что в первые же дни после моего обращения я был полностью отомщен, рассеяв предубеждения аббата, во многом слишком обоснованные. Если бы привычная подозрительность не сковывала непосредственность его порывов, он заслужил бы название праведника, данное ему Пасьянсом. Гонения, которым так долго подвергался аббат Обер, приучили его подходить к людям с опаской, и он сохранил эту черту на всю жизнь; поэтому так трудно было завоевать его доверие, но, быть может, оттого оно особенно трогало и казалось особенно лестным. Я наблюдал позднее эту черту характера у многих почтенных священников. Им бывает присущ дух милосердия, но не дружеские чувства.

Я хотел уязвить аббата и преуспел в этом. Вдохновляемый обидой, я держал себя, как держится с подчиненным истый дворянин: был необыкновенно благопристоен, весьма внимателен, учтив и донельзя холоден. Таким образом я лишил аббата всякого повода подчеркнуть мое невежество и принудить меня краснеть: решив избегнуть его замечаний, я сказал, что ничего не знаю и ему придется объяснять мне даже азбучные истины. На первом же уроке я прочел в его проницательных глазах — а я и сам научился проницательности — желание преодолеть мою холодность и стать со мною на дружескую ногу. Но я не поддавался. Он думал меня обезоружить, восхваляя мое внимание и сметливость.

— Чересчур усердствуете, господин аббат,— заметил ему я.— Я не нуждаюсь в поощрении. В сметливость свою я не верю нисколько, что же касается внимания — это верно. Но ведь если я стараюсь вовсю, то делаю это для своей же пользы, и нет причины меня за это расхваливать.

С этими словами я откланялся, ушел в свою комнату и тотчас же взялся за сочинение по французской литературе, которое он мне задал.

Когда я спустился к завтраку, я заметил, что Эдме уже известно о том, как я выполняю свое вчерашнее обещание. Она первая протянула мне руку, во время завтрака неоднократно называла меня «милым кузеном», и лицо господина де ла Марша, обычно ничего не выражавшее, на сей раз выразило удивление или нечто на него похожее. Я надеялся, что он найдет предлог и потребует у меня объяснений по поводу грубостей, какие я наговорил ему накануне. И хотя я твердо решил, разговаривая с ним, вести себя очень сдержанно, я был весьма задет его стараниями избежать разговора. Такое равнодушие к нанесенному мною оскорблению было свидетельством пренебрежения с его стороны, и это заставляло меня страдать, но боязнь вызвать недовольство Эдме придавала мне силы и помогала себя сдерживать.

Как это ни покажется невероятным, но унизительное положение школяра, в которое я попадал, приступая к усвоению самых начатков знаний, ни на мгновение не поколебало во мне решимости вытеснить господина де ла Марша. Всякий другой на моем месте, раскаиваясь в содеянном зле, счел бы за лучшее уйти, вернув Эдме ее слово, независимость, полный покой и тем самым загладив свой поступок. Но именно это решение не приходило мне в голову, а если бы и пришло, то было бы отвергнуто с презрением, как признание собственного поражения. Дерзкое упорство было у меня в крови, в жилах моих текла кровь Мопра. Едва найдя путь к сердцу любимой, я отважно вступил на этот путь, и думаю, что, если бы даже ее признания аббату, подслушанные

мною в парке, открыли мне, что она любит моего соперника, я бы все равно не сдался. Подобная самонадеянность со стороны человека, который в семнадцать лет стал впервые в жизни изучать грамматику родного языка, да к тому же еще весьма преувеличивал длительность и трудность обучения, необходимого, чтобы сравняться с де ла Маршем, обличала во мне — вы должны с этим согласиться — некоторую душевную силу.

Не знаю, был ли я столь щедро одарен способностями, как это утверждал аббат, но думаю, что частично мои быстрые успехи я должен приписать своей отваге. Из-за нее-то я и переоценил свои физические силы. Аббат уверял, что в моем возрасте и при сильном желании можно за месяц в совершенстве изучить правила грамматики. К концу месяца я связно говорил и грамотно писал. Эдме тайно руководила моими занятиями; она была против того, чтобы я изучал латынь, уверяя, что поздно посвящать годы усвоению языка, знание которого является своего рода роскошью. Она полагала, что важнее образовать сердце и разум с помощью идей, нежели украшать их побрякушками слов.

По вечерам, якобы желая припомнить любимую книгу, она или аббат читали вслух отрывки из Кондильяка, Фенелона, Бернардена де Сен-Пьера, из Жан-Жака, даже из Монтеня и Монтескье. Отрывки эти выбирали, конечно, заранее, применительно к моим силам; понимал я их довольно хорошо и в глубине души этому удивлялся, ибо, если случалось мне в течение дня открыть наугад какую-либо из названных книг, я спотыкался на каждой строчке. Суеверный, как все юные влюбленные, я мнил, что все, сказанное этими писателями, приобретает в устах Эдме магическую ясность и от звука ее голоса, как по волшебству, проясняется у меня в голове. Эдме, впрочем, не признавалась мне в том, с каким воодушевлением она относится к моему чтению. Она, конечно, ошибалась, полагая, что должна скрывать от меня свое попечительство: ведь это только подхлестнуло бы мое рвение. Но вспомним, что она была напичкана «Эмилем» и прилагала на практике систему воспитания любимого философа.

Однако я не слишком берег свое здоровье, и так как отвага моя не уживалась с предусмотрительностью, мне пришлось научиться сдерживать свой пыл. Пребывание в комнатах, перемена всего уклада жизни и привычек, ночные бдения, сидячий образ жизни, умственное напряжение — одним словом, весь тот чудовищный переворот, какому должно было подвергнуться все мое существо, дабы я превратился из лесного дикаря в мыслящего человека, привел меня к нервному заболеванию; несколько недель пребывал я в состоянии, близком к помешательству, затем на несколько дней впал в слабоумие. Когда же и это наконец прошло,

я был совершенно надломлен; прежний человек был во мне бесповоротно убит, но во мне созрел новый человек, и он был полон ожиданием будущего.

Как-то ночью, в самый разгар болезни, вдруг наступила минута просветления, и я увидел у себя в комнате Эдме. Я вообразил сначала, что это сон. В полутьме едва мерцал ночник, в глубоком кресле застыла чья-то смутная тень. Я различил длинную черную косу, упавшую на белое платье. Ослабевший, не в силах шевельнуться, я все же приподнялся, пытаясь встать с кровати. Передо мною вырос Пасьянс, который бережно уложил меня в постель. В другом кресле дремал Сен-Жан. Так еженощно два человека стерегли меня, чтобы удержать силой, когда я начинал неистовствовать в горячечном бреду. Частенько сиживал возле меня аббат, а бывало, и славный Маркас; перед тем как оставить Берри и совершить обход соседних провинций, как он делал это каждый год, Маркас явился в замок, собираясь напоследок поохотиться на чердаках. Идальго предупредительно заменял утомленных слуг, взяв на себя тягостную обязанность быть моим стражем.

Я не сознавал, что тяжко болен, поэтому нежданное появление отшельника Пасьянса в моей комнате чрезвычайно меня удивило и сбило с толку. В тот вечер у меня раз за разом повторялись бурные приступы, и я совсем обессилел. Я впал в уныние, мысли мои путались. Удержав Пасьянса за руку, я спросил его, правда ли, что в кресле у моей постели лежит труп Эдме?

— Да ведь она живехонька! — прошептал Пасьянс в ответ.— Она спит, сударь, не надо ее будить. Если вы чего пожелаете, я здесь и, право слово, со всею охотою готов вам услужить!

— Пасьянс, друг, ты меня обманываешь: она мертва, и я мертв, а ты пришел нас хоронить. Вот что, положи ты нас в одном гробу, ведь мы обручены. Где же ее кольцо? Надень его мне на палец: брачная ночь наступила.

Тщетно Пасьянс пытался рассеять эту бредовую мысль — я был твердо убежден, что Эдме мертва, и заявил, что не усну в своем саване, пока мне не наденут на палец обручальное кольцо. Измученная бессонными ночами, проведенными у моего изголовья, Эдме так крепко спала, что ничего не слышала. Кроме того, я, как и Пасьянс, говорил шепотом, следуя инстинкту подражания, свойственному одним лишь детям да слабоумным. Я ни за что не хотел отказаться от моей причуды, и Пасьянс, опасаясь, как бы я не начал буйствовать, тихонько снял у Эдме с пальца колечко с сердоликом и надел его мне. Я порывисто прижал кольцо к устам, скрестил руки на груди, как их складывают покойнику, и заснул глубоким сном.

Наутро, когда захотели отобрать у меня кольцо, я пришел в неистовство, и меня оставили в покое. Я снова заснул, и тогда аббат снял кольцо у меня с руки. Но, открыв глаза, я заметил пропажу, начался бред. Эдме была в комнате; она поспешила ко мне и, надев кольцо мне на палец, обратилась к аббату со словами укоризны. Я сейчас же успокоился и, подняв на Эдме угасший взор, спросил:

— Ведь правда, ты моя жена и в жизни и в смерти?

— Конечно,— ответила она,— спи спокойно.

— Вечность бездонна: как бы мне хотелось заполнить ее воспоминаниями о твоих ласках! Но я тщетно напрягаю память: нет в ней свидетельств твоей любви.

Она наклонилась и поцеловала меня.

— Вы делаете ошибку, Эдме,— заметил аббат,— подобные лекарства — отрава.

— Оставьте, аббат,— нетерпеливо возразила она, присаживаясь у моего ложа.— Оставьте, прошу вас.

Она взяла мою руку, и я заснул, время от времени повторяя:

— Как хорошо в могиле! Какое счастье — умереть, правда?

Я начал выздоравливать, и Эдме стала гораздо сдержаннее, но ходила за мною столь же прилежно. Я поверял ей мои сны, привидевшиеся во время недуга, и узнавал, что было в них явью. Если б не беседы с Эдме, я бы по-прежнему воображал, что все это был лишь сон. Я умолял Эдме оставить мне кольцо, и она согласилась. В знак признательности за все ее благодеяния мне следовало добавить, что я буду хранить это кольцо как залог дружбы, а не обручения, но даже мысль о подобной жертве была для меня невыносима.

Как-то раз я спросил, что поделывает де ла Марш. Одному только Пасьянсу осмелился я задать этот вопрос.

— Уехал,— ответил старик.

— Как, уехал? — воскликнул я.— Надолго?

— Навсегда, ежели богу будет угодно! Ничего про то не знаю, спрашивать — не спрашиваю, да вот только случилось мне быть в саду, когда он прощался с нею: холодное было прощание, ни дать ни взять — декабрьская ночь. Правда, сказали они друг дружке «до свидания»: она — как всегда, чистосердечно и ласково, да зато у него вид был точь-в-точь как у крестьянина, когда нагрянут апрельские заморозки. Эх, Мопра, Мопра! Вы стали, говорят, страсть какой *прилежный да послушный?* А помните вы, что я вам говорил: когда состаритесь, не будет уж, пожалуй, ни титулов, ни самих сеньоров. Того и гляди, станут вас называть «папаша Мопра», как зовут меня «папашей Пасьянсом», хоть я и не был никогда ни отцом семейства, ни священником.

— Ну, так что ж с того?

— А вот попомните мои слова,— повторил он.— Колдуны — они ведь разные бывают: можно и не продать душу дьяволу, а будущее все-таки знать. Что до меня, я подаю голос за вашу женитьбу на кузине. Ведите себя примерно. Вы у нас образованный стали: говорят, любую книгу без запинки прочтете. Чего же еще? А тут книг уйма, только взглянешь на них — пот прошибает; сдается мне, что опять у меня *голова не варит*. Скоро вы выздоровеете. Послушал бы меня господин Юбер, так на святого Мартина и сыграли бы свадьбу.

— Замолчи, Пасьянс! — воскликнул я.— Не мучь меня: кузина меня не любит!

— А я вам говорю, что это не так: по-благородному выражаясь, без зазрения совести врете! Я-то знаю, как она тут за вами ходила; а Маркас, когда на крышу лез, в окошко подглядел,— вам в тот день совсем худо было,— так она на рассвете у себя в комнате на коленях стояла!

Неосторожные заверения Пасьянса, нежная заботливость Эдме, отъезд де ла Марша, а особенно мое собственное недомыслие способствовали тому, что я поверил во все то, во что мне так хотелось верить. Но по мере того как силы мои восстанавливались, Эдме уже не переходила пределов ровной, благоразумной дружбы. Не было еще на свете человека, который выздоравливал бы менее охотно, нежели я: посещения Эдме становились день ото дня короче, а когда я начал выходить из комнаты, мне удавалось побыть с кузиной каких-нибудь несколько часов в день, так же как и до болезни. Эдме обладала чудесным даром, выказывая самые нежные ко мне чувства, никогда не доводить до объяснений по поводу нашего тайного обручения. Ежели мне и не хватало еще душевного величия, чтобы отступиться от своих прав, то голос чести заговорил во мне достаточно внятно, чтобы о них не напоминать; таким образом, в моих отношениях с Эдме не произошло никакой перемены. Де ла Марш жил в Париже, но, по словам Эдме, его призвал туда долг службы; к концу зимы он предполагал вернуться. Ни в речах дяди Юбера, ни в речах аббата не было и намека на разрыв между женихом и невестой. О председателе упоминали редко, но говорили непринужденно и без неприязни. Меня снова стали мучить сомнения. Я не видел иного средства одолеть их, как напрячь всю свою волю. «Я заставлю ее предпочесть меня»,— думал я, отрываясь от книги и глядя поверх страниц, как Эдме, потупив свои большие непроницаемые глаза, спокойно читает письма де ла Марша; эти письма получал время от времени ее отец и, пробежав их, передавал ей. Я погрузился в занятия. Долго еще страдал я жестокими головными болями, но переносил их стоически.

В длинные зимние вечера Эдме снова взялась за мое образование, которым руководила исподволь, а я снова удивлял аббата своим прилежанием и быстрыми успехами. Заботливость, проявленная им во время моей болезни, меня обезоружила, и хотя я не мог еще полюбить его от всего сердца, зная, что перед кузиной он мне плохой защитник, я выказывал много более доверия и уважения к нему, чем прежде. Длительные беседы с аббатом приносили мне не меньше пользы, нежели чтение. Я сопровождал его и Эдме в прогулках по парку, наведывался с ними в заснеженную хижину Пасьянса, где все трое вели философские беседы. То был способ почаще и подольше видеться с Эдме. Поведение мое окончательно рассеяло ее подозрительность, и она уже не боялась оставаться со мной наедине. Но мне все не представлялся случай доказать ей свое героическое самоотречение, ибо ничто не могло усыпить бдительность аббата, который не отставал от нас ни на шаг. К его слежке я уже относился спокойно; я даже был ею доволен, ибо, наперекор моему твердому решению, буря страстей клокотала у меня в груди, и не раз, оставшись наедине с Эдме, я, скрывая смятение, внезапно уходил, оставляя ее одну.

Итак, жизнь наша протекала с виду спокойно и безмятежно; впрочем, некоторое время так оно и было. Но вскоре я опять, и сильнее, грубее прежнего, нарушил ее мирное течение; виною тому оказался порок, который был развит во мне образованием, а до того не бросался в глаза среди прочих моих пороков, более отвратительных, но менее гибельных. Порок этот, составивший несчастье моей новой жизни, был тщеславие.

Невзирая на правильную систему воспитания, которой придерживались аббат и кузина, они допустили оплошность, расхваливая меня за достигнутые успехи и тем пробудив во мне самодовольство. Они не рассчитывали, что я проявлю такое усердие, и все мои достижения приписывали только моим способностям. Возможно также, что оба они торжествовали, расценивая как свою личную победу успешное, по их мнению, воздействие их философских идей на мое воспитание. Одно бесспорно: я легко дал убедить себя в том, что я необычайно смышлен и вообще человек весьма незаурядный. Вскоре мои дорогие наставники пожали горькие плоды своей неосмотрительности, но заглушить рост моей безмерной самовлюбленности было уже невозможно.

Вероятно, эта роковая страсть дремала во мне с детства, подавляемая гнетом, жертвой которого я был в Рош-Мопра; а теперь она пробудилась к жизни. Надо полагать, мы уже с младенческих лет носим в себе зародыши добродетелей и пороков, которые со временем под воздействием внешних обстоятельств дают пышные всходы. Я же дотоле не находил пищи своему тщесла-

вию, ибо чем я мог кичиться в первые дни, проведенные вблизи Эдме? Но стоило только моему ущемленному тщеславию найти себе пищу, как оно заговорило во весь голос, внушая мне необыкновенную самонадеянность, так же как прежде внушало ложный стыд и свирепую угрюмость. К тому же я, словно соколенок, что, впервые вылетев из гнезда, пробует свои слабые крылышки, был в восторге от обретенной мною способности легко выражать свои мысли. Я сделался настолько же болтлив, насколько прежде был неразговорчив. Моей болтовней восхищались. У меня не хватило здравого смысла догадаться, что ее слушают как лепет балованного дитяти: я почитал себя зрелым мужем и, более того, человеком недюжинным. Я стал заносчив и неимоверно смешон.

Дядя Юбер не вмешивался в мое воспитание, он лишь по-отечески снисходительно улыбался моим первым шагам на жизненном поприще; но он-то первый и заметил, что я вступаю на ложный путь. Он находил, что не подобает мне, споря с ним, возвышать голос, как бы ставя себя на равную с ним ногу, и указал на это дочери. Она мягко меня предостерегла; но, желая сделать свои увещания не столь обидными, оговорилась, что, хотя в этих спорах справедливость на моей стороне, отец ее не в том возрасте, когда меняют убеждения, и потому я должен свое восторженное красноречие принести в жертву его достоинству старшего в роде. Я пообещал, что оплошность моя больше не повторится, но слова не сдержал.

Дело в том, что дядюшка был начинен уймой предрассудков. Он получил прекрасное по тем временам для провинциального дворянина образование, но отстал от века. Пылкая же и романтическая Эдме, чувствительный и последовательный в своих взглядах аббат опередили свой век; и если коренные разногласия между ними и почтенным старцем не очень бросались в глаза, то лишь благодаря справедливому уважению, какое он им внушал, и его нежности к дочери. Как вы сами понимаете, я со всем пылом новообращенного разделял воззрения Эдме, но мне не хватало ее деликатности и умения, когда надо, смолчать. Буйный мой нрав искал выхода в политике и философии, и я испытывал несказанное удовольствие, участвуя в бурных спорах, каковые в тогдашней Франции — в любом собрании и даже в лоне семьи — являлись провозвестником революционных бурь. Думается, что не было такого дома, дворца или хижины, где не выпестовали бы своего присяжного оратора — резкого, пылкого, непримиримого, готового выступить с парламентской трибуны. Итак, я был присяжным оратором замка Сент-Севэр, а дядя мой, привыкший к видимости авторитета, которым он пользовался, что мешало ему заметить брожение умов вокруг, не терпел никакого, даже самого невинного

прекословия. Гордый и вспыльчивый, он к тому же еще заикался, когда говорил, и, приходя в раздражение, переносил свою досаду на других. Он отпихивал ногой горящие в камине поленья, разбивал вдребезги очки, пригоршнями просыпал табак на паркет, и раскаты его голоса гремели под высокими сводами замка. Все это доставляло мне жестокое удовольствие, ибо, применяя только что вычитанное мною тогда выражение, я «разрушал шаткое здание идей», которое он строил целую жизнь. С моей стороны это была самонадеянная глупость и дурацкая спесь; но меня безудержно влекла потребность борьбы: как отрадно было упражнять умственную энергию, за невозможностью расходовать энергию физическую! Эдме напрасно покашливала и делала мне знак молчать, пытаясь во спасение отцовского самолюбия и противу собственной совести найти какие-либо доводы в пользу моего противника. Ее вялые попытки взять его под защиту, снисходительность, какой она требовала от меня, лишь еще более раздражали старика.

— Дай же ему сказать! — восклицал он.— Эдме, не вмешивайся: я хочу разбить его наголову. А если ты будешь то и дело нас перебивать, мне никогда не удастся доказать ему, какие нелепости он говорит!

И вот шквал свистел, усиливаясь с обеих сторон, пока глубоко разобиженный дядюшка не уходил из комнаты, чтобы сорвать злость на своем псаре или на гончих.

Дядюшка был необыкновенно добр и отходчив, но это лишь поощряло мое нелепое упорство и способствовало повторению наших неуместных стычек. Однако часа не проходило, как дядюшка уже забывал и о моих провинностях, и о своем раздражении. Мирно беседуя со мной, он расспрашивал, чего я желаю и в чем нуждаюсь, с тою отеческой заботливостью, какая и была источником его попечительского великодушия. Дядюшка был человеком бесподобной души. Он и уснуть не мог бы спокойно, ежели бы перед сном не расцеловал всех близких и ласковым словом или взглядом не загладил обиду, нанесенную последнему из слуг. Подобная доброта должна была бы меня обезоружить, раз и навсегда принудить к молчанию. И каждый вечер я давал себе клятву молчать, но каждое утро нарушал ее, продолжая, как сказано в Писании, «изрыгать хулу».

Мое злонравие с каждым днем причиняло Эдме все большие страдания, и она искала способ меня исправить. Не было на свете невесты более стойкой и более сдержанной в своих чувствах; но и любящая мать не могла бы проявить столько нежной заботливости. Посовещавшись с аббатом, Эдме решила уговорить отца внести некоторое разнообразие в нашу жизнь и последние недели перед постом провести в Париже. Пребывание в деревне, оторван-

ность от общества в зимнее время, ибо замок Сент-Севэр находился в глуши, а дороги были в плохом состоянии, привычный и наскучивший уклад нашей жизни — все это давало пищу для нудных пререканий, от которых неуклонно портился мой характер. Дядя, пристрастившийся к этим вздорным стычкам даже более меня, терял из-за них здоровье и все больше дряхлел. Скука одолела аббата; Эдме грустила, то ли наскучив однообразием нашей жизни, то ли по каким-то иным, скрытым причинам. Она пожелала ехать, и мы поехали, ибо господин Юбер, встревоженный унылой задумчивостью дочери, спешил исполнять все ее прихоти. Меня охватывал радостный трепет при мысли, что я увижу Париж; и в то время как Эдме льстила себя надеждой, что общение с людьми сгладит шероховатости моего характера и я перестану быть таким педантом, я мечтал покорить тот самый свет, о котором столь уничижительно писали наши философы.

Мы отправились в путь прекрасным мартовским утром; в одной почтовой карете ехали господин Юбер с дочерью и мадемуазель Леблан, в другой мы с аббатом и моим камердинером Сен-Жаном; аббат с трудом скрывал свою радость: ведь ему впервые в жизни предстояло повидать столицу,— а Сен-Жан, чтобы не утратить учтивых манер, отвешивал всем встречным глубокие поклоны.

XII

Длинный этот рассказ утомил старого Бернара, и он отложил продолжение до следующего дня. Явившись в назначенный час, мы стали просить, чтобы старик выполнил свое обещание. Вот что он нам рассказал:

— Наступила новая пора моей жизни. В Сент-Севэре я был поглощен любовью и учением. Все свои духовные силы сосредоточил я только на этом. По приезде в Париж словно туманная завеса встала предо мною. Много дней кряду я ничего не понимал и поэтому ничему не удивлялся. Я весьма преувеличивал достоинства всех действующих лиц, выступавших на сцене; но не менее преувеличивал я и легкость, с какою вскоре предполагал с ними сравняться. Повинуясь моей предприимчивой, самонадеянной натуре, я во всем видел вызов своим силам и совсем не замечал препятствий, стоявших на пути.

В доме, который мы занимали, дядя с кузиной помещались на одном этаже, а я на другом; большую часть времени я проводил теперь с аббатом; преимущества моего материального положения

нимало не вскружили мне голову; но, видя, что у многих положение было шатким или трудным, я начинал ценить свое благополучие. Я уже научился понимать, какой превосходный нрав у моего воспитателя, а почтительность моего слуги более меня не тяготила. Удивительно, что, пользуясь такой свободой, не зная ограничения в деньгах, обладая богатырским здоровьем, будучи молод, я не предался никаким порокам и даже не стал картежником, что отвечало бы моей *азартной* натуре. Меня спасла полнейшая неискушенность в житейских делах: она внушала мне сугубую недоверчивость, а весьма проницательный аббат, считая себя ответственным за мои поступки, ловко сыграл на моем высокомерии и застенчивости. Поощряя мое презрение к тому, что могло принести мне вред, аббат рассеивал его в отношении всего, что приносило пользу. Кроме того, он придумывал для меня всякие безвредные развлечения, что не заменяет любовных утех, но смягчает боль сердечных ран. Соблазнов же разврата я не ведал вовсе. Я был чересчур горд, чтобы пожелать женщину, которая не казалась бы мне, подобно Эдме, прекраснейшей в мире.

Мы собирались все вместе к обеду, а по вечерам выезжали в свет. Сидя где-нибудь в уголке и наблюдая за окружающими, я узнал свет лучше, нежели мне удалось бы сделать это в моей глуши в итоге целого года исканий и размышлений. Думается мне, что, наблюдая общество из своего далека, я бы никогда в нем ничего не понял. Ведь то, что занимало мой ум, было так непохоже на то, что занимало умы других людей. Но когда я очутился среди этого хаоса, хаос вынужден был расступиться и дал мне постигнуть многое из того, что составляло его сущность. Помнится, новый жизненный путь на первых порах не лишен был для меня привлекательности. Мне не приходилось ни просить, ни добиваться, ни завоевывать никаких общественных благ. Благосклонная судьба вела меня за руку. В одно прекрасное утро она извлекла меня из пропасти, чтобы, перенеся в лоно родной семьи, нежить на пуховиках. Чужие тревоги были для меня забавой. Одна лишь тайная причина будила во мне беспокойство — любовь к Эдме.

Болезнь ничуть не надломила меня физически, напротив того — закалила. Я перестал быть тяжеловесным и сонливым животным, которое тупело, устав переваривать пищу. Я чувствовал, как трепещет во мне каждая жилка, пробуждая в душе неведомые созвучия, и удивлялся, открывая в себе способности, которым так долго не находил применения. Мои добрые родичи не могли нарадоваться на подобное превращение, но удивления не выказывали. Они с самого начала судили обо мне весьма благосклонно, словно всю свою жизнь только тем и занимались, что успешно цивилизовали дикарей.

Моя нервная система стала утонченнее, и впоследствии мне часто приходилось расплачиваться тяжелыми страданиями за те преимущества и наслаждения, какие дарила мне изощренная впечатлительность. Эта способность живо откликаться на явления внешнего мира создавалась той особою свежестью восприятия, какая встречается лишь у животных и у дикарей. Вялость ощущений, свойственная другим, удивляла меня. Мужчины в очках, женщины, от которых пахло табаком, юные старички, до времени оглохшие и ставшие подагриками, были мне в тягость. Свет представлялся мне какой-то больницей, и когда я, здоровый и крепкий, очутился среди этих калек, мне померещилось, что стоит на них дунуть — и они развеются по воздуху, как семена чертополоха.

Обуянный нелепой гордыней, я, на свою беду, поддался заблуждению и стал переоценивать таланты, какими наделила меня природа. Это привело к тому, что я долгое время пренебрегал совершенствованием своих способностей, считая таковое излишней роскошью. Из-за сложившегося у меня предубеждения я вскоре уверовал в ничтожество окружающих, и это мешало мне подняться над уровнем тех, кого я с некоторых пор почитал ниже себя. Я не понимал, что, хотя общество и построено из негодного материала, части его прилажены чрезвычайно искусно и прочно и внести малейшее изменение в это целое под силу только умелому мастеру. Не знал я и того, что в этом обществе надо быть либо большим художником, либо честным ремесленником,— среднего не дано. Я же не был ни тем, ни другим, и, если уж говорить начистоту, несмотря на все мои убеждения, мне так никогда и не удалось преодолеть в себе застарелую косность, и вся моя энергия пригодилась лишь на то, чтобы с великим трудом научиться поступать, как другие.

Итак, спустя несколько недель я перешел от неумеренного восхищения обществом к неумеренному презрению. Стоило мне постигнуть суть движущих обществом пружин, и мне уже показалось, что они бездарно приводятся в действие нынешним хилым поколением; так что ожидания моих ничего не подозревавших учителей не оправдались. Вместо того чтобы признать власть общества над собой и стушеваться в толпе, я вообразил, что, стоит мне пожелать, и я сам приобрету власть над толпою. Я втайне лелеял мечты, при воспоминании о которых краснею от стыда. Если я не стал вовсе смешон, то лишь потому, что из гордости остерегался проявлять свое тщеславие, боясь осрамиться.

Я не буду пытаться обрисовывать вам Париж того времени, ибо вы не раз, надо думать, с жадностью изучали его по превосходным описаниям очевидцев то ли в исторических очерках, то ли в чьих-либо мемуарах. К тому же подобная зарисовка выходила

бы за рамки моего рассказа, поскольку я обещал познакомить вас лишь с основными событиями, составившими историю моего нравственного и идейного преображения. Вы сможете представить себе, чем заняты были в ту пору мои мысли, если я скажу вам, что Америка начала в это время войну за независимость, Париж с триумфом встречал Вольтера, а провозвестник новых политических верований Франклин забросил семена свободы в самое лоно французского двора. Лафайет уже втайне готовил свой неслыханный поход, и большинство юных патрициев увлекала мода, новизна и та прелесть, какую неизменно таит в себе любая, не слишком чреватая опасностями оппозиция.

У дворян старшего поколения, у судейских чиновников оппозиция облекалась в формы более степенные, оказывала воздействие более глубокое: дух Лиги воскресал в рядах этих древних патрициев и надменных судейских, которые одним плечом еще поддерживали приличия ради шаткое здание монархии, а другое подставляли как надежную опору для завоеваний философии. Феодальная знать, недовольная ограничением своих привилегий со стороны короля, горячо приветствовала грядущее уничтожение этих привилегий. Воспитывая своих сыновей в конституционных правилах, она мечтала создать новую монархию, при которой с помощью народа сможет занять места превыше трона; потому-то в самых прославленных парижских салонах и выражали столь горячее поклонение Вольтеру и столь пылкое сочувствие Франклину.

Такой необычайный и, надо сказать, почти противоестественный сдвиг человеческой мысли произвел переворот в холодной, жеманной атмосфере, царившей среди обломков двора Людовика XIV, придал ей некую воинственную живость. Влияние этого сдвига сказалось и в том, что легкомысленные нравы эпохи Регентства приобрели некоторое подобие серьезности и глубины. Тусклая, хотя и беспорочная жизнь Людовика XIV в счет не шла и никого ни к чему не обязывала; никогда еще среди так называемых просвещенных слоев общества не наблюдали такой напыщенной болтовни, такого множества дутых правил, такой хвастливой добродетели, такого несоответствия между словом и делом, как в ту пору.

Мне приходится обо всем этом сейчас напомнить, чтобы вам стало понятно восхищение, какое вызывали у меня вначале эти люди, по видимости столь бескорыстные и мужественные, столь горячие поборники истины, и то отвращение, какое вскоре охватило меня, ко всей этой выспренности, легкомыслию, злоупотреблению словами самыми священными и убеждениями самыми заветными. Я очень добросовестно подкреплял несокрушимой логикой свой философский пыл и то недавно обретенное понимание

свободы, что называлось тогда «культом разума». Я был молод и полон сил — условие, быть может, первостепенное душевного здоровья; знания мои были не столь обширными, сколь основательными: мои учителя преподносили мне здоровую, легко усваиваемую пищу. То немногое, что я узнал, позволило мне заметить, что другие не знали ничего или же обольщались, полагая, что знают.

Вначале дядюшку посещали редко. Будучи с детства в дружбе с Тюрго и другими просвещенными людьми, он не соприкасался с золотой молодежью своего времени. Когда-то он честно сражался на войне, теперь же благоразумно доживал свой век в деревне. Его общество составляли несколько степенных судейских чиновников, кое-кто из бывших вояк и несколько провинциальных дворян, старых и молодых, которым приличное состояние позволяло, подобно ему, раз в три года проводить зиму в Париже. Однако господин Юбер сохранял отношения и с людьми из круга более блистательного, и стоило только Эдме появиться среди них, ее красота и превосходное умение держаться сразу же были замечены. Эдме являлась единственной наследницей довольно значительного состояния, поэтому важные дамы, игравшие, так сказать, роль высокопоставленных свах, которые постоянно опекают какого-либо обремененного долгами молодого человека и устраивают его благополучие за счет одного из обеспеченных провинциальных семейств, искали с нею знакомства. Когда же стало известно, что она помолвлена с де ла Маршем, почти разорившимся отпрыском весьма прославленного рода, ее стали принимать еще охотнее, и вскоре небольшой салон, который она предпочитала прочим ради старинных отцовских друзей, уже не мог вместить всех присяжных остроумцев и краснобаев, а также великосветских философов в юбке, желавших познакомиться с «юной квакершей», «беррийской розой»,— имена, коими наградила ее одна из дам, пользовавшихся признанием общества.

Столь быстрые успехи в свете, где до сих пор Эдме никому не была знакома, ничуть не вскружили ей голову; она отличалась таким самообладанием, что, хоть я ревниво следил за каждым ее движением, мне так и не удалось узнать, была ли она польщена произведенным ею впечатлением. Я мог только заметить, что всеми ее поступками и речами руководил восхитительный здравый смысл. В ней были искренность и сдержанность, какое-то своеобразное сочетание непринужденности и гордой скромности; поэтому она затмевала женщин наиболее блистательных, привыкших всех пленять. Кстати сказать, вначале я был чрезвычайно неприятно поражен тоном и поведением этих хваленых красавиц: их заученное изящество меня смешило, а умение свободно держать себя в обществе казалось невыносимой развязностью. Невзирая на дер-

зостную мою натуру, а в прежнее время и грубость, в присутствии этих женщин я смущался, мне становилось не по себе. Только непрестанные упреки и увещания Эдме мешали мне выказывать глубочайшее презрение к их обольстительным взорам, ужимкам и нарядам, ко всему, что именуется в свете «милым кокетством», «восхитительным умением нравиться», «любезностью», «изяществом». Аббат разделял мое мнение. Когда салон пустел, мы все, перед тем как разойтись по своим комнатам, усаживались у камелька, в кругу семьи. В такие минуты, подводя итог разрозненным впечатлениям дня, ощущаешь потребность поделиться ими с близкими людьми. Аббат принимал мою сторону против дяди и кузины. Учтивый обожатель прекрасного пола, с которым он никогда особенно близко не знался, дядя Юбер с истинно французской рыцарственностью выступал в защиту любой безжалостно атакуемой нами красавицы и шутливо обвинял аббата в том, что тот рассуждает о женщинах, как лисица в басне — о винограде. Я же старался перещеголять аббата в непримиримости. То был способ заявить Эдме о предпочтении, какое я оказываю ей перед всякой другой. Но она, как будто скорее смущенная, нежели польщенная этим предпочтением, всерьез упрекала меня в недоброжелательстве, которое питалось, как она утверждала, моей безмерной гордыней.

Правда, великодушно выступив в защиту обвиняемых, она присоединялась к нашему мнению, стоило лишь нам, ссылаясь на Руссо, сказать, что в Париже светские женщины выглядят слишком «мужественно» и к тому же обладают нестерпимой для благонравного человека привычкой смотреть вам прямо в лицо. Поскольку это изрек Руссо, Эдме не смела ничего возразить. Она охотно признавала вместе с философом, что очарование женщины заключается главным образом в прилежном внимании и скромности, с какими она прислушивается к серьезным речам. Я неизменно приводил ей слова, в которых он сравнивает совершенную женщину с прелестным ребенком: глаза у него полны чувства, кротости и ума, вопросы робки, а возражения преисполнены смысла. Мне хотелось, чтобы она узнала себя в этом портрете, словно с нее списанном. Дорисовывая портрет, я добавлял, пожирая ее взглядом:

— Женщина истинно совершенная достаточно образованна, чтобы никогда не задавать смешных или неуместных вопросов, но и не кичиться перед людьми достойными; такая женщина умеет молчать, особенно в беседе с глупцом, которого могла бы поднять на смех, или невеждой, которого могла бы унизить; она снисходительно выслушивает нелепости, ибо не склонна выказывать свою ученость, и прилежно внимает умным речам, ибо желает извлечь из них пользу. Ее сокровенное желание — понимать, а не поучать, и поскольку общепризнано, что беседа — своего рода искусство,

огромное искусство такой женщины заключается не в том, чтобы столкнуть двух самонадеянных спорщиков, любящих блеснуть своими познаниями и позабавить общество бесплодным словесным поединком, но в том, чтобы внести ясность в любой спор и вовлечь в него всякого, кто только может пролить свет на сомнительный вопрос, а тогда и самый спор становится бесполезным. Подобного таланта я не нахожу ни у одной из ваших дам — хваленых хозяек светских салонов. У них можно неизменно встретить двух-трех модных говорунов, окруженных изумленными слушателями, из которых ни один не годен в судьи. Женщины эти владеют искусством превращать умных людей в шутов, а заурядных делать немыми. Выходя из такой гостиной, скажешь: «Красно говорят»,— и только.

Думается мне, я был прав; возможно, однако, женщины вызывали во мне досаду, потому что не уделяли ни малейшего внимания людям, которые ничем не были знамениты, но считали себя ничуть не хуже других. Как вам легко догадаться, к этим людям я причислял себя. Однако и ныне, когда во мне не говорит ни предвзятость, ни ущемленное тщеславие, я все же уверен, что баловням света эти женщины всегда были готовы курить фимиам, и движимы они были скорее пустой суетностью, нежели искренним восхищением или же чистосердечным сочувствием. Такие дамы являлись как бы своего рода законодательницами салонов: настороженно ловя каждое слово разглагольствующей знаменитости, они заставляли слушателей благоговейно внимать любым глупостям, вылетающим из прославленных уст; зато, подавляя зевок, эти особы с треском захлопывали веер, пренебрегая самыми блистательными речами, если только они не принадлежали какому-нибудь модному острослову. Не знаю, чем щеголяют умничающие женщины в девятнадцатом веке, не знаю даже, существует ли еще эта порода — вот уже тридцать лет, как я не бываю в свете; но что до прошедшего — можете мне поверить. Иные из этих дам мне поистине опротивели. Одна, у которой был хорошо подвешен язык, кстати и некстати сыпала остротами; их тут же подхватывали, передавая из уст в уста во всех гостиных, и я вынужден был их выслушивать раз двадцать на день; другая, прочитав Монтескье, на этом основании поучала престарелых судей; третья прескверно играла на арфе, но, так как, по всеобщему признанию, у нее были самые прекрасные во Франции руки, особенно повыше локотков, приходилось терпеть, когда она с видом робеющей девочки стягивала с себя длинные перчатки и щипала визгливые струны. Что сказать вам о прочих? Они старались перещеголять друг дружку в жеманстве и глупейших уловках, а все мужчины прикидывались младенцами, которых ничего не стоит водить за нос. Только одна

была подлинно хороша, не говорлива и привлекала непринужденностью манер. Я бы отнесся к ней терпимее, снисходя к ее невежеству, но она кичилась им, стараясь игривой наивностью отличаться от прочих. Обнаружив случайно, что она умна, я почувствовал к ней отвращение.

Только Эдме сохранила во всей свежести свою искренность, во всем блеске — врожденное изящество. Сидя на софе, рядом с господином Мальзербом, она оставалась все тою же, какою я столько раз созерцал ее в часы заката на каменной скамье у порога хижины Пасьянса.

XIII

Как вы можете себе представить, поклонение, которым была окружена кузина, разожгло дремавшую в моей груди ревность. В свое время я, повинуясь приказанию Эдме, стал усердно учиться. Трудно сказать, осмеливался ли я тогда верить, что она сдержит обещание и станет моей женой, когда я научусь понимать ее мысли и чувствования. Как бы то ни было, это время, на мой взгляд, уже наступило, ибо, конечно, я понимал Эдме лучше любого из поклонников, превозносивших ее в прозе и стихах. И хотя я твердо решил, что не воспользуюсь правом, которое давала мне клятва, насильно вырванная у нее в Рош-Мопра, ее недавнее обещание, добровольно повторенное мне у окна часовни, те выводы, какие я вправе был сделать из ее беседы с аббатом, случайно подслушанной мною в парке Сент-Севэра, ее настойчивое стремление удержать меня близ себя и руководить моим воспитанием, материнская забота, какою она окружала меня во время болезни,— разве все это не давало справедливых оснований надеяться? Правда, стоило мне словом или взглядом выдать свою страсть, и сердечность ее сменялась ледяной холодностью; правда и то, что за все время я ни на шаг не продвинулся вперед, равно как и то, что де ла Марш был частым гостем у нас в доме, а Эдме относилась к нему столь же дружественно, как и ко мне, и если держалась менее просто, чем со мною, зато оказывала ему больше уважения — оттенок, вполне объяснимый различием в наших с ним характерах и возрасте, но отнюдь не являвшийся доказательством ее предпочтения одному из нас. Итак, я мог думать, что свое обещание она дала, повинуясь велению совести; усердие, с каким она занималась моим образованием, я мог объяснить ее верой в достоинство человека, чьи права отныне восстановлены были философией, а спокойную и прочную привязанность Эдме к де ла Маршу — глубоким сожалением, которое она умела не выказывать

благодаря своей стойкости и благоразумию. Мучительное недоумение владело мною. Долгое время я питал надежду завоевать ее любовь смирением и преданностью, но и эта надежда постепенно угасла. По всеобщему признанию, я добился успехов незаурядных, проявил усердие необычайное; но был еще очень далеко от того, чтобы в той же мере завоевать уважение Эдме. Ее, казалось, ничуть не удивляла моя, как она выражалась, «необыкновенная сообразительность»; Эдме никогда в ней не сомневалась и неизменно восхваляла ее больше, чем следовало. Но она ни на минуту не закрывала глаза на дурные стороны моего характера, на мои пороки. Она попрекала меня ими с безжалостной кротостью, с терпеливостью, доводившей меня до отчаяния, ибо, по-видимому, она твердо решила, что бы ни случилось, любить меня ничуть не больше и не меньше, нежели до сих пор.

Между тем все за нею увивались, она же никого не удостаивала своей благосклонностью. В свете толковали, что она обещана де ла Маршу, но, так же как и я, никто не понимал, почему она без конца откладывает этот брак. Стали поговаривать, что Эдме ищет предлог отделаться от жениха, и нашли тому лишь одно объяснение: она якобы питает страстную любовь ко мне. Моя удивительная история наделала много шума. Женщины поглядывали на меня с любопытством, мужчины выказывали почтительный интерес, к которому я был довольно чувствителен, хотя и делал вид, что пренебрегаю им. В свете, где верят только в то, что приукрашено вымыслом, необычайно преувеличивали мой ум, способности и знания. Стоило, однако, кому-нибудь увидеть нас вместе — де ла Марша, меня и Эдме,— как наше хладнокровие и непринужденность развеивали в прах любые измышления. Эдме на людях держала себя с нами столь же просто, как всегда; де ла Марш казался бездушным манекеном, превосходно усвоившим светские манеры; я же, раздираемый противоречивыми страстями, был непроницаем, отчасти из высокомерия, отчасти — должен в этом признаться — из-за моих потуг подражать независимым *американским* повадкам. Надо вам сказать, что в качестве искреннего поборника свободы я имел счастье быть представленным Франклину. Меня удостоил своей благосклонностью и превосходными наставлениями сэр Артур Ли; все это вскружило мне голову, и я слишком возомнил о себе, как и те, кого я столь жестоко высмеивал; надо сказать, что мелкое тщеславие было во мне удовлетворено, и это принесло мне то облегчение, какого я жаждал. Вы, наверно, пожмете плечами, когда я признаюсь вам, что испытывал величайшее удовольствие, разрешая себе не пудрить волосы, носить грубые башмаки, появляться повсюду в самой что ни на есть простой, сугубо опрятной, темной одежде, словом, подражая, как обезьяна, в одеж-

де и повадках *Простаку Ричарду,* насколько это было возможно без опасения уподобиться *подлинному простолюдину.* Мне было девятнадцать лет, и я жил в такое время, когда каждый кому-то подражал; в этом мое единственное оправдание.

Я мог бы сослаться и на то, что мой слишком снисходительный и слишком простодушный воспитатель откровенно меня поощрял, что дядя Юбер, хотя подчас и посмеивался надо мною, смотрел на все сквозь пальцы, а Эдме ни слова мне не говорила, будто не замечая, как я смешон.

Тем временем снова наступила весна, салоны обезлюдели, пора было возвращаться в деревню, а я все еще был в неведении относительно своей участи. Как-то раз де ла Марш невольно себя выдал, обнаружив желание остаться наедине с Эдме. Я заметил это, но словно прирос к стулу: я испытывал наслаждение, терзая соперника. Но тут мне показалось, что на лбу у Эдме залегла так хорошо знакомая мне легкая морщинка; во мне происходила безмолвная борьба, и наконец я вышел из комнаты, решив посмотреть, к чему приведет ее беседа с глазу на глаз с женихом; я должен был знать свою участь, какова бы она ни была.

Через час я вернулся в гостиную. Дядя уже пришел. Де ла Марш остался к обеду. Эдме была задумчива, но не грустна. Аббат кидал на нее вопросительные взгляды, но она не понимала либо не желала их понимать.

Дядя вместе с де ла Маршем отправился во Французскую Комедию, Эдме попросила разрешения остаться дома, сославшись на то, что должна кое-что написать. Я последовал за графом и дядей, но после первого действия ускользнул из театра и вернулся домой. Эдме распорядилась никого не принимать, но я полагал, что этот запрет на меня не простирается; слуги находили мое поведение вполне естественным для члена семьи. Я вошел в гостиную, трепеща при мысли, что Эдме может оказаться у себя в комнате: проникнуть туда я бы не посмел. Эдме сидела у камина, в задумчивости ощипывая голубые и белые астры, сорванные мною на могиле Жан-Жака Руссо. Цветы напомнили мне ту упоительную ночь и лунный свет — может быть, единственные счастливые минуты, о которых стоило вспоминать.

— Уже вернулись? — спросила Эдме, не меняя позы.

— Уже? Как сурово это звучит,— ответил я.— Вы хотите, чтобы я ушел к себе?

— Нет, зачем же, вы мне ничуть не мешаете; но вы извлекли бы больше пользы от представления «Меропы», нежели из моей сегодняшней болтовни; предупреждаю — я совсем поглупела.

— Вот и хорошо! Я хоть раз не буду чувствовать вашего превосходства, мы впервые будем на равной ноге. Но скажите на ми-

лость, почему вы столь пренебрежительно обращаетесь с моими астрами? А я-то думал, что вы сохраните их как святыню.

— Из-за Руссо? — спросила она, лукаво улыбаясь и не поднимая на меня глаз.

— О, разумеется! Только поэтому! — подтвердил я.

— Я играю в очень интересную игру,— сказала она,— не мешайте.

— Знаю,— сказал я,— все вареннские ребятишки в нее играют, и каждая пастушка у нас верит, что так можно узнать свою судьбу. Хотите, я скажу, о чем вы думали, обрывая лепестки?

— Вы прорицатель? Что ж, говорите!

— *Немножко* — так вас любит *некто; очень* — так его любите вы; *страстно* любит вас другой; и *вовсе нет* — вот как любите вы этого другого.

— А позволено ли будет узнать, господин вещун,— возразила Эдме, и лицо ее стало более серьезным,— что означают эти *некто* и *другой?* Боюсь, что вы похожи на древнюю пифию: сами не понимаете смысла того, что вещаете.

— Может быть, вы это разгадаете, Эдме?

— Попытаюсь, если вы обещаете мне, что поступите тогда как сфинкс, побежденный Эдипом.

— О Эдме,— воскликнул я,— давно уже я бьюсь головой о стенку из-за вас и ваших разгадок! А вы ведь ни разу правильно не угадали!

— А вот и угадала! — сказала она и швырнула букет на камин.— Сейчас сами увидите: господина де ла Марша я люблю *немножко,* а вас *очень.* Он любит меня *страстно,* а вы не любите *вовсе.* Такова правда!

— Недобрая вы отгадчица! Но от всего сердца прощаю вам это за слово «очень»,— ответил я.

Я попытался завладеть ее руками; она резко отдернула их, и напрасно: если б она не сопротивлялась, я ограничился бы братским пожатием, недоверие же пробудило во мне опасные воспоминания. Думается, что в тот вечер в ней самой, в ее манере держаться была немалая доля кокетства, а до того я не замечал у нее и намека на что-либо подобное. Сам не знаю отчего, я осмелел и отважился на колкие замечания по поводу ее беседы наедине с де ла Маршем. Нисколько не стараясь отвергнуть мои догадки, Эдме расхохоталась, когда я попросил ее отблагодарить меня за то, что я был так необыкновенно учтив и удалился, заметив ее нахмуренные брови.

Такое ни с чем не сравнимое легкомыслие начинало меня немного раздражать, но тут вошел слуга; он вручил кузине письмо и сказал, что посыльный ждет ответа.

— Придвиньте стол и очините перо,— обратилась ко мне Эдме.

Она с беспечным видом распечатала и пробежала глазами письмо, я же, не подозревая, о чем там шла речь, приготовил все необходимое для ответа.

Воронье перо давно уже было очинено, бумага с цветными виньетками давно вынута из надушенного амброй бювара, а Эдме, не обращая на это внимания, и не прикоснулась к ней. Она замерла в своей излюбленной мечтательной позе, держа распечатанное письмо на коленях. Положив ноги на каминную решетку, локти — на ручки кресла, она погрузилась в глубокую задумчивость. Я тихонько окликнул ее, она не услышала. Я подумал, что она уснула, позабыв о письме. Спустя четверть часа слуга вернулся и сказал, что посыльный спрашивает, будет ли ответ.

— Конечно,— ответила Эдме,— пусть подождет.

Она чрезвычайно внимательно перечла письмо и медленно стала писать; потом швырнула листок в огонь, оттолкнула кресло ногой, прошлась несколько раз по комнате и, внезапно остановившись прямо передо мной, сурово и холодно на меня поглядела.

— Эдме! — воскликнул я, стремительно вставая.— Что с вами? Какое отношение имеет ко мне это письмо? Оно вас так взволновало!

— А вам-то что? — ответила она.

— Мне! — воскликнул я.— А что мне воздух, которым я дышу? Что мне кровь, текущая в моих жилах? Уж лучше спросите об этом, но не спрашивайте, что значит для меня одно ваше слово, один ваш взгляд! Ведь в них вся моя жизнь, и вы это знаете!

— Не говорите глупостей, Бернар,— возразила она рассеянно, возвращаясь и садясь в кресло,— всему свое время.

— Эдме, Эдме! Не тревожьте уснувшего льва, не раздувайте пламя, что тлеет под пеплом!

Она пожала плечами и с живостью принялась писать. Щеки ее порозовели; временами она погружала пальцы в свои длинные локоны, свободно, *«как у кающейся грешницы»*, ниспадавшие на плечи. Небрежность этой прически делала Эдме соблазнительно-прекрасной; можно было подумать, что она влюблена. Но в кого? Без сомнения, в того, кому писала. Жгучая ревность терзала меня. Я стремительно направился в прихожую и взглянул на человека, принесшего письмо: на нем была ливрея, какую носили слуги де ла Марша. В этом я и не сомневался, но обретенная уверенность распалила мою ярость. Я вернулся в гостиную, сильно хлопнув дверью, Эдме продолжала писать и даже не оглянулась. Я уселся прямо перед ней, бросая на нее испепеляющие взгляды. Она не удостоила меня вниманием. Мне почудилось даже, что на ее алых губах мелькнула легкая улыбка; я терзался, эту улыбку я воспри-

нял как оскорбление. Окончив наконец письмо, она запечатала его. Тогда я вскочил и подошел к ней, охваченный неистовым искушением вырвать конверт у нее из рук. Я научился несколько лучше владеть собою, но у людей страстных — я это чувствовал — единый миг может свести на нет плоды неусыпных трудов.

— Эдме,— сказал я с горечью, и болезненная гримаса, долженствующая изобразить ядовитую усмешку, исказила мое лицо.— Может быть, прикажете вручить это письмо слуге господина де ла Марша. Хотите, я шепну ему на ушко, когда граф должен явиться на свидание?

— Но мне кажется,— заметила она, сохраняя спокойствие, которое приводило меня в отчаяние,— что я сама могу указать этот час в письме; вам незачем сообщать об этом слугам.

— Да пощадите же меня хоть немного, Эдме! — воскликнул я.

— Ничуть не собираюсь,— ответила она и, швырнув на стол полученное письмо, вышла, чтобы лично вручить посланцу свой ответ. Не знаю, рассчитывала ли она, что я прочту это послание. Знаю лишь, что устоять против искушения я не мог. Содержание письма было примерно таково:

«Эдме, наконец-то мне открылась роковая тайна, воздвигнувшая между нами непреодолимую, по вашим словам, преграду. Бернар любит вас: его волнение нынче утром выдало его. Но вы его не любите, я уверен... не может этого быть!.. Вы бы сказали мне обо всем откровенно. Итак, препятствие не в этом! Простите! Я случайно узнал, что вы два часа провели в разбойничьем вертепе. Бедная моя! Несчастье ваше, благоразумная ваша осторожность, редкостная щепетильность еще более возвышают вас в моих глазах! Да почему же вы с самого начала не сказали мне, какая с вами стряслась беда? Одним своим словом облегчил бы я ваши и свои страдания! Я помог бы вам скрыть эту тайну! Я оплакивал бы ваши муки вместе с вами или, более того, свидетельствуя привязанность, способную устоять перед любым испытанием, стер бы из вашей памяти ненавистное воспоминание! Но все еще поправимо; это слово — никогда не поздно его произнести — вот оно: Эдме, я люблю вас сильнее, нежели когда-либо; моя решимость предложить вам свое имя тверже, нежели когда-либо, соблаговолите же принять его».

Внизу стояла подпись: Адемар де ла Марш.

Не успел я прочитать эти строки, как вернулась Эдме. Она в беспокойстве подбежала к камину, словно позабыла там какую-то драгоценность. Я протянул ей только что прочитанное письмо, она взяла его с рассеянным видом и, склонившись над камином, обрадованная, поспешно выхватила из огня едва тронутый пламе-

нем, скомканный листок бумаги. То был ее первый ответ на записку господина де ла Марша, тот самый, который она не сочла возможным послать.

— Эдме! — сказал я, бросаясь к ее ногам.— Дайте же мне взглянуть на этот листок! Каков бы ни был приговор, подсказанный первым вашим побуждением, я ему повинуюсь!

— Это правда? — спросила она с непостижимым выражением.— Вы повинуетесь? Но если я люблю господина де ла Марша, если, отказывая ему, я приношу вам великую жертву, хватит ли у вас великодушия вернуть мне слово?

Минутное колебание овладело мною; обливаясь холодным потом, я пристально на нее взглянул: что у нее на уме? Непроницаемый взор Эдме не выдал затаенную мысль. Если бы я думал, что она меня любит и только испытывает мою добродетель, я, возможно, разыграл бы из себя героя; но я опасался западни; страсть одержала верх. Я не чувствовал в себе сил добровольно отказаться от Эдме, а лицемерие было мне отвратительно. Я вскочил, дрожа от гнева.

— Вы любите его! — воскликнул я.— Признайтесь же, что вы его любите!

— А если и так? — ответила она, пряча свое письмо в карман.— Что тут преступного?

— А то, что, значит, вы лгали мне до сих пор, отрицая это!

— *До сих пор* — это чересчур сильно,— возразила она, пристально на меня глядя.— Мы с прошлого года не заговаривали с вами об этом. Возможно, что в ту пору я недостаточно любила Адемара, а теперь, может статься, люблю его больше, нежели вас. Сравнивая нынче ваше и его поведение, я вижу в вас человека, лишенного гордости и щепетильности, пользующегося обязательством, которое я дала, быть может, вопреки голосу сердца. А в нем я нахожу превосходного друга; его несравненная верность презрела всяческие предрассудки; он считает меня запятнанной неизгладимым бесчестьем, но по-прежнему настойчиво предлагает мне свое покровительство, дабы не уронить меня в глазах света.

— Как! Этот негодяй думает, что я обесчестил вас, и не вызывает меня на поединок?

— Нет, Бернар, он этого не думает, он знает, что вы помогли мне спастись из Рош-Мопра, но опасается, что вы пришли мне на помощь слишком поздно и я успела стать жертвой разбойников.

— И хочет на вас жениться, Эдме? Что ж, либо он человек подлинно высокой души, либо задолжал больше, нежели полагают.

— Молчите! — гневно воскликнула Эдме.— Надо иметь бесчувственную душу и испорченное воображение, чтобы столь гнусно истолковать этот великодушный поступок! Молчите же, если не хотите, чтоб я вас возненавидела!

— Скажите прямо, что ненавидите меня, скажите, Эдме! Не бойтесь, я и сам это знаю!

— Бояться? Мне? Много чести для вас! Так вот, отвечайте, хоть вы и не знаете, как я предполагаю поступить, но все равно: понимаете ли вы, что должны вернуть мне свободу и отказаться от своих варварских притязаний?

— Понимаю лишь одно, что люблю вас бешено и когтями растерзаю сердце всякому, кто осмелится вас у меня оспаривать. Знаю, что заставлю вас полюбить меня, а если нет, я, покуда жив, не потерплю, чтобы вы принадлежали другому! Если же кому-нибудь вздумается надеть вам на палец обручальное кольцо, ему придется перешагнуть через мой изрешеченный пулями, окровавленный труп. А когда я буду при последнем издыхании, я покрою вас позором, скажу, что вы моя любовница, и омрачу радость того, кто надо мной восторжествует. И ежели перед смертью мне удастся заколоть вас, я это сделаю, чтобы вы стали моею женой хоть в могиле! Вот как я поступлю! Ну что ж, Эдме, расставляйте сети, устраивайте ловушки! Вы тонкий политик и ловко мною вертите; вы можете стократно меня одурачить, ибо я невежда, но все ваши происки ждет один конец, я поклялся в том именем Мопра!

— Мопра Душегуба! — ответила с холодной насмешкой Эдме.

Она направилась к выходу.

Я попытался схватить ее за руку, но тут послышался звон колокольчика: это вернулся аббат. Эдме поздоровалась с ним и, не проронив ни слова, ушла к себе в комнату.

Заметив мое смятение, аббат обратился ко мне с расспросами, считая, что ему дает на это право моя признательность; но был единственный пункт, которого мы с ним ни разу не коснулись. Тщетно доискивался он причины моего волнения. Ни один урок истории не обходился у нас без того, чтобы аббат не привел мне в назидание в качестве примера воздержанности и великодушия историю любви какой-нибудь прославленной личности. Но и тут ему не удавалось вытянуть из меня ни слова. Я не мог до конца простить ему, что он когда-то повредил мне в глазах Эдме. Я догадывался, что он продолжает это делать и сейчас, и относился настороженно ко всем аргументам его философии и даже к его дружбе, как она ни прельщала меня. А в этот вечер я был и вовсе неприступен. Покинув встревоженного и опечаленного аббата, я

ушел к себе и, бросившись на кровать, зарылся с головою в одеяла, чтобы заглушить давно уже клокотавшие в груди рыдания, которые одержали беспощадную победу над моею гордыней и моею яростью.

XIV

Мрачное отчаяние охватило меня на другой день. Эдме была холодна как лед, де ла Марш не появлялся. Мне показалось, что аббат ездил к нему и доложил Эдме об исходе их беседы. И кузина и аббат сохраняли, впрочем, невозмутимое спокойствие, я же молчал, снедаемый тревогой. Мне ни на минуту не удавалось остаться наедине с Эдме. Ввечеру я пешком направился к де ла Маршу. Не знаю, что я собирался ему сказать: я был в таком отчаянии, что действовал без цели и смысла. Мне ответили, что он уехал из Парижа. Я вернулся. Дядю я нашел сильно опечаленным. Завидев меня, он нахмурил брови и, натянуто поговорив со мной о каких-то пустяках, ушел; я остался с аббатом; тот пытался вызвать меня на разговор, но так же бесплодно, как и накануне. В течение нескольких дней я искал случая переговорить с Эдме, но она неизменно уклонялась. Шли приготовления к отъезду в Сент-Севэр. Эдме не выказывала ни радости, ни печали. Желая побеседовать с нею, я отважился просить ее о встрече и с этой целью засунул меж страниц ее книги записочку. Минут через пять я получил следующий ответ:

«Беседа ни к чему не приведет. Вы упорствуете в своих грубых притязаниях, я же твердо храню верность своему слову. Тот, кто не привык кривить душой, не отрекается от данного слова. Я поклялась никогда не принадлежать никому, кроме вас. Замуж я не выйду, но я не давала клятвы, презрев все, принадлежать вам. Если вы по-прежнему будете недостойны моего уважения, я найду способ сохранить свою свободу. Бедный мой отец недолговечен, и когда единственные узы, которые еще связывают меня с обществом, оборвутся, убежищем моим станет монастырь!»

Итак, я выполнил условия, поставленные Эдме, а она вместо благодарности готовилась их нарушить. Я ни на шаг не продвинулся вперед со дня ее беседы с аббатом.

Остаток дня я провел, запершись в своей комнате, и всю ночь напролет взволнованно шагал из угла в угол; уснуть я и не пытался. Не стану говорить, какие мысли бродили у меня в голове; скажу только, что порядочному человеку не пришлось бы их стыдиться. Едва забрезжило утро, я был у Лафайета. Он

снабдил меня документами, необходимыми для выезда из Франции. Маркиз предложил мне ждать его в Испании, где он должен был сесть на корабль, направлявшийся в Соединенные Штаты Америки. Я вернулся домой, чтобы захватить кое-что из пожитков и самые скромные деньги, необходимые для путешествия. Дяде написал я несколько слов, прося его обо мне не беспокоиться и обещая вскоре в обстоятельном письме объяснить причины моего отъезда. Я умолял его прежде времени меня не осуждать и верить, что память о его благодеяниях будет вечно жить в моем сердце.

Ушел я, когда все в доме еще спали, ибо опасался, что при малейшем изъявлении чьих-либо дружеских чувств решимость меня покинет; я сознавал, что злоупотребляю великодушной привязанностью домашних. Но не в силах пройти равнодушно мимо дверей Эдме, я прильнул губами к замочной скважине, потом закрыл лицо руками и как сумасшедший бросился вон. Всю дорогу я ехал без передышки и остановился только по ту сторону Пиренеев. Отдохнув, я написал оттуда Эдме, что она свободна, что я не стану противиться ее решению, каково бы оно ни было, но видеть собственными глазами торжество моего соперника я не в силах. В глубине души я был уверен, что Эдме любит де ла Марша, и твердо решил задушить свою страсть. Я обещал больше, нежели способен был выполнить, но уязвленная гордость внушала мне веру в себя. Я написал также дяде, что буду почитать себя недостойным его беспредельной доброты, покуда не отличусь в сражении. Ослепленный наивным тщеславием, я посвящал его в свои надежды на военную удачу и славу и, будучи уверен, что Эдме прочтет это письмо, расписывал самый безудержный свой восторг и боевой задор, будто бы ничуть не омраченные сожалениями. Я не знал, известно ли дядюшке об истинных причинах моего отъезда, но преодолеть свою гордыню и открыться ему я был не в силах. То же испытывал я и по отношению к аббату; я послал ему, впрочем, письмо с изъявлениями признательности и самых дружеских чувств. В конце своего послания я умолял дядюшку не тратиться ради меня на злополучный замок Рош-Мопра, заверяя, что никогда не решусь там поселиться, и предлагал считать выкупленное им родовое поместье собственностью его дочери. Я лишь просил его предоставить мне мою часть доходов за два-три года вперед, дабы я имел средства на военное снаряжение и преданность моя борьбе за американскую независимость не оказалась в тягость благородному Лафайету.

Поведение мое и письма заслужили похвалу. Прибыв к берегам Испании, я получил от дядюшки ободряющее, но полное мягкой укоризны письмо: он упрекал меня за внезапный отъезд.

Давая мне свое отеческое благословение и заверяя честью, что Эдме никогда не воспользуется правом на ленное владение Рош-Мопра, дядя — не в счет моих будущих доходов — посылал мне значительную сумму денег. Аббат, подобно ему, осыпал меня упреками, но́ сопровождал их еще более теплыми словами поощрения, нежели дядюшка. Нетрудно было заметить, что покой Эдме он предпочитает моему счастью и попросту радуется моему отъезду. А ведь он меня любил, и самая дружеская приязнь трогательно сквозила в письме наперекор переполнявшему его чувству удовлетворения. Аббат завидовал моей участи. Горячо сочувствуя борьбе за независимость, он утверждал, что его не раз одолевало искушение сбросить сутану и взять мушкет в руки. Но то было ребяческое самообольщение: мягкий и робкий по природе, он, даже рядясь в одежды философа, оставался священнослужителем.

Между этих двух писем, словно наспех приложенная, проскользнула тоненькая записочка без адреса. Я сразу догадался, что она исходит от единственного существа на свете, которое мне поистине дорого; но вскрыть ее у меня не хватало смелости. Трепетной рукой сжимая клочок бумаги, я шагал по песчаному берегу моря. Я боялся, что, прочитав записку, утрачу спокойствие отчаяния, обретенное мною в мужественном самоотречении. Особенно опасался я выражения признательности и восторженной радости, за которыми угадывалось бы разделенное чувство любви к другому.

«Что могла она написать? — думалось мне.— И почему она вдруг написала? Жалости ее мне не нужно, а благодарности — еще того меньше».

У меня было искушение швырнуть роковую записку в воду. Я замахнулся было, но тут же прижал ее к сердцу, да так и замер, словно внезапно, подобно приверженцам магнетизма, уверовал в ясновидение, позволяющее мысленно, сердцем читать написанное не менее успешно, нежели глазами.

Я решился наконец распечатать письмо и прочел следующее:

«Ты хорошо поступил, Бернар, но я не стану тебя благодарить: словами не выскажешь, как мне будет не хватать тебя. Ну что ж! Иди туда, куда призывают тебя чувство чести и любовь к святой истине. Мои помыслы и молитвы всегда и везде с тобой. Когда же ты выполнишь свой долг, возвращайся — ты найдешь меня не замужем и не в монастыре».

К записке было приложено сердоликовое колечко, которое Эдме, уступая моим мольбам, надела мне во время болезни.

Покидая Париж, я ей его возвратил. Я заказал маленький золотой медальон и, спрятав в него записку и кольцо, стал носить на груди как реликвию. Вскоре после того, как Лафайету, арестованному французским правительством, которое противилось его предприятию, удалось бежать из тюрьмы, он присоединился к нам. У меня было достаточно времени для приготовлений, и я отправился в плавание, полный печали, дерзаний и надежд.

Вы не ждете от меня, конечно, рассказа о войне американцев за независимость. Повествуя о моих приключениях, я опять-таки хочу обособить события моей жизни от событий исторических. Но на этот раз я не буду касаться даже моих приключений; в моих воспоминаниях они образуют особую главу, где Эдме присутствует подобно мадонне, к которой неустанно возносят моления, хотя лицезреть ее не дано. Не верится мне, чтобы для вас могла представлять хоть какой-нибудь интерес та часть моего повествования, где не появляется это ангельское существо, единственно достойное вашего внимания, прежде всего само по себе, а затем и за внимание, проявленное ко мне. Скажу вам только, что начал я с низших чинов вашингтоновской армии, получение каковых сперва меня весьма радовало, и обычным порядком, хотя и скоро, дослужился до офицерского звания. Военную премудрость я одолел быстро. Увлекся я ею от всей души, как увлекался в своей жизни всем, за что ни брался, и мое упорство восторжествовало над трудностями.

Прославленные мои начальники оказывали мне доверие. Превосходное здоровье помогло с легкостью переносить тяготы военной жизни, а прежние мои разбойные навыки пришлись весьма кстати: превратности войны оставляли меня невозмутимым, а этого-то как раз и не хватало — при всей их блистательной храбрости — другим французским юношам, прибывшим вместе со мною. Я же, к великому изумлению наших союзников, проявлял хладнокровие и стойкость, отчего окружающие частенько начинали сомневаться в моем происхождении. Их поражало, как быстро освоился я в лесах и, то проявляя осторожность, то прибегая к хитрости, умело боролся с индейцами, порой тревожившими наши части.

В трудах и походах на мою долю выпало счастье расширить свой кругозор благодаря одному достойному молодому человеку, ниспосланному мне провидением в качестве спутника и друга. Любовь к естествознанию побудила его к участию в нашем походе. Вел он себя как добрый вояка, но легко было догадаться, что политические симпатии играли в его решении лишь второстепенную роль. Не было у него никакой склонности к воинским занятиям, никакого желания выдвинуться. Гербарий и наблюдения

над миром животных занимали его много больше, нежели успех войны и торжество независимости. При случае дрался он прекрасно, и никто не мог бы обвинить его в равнодушии к нашему делу. Но накануне битвы и на другой день он, казалось, и не подозревал, что можно интересоваться чем-нибудь, кроме научной экспедиции в саванны Нового Света. Чемодан его всегда был полон, но не деньгами и всяким скарбом, а образцами естественнонаучной коллекции. И пока мы, лежа в траве, настороженно прислушивались ко всякому шороху, который мог означать приближение врага, приятель мой сосредоточенно разглядывал какое-нибудь растение или насекомое. То был чудесный юноша — чистый, как ангел, бескорыстный, как стоик, терпеливый, как ученый, и при этом жизнерадостный и сердечный. Когда нам случалось неожиданно очутиться в опасной переделке, у него не было иной заботы,— ежели судить по его восклицаниям,— кроме бесценных камешков и драгоценнейших травок, которые он возил с собою. Однако если кто-либо из нас бывал ранен, мой друг ухаживал за ним с несравненной добротой и усердием.

Однажды он увидел золотой медальон, который я носил под одеждой, и стал выпрашивать его у меня, чтобы хранить в нем какие-то мушиные лапки и стрекозиные крылышки, которые он готов был защищать до последней капли крови. Понадобилось все мое благоговение перед святынями любви, чтобы воспротивиться настояниям друга. Все, чего он мог от меня добиться, это сунуть в драгоценный медальон прелестное растеньице, которое, по его словам, он первый открыл; оно получило право убежища рядом с запиской и кольцом моей невесты лишь при условии, что будет именоваться «Edmea silvestris» [1]. Приятель мой на это согласился: он уже назвал именем Сэмюела Адамса прекрасную дикую яблоню, а именем Франклина — какую-то хлопотливую пчелку; и более всего он радовался, когда мог сочетать свои пытливые наблюдения со служением благородному делу.

Я горячо привязался к этому юноше, тем более что впервые дружил с ровесником. Очарование нашей дружбы раскрыло передо мною неведомую дотоле сторону жизни, душевные свойства и потребности мне незнакомые. Неизгладимый след оставили во мне первые впечатления детства; отсюда и любовь моя к заветам рыцарства: мне нравилось видеть в этом юноше брата по оружию и хотелось, чтобы и он меня, единственного из друзей, почитал таковым. Всей душой откликнулся он на мое предложение, что доказывало, как сильна была наша взаимная приязнь. Друг мой утверждал, что я рожден быть натуралистом, раз так легко при-

[1] «Лесная эдмея» *(лат.)*.

Мопра

способляюсь к кочевой жизни и суровым походам, однако он упрекал меня в невнимании и всерьез бранил, когда я по рассеянности наступал на какое-нибудь редкостное растение. Артур уверял, что я наделен склонностью к систематике и когда-нибудь изобрету если не естественнонаучную теорию, то *превосходную* систему классификации. Его предсказание не сбылось, но поощрение пробудило во мне вкус к науке и помешало впасть в состояние умственного застоя, порождаемого походной жизнью. Друг мой являлся для меня посланцем небес; не будь его, я, может быть, снова превратился бы если не в Мопра Душегуба, то в лучшем случае в вареннского дикаря. Знания, которые я у него черпал, возбуждали во мне жажду умственной жизни. Он расширил круг моих идей, облагородил мои инстинкты; ибо если чудесное прямодушие и привычная скромность и препятствовали ему вступать в философские споры, он был от природы наделен любовью к справедливости и непогрешимо правильно разрешал все вопросы чувства и морали. Он приобрел надо мною такую власть, какой никогда не возымел бы аббат при отношениях взаимного недоверия, возникших между нами с самого начала. Друг мой в значительной мере раскрыл передо мною окружающий мир, но ценнее всего было то, что он научил меня познавать самого себя, размышлять над своими впечатлениями. Я научился хоть немного владеть своими порывами, но от запальчивости и гордыни так никогда и не излечился. Изменить свою сущность нельзя, можно лишь направить ко благу различные особенности человеческого характера, даже его недостатки — в этом и заключается великая тайна и великая задача воспитания.

Беседы с дорогим моему сердцу Артуром навели меня на размышления. Призвав на помощь свою память, я попытался логически объяснить поведение Эдме. Мне открылись высота и благородство ее души, в особенности в тех ее поступках, которые, будучи мною дурно поняты и дурно истолкованы, более всего заставили меня страдать. Я не полюбил ее оттого больше прежнего — это было невозможно,— но стал понимать, почему, невзирая на все причиненные ею страдания, продолжаю упорно ее любить. Все шесть лет нашей разлуки священное пламя этой любви горело в моей душе, не угасая ни на мгновение. Несмотря на избыток жизненных сил, переполнявших мое существо, несмотря на соблазны напоенной чувственностью окружающей природы, дурные примеры и благоприятные условия привольной кочевой жизни, которые склоняют человека потворствовать своим слабостям, я — бог тому свидетель — сохранил свои ризы непорочными и ни разу не изведал женского поцелуя. Артур, по натуре более спокойный, не знал подобных искушений. Но, хотя он и был почти всецело

поглощен умственным трудом, он не всегда оставался столь недоступным для наслаждений. Мой друг не раз предупреждал меня против столь исключительного, противоречащего велениям природы и вредного образа жизни. Когда же я открыл ему, что великая любовь спасает меня от возможной слабости и делает падение немыслимым, он перестал противиться тому, что называл моим фанатизмом (словечко, весьма распространенное в ту пору и прилагаемое ко всему решительно), и явно проникся ко мне еще большим уважением, я сказал бы даже — своего рода почтением; он не высказывал его на словах, но проявлял в тысяче мелочей, свидетельствующих о том, как он меня ценит и как ко мне привязан.

Артур говорил однажды о том, какое могучее воздействие оказывает на людей видимая мягкость в сочетании с неколебимой волей; он ссылался для примера и на хорошее и на дурное в истории человечества, в особенности же на кротость апостолов и лицемерие священнослужителей всех религий. Тут мне пришло в голову спросить у него, смогу ли я когда-нибудь при моей горячности и заносчивости иметь хоть какое-нибудь влияние на моих ближних. Говоря о «ближних», я подразумевал, конечно, только Эдме. Артур ответил, что можно влиять на людей не только благоприобретенной мягкостью обращения, но и природной добротой.

— Сердечная теплота, пылкость и постоянство чувства — вот что требуется в семейной жизни,— сказал он.— Качества эти заставляют даже тех, кто обычно более всего страдает от наших недостатков, полюбить самые эти недостатки. Мы должны, однако, стараться перебороть себя из любви к тем, кто любит нас, но я полагаю, что сдержанность в любви или дружбе была бы глупой причудой и к тому же проявлением себялюбия, убивающего всякое чувство сначала в нас самих, а затем в любимом человеке. Я говорил вам о сознательной сдержанности, имея в виду власть над множеством людей. Вот если когда-нибудь вам придет в голову честолюбивое желание...

— Так вы думаете,— прервал я, не дослушав окончания его речи,— что такой, как я есть, невзирая на все мои недостатки, а следовательно, и заблуждения, я могу заставить женщину меня полюбить, могу сделать ее счастливой?

— Ох, эти влюбленные! — воскликнул Артур.— Не так легко выбить все это у вас из головы! Ну что ж! Если хотите, Бернар, я скажу вам, что думаю о вашей любви. Особа, которую вы любите столь пылко, и сама вас любит, если только она вообще способна любить и не совсем лишена здравого смысла.

Я заверил его, что Эдме настолько же превосходит всех женщин на свете, насколько лев превосходит белку, а кедр травинку.

Так, с помощью метафор, мне удалось убедить его в достоинствах моей любимой. Тогда он попросил меня рассказать о себе подробнее, что позволит ему судить о том, как мне следует держать себя с Эдме. Тут я открыл ему свое сердце и рассказал от начала до конца историю моей жизни. Последние лучи заходящего солнца озаряли опушку великолепного девственного леса, где мы расположились. И пока в этой первозданной глуши я созерцал деревья, привольно, во всей их мощи и первобытной прелести раскинувшие над нашими головами свои кроны, в моем представлении возникал парк Сент-Севэра с его прекрасными, величественными дубами, которых никогда не касался топор человека. Пылающий закатным огнем небосклон напомнил мне вечерние посещения хижины Пасьянса, Эдме, сидящую под сенью желтеющих лоз, а голоса резвых попугайчиков — пенье прелестных тропических птичек в комнате кузины. Я заплакал, вспоминая, как далеко от меня родина, как огромен океан, отделяющий меня от любимой, океан, поглотивший стольких странников в то мгновение, когда они уже готовы были приветствовать родные берега. Я думал также о превратностях фортуны, об опасностях войны и впервые почувствовал страх перед смертью, ибо добрый мой Артур, стиснув мне руку, заверял меня, что я любим, что в каждом проявлении суровости или недоверия Эдме он видит новое доказательство ее чувства.

— Младенец! — говорил он мне.— Разве ты не понимаешь, что, если б она не хотела выйти за тебя замуж, у нее нашлись бы сотни способов избавиться от твоих притязаний? И если б она не испытывала к тебе безграничной любви, разве стала бы она затрачивать столько труда и приносить столько жертв, чтобы очистить тебя от всяческой скверны и сделать достойным себя? Ты вот только и мечтаешь о славных подвигах странствующих рыцарей; а разве ты не видишь, что ты и сам — отважный рыцарь, приговоренный своею дамой к суровым испытаниям за то, что властно требовал от нее любви, которую должно вымаливать на коленях, и тем нарушил законы рыцарства?

И тут, подробно перечислив все мои преступления, он признал кару суровой, но справедливой. Взвесив все возможности, Артур дал превосходный совет: покориться, пока властительница моих дум не сочтет нужным отпустить мне мои прегрешения.

— Да разве не стыдно мужчине, созревшему душой и, подобно мне, закаленному в суровом горниле войны, послушно подчиняться женским причудам?

— Ничуть не стыдно,— возразил Артур,— и этой женщиной руководит вовсе не причуда. Исправить содеянное зло — дело чести; но как мало людей на это способны! Сама справедли-

вость требует восстановить права оскорбленной невинности и вернуть ей свободу. Вы же вели себя подобно Альбиону, так не удивляйтесь, что Эдме оказалась в роли Филадельфии. Она согласна сдаться лишь на условиях почетного мира, и она права.

Артур стал расспрашивать, как держалась в отношении меня Эдме те два года, что я провел в Америке. Я показал ему коротенькие письма, изредка приходившие от нее. Артур был поражен их глубоким смыслом и совершенной прямотой, какою веяло, на его взгляд, от этих строк, написанных столь возвышенным и вместе с тем по-мужски точным слогом. Эдме ничего не обещала, даже не подавала мне никаких определенных надежд, но писала, что с нетерпением ждет моего возвращения и мечтает о счастливом времени, когда все мы соберемся у семейного очага и будем коротать вечера, слушая рассказы о моих необычайных приключениях. Она не побоялась признаться, что я составляю «единственную отраду ее жизни» наравне с отцом. И все же, вопреки столь явным доказательствам ее привязанности, я был одержим ужасным подозрением. Ни в коротеньких письмах моей кузины, ни в письмах ее отца, ни в полных ласки, пространных и цветистых посланиях аббата Обера ни слова не упоминалось о событиях, какие могли и должны были совершиться в семье. Каждый сообщал только о себе и никогда ни звука о других, самое большее — меня ставили в известность о приступах подагры у дядюшки. Все трое словно сговорились скрывать от меня, чем заняты и о чем помышляют двое других.

— Объясни мне, если можешь, в чем тут дело, успокой меня,— просил я Артура.— Порой мне думается, что Эдме замужем, но решила скрыть это от меня до моего возвращения. А почему бы и нет? Разве она так меня любит, что во имя любви готова обречь себя на одиночество? Подчинит ли она свою любовь холодному рассудку и суровому долгу совести? Примирится ли с тем, что мое возвращение бесконечно оттягивается из-за войны? Без сомнения, я должен выполнить свой долг, защищать свое знамя, покуда дело, которому я служу, не победит или же не потерпит окончательного поражения; это вопрос чести. Но в глубине души Эдме мне дороже этого призрачного веления чести, и ради того, чтобы увидеть ее часом раньше, я готов предать свое имя на позор и поругание всей вселенной.

— Бурная страсть внушила вам эту мысль,— улыбаясь, возразил Артур,— но, будь у вас случай ее осуществить, вы бы ни за что так не поступили. Когда мы вступаем в единоборство с одной какой-то стороной нашей натуры, мы воображаем, будто все остальные ее свойства не существуют; но стоит какому-нибудь

внешнему толчку их пробудить, и мы убеждаемся, что в душе нашей сосуществует одновременно множество чувств. А ведь вы, Бернар, не безразличны к славе, и если бы Эдме предложила вам отречься от славы, вы заметили бы, что дорожите ею больше, нежели предполагали. Вы горячий поборник республиканских взглядов; Эдме первая вам их внушила. Что бы вы о ней подумали, да и хороша бы она была на самом деле, ежели бы сказала вам: «Превыше религии, которую я вам проповедовала, божеств, которых я для вас открыла, существует нечто еще более великое и святое: это моя прихоть». Бернар, любовь ваша требовательна и полна противоречий. Впрочем, непоследовательность присуща всякой любви. Мужчина воображает, что у женщины нет своего собственного «я», что она неминуемо должна раствориться в своем чувстве к нему, и, однако, большую любовь внушает ему лишь та, которая как бы возвышается над женской слабостью и косностью. В этой стране, как видите, каждый колонист вправе насладиться прелестями своей рабыни; но он не полюбит ее, как бы она ни была прекрасна. Если же случится, что он почувствует к ней привязанность, первейшей его заботой будет отпустить ее на волю, иначе она для него не человек. Ибо спутнице жизни должно быть присуще все, что отличает существа возвышенные: дух независимости, понятие добродетели, преданность долгу; и потому, чем больше твердости и терпения обнаруживает в отношении вас возлюбленная, тем прочнее ваша привязанность, как бы вы ни страдали. Умейте же различать любовь и желание: желание стремится разрушить преграды, которые его манят, и умирает на обломках побежденной добродетели; любовь стремится жить и потому хочет, чтобы предмет обожания подольше оставался под защитой той алмазной стены, ценность и красоту которой составляет ее блистательная твердость.

Так, разъясняя мне, какие таинственные пружины движут моей страстью, Артур проливал свет своего разумения в грозовой сумрак моей души. Иной раз он добавлял:

— Если бы небо даровало мне жену, о какой я подчас мечтаю, любовь моя, думается мне, была бы не только страстной, но благородной и щедрой; впрочем, наука отнимает слишком много времени: мне было недосуг искать свой идеал, да если б он и встретился на моем пути, я не сумел бы ни распознать его, ни изучить. Вам же, Бернар, посчастливилось, но вы не обогатите естествознание: не может один человек обладать всем.

Артур решительно отвергал мои опасения относительно замужества Эдме, он считал, что они навеяны болезненной мнительностью. В молчании Эдме он видел, напротив того, восхитель-

ную щепетильность, которая руководит ее поведением и чувствами.

— Тщеславная женщина на ее месте позаботилась бы о том, чтобы довести до вашего сведения обо всех жертвах, какие вам приносит, перечислила бы титулы и достоинства всех претендентов, которых ради вас отвергает; но у Эдме слишком возвышенная душа, слишком глубокий ум, чтобы вдаваться в эти никчемные подробности. Она полагает, что соглашение ваше нерушимо, и не хочет уподобляться тем слабохарактерным особам, которые постоянно твердят о своих победах и ставят себе в заслугу то, что для сильной натуры не составляет труда. Верность родилась с нею — Эдме и не представляет себе, что ее можно заподозрить в измене.

Беседы с Артуром проливали целительный бальзам на мои раны. Когда же Франция открыто присоединилась к борьбе за американскую независимость, я узнал от аббата новость, которая в одном отношении меня окончательно успокоила. Он писал, что в Новом Свете я, возможно, встречу «старого друга»: граф де ла Марш получил полк и отбывает в Соединенные Штаты.

«Между нами говоря,— добавлял аббат,— ему необходимо упрочить свое положение. При всей своей скромности и благоразумии этот молодой человек имел слабость поддаться сословному предрассудку. Он стыдился своей бедности и скрывал ее, как скрывают проказу; он ухитрился разориться вконец, не показывая и вида, что ему грозит разорение. В свете приписывают его разрыв с Эдме этим превратностям фортуны и даже поговаривают, что он был увлечен не столько ею, сколько ее приданым. Я никогда не решусь подозревать господина де ла Марша в низких намерениях; думаю все же, что причиной его терзаний были ложные понятия о ценности благ мирских. Эдме желала бы, если случится вам его встретить, чтобы вы оказали ему такое же внимание и проявили такое же участие, какое постоянно проявляла к нему она. Ваша необыкновенная кузина и на сей раз, как всегда и во всем, исполнена чрезвычайной доброты и достоинства».

XV

Накануне отъезда де ла Марша, когда письмо аббата было уже отослано, в Варенне произошло небольшое событие, которое явилось для меня в Америке приятной и забавной неожиданностью; впрочем, как вы убедитесь позже, оно удивительным образом вплелось в цепь важнейших событий моей жизни.

Будучи довольно серьезно ранен во время злосчастного сражения под Саванной, я все же оставался в Виргинии, где под начальством генерала Грина усердно собирал остатки разбитой армии Гейтса. Он был, на мой взгляд, куда больше героем, нежели его счастливый соперник Вашингтон. Мы только недавно узнали о высадке эскадры господина де Терне, и уныние, охватившее нас в пору превратностей и невзгод, стало рассеиваться, ибо мы надеялись на подмогу более существенную, нежели та, что прибыла в действительности. Пользуясь короткой передышкой, мы с Артуром бродили по лесу, неподалеку от лагеря, радуясь возможности наконец-то потолковать о чем-либо другом, а не только о Корнуоллисе или об изменнике Арнольдсе. Удрученные скорбным зрелищем бедствий, постигших американскую нацию, мы долгое время опасались, что несправедливость и корысть восторжествуют над благом народов; а сейчас опасения наши сменились радостной безмятежностью. Когда у меня выдавался час досуга, я забывал о суровых трудах и походах, унесясь мыслью, словно в оазис, в ставший мне родным Сент-Севэр. Я завел обыкновение рассказывать в этот час снисходительно внимавшему Артуру комические истории, рисующие мои первые шаги на жизненном поприще, после того как я покинул Рош-Мопра. Я описывал ему то сценку моего первого одевания в замке Сент-Севэр, то презрение и ужас, вызываемые моей особой у мадемуазель Леблан, то наставления, какими она досаждала своему приятелю Сен-Жану, утверждая, что он должен держаться от меня на почтительном расстоянии. Уж не знаю почему, но вместе со всеми этими забавными лицами пришел мне на память образ величавого идальго Маркаса, и я принялся точно и тщательно живописать одеяние, повадки и речь этого загадочного персонажа. В действительности же Маркас отнюдь не был так смешон, как это представлялось моему воображению; но в двадцать лет мужчина всего лишь мальчишка, особенно если он на войне, да еще только что избежал грозных опасностей, да еще преисполнен горделивой беззаботности оттого, что ему удалось отстоять свою собственную жизнь. Слушая меня, Артур смеялся от всего сердца, заверяя, что отдал бы целиком свою коллекцию натуралиста за одного столь любопытного зверя, как изображенный мною идальго. Вдохновляемый готовностью Артура разделить мои ребячества, я не смог бы, пожалуй, удержаться от некоторых преувеличений в обрисовке моего героя; но тут на повороте дороги перед нами внезапно возник высокий и тощий — кожа да кости — человек в убогой одежде; он степенно и задумчиво шел навстречу нам, держа в руке обнаженную длинную шпагу; ее острие, миролюбиво опущенное книзу, почти касалось земли. Это существо так

походило на только что нарисованный мною портрет, что, пораженный совпадением, Артур залился безудержным смехом. Он отступил в сторону, давая дорогу двойнику Маркаса, затем повалился на траву, захлебываясь от хохота.

Мне же было совсем не до смеха, ибо все, что кажется нам сверхъестественным, пугает даже самого искушенного в опасностях человека. Воинственным шагом, с немигающим взором и шпагой наготове приближались мы — я и он — друг к другу; нет, то была не тень Маркаса, а он сам, собственной персоной, почтенный идальго-крысолов.

Я остолбенел от изумления, когда увидел, что призрак медленно подносит руку к треуголке и приподымает ее, сохраняя величавую неподвижность стана. Потрясенный, я отшатнулся; Артур же решил, что я дурачусь, и развеселился еще пуще. Охотник за ласочками нимало не был этим смущен; со свойственной ему спокойной рассудительностью он, возможно, полагал, что именно так принято встречать людей на противоположном берегу океана.

Веселость Артура уже передавалась и нам, но тут Маркас с несравненной флегматичностью произнес:

— Давненько, господин Бернар, имею честь вас разыскивать.

— И правда, давненько не виделись, любезный Маркас,— ответил я, весело пожимая руку старому приятелю.— Но скажи, какая неведомая сила помогла мне, на мое счастье, заманить тебя сюда? Ты почитался когда-то колдуном; чего доброго, и я стал волшебником, сам того не подозревая.

— Все расскажу, дорогой генерал,— ответил Маркас, которого, по-видимому, ввел в заблуждение мой капитанский мундир.— Дозвольте пойти с вами, и я вам столько расскажу, столько расскажу!..

Услышав, что Маркас замирающим голосом, как эхо, повторяет свои последние слова (у него была такая привычка, и я всего лишь за минуту до того передразнивал его перед Артуром), друг мой снова расхохотался. Маркас обернулся и, пристально на него поглядев, с невозмутимой важностью отвесил ему поклон. Артур встал и, сразу обретя всю свою серьезность, с комическим достоинством поклонился до земли Маркасу.

В лагерь мы вернулись втроем. По дороге Маркас рассказал мне о своих приключениях; говорил он, как всегда, отрывисто, вынуждая слушателя задавать множество утомительных вопросов, что не только не упрощало, но до чрезвычайности усложняло беседу. Артур потешался от всей души; но вряд ли подробный пересказ этого нескончаемого диалога послужит вам таким же развлечением, поэтому я ограничусь сообщением о том, как Мар-

кас отважился покинуть родину и друзей, чтобы отдать свою длинную шпагу делу борьбы за американскую независимость.

В ту пору, когда де ла Марш отправлялся в Америку, Маркас подрядился на недельку в его беррийский замок, чтобы поохотиться за крысами, шныряя по чердачным балкам и перекладинам, как делал это каждый год. Весь дом был взбудоражен отъездом господина де ла Марша; из уст в уста передавали заманчивые рассказы о далеком крае, исполненном опасностей и чудес, откуда, по словам деревенских всезнаек, кто ни вернется — так уж непременно с несметным богатством: золота да серебра на десяток кораблей достанет. Под ледяной внешностью дона Маркаса, которого можно было уподобить гиперборейским вулканам, таились пылкое воображение, страстная любовь ко всему необычайному. Привыкнув сохранять равновесие на стропилах чердака, в сфере явно более высокой, чем та, где вращаются другие люди, каждодневно поражая присутствующих отвагой и спокойствием, а также чудесами акробатики, дон Маркас был неравнодушен к славе; описания Эльдорадо распалили его воображение, и мечта побывать там становилась тем упорней, что, по своей привычке, он никому в ней не открылся. Поэтому де ла Марш был весьма удивлен, когда накануне его отъезда к нему пришел Маркас и предложил сопровождать его в Америку в качестве камердинера. Тщетно господин де ла Марш возражал, что идальго слишком стар, что ему нелегко будет расстаться со своим положением и переносить превратности кочевой жизни; Маркас твердо стоял на своем и наконец убедил его. Господин де ла Марш сделал столь удивительный выбор по многим соображениям. Он предполагал ранее взять с собой слугу еще более старого, нежели охотник за ласочками, но тот с большой неохотой согласился за ним следовать. Старик этот пользовался его полным доверием, а господин де ла Марш редко кому оказывал эту честь, ибо только по видимости жил на широкую ногу, как вельможа, в действительности же требовал, чтобы слуги были не только преданы ему, но, кроме того, бережливы и расчетливы.

Господин де ла Марш знал, что Маркас — человек щепетильно честный и необычайно бескорыстный, ибо не только телом, но и душой Маркас был, пожалуй, похож на Дон-Кихота. Однажды он нашел среди развалин что-то вроде клада, точнее говоря — глиняный горшок, набитый золотыми и серебряными монетами старой чеканки на сумму около десяти тысяч франков; Маркас не только вручил находку владельцу этих развалин, хотя с легкостью мог ее утаить, но и отказался от вознаграждения, величественно заявив на своем немногословном наречии: *«Честность умирает, когда продается»*.

Привычка довольствоваться малым, исполнительность Маркаса и умение держать язык за зубами сулили господину де ла Маршу возможность обрести в нем неоценимого слугу, пожелай только идальго поставить эти достоинства на службу кому бы то ни было. Приходилось лишь опасаться, что он не захочет примириться с потерей своей независимости. Но де ла Марш полагал, что, прежде чем эскадра господина де Терне уйдет в плавание, у него будет достаточно времени испытать своего нового оруженосца.

Маркасу было немного жаль расставаться с друзьями и родимым краем, ибо, если у него и были, как он говорил, намекая на свою бродячую жизнь, «друзья повсюду, повсюду родина», он отдавал весьма явное предпочтение Варенне; а из всех своих замков (он имел обыкновение называть «своим» каждое жилище, где ему предоставляли кров) только в замок Сен-Севэр приходил он с удовольствием и только оттуда уходил с сожалением. Как-то раз случилось Маркасу оступиться на кровле и упасть с довольно большой высоты. Эдме, которая в ту пору была еще девочкой, горько плакала и покорила его сердце, окружив Маркаса своими простодушными заботами. Сент-Севэр приобрел еще бóльшую привлекательность в глазах идальго, когда на окраине парка поселился Пасьянс, который был для Маркаса его Орестом. Маркас не всегда понимал Пасьянса, но Пасьянс, единственный из людей, хорошо понимал Маркаса и знал, что в этой шутовской оболочке заключен дух рыцарской доблести и отваги. Преклоняясь перед умственным превосходством отшельника, наш крысолов почтительно замирал, когда поэтическое вдохновение, охватывавшее Пасьянса, делало его речи недоступными скромному пониманию друга. Тогда Маркас, с трогательной кротостью воздерживаясь от неуместных вопросов и замечаний, опускал глаза и, время от времени кивая головой, как бы в знак сочувствия и одобрения, доставлял своему приятелю невинное удовольствие хотя бы тем, что слушал его, не прекословя.

Маркас оказался все же настолько понятлив, что и сам воспринял республиканские идеи и заразился романтическими чаяниями всеобщего равенства, возрождающего Золотой век, какими одержим был добрейший Пасьянс. Услышав от своего друга, что насаждать эти взгляды следует с осторожностью (заповедь, которую, впрочем, сам Пасьянс не соблюдал), идальго, к тому же повинуясь склонности и привычке, никому не говорил о своих воззрениях. Однако он прибегал к пропаганде более действенной, разнося из замка в замок, из хижины в хижину, из дома лавочника во двор крестьянина дешевые книжонки, как, например, «Наука простака Ричарда» и другие брошюры о народном патрио-

тизме. Если верить иезуитам, эти издания распространяло безвозмездно среди простонародья некое тайное общество философов-вольтерьянцев, вовлеченных в дьявольские козни франкмасонов.

Итак, внезапное решение Маркаса объяснялось столько же его революционным энтузиазмом, сколько и любовью к приключениям. Давно уже хорьки и куницы казались жаждавшему подвигов идальго противниками слишком ничтожными, а гумно — полем деятельности слишком ограниченным. Обходя добропорядочные дома, он ежедневно прочитывал где-нибудь в буфетной вчерашнюю газету, и ему мерещилось, что война за американскую независимость, объявленная провозвестницей возрождения справедливости и свободы во всем мире, приведет к революции во Франции. Правда, влияние идей, которым предстояло пересечь моря и завладеть умами на нашем континенте, Маркас представлял себе несколько упрощенно. В мечтах рисовались ему солдаты победоносной американской армии, прибывающие на бесчисленных судах, дабы вручить французскому народу оливковую ветвь и рог изобилия. В этих мечтах он видел себя командиром героического легиона: воин, законодатель, точная копия Вашингтона, он возвращался в Варенну, пресекал злоупотребления, отбирал крупные поместья и наделял каждого труженика надлежащей долей благ; но, действуя столь решительно и сурово, он покровительствовал добрым и честным дворянам, давая им возможность вести достойное существование. Не приходится говорить, что в своих представлениях Маркас вовсе не учитывал прискорбной неизбежности глубоких политических кризисов и что ни единая капля крови не запятнала романтическую картину, развернутую Пасьянсом перед его взором.

Как далеко было от этих величавых упований до роли камердинера господина де ла Марша! Но иного пути для достижения цели Маркас не видел. Экспедиционный корпус, отправляемый в Америку, давно уже был сформирован, а получить место на торговом судне, следующем за эскадрой, Маркас мог лишь в качестве участника похода. Идальго обо всем расспросил аббата, не посвящая его в свои планы. Отъезд Маркаса поразил своей неожиданностью всех обитателей Варенны.

Едва идальго ступил на американский берег, он ощутил непреодолимую потребность, захватив свою огромную шляпу и огромную шпагу, как у себя в Варенне, в одиночку пуститься прямиком через лес; но совесть запрещала ему покинуть хозяина, с которым он связал себя обязательством. Он рассчитывал на удачу, и удача ему сопутствовала. Но война оказалась куда более суровой, более губительной, чем можно было ожидать, и де ла Марш

опасался, хотя и понапрасну, как бы слабое здоровье тощего оруженосца не стало ему помехой. Угадав желание Маркаса освободиться от принятых на себя обязательств, де ла Марш предложил снабдить его деньгами и рекомендательными письмами, дабы он мог вступить добровольцем в американскую армию. Зная, что де ла Марш далеко не богат, Маркас от денег отказался, рекомендации же взял и совсем налегке, проворней самой резвой из ласочек, когда-либо попадавших на острие его шпаги, отправился в путь.

Идальго намерен был перебраться в Филадельфию, но, узнав благодаря случайности, о которой незачем здесь распространяться, что я на юге, и рассчитывая не без основания найти у меня совет и поддержку, он добрел сюда, скитаясь в одиночестве по незнакомой местности, почти пустынной, где на каждом шагу подстерегает опасность. Пострадала лишь его одежда: желтое лицо Маркаса не стало более желтым, а новый поворот судьбы был для идальго не более удивительным, чем переход от Сент-Севэра до башни Газо.

Необычным показалось мне только одно: Маркас то и дело оглядывался, словно ему хотелось кого-то окликнуть, но тут же с улыбкой вздыхал. Не удержавшись, я спросил о причине его беспокойства.

— Эх, привычка — вторая натура! Бедный пес! Славный пес! Только скажешь: «Сюда, Барсук! Барсук, сюда!»

— Понимаю,— заключил я.— Барсук издох, а вы не можете свыкнуться с мыслью, что он уже никогда не будет повсюду следовать за вами.

— Издох? — отпрянув, в ужасе воскликнул Маркас.— Слава богу, нет! Пасьянс — друг, большой друг! Барсук доволен, но грустит, его хозяин — тоже, хозяин одинок!

— Ну, если Барсук попал к Пасьянсу, то он счастливчик,— заметил Артур.— Пасьянс ведь ни в чем не нуждается и к вам привязан, значит, и вашего пса будет холить. Вместе с достойным другом вы увидите, конечно, и своего верного пса.

Маркас вскинул глаза на человека, который, по-видимому, был хорошо знаком с обстоятельствами его жизни; но, убедившись, что никогда этого человека не встречал, решил поступить, как поступал обычно, когда что-либо было ему непонятно: приподнял шляпу и отвесил почтительный поклон.

Я немедля дал Маркасу рекомендацию; он был зачислен в полк, где служил под моим началом, и спустя короткое время его произвели в сержанты. Достойный друг проделал со мною всю кампанию и проявил должную отвагу, а когда в 1782 году я перешел под французские знамена и вступил в армию Рошамбо,

Маркас, желая до конца разделить мою участь, последовал за мною. Первое время он скорее забавлял меня, нежели был мне товарищем. Но вскоре благородство поступков и спокойная неустрашимость стяжали Маркасу всеобщее уважение; отныне я мог гордиться моим подопечным. Артур также весьма с ним подружился, и в свободные от службы часы Маркас сопутствовал нам в наших прогулках. Он носил ящик для коллекции и пронзал своею шпагой змей.

Когда же я пытался навести его на разговор о кузине, он умолкал. То ли он не понимал, насколько важно для меня знать во всех подробностях, как живет Эдме, в особенности сейчас, когда я был вдали от нее, то ли он придерживался на этот счет одного из тех нерушимых правил, которые диктовала ему совесть, но мне никогда не удавалось добиться от него ясного ответа и разрешить мучительные сомнения. Правда, Маркас вначале сказал, что ни о каком замужестве Эдме нет и речи; но как ни был я привычен к его туманной манере выражаться, мне показалось, будто он смущен, словно человек, обязавшийся хранить тайну. Оберегая свое достоинство и опасаясь выдать свои чаяния, я больше не настаивал, и мучительный вопрос, которого я боялся коснуться, хотя, помимо своей воли, непрестанно к нему возвращался, так и остался без ответа. Пока со мною был Артур, я сохранял рассудок и толковал письма Эдме в самом благоприятном для себя смысле. Но когда, к моему великому горю, мне пришлось расстаться с Артуром, мучения мои возобновились; пребывание в Америке становилось для меня все более тягостным.

Мы расстались с моим другом, когда я покинул американскую армию, чтобы воевать под командой французского генерала. Артур был американцем и, кроме того, только и ждал окончания войны, чтобы выйти в отставку и обосноваться в Бостоне при докторе Купере, который любил его, как сына, и предполагал пристроить его в библиотеке Филадельфийского общества в качестве главного библиотекаря. В награду за свои труды Артур большего и не желал.

События тех лет принадлежат истории. С чувством особой радости встретил я заключение мира, возвестившее независимость Соединенных Штатов Америки. Тоска охватила меня, страсть заполнила мое сердце, не позволяя упиваться восторгами воинской славы. Перед отъездом я сердечно обнял Артура и отплыл вместе с моим славным Маркасом, обуреваемый скорбью расставания с единственным другом и радостью предстоящей встречи с единственной возлюбленной. В этом плавании нашу эскадру сильно потрепало, и я не раз терял надежду когда-либо склонить колени перед Эдме под сенью огромных дубов Сент-Севэра. Наконец,

претерпев последнюю бурю уже у берегов Франции, я ступил на песчаные отмели Бретани, упал в объятия верного сержанта, проявившего в наших невзгодах больше, чем я, если не физической, то, во всяком случае, нравственной стойкости, и слезы наши смешались.

XVI

Мы выехали из Бреста, не предупредив о нашем возвращении.

Неподалеку от Варенны мы отправили почтовую карету окольным путем, а сами пошли напрямик через лес. Когда я завидел деревья парка, поднявшие величавые кроны над подлеском, подобно торжественным фигурам друидов, возвышающимся над простертой ниц толпой, сердце мое забилось так сильно, что я вынужден был остановиться.

— Это еще что? — сказал, обернувшись, Маркас и сделал строгое лицо, словно укоряя меня за слабость.

Но через секунду, застигнутый врасплох, он и сам разволновался: послышалось чье-то жалобное повизгивание, что-то пушистое терлось о его ноги; Маркас вздрогнул и громко вскрикнул, узнав Барсука. Верный пес издалека почуял хозяина; он примчался стремглав, как в былые дни, и кубарем подкатился Маркасу под ноги. Пока тот нежно его гладил, Барсук весь съежился и замер, мне показалось даже, что пес кончается, но он внезапно вскочил и с быстротою молнии понесся назад к хижине Пасьянса, словно его мозг, совсем как человечий, осенила какая-то мысль.

— Так, так, славный пес! Предупреди моего дружка! — воскликнул Маркас.— Ты верный друг! Жаль — не человек!

Маркас обернулся ко мне; по щекам бесстрастного идальго катились две крупные слезы.

Мы поспешили к хижине. Там произошли значительные перемены. За живой изгородью, у подножия скалистых глыб, раскинулся красивый деревенский садик; к стоявшему в глубине домику вела уже не каменистая тропинка, как прежде, но прекрасная аллея, по обе стороны которой, словно армия в походном порядке, расположились ровными шеренгами грядки с великолепными овощами. Авангардом служил батальон капусты; морковь и салат составляли основную колонну; скромный щавель вдоль изгороди замыкал шествие. Красивые крепкие яблони, раскинувшие над овощами свои зеленые зонтики, пирамидальные и веерообразные грушевые деревья, бордюры из тмина и шалфея, которые сталались у ног подсолнечников и левкоев,— все это изобличало Пась-

янса в неожиданном пристрастии к идеям общественного порядка и роскоши.

Перемена была столь ощутимой, что меня охватило сомнение, живет ли еще Пасьянс в этой хижине. Беспокойство мое возросло, а подозрения сменились почти уверенностью при виде двух деревенских парней, подстригавших шпалеры. Плавание наше длилось более четырех месяцев, и об отшельнике мы ничего не слыхали уже с полгода. Но Маркас не испытывал никаких опасений. Барсук дал ему понять, что Пасьянс жив, а свежие следы собачьих лап на песке аллеи указывали, куда побежал пес. И все же я так боялся омрачить радость этого дня, что не решился задать вопрос садовникам. Я молча последовал за идальго, растроганный взор которого блуждал по новому Эдему, тогда как скупые уста твердили одно-единственное слово: «Перемена».

Я не в силах был сдержать нетерпение: коротенькая аллея показалась мне нескончаемой, и я пустился бегом, а сердце от волнения так и колотилось в груди.

«Может быть, и Эдме здесь!» — думалось мне.

Но ее там не было; послышался только голос отшельника:

— Эге! Это что ж такое? Взбесился бедный пес, что ли? Лежать, Барсук! Своего хозяина ты бы так не стал тормошить. Вот к чему приводит баловство!

— Барсук тут ни при чем, уважаемый Пасьянс! А вы неужто стали так туги на ухо, что прихода друзей не слышите? — сказал я, входя в комнату.

Стопка серебряных монет, которые пересчитывал в эту минуту Пасьянс, рассыпалась по столу; отшельник с былой сердечностью пошел мне навстречу. Я обнял его, радость моя растрогала Пасьянса, удивленного моим неожиданным появлением; он оглядел меня с головы до ног и был восхищен происшедшей во мне переменой; но тут на пороге появился Маркас.

Тогда Пасьянс, воздев к небесам могучую длань, торжественно изрек слова Писания:

— Ныне отпущаеши раба твоего, ибо видели очи мои спасение твое.

Идальго молчал; он только приподнял, как обычно, шляпу, затем опустился на стул и, побледнев, прикрыл глаза. Пес прыгнул к нему на колени и, пытаясь выразить свою нежность, затявкал было, но тут же закашлялся и расчихался (как вы знаете со слов Маркаса, он был «немой от рожденья»). Старый пес дрожал от радости; он потянулся острой мордочкой к длинному носу хозяина, но хозяин не остановил его обычным окриком: «Лежать, Барсук!»

Маркас был без чувств.

Любящая его душа, которой не более, чем Барсуку, свойственно было изливаться в словах, изнемогла под бременем счастья. Пасьянс поспешил раздобыть кувшин самого старого и лучшего местного вина; несколько глотков крепкого напитка оживили Маркаса. Идальго оправдывал свою слабость усталостью и зноем, другого объяснения он не пожелал или не смог найти. Бывают люди, способные воспламеняться всем, что есть прекрасного и возвышенного в области нравственной, но они так и сгорают, не найдя способа и даже не испытывая потребности открыть свой душевный мир перед другими.

Когда первые порывы радости улеглись, Пасьянс, настолько же склонный к излияниям, насколько друг его был молчалив, сказал мне:

— Эге! Я вижу, капитан, вам неохота тут засиживаться. Так поспешим туда, куда вас так влечет. А уж как там удивятся да как обрадуются! Право слово!

Мы углубились в парк, и по дороге Пасьянс объяснил нам причину всех этих перемен в его жизни и обиходе.

— Как видите, я-то сам не изменился: та же стать, те же повадки; а если я и попотчевал вас винцом, так не оттого, что перестал быть водохлебом. Есть у меня деньги, есть земля и работники. Верно! Ну и что ж! Не по моей воле так все это получилось. Сами посудите. Года три назад барышня наша, Эдме, пожаловалась мне, что, помогая бедным, частенько бывает в затруднении, опасаясь ошибиться. Аббат столь же неискушен в этих делах, как она. Вот их и водят постоянно за нос, выманивая деньги на мотовство, а настоящие труженики из гордости скрывают свою нужду. Эдме же боится лишними расспросами обидеть людей. Обратится к ней какой-нибудь прохвост, она и думает: лучше уж быть обманутой, только не погрешить против заповеди милосердия. Вот таким-то манером, бывало, денег она тратит много, а толку — чуть. Тут я ей и говорю: «Не деньги нужны бедняку, несчастлив он не оттого, что не может приодеться, в воскресный день заглянуть в кабачок, а в церкви во время обедни щегольнуть белоснежным чулком с красной подвязкой над коленкой; несчастлив он не оттого, что не доводится ему говорить: «Моя кобыла, моя корова, мой виноградник, мой амбар» — и все такое прочее. Несчастливы бедняки оттого, что *сиры и наги*, в стужу и зной негде им укрыть свое бренное тело, оттого, что *алчут и жаждут*, что немощную плоть свою не могут уберечь от недуга. Нельзя, говорю я Эдме, с моих слов судить о выносливости и здоровье крестьянина, надо самой порасспросить людей о болезнях да нехватках по хозяйству. Крестьянин ведь не какой-нибудь философ: он тщеславен, хвастлив; если малость заработает, рад пустить пыль в глаза; ума у

него не хватает поступиться даже самыми пустячными радостями и хоть что-нибудь да скопить про черный день. Деньги у него не держатся. Скажет он вам: «У меня долги», и скажет правду, да только неправда, что полученные от вас деньги пойдут на уплату долгов. О завтрашнем дне он и не помышляет; проценты будет платить, какие только ни вздумают с него запросить, а на ваши денежки приобретет либо конопляное поле, либо домашнюю утварь соседям на удивление и на зависть. А пока что долги из года в год растут, а там, глядишь, приходится продать и конопляник и утварь, ведь заимодавец, такой же, как он, крестьянин, требует вернуть долг или уплатить такие проценты, что хоть последнюю рубашку с себя снимай. Все вылетает в трубу, деньги съедают деньги, проценты съедают доход, а тут старость да немощи. Дети бросили тебя, ибо ты дурно воспитал их и они одержимы теми же страстями и той же суетностью, что и ты. И приходится взять суму да идти побираться, вымаливать у чужого порога кусок хлеба: без хлеба не проживешь, а ежели вздумаешь, подобно этому выродку-колдуну Пасьянсу, лесными кореньями пробавляться, так с непривычки, чего доброго, помрешь. Да к тому же Пасьянса всякий презирает и ненавидит за то, что он не пошел с сумой. А ведь такой попрошайка, пожалуй, счастливей иного батрака: не ведает он ни благородной гордости, ни суетной гордыни — ему все нипочем. Народ у нас добрый, *побирушку* никто без крова и пищи не оставит, еще и в суму напихают краюшек столько, что спину ломит,— впору хоть кур и поросят в дому откармливать; он и приспособит какого-нибудь малыша или старуху родственницу за животиной ходить. А сам дня два-три на неделе дома бездельничает, пересчитывая монеты по два су, что успел насобирать. Скудное это подаяние служит ему частенько для баловства. А все от праздности! Иной крестьянин редко когда табаком побалуется, а такой побирушка без табака жить не может, выклянчит непременно — он до табака жаднее, чем до хлеба. Стало быть, нищего жалеть нечего — не жальче он батрака, а вдобавок еще бездельник и гулякa, а бывает к тому же злобен и жесток.

Я и говорю Эдме: «Надо бы вот что,— по словам аббата, и философы ваши такого держались мнения,— надо бы людям, что, подобно вам, благотворительностью занимаются, соображаться не с прихотью просителя, но с подлинными его нуждами».

А она мне возражает, что где ей, мол, о нуждах бедняков справляться: пришлось бы им все время отдавать и господина Юбера совсем забросить, а он день ото дня дряхлеет и без дочери ни на шаг: и почитать сам не может, и соображения никакого у него нету. Аббат же с такою охотой просвещается сам, погружаясь в ученые труды, что свободного времени у него не остается.

«Вот к чему приводит вся эта наука о добродетели,— сказал я Эдме,— о добродетели-то как раз и забывают».

«Твоя правда,— ответила она,— но что уж тут поделаешь?»

Я обещался поразмыслить и вот что надумал. Чем прогуливаться, как обычно, по лесу, я стал ежедневно в деревню наведываться. Нелегко мне это давалось: любил я одиночество, давно уж — и счет потерял годам — избегаю людей, но долг есть долг. Подойду, бывало, к крестьянскому дому; сперва у изгороди потолкую, а там и в хижину войду; побеседую о том о сем, да все, что нужно, и разузнаю. Встречали меня поначалу, словно в засуху бездомного пса. До чего горько было мне наталкиваться на презрение и ненависть и до чего трудно скрывать эту горечь! Жить среди людей я не хотел, но любил их. Знал я, что страдальцев среди них больше, нежели злодеев; и всю жизнь скорбел их скорбями, негодовал на тех, кто был виновником их несчастий; когда же впервые нашел я возможность кой-кому помочь, люди, едва заприметив меня, иной раз захлопывали передо мною двери, а ребятишки — славные ребятишки, до чего же я их люблю! — боясь дурного глаза, страшась лихоманки, прятались в канаве. Но все знали, что Эдме ко мне благоволит, вот никто и не осмеливался открыто оттолкнуть меня, так в конце концов и удавалось мне выяснить то, что нужно. Эдме помогала людям всегда, стоило ей только услышать, что они в беде. Там, глядишь, крыша прохудилась и дождем заливает постель старухи или колыбель младенца, а дочка в ситцевом фартуке по четыре ливра за локоть щеголяет. Мы поможем крышу и стены починить, доставим лес и все, что нужно, оплатим рабочих; но ни сантима больше на нарядные фартуки! А то бывает так: старуха нищенкой стала, потому что послушалась своего материнского сердца и отдала все свое добро детям, а дети не то выставили ее за порог, не то обошлись с нею худо, так что жить в доме стало ей невтерпеж и она предпочла бродяжить да просить подаяния. Мы берем старуху под защиту, грозим пожаловаться в суд, взяв на себя все издержки, и добиваемся для несчастной какого-то обеспечения; если же его недостаточно, еще и своих денег малость добавим. А то уговорили мы нескольких бобылей поселиться на хлебах у такого же одинокого старика и платить ему в складчину за стол и жилье. Помогли хозяину небольшой суммой денег, а он окажись, на счастье, человек предприимчивый и толковый, дело у него пошло так бойко, что его родные дети пожелали заключить с ним мировую и стали ему помогать. Много добра сделали мы людям, обо всем не расскажешь, да к тому же вы сами все увидите. Я говорю «мы», ибо, как ни хотел я остаться в стороне, меня втянули в эти дела. Приходилось вникать и в то и в другое, а под конец во все решительно.

Одним словом, я и справки навожу, я и работу направляю, я и переговоры веду. Мадемуазель Эдме выдала мне на руки деньги, чтобы я мог ими сам без спроса распоряжаться; правда, я никогда себе этого не позволяю, да и она никогда мне ни в чем не прекословит. А все же как-никак много у меня трудов и хлопот! С той поры, как узнали, что я вроде бы *деревенский Тюрго*, стали все передо мною на брюхе ползать; тяжело мне это видеть. Итак, есть у меня друзья, которые мне ни к чему, есть и враги, без которых я бы охотно обошелся. Иной ловкач прикидывается бедняком и злится, что не удается ему меня одурачить; ведь такие есть бессовестные негодники, что всегда другим завидуют: сколько для них ни старайся, им все мало. А ведь суеты, хлопот не оберешься! Где уж тут прогуливаться по ночам да отсыпаться днем! Я больше не колдун из башни Газо, да и не отшельник! Я теперь *«господин* Пасьянс»! Но верьте мне, от души сожалею, что не рожден себялюбцем: сбросил бы я тогда с себя этот хомут и вернулся к моей дикой, привольной жизни.

Выслушав этот рассказ, мы похвалили Пасьянса, но в его самоотречении позволили себе усомниться: великолепный огород и сад свидетельствовали о том, что отшельник примирился с «излишествами роскоши», за которые всю свою жизнь горестно осуждал других.

— Вы об этом? — спросил он, указывая на свою усадьбу.— Я тут ни при чем: все тут сделано не по моей воле, но такие это славные люди! Я бы только огорчил их своим отказом. Вот я и принужден все терпеть. Да будет вам известно, что хоть добро и породило неблагодарных, но многие счастливцы были мне признательны. Нашлись среди них два-три семейства, что на все готовы были, только бы мне угодить! Да я от всего отказывался. Вот они и порешили застигнуть меня врасплох. Как-то раз отлучился я на несколько дней в Бертену́: доверили мне одно важное дело. Ведь меня теперь великим умником почитают — так уж повелось у людей из одной крайности в другую кидаться. Когда же я из города вернулся, огород уже был разбит, деревья посажены, участок огорожен. Напрасно я сердился, говорил, что стар, что трудиться, лишь бы есть плоды из собственного сада, мне не под силу, да и не стоит. С моими возражениями никто не посчитался: славные эти люди довели свою работу до конца, мне же объявили, что трудиться — не моя забота: ухаживать за огородом и садом они будут сами. И верно, вот уже два года, и зимой и летом, то один, то другой приходит и работает сколько нужно, чтобы все было в полном порядке. Впрочем, я хоть и живу, как привык, усердие их мне на пользу: зимой я могу подкармливать овощами не одного бедняка, а фрукты помогают завести дружбу с малышами: завидев

меня, они уже не кричат теперь: «Волк, волк!», но до того осмелели, что даже не боятся поцеловать колдуна. Приходится мне теперь и вина отведать, и белого хлеба, а то и сыра. Но все это лишь затем, чтобы уважить деревенских стариков, когда приходят они рассказать о местных нуждах или просят в замке о них потолковать. Но я, видите ли, от этих почестей не зазнался. Могу даже сказать: когда выполню все, что положено, я, оставив всякое попечение о славе, заживу опять, как подобает философу; может быть, даже в башню Газо вернусь — почем знать?

Мы были почти у цели. Ступив на площадку замка, я молитвенно сложил руки и, охваченный религиозным порывом, в непонятном страхе воззвал к богу. Какие-то смутные опасения пробудились во мне: все, что могло помешать моему счастью, всплыло в моем воображении; я колебался, не решаясь переступить порог этого дома; потом устремился вперед. Перед глазами у меня плыл туман, в ушах звенело. Навстречу мне попался Сен-Жан; он не узнал меня и, вскрикнув, поспешно преградил мне путь, опасаясь, что я ворвусь без доклада. Я оттолкнул его; он в испуге упал на стул в передней, я же стремительно помчался в гостиную. Я уже собрался было распахнуть двери, но тут опасения снова одолели меня, и я приоткрыл их с такой робостью, что Эдме, сидевшая за пяльцами и поглощенная вышиванием, даже не подняла глаз: этот легкий скрип она приняла за почтительный шорох шагов Сен-Жана. Дядюшка крепко спал и не проснулся. Худощавый и высокий, как все Мопра, он теперь одряхлел и сгорбился, а его бледное морщинистое лицо, казалось, уже овеянное бесчувственным сном могилы, заострилось и напоминало одну из деревянных скульптур, которые украшали спинку его резного дубового кресла. Старик вытянул ноги поближе к камину, где пылал лозняк, хотя грело солнце, и белая дядина голова отливала серебром в его лучах.

Как описать вам, что я почувствовал, увидев Эдме, склонившуюся над вышивкой? Она то и дело поглядывала на спящего отца, сторожа каждое его движение. Сколько же терпения, сколько покорности было во всем ее существе! Эдме не любила рукоделия; она обладала умом чересчур глубоким, чтобы задумываться над тем, ровно ли ложится стежок и удачно ли подобраны тона. К тому же в жилах ее текла горячая кровь; когда Эдме не была поглощена умственной деятельностью, ей хотелось двигаться, быть на свежем воздухе. Но с тех пор как отец ее, став жертвой старческих немощей, почти не покидал своего кресла, она ни на минуту не оставляла его. Нельзя же, однако, вечно читать и жить только умственной пищей! Эдме захотелось заняться тем, чем занимаются все женщины,— приобщиться, как она говорила, «к радостям за-

точения». Она героически укротила свой нрав. В той глухой борьбе, всего значения которой мы часто недооцениваем, хотя она совершается у нас на глазах, Эдме не только обуздала себя — она чуть ли не смирила ток крови в своих жилах. Она похудела, цвет ее лица утратил первоначальную девическую свежесть, которая улетучивается, подобно прохладным росинкам, что оставляет на спелых плодах дыхание зари; но чуть тронешь ветку — и нет росинки, если даже и пощадило ее жгучее солнце... Но было в этой преждевременной бледности и слегка болезненной худобе неизъяснимое очарование; взор Эдме, по-прежнему загадочный, стал глубже, печальнее и утратил былую надменность. Улыбка изменчивых уст сделалась менее презрительной и почти неуловимой. Кузина со мной заговорила, и мне почудилось, будто в той, прежней Эдме живет какое-то другое существо; она не стала менее прекрасной, напротив, красота ее показалась мне идеалом совершенства. Между тем мне приходилось слышать от многих, что Эдме «очень изменилась», в их устах это означало — изменилась к худшему. Но красота — словно храм: непосвященным дано узреть лишь внешний его блеск. Высокая тайна художественного замысла открывается только проникновенному взору верующих; и даже исполненные вдохновения частности величавого творения недоступны пошлому пониманию толпы. Один из нынешних ваших писателей выразил эту мысль другими словами и, думается, намного лучше. Что до меня, Эдме казалась мне всегда и неизменно прекрасной; даже на одре болезни, когда красота телесная блекнет, она была, на мой взгляд, божественно хороша. Иная, духовная красота, отблеск которой сиял на ее лице, открывалась моим взорам. К художеству я способен мало, но, будь я живописцем, я мог бы воссоздать один лишь образ — тот, что наполнял мою душу, ибо за всю мою долгую жизнь одна-единственная женщина представлялась мне подлинно прекрасной, и это была Эдме.

Я замер на пороге, созерцая ее: она была трогательно бледна, овеяна грустью и спокойствием; я увидел в ней воплощение дочерней преданности, жизненных сил, скованных сердечной привязанностью; я рванулся и упал к ее ногам, не в силах вымолвить ни слова. Эдме не вскрикнула, не издала ни звука; обхватив мою голову обеими руками, она прижала ее к груди и долго не отпускала. В этом крепком объятии, в немой этой радости узнал я родную кровь, узнал сестру. Внезапно разбуженный дядюшка подался всем телом вперед и, опираясь локтями о колена, таращил на нас глаза, приговаривая: «Ну вот! Это еще что такое?..»

Он не мог разглядеть мое лицо, спрятанное на груди Эдме. Она подтолкнула меня к отцу, и его старческие руки обняли меня

с прежней юношеской силой, обретенной в порыве великодушной любви.

Можете себе представить, сколько вопросов обрушилось на меня. Какою меня окружили заботой! Эдме ухаживала за мною, словно родная мать. Ее доброта, щедрая и доверчивая, дышала такой небесной чистотой, что в течение первого дня я и подумать не мог ни о чем, что не отвечало бы моему сыновнему чувству. Я был растроган, видя, как окружающие стараются обрадовать аббата моим нежданным возвращением. Меня спрятали под пяльцами, накинув поверх зеленое покрывало, которое Эдме обычно набрасывала на них, окончив работу. Случилось так, что аббат уселся рядом со мною; я схватил его за ноги, он вскрикнул. Я и прежде любил над ним подшутить. Когда же, опрокинув пяльцы с клубочками шерсти, я выскочил из моей засады, на лице аббата появилось забавное выражение радостного испуга.

Но я избавлю вас от описания этих милых семейных радостей, к которым невольно влекут меня воспоминания.

XVII

За шесть лет во мне произошла огромная перемена: я стал почти таким же человеком, как все. Отныне инстинкты мои уравновешивались побуждениями сердца, впечатлительность — велениями рассудка. Я следовал только урокам жизни и советам друзей, и этого оказалось достаточно, чтобы превратить дикаря в существо общественное. До образованного человека мне было далеко, но я достиг уже той ступени, когда мог быстро приобрести основательные знания. Я имел обо всем довольно правильное представление, насколько это было по тем временам возможно. С той поры человеческая наука, я знаю, шагнула далеко вперед; я следил за нею из своего далека и ничуть не собираюсь отрицать ее успехи. Однако же не всякий в моем возрасте обнаруживает столь трезвые взгляды, оттого-то мне и хочется думать, что меня смолоду направили по верному пути и это помогло мне выйти из тупика заблуждений и предрассудков.

Мое духовное и умственное развитие, по-видимому, удовлетворило Эдме.

— Меня ничуть не удивляют ваши успехи: видно было по письмам, как вы преобразились,— сказала она.— Но я испытываю чувство материнской гордости.

У дядюшки уже не было сил вступать, как бывало, в бурные споры, иначе он, право, пожалел бы, что потерял во мне неутомимого спорщика, который некогда столь ожесточенно с ним преши-

рался. Он даже попробовал было разок-другой мне противоречить, желая меня испытать; но я счел бы преступлением доставить ему это опасное удовольствие. Дядюшка немного обиделся, полагая, что я щажу его как глубокого старика. Желая его утешить, я переводил разговор на события прошлого, которым он был свидетель, и начинал расспрашивать его о вещах, в которых житейский опыт помогал разобраться намного лучше, нежели моя благоприобретенная ученость. Таким образом, я усвоил надлежащие понятия о правилах личного поведения, а законное дядино самолюбие было полностью удовлетворено. Если раньше он усыновил меня, движимый природным великодушием и родственными чувствами, то теперь проникся ко мне подлинно дружеским расположением. Дядя не скрыл от меня, что заветнейшее его желание — видеть меня супругом Эдме, прежде чем он уснет вечным сном; когда же я признался, что это мечта моей жизни, страстное мое чаяние, дядя ответил:

— Знаю, знаю, все зависит от нее; думаю, что у Эдме нет более причин колебаться.— И, помолчав с минуту, он с некоторым неудовольствием добавил: — Не вижу, какие возражения сможет она привести теперь.

Дядя впервые заговорил касательно предмета, интересовавшего меня всего более. Из его слов я заключил, что он давно уже относится благосклонно к моим намерениям и что если есть еще препоны, то чинит их Эдме. В последнем замечании дядюшки прозвучало некоторое сомнение; это сильно меня обеспокоило, но я не осмелился его расспрашивать. Легко уязвимая гордость Эдме внушала мне такой страх, а ее неизреченная доброта — такое благоговение, что я не осмеливался открыто обратиться к ней с просьбой о решении моей участи. Я счел за благо поступать так, будто и не чаял никогда быть для кузины никем иным, кроме брата и друга.

Но тут одно обстоятельство, долгое время казавшееся необъяснимым, на несколько дней отвлекло мои мысли от этого предмета. Вначале я отказался было наведаться в Рош-Мопра и вступить во владение поместьем.

— Вы непременно должны взглянуть, какой порядок я там завел,— сказал дядя.— Земли теперь хорошо обработаны, на всех фермах восстановлено поголовье скота. Надо же вам наконец ознакомиться с вашими владениями, показать крестьянам, что вам небезразлично, как они работают, иначе после моей смерти все пойдет прахом: имение вам придется отдать на откуп, что, возможно, и принесет больше дохода, зато снизит ценность ваших земель. Я стар, присматривать за вашим поместьем не могу, уже два года я не расстаюсь с этим несносным халатом, аббат же в делах ни-

чего не смыслит. У Эдме — светлая голова, но она не отваживается наведаться в Рош-Мопра: говорит, там очень страшно; но это, конечно, ребячество.

— Чувствую, что должен бы проявить больше мужества, чем кузина,— ответил я,— однако, дорогой дядюшка, нет для меня ничего тягостнее, нежели подчиниться вашему требованию. Нога моя не ступала на эту проклятую землю с того дня, как я покинул ее, спасая Эдме от похитителей. Право же, вы как будто хотите изгнать меня из рая в ад.

Дядя пожал плечами; аббат заклинал меня исполнить волю господина Юбера; мое упорство весьма раздосадовало дядюшку. Я подчинился и, решив побороть себя, на два дня разлучился с Эдме. Аббат предложил сопутствовать мне, желая отвлечь меня от мрачных мыслей, но я постеснялся даже на такое короткое время лишить Эдме его общества, зная, как она в нем нуждается. Будучи прикована к отцовскому креслу, Эдме вела жизнь столь однообразную и замкнутую, что любое самое незначительное происшествие становилось для нее событием. С каждым годом одиночество ее возрастало; когда же господин Юбер одряхлел и веселые детища вина — песня и шутка — были изгнаны из-за его стола, Эдме стала почти совсем одинокой. Господин Юбер был когда-то страстным охотником, и в день его именин — на святого Юбера — вокруг него собиралась вся местная знать. Было время, заливистый лай гончих раздавался на псарне; было время, на конюшне двумя рядами тянулись сверкающие стойла и в них били копытом ретивые кони; было время, над окрестными пущами неслись звуки охотничьего рога, а под окнами пиршественной залы, при каждом тосте блистательных сотрапезников, раздавались фанфары. Но это чудесное время давно прошло. Господин Юбер уже не охотился, а надежда заполучить руку его дочери не удерживала более подле его кресла молодых людей, коим наскучила его старость, приступы подагры и надоедливые рассказы, которые он повторял вечером, забывая, что их уже слышали от него утром. Эдме отвечала упорным отказом на все домогательства претендентов, но и де ла Марш получил у нее отставку. Все это представлялось весьма странным и давало повод ко всевозможным догадкам. Один из воздыхателей Эдме, которого она выпроводила подобно другим, движимый глупым и низким самолюбием, решил отомстить единственной, как он утверждал, женщине его круга, посмевшей его отвергнуть; случайно узнав, что Эдме была похищена Душегубами, он распустил слух, будто она провела в Рош-Мопра беспутную ночь. В лучшем случае он готов был предположить, что бедняжка принуждена была уступить насилию. Эдме внушала такое уважение и пользовалась такой доброй славой, что ее не осмелились бы

обвинить в снисходительности к разбойникам; легче было представить себе, что она стала жертвой зверского принуждения. Теперь на доброе имя Эдме легло несмываемое пятно, и все искатели ее руки отступились от девушки. Мое длительное отсутствие лишь подтверждало сложившееся представление. Поговаривали, что я спас кузину от смерти, но не от позора и потому не решаюсь сделать ее своею женой; будучи в нее влюблен, я избегаю ее из опасения, что не выдержу соблазна и захочу на ней жениться. Все это казалось столь правдоподобным, что трудно было бы заставить окружающих поверить в подлинную подоплеку событий, особенно трудно потому, что Эдме не пожелала отдать руку нелюбимому человеку и тем пресечь злостные слухи. Таковы были причины ее одиночества; все это стало мне известно позднее. Теперь же, видя суровость дяди и грустное спокойствие Эдме, я боязливо оберегал их покой, не позволяя даже опавшему осеннему листу потревожить эту сонную заводь. Вот почему я умолял аббата остаться с Эдме до моего возвращения. Следуя настояниям кузины, не пожелавшей, чтобы я расставался с Маркасом, я взял с собой только верного сержанта, с некоторых пор делившего свои досуги с Пасьянсом в его уютной хижине и помогавшего тому в исполнении его обязанностей.

Туманным вечером я прибыл в Рош-Мопра. Стояла ранняя осень. Тучи застили небо, умолкшая природа уснула в сырой мгле; равнины опустели, только стаи перелетных птиц наполняли воздух движением и криком. Вереницы журавлей чертили в небе огромные треугольники, и аисты, парившие в недосягаемой высоте, за тучами, оглашали даль печальными криками, что неслись над унылыми полями, подобно погребальной песне, оплакивающей счастливые дни прошлого. Тут я впервые ощутил, что уже похолодало, и меня охватила грусть, как то бывает, думается мне, со всяким, кто замечает приближение суровой зимы. Есть в первых заморозках нечто, напоминающее человеку о том, что и он вскоре обратится в прах и тлен.

Не обменявшись ни единым словом, мы с моим спутником миновали леса и вересковые заросли, сделав большой круг, чтобы обойти башню Газо, видеть которую было свыше моих сил. Солнце садилось в серой пелене, когда мы очутились у опускной решетки Рош-Мопра. Решетка была сломана, мост не поднимался; по нему проходили ныне только мирные стада, охраняемые беспечными пастухами. Рвы наполовину засыпало, вода оставалась лишь на самом дне, и над ней уже раскинули свои гибкие ветви синеватые ивняки; у подножия разрушенных башен выросла крапива, но следы пожара на стенах казались совсем свежими. На ферме все было отстроено заново; во дворе полно было скота, птицы, бегали

ребятишки, овчарки, громоздились земледельческие орудия. И всему этому так не соответствовали угрюмые развалины, где, чудилось мне, еще вздымается ввысь багровое пламя осады и струится черная кровь Монра.

Меня приняли без всякой угодливости, с тем невозмутимым и безразличным радушием, какое свойственно беррийским крестьянам. Устроили же меня так, чтобы я ни в чем не нуждался. Я поместился в старом здании, единственном из всех, что уцелело при осаде главной башни и устояло перед разрушительным действием времени. Тяжеловесная архитектура этого флигеля восходила к десятому веку; двери были меньше окон, окна же давали так мало света, что в доме пришлось зажечь факелы, хотя солнце едва только успело зайти. Флигель был кое-как приведен в порядок, чтобы служить пристанищем для нового владельца или его приказчиков. Озабоченный моими делами, дядя Юбер, пока позволяли силы, частенько наведывался в Рош-Монра, и теперь меня проводили в комнату, которую он отвел для себя; ее называли хозяйской. В эту комнату перенесли все лучшее, что удалось спасти из прежней обстановки; но, вопреки всем стараниям сделать ее пригодной для жилья, комната оставалась холодной и сырой, поэтому служанка арендатора, шествовавшая впереди меня, несла в одной руке головешку, а в другой вязанку хвороста.

Дым от головешки застил мне глаза; вместо прежнего входа пробили новый в другом конце дома, лишние коридоры были замурованы,— все сбивало меня с толку, все стало неузнаваемо. Наконец я добрался до отведенной мне комнаты. Я не мог бы даже сказать, в какое из старых замковых зданий я попал — так не похож был двор на тот, что запомнился мне, так мало я был способен в этом мрачном, смятенном состоянии духа воспринимать окружающее.

Служанка зажгла огонь; опустившись на стул и закрыв лицо руками, я предался грустным размышлениям. И все же мое пребывание в старом доме не лишено было своей прелести, ибо в воображении юношей — самонадеянных властителей будущего — прошедшее обычно предстает в более привлекательном и радужном свете. Тщетно пытаясь растопить камин, служанка густо надымила в комнате и вышла раздобыть уголька. Я остался один. Маркас хлопотал на конюшне около лошадей. Барсук был возле меня; улегшись перед камином, он то и дело недовольно на меня поглядывал, словно спрашивая, почему мы выбрали для ночлега такое неуютное место, где к тому же так плохо топят.

Я обвел глазами комнату, и воспоминания вдруг словно ожили в моей памяти. Сырые дрова, потрескивая в очаге, наконец разгорелись, и яркое пламя озарило все вокруг; в его колеблющемся

свете все предметы приняли странные, искаженные очертания. Барсук встал, повернулся к огню спиною и улегся у меня между ног, словно ожидая чего-то необычайного, неожиданного.

Тут я догадался, что комната эта не что иное, как спальня моего деда Тристана, которую после его смерти в течение многих лет занимал его старший сын — ненавистный мне дядя Жан, самый свирепый из моих угнетателей, самый пронырливый и подлый из всех Душегубов. Отвращение и страх охватили мою душу, когда я узнал обстановку, даже кровать с витыми колонками, на которой мой дед, в мучениях медленной агонии, отдал богу свою преступную душу. И кресло, в котором я расположился, было то самое, где сиживал в былые дни Хромуша, как любил, паясничая, называть себя Жан, где обдумывал он свои злодеяния, отдавал свои гнусные распоряжения. В эту минуту мне почудилось, будто мимо меня проходят чередой призраки всех Мопра с окровавленными руками и затуманенным винными парами взором. Я встал и, охваченный непобедимым страхом, хотел бежать; но тут передо мною внезапно возникло видение столь отчетливое, столь знакомое, столь непохожее по всем живым приметам на призраков, обступивших меня за минуту до того, что я упал обратно в кресло, обливаясь холодным потом. Прямо перед кроватью стоял Жан Мопра. Он только что поднялся со своего ложа, ибо еще придерживал рукою приподнятый полог. Жан был все тот же, только стал еще костлявей, бледнее и отвратительней; голова у него была выбрита, тело закутано в какую-то темную хламиду. Он бросил на меня дьявольский взгляд; по его тонким, увядшим губам скользнула ненавидящая, презрительная усмешка. Жан так и застыл, пронизывая меня сверкающим взором. Казалось, он вот-вот заговорит. Я был убежден в ту минуту, что предо мною живое существо из плоти и крови. И все же, хотите верьте, хотите нет, я оледенел, охваченный ребяческим страхом. Не стану это отрицать, хотя позже я и сам никак не мог найти объяснение своему малодушию. Жан не сводил с меня взгляда. Я оцепенел; ужас сковал мои члены, язык онемел. Барсук набросился на пришельца. Тот колыхнул складками своего мрачного одеяния, похожего на позеленевший от могильной сырости саван, и я потерял сознание.

Когда я очнулся, надо мною, пытаясь меня поднять, хлопотал встревоженный Маркас. Я был распростерт на полу и недвижен, как труп. С трудом опомнившись, я вскочил на ноги, вцепился в Маркаса и кинулся вон из проклятой комнаты, таща его за собой. Спотыкаясь и чуть не падая, сбежал я стремглав по винтовой лесенке, и только когда очутился во дворе, вечерний воздух и здоровый запах хлева привели меня в чувство.

Я безоговорочно приписал все происшедшее игре моего расстроенного воображения. Храбрость свою я доказал на войне, и бравый сержант был тому свидетель. Поэтому я не краснея открыл ему всю правду. Я откровенно отвечал на его вопросы и обрисовал страшное видение в таких подробностях, что Маркас был потрясен, словно сам увидел его наяву. Шагая со мной по двору, он несколько раз задумчиво повторил:

— Странно! Странно!.. Удивительно...

— Ничего удивительного,— возразил я, окончательно приходя в себя.— У меня все время душа не лежала к этой поездке. Оказавшись в Рош-Мопра, я испытал донельзя тягостное чувство. Прошлой ночью меня преследовали зловещие сны, а проснувшись, я ощутил такую усталость и тоску, что, если б не боялся ослушаться дяди, снова отложил бы это неприятное посещение. Только я вошел в дом, холод пронизал меня, какая-то тяжесть легла на грудь, дыхание сперло. Может быть, я угорел — там был такой дым; не мудрено, что у меня помутилось в голове. И что тут удивительного, если после всех невзгод и треволнений нашего злополучного плавания, от которых мы с тобой едва успели оправиться, мои расстроенные нервы не выдержали столь тягостного впечатления?

— Скажите-ка,— все так же задумчиво перебил меня Маркас,— вы не заметили, как вел себя при этом Барсук? Что он делал?

— Кажется, набросился на привидение, да только оно тут же исчезло; впрочем, может быть, и это мне только померещилось.

— Гм...— сказал сержант.— Я вошел — Барсук был как в лихорадке: то подбежит к вам, то обнюхает пол, то вдруг заскулит и кинется к постели, то начнет стену скрести, кинется ко мне, опять к вам. Странно!.. Удивительно, капитан, просто удивительно!..

Помолчав, Маркас покачал головой и воскликнул:

— Не привидение! Нет! Какое тут привидение! Умер? Жан? Ну нет! Еще двое Мопра! Почем знать? Но где, черт возьми? Не привидение, нет! Капитан рехнулся? Никогда! Болен? Нет!..

Выпалив все это, сержант раздобыл огня, вынул из ножен свою незаменимую шпагу, свистнул Барсука и, предложив мне остаться внизу, отважно ухватился за веревку, заменявшую лестничные перила. Как ни тошно мне было возвращаться в эту комнату, я, вопреки настояниям Маркаса, не колеблясь, последовал за ним; первым делом мы осмотрели кровать; но пока мы беседовали во дворе, служанка уже постелила свежие простыни и оправила одеяло.

— Кто же это здесь спал? — с обычной осторожностью спросил у нее Маркас.

— Да никто, кроме господина Юбера или господина аббата, когда они к нам наезжали.

— А сегодня или, к примеру, вчера? — продолжал допытываться Маркас.

— Да ни вчера, ни сегодня никого, сударь, не было. Господин Юбер уж года два как не приезжает, а что до господина аббата, так с той поры, что они бывают здесь одни, они никогда и не ночуют. Утром приедут, с нами пополдничают, а вечером и восвояси.

— Но постель-то была разобрана,— пристально глядя на служанку, допытывался Маркас.

— Ну и что же, сударь! — отвечала та.— Оно, может, и так; уж не знаю, застилала я ее, нет ли с того раза, как спали на ней; я, как простыни меняла, и внимания не обратила, видела только, что плащ господина Бернара сверху лежал.

— Плащ? — воскликнул я.— Да я его на конюшне оставил!..

— И я тоже,— добавил Маркас.— Скатал их вместе, да и сунул на ларь с овсом.

— Так их, стало быть, два? — подхватила служанка.— А то я ведь как пить дать один с кровати сняла: такой черный, поношенный!..

Мой плащ был на красной подкладке и обшит золотым галуном. Плащ Маркаса — светло-серый. Значит, это не мог быть ни тот, ни другой, даже если бы слуге и вздумалось вдруг принести какой-нибудь из наших плащей и затем унести обратно на конюшню.

— Куда же вы девали этот плащ? — спросил сержант.

— Право слово, сударь, я положила его тут вот, на кресле,— ответила служанка.— Да вы его, верно, убрали, пока я за свечой ходила? Что-то я его не вижу.

Мы обшарили всю комнату — плаща нигде не было. Мы сделали вид, что плащ этот — наш и крайне нам нужен. Служанка снова разобрала постель, при нас перевернула тюфяки, спросила слугу, куда он девал плащ. Ни в постели, ни в комнате плаща не оказалось, слуга же и вовсе не подымался наверх. На ферме начался переполох. Все опасались обвинения в краже. Мы стали расспрашивать, не было ли, да и нет ли здесь сейчас посторонних. Убедившись, что эти славные люди никого к себе в дом не впускали и вообще не видели ни души, мы успокоили их насчет пропавшего плаща, заявив, что Маркас нечаянно свернул его и спрятал вместе с двумя другими; затем мы с сержантом заперлись в комнате, чтобы осмотреть ее без помехи. Не оставалось сомнений, что если призрак, меня напугавший, и не Жан Мопра собственной персоной, то это был кто-то весьма на него похожий.

Маркас стал науськивать Барсука и за ним наблюдать.

— Будьте спокойны,— горделиво заявил он,— старина Барсук не забыл своего ремесла: ежели только есть там малейшая щель, хоть в ладонь шириной, уж вы не сомневайтесь!.. Возьми, возьми его, Барсук! Уж вы не сомневайтесь!..

Пес, обнюхав все углы, упорно продолжал скрести стену в том углу, где мне померещился призрак. Всякий раз, как острая собачья мордочка натыкалась на одно определенное место в стене, пес вздрагивал. Потом, с довольным видом, виляя пушистым хвостом, он возвращался к хозяину, словно стараясь привлечь его внимание к этому месту. Сержант стал разглядывать деревянную обшивку стены, пытаясь нащупать в ней какую-нибудь щель и просунуть туда шпагу; щели не оказалось. Тем не менее здесь могла находиться потайная дверь, ибо за резным орнаментом деревянной обшивки легко было скрыть искусно сделанную кулису. Надо было найти пружину, приводящую эту кулису в действие; хоть мы и бились целых два часа над тем, чтобы разыскать пружину, это нам не удалось. Напрасно выстукивали мы панель: она издавала в этом месте такой же звук, как и в прочих; правда, звук этот не был глухим, но это показывало лишь, что деревянная обшивка нигде не примыкала вплотную к каменной кладке; однако зазор между ними мог не превышать и нескольких десятых дюйма. Обливаясь потом, Маркас прекратил наконец поиски, говоря:

— Мы, видно, рехнулись! Раз нет тут этой пружины, ищи хоть до завтра, все равно не найдешь; если же дверь запирается с наружной стороны на железные засовы, да еще весьма основательные, как это бывает в старинных замках, нам не вышибить ее и топором.

— Будь здесь потайной ход, мы бы его обнаружили, пустив в дело топор. Но почему ты так твердо убежден в том, что Жан Мопра или кто-то другой, похожий на него, не мог войти и выйти прямо через дверь? Нельзя же утверждать это лишь на том основании, что твоя собака скребет стенку в этом месте!

— Войти он мог сколько угодно,— возразил Маркас,— но выйти?.. Клянусь честью, нет!.. Ведь было так: служанка спускается, я чищу на лестнице башмаки, слышу — что-то там наверху падает. Я сразу туда, мигом, через три ступеньки, и готово дело — я тут как тут, с вами; вы на полу замертво, ну совсем больной. В комнате — никого, за дверью — никого, честью клянусь!

— В таком случае все это нам померещилось: мне — злополучный дядя Жан, а служанке — черный плащ; ведь потайного хода тут наверняка нету. Да если бы и был? И если бы даже все Мопра, живые и мертвые, имели от него ключ, нам-то что с того? Сыщики мы, что ли? Наше ли дело следить за этими негодяями?

Да найди мы их где-нибудь тут, разве мы не помогли бы им бежать? Разве предали бы их в руки закона? Оружие у нас есть — нам нечего бояться, что они нас этой ночью укокошат! А вздумают они шутки ради нас припугнуть — честное слово, им несдобровать! Ежели меня неосторожно разбудить, я ни своих, ни чужих не разбираю! Давай-ка лучше закажем яичницу добрым людям, которые здесь живут. Если же мы будем без конца выстукивать стенки да скрести панели, они решат, что мы не в своем уме.

Маркас сдался, движимый скорее послушанием, нежели сознанием моей правоты. Затрудняюсь сказать, придавал ли он особое значение раскрытию этой тайны, терзало ли его беспокойство, но он не пожелал оставить меня одного в заколдованной комнате. Он сослался на то, что мне снова может сделаться дурно и у меня начнется припадок.

— Ну, на этот раз я не струшу! — заявил я.— Плащ меня излечил: больше никаких привидений не испугаюсь! И задирать меня никому не советую.

Идальго вынужден был оставить меня одного. Я зарядил пистолеты и положил их перед собою на стол, но это была излишняя предосторожность: ничто не нарушало тишину комнаты, и тяжелый полог из красного шелка с потемневшими серебряными гербами, вышитыми по углам, ни разу не колыхнулся. Маркас возвратился и, радуясь, что нашел меня в добром здравии, стал готовить ужин с таким усердием, словно мы прибыли в Рош-Мопра с единственным намерением славно закусить. Идальго шутил, будто каплун продолжает и на вертеле кричать «кукареку», а вино дерет горло, словно щетка. Маркас повеселел еще больше, когда арендатор принес несколько бутылок превосходной мадеры, оставленной у него в свое время господином Юбером, любившим, перед тем как сесть на коня, пропустить стаканчик-другой. В благодарность за вино мы пригласили почтенного арендатора отужинать с нами, чтобы не так скучно было говорить о делах.

— В час добрый,— сказал тот.— Оно, значит, как прежде: мужики в Рош-Мопра за одним столом с сеньорами едали. Хорошо, господин Бернар, что и вы так поступаете.

— Вы правы, сударь,— весьма холодно ответил я.— Поступаю так же, но не с теми, кому задолжал я, а с теми, кто задолжал мне.

Услыхав такой ответ и обращение «сударь», арендатор до того оробел, что я с трудом уговорил его сесть за стол; но я настоял на своем, желая сразу же дать ему почувствовать, с кем он имеет дело. Я обращался с ним так, словно возвышаю его до себя и ничуть не собираюсь снизойти до него. Он вынужден был и в шутках сохранять пристойность и балагурить в рамках приличия. Аренда-

тор был человек веселый и простосердечный. Я внимательно к нему приглядывался, пытаясь разгадать, не сообщник ли он привидения, которое бросает где попало на кроватях свой плащ; но это представлялось совершенно невероятным: в глубине души арендатор затаил отвращение к Душегубам и если б не уважал мои родственные чувства, то с большим удовольствием ругал бы их так, как они того заслуживали. Не желая допускать с его стороны никаких вольностей на этот счет, я предложил ему отчитаться в делах; он сделал это толково, точно и добросовестно.

Когда арендатор уходил, я заметил, что мадера на него сильно подействовала: ноги его не держали, он выписывал кренделя, но все же соображал достаточно, чтобы дельно рассуждать. Я не раз замечал, что крестьянину вино ударяет не в голову, а в ноги и поражает не мозг, а мускулы. Подвыпивший крестьянин завирается редко; крепкое винцо повергает его в состояние неведомого нам блаженства, превращая для него опьянение в удовольствие, весьма отличное от того, какое испытываем мы, и гораздо более заманчивое, нежели наше лихорадочное возбуждение.

Опьянеть мы не опьянели, но, оставшись с Маркасом наедине, сразу же заметили, что благодаря вину стали куда беззаботней и веселей. Если бы не вино, не будь даже происшествия с привидением, мы вряд ли чувствовали бы себя в Рош-Мопра столь безмятежно. Привыкнув говорить друг с другом начистоту, мы по зрелом размышлении пришли к выводу, что все оборотни Варенны, вместе взятые, страшат нас сейчас гораздо меньше, нежели до ужина.

Слово «оборотень» напомнило мне о приключении, которым ознаменовалось малоприятное для меня знакомство с Пасьянсом в ту пору, когда мне исполнилось тринадцать лет. Маркас, наслышанный уже об этом приключении, не знал, однако, какого я тогда был нрава. Забавы ради я рассказал ему, как меня выпорол колдун и как я потом не помня себя носился по полям.

— Думается мне,— добавил я в заключение, — что при столь пылком воображении, как мое, все сверхъестественное невольно наводит страх. Так что давешнее привидение...

— Пустяки, пустяки,— возразил Маркас, проверяя, заряжены ли пистолеты, и кладя их на мой ночной столик.— Не забывайте, что кое-кто из Душегубов остался жив; если Жан не отправился еще на тот свет, он будет пакостить, пока его не придавит могильная плита и сам черт не упрячет его у себя за тремя замками.

Вино развязало идальго язык; в тех редких случаях, когда он разрешал себе изменить привычному воздержанию, обнаруживалось, что он не лишен остроумия. Маркас не захотел меня оставить и постелил себе рядом со мною. Нервы мои были взвинчены всем пережитым. Я разоткровенничался и заговорил об Эдме; впро-

чем, если б она и слышала то, что я говорю, ей не в чем было бы меня упрекнуть. И все же я не должен был позволять себе подобной откровенности с моим подчиненным, который еще не был в ту пору моим другом, хотя и стал им позднее. В точности не припомню, что я поведал Маркасу о моих печалях, надеждах и тревогах, во всяком случае, признания мои, как вы увидите из дальнейшего, имели ужасающие последствия.

Так, болтая, мы оба и заснули; в ногах у Маркаса лежал Барсук, на коленях — шпага, у меня же под рукою — пистолеты, под подушкой — охотничий нож; лампу мы поставили рядом с собою, двери заперли на все засовы. Ничто не нарушило наш покой. Разбудило нас солнце; на дворе весело пели петухи, а под нашими окнами, приторачивая ярмо, грубовато зубоскалили вологоны [1].

— Нет, тут что-то неладно!

С этими словами Маркас открыл глаза, словно продолжая прерванный вечером разговор.

— Ты разве что-нибудь видел или слышал этой ночью? — спросил его я.

— Ровно ничего, но это неважно: Барсук метался во сне, шпага моя валяется на полу; а ведь так-таки ничего и не разъяснилось. Что же это было?..

— Ну, и выясняй кому охота, а с меня довольно!

— Зря, зря вы так говорите!

— Может статься, милый сержант; но мне вовсе не нравится эта комната, а при свете дня она такая безобразная, что хочется убраться подальше и глотнуть свежего воздуха.

— Ну что ж, я пойду с вами, но еще вернусь! Не хочу все это так оставить. Я-то знаю, на что Жан Мопра способен, а вам и невдомек!

— А я и знать не желаю! Если мне или кому-либо из моих близких грозит опасность, значит возвращаться тебе сюда ни к чему!

Маркас покачал головой и ничего не ответил. Перед отъездом мы снова прошлись по имению. Маркаса очень поразила одна мелочь, на которую я не обратил внимания. Арендатор захотел познакомить меня со своей женой, но та наотрез отказалась и убежала в конопляник. Я приписал это застенчивости деревенской молодухи.

— Вот так молодуха! — возразил Маркас.— Молодухе-то, как и мне, пятьдесят стукнуло. Нет, неспроста это, неспроста, уж я вам говорю!

— Да что здесь, черт побери, может быть?

[1] Вологоны ремнями приторачивают ярмо к рогам рабочих волов, которые идут в упряжке парой.

— Гм... В свое время арендаторша была накоротке с Жаном Мопра. Хромуша пришелся ей по вкусу. Я-то знаю, я много чего знаю, уж будьте уверены!..

— Ты мне обо всем расскажешь, когда мы сюда вернемся. Но случится это не скоро: тут без меня дела идут куда лучше. Да и не хотелось бы мне, пугаясь собственной тени, пристраститься к мадере. Ты очень меня обяжешь, Маркас, если будешь молчать об этих ночных страхах. Не все питают к твоему капитану такое же уважение, как ты.

— Только болван может не питать уважения к моему капитану! — назидательным тоном возразил идальго.— Впрочем, слушаюсь ваших приказаний: молчу.

Маркас сдержал слово. Ни за что на свете не хотел я смущать воображение Эдме этим нелепым происшествием. Но помешать Маркасу осуществить его замысел я не смог; на следующее же утро он исчез, а от Пасьянса я знал, что Маркас возвратился в Рош-Мопра под предлогом, будто позабыл там какую-то вещь.

XVIII

В то время как Маркас был занят столь важными розысками, я проводил возле Эдме дни, полные очарования и тревоги. Неизменно выказывая свою привязанность ко мне, она, однако, вела себя весьма сдержанно, и я то и дело переходил от радости к унынию. Однажды, пока я находился на прогулке, господин Юбер долго беседовал с дочерью. Я вошел в ту минуту, когда они говорили о чем-то с особенным волнением. Едва переступил я порог комнаты, как дядюшка обратился ко мне:

— Подойди и скажи Эдме, что ты любишь ее и сделаешь счастливой, что ты уже избавился от былых заблуждений. Сумей добиться, чтобы она согласилась стать твоей женой, ибо так продолжаться дольше не может. Наше положение в глазах света нетерпимо, и, прежде чем сойти в могилу, я хочу убедиться, что доброе имя моей дочери восстановлено, и твердо знать, что какой-нибудь вздорный каприз не заставит ее уйти в монастырь, вместо того чтобы занять в свете положение, на какое она вправе рассчитывать и которое я старался упрочить всю свою жизнь. Ну же, Бернар, преклони колено! Найди слова, которые убедят ее! Иначе я, да простит меня бог, подумаю, что ты не любишь Эдме и в глубине души не желаешь стать ее супругом.

— Боже правый! — вскричал я.— Это я-то не желаю? Да я уже семь лет ни о чем другом не думаю, и в сердце моем нет иных желаний, я не мыслю для себя большего счастья!

Я высказал Эдме все, что могла внушить самая пылкая страсть. Она выслушала меня в молчании, не отнимая рук, которые я покрывал поцелуями. Но лицо Эдме было серьезно, и когда она после краткого раздумья заговорила, тон ее заставил меня вздрогнуть.

— Отцу моему не следовало бы сомневаться, что я сдержу слово; я дала обещание выйти замуж за Бернара, обещала это и отцу, и самому Бернару; стало быть, я непременно выйду за него замуж.

Затем, снова помолчав, она продолжала еще более сурово:

— Но если мой отец думает, что стоит на пороге смерти, то зачем он принуждает меня помышлять лишь о самой себе и облачаться в брачные одежды в час его кончины? Неужели он полагает, что у меня хватит на это сил? Если же, напротив, он, как я надеюсь, все еще достаточно крепок, несмотря на свои недуги, и ему предстоит еще долгие-долгие годы жить окруженным любовью своих близких, то зачем он так настоятельно требует, чтобы я отказалась от отсрочки, которую у него испросила? Разве над таким важным шагом не следует хорошенько призадуматься? Ведь речь идет о союзе, который продлится всю мою жизнь и от которого зависит не скажу мое счастье, ибо я охотно пожертвую им ради малейшего желания отца, но мой душевный покой, моя честь и достоинство; в самом деле, какая женщина может быть настолько уверена в себе, чтобы отвечать за будущее, навязанное ей против воли? Разве подобный союз не заслуживает того, чтобы я, по крайней мере, несколько лет взвешивала все связанные с ним опасности и преимущества?

— Слава тебе господи! Да ведь вы целые семь лет уже этим заняты! — воскликнул дядюшка.— Пора бы уже решить, как вы относитесь к своему кузену. Ежели вы намерены выйти за него замуж, выходите, а ежели нет, бога ради, скажите об этом прямо, и пусть тогда появится кто-нибудь другой.

— Отец,— ответила Эдме несколько холодно,— я выйду замуж только за Бернара.

— Только за Бернара! Отлично сказано,— подхватил господин Юбер, ударяя каминными щипцами по поленьям,— но это еще, пожалуй, не означает, что вы станете его женой.

— Я стану его женой,— повторила Эдме.— Я хотела бы получить еще несколько месяцев свободы, но коль скоро вы недовольны всеми этими оттяжками, я готова подчиниться вашему повелению, вы это знаете.

— Черт побери! Вы это называете соглашаться на брак? — вскричал дядюшка.— И как это любезно в отношении вашего кузена! Право, Бернар, я немало прожил, но, должен сказать, все еще

не понимаю женщин и, может статься, умру, так ничего в них и не поняв.

— Дядюшка,— сказал я,— мне ясна причина неприязни моей кузины: я заслужил это. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы искупить свои прегрешения. Но разве вольна она забыть прошлое, которое, конечно же, заставило ее страдать? Впрочем, если Эдме не простит мне прошлое, я буду столь же суров, как она: я и сам не прощу его себе и, отказавшись от всякой надежды, удалюсь от нее и от вас, обреку себя каре страшнее смерти.

— Ну вот, все и рухнуло! — И дядюшка с досады швырнул щипцы в огонь.— Так, так! Этого вы, должно быть, и добивались, дочь моя?

Я сделал несколько шагов к двери; я невыносимо страдал. Эдме бросилась за мной и, взяв за руку, подвела обратно к креслу своего отца.

— Так говорить жестоко, вы просто неблагодарный,— обратилась она ко мне.— Подобает ли человеку скромному и великодушному отвергать дружбу, преданность, я осмелюсь употребить другое слово — верность, в которой вы могли убедиться за эти семь лет, потому только, что я прошу вас повременить еще несколько месяцев. И если даже я никогда не буду питать к вам, Бернар, такое же страстное чувство, как ваше, разве та привязанность, какую я вам до сих пор выказывала, имеет столь мало цены в ваших глазах? Ведь вы пренебрегаете ею, досадуя, что не внушили мне именно такое чувство, на какое позволяете себе претендовать! Стало быть, вы не признаете за женщиной права на дружбу? Покидая наш дом, вы хотите наказать меня за то, что я заменяла вам мать, и согласны вознаградить меня лишь в том случае, если я захочу стать вашей рабой?

— Нет, Эдме, нет,— отвечал я, поднося ее руку к губам и чувствуя, как у меня сжимается сердце, а глаза наполняются слезами,— я сознаю, что вы сделали для меня больше, нежели я заслуживаю, сознаю, что напрасно пытался бы бежать; но можно ли ставить мне в вину, что я страдаю возле вас? Да и притом это вина невольная, так судил мне рок, и ни ваши упреки, ни угрызения моей совести тут не помогут. Перестанем же говорить об этом — и навсегда, вот все, что я могу сделать. Не лишайте меня своей дружбы: в будущем я надеюсь стать достойным ее.

— Обнимитесь, дети мои, и никогда не разлучайтесь,— проговорил растроганный дядюшка.— Бернар, что бы ни значили причуды Эдме, не покидай ее никогда, ежели хочешь заслужить благословение своего приемного отца. Не суждено тебе стать ее супругом, ну что ж, будь ей всегда братом! Помни, сын мой, скоро она останется совсем одна на свете, и я сойду в могилу глубоко

опечаленный, ежели не унесу с собой уверенности, что у нее есть надежный защитник на земле. Помни и о том, что из-за тебя, из-за той клятвы, которую ее сердце, быть может, отвергает, но совесть не позволяет нарушить, она оказалась покинутой, оклеветанной...

Дядюшка залился слезами, и все горести этой несчастной семьи мгновенно ожили передо мною.

— Довольно! Довольно! — вскричал я, падая к их ногам.— Это слишком жестоко. Я был бы последним негодяем, если бы требовалось напоминать мне о моих проступках и моих обязанностях. Позвольте же мне выплакать свое горе у ваших ног, позвольте вечным страданием, вечным самоотречением искупить зло, которое я вам причинил! Почему вы не выгнали меня из дому, коль скоро я приносил вам вред? Почему, дядюшка, вы не пристрелили меня, словно хищного зверя? Зачем пощадили вы человека, который в благодарность за содеянное ему добро погубил ваше честное имя? Нет, нет, Эдме не должна выходить за меня замуж, я это сознаю. Брак ее со мной означал бы, что она примирилась с позором и клеветою, которые я навлек на нее. И все-таки я останусь здесь: я никогда не буду ее видеть, если она этого потребует; я лягу у ее порога, как верный пес, и растерзаю первого, кто посмеет предстать пред нею, не преклонив колена; а если когда-нибудь найдется достойный человек, который будет счастливее меня, и она остановит на нем свой выбор, мне и в голову не придет бороться против этого, и я поручу ему драгоценную и святую заботу об Эдме, право оберегать и защищать ее; я стану ему другом, братом, а убедившись, что они счастливы вместе, безропотно покину эти места, чтобы умереть вдали от них.

К горлу моему подступили рыдания, дядюшка прижал меня и Эдме к сердцу, слезы наши смешались, и мы дали клятву никогда не расставаться — ни при его жизни, ни после его смерти.

— Не теряй, однако, надежды стать ее мужем,— шепнул мне дядюшка немного позже, когда все мы успокоились.— У нее бывают странные причуды, но, знаешь ли, меня не разубедить, что она тебя любит. Она пока еще не хочет в этом признаться. А чего хочет женщина, того хочет бог.

Я ответил:

— Чего хочет Эдме, того хочу я.

После этой сцены трепет жизни угас в моей душе, и его сменил могильный покой. Прошло несколько дней; я прогуливался по парку в обществе аббата.

— Мне надобно рассказать вам о том, что приключилось со мной вчера,— начал он,— это весьма удивительная история. Я гулял в Бриантском лесу и подошел к источнику Фужер. Как вы знаете, было жарко, точно в разгаре лета; осенью наши чудесные,

одетые в пурпур деревья особенно красивы: они укрывают родник своей зубчатой листвою, тени в лесу уже мало, нога утопает в ковре из опавших листьев, шелест которых полон для меня неизъяснимого очарования. Атласные стволы берез и молодых дубков покрыты мхами и печеночниками; они расцветили кору в различные тона — коричневатый, нежно-зеленый, красноватый и бурый, усеяли ее звездами и розанчиками или причудливыми рисунками, похожими на миниатюрные географические карты, которые навевают грезы о неведомых крохотных мирах. Я любовался этими арабесками, чудом изящества и вкуса, где бесконечное разнообразие сочетается с непогрешимой точностью линий. Испытывая радостную уверенность, что вы, в отличие от толпы, не останетесь равнодушны к этому восхитительному кокетству природы, я захватил несколько образцов, с величайшим тщанием отделив от древесных стволов кору, в которой зарождаются эти чудесные рисунки, чтобы не повредить их. Я подобрал небольшую коллекцию и оставил ее у Пасьянса, к которому заглянул мимоходом; мы можем посмотреть ее, если вам будет угодно. Но дорóгой я хочу рассказать вам, что произошло со мною, когда я приблизился к источнику. Я брел по мокрым камням, опустив голову, и угадывал путь по звону прозрачного и узкого ручейка, который пробивается из расщелины мшистого утеса. Подойдя к роднику, я собрался было опуститься на камень, самой природой предназначенный служить скамьею, как вдруг увидел, что место занято каким-то почтенным монахом, чье бледное, изможденное лицо наполовину скрывал капюшон из грубой шерстяной ткани. Казалось, будто он весьма смущен встречей со мною; я поспешил успокоить его, заверив, что в мои намерения вовсе не входит тревожить его и что я хочу только напиться из берестяного желобка, который дровосеки приладили к сжале, чтобы легче было утолять жажду.

«О святой отец! — обратился он ко мне самым смиренным тоном,— зачем вы не пророк, чей посох исторгал из камня влагу, ниспосланную божественной милостью, и зачем душа моя, подобная этой скале, не может излиться потоком слез?»

Монах сидел в том поэтичном уголке, который так часто навевает мне мысли о беседе самаритянки со Спасителем; пораженный его слогом, скорбным лицом и отрешенностью от всего мирского, я проникался к нему все большей симпатией. Я узнал, что он принадлежит к ордену траппистов и совершает паломничество с целью покаяния.

«Не спрашивайте ни о моем имени, ни о том, где я родился,— сказал он.— Я принадлежу к славному роду, и мои близкие устыдились бы, узнав, что я еще существую; впрочем, вступая в орден, мы отрекаемся от былой гордыни и уподобляемся новорожденным

младенцам; мы умираем для мира, дабы возродиться в Иисусе Христе. Но я, верьте мне, являю собой поразительный пример человека, преображенного небесной благодатью, и если бы я мог поведать вам о своей жизни в монастыре, об ужасных душевных муках, об угрызениях совести, о жажде искупления, вы были бы, конечно, глубоко тронуты. Однако к чему послужит мне сочувствие и снисхождение людей, ежели милосердный господь все еще не соблаговолил отпустить мне грехи?»

— Вы знаете,— продолжал аббат,— что я не люблю монахов, не доверяю их униженному смирению, питаю отвращение к их праздности. Но в речах этого монаха звучали такая печаль и искренность, такое глубокое сознание своего долга, он казался столь немощным, изможденным постом и молитвою, столь полным раскаяния, что сразу же завоевал мое сердце. В его взоре, в его речах так и искрились незаурядный ум и неутомимая энергия, способная противостоять любым испытаниям. Мы провели с ним целых два часа, и я ушел, умиленный душою, ощутив желание вновь повидать его, прежде чем он покинет наши места. Он остановился на ночлег на ферме Гуле, и я тщетно пытался уговорить его пойти со мною в замок. Он сослался на то, что у него есть спутник, которого он не может оставить.

«Но коль скоро вы так добры,— сказал он,— я почту за счастье вновь свидеться с вами здесь же завтра на закате; я, вероятно, даже отважусь попросить вас об одной милости; вы можете быть мне полезны в важном деле, которое привело меня в здешние края. Пока я вам ничего более не скажу».

Я заверил его, что он вполне может рассчитывать на меня и что я от всего сердца готов служить такому человеку, как он.

— И теперь нетерпеливо ждете часа свидания? — спросил я аббата.

— Конечно,— ответил он.— Мой новый знакомец весьма мне нравится, и, если бы не боязнь злоупотребить его доверием, я пришел бы к источнику Фужер вместе с Эдме.

— Полагаю, что у Эдме найдутся дела поважнее, нежели свидание с вашим монахом-краснобаем,— возразил я.— Да он, быть может, просто интриган, как и многие другие, кого вы слепо облагодетельствовали. Простите меня, мой милый аббат, но вас нельзя назвать опытным физиономистом, вы легко проникаетесь симпатией или антипатией к людям и при этом основываетесь лишь на том, что вам подсказывает ваша увлекающаяся натура: либо льнете к человеку всей душой, либо чураетесь его.

Аббат улыбнулся, пошутил, что я говорю так только по злобе, вновь упомянул о благочестии трапписта и опять перешел к ботанике. Мы провели немало времени у Пасьянса, разбирая расте-

ния; я жаждал уйти от собственных мыслей, а потому вышел из хижины вместе с аббатом и проводил его до самого леса, где должна была состояться встреча с монахом. По мере того как мы приближались к месту свидания, аббат, казалось, начинал понемногу остывать от .вчерашних восторгов; теперь он уже опасался, не слишком ли далеко зашел. В столь быстром переходе от восхищения к неуверенности вполне проявился его характер — неустойчивый, мягкий, робкий, в котором сочетались самые противоположные стремления, и я вновь принялся дружески подшучивать над ним.

— Знаете,— сказал он мне,— на душе у меня будет спокойнее, если вы его увидите собственными глазами. Посмотрите на его лицо, понаблюдайте за ним немного, а потом уйдите, ибо я обещал выслушать его признания.

От нечего делать я согласился пойти с аббатом. Когда мы взошли на пригорок над утесом, откуда берет начало родник, я остановился в ясеневой рощице и, спрятавшись за ветвями, стал разглядывать монаха. Сидя внизу прямо под нами, у самого родника, он не отводил глаз от тропинки, из-за поворота которой мы должны были появиться; но ему и в голову не приходило взглянуть туда, где мы находились, и мы невозбранно могли наблюдать за ним, не вызывая его подозрений.

Едва взглянув на монаха, я горько рассмеялся, взял аббата под руку, увлек немного в сторону и взволнованно проговорил:

— Любезный аббат, доводилось ли вам когда-нибудь видеть моего дядю Жана де Мопра?

— Никогда, сколько помнится,— отвечал озадаченный аббат.— Но что вы, собственно, хотите этим сказать?

— Я хочу сказать вам, друг мой, что вы сделали недурное открытие: сей славный и высокочтимый траппист, в котором вы обнаружили столько благолепия, искренности, сердечного сокрушения и ума, не кто иной, как Жан Мопра Душегуб.

— Вы с ума сошли! — вскричал аббат, попятившись.— Жан Мопра давным-давно умер.

— Жан Мопра не умер; жив, может быть, и Антуан Мопра, и это меня удивляет меньше, чем вас, ибо мне уже довелось повстречать одного из этих призраков. Вполне возможно, что Жан стал монахом и замаливает свои грехи; но возможно, что он просто явился сюда под личиной монаха обделывать какие-нибудь темные дела, и я советую вам быть настороже.

Аббат был так перепуган, что даже не хотел идти на условленное свидание. Я убедил его в необходимости узнать замыслы старого грешника. Однако мне было известно слабодушие аббата, и я боялся, как бы дядя Жан лицемерными речами не втерся к нему

в доверие и не склонил его к какому-нибудь ложному шагу; поэтому я решил притаиться в чаще, чтобы все видеть и слышать.

Но события сложились иначе, чем я предполагал. Вместо того чтобы вести хитрую игру, траппист тут же открыл аббату свое настоящее имя. Он объявил ему, что раскаяние и угрызения совести не позволяют ему уклоняться от кары, прикрываясь клобуком (ибо Жан Мопра и в самом деле несколько лет назад вступил в орден траппистов); и вот он решил теперь предать себя в руки правосудия, дабы публично искупить преступления, запятнавшие его позором. Человек этот, одаренный незаурядными способностями, приобрел в монастыре непостижимое красноречие. Он говорил с таким изяществом, с такою кротостью, что я и сам поддался обаянию его речей не меньше аббата. Тщетно тот пытался отклонить монаха от безрассудного, по его словам, шага — Жан Мопра выказал самую непреклонную верность своим религиозным убеждениям. Он утверждал, что, совершив преступления, достойные варваров-язычников, он может спасти свою душу, лишь добровольно приняв муки, как то делали первые христиане.

— Можно быть трусом перед лицом бога, как и перед лицом людей,— сказал он,— и во время моих бдений, в ночной тиши, я слышу грозный голос в ответ на мои рыдания: «Жалкий трус, лишь страх перед людьми заставляет тебя искать прибежище в лоне господнем; и если бы не боялся ты смерти телесной, то никогда не стал бы помышлять о вечной жизни». И тогда я чувствую, что больше всего страшусь не гнева божия, а петли и палача, которые ожидают меня среди мне подобных. Но ныне час настал: я должен перестать стыдиться самого себя, и в тот день, когда люди предадут меня бесчестию и каре, я почувствую себя омытым от греха и оправданным перед лицом господа. И только тогда позволю я себе сказать Христу, Спасителю моему: «Выслушай меня, безвинный мученик, ты, кто внимал уверовавшему в тебя разбойнику; выслушай же осквернившего себя, но раскаявшегося грешника, причастившегося муке твоей и искупленного кровью твоею!»

— Если вы продолжаете упорствовать в своем исступленном стремлении покаяться,— сказал аббат, видя, что никакие доводы не могут переубедить монаха,— соблаговолите хотя бы сказать, чем, по-вашему, я могу быть вам полезен?

— Я не считаю себя вправе осуществить свой замысел, не получив одобрения человека, который вскоре останется последним в роде Мопра,— отвечал траппист,— ибо старому кавалеру недолго уже теперь ждать небесных радостей в награду за свои добродетели; ну, а я могу избежать мук, мною же себе уготованных, только вновь погрузившись в вечную ночь монастыря. Я говорю о Бернаре Мопра: не называю его своим племянником, ибо если бы он

слышал меня, то покраснел бы от одного лишь упоминания об этом роковом родстве. Я узнал, что он возвратился из Америки, и весть эта заставила меня предпринять путешествие, горестный конец которого уже близок.

Мне показалось, что, говоря это, он искоса бросал взгляды на чащу, где я скрывался, словно угадал мое присутствие. Быть может, какая-нибудь задрожавшая ветка выдала меня.

— Осмелюсь спросить вас,— сказал аббат,— что общего у вас ныне с этим молодым человеком? Не опасаетесь ли вы, что, памятуя о жестокостях, которые ему некогда пришлось сносить в Рош-Мопра, он откажется вас видеть?

— Уверен, что откажется, ибо мне известно, как он ненавидит меня,— сказал траппист, оборачиваясь к месту, где я спрятался.— Но я уповаю на то, что вы убедите его согласиться на встречу со мной, ибо вы добры и великодушны, господин аббат. Вы обещали оказать мне услугу. К тому же вы друг молодого Мопра и дадите ему понять, что дело идет о его интересах и о его добром имени.

— Как так? — удивился аббат.— Ему, без сомнения, доставит мало радости увидеть вас на скамье подсудимых дающим ответ за преступления, доныне скрытые в тиши монастыря. Конечно, он должен желать, чтобы вы отказались от такого публичного искупления грехов. Почему вы надеетесь, что он даст на это согласие?

— Я надеюсь, ибо господь благостен и велик, ибо милосердие его безгранично, и оно затронет сердце всякого, кто согласится внять крику души грешника, охваченного искренним раскаянием и проникнутого твердою верой; мое вечное спасение находится в руках этого молодого человека, и он не захочет мстить мне за гробом. К тому же, умирая, я хотел бы примириться с теми, кого обидел; вот почему я должен пасть к ногам Бернара Мопра, дабы он простил мне мои прегрешения. Слезы мои тронут его, а если его безжалостная душа и презрит их, я, по крайней мере, исполню свой долг.

Я понял: он говорил, будучи уверен, что я слышу его, и меня охватило отвращение. Мне почудилось, будто я вижу, как сквозь напяленную им на себя личину благочестия проступают его подлинные черты — криводушие и низость. Я отошел подальше и решил дожидаться аббата на некотором расстоянии. Вскоре он присоединился ко мне. Их встреча закончилась взаимным обещанием вновь свидеться в ближайшее время. Аббат счел нужным передать мне слова трапписта, который сладчайшим голосом угрожал явиться ко мне непрошеным, если я откажу в его просьбе. Мы решили подробно потолковать обо всем этом позднее, ничего не сообщая господину Юберу и Эдме, чтобы не тревожить их без нужды. Траппист поселился в Шатре, в монастыре кармелитов. Это

обстоятельство заставило аббата особенно насторожиться, вопреки его первоначальному доверию к раскаянию грешника. Кармелиты преследовали аббата в молодости, и настоятель монастыря в конце концов принудил его покинуть свой приход. Настоятель был еще жив; этот старый, немощный человек, скрытный и неумолимый, все еще пылал ненавистью и жаждал интриг. Аббат не мог слышать его имя без содрогания и убеждал меня вести себя с особенной осторожностью.

— Пусть даже Жану Мопра угрожает карающий меч закона,— сказал он мне,— а вы находитесь на вершине славы и благополучия, не усыпляйте себя надеждой на мнимую слабость врага. Кто знает, на что способен злодей, движимый коварством и ненавистью? Он может смешать честного человека с грязью, он может присвоить себе его права, он может приписать свои преступления другому и запятнать своим бесчестием одежды невинного. Вы, пожалуй, еще не разделались с Мопра Душегубами!

Бедный аббат и не подозревал, насколько он был близок к истине.

XIX

Зрело обдумав возможные намерения трапписта, я счел необходимым согласиться на встречу с ним. Хитроумные уловки Жана Мопра не могли меня обмануть, и я хотел сделать все, что было в моих силах, чтобы помешать ему отравить своими кознями последние дни старого кавалера. Вот почему на следующий день я отправился в город и к концу вечерни не без волнения позвонил у ворот монастыря кармелитов.

Монастырь, выбранный траппистом, был одной из бесчисленных обителей нищенствующих монахов, которых в те времена кормила Франция; в этой обители, хотя устав ее и предписывал строгость нравов, жили богато и в свое удовольствие. В ту пору, когда царил дух неверия, лишь немногие монахи чуждались пышности и богатства основанных для них церковных прибежищ: иноки, обретавшиеся в больших аббатствах, затерянных в провинциальной глуши, были избавлены от надзора общественного мнения (неизменно ослабевающего там, где человек уединяется) и вели в обстановке роскоши существование самое сладостное и праздное, какое им вряд ли довелось бы вести в ином месте. Но такая жизнь в безвестности, «мать любезных сердцу пороков», как тогда выражались, имела прелесть лишь для низшей братии. Монастырские прелаты томились честолюбием, которое будило в них тусклое прозябание и разжигало бездеятельность. Действовать хотя бы в самой узкой сфере и по самому ничтожному пово-

ду, действовать во что бы то ни стало — эта мысль неотступно преследовала каждого настоятеля и каждого аббата.

Настоятель монастыря *обутых кармелитов,* которого я собирался повидать, являл собою живой пример этого деятельного бессилия. Он был пригвожден подагрой к своему огромному креслу и странным образом напомнил мне внушительный облик старого кавалера, бледного и неподвижного, как и он, но сохранившего благородную осанку патриарха, величавого в своей печали. Настоятель был небольшого роста, тучный, но, видимо, весьма живой человек. Верхняя часть его тела свободно двигалась; голова стремительно поворачивалась из стороны в сторону; отдавая распоряжения, он подкреплял их жестом; речь его была отрывиста, а глухой голос придавал мнимую значительность даже самым пустым словам. Короче говоря, одна половина его тела словно неустанно старалась привести в движение вторую, пребывавшую в неподвижности, и настоятель походил на того заколдованного человека из арабских сказок, под платьем которого скрывалось окаменевшее по пояс туловище.

Он принял меня с преувеличенным радушием, разгневался, что мне недостаточно быстро подали стул, протянул свою большую дряблую руку, сам придвинул этот стул поближе к своему креслу и знаком приказал выйти какому-то бородатому сатиру, которого он именовал братом-казначеем; затем забросал меня вопросами относительно моего путешествия, моего возвращения, моего здоровья, моей семьи и наконец, сверля меня своими блестящими бегающими глазками, которые выглядывали из-под тяжелых век, набухших от пьянства и обжорства, приступил к делу.

— Мне ведомо, возлюбленный сын мой,— начал он,— что вас сюда привело: вы хотите исполнить свой долг перед вашим родичем, святым траппистом, являющим собой назидательный пример, ниспосланный нам господом богом, дабы служить образцом для мира и чудесным свидетельством небесной благодати.

— Господин настоятель,— ствечал я ему,— я не такой добрый христианин, чтобы оценить чудо, о котором вы говорите. Пусть набожные души благодарят за него небо! Что же касается меня, то я пришел сюда, ибо господин Жан де Мопра желает, по его словам, посвятить меня в планы, которые имеют ко мне отношение; я готов его выслушать. Если вы дозволите пройти к нему...

— Я не хотел, чтобы он свиделся с вами до меня, молодой человек! — вскричал настоятель с подчеркнутой искренностью, завладевая при этом моими руками, отчего по телу у меня прошла дрожь отвращения.— Я намерен просить вас о большой услуге во имя милосердия, во имя крови, что течет в ваших жилах...

Я высвободил одну руку, и настоятель, уловив выражение неудовольствия на моем лице, тотчас же с изумительной гибкостью переменил тон.

— Вы человек светский, я знаю. У вас есть все основания жаловаться на того, кто некогда носил имя Жана де Мопра, а ныне именуется смиренным братом Иоанном Непомуком. Но если заповеди нашего божественного учителя Иисуса Христа не склоняют вас к милосердию, то существуют соображения общественного приличия и семейной чести, которые должны заставить вас разделить мои опасения и мои усилия. Вам известно благочестивое, но безрассудное решение брата Жана; вам должно присоединиться ко мне, дабы отвратить его от этого решения, и я не сомневаюсь, что вы это сделаете.

— Возможно, сударь,— ответил я холодно.— Но позвольте осведомиться, чему следует приписать тот интерес, который вам благоугодно было проявить к делам моей семьи?

— Духу милосердия, ибо он воодушевляет служителей Христа,— ответил монах с наигранным величием.

Воспользовавшись этим доводом, под прикрытием которого духовенство вечно вторгается в семейные тайны, он без труда избавился от моих дальнейших расспросов и хоть не рассеял подозрений, зародившихся в моем мозгу, но заставил меня слушать, ежеминутно напоминая, что я обязан его благодарить за заботу о моем добром имени. Мне хотелось во что бы то ни стало понять, куда он клонит. И в конце концов мои предположения оправдались. Дядя Жан требовал от меня принадлежавшую ему часть ленного владения Рош-Мопра, и настоятель взял на себя труд объяснить мне, что я поставлен перед выбором: либо мне придется раскошелиться на довольно крупную сумму (так как речь шла о доходах за те семь лет, в течение которых я пользовался поместьем, не считая стоимости одной седьмой части поместья); либо мой дядя осуществит свое безрассудное намерение, которым он угрожал; шум, вызванный его поступком, не только сократит дни старого кавалера, но и навлечет, чего доброго, «необычайные неприятности на меня лично». Все это было великолепно преподнесено мне под видом христианнейшего попечения о моих интересах, причем мой собеседник восторгался религиозным рвением трапписта и искренне тревожился за последствия принятого братом Непомуком «непреклонного» решения. В заключение он ясно дал понять, что не Жан Мопра просит у меня средств к существованию, а мне надлежит смиренно умолять его принять половину моего состояния и тем самым помешать ему поносить мое имя в суде или, хуже того, посадить меня на скамью подсудимых.

Я попробовал прибегнуть к последнему доводу.

— Если решение брата Непомука, как вы его, господин настоятель, именуете, столь непреклонно, если забота о спасении души — единственное, что занимает его в этом мире, то как, объясните мне, соблазн благ земных может отвратить его от принятого решения? Есть во всем этом какая-то непоследовательность, которую я не в силах постичь.

Настоятеля немного смутил мой пристальный взгляд, но через мгновение он уже надел на себя личину наивности — самое испытанное средство плутов.

— Господи,— воскликнул он,— стало быть, вы, любезный сын мой, не знаете, какое огромное утешение сулит благочестивому человеку обладание земными благами! Да, богатства мира сего достойны презрения, доколе они источник суетных наслаждений, но праведник должен требовать их с твердостью, коль скоро они служат ему надежным средством творить добро. Не скрою, будь я на месте святого трапписта, я не уступил бы своих прав никому; на те деньги, которые у такого молодого и блестящего вельможи, как вы, уходят на содержание породистых лошадей и собак, я предпочел бы основать монашескую обитель, где наставляли бы в истинной вере и раздавали бы милостыню. Церковь учит, что ценой больших жертв и богатых приношений мы можем очистить нашу душу от самых тяжких грехов. Брат Непомук, охваченный священным ужасом, полагает, что, только публично искупив грехи, он спасет свою душу. Исполненный истинной веры мученик, он хочет отдать себя в руки неумолимого правосудия людского. Но насколько будет лучше для вас и вместе с тем *покойнее,* если он воздвигнет какой-нибудь святой алтарь во славу божью и похоронит в блаженной тиши монастыря зловещее имя, от которого уже отрекся! Он так глубоко проникся духом своего ордена, так стремится к самоотречению, самоуничижению и бедности, что потребуются великие усилия и даже помощь свыше, дабы убедить его променять подвижничество на *иное богоугодное дело.*

— Стало быть, это вы, господин настоятель, движимый бескорыстной добротою, взяли на себя труд отвратить его от пагубного решения? Я восхищен вашим рвением и благодарю вас за него; но я не вижу необходимости в столь длительных переговорах. Господин Жан де Мопра требует своей доли наследства — что может быть справедливее! И пусть даже закон отказал бы во всех гражданских правах тому, кто спасся от наказания лишь бегством,— кстати, я сейчас вовсе не намерен входить в обсуждение этого,— мой родственник мог бы не сомневаться, что между нами никогда не возникло бы ни малейшего спора по этому поводу, если бы я мог свободно располагать хоть каким-нибудь состоя-

нием. Но, как вам должно быть известно, я обязан тем, что владею Рош-Мопра, лишь доброте моего дяди, господина Юбера де Мопра, он и так достаточно сделал, заплатив долги семьи, которые превышали стоимость поместья, и я не могу ничего отчуждать без его дозволения, ибо в действительности я лишь хранитель состояния, которого еще окончательно не принял.

Настоятель с изумлением посмотрел на меня, словно сраженный непредвиденным ударом; затем лукаво улыбнулся и сказал:

— Отлично! Как видно, я ошибся, и мне следовало адресоваться к господину Юберу де Мопра. Я так и поступлю и не сомневаюсь, что он будет весьма признателен, ибо я стремлюсь избавить его семью от скандала, который, возможно, сулит принести немало пользы одному из его родственников в жизни небесной и уж наверняка принесет немало вреда *другому его родственнику* в жизни земной.

— Понимаю вас, сударь,— ответил я.— Это угроза, и я отвечу в том же тоне. Если господин Жан де Мопра вздумает докучать моему дядюшке и моей кузине, то ему придется иметь дело со мной. И мне не понадобится привлекать его к суду: я сам призову его к ответу за некоторые обиды, которых отнюдь не забыл. Передайте, что я не дам отпущения грехов вашему трапписту, если он вздумает отказаться от роли кающегося грешника. Если Жан де Мопра не имеет средств к существованию и взывает к моей доброте, я могу уделить ему за счет доходов, предоставленных в мое распоряжение, сумму, достаточную для того, чтобы вести скромный и разумный образ жизни, согласный с духом его обетов; но если им овладело честолюбие церковника и он рассчитывает вздорными и нелепыми угрозами устрашить моего дядю и вырвать у него деньги для удовлетворения своих новых потребностей, то пусть он лучше умерит свой пыл. Так и передайте ему от моего имени. Один лишь я могу защитить спокойствие старика и будущее его дочери, и я это сделаю, даже с опасностью для собственной чести и жизни.

— Однако в вашем возрасте честь и жизнь имеют кое-какую цену,— возразил настоятель, задетый за живое, но сохранивший тем не менее прежнюю любезность.— Кто знает, на какие безумные поступки может толкнуть трапписта его религиозное рвение? Ибо, между нами говоря, милый сын мой... Я, видите ли, не склонен к фанатизму: в молодости я повидал свет и не одобряю крайних решений, продиктованных чаще всего гордыней, а не истинным благочестием. Я пошел на то, чтобы умерить суровость устава: у монахов моей обители здоровый вид, и они носят белье... Поверьте, сударь мой, я вовсе не одобряю замысла вашего родственника и сделаю все от меня зависящее, дабы отвратить его от

этого намерения. Но ежели он станет упорствовать, к чему послужат все мои старания? У него есть разрешение его духовного пастыря, и он может уступить пагубному порыву... И вы, чего доброго, окажетесь серьезно скомпрометированы его показаниями, ибо, хотя вы, как говорят, весьма достойный дворянин и отреклись от ошибок прошлого, хотя душе вашей, быть может, всегда была ненавистна несправедливость, вы замешаны во множестве таких деяний, которые человеческие законы преследуют и карают. Кто знает, какие разоблачения может невольно сделать брат Непомук, если начнется уголовное следствие по всей форме. Сможет ли он удержать судей в рамках расследования только его вины, так, чтобы оно не коснулось и вас?.. Поверьте мне, я хочу мира... Я добрый человек...

— Да, отец мой, вы необыкновенно добры,— насмешливо ответил я,— это сразу заметно. Но стоит ли так тревожиться? Ведь существует одно весьма убедительное соображение, которое должно успокоить нас обоих — и вас и меня. Если брата Жана побуждает стремиться к публичному покаянию истинный долг христианина, то нетрудно будет убедить его, что ему следует остановиться из боязни увлечь за собою в пропасть другого человека, ибо дух христианства это запрещает. Но если догадки мои верны и господин Жан де Мопра не имеет ни малейшего желания предать себя в руки правосудия, то угрозы его меня не запугают и я найду способ помешать тому, чтобы дело получило нежелательную огласку.

— Стало быть, это все, что я могу ему передать? — спросил настоятель, бросая на меня взгляд, в котором сверкнула злоба.

— Да, сударь,— ответил я,— если только он не соизволит выслушать здесь мой ответ прямо от меня. Я пришел сюда, преодолев отвращение, которое он мне внушает, и удивлен тем, что, выразив столь настойчивое желание переговорить со мной, он, когда я явился, предпочитает держаться в стороне.

— Сударь, мой долг сделать все, чтобы в этом священном месте царил мир господень,— вновь заговорил настоятель с комической важностью.— Вот почему я воспрепятствую всякой встрече, которая может привести к бурным объяснениям...

— Легко же вас испугать, господин настоятель! — заметил я.— Однако ни мне, ни трапписту незачем горячиться. Но так как не я затеял эти объяснения, да и пришел я сюда из одного лишь чувства жалости, то с легким сердцем отказываюсь от дальнейших переговоров, вас же благодарю за любезную готовность быть посредником.

И, отвесив глубокий поклон, я вышел.

XX

Я рассказал аббату, который дожидался меня у Пасьянса, об этой беседе, и он вполне согласился со мной; как и я, он полагал, что настоятель вовсе не старался отговорить трапписта от якобы принятого им решения, а напротив, употребляя все свое влияние, убеждал его попытаться запугать меня и таким образом принудить откупиться крупной суммой денег. Аббат считал вполне естественным, что старик настоятель, верный духу монашеской братии, хотел, чтобы плоды трудов и сбережений Мопра-мирянина перешли в руки Мопра-монаха.

— В этом сказывается неистребимая черта католического духовенства,— сказал аббат.— Оно прекратило бы свое существование, если бы перестало вести войну против родовитой знати и не вынашивало бы коварных замыслов, направленных к тому, чтобы добиться отчуждения дворянского имущества. Можно подумать, что это имущество — собственность духовенства и для него все средства хороши, лишь бы вернуть его себе. И не так легко, как кажется, оградить себя от этих сладкоречивых грабителей. У монахов ненасытный аппетит и изобретательный ум. Будьте же осторожны и готовы ко всему. Вам никогда не заставить трапписта драться; укрывшись под своим капюшоном, согбенный, со скрещенными на груди руками, он безропотно снесет самые страшные оскорбления и, отлично зная, что вы его не убьете, не устрашится вас. А затем, вы плохо представляете себе, что такое людское правосудие и как проходят судебное следствие и разбирательство, когда одна из сторон не останавливается ни перед чем в своих попытках совратить и устрашить судей. Церковники могущественны, судьи велеречивы; слова «честность» и «неподкупность» уже много веков звучат в равнодушных стенах судейских залов, а число недобросовестных судей и несправедливых приговоров не уменьшается. Берегитесь же, берегитесь! Траппист может пустить по своему следу свору законников, а затем, вовремя исчезнув, сбить ее с толку и направить по вашему следу. Вы ранили самолюбие многих, из-за вас потерпели неудачу многочисленные женихи — охотники за наследством. Один из них, наиболее оскорбленный и озлобленный,— близкий родственник всесильного в нашей провинции судейского чиновника. Де ла Марш сменил мантию на шпагу; но разве не остались среди его былых собратьев люди, способные вам повредить? Я очень сожалею, что вам не довелось встретиться с ним в Америке и установить добрые отношения. Не пожимайте, пожалуйста, плечами; вы убьете десятерых на дуэли, а от этого только хуже будет. Вам станут

мстить, посягая, быть может, не на вашу жизнь, ибо известно, что вы ею не дорожите, а на честь, и господин Юбер умрет с горя. Наконец...

— У вас, любезный аббат,— прервал я его,— привычка поначалу все видеть в черном свете, ежели только черное не покажется вам невзначай белым. Позвольте мне сказать несколько слов, и они сразу же развеют ваши дурные предчувствия. Я знаю Жана Мопра с давних пор: это отъявленный обманщик и к тому же последний из трусов. Едва завидя меня, он вмиг присмиреет, и я разом заставлю его сознаться, что он не траппист, не монах и не праведник. Все это проделки прожженного плута, и я некогда слышал от него о таких планах, что удивляться его бесстыдству мне не приходится; так что я нимало его не боюсь.

— И вы неправы,— возразил аббат.— Следует всегда опасаться труса, ибо он наносит удар в спину, меж тем как мы ждем удара в лицо. Думаю, что Жан Мопра действительно траппист и бумаги, которые он мне показывал, подлинные,— ведь настоятель монастыря кармелитов слишком хитер, и его нелегко обмануть. Никогда этот человек не станет защищать дело мирянина, и никогда он не примет мирянина за своего. Впрочем, надобно навести справки, и я тотчас же напишу настоятелю монастыря траппистов; однако не сомневаюсь: он подтвердит то, что нам уже известно. Возможно даже, Жан де Мопра проникся искренней верой. Человеку его склада должны прийтись по вкусу некоторые особенности католицизма. Инквизиция — душа католической церкви, а уж инквизиция-то, бесспорно, нравится Жану де Мопра. Я охотно поверю, что он готов был предать себя в руки мирского правосудия ради одного только удовольствия погубить вас вместе с собой, а внезапно возникший честолюбивый замысел основать на ваши деньги монастырь всецело принадлежит настоятелю монастыря кармелитов.

— Это маловероятно, мой дорогой аббат,— заметил я.— Да и к чему нас приведут все эти рассуждения? Надо действовать. Нельзя только оставлять господина Юбера одного, чтобы нечистая тварь не посмела омрачить светлое спокойствие его последних дней. Напишем в монастырь траппистов, предложим негодяю пенсион и, неусыпно следя за всеми его уловками, посмотрим, что он станет делать дальше. Мой сержант Маркас — великолепная ищейка. Пустим его по следу, и если он, не мудрствуя, будет сообщать обо всем, что ему доведется увидеть и услышать, мы в скором времени узнаем все, что происходит в округе.

Беседуя таким образом, мы подошли к замку уже на склоне дня. Какая-то беспричинная сердечная тревога, должно быть, ведомая матери, ненадолго отлучившейся от своего ребенка, овладе-

ла мною, едва я вошел в это безмолвное жилище. Постоянная, ничем не нарушаемая безмятежность, царившая в отделанных старинными лепными украшениями залах, беспечность одряхлевших слуг, всегда распахнутые настежь двери, так что нищие порою доходили до самой гостиной, не повстречав никого на пути и ни у кого не вызывая подозрений,— вся эта атмосфера покоя, доверия и уединения удивительно противоречила мыслям о борьбе и заботам, которыми в связи с возвращением Жана и угрозами кармелита была вот уже несколько часов полна моя голова. Охваченный невольной дрожью, я ускорил шаги и почти бегом прошел через бильярдную. Мне почудилось, будто в это мгновение внизу, под окнами, промелькнула какая-то черная тень: она скользнула меж кустов жасмина и исчезла в сгущавшихся сумерках. Я резко толкнул дверь гостиной и замер на пороге. Все было тихо и неподвижно. Я уже собрался было искать Эдме в комнате ее отца, как вдруг мне показалось, что возле камина, где обычно сидел мой дядюшка, шевелится какая-то белая фигура.

— Эдме, вы здесь? — вскричал я.

Мне никто не ответил. Холодный пот выступил у меня на лбу, ноги подкосились. Устыдившись столь необычной слабости, я бросился к камину, повторяя в тревоге имя Эдме.

— Это вы, Бернар? Наконец-то! — ответила она дрожащим голосом.

Я заключил ее в объятия. Она стояла на коленях возле отцовского кресла и прижимала к губам ледяные руки старика.

— Великий боже! — вскричал я, различая при слабом свете, царившем в покоях, его иссиня-бледное и застывшее лицо.— Неужели наш отец умер?..

— Быть может, это только обморок, если будет на то воля господня,— ответила Эдме глухим голосом.— Свечей, ради бога! Позвоните же! Он всего лишь минуту в таком состоянии.

Я торопливо позвонил; вошел аббат, и общими усилиями нам, к счастью, удалось привести дядю в чувство.

Но когда старик открыл глаза, мозг его, казалось, все еще боролся с видениями мучительного кошмара.

— Убрался ли он наконец, этот мерзкий призрак? — твердил он.— Сен-Жан! Мои пистолеты!.. Эй, люди! Вышвырните этого шута в окно!

Меня осенила догадка.

— Что случилось? — спросил я тихо у Эдме.— Кто был здесь в мое отсутствие?

— Если я вам скажу,— отвечала она,— вы вряд ли поверите и сочтете, что мы тут без вас сошли с ума; погодите, я сейчас вам все расскажу, но прежде займемся отцом.

Ласковыми словами и нежными заботами ей удалось успокоить старика. Мы перенесли его в спальню, и он мирно уснул. Тогда Эдме тихонько высвободила свою руку из руки отца и опустила стеганый полог над его головой, затем подошла ближе и рассказала мне и аббату, что незадолго до нашего возвращения какой-то нищенствующий монах вошел в гостиную, где она, по обыкновению, вышивала возле задремавшего отца. Такие визиты случались и прежде, поэтому, нимало не удивившись, Эдме поднялась, чтобы взять лежавший на камине кошелек, и обратилась к монаху с приветливыми словами. Но в ту минуту, когда она собиралась уже протянуть милостыню пришельцу, господин Юбер внезапно проснулся и, смерив монаха разгневанным и испуганным взглядом, воскликнул:

— Черт побери! Зачем вы явились сюда, сударь, да еще в этаком наряде?

Тогда Эдме взглянула в лицо монаха и узнала...

— Вам в жизни не догадаться кого,— сказала она.— Ужасного Жана Мопра! Я видела его лишь раз в жизни, но эти отталкивающие черты навсегда врезались мне в память, и во время болезни, в бреду, они вставали перед моими глазами. Я не могла сдержать крик.

«Не бойтесь,— обратился он к нам с отвратительной усмешкой,— я пришел сюда не как враг, а как смиренный проситель».

Он опустился на колени возле самого кресла отца, а я, не зная, что он собирается предпринять, бросилась между ними и с такой силой толкнула кресло, что оно откатилось к самой стене. Тогда монах заговорил загробным голосом, который в надвигающейся тьме звучал особенно зловеще. Кривляясь и паясничая, он стал исповедоваться перед нами и униженно молил простить его преступления; он нес невесть что, уверял, будто уже видит, как на него опускается черный покров, какой набрасывают на отцеубийц, когда они всходят на эшафот.

«Бедняга, видно, сошел с ума»,— сказал отец, дергая шнурок звонка.

Но Сен-Жан глуховат и не явился на зов. Вот почему нам пришлось в невыразимой тревоге слушать странные речи этого пришельца, который именовал себя траппистом и уверял, будто намерен предать себя в руки правосудия, дабы искупить свои злодеяния, но прежде хочет, чтобы мой отец простил и в последний раз благословил его. Он говорил все это в исступлении, ползая на коленях. И все-таки голос этого человека, произносившего слова непомерного самоуничижения, звучал оскорбительно и угрожающе. Он все ближе подползал к отцу. Мысль о том, что нечистые уста могут коснуться хотя бы отцовской одежды, была мне не-

стерпима, и я довольно резко приказала ему встать и держать себя подобающим образом. Папенька, выйдя из себя, велел ему замолчать и убираться прочь; но тут монах завопил: «Нет! Вы позволите мне облобызать ваши колени!» Тогда я оттолкнула его, чтобы помешать ему прикоснуться к отцу. Но едва только я притронулась к этой мерзкой рясе, как задрожала от ужаса и отвращения. Монах обернулся ко мне, и, хотя он все еще сохранял вид кающегося смиренника, я увидела, что его глаза загорелись гневом. Отец сделал нечеловеческое усилие, чтобы встать, и поистине каким-то чудом поднялся, но тут же замертво упал в кресло. В бильярдной послышались шаги, и монах с быстротою молнии выскользнул в дверь. Вот тогда-то вы и нашли меня, полумертвую и окаменевшую от ужаса, у ног лежавшего без сознания отца.

— Видите, подлый трус не терял времени! — крикнул я аббату.— Он хотел напугать моего дядю и Эдме и преуспел в этом; но Жан не принял в расчет меня. Клянусь, если он когда-нибудь посмеет вновь явиться сюда, то я, пусть даже мне придется действовать по обычаю Рош-Мопра...

— Замолчите, Бернар,— сказала Эдме,— вы приводите меня в ужас; успокойтесь и объясните, что все это значит.

Когда я рассказал ей о наших с аббатом приключениях, она упрекнула нас за то, что мы ее не предупредили.

— Знай я, что мне угрожает,— говорила она,— я бы не испугалась, но соблюдала бы нужную осторожность, никогда не оставалась бы дома одна, только с отцом и Сен-Жаном, который уже мало на что годен. Теперь я ничего больше не боюсь и всегда буду настороже. Но самое благоразумное, дорогой Бернар, избегать всякого общения с этим отвратительным человеком и, не жалея денег, откупиться от него щедрой подачкой. Аббат совершенно прав: траппист может быть для нас опасен. Он знает, что узы родства помешают нам прибегнуть к защите закона, чтобы оградить себя от его преследований; и если, вопреки его чаяниям, он и не способен принести нам большой вред, то все-таки может доставить множество неприятностей, а этим пренебрегать нельзя. Швырните ему золота, и пусть убирается восвояси. Но вы, Бернар, больше меня не покидайте. Видите, мне без вас быть нельзя; пусть это утешает вас, когда вздумаете упрекать себя за то зло, какое вы мне будто бы причинили.

Я сжал руку Эдме в своих руках и поклялся никогда не покидать ее,— если даже она этого потребует, до тех пор пока траппист не избавит нас от своего присутствия.

Аббат взял на себя переговоры с монастырем. Наутро он отправился в город передать от моего имени трапписту решительное предупреждение, что я выброшу его в окно, если он посмеет

еще раз появиться в замке Сент-Севэр. В то же время я предлагал ему денежную помощь, и даже весьма щедрую, при условии, что он немедленно покинет наши места и удалится либо в свою обитель, либо в другое убежище, мирское или церковное, по своему выбору, с тем чтобы ноги его никогда больше не было в Берри.

Принимая аббата, настоятель дал ему почувствовать, что глубоко презирает его, как еретика, и питает к нему священную ненависть. Куда девалась любезность, какую он выказал накануне в беседе со мной! Он заявил, что желает остаться в стороне от этого дела, что умывает руки и ограничится ролью посредника между обеими сторонами; приют же брату Непомуку он предоставил из христианского милосердия и для того, чтобы явить монахам пример поистине праведного человека. Если верить настоятелю, то брат Непомук в согласии с канонами церкви займет место в первом ряду небесного воинства.

На следующий день к аббату явился послушник и пригласил его в монастырь для переговоров с траппистом. К великому удивлению аббата, противник переменил тактику. Теперь монах с негодованием отвергал любую форму помощи, ссылаясь на принятый им обет нищеты и смирения, и в сильных выражениях порицал своего любезного хозяина, настоятеля монастыря, за то, что тот позволил себе без его ведома предложить обмен вечных благ на бренные блага мира сего. Он отказался вступить в объяснения касательно своих планов на будущее и отделался двусмысленными и выспренними ответами. Господь-де осенит его своей благодатью, и в ближайший праздник девы Марии, в торжественный и величественный час святого причастия, он надеется услышать голос Иисуса Христа, который наставит его, как ему поступить. Аббат опасался выдать свою тревогу, упорствуя в стремлении проникнуть в сию «святую тайну»; он поспешил передать мне ответ монаха, в котором не было ничего утешительного.

Меж тем проходили дни и недели, а траппист ничем не обнаруживал своих истинных намерений. Он больше не показывался ни в замке, ни в окрестностях и упорно сидел взаперти в монастыре кармелитов, так что немногим удавалось лицезреть его. Однако вскоре сделалось известно — и настоятель самолично озаботился распространить эту весть,— что Жан де Мопра обратился на путь истины, проникся самым пылким и примерным благочестием и, вступив в орден траппистов, совершает паломничество во искупление своих былых прегрешений, а по пути остановился в монастыре кармелитов. Каждый день распространялись слухи о новых проявлениях добродетели обращенного и о новых подвигах умерщвления плоти, совершаемых святым человеком. Ханжи,

жадные до чудес, жаждали увидеть его и приносили с собой великое множество скромных даров, которые он упорно отвергал. Порою он прятался столь искусно, что говорили, будто он покинул обитель и возвратился в свой монастырь; но когда мы уже проникались надеждой на то, что больше не увидим трапписта, мы узнавали, что, простершись во прахе и облачившись во власяницу, он подвергает себя страшным истязаниям; случалось, что, совершая паломничество, он босой отправлялся в самые пустынные и запущенные уголки Варенны. Шла молва, будто он даже стал чудотворцем, и если настоятель монастыря кармелитов не исцелился с его помощью от подагры, то лишь потому, что, покаяния ради, сам того не пожелал.

Около двух месяцев мы не знали, что нас ожидает.

XXI

Эти дни, проведенные в глубокой душевной близости с Эдме, были для меня блаженны и ужасны. Видеть ее всякий час, не боясь показаться навязчивым, ибо она сама призывала меня к себе, читать ей вслух, беседовать обо всем, вместе с нею окружать нежными заботами ее отца, делить с Эдме радость и горе, словно мы были братом и сестрою,— все это, без сомнения, было великое счастье, но счастье опасное, и вулкан с новой силой запылал в моей груди. Порою нечаянное слово, страстный взгляд выдавали меня. Эдме, разумеется, не была слепа, но по-прежнему оставалась непроницаемой. Ее черные бездонные глаза, следившие то за отцом, то за мною, глаза, в которых светилась необыкновенная душа, порою утрачивали выражение заботливости и внезапно становились холодными, когда неистовство моей страсти готово было прорваться наружу. И тогда лицо ее выражало одно лишь терпеливое любопытство да непреодолимое стремление читать в самой глубине моей души, позволяя мне созерцать лишь внешнюю оболочку ее собственной души.

Поначалу мои страдания, хотя и весьма сильные, были мне дороги; мне нравилось думать, что эта скрытая душевная мука искупает мою прошлую вину перед Эдме. Я надеялся, что она это поймет и будет мне благодарна. Она все видела, но ничего не говорила. Терзания мои удвоились, но прошло еще довольно много дней, пока мне стало невмоготу их скрывать. Я говорю «много дней», но каждый, кто когда-нибудь любил женщину и находился наедине с нею, сдерживаемый лишь ее суровостью, знает, что дни тогда кажутся веками. Какая полная, но вместе с тем изнурительная жизнь! Сколько истомы и волнения, нежности и гнева! Часы

казались мне годами, и если бы я ныне по сохранившимся письмам не исправлял ошибки памяти, то легко убедил бы себя, что эти два месяца длились добрую половину моей жизни.

Мне бы хотелось, пожалуй, убедить себя в этом еще и для того, чтобы найти оправдание нелепому и непростительному моему поведению в ту пору вопреки благим обетам, какие то и дело я давал. Новое грехопадение совершилось так стремительно и было настолько полным, что я бы до сих пор краснел за него, если бы, как вы это скоро увидите, жестоко не поплатился за свое безумие.

После одной мучительной ночи я написал Эдме безрассудное письмо, которое едва не привело к ужасным для меня последствиям; письмо это было приблизительно такого содержания:

«Вы меня совсем не любите, Эдме, и никогда не полюбите. Я знаю это, ничего не прошу, ни на что не надеюсь; я хочу оставаться возле вас, быть вашим защитником, посвятить свою жизнь служению вам. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стать вам полезным; но я буду страдать, и, увы, Эдме, вы увидите мои страдания и, быть может, объясните себе совсем иными причинами грусть, которую я не могу скрыть вопреки постоянным героическим усилиям. Вчера вы меня глубоко опечалили, предложив уйти, *чтобы немного рассеяться.* «Рассеяться!» — иными словами, забыть о вас, Эдме! Какая горькая насмешка! Не будьте жестокой, сестрица, не то опять превратитесь в мою властную невесту тех недоброй памяти дней, а я против воли опять стану разбойником, которого вы ненавидели... Ах! Знали бы вы, до чего я несчастен! Во мне живут два человека, они сражаются не на жизнь, а на смерть, при этом без передышки; разбойник, надо надеяться, потерпит поражение, но, отступая шаг за шагом, он упорно защищается и в ярости рычит, ибо ранен и чувствует, что, может быть, смертельно. Если б вы знали, если б вы только знали, Эдме, какую борьбу, какие битвы выдерживает мое сердце, какими кровавыми слезами оно обливается и как возмущается моя душа, когда в ней берут верх мятежные ангелы! Бывают ночи, когда я так мучаюсь, что дохожу до кошмаров: мне чудится, будто я вонзаю вам в сердце кинжал и, призвав на помощь зловещую магию, заставляю вас любить меня так же, как я люблю вас. Когда я просыпаюсь в холодном поту, вне себя от ужаса, я испытываю неодолимое искушение убить вас, чтобы уничтожить источник моих страданий. И я не делаю этого лишь из боязни, что буду любить вас мертвую так же страстно и упорно, как люблю вас живую. Я опасаюсь, что ваш образ будет и потом безраздельно владеть всеми моими помыслами ничуть не меньше, чем сейчас. И к тому же человеку ведь не дано разрушить подобную власть: та, которая внушает

ему любовь и страх, будет жить в его душе даже тогда, когда прекратит свое земное существование. Душа любовника — это гробница его возлюбленной, в ней навсегда сохраняется нетленным ее образ, и душа осиротевшего вечно живет жгучими воспоминаниями любви, никогда ими не насыщаясь... О небо! В каком, однако, беспорядке мои мысли! Поймите же, Эдме, мой дух тяжко болен, и пожалейте меня. Будьте терпеливы, позвольте мне грустить, никогда не сомневайтесь в моей преданности. Я нередко впадаю в безумие, но всегда вас нежно люблю. Одно ваше слово, один ваш взгляд способны пробудить во мне чувство долга, и долг это будет мне сладок, если вы согласитесь напоминать мне о нем. В час, когда я вам пишу, Эдме, небо затянуто темными и тяжелыми, точно свинцовыми, тучами; гремит гром, и при блеске молний мнится, будто в небе проносятся горестные видения чистилища. Меня угнетает гроза, смятенный ум меркнет, словно неясный свет, озаряющий горизонт. Мне кажется, что в недрах моего существа вот-вот разразится буря. Ах! Если бы я мог обратить к вам голос, подобный голосу урагана! Если бы у меня достало сил выразить грозную муку и ярость, что гложут меня! Часто, когда буря сгибает вековые дубы, вы говорите, что вам по душе наблюдать разгул ее гнева и мощь их сопротивления. Это, говорите вы, противоборство могучих сил, и вам мерещится, будто вы различаете в реве, наполняющем воздух, завывание бурного северного ветра и жалобные стоны старых ветвей. Кто страдает больше, Эдме? Дерево, противостоящее ветру, или ветер, который не может сломить его сопротивление? Не правда ли, ветер? Ведь он всегда уступает и смиряется! И тогда небо, опечаленное поражением своего благородного сына, обрушивает на землю потоки слез. Вам по душе эти безумные образы, Эдме; каждый раз, когда вы созерцаете силу, побежденную сопротивлением, вы безжалостно улыбаетесь, и в вашем загадочном взгляде, кажется, скользит насмешка над моей немощью. Ну что ж, торжествуйте, вы повергли меня во прах, и, хоть я разбит, я все еще страдаю. Знайте же это, коль скоро вам угодно знать и коль скоро вы до того беспощадны, что еще расспрашиваете меня и выражаете притворное сочувствие. Я страдаю и даже не пытаюсь больше сбросить пяту, которой горделивый победитель попирает мою обессилевшую грудь».

Остальная часть этого письма, весьма длинного, весьма бессвязного и нелепого от первой до последней строки, была выдержана в том же духе. Уже не раз писал я Эдме, хотя жил с нею под одной кровлей и расставался лишь на время сна. Страсть до

такой степени владела мною, что я усвоил привычку писать ей по ночам, крадя у себя часы отдыха. Мне все казалось, что я недостаточно говорю с Эдме о ней самой, что я недостаточно часто повторяю заверения в покорности,— я их, к слову сказать, каждый раз нарушал,— но письмо, о котором идет речь, было самым дерзостным и страстным из всех. Не было ли оно роковым образом навеяно разбушевавшейся грозой, когда я, склонившись над столом, весь в испарине, не помня себя, набрасывал пылающей рукой картину моих мук? Сойдя в гостиную, я положил письмо в рабочую корзинку Эдме, затем возвратился в свою комнату и бросился на постель. И тогда в моей душе воцарилось великое спокойствие, близкое к отчаянию. Занимался день, горизонт был еще омрачен тяжелыми крылами грозы, медленно улетавшей прочь. Отяжелевшие от дождя вершины деревьев раскачивались под свежим ветром. Томимый глубокой печалью, полный безмерного страдания, я все же засыпал с чувством облегчения, словно сделал то, что надо: принес в жертву свою жизнь и свои надежды. Эдме, должно быть, не обнаружила моего письма, ибо она ничего мне о нем не сказала. Обыкновенно она отвечала устно, и, таким образом, письма были для меня средством вызывать ее на проявление дружеской близости, чем мне, конечно, и следовало бы удовольствоваться: ее слова всегда проливали бальзам на мою рану. Я говорил себе, что на сей раз мое письмо либо приведет к решительному объяснению, либо вовсе останется без ответа. Я то начинал подозревать, что аббат скрыл его и бросил в камин, то обвинял Эдме в презрении ко мне и в жестокости; но, так или иначе, я молчал.

На следующий день опять установилась хорошая погода. Дядюшка отправился с нами на прогулку в коляске и по дороге сказал, что, пока жив, хотел бы еще хоть разок принять участие в настоящей охоте на лису. Старый дворянин страстно любил этот вид охоты, а здоровье его настолько улучшилось, что он уже время от времени подумывал о развлечениях. Узкая, очень легкая берлина, в которую впрягали сильных мулов, быстро мчала его по песчаным лесным дорогам, и дядюшка уже не раз присоединялся к небольшой охоте, которую мы устраивали для его удовольствия. После посещения трапписта старый кавалер словно возродился к жизни. Одаренный силой и упорством, как и все в нашем роду, он, казалось, погибал от вынужденного безделья, но когда обстоятельства требовали от него проявить энергию, в нем снова начинала бурлить кровь. Он так часто напоминал об охоте, что Эдме решила устроить с моей помощью настоящую травлю с загонщиками и принять в ней деятельное участие. Славный старик поистине блаженствовал, когда дочь его отважно гарцевала

рядом с коляской и протягивала ему цветущие ветки кустарника, которые срывала на всем скаку. Мы условились, что я буду верхом сопровождать берлину, предназначенную для дядюшки и аббата. По случаю этого семейного праздника собрали загонщиков, лесников, псарей и даже браконьеров со всей округи. К нашему возвращению в буфетной готовили великолепный обед, со всеми сортами гусиных паштетов и местных вин. Маркас, недавно назначенный мною управляющим Рош-Мопра, обладал большим опытом охоты на лисиц: он провел два дня кряду в лесу, обкладывая лисьи норы. Несколько молодых арендаторов, живших по соседству, заинтересовались охотой и выразили готовность принять в ней участие; при случае они могли подать полезный совет. И, наконец, Пасьянс, обычно осуждавший истребление невинных животных, тоже согласился отправиться с нами, но только на правах зрителя. Назначенный для охоты день был теплый и ясный: он, казалось, улыбался нашим радужным планам; ничто не предвещало горестного поворота в моей судьбе. Возле замка собралось с полсотни людей; трубили рога, ржали кони, лаяли собаки. День должен был закончиться травлей кроликов, которых вокруг было видимо-невидимо; их нетрудно истреблять во множестве, для этого нужно лишь углубиться в чащу, подальше от того места, где идет охота. Вот почему каждый из нас вооружился карабином, даже дядюшка взял ружье, чтобы стрелять прямо из коляски; надо заметить, что он промаха не давал.

Первые два часа Эдме, гарцевавшая на небольшой, красивой и очень резвой кобыле лимузинской породы, которую ей нравилось горячить и обуздывать, щеголяла своим искусством перед отцом и держалась вблизи коляски, откуда улыбающийся старик, оживленный и растроганный, с умилением ею любовался. Каждый вечер, увлекаемые вращением нашей земли вокруг оси, мы с наступлением тьмы нежно прощаемся с дневным светилом, уходящим от нас, чтобы царить на небосводе другого полушария. Подобно этому, старец, созерцая на пороге смерти молодость, силу и красоту своей дочери, утешался тем, что ей суждено продлить его существование в другом поколении.

Охота уже была в разгаре. В Эдме, как и во всех Мопра, жил воинственный дух, и, несмотря на внешнее спокойствие, ей не всегда удавалось совладать со своей горячей кровью; повинуясь знакам, которые ей незаметно подавал отец, чьим величайшим наслаждением было видеть, как она мчится галопом, Эдме пустила лошадь во весь опор вслед за охотниками, вырвавшимися вперед.

— Скачи! Скачи за ней! — крикнул мне дядюшка: едва он завидел, что дочь перешла в галоп, вполне понятное отцовское тщеславие тотчас же уступило в его душе место тревоге.

Я не заставил повторять это приказание и, вонзив шпоры в бока лошади, вскоре присоединился к Эдме на окольной тропинке, по которой она поскакала, чтобы догнать охотников. Я задрожал от испуга, увидя, что она, как тростник, сгибается под ветвями, в то время как разгоряченная лошадь с быстротою молнии уносит ее в чащу.

— Ради бога, Эдме, не так быстро! — закричал я.— Вы расшибетесь.

— Не мешай, слышишь? — весело отвечала она.— Отец мне разрешил. Оставь меня в покое, говорю я тебе: если ты остановишь мою лошадь, получишь хлыстом по руке.

— Позволь мне, по крайней мере, ехать следом,— сказал я, подъезжая вплотную к ней,— дядюшка приказал охранять тебя, и если приключится несчастье, я убью себя.

Почему мной владели столь мрачные мысли? Право, не знаю: ведь я не раз видел, как Эдме неслась во весь опор по лесу. Со мной творилось что-то странное; полдневный зной ударял в голову, нервы были натянуты как струна. С утра мне нездоровилось, и я не стал завтракать, а чтобы поддержать свои силы, выпил натощак несколько чашек кофе с ромом. Итак, я испытывал сильный страх за Эдме, но уже через несколько мгновений страх этот уступил место невыразимо радостному чувству любви. Возбужденный стремительной скачкой, я помнил лишь одно: я должен настичь Эдме. Она мчалась впереди такая легкая и грациозная на своей легконогой вороной кобыле, чьи копыта бесшумно касались мха, что походила на фею, появившуюся в этих пустынных местах, чтобы смутить разум людей и увлечь их за собой в коварную чащу. Я позабыл об охоте, обо всем на свете, я не замечал ничего, кроме Эдме. Внезапно какая-то пелена застлала мой взор. Я больше уже не видел кузины, но по-прежнему несся вперед. Я был словно в немом исступлении. Вдруг Эдме остановилась.

— Что мы делаем? — обратилась она ко мне.— Шума охоты не слышно, перед нами какая-то река. Мы взяли слишком влево.

— Напротив, Эдме,— отвечал я, ни слова не понимая из того, что говорю,— если не замедлять скачки, мы скоро будем у цели.

— Отчего вы так раскраснелись? — спросила она.— Ну, а как мы переправимся через реку?

— Раз есть дорога, и брод найдется, сказал я.— Вперед, вперед!

Я весь был во власти неистового желания продолжать скачку; мною владела одна мысль — углубиться как можно дальше в лес вместе с Эдме; но мысль эта была словно окутана туманом, и когда я пытался стряхнуть его, то ничего не ощущал — только кровь гулко стучала в груди и в висках.

У Эдме вырвался жест нетерпения.

— Что за окаянные леса! Я вечно плутаю в них,— проговорила она.

Ей, должно быть, вспомнился зловещий день, когда, отбившись от охоты, она очутилась в Рош-Мопра, ибо я тоже вспомнил об этом, и образы, всплывшие в моем мозгу, вызвали у меня нечто вроде головокружения. Я машинально следовал за Эдме к реке и вдруг увидел ее уже на другом берегу. Меня охватило бешенство оттого, что лошадь кузины оказалась ловчее и смелее, чем моя. Мой конь, испугавшись крутого спуска, заупрямился, не решаясь двинуться вброд. За это время Эдме еще больше опередила меня. Я до крови вонзил шпоры в бока коня, и он едва не сбросил меня на землю. Так повторялось несколько раз, и когда я наконец оказался на другом берегу, то в слепой ярости устремился в погоню за Эдме. Я настиг девушку, схватил ее лошадь под уздцы и закричал:

— Стойте, Эдме, я требую! Дальше вы не поедете!

Я резко дернул повод, лошадь ее встала на дыбы. Эдме потеряла равновесие и, чтобы не упасть, легко спрыгнула наземь; она оказалась меж двух лошадей и могла попасть им под копыта. Я спрыгнул почти одновременно с нею и растолкал лошадей. Кобыла Эдме, от природы смирная, остановилась и спокойно принялась щипать траву. Мой же конь закусил удила и умчался. Все это произошло в одно мгновение.

Я заключил Эдме в объятия. Она высвободилась и сухо сказала:

— Как вы грубы, Бернар! Не выношу ваших манер. В чем дело?

Взволнованный и сконфуженный, я ответил, что мне показалось, будто ее кобыла понесла, и я испугался, как бы не произошло несчастья, видя, как стремительно она мчится вперед.

— И, спасая мою жизнь, вы заставляете меня соскочить с лошади с риском разбиться,— заметила она.— Нечего сказать, любезно!

— Разрешите, я помогу вам сесть в седло,— сказал я и, не дожидаясь согласия Эдме, приподнял ее.

— Вам прекрасно известно, что я сама сажусь в седло,— воскликнула она вне себя от гнева.— Пустите меня, я не нуждаюсь в ваших услугах!

Но я уже не в силах был повиноваться. Голова моя шла кругом; руки плотно сомкнулись вокруг стана Эдме, и я тщетно пытался их разжать; губы против воли коснулись ее груди; она побледнела от гнева.

— До чего ж я несчастен,— шептал я со слезами на глазах,— до чего ж я несчастен, что постоянно оскорбляю тебя, и ты

все больше и больше меня ненавидишь, в то время как я все сильнее тебя люблю!

Эдме была от природы властной и вспыльчивой. Ее характер, привыкший к борьбе, с годами приобрел необыкновенную энергию. Она уже совсем не походила на ту дрожащую юную девушку, которую я некогда сжимал в объятиях в Рош-Мопра и которая проявила скорее находчивость и изобретательность, нежели отвагу, обороняясь от меня. Теперь это была неустрашимая и гордая женщина, она скорее позволила бы убить себя, нежели подала бы повод для дерзостной надежды. К тому же Эдме знала, что страстно любима, и сознавала собственную силу. Вот почему она с презрением оттолкнула меня и, так как я в исступлении следовал за нею, подняла хлыст, угрожая оставить позорный след на моем лице, если я посмею прикоснуться хотя бы к ее стремени.

Я упал на колени, я умолял Эдме не покидать меня, не даровав прощения. Она уже сидела в седле и, оглянувшись вокруг, чтобы отыскать дорогу, воскликнула:

— Только этого еще не хватало: вновь увидеть ненавистные места! Взгляните, сударь, взгляните, куда мы попали!

Я, в свою очередь, осмотрелся и увидел, что мы находимся у лесной опушки, на тенистом берегу небольшого пруда Газо. В двух шагах от нас, сквозь деревья, густо разросшиеся с той поры, как Пасьянс покинул эти места, виднелся вход в башню: он зиял средь зеленеющей листвы, словно черная пасть.

Я вновь ощутил головокружение, во мне жестоко боролись враждующие инстинкты. Кто объяснит таинство, совершающееся в человеке, когда дух его борется с плотью и одна часть существа стремится подавить другую? Верьте мне, в натурах, подобных моей, борьба эта всегда ужасна, и не думайте, что у людей горячих воля играет второстепенную роль; только в силу нелепой привычки мы постоянно твердим человеку, изнемогшему в поединке с самим собою: «Вам надо было обуздать себя».

XXII

Как объяснить вам, что произошло со мною, когда моему взору внезапно предстала башня Газо? До того я видел ее лишь дважды, и оба раза она была свидетельницей сцен, поражающих ужасом и скорбью; но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что было уготовано мне в тот день, когда я в третий раз узрел стены этой башни,— есть же такие проклятые богом места!

Мне чудилось, будто я все еще вижу на треснувшей двери кровь двух представителей рода Мопра. Я испытывал мучитель-

ный стыд при воспоминании об их преступной жизни и страшном конце: ведь и во мне жил насильник. Я ужаснулся при мысли о том, какие чувства меня обуревали, и понял, почему Эдме не могла полюбить меня. Должно быть, в злосчастной крови Мопра Душегубов таилось роковое сродство с моей кровью, ибо я чувствовал, что сила моих разбушевавшихся страстей возрастает по мере того, как возрастает мое стремление их обуздать. Я подавил в себе все другие проявления своей неистовой натуры, от них почти уже не осталось следа. Я стал сдержаннее, сделался если не кротким и терпеливым, то, во всяком случае, привязчивым и чувствительным. Я весьма высоко ставил законы чести и уважал достоинство других людей; но любовь была моим самым опасным врагом, ибо она ставила под угрозу обретенные мною нравственные устои и душевную тонкость; именно любовь поддерживала в моей душе связь между прошлым и настоящим, связь прочную и нерасторжимую; мне было почти невозможно провести грань между тем, каким я был прежде и каким стал теперь.

Я смотрел на сидевшую в седле Эдме. Сознание того, что она вот-вот бросит меня одного и снова, на сей раз безвозвратно, ускользнет, наполняло меня бешенством. Я был страшен: я не сомневался, что после только что нанесенного ей оскорбления она никогда больше не рискнет остаться со мной наедине. Лицо мое было бледно, кулаки сжимались; стоило мне только захотеть, и я без труда одной рукой снял бы ее с седла, поверг наземь, и она оказалась бы во власти моих желаний. Стоило лишь на мгновение подчиниться диким инстинктам, и я мог бы утолить, погасить минутным обладанием огонь, пожиравший меня уже семь лет! Эдме так никогда и не узнала, какая опасность угрожала ее чести в эту ужасную минуту. Я до сих пор испытываю угрызения совести; но пусть будет мне судьею господь бог, ибо я восторжествовал над злом: эта мысль о насилии была последней дурной мыслью в моей жизни. К ней, впрочем, и свелось все мое преступление, а остальное довершил рок.

Охваченный внезапным ужасом, я круто повернулся и, ломая в отчаянии руки, не помня себя, бросился бежать прочь от Эдме по какой-то тропинке. Я не знал, куда иду, я понимал лишь одно: мне надо спастись от гибельного искушения. День был знойный, запахи леса опьяняли, окружающая природа вернула меня к воспоминаниям о моей былой жизни дикаря; мне оставалось либо бежать, либо пасть жертвой собственных страстей. Ведь Эдме так властно приказала мне удалиться. Мысль о том, что ей могла угрожать иная опасность, помимо опасности, которую таило для нее мое присутствие, в то время не приходила в голову ни ей, ни мне. Я углубился в лес, но не прошел и тридцати шагов, как отту-

да, где я оставил Эдме, донесся звук выстрела. Я помертвел от ужаса, сам не знаю почему, ибо нет ничего удивительного, когда во время охоты стреляют из ружья; но на душе у меня было так мрачно, что даже пустяк мог бы меня испугать. Я уже собрался было возвратиться назад к Эдме, рискуя еще больше рассердить ее, как вдруг мне послышался чей-то стон возле башни Газо. Я кинулся туда, но тотчас же упал на колени, изнемогая от тревоги. Мне понадобилось несколько минут, чтобы преодолеть слабость; в мозгу моем теснились какие-то странные образы, звенели жалобные звуки, я больше не отличал игры своего воображения от действительности; солнце светило все так же ярко, а я продвигался ощупью, держась за деревья. Внезапно я оказался лицом к лицу с аббатом; он был встревожен и разыскивал Эдме. Облава промчалась мимо коляски дяди Юбера. Старик, не увидев дочери, пришел в волнение. Аббат пустился бежать в глубь леса и, обнаружив следы наших лошадей, поспешил за нами, желая поскорее узнать, что произошло. Он услышал выстрел, но не испугался, однако моя бледность, растерянный вид, всклокоченные волосы, отсутствие лошади и ружья (я уронил свой карабин в том месте, где едва не потерял сознание от слабости, и даже не подумал поднять его) встревожили аббата, хотя он, как и я, не мог бы объяснить, что произошло.

— Эдме! Где Эдме? — крикнул он.

В ответ я пробормотал что-то бессвязное. Как впоследствии мне признался сам аббат, мой вид настолько поразил его, что он мысленно обвинил меня в преступлении.

— Несчастный! — воскликнул он, изо всех сил тряся меня за плечо, чтобы заставить опомниться.— Соблюдайте благоразумие и спокойствие, умоляю вас...

Ничего не поняв из слов аббата, я упорно тащил его к роковому месту. О, страшное зрелище! Безжизненное тело Эдме было распростерто на земле и плавало в крови. Лошадь щипала траву в нескольких шагах от своей госпожи. Возле Эдме, скорбно скрестив руки на груди, стоял бледный как полотно Пасьянс; он был так потрясен, что не мог ничего ответить аббату, который, рыдая, расспрашивал его о случившемся. Что до меня, то я был как во сне. Думаю, рассудок мой, уже помраченный предшествующими волнениями, перестал что-либо воспринимать. Я опустился на землю возле Эдме. Грудь ее была пробита двумя пулями. Остолбенев от ужаса, я смотрел в ее угасшие глаза.

— Уберите этого негодяя! — обратился Пасьянс к аббату, бросая на меня взгляд, полный презрения.— Горбатого, видно, только могила исправит.

Мопра

— Эдме! Эдме! — вскричал аббат, опускаясь на траву и стараясь остановить кровь своим платком.

— Мертва! Мертва! — произнес Пасьянс.— И вот убийца! Она сама назвала его имя, отдавая богу свою святую душу, и Пасьянс отомстит за нее! Мне это нелегко, но так будет!.. На то воля господня, недаром я оказался тут, чтобы узнать истину!

— Ужасно! Ужасно! — горестно восклицал аббат.

— Ужасно,— бессмысленно улыбаясь, повторил я, как эхо...

Сбежались охотники. Эдме унесли. Мне показалось, будто в это мгновение дядюшка встал на ноги и пошел. Впрочем, я не решился бы утверждать, что так оно и было на самом деле, а не привиделось мне, ибо я не отдавал себе отчета в происходящем; эти страшные минуты оставили в моей памяти только смутные воспоминания, подобно воспоминаниям о виденном сне; однако позднее меня заверили, что старый кавалер и вправду вышел из коляски без посторонней помощи, что он двигался и действовал с энергией и присутствием духа, какие свойственны бывают полному сил человеку. Но на следующий день он впал в состояние полного беспамятства и больше уже не поднимался с кресел.

Что же все-таки происходило со мной? Не знаю. Когда ко мне возвратился рассудок, я увидел, что нахожусь совсем в другой части леса, возле небольшого водопада, рокоту которого я бездумно внимал в каком-то блаженном оцепенении. У моих ног дремал Барсук, а его хозяин стоял, прислонившись к дереву, и внимательно смотрел на меня. Багряно-золотые лучи заходящего солнца пробивались меж стройных стволов молодых ясеней; лесные цветы словно улыбались мне; вокруг раздавалось нежное пение птиц. То был один из самых чудесных дней года.

— Какой изумительный вечер! — сказал я Маркасу.— До чего же здесь красиво, точно в лесах Америки. Что ты тут делаешь, старина? Почему ты не разбудил меня раньше? Я видел такие страшные сны!

Маркас опустился на колени рядом со мной; слезы ручьями текли по его впалым, темным щекам. На его всегда невозмутимом лице было непередаваемое выражение жалости, горя и нежности.

— Бедный мой хозяин! — говорил он.— Помрачение ума, вот оно что. Какое несчастье! Но дружбу из сердца не вырвешь! Навеки с вами — если надо будет, на смерть с вами пойду!

Слезы и слова Маркаса опечалили меня; но это было лишь безотчетным откликом на его волнение, которое передалось мне еще и потому, что ослабела моя воля; о случившемся я ничего не помнил. Я кинулся в его объятия, и он прижал меня к груди в порыве отеческих чувств. Я ощущал, что какое-то ужасное не-

счастье тяготеет надо мной, но боялся узнать, в чем именно оно состоит. Ни за что на свете не стал бы я расспрашивать об этом Маркаса.

Он взял меня за руку и повел через лес. Я покорно следовал за ним, точно малое дитя, но затем снова впал в изнеможение. Около получаса ему пришлось ожидать, пока я соберусь с силами. Наконец мы встали, и ему удалось довести меня до Рош-Мопра; мы добрались туда поздно вечером. Не помню, как прошла ночь. Позднее Маркас рассказывал, что у меня начался страшный бред. Ничего не говоря, он послал в ближайшую деревню за цирюльником, тот пустил мне утром кровь, и вскоре ко мне вернулся рассудок.

Но какую ужасную услугу мне этим оказали! *«Мертва! Мертва! Мертва!»* — вот единственное слово, которое я мог выговорить. Я безудержно рыдал и метался в постели. Рвался из дому, хотел бежать в Сент-Севэр. Мой бедный сержант то бросался мне в ноги, то становился в дверях, не давая выйти из комнаты. Желая удержать меня, он произносил слова, которых я в то время не понимал, и я уступал лишь его заботливым настояниям да, пожалуй, еще собственному изнеможению, не умея объяснить себе поведение Маркаса. Одна из моих попыток выйти из комнаты привела к тому, что у меня открылась ранка на вене, из которой пускали кровь, и я вынужден был лечь в постель; Маркас ничего не заметил. Мало-помалу я впал в беспамятство и был близок к смерти; увидев, что губы мои посинели, а щеки приобрели лиловый оттенок, он догадался наконец поднять одеяло и обнаружил, что я истекаю кровью.

Впрочем, потеря крови пошла мне только на пользу. Я провел несколько дней в забытьи, на грани между сном и бодрствованием; от слабости я плохо понимал, что происходит, и поэтому не страдал.

Однажды утром Маркасу удалось заставить меня поесть; заметив, как вместе с силами ко мне возвращаются скорбь и тревога, он с трогательной, простодушной радостью сообщил мне, что Эдме не умерла и надежда на ее спасение не потеряна. Эта весть подействовала на меня как удар грома: я все еще верил, что ужасное происшествие — лишь плод моего больного воображения. Я принялся кричать и в отчаянии ломал себе руки. Маркас, стоя на коленях возле моего ложа, умолял меня успокоиться и раз двадцать повторял слова, неизменно производившие на меня впечатление тех лишенных смысла слов, какие слышишь во сне:

— Вы это сделали не нарочно; уж я-то хорошо знаю. Нет, вы это сделали не нарочно. Это несчастный случай, ружье само выстрелило.

— Да что ты там толкуешь? — рассердился я.— Какое еще ружье? Что за несчастный случай? При чем тут я?

— Разве вы не знаете, сударь, каким образом ваша кузина была ранена?

Я сжал виски руками, словно это могло вернуть мне ясность мысли; я был не в силах проникнуть в смысл таинственного происшествия и беспомощно терялся в догадках; мне чудилось, что я схожу с ума, я замер, боясь произнести хоть слово и тем выдать свое безумие.

Наконец мало-помалу мне удалось восстановить в памяти все случившееся; чтобы побороть слабость, я спросил вина, и едва сделал несколько глотков, как события рокового дня, словно по волшебству, вновь прошли перед моим мысленным взором. Я припомнил даже слова Пасьянса, произнесенные над бездыханным телом Эдме. Они словно отпечатались в той части моего мозга, которая сохраняет звучание слов, даже когда спит другая его часть, помогающая нам проникнуть в их смысл. Несколько минут я пребывал в неуверенности, спрашивая себя, не могло ли мое ружье внезапно выстрелить в ту минуту, когда я уходил от Эдме. Однако я отчетливо помнил, что разрядил карабин за час до этого, подстрелив удода, оперенье которого Эдме захотелось рассмотреть вблизи; кроме того, когда послышался звук сразившего ее выстрела, ружье еще было у меня в руках — я швырнул его наземь лишь несколько мгновений спустя,— и, стало быть, если оно и выстрелило при падении, то лишь тогда, когда Эдме была уже ранена. К тому же я находился довольно далеко от кузины, и если даже допустить, что карабин выстрелил раньше, чем мне казалось, пуля все равно не могла бы долететь до нее; наконец, в тот день у меня вообще была с собой только дробь. Да и как могло ружье оказаться заряженным без моего ведома, коль скоро я не снимал его с плеча после того, как убил удода?

Теперь, когда я окончательно убедился в том, что не был виновником ужасного происшествия, мне оставалось найти объяснение поразившей всех катастрофы. В отличие от других, я считал, что это не так уж трудно: должно быть, какой-нибудь неопытный стрелок принял сквозь листву лошадь Эдме за дикое животное, и мне не приходило в голову обвинять кого бы то ни было в преднамеренном убийстве. Но вдруг я понял, что в убийстве Эдме обвиняют меня самого. Маркас открыл мне глаза на истинное положение вещей. Он рассказал, что дядя Юбер и другие участники охоты приписывают все несчастному случаю: они полагают, что мое ружье, к великому моему отчаянию, разрядилось, когда лошадь сбросила меня на землю. На этом, в общем, сходились все. Те несколько слов, что успела произнести Эдме,

подтвердили это предположение. Лишь один человек обвинял меня в преднамеренном убийстве — то был Пасьянс; но обвинение это он высказал только в присутствии двух своих друзей, Маркаса и аббата, взяв с них слово молчать.

— Мне незачем говорить вам,— прибавил Маркас,— что аббат хранит полное молчание и отказывается считать вас виновным. А уж я могу поклясться... никогда...

— Молчи, молчи! — крикнул я ему.— Не говори даже этого: неужели ты допускаешь, что кто-нибудь может поверить в мою виновность? Но, очевидно, Эдме сказала что-то ужасное Пасьянсу; она умерла, и напрасно ты хочешь обмануть меня, она умерла, я ее больше не увижу!

— Нет, не умерла! — вскричал Маркас.

Он принялся клясться, божиться и в конце концов убедил меня, ибо мне было известно, что Маркас не умеет лгать: все существо его восставало даже против спасительной лжи. Но когда я попросил его повторить слова, сказанные Эдме Пасьянсу, он отказался наотрез. Из этого я заключил, что в них содержалось тяжкое обвинение. Тогда я вскочил со своего ложа, резко оттолкнув Маркаса, который пытался меня удержать. Я накинул попону на лошадь арендатора и пустился вскачь. Когда я примчался в замок, то походил на привидение. Я дотащился до гостиной, не повстречав никого, кроме Сен-Жана. Заметив меня, он с воплем ужаса бросился вон, оставив без ответа мои вопросы.

Гостиная была пуста. Вышивание Эдме, покрытое зеленой тканью, которую ее руке, быть может, не суждено было больше никогда откинуть с пялец, напомнило мне гроб под погребальным покровом. Большое дядино кресло уже не стояло теперь в углу, возле камина; мой портрет, написанный в Филадельфии, который я прислал на родину еще из Америки, был снят со стены. Все здесь говорило о смерти и проклятии.

Я поспешно покинул гостиную и поднялся по лестнице с бесстрашием человека, сознающего собственную невиновность. Но в душе моей царило отчаяние. Я направился прямо в комнату Эдме и, постучав, тотчас же нажал дверную ручку. Вышедшая мне навстречу мадемуазель Леблан пронзительно взвизгнула и убежала, закрыв лицо руками, словно увидела хищного зверя. Кто же все-таки посеял ужасные подозрения на мой счет? Неужели аббат поступил так коварно? Позднее я узнал, что Эдме, пока была в сознании, великодушно молчала, но громко обвиняла меня в бреду.

Я приблизился к ее постели; я и сам был почти в бреду и не подумал, что мое неожиданное появление может оказаться для нее роковым; откинув дрожащей рукой полог алькова, я взглянул на Эдме. Никогда еще не приходилось мне видеть столь порази-

тельную красоту. Ее и без того большие черные глаза стали еще больше; хотя и лишенные выражения, они сверкали необычайным огнем, точно бриллианты. Осунувшиеся, побелевшие щеки и бескровные губы делали ее похожей на прекрасную мраморную статую. Она пристально посмотрела на меня с таким безразличным видом, точно перед ней была картина, а не живой человек, и, немного отвернув лицо к стене, прошептала с загадочной улыбкой:

— Этот цветок называется «Edmea silvestris».

Я упал на колени, схватил ее руку и, покрыв поцелуями, разрыдался. Эдме ничего не заметила. Ее ледяная рука недвижно лежала в моей, словно кусок мрамора.

XXIII

Вошел аббат и поклонился с хмурым, холодным видом; затем, уведя меня от постели, сказал:

— Вы безумец! Ступайте к себе и остерегайтесь показываться здесь; это все, что вам остается делать.

— С каких это пор вам дано право изгонять меня из родного дома? — вскричал я, не помня себя от ярости.

— Увы! У вас нет больше ни дома, ни родных,— отвечал он с горестью, которая меня обезоружила.— И отец и дочь обратились в призраки, духовная жизнь в них уже угасла, а сердца их вот-вот перестанут биться. Уважайте же последние минуты тех, кто вас любил.

— Но как могу я выразить свое уважение и горе, если покину их! — воскликнул я в отчаянии.

— На сей счет я не хочу и не могу ничего вам сказать,— отвечал аббат,— вы сами должны понимать, что ваше присутствие здесь дерзостно и кощунственно. Ступайте! Когда их не станет,— а это, увы, произойдет скоро,— вы, если у вас есть права на этот дом, возвратитесь сюда, но меня вы тут наверняка не застанете: я не намерен ни оспаривать, ни подтверждать ваши права. А покамест вы здесь не хозяин, и я заставлю вас уважать агонию этих достойных людей, лежащих на смертном одре.

— Несчастный! — вскричал я.— Не знаю, что мешает мне расправиться с тобою! Что побуждает тебя с таким чудовищным упорством снова и снова поворачивать нож в моей груди? Уж не боязнь ли, что я переживу свою утрату? Неужели ты сомневаешься, что из этого дома вынесут сразу три гроба? Неужели ты не понимаешь, что я пришел лишь затем, чтобы уловить последний взгляд и получить последнее благословение?

— Скажите лучше — последнее прощение,— мрачно заметил аббат, взмахнув рукой, словно вынося окончательный приговор.

— Я скажу, что вы сумасшедший, и не будь вы священником, я задушил бы вас своими руками за то, что вы разрешаете себе так говорить со мной!

— Я не боюсь вас, сударь,— отвечал он.— Отняв у меня жизнь, вы оказали бы мне огромную услугу; жаль только, что ваши угрозы и запальчивость подтверждают обвинения, нависшие над вашей головою. Если б я видел, что вы охвачены раскаянием, я плакал бы вместе с вами; но ваша самоуверенность внушает мне отвращение и ужас. До сих пор я видел в вас лишь буйно помешанного; ныне я вижу в вас злодея. Ступайте прочь!

Я упал в кресло, задыхаясь от ярости и горя. У меня было мелькнула утешительная мысль, что я сейчас умру: ведь рядом угасала Эдме, а передо мною стоял аббат, так твердо убежденный в моей вине, что из мягкого и робкого от природы человека он преобразился в сурового и неумолимого судью. Утрата той, кого я любил, наполняла меня скорбью, я жаждал смерти; но тяготевшее надо мной ужасное обвинение пробуждало мою энергию. Я не мог поверить, что подобный навет способен устоять против правды. Мне казалось, что достаточно будет одного моего взгляда, одного моего слова, и от него не останется следа; но я чувствовал себя настолько разбитым и потрясенным, что это средство защиты было для меня недоступно. И чем неотвратимее тяготело надо мной постыдное подозрение, тем яснее я постигал, что победить его почти невозможно, когда единственное твое оружие — гордое сознание собственной, неведомой другим невиновности.

Я долго пребывал в полном изнеможении, не в силах вымолвить ни слова. Мне казалось, будто голова моя налита свинцом. Дверь снова отворилась, и ко мне подошла мадемуазель Леблан. Смотря на меня ненавидящими глазами, она принужденным тоном сказала, что на лестнице дожидается какой-то человек, который хочет переговорить со мной. Я машинально поднялся и вышел. Возле двери ожидал Пасьянс; он стоял, скрестив руки на груди, необычайно замкнутый и суровый; будь я виновен, выражение его лица внушило бы мне почтение и страх.

— Господин де Мопра,— сказал он,— мне надобно поговорить с вами наедине. Угодно ли вам следовать за мною?

— Да, угодно,— отвечал я.— Я готов перенести любые унижения, лишь бы понять, чего от меня хотят и почему каждый стремится оскорбить несчастнейшего из людей. Идем же, Пасьянс, но поторапливайся, ибо я спешу возвратиться сюда.

Пасьянс шел передо мной с бесстрастным видом. У его домика мы увидели моего бедного сержанта, который, совсем запыхавшись, только что подоспел туда. Не найдя для себя лошади, чтобы поскакать вслед за мною, и не желая выпускать меня из виду, он

почти всю дорогу бежал, обливаясь потом. Тем не менее, завидев нас из виноградной беседки, он живо вскочил со скамьи и двинулся нам навстречу.

— Пасьянс! — воскликнул он драматическим тоном, который в другое время заставил бы меня улыбнуться (но тогда мне было не до смеха!).— Старый сумасброд!.. Клеветник... В ваши-то годы!.. Фи! Сударь... До чего вы дошли... Право...

Пасьянс, сохраняя невозмутимость, пожал плечами и сказал своему другу:

— Маркас, вы не понимаете, что говорите. Ступайте-ка, отдохните в том конце сада. Здесь вам делать нечего, мне надо побеседовать с вашим господином наедине. Ступайте, я так хочу,— прибавил он, легонько подталкивая сержанта, по таким властным тоном, что Маркас, хоть и был человек гордый и самолюбивый, тотчас же подчинился: он привык, не рассуждая, слушаться Пасьянса.

Едва мы остались одни, Пасьянс немедленно приступил к делу и учинил мне допрос, который я решил стерпеть, чтобы скорее получить возможность в свою очередь расспросить его о том, что происходит вокруг меня.

— Угодно ли вам, сударь,— спросил он,— ответить мне, что вы намерены теперь делать?

— Намерен оставаться в доме родных, пока у меня есть родные,— отвечал я,— а что стану делать, когда их больше не будет, никого не касается: это моя забота.

— А если вам скажут, сударь, что вам нельзя оставаться здесь, что вы наносите этим смертельный удар родным,— продолжал Пасьянс,— станете ли вы и тогда упорствовать в своем желании?

— Если бы я был убежден в этом, то не показался бы им больше на глаза; я ожидал бы на пороге дома либо последнего часа их жизни, либо часа их выздоровления, чтобы умолять возвратить мне любовь, которой я по-прежнему достоин...

— Ага! Вот оно что! — проговорил Пасьянс с презрительной усмешкой.— А я-то еще сомневался. Однако оно и к лучшему, теперь-то хоть все прояснилось.

— Что вы хотите этим сказать? — вскричал я.— Говорите, презренный! Объяснитесь!

— Здесь только вы заслуживаете презрения,— холодно ответил он, усаживаясь на единственную скамью, между тем как я остался стоять перед ним.

Любой ценой мне надо было заставить его объясниться. Я сдержал себя и даже унизился до того, что выразил готовность выслушать от него добрый совет, если только он повторит мне

слова, которые Эдме произнесла сразу же после несчастного происшествия, а также расскажет, что она говорила в бреду.

— Ну уж нет! — резко сказал Пасьянс.— Вы недостойны услышать ни полслова из того, что произнесли ее уста, не стану я вам ничего пересказывать. Да и зачем вам знать? Может, еще надеетесь скрыть что-либо от людей? Господь видел все, от него нет тайн. Уходите, живите в Рош-Мопра, ведите себя смирно, а когда ваш дядя умрет и дела ваши будут приведены в порядок, уезжайте отсюда. А ежели хотите меня послушать, уезжайте тотчас же. Я не стану привлекать вас к ответу, разве только вы сами принудите меня к тому своим поведением. Но ведь есть и другие, помимо меня; если они и не знают, как было дело, то, уж во всяком случае, догадываются. Через день-другой чье-нибудь неосторожное слово на людях, болтовня слуг могут привлечь внимание судейских. А когда человек виновен, то от суда до эшафота — один шаг. Я вам не враг, я даже питал к вам дружеские чувства. Послушайте же доброго совета, которому вы, как говорите, склонны последовать. Уезжайте или спрячьтесь и будьте готовы бежать при первой же опасности. Я не хотел бы вашей смерти, Эдме тоже... Так-то... Поняли?

— Вы, верно, с ума сошли, если полагаете, что я последую подобному совету. Мне прятаться? Мне бежать, точно преступнику? Нет, на это не рассчитывайте! Довольно, довольно, я никого из вас не боюсь. Не знаю, что за бешеная ненависть гложет всех вас и сплачивает против меня; не знаю, почему вы стремитесь помешать мне видеть дядюшку и кузину; но я презираю все ваши замыслы, продиктованные безумной злобой. Мое место здесь, и я не уйду отсюда, прежде чем не услышу прямой приказ дядюшки или кузины, и при этом непосредственно из их уст; ибо я не допущу, чтобы меня уведомляли об этом посторонние. Так что благодарю вас за ваши мудрые советы, господин Пасьянс, но с меня хватит собственного разумения. Разрешите откланяться.

Я уже собрался было выйти из хижины, но он кинулся мне наперерез, и я увидел, что он готов применить силу, чтобы удержать меня. Пасьянс был уже стар, но, несмотря на это, мог выдержать схватку с таким рослым и крепким человеком, каким был я, и даже, чего доброго, выйти из нее победителем. Небольшого роста, приземистый, широкоплечий, он был настоящий силач.

Он уже занес руку, чтобы ударить меня, но внезапно опомнился и, движимый сердечной добротой, которая побеждала в нем даже сильнейшие вспышки гнева, посмотрел на меня смягчившимся взором и кротко заговорил:

— Несчастный! Я любил тебя как сына, ибо видел в тебе брата Эдме. Не спеши же навстречу собственной гибели. Закли-

наю тебя именем той, которую ты любил и до сих пор любишь, я это знаю, но которую тебе больше никогда не суждено увидеть! Слушай, еще вчера семья твоя была гордым кораблем, и ты стоял у руля его; но сегодня — это корабль, потерпевший крушение, у него нет больше ни парусов, ни кормчего; теперь вся надежда на команду, как выражается наш друг Маркас. Так вот, злосчастная жертва кораблекрушения, покорно идущая ко дну! Не упорствуй! Я протягиваю тебе канат, хватайся же за него; еще день — и будет поздно. Подумай о том, что, если ты окажешься в руках правосудия, тот, кто сегодня пытается тебя спасти, завтра выступит твоим обвинителем и этим поможет твоему осуждению. Не вынуждай же меня совершить поступок, одна мысль о котором вызывает слезы на глазах. Бернар, дитя мое, ты был любим, живи же сегодня во имя прошлого.

Я не мог сдержать слезы, и сержант, который вошел в это время в хижину, также заплакал и стал умолять меня возвратиться в Рош-Мопра. Но я тотчас же успокоился и, оттолкнув их, сказал:

— Я знаю, вы оба прекрасные, благородные люди и, как видно, сильно любите меня, коль скоро, даже полагая, что я запятнан ужасным преступлением, все еще помышляете о моем спасении. Но успокойтесь, друзья мои, в этом преступлении я неповинен; более того — я желаю, чтобы правосудие пролило свет на это дело, тогда я буду оправдан, можете не сомневаться. Мой долг перед семьей — жить до тех пор, пока честь моя не будет восстановлена. А после этого, раз уж мне суждено увидеть смерть кузины, я пущу себе пулю в лоб: ведь мне уже больше некого любить на земле. Чего же мне страшиться? Жизнью я не дорожу. Пусть господь бог ниспошлет душевный покой и умиротворение в последние часы той, кого я, конечно, не переживу. Вот все, чего я у него прошу.

Пасьянс покачал головою с сумрачным и недовольным видом. Он был настолько убежден в моей вине, что все мои слова, в которых он усматривал лишь запирательство, только отдаляли его от меня. Маркас, наперекор всему, сохранил свою любовь ко мне. Но никто на свете, кроме меня самого, не верил в мою невиновность.

— Если вы намерены возвратиться в замок, вам придется дать клятву, что вы больше не войдете в комнаты своей кузины и дяди без согласия аббата! — воскликнул Пасьянс.

— Клянусь в том, что невиновен, и никому не убедить меня, будто я совершил преступление,— отвечал я.— Прочь с дороги, слышите? Пустите! Если вы полагаете, Пасьянс, что ваш долг донести на меня, ступайте, доносите. Я же хочу только одного: пусть судьи меня выслушают — я предпочитаю суд закона суду молвы!

Я бросился вон из хижины и возвратился в замок. Однако, не желая вступать в бурные объяснения при слугах и хорошо зная, что от меня не смогут скрыть истинное состояние Эдме, я заперся у себя.

Когда к вечеру я вышел из комнаты, чтобы справиться о самочувствии больных, мадемуазель Леблан снова доложила, что меня кто-то спрашивает. Заметив на ее лице выражение злорадства, смешанного со страхом, я понял, что меня пришли арестовать, и решил, что донесла она сама. Это оказалось правдой. Я подошел к окну и увидел во дворе копных стражников.

— Вот и отлично,— проговорил я,— пусть судьба наконец свершит свой приговор!

Но перед тем как, быть может, навсегда покинуть дом, где я оставлял свое сердце, я захотел в последний раз увидеть Эдме. Я направился прямо к ней в комнату. Мадемуазель Леблан вздумала было преградить мне путь, но я так резко оттолкнул ее, что она упала и, кажется, слегка ушиблась. Она разразилась пронзительными воплями, а позднее, во время судебного разбирательства, подняла страшный шум, объявив себя жертвой якобы совершенного мною покушения на ее жизнь.

Итак, я вошел в комнату Эдме. Я застал там аббата и лекаря. Я молча слушал, что говорил медик. Оказалось, что раны ее были не смертельны и даже сами по себе не опасны, однако тяжелое мозговое заболевание заставляло опасаться столбняка. Это ужасное слово прозвучало для меня как смертный приговор. В Америке я не раз видел на войне раненых, погибавших от этой грозной болезни. Я приблизился к постели. Аббат был настолько подавлен, что даже не подумал помешать мне. Взяв руку Эдме, по-прежнему бесчувственную и холодную, я поцеловал ее в последний раз и, не сказав ни слова, вышел во двор навстречу поджидавшим меня стражникам.

XXIV

Я был немедленно заключен в уголовную тюрьму в Шатре; судья в Иссуденском округе возбудил следствие по делу о покушении на жизнь мадемуазель де Мопра и получил разрешение на следующий же день обнародовать увещательное послание. Он прибыл в селение Сент-Севэр, посетил фермы, расположенные в окрестностях леса Кюра́, где произошло несчастье, и опросил больше тридцати свидетелей. Формальное разрешение на мой арест было выдано лишь через неделю после того, как я был задержан. Сам я был слишком подавлен случившимся, никого же другого моя судьба не занимала; вот почему это нарушение закона, как и многие

другие, допущенные в ходе судебного разбирательства, прошло незамеченным. А между тем они недвусмысленно говорили в мою пользу, ибо свидетельствовали о том, что какая-то тайная вражда направляла следствие. На всем протяжении судебного процесса чья-то невидимая рука с неумолимой быстротой и жестокостью действовала мне во вред.

Первоначально следствие опиралось в своем обвинении против меня лишь на показания мадемуазель Леблан. В то время как все охотники в один голос заявили, что ничего не знают и не имеют никаких оснований рассматривать несчастный случай как предумышленное убийство, эта особа, с давних пор ненавидевшая меня из-за шуток, которые я нередко позволял себе на ее счет, и к тому же подкупленная, как выяснилось позднее, заявила, будто Эдме, очнувшись после первого обморока, вовсе не была в бреду и рассуждала вполне здраво. Тогда-то, мол, она и рассказала, прося держать это в секрете, что я ее оскорблял, осыпал угрозами, сбросил с лошади и наконец ранил выстрелом из ружья. Злобная дуэнья искусно воспользовалась признаниями, которые Эдме сделала в бреду, составила довольно связный рассказ и расцветила его всевозможными выдумками, порожденными враждою ко мне. Предвзято толкуя беспорядочные речи и бредовые видения, навеянные ее госпоже горячечным состоянием, она под присягой показала, будто Эдме видела, как я направил на нее дуло своего карабина, воскликнув при этом: «Я тебе это обещал: ты умрешь только от моей руки!»

Допрошенный тогда же Сен-Жан заявил, что знает о происшествии только со слов мадемуазель Леблан, все рассказавшей ему вечером того дня, когда случилось несчастье. Рассказ его полностью совпадал с ее свидетельскими показаниями. Сен-Жан был человек порядочный, но холодный и ограниченный. Ревнуя о точности своих показаний, он не опустил ни одной не идущей к делу подробности моего поведения, которая могла мне повредить. Он утверждал, что я всегда отличался странностями, своенравием и запальчивостью; что я страдал головными болями, от которых впадал в беспамятство; во время неоднократно приключавшихся со мною нервических припадков мне мерещилась чья-то кровь и убийство некой особы, неотступно стоявшей перед моим взором; под конец он упомянул о моем вспыльчивом нраве и о том, что я «способен чем попало запустить в голову человеку, хотя, насколько ему известно, я еще никогда не доходил до приступов такого рода». Вот от каких показаний зачастую зависят жизнь и смерть человека, против которого возбуждено судебное преследование!

В день, когда происходил этот допрос, Пасьянса разыскать не могли. Аббат заявил, что у него пока еще существует весьма неяс-

ное представление обо всем происшедшем и он предпочитает скорее подвергнуться каре, предусмотренной для отказывающихся от дачи показаний свидетелей, нежели отвечать до того, как будет располагать более подробными сведениями. Он просил уголовного судью дать ему отсрочку, поклявшись честью не уклоняться от своего долга перед правосудием и заверив его, что через несколько дней, изучив все обстоятельства дела, он, быть может, и придет к определенному заключению; в этом случае, прибавил аббат, он обязуется открыто высказаться за или против меня. Такая отсрочка была ему предоставлена.

Маркас сказал, что если даже я и был виновником ран, нанесенных мадемуазель де Мопра, в чем он сильно сомневается, то, во всяком случае, виновником невольным. Он готов поручиться своей честью и жизнью за верность этого утверждения.

Вот все, что дал первый опрос свидетелей. Опрос продолжался и в следующие дни; несколько лжесвидетелей показали, будто они видели, как я стрелял в мадемуазель де Мопра после тщетных попыток заставить ее уступить моим желаниям.

Едва ли не самым гнусным орудием судопроизводства при старом режиме было увещательное послание — так именовали уведомление, которое исходило от епископа; священники зачитывали этот обращенный к прихожанам призыв узнавать и сообщать все факты касательно раскрытого преступления. Такой метод воспроизводил, хотя и в смягченных формах, приемы инквизиции, еще открыто господствовавшей в некоторых странах. Чаще всего увещательное послание, учрежденное, кстати сказать, для того, чтобы освятить именем религии доносительство, являло собой образец бессмыслицы и жестокости. Вдохновители его нередко измышляли и само преступление, и все мнимые обстоятельства дела, какие только было желательно доказать лицу, возбуждавшему судебное преследование. Так заранее подготавливали почву, и первый же встречный негодяй, желавший нажиться на несчастье ближнего, мог дать ложные показания в интересах того, кто больше платил... Пристрастно составленное увещательное послание приводило к неизбежным последствиям: оно возбуждало всеобщую ненависть против обвиняемого. Особенно жестоко преследовали жертву святоши, слепо верившие духовенству. Именно так и произошло со мной, тем более что духовенство провинции играло во всем этом деле особую, скрытую роль, едва не предопределившую роковое решение моей судьбы.

Дело, переданное в уголовную палату президиального суда в Бурже, было закончено следствием в короткий срок.

Вам нетрудно представить себе, в каком мрачном отчаянии я находился. Здоровье Эдме все ухудшалось, она совсем лишилась

рассудка. Я не испытывал никакой тревоги относительно исхода процесса, ибо не допускал возможности, что меня уличат в преступлении, которого я не совершал. Но что честь, да и сама жизнь, коль скоро у меня не было надежды оправдать себя в глазах Эдме! Я был уверен, что она умрет, умрет, проклиная меня! Вот почему я бесповоротно решил покончить с собой сразу же после оглашения приговора, каким бы он ни был. А пока я видел свой долг в том, чтобы жить и сделать все необходимое для торжества истины; но я был настолько подавлен, что даже не пытался узнать, как мне надлежало себя вести. Если бы не ум и рвение моего защитника, если бы не удивительная преданность Маркаса, моя бездеятельность привела бы к самым пагубным последствиям.

Служа мне верой и правдой, Маркас все дни проводил в беготне и хлопотах по моим делам. Вечером он без сил опускался на солому, брошенную возле моей койки. Сообщив, в каком состоянии Эдме и ее отец, о которых он ежедневно справлялся, он затем рассказывал мне о предпринятых им шагах. Я с признательностью пожимал ему руку; но чаще всего, погруженный в мысли об опасности, угрожавшей Эдме, уже ничего больше не слышал.

Тюрьма в Шатре, старинная крепость феодальных владетелей нашей провинции Элевен де Ломбо, состояла в ту пору из одной только мрачной квадратной башни, потемневшей от времени. Она высилась на скале за поросшей великолепными деревьями узкой извилистой ложбиной, которую образовала Эндра. Стояла прекрасная погода. В мою каморку, находившуюся в верхней части башни, проникали лучи восходящего солнца; оно освещало тройной ряд тополей, а от них до самого горизонта ложились необычайно длинные и узкие тени. Никогда еще взорам узника не открывалась более радостная, яркая и безмятежная картина. Но разве мог я чему-либо радоваться? Шепот ветерка, игравшего с левкоями, выросшими в расщелинах стены, звучал для меня напоминанием о смерти и позоре. Каждый мирный сельский звук, каждый напев волынки, доносившийся до моего слуха, я воспринимал как оскорбительный для меня намек или как знак глубокого презрения. Во всем, даже в мычании стада, мне чудились безразличие и забвение.

Маркасом с некоторых пор овладела навязчивая идея: он уверял, что Эдме ранил Жан де Мопра. Это было вполне вероятно; но так как я не мог доказать правильность предположения Маркаса, то, едва он поделился со мной своими подозрениями, я строго наказал ему хранить полное молчание. Мне не подобало чернить других, чтобы обелить себя. Хотя Жан де Мопра был способен на все, мысль об этом преступлении, быть может, и не приходила ему в голову. Уже целых полтора месяца о нем ничего не было слышно, и мне казалось низостью выдвинуть подобное обвинение в его от-

сутствие. Я упорно продолжал верить, что это был нечаянный выстрел: кто-либо из охотников, принимавших участие в облаве, по неосторожности ранил Эдме, и только боязнь и стыд мешали ему сознаться, что он виновник беды. У Маркаса достало сил обойти всех участников охоты: пустив в ход весь запас красноречия, которым его наделило небо, он умолял их не страшиться наказания за непредумышленное убийство и не допустить осуждения невинного. Все его попытки ни к чему не привели, и ответы охотников не оставили у моего бедного друга надежды найти с их помощью разъяснение неразгаданной тайны.

Меня перевезли в Бурж, в старинный замок герцогов Беррийских, который с давних пор служит тюрьмой. Разлука с моим верным сержантом была для меня большим горем. Ему бы разрешили последовать за мною, но он боялся, что и его вскоре арестуют по наущению моих врагов (ибо он продолжал считать, что меня преследует чья-то тайная вражда) и тем самым лишат возможности служить мне. Вот почему он не хотел терять ни минуты и решил настойчиво продолжать свои розыски до тех пор, пока его не «упрячут за решетку».

Через два дня после моего водворения в Бурже Маркас предъявил акт, составленный по его требованию двумя нотариусами из Шатра; акт этот на основе показаний десяти свидетелей устанавливал, что незадолго до убийства какой-то нищенствующий монах постоянно бродил по окрестностям Варенны; его замечали в различных селах, расположенных поблизости, а накануне рокового дня он остановился на ночлег в Нотр-Дам де Пулиньи. Маркас утверждал, будто этот монах был Жан де Мопра; одна женщина показала, что признала в нем Жана де Мопра, а другая приняла его за Гоше де Мопра, который весьма походил на Жана. Но Гоше погиб, утонув в пруду на следующий день после падения Рош-Мопра; что же касается Жана, то в день покушения на Эдме траппист и настоятель монастыря кармелитов на глазах у жителей города возглавляли крестный ход и участвовали в церковной службе, связанной с паломничеством в Водеван; служба эта тянулась до самого вечера. Таким образом, свидетельские показания, собранные Маркасом, не только не пошли мне на пользу, но, напротив, произвели на всех самое дурное впечатление и повредили моей защите. Траппист победоносно доказал свое алиби и в один голос с настоятелем монастыря кармелитов истошно вопил, что я подлый злодей. То было время торжества Жана Мопра. Он громогласно заявлял о своем желании отдать себя в руки нелицеприятных судей, дабы подвергнуться каре за былые прегрешения, и никто не допускал мысли, что можно возбудить преследование против такого святого человека. Траппист вызывал в нашей ханжески бла-

гочестивой провинции такое фанатическое преклонение, что ни один судейский чиновник не отважился бы бросить вызов общественному мнению, выступив против монаха. В своих свидетельских показаниях Маркас обращал внимание суда на таинственное и необъяснимое появление трапписта в Рош-Мопра, на попытки монаха проникнуть к господину Юберу и его дочери, на то, с какой наглостью вторгся он в их дом и напугал его обитателей. Маркас упомянул и об усилиях настоятеля, который принуждал меня уплатить значительную сумму Жану де Мопра. Эти показания посчитали вымыслом, ибо Маркас признавал, что в его присутствии монах не появлялся ни разу, а старый кавалер и Эдме не были в состоянии засвидетельствовать правоту Маркаса. В своих показаниях на различных допросах я подтвердил его слова, но чистосердечно заявил, что вот уже два месяца, как траппист не подает мне никаких поводов для недовольства и тревоги; к тому же я отказывался верить, что он совершил убийство; поэтому в течение нескольких дней казалось, что Жан де Мопра будет окончательно оправдан в глазах общественного мнения. То обстоятельство, что я не проявлял враждебности в отношении трапписта, нимало не смягчило моих пристрастных судей. Злоупотребляя той огромной властью, какой они обладали в прежние времена, особенно в глуши, судьи безжалостно торопили вынесение приговора и лишали моего адвоката всякой возможности защищать меня. Некоторые судейские чиновники, чьи имена я не хочу называть, позволили себе публично такие заявления на мой счет, которые делали их недостойными вершить суд как с формальной точки зрения, так и с точки зрения человеческой нравственности. Они строили всяческие козни, пытаясь вырвать у меня признание, и сулили благоприятный исход дела, если я покажу, что рапил мадемуазель Эдме де Мопра, пусть даже непредумышленно. Презрение, с которым я встретил все эти происки, еще больше восстановило их против меня. В те времена, когда правосудие и истина не могли восторжествовать без посредства интриг, я, чуждый всякой интриге, стал добычей двух грозных врагов — духовенства и судейского сословия: духовенство я оскорбил в лице настоятеля монастыря кармелитов, судейские же ненавидели меня за то, что по моей вине Эдме отвергла нескольких претендентов на ее руку, самый злопамятный из которых состоял в близком родстве с влиятельным членом суда.

Тем не менее несколько честных и неподкупных людей, которым я был почти вовсе не знаком, приняли участие в моей судьбе именно потому, что меня так упорно пытались очернить. Один из этих людей, господин Э., пользовался изрядным влиянием, будучи братом интенданта и состоя в добрых отношениях с представите-

лями власти; он весьма помог мне проницательностью, которую выказал, стремясь пролить свет на это запутанное дело.

Пасьянс мог невольно сослужить службу моим врагам уже одной своей убежденностью в моей вине, но он этого не желал. Он возвратился к своей бродячей жизни в лесах и, даже не прячась, стал неуловим. Маркас был крайне озабочен тайными намерениями Пасьянса и ничего не понимал в его поведении. Конные стражники бесились оттого, что какой-то старикашка шатается по окрестностям, водит их за нос и не дается им в руки. Я знал, что Пасьянс благодаря своей привычке обходиться без людей и выносливости может годы прожить в Варенне, скрываясь от полиции, но не сдастся, к чему тоска и страх перед одиночеством вынуждают чаще всего даже самых закоренелых преступников.

XXV

Наступил день судебного разбирательства. Я вошел в залу суда совершенно спокойно, но вид толпы глубоко меня опечалил. Я понял, что не могу рассчитывать ни на ее поддержку, ни на сочувствие. Казалось, у меня было достаточно оснований, чтобы надеяться хотя бы на ту видимость уважения, какую вызывают к себе несчастье и полная беспомощность. Но на всех лицах я читал только грубое и бесстыдное любопытство. Девушки из простонародья, не стесняясь моим присутствием, громко переговаривались между собой и удивлялись моему здоровому виду и молодости. Скамьи были заполнены знатными дамами и женами богатых откупщиков; они вырядились как на праздник и выставляли напоказ великолепные туалеты. В толпе то и дело мелькали бритые головы капуцинов, монахи возбуждали против меня народ, и до моих ушей доносились выкрики: «Разбойник!», «Нечестивец!», «Кровожадный зверь!». Местные острословы сидели, развалясь, на почетных местах и отпускали грубые шуточки насчет моей любви. Я смотрел и слушал со спокойствием, рожденным глубочайшим отвращением к жизни: так путешественник, прибывший к месту своего назначения, с равнодушной усталостью взирает на волнение тех, кто только еще отправляется в далекий путь.

Судебное заседание началось в обстановке той особой торжественности, которая везде и всюду сопутствует отправлению правосудия. Мне было задано бесчисленное множество вопросов, касавшихся всей моей жизни; показания мои были немногословны. Мои ответы решительно обманули ожидания любопытных и намного сократили время судебного разбирательства. Они сводились к трем главным формулам, сущность которых всегда оставалась

неизменной: на все вопросы, касавшиеся моего детства и воспитания, я отвечал, что нахожусь на положении обвиняемого и потому считаю неуместным обвинять других; на вопросы, связанные с Эдме и характером моих чувств и отношений с нею, я отвечал, что достоинство и репутация мадемуазель де Мопра исключают всякую возможность обсуждать характер ее отношений с каким бы то ни было мужчиной; что же касается моих чувств, то я никому не обязан в них отчитываться; на вопросы, имевшие целью заставить меня сознаться в моем мнимом преступлении, я отвечал, что не признаю за собой никакой вины, даже невольной. В своих немногословных ответах я коснулся обстоятельств, непосредственно предшествовавших несчастному случаю; но понимая, что и ради Эдме, и ради себя самого мне надлежит умолчать о неистовых страстях, обуревавших меня, я утверждал, будто покинул ее лишь потому, что лошадь сбросила меня на землю; на вопрос же о том, почему я оказался на таком далеком расстоянии от раненой Эдме, я отвечал, что мне пришлось погнаться за моей лошадью, ибо я хотел и дальше сопровождать мадемуазель де Мопра. По несчастью, все это звучало недостаточно убедительно, да и как могло быть иначе? Конь мой умчался в направлении, противоположном тому, какое я указывал, и растерянность, в которой я находился еще до того, как узнал об убийстве, нельзя было объяснить только тем, что я вылетел из седла. Меня с особенным пристрастием допрашивали, почему я оказался в лесу наедине с кузиной, вместо того чтобы присоединиться к охоте, как мы намеревались; никто не хотел верить, что мы заблудились, что в тот день наш путь, как видно, предопределялся роком. Трудно представить себе судьбу в образе некоего наделенного разумом существа, вооруженного карабином и подстерегающего Эдме в определенном месте, у башни Газо, чтобы подстрелить ее именно в те пять минут, когда я отойду от нее, говорили мне. Судьям хотелось во что бы то ни стало доказать, будто я обманом или силой завлек ее в это пустынное место, чтобы совершить над нею насилие, а затем убить ее — либо из мести (если бы мой замысел не увенчался успехом), либо из боязни, что мое преступление будет раскрыто и я понесу за него наказание.

Были выслушаны все свидетели обвинения и защиты. Говоря по правде, среди последних в расчет можно было принимать одного лишь Маркаса. Все остальные утверждали только, что некий монах, «похожий на Мопра», бродил по Варенне незадолго до рокового дня; он, вероятно, скрылся вечером, вскоре после того, как произошло несчастье. Во всяком случае, больше его не видели. Эти свидетельские показания, которых я не искал и на которые не собирался опираться в своей защите, повергли меня, однако, в не-

малое изумление: дело в том, что среди свидетелей находились самые порядочные люди нашей округи. Но слова их обратили на себя внимание одного лишь господина Э., советника суда, который действительно добивался установления истины. Он возвысил голос, дабы спросить, как могло случиться, что господин Жан де Мопра не был вызван в суд для очной ставки с этими свидетелями защиты, коль скоро он позаботился о том, чтобы документально засвидетельствовать свое алиби. Этот запрос был встречен негодующим ропотом. Надо сказать, что в зале было немало и таких людей, в чьих глазах Жан де Мопра вовсе не был святым; но моя судьба их совершенно не трогала, и они пришли сюда лишь для того, чтобы насладиться зрелищем суда.

Восторгу святош не было границ, когда траппист внезапно вышел из толпы и, откинув театральным жестом свой капюшон, смело приблизился к перегородке, отделявшей судей от публики. «Я жалкий грешник, достойный всяческого поношения,— сказал монах,— но сейчас, когда установление истины — долг всех и каждого, я почитаю себя обязанным подать пример искреннего смирения и подвергнуться любым испытаниям, которые могли бы помочь судьям проникнуть в сущность дела». Среди собравшихся раздался громкий гул одобрения. Трапписта провели к столу трибунала и устроили очную ставку со свидетелями. Те в один голос, без колебаний, заявили, что монах, которого они видели, был в таком же одеянии, как этот, и между ними, бесспорно, заметно фамильное сходство, но все же видели они не этого монаха; на сей счет ни у кого из свидетелей не возникало сомнений.

Этот эпизод дал еще один повод для торжества трапписта. Никому, однако, не пришло в голову, что свидетели, проявившие такое чистосердечие, должно быть, и в самом деле видели какого-то другого трапписта. Тут мне вспомнилось, что во время первой встречи с аббатом, возле источника Фужер, Жан де Мопра упомянул о каком-то монахе своего ордена, который вместе с ним совершал паломничество и остановился на ночлег на ферме Гуле. Я счел нужным сообщить об этом своему защитнику, и он зашептался с аббатом, сидевшим на скамье свидетелей; тот сразу же припомнил разговор, но не мог прибавить ничего нового.

Когда наступила очередь аббата давать свидетельские показания, он бросил на меня взгляд, выражавший душевную муку; на глазах его выступили слезы, и он отвечал на вопросы, связанные с соблюдением судебных формальностей, еле слышным от волнения голосом. Когда же его стали допрашивать по существу, он сделал над собой усилие и сказал следующее:

— Мы находились в лесу, когда господин Юбер де Мопра попросил меня выйти из коляски и узнать, что произошло с его до-

черью Эдме: она уже давно удалилась в сторону от охотников, и это сильно тревожило ее отца. Я зашел довольно глубоко в чащу и обнаружил шагах в тридцати от башни Газо господина Бернара де Мопра. Он был в сильном замешательстве. Незадолго до того я услышал звук выстрела. Я обратил внимание, что в руках у него не было карабина, он бросил его,— разряженным, как это было установлено,— в нескольких шагах от того места, где мы встретились. Мы оба добежали до мадемуазель де Мопра. Она лежала на земле, пронзенная двумя пулями. Человек, опередивший нас и находившийся в то мгновение рядом с нею, один только мог бы передать слова, которые он слышал из ее уст. Когда я подошел к ней, она уже была без сознания.

— Но вам отлично известны слова названной вами особы,— заметил председатель суда,— ибо вы, как говорят, связаны узами дружбы со слышавшим их просвещенным крестьянином по имени Пасьянс.

Аббат заколебался и спросил, не вступают ли в данном случае законы совести в противоречие с законами судебной процедуры? Имеют ли право судьи требовать от человека, чтобы он открыл тайну, доверенную его чести, и тем самым нарушил клятву?

— Вы поклялись здесь перед господом нашим Иисусом Христом говорить правду, только правду,— ответили ему,— и вам надлежит знать, имеет ли эта клятва большую силу, чем все те, какие вам приходилось давать доселе.

— Однако если бы я выслушал это признание на исповеди,— упорствовал аббат,— вы бы, конечно, не уговаривали меня разгласить его.

— Вы давно уже никого больше не исповедуете, господин аббат,— возразил председатель.

При этом малоуместном замечании на лице Жана де Мопра появилось выражение жестокой радости, и он вновь предстал перед моим взором таким, каким я его знал в годы моей юности, когда он корчился от смеха при виде страданий и слез.

Этот небольшой выпад против аббата раздосадовал его и придал сил, которых ему не хватало. С минуту аббат стоял потупясь. Всем казалось, что он смирился, но когда он вновь поднял голову, в его взгляде сверкнуло лукавое упрямство, присущее священникам.

— Взвесив все хорошенько,— проговорил он кротко,— я полагаю, что совесть повелевает мне умолчать об этом признании; так я и сделаю.

— Обер,— нетерпеливо сказал прокурор,— вы, видимо, не знаете, какое наказание предусматривает закон в отношении свидетелей, которые ведут себя подобно вам.

— Нет, знаю,— отвечал аббат еще более кротко.

— Надеюсь, вы не собираетесь навлечь на себя это наказание?

— Если потребуется, я не уклонюсь от кары,— молвил аббат с едва уловимой улыбкой, исполненной гордости и столь совершенного благородства, что все женщины были растроганы, а ведь женщины — тонкие ценительницы истинного величия души!

— Ну что ж, отлично,— продолжал прокурор.— Стало быть, вы собираетесь упорствовать и продолжаете отказываться от дачи показаний?

— Нет, отчего же?

— Угодно вам сообщить суду, слышали ли вы после покушения на мадемуазель де Мопра признания, которые она делала в бреду или придя в себя?

— Об этом я вам ничего не скажу,— отвечал аббат.— Я погрешил бы против собственных убеждений и поступил бы дурно, ежели бы стал повторять здесь ее слова: то, что она говорила в бреду, ничего не доказывает, а то, что поведала в ясном уме, она доверила мне, движимая поистине дочерней привязанностью.

— Ну что ж, отлично,— повторил прокурор, вставая,— по нашему требованию суд удалится на совещание и примет решение в связи с вашим отказом давать свидетельские показания, относящиеся к существу дела.

— А покамест,— заявил председатель суда,— я, в силу предоставленной мне чрезвычайной власти, повелеваю взять господина Обера под стражу и заключить в тюрьму.

Аббата, по-прежнему сохранявшего скромный и достойный вид, увели. Публика прониклась к нему уважением, и в зале царило глубокое безмолвие, несмотря на все старания раздосадованных монахов и священников, которые исподтишка поносили еретика.

Допрос свидетелей подходил уже к концу (надо заметить, что те из них, кто был заранее подкуплен, оказались весьма посредственными актерами), когда на сцену выступила мадемуазель Леблан, дабы увенчать дело. Я с удивлением открыл, насколько эта девица была ожесточена против меня и как ловко направляли ее вражду. Впрочем, она располагала чрезвычайно могущественным оружием, при помощи которого могла причинить мне большой вред. Привыкнув подслушивать у дверей и проникать в семейные тайны, как это свойственно прислуге, мадемуазель Леблан, будучи к тому же ловкой притворщицей и изощренной лгуньей, подтасовала и изложила в нужном ей духе все те факты, которые могли привести к моей гибели. Она рассказала, каким образом я семь лет назад прибыл в замок Сент-Севэр вместе с мадемуазель

де Мопра, которую спас от грубых и злобных покушений моих дядюшек.

— То, что я сейчас сказала,— обратилась она к Жану де Мопра, угодливо кланяясь,— не относится, конечно, к святому человеку, здесь присутствующему, который из великого грешника превратился в великого праведника. Но какой ценой,— продолжала она, вновь поворачиваясь к судьям,— презренный разбойник спас мою дорогую госпожу? Он обесчестил ее, господа, и потом всю свою жизнь бедная барышня проводила в слезах, мучаясь от стыда: она не могла забыть совершенного над нею насилия. Слишком гордая, чтобы признаться кому бы то ни было в своем несчастье, и слишком честная, чтобы обманывать, она порвала с господином де ла Маршем, которого любила страстно и который ее любил так же. Она отвергала все предложения, делавшиеся ей на протяжении семи лет, и все это из одного только чувства чести, ибо ненавидела господина Бернара. Сначала барышня хотела покончить с собой: она дала наточить небольшой охотничий нож, принадлежавший ее отцу,— господин Маркас здесь, он может это подтвердить, если ему будет угодно припомнить, как было дело,— и наверняка убила бы себя, если бы я не бросила этот нож в колодец у нас во дворе. Барышня неустанно думала, как ей защитить себя ночью от нападений своего преследователя. Пока нож находился у нее, она, ложась спать, всегда клала его под подушку; каждый вечер она запирала на задвижку дверь своей комнаты, и не раз мне доводилось видеть, как она вбегала к себе бледная, почти теряя сознание, запыхавшись, как человек, за которым гнались и который очень испугался. Но со временем этот молодчик несколько пообтесался и научился прилично себя вести, и тогда барышня, поняв, что ей не суждено иметь другого мужа, ибо Бернар непрестанно грозил убить каждого, кто будет претендовать на ее руку, прониклась надеждой, что он перестанет быть таким дикарем, и сделалась с ним очень добра и ласкова. Она даже ходила за ним во время его болезни, но не потому, что любила и уважала его, как изволил заявить господин Маркас в своих показаниях: барышня просто боялась, как бы Бернар в бреду не проговорился перед слугами или ее отцом о том, какое оскорбление он ей нанес,— ведь она всячески старалась это скрыть из стыдливости и гордости. Присутствующие здесь дамы должны все это хорошо понимать. Когда в семьдесят седьмом году вся семья Мопра отправилась на зиму в Париж, господин Бернар снова стал проявлять свою ревность и норов и столько раз угрожал убить господина де ла Марша, что барышне пришлось порвать с этим достойным человеком. После этого между нею и Бернаром произошло объяснение, сопровождавшееся ужасной сценой, и барышня объявила ему, что не любит его и никогда не полюбит.

Вне себя от гнева и ярости,— ибо, слов нет, он был влюблен, *как тигр,*— Бернар уехал в Америку и все шесть лет, что находился там, присылал письма, которые свидетельствовали о том, что он заметно исправился. Ко времени его приезда барышня уже приняла решение навсегда остаться в девицах и вновь обрела свое обычное спокойствие. Господин Бернар, со своей стороны, как будто остепенился. Но так как он виделся с барышней каждодневно, вечно стоял опершись на спинку ее кресла или помогал ей разматывать шерсть и о чем-то шептался с нею, пока господин Юбер спал, то он снова воспылал такой страстью, что просто голову потерял. Не хочу я зря винить его, беднягу, я верю — место ему скорее в сумасшедшем доме, чем на виселице. Все ночи напролет он вопил и ревел да строчил ей письма до того глупые, что она, бывало, пробежит их глазами, улыбнется, а затем сунет в карман и оставит без ответа. Кстати, вот одно из них, я нашла его за корсажем у барышни, когда раздевала ее после несчастья. Письмо пробито пулей и все в крови, но его можно прочесть и убедиться, что этому господину не раз хотелось убить барышню.

Она положила на стол обожженное порохом и пропитанное кровью письмо, которое вызвало среди присутствующих движение ужаса — у одних искреннее, у других притворное.

Перед тем как огласить письмо, мадемуазель Леблан дали закончить показания. Ее заключительные слова привели меня в глубокое смятение, ибо я перестал различать грань между искренностью и вероломством.

— После несчастного случая,— заявила она,— барышня все время находится между жизнью и смертью. Ей, конечно, не встать на ноги, что бы там ни говорили лекари. Я осмеливаюсь утверждать, что эти господа, наблюдающие больную лишь в определенные часы, хуже меня понимают ее истинное состояние: ведь я все ночи возле нее провожу! Они говорят, будто ее раны заживают хорошо, она-де просто не в своем уме. А я утверждаю, что раны ее заживают плохо, зато ум яснее, чем думают. Барышня заговаривается очень редко, а если когда и заговорится, то лишь в присутствии лекарей, которые сбивают ее с толку и пугают. Она до того боится показаться им сумасшедшей, что и впрямь в уме мешается; но стоит ей остаться наедине со мною, или с Сен-Жаном, или с господином аббатом, который отлично мог бы объяснить все, как есть, когда бы только захотел, и она сразу становится спокойной, мягкой и разумной, как прежде. «Мне,— говорит она нам с Сен-Жаном,— впору умереть, до того я страдаю»,— а лекарей барышня уверяет, будто ей полегчало. Она вспоминает о своем убийце с великодушием, достойным истинной христианки, и повторяет сто раз на дню: «Пусть бог простит ему на том свете, как я прощаю ему на

этом! Что ни говорите, убить женщину можно только от большой любви! Напрасно я не вышла за него замуж,— быть может, он и сделал бы меня счастливой. Я довела его до отчаяния, и он мне отомстил. Милая Леблан, смотри не выдай мою тайну! Одно неосторожное слово приведет его на эшафот, и мой отец умрет с горя». Бедная барышня и не подозревает, как дело обернулось, ей и в голову не приходит, что я, повинуясь закону и религии, поневоле говорю о том, о чем хотела бы умолчать: она ведь думает, что я поехала в город за покупками, а я-то пришла сюда, чтобы рассказать вам всю правду. Одно только меня утешает — все это будет нетрудно скрыть от господина Юбера: ведь он совсем как малое дитя стал. Ну, а я только исполнила свой долг; теперь бог мне судья!

Мадемуазель Леблан выпалила это единым духом и даже глазом не моргнула. Поэтому, когда она пошла к своему месту, ее проводили гулом одобрения. Затем суд приступил к чтению письма, найденного на груди Эдме.

Это было то самое письмо, которое я написал за несколько дней до роковой охоты. Мне предъявили его; я не сдержался и поднес к губам бумагу, обагренную кровью Эдме; затем, бросив беглый взгляд на письмо, я возвратил его, спокойно заявив, что оно написано мною.

Оглашение этого письма окончательно меня погубило. По воле рока, который, как нарочно, изобретает всяческие напасти для своих жертв, все строки, свидетельствовавшие о моей покорности и уважении к Эдме, были уничтожены (кто знает, быть может, чья-то подлая рука способствовала этому). Поэтические обороты, объяснявшие и во многом оправдывавшие мои восторженные бредни, не поддавались прочтению. Зато приковали к себе внимание и показались особенно убедительными оставшиеся нетронутыми строки, которые свидетельствовали о моей неистовой страсти и горячечном бреде. Чего стоили такие фразы: «Иногда среди ночи я вскакиваю, охваченный желанием убить вас! Я бы совершил это уже сто раз, если бы верил, что перестану любить вас, когда вы умрете. Будьте же осторожны, ибо во мне живут два человека, и порою разбойник прежних дней берет верх над новым человеком», и т. д. Такие фразы вызывали злорадную усмешку на устах моих врагов. Мои защитники пали духом, даже бедняга Маркас уставился на меня с потерянным видом. Публикой я уже был осужден.

После оглашения этого письма прокурору ничего не стоило произнести громовую обвинительную речь, в которой он представил меня закоренелым развратником, проклятым отпрыском проклятого рода, являющим собою пример роковой неотвратимости

заложенных природой дурных наклонностей. Сначала он всячески изощрялся, стараясь внушить ко мне всеобщее отвращение и страх, а затем, желая придать себе вид человека беспристрастного и великодушного, попытался вызвать в судьях сочувствие ко мне. Он утверждал, что я не властен в своих поступках, что под влиянием картин жестокости и пороков, свидетелем коих я был с детства, я серьезно поврежден в уме, и здравый рассудок ко мне никогда не вернется, как бы ни менялись обстоятельства и ни облагораживались мои чувства. Наконец, отдав дань философии и риторике, он, к вящему удовольствию присутствующих, потребовал лишить меня всех прав и приговорить к пожизненному заключению.

Мой защитник был человек мужественный и умный; однако письмо настолько поразило его, публика была так восстановлена против меня, судьи, слушая его, настолько открыто выказывали признаки недоверия и нетерпения (эти недостойные приемы вошли у них в привычку во время судебных заседаний в нашей провинции), что защитительная речь оказалась весьма бледной. Единственное, на чем он упорно настаивал, было требование направить дело на доследование. Защитник сетовал на то, что не все формальности соблюдены, что судебное разбирательство недостаточно осветило все стороны дела, что судьи поторопились начать процесс, хотя многие обстоятельства случившегося еще покрыты тайной. Он потребовал, чтобы медики вынесли заключение насчет того, может ли мадемуазель де Мопра дать показания. Он обращал внимание суда на то, что наиболее важным, единственно важным было бы заслушать свидетеля Пасьянса, который может объявиться в любой день и опровергнуть выдвинутые против меня обвинения. И, наконец, он потребовал, чтобы были предприняты розыски нищенствующего монаха, чье сходство с членами семьи Мопра, подтвержденное достойными доверия свидетелями, до сих пор еще не было объяснено. По его мнению, следовало установить, куда девался Антуан де Мопра, и заставить трапписта высказаться на сей счет. Он заявил во всеуслышание, что его лишили всякой возможности подкрепить свою защиту, отказав хоть сколько-нибудь отсрочить процесс; у него достало смелости намекнуть, что чья-то злая воля заинтересована в слепом и быстром решении этого дела. Председатель суда призвал его к порядку. Прокурор с победоносным видом заявил, что все формальности были соблюдены, что суду, мол, все совершенно ясно, что разыскивать нищенствующего монаха было бы просто нелепо, ибо Жан де Мопра засвидетельствовал, что его брат Антуан умер несколько лет назад. Суд удалился на совещание и, возвратившись всего лишь через полчаса, огласил приговор, обрекавший меня на смертную казнь.

XXVI

Этот скорый и жесткий приговор свидетельствовал о допущенной несправедливости. Он поразил даже самых яростных моих недругов, но я принял этот удар с полным спокойствием: ничто больше не интересовало меня на земле. Я поручил богу заботу о своей душе и о восстановлении своего доброго имени. Я сказал себе, что если Эдме умрет, то я соединюсь с ней в ином, лучшем мире; если же она переживет меня и к ней возвратится рассудок, то в один прекрасный день она откроет истину и тогда я стану жить в ее сердце, пробуждая милые и горестные воспоминания. Я всегда легко поддавался гневу и приходил в ярость, если что-нибудь становилось мне поперек пути; но, к собственному моему удивлению, в решительные минуты жизни я обретал философскую покорность судьбе и молчаливую гордость; так произошло и в этом случае.

Было два часа ночи. Судебное разбирательство продолжалось уже четырнадцать часов. Мертвая тишина царила в зале, никто из присутствующих не покинул здания суда, все были столь же внимательны, как в начале процесса,— так жадны люди до зрелищ! Зала суда являла собою в ту минуту зловещую картину. Люди в красных мантиях, столь же бледные, непроницаемые и неумолимые, как члены Совета Десяти в Венеции; женщины с цветами в волосах, походившие на призраки и казавшиеся при тусклом блеске светильников видениями прошлого, витавшими где-то под сводами над жрецами смерти; мушкеты стражников, сверкавшие во мраке на заднем плане; раздавленный отчаянием бедняга Маркас, в изнеможении опустившийся у моих ног; охваченный немой, но нескрываемой радостью траппист, все время стоявший у барьера, отделявшего судей от публики; зловещий звон монастырского колокола, ударившего по соседству к заутрене и расколовшего тишину залы,— всего этого было достаточно, чтобы взволновать жен откупщиков и заставить быстрее биться сердца в широкой груди кожевников, сидевших внизу.

Внезапно, когда судьи уже собрались объявить о закрытии заседания и разойтись, среди мелькающих бликов, едва освещавших толпу, возникла фигура, походившая на фигуру Дунайского крестьянина, каким его обычно рисуют, и коренастый человек в лохмотьях, босой, с длинной бородою и всклокоченными волосами, с высоким строгим лбом, с властным сумрачным взором встал перед судейским столом и произнес звучным и низким голосом:

— Я, Жан ле У, по прозвищу Пасьянс, выступаю против этого судебного решения, как несправедливого по существу и незаконного по форме. Я требую, чтобы оно было пересмотрено и чтобы были выслушаны мои показания, которые могут иметь большое,

быть может, решающее значение для исхода дела, так что пренебрегать ими не стоило бы.

— Ежели вы имели что-либо сообщить суду,— в негодовании вскричал прокурор,— то почему не явились, когда вас разыскивали? Вы вводите в заблуждение суд, утверждая, будто у вас есть важное сообщение.

— А вы вводите в заблуждение присутствующих, утверждая, будто у меня нет важного сообщения,— отвечал Пасьянс еще медленнее и громче, чем раньше.— Вы-то отлично знаете, что я многое могу сказать суду.

— Вспомните, где вы находитесь, свидетель, и к кому обращаетесь!

— Я это слишком хорошо знаю и потому не скажу ничего лишнего. Торжественно заявляю, что должен сообщить весьма важные сведения и сообщил бы их вовремя, если бы вы не понуждали время служить вам на потребу. Я намерен их сообщить, и я их сообщу; верьте мне, будет лучше, если я оглашу их, пока есть возможность пересмотреть решение. Это еще важнее для судей, чем для осужденного, ибо он воскресает, когда восстанавливается его честь, зато осудившие его умирают в бесчестии.

— Свидетель, язвительность и дерзость ваших речей принесут больше вреда, чем пользы, обвиняемому! — воскликнул раздраженный судья.

— А кто вам сказал, что я на стороне обвиняемого? — спросил Пасьянс громовым голосом.— Что знаете вы обо мне? Быть может, я просто хочу, чтобы незаконный и не имеющий силы приговор стал приговором законным и непреложным!

— Как согласовать ваше желание заставить уважать закон,— продолжал судья, невольно поддаваясь влиянию речей Пасьянса,— с тем, что вы сами совершили правонарушение, не явившись на вызов уголовного судьи?

— Я не явился потому, что не хотел.

— К тем, чья воля не согласуется с законами королевства, применяются суровые наказания.

— Возможно.

— Явились ли вы сегодня с намерением подчиниться закону?

— Я пришел с намерением заставить вас уважать закон.

— Предупреждаю, что, если вы не измените тон, я прикажу отправить вас в тюрьму.

— А я предупреждаю вас, что если вы служите правосудию и веруете в бога, то вам надо прислушаться к моим словам и приостановить исполнение приговора. Не подобает тому, кто возвещает истину, унижаться перед теми, кто ищет ее! Но вы, вы слышите меня, сыны народа, вы, над кем, конечно, не посмеют глу-

миться великие мира сего, вы, кого называют гласом божьим! Присоединитесь же ко мне в деле защиты истины, которая, быть может, вот-вот будет погребена из-за злосчастного стечения обстоятельств или же, в лучшем случае, восторжествует когда-либо с помощью иных средств. На колени, сыны народа, братья мои, дети мои! Просите, молите, добейтесь того, чтобы правосудие свершилось и неправый гнев был обуздан! Это ваш долг, ваше право, ваше кровное дело: когда попирают законы, оскорбляют вас и угрожают вам.

Пасьянс говорил с таким жаром, искренняя убежденность придавала такую силу его словам, что он покорил своих слушателей. Философия в ту пору была в большой моде среди молодых людей знатного происхождения, поэтому они не могли не откликнуться первыми на призыв, хотя он и был обращен не к ним. Они стремительно поднялись, движимые рыцарским чувством, и повернулись к народу, а тот, увлеченный благородным примером, поднялся вслед за ними. По залу прошел грозный гул, и каждый, осознав собственное достоинство и силу, забыл свои предубеждения, дабы слиться с другими в общем порыве. Так иногда достаточно бывает одного благородного движения, одного правдивого слова, чтобы наставить на путь истинный множество людей, которых долгое время вводили в заблуждение софизмами.

Решение отсрочить исполнение приговора было встречено аплодисментами, и меня вновь отвели в тюрьму. Маркас последовал за мною. Пасьянс, которого я хотел поблагодарить, исчез.

Пересмотр моего дела мог быть произведен только по постановлению Большого королевского совета. Еще до вынесения приговора я твердо решил не обращаться в эту кассационную палату, существовавшую в прежние времена; но поведение и речь Пасьянса оказали на меня не меньшее влияние, чем на публику. Воля к борьбе и чувство человеческого достоинства, заглушенные и подавленные во мне горем, внезапно пробудились, и я понял тогда, что не подобает человеку всецело погружаться в отчаяние, приходить к тому, что именуют самоотречением или стоицизмом. Никто не может отказаться от заботы о своей чести, не подрывая тем самым уважение к самому понятию чести. Принести свою славу и жизнь в жертву тайным велениям совести — что может быть прекраснее? Но не защищать их против ярости несправедливого преследования просто трусость. Я почувствовал, что вырос в собственных глазах, и последние часы этой знаменательной ночи провел, лихорадочно обдумывая, каким способом я могу опровергнуть обвинение. Если раньше я безвольно покорялся року, то теперь во мне возродилась воля к борьбе. Вместе с верой в соб-

ственные силы ко мне вернулась надежда. Кто знает, возможно, Эдме не лишилась рассудка и раны ее не смертельны? Она может еще простить меня, она может еще исцелиться!

«Как знать? — повторял я себе.— Быть может, она уже оправдала меня в своем сердце; быть может, это она посылает Пасьянса мне на помощь; я, конечно, исполню ее желание, ежели соберусь с духом и не дам погубить себя подлыми кознями».

Но как добиться решения Большого совета? Для этого нужен был королевский указ. Кто исхлопочет его? Кто заставит судей решить дело без тех отвратительных проволочек, к которым они прибегают, когда им вздумается, хотя перед тем сами весьма поспешно вынесли приговор? Кто помешает врагам вредить мне и парализовать все мои действия? Одним словом, кто станет сражаться за меня? Один только аббат мог бы это сделать, но он попал в тюрьму. Его великодушное поведение на процессе показало, что он еще оставался мне другом, но теперь он был лишен возможности действовать. Что мог сделать Маркас при его скромном положении, да еще будучи косноязычным? Снова наступил вечер, и я уснул с надеждой на помощь свыше, ибо горячо молился богу. Несколько часов сна освежили меня. Пробудился я от шума отодвигаемого засова. Боже милосердный! Как передать мою радость, когда я увидел Артура, моего товарища по оружию, брата по духу, от которого у меня не было тайн все шесть лет, что мы пробыли вместе! Он бросился ко мне на шею, я заплакал, как дитя, узрев в его приезде знак благосклонности провидения. Артур не обвинял меня! В Париже, куда привела его необходимость представлять научные интересы Филадельфийской библиотеки, он услышал о нависшем надо мной ужасном обвинении. Он скрестил копья со всеми моими клеветниками и, не теряя ни минуты, приехал, дабы спасти меня либо утешить.

Я излил перед ним свою душу, что было для меня отрадой, и сказал ему, чем он может мне помочь. Он хотел в тот же вечер отправиться в почтовой карете в Париж, но я попросил его сначала побывать в Сент-Севэре и сообщить мне новости об Эдме; уже четыре мучительных дня я ничего о ней не знал, к тому же Маркас никогда не доставлял мне таких точных и подробных сведений, как мне хотелось бы.

— Утешься,— сказал Артур,— от меня ты узнаешь истину. Я ведь лекарь, и недурной; у меня наметанный глаз, я смогу тебе почти с уверенностью сказать, чего следует страшиться и на что надеяться; затем я безотлагательно отправлюсь в Париж.

Спустя два дня Артур прислал мне длинное и подробное письмо.

Эдме находилась в весьма странном состоянии. Она не разговаривала и, казалось, не страдала, пока ее ограждали от какого бы то ни было нервического волнения; но с первым же словом, которое будило в ней воспоминание о пережитых горестях, у нее начинались конвульсии. Самым главным препятствием на пути к выздоровлению Эдме стала ее полная отчужденность от всего окружающего. Ей был обеспечен наилучший уход: возле нее неотлучно находились два знающих врача и очень опытная сиделка. Мадемуазель Леблан также ходила за ней с большим рвением, но эта коварная дуэнья зачастую причиняла ей вред своими неуместными рассуждениями и нескромными расспросами. Артур, кстати, заверил меня, что если Эдме когда-либо считала меня виновным и высказывалась на сей счет, то это могло происходить только в начале ее болезни, ибо уже две недели она находилась в состоянии полного безразличия, сопровождавшегося упадком сил. Она часто впадала в дремоту, но забыться крепким сном не могла; ей давали какой-то густой отвар, и она послушно пила его; на вопросы врачей, страдает ли она, Эдме всегда отвечала отрицательно, нехотя покачивая головой; она ничем не показывала, что помнит о привязанностях, наполнявших прежде ее жизнь. Однако нежность к отцу, это столь глубокое и сильное в ней чувство, не совсем угасла; нередко она долго лила слезы и в эти минуты, вероятно, не слышала ни звука. Тщетно окружающие пытались убедить Эдме в том, что отец ее вовсе не умер, как она, видимо, полагала. С мольбой в глазах она словно отстраняла от себя рукой не столько шум (казалось, он не достигал ее слуха), сколько суету, происходившую вокруг. Спрятав лицо в ладонях, съежившись в своем кресле и уткнувшись головой в колени, она предавалась безутешному горю. По словам Артура, он в жизни своей не видел картины более печальной, чем это немое отчаяние (с которым сама Эдме не только не боролась, но даже и не хотела бороться), чем эта сломленная воля когда-то сильной натуры, которая прежде была способна укрощать самые неистовые бури, а теперь покорно плыла по морской глади при полном затишье. Казалось, Эдме уже утратила все связи с жизнью. Мадемуазель Леблан, желая испытать или растревожить Эдме, напрямик сказала больной, будто отец ее умер. Та кивнула головою в знак того, что ей это известно. Через несколько часов врачи попытались убедить ее, что он жив; на этот раз она покачала головой, как бы говоря, что не верит. Тогда в комнату вкатили кресло господина Юбера; отца и дочь поместили рядом, но они не узнали друг друга. Однако через несколько мгновений Эдме, приняв своего отца за призрак, разразилась ужасными воплями, у нее начались конвульсии, одна из ран открылась, и

жизнь ее оказалась в опасности. После этого окружающие никогда больше не помещали отца и дочь в одной комнате и не произносили в присутствии Эдме ни слова о нем. Она приняла Артура за одного из местных врачей и встретила его с той же кротостью и безразличием, как и других. Он не отважился заговорить с нею обо мне. И все же мой друг убеждал меня не отчаиваться. Болезнь Эдме казалась ему вполне излечимой, нужны были только время и покой; у нее не было сильного жара, ни одна из жизненно важных функций ее организма не была серьезно нарушена; раны почти совсем зажили, а мозг, по-видимому, не пришел в расстройство, несмотря на горячечный бред. Вялость ума и телесная слабость не могли, по мнению Артура, в конечном счете устоять перед силой молодости и на редкость крепким здоровьем Эдме. Он уговаривал меня подумать наконец о самом себе; ведь я мог еще принести пользу кузине своими заботами и вновь почувствовать себя счастливым, вернув ее привязанность и уважение.

Через две недели Артур возвратился из Парижа с королевским указом о пересмотре моего дела. Снова были выслушаны свидетели. Пасьянс не появился, но я получил от него клочок бумаги, на котором было нацарапано: «Вы невиновны, надейтесь». Врачи установили, что мадемуазель де Мопра может быть допрошена без вреда для ее здоровья, однако свидетельство ее нельзя принимать в расчет. Эдме чувствовала себя лучше. Она узнала отца и больше не разлучалась с ним. Но все, что не относилось непосредственно к отцу, ее по-прежнему совсем не трогало. Казалось, она испытывала огромное удовольствие, ухаживая за ним, как за ребенком. Старик, со своей стороны, время от времени узнавал дорогую дочь, но силы его заметно таяли. В одну из минут просветления дядюшку допросили. Он отвечал, что дочь его действительно упала с лошади во время охоты и напоролась на острый сук, поранив себе грудь; никто и не думал стрелять в нее, даже непредумышленно, и надо быть просто безумцем, чтобы поверить, будто ее кузен способен на подобное преступление. Вот все, чего удалось от него добиться. Когда же его спросили, как он объясняет себе отсутствие племянника, старик ответил, что племянник его вовсе не находится в отсутствии и он видится с ним ежедневно. Хотел ли он с помощью этих ребяческих выдумок избавиться от судебного расследования и сохранить тем самым остатки уважения к семье, доброе имя которой, увы, уже так сильно пострадало? Этого мне так никогда и не удалось узнать. Эдме допрашивали, но безрезультатно. При первом же заданном вопросе она пожала плечами и отвернулась, как бы желая, чтобы ее оставили в покое. Когда же уголовный судья стал настойчиво

требовать ответа, она пристально посмотрела на него, словно силясь понять, чего от нее хотят. Он произнес мое имя, Эдме громко вскрикнула и лишилась чувств. Пришлось отказаться от продолжения допроса. Однако Артур не терял надежды. Напротив, узнав об этой сцене, он высказал предположение, что в помраченном рассудке Эдме может произойти благоприятный перелом. Он тут же уехал в Сент-Севэр и провел там несколько дней. Все это время он ничего не писал мне, что повергло меня в страшнейшее беспокойство.

Вторично допрошенный, аббат продолжал упорствовать, спокойно и односложно отказываясь давать показания. Мои судьи, ввиду того что сведения, обещанные Пасьянсом, не поступали, торопились закончить пересмотр дела, и это послужило новым подтверждением их враждебного ко мне отношения. Назначенный день наступил. Меня снедала тревога. Артур написал мне, чтобы я не терял надежды; письмо его было почти так же немногословно, как и записка Пасьянса. Мой адвокат не мог обнаружить ни одного благоприятного для меня обстоятельства, хоть сколько-нибудь заслуживающего внимания. Я отлично видел, что и он начинает верить в мою виновность. Он надеялся добиться новой отсрочки, и только.

XXVII

Народу в зале было еще больше, чем в первый раз. Толпа оттеснила стражу к дверям и заполнила площадь до самых стен замка Жака Кера, ныне городской ратуши в Бурже. На сей раз я был весьма встревожен, хотя у меня достало силы и гордости не выказывать этого. Теперь я был заинтересован в успешном исходе процесса и, полагая, что моим надеждам, как видно, не суждено сбыться, испытывал несказанную тоску, сдержанную ярость, почти что ненависть к людям, которые упорно не желали признать мою невиновность, и к богу, который, казалось, покинул меня.

Я был так поглощен борьбой с самим собою, с обуревавшими меня чувствами, так старался казаться спокойным, что почти не замечал происходившего вокруг. Однако мне удалось обрести нужное присутствие духа и ответить на предложенные вопросы в тех же выражениях, как и в первый раз. Затем над моей головой словно сомкнулся могильный мрак, виски стянуло железным обручем, ледяной холод сковал мои глазницы, я ничего не видел в двух шагах от себя, до меня доносились лишь смутные и едва различимые звуки. Не знаю, что произошло; не знаю, возвестили

ли заранее о появлении новых лиц, но для меня оно было полной неожиданностью. Помню только, как за спиной судей отворилась дверь и Артур прошел вперед, бережно ведя даму под вуалью; он усадил ее в широкое кресло, которое поспешно подкатили пристава, а затем откинул вуаль с ее лица; гул восхищения прокатился по залу, когда бледное и прекрасное лицо Эдме предстало взорам присутствующих.

В это мгновение я забыл о толпе, о судьях, о тяготевшем надо мною обвинении, обо всем на свете. Думаю, никакие силы человеческие не могли бы остановить меня в тот миг. С быстротой молнии оказался я возле Эдме и, упав к ее ногам, в самозабвении обнял ее колени. Мне говорили потом, что мой поступок расположил ко мне публику, дамы плакали. Молодые щеголи не посмели насмехаться, судьи были взволнованы. Истина на минуту полностью восторжествовала.

Эдме долго смотрела на меня. Лицо ее было неподвижно и словно мертво. Казалось, она никогда не узнает меня. Все в глубоком молчании ожидали, какое чувство выразит она — ненависть или привязанность. Внезапно она залилась слезами, обвила руками мою шею и лишилась чувств. Артур тут же приказал унести ее; меня с трудом заставили возвратиться на место. Не сознавая больше, ни где я нахожусь, ни что происходит вокруг, я вцепился в платье Эдме и хотел последовать за нею. Обратившись к суду, Артур попросил, чтобы врачи, осматривавшие Эдме утром, вновь обследовали ее. Он испросил также у суда согласие на то, чтобы мадемуазель де Мопра опять была вызвана для дачи свидетельских показаний и очной ставки со мною, когда нервное потрясение, которое она только что испытала, пройдет.

— Это потрясение не опасно,— сказал он,— мадемуазель де Мопра перенесла уже несколько подобных приступов за последние дни, а также во время переезда в Бурж. И после каждого из этих приступов в ее помраченном рассудке наступал перелом к лучшему.

— Подите окажите помощь больной,— сказал председатель суда.— Она будет вновь вызвана через два часа, ежели вы полагаете, что этого времени достаточно для того, чтобы она вполне оправилась после обморока. А пока суд заслушает свидетеля, чьи показания не были приняты во внимание при вынесении первоначального приговора.

Артур удалился. В зал ввели Пасьянса. Он был одет в праздничное платье; едва он произнес несколько слов, как остановился и заявил, что не сможет продолжать, если ему не разрешат снять куртку. Одежда с чужого плеча так стесняла его, старику с не-

Monpa

привычки было так жарко в ней, что пот градом катился по его лицу. Едва дождавшись кивка председателя суда, который сопроводил его презрительной улыбкой, Пасьянс сбросил наземь куртку — этот атрибут цивилизованного человека — и, старательно засучив рукава рубахи на жилистых руках, заговорил приблизительно в таких выражениях:

— Я буду говорить правду, одну только правду. Я во второй раз поднимаю руку для присяги, ибо мне придется высказывать противоречащие друг другу вещи, которые я и сам не могу объяснить себе. Клянусь перед богом и перед людьми говорить то, что знаю, что сам видел и слышал, не пытаясь никого обелить или опорочить.

Он поднял широкую ладонь и повернулся к народу с каким-то наивным доверием, как бы желая сказать: «Вы все видите, что я приношу присягу, и вы-то знаете, что на меня можно положиться». У него были основания так думать. После появления Пасьянса во время первого судебного разбирательства многие заинтересовались этим необыкновенным человеком, который так смело держался с судьями и здесь же, в зале, обратился с речью к народу. Поведение Пасьянса возбудило немалое любопытство и привлекло к себе симпатии со стороны демократов и «филадельфов». Произведения Бомарше снискали себе успех в высших классах, и это поможет вам понять, почему Пасьянс, выступивший против властей нашей провинции, нашел поддержку и одобрение у всех тех, кто кичился своим возвышенным образом мыслей. В нем хотели видеть Фигаро в новом обличье. Молва о личных добродетелях Пасьянса получила широкое распространение; вы, конечно же, помните, что в годы моего пребывания в Америке Пасьянс приобрел известность среди жителей Варенны и прослыл благодетелем, как раньше слыл колдуном. Ему дали прозвище «главного судьи», ибо он охотно разбирал тяжбы и прекращал их с удивительной добротой и искусством, так что обе стороны оставались довольны.

На этот раз он говорил громко и проникновенно, и голос его подчас звучал необычайно красиво. Жесты, которыми он сопровождал речь, были то стремительны, то плавны, но неизменно сохраняли благородство и покоряли слушателей; его широкое лицо с бугристым сократовским лбом всегда освещала возвышенная мысль. Пасьянс обладал всеми качествами оратора, но был лишен ораторского тщеславия. Он выражался точно и ясно, эту манеру речи он приобрел в частом общении с людьми и в постоянных спорах об их насущных интересах.

— Когда мадемуазель де Монра была ранена,— начал он,— я находился шагах в десяти от нее; но лес в этом месте такой гу-

стой, что я не мог ничего различить даже на расстоянии двух шагов. Меня пригласили принять участие в охоте. Да только развлечение это не по мне! Однако ж, снова оказавшись вблизи башни Газо, где я прожил двадцать лет, я испытал желание опять заглянуть в свою прежнюю келью и поспешил к башне, как вдруг до моего слуха донесся звук выстрела. Это меня ничуть не испугало — где охота, там и пальба! Но когда я выбрался из чащобы, иначе говоря, минуты через две, я увидел на земле Эдме — простите меня, я привык называть ее просто по имени, ведь она мне как бы названая дочь. Она стояла на коленях, не выпуская из рук повода, лошадь ее встала на дыбы. Вы уже знаете, что Эдме была ранена, но бедняжка еще не ведала, насколько тяжела рана; приложив руку к груди, она твердила: «Бернар, это ужасно! Никогда бы я не поверила, что ты способен стрелять в меня. Бернар, да где же ты? Подойди, я умираю. Ты убиваешь папеньку!» Проговорив это, она упала навзничь и выпустила повод из рук. Я кинулся к ней. «Ах, ты видел его, Пасьянс,— обратилась она ко мне.— Никому ни слова об этом, ничего не говори отцу...» Она раскинула руки, тело ее выпрямилось. Я подумал, что она умерла. Эдме вновь заговорила лишь ночью, после того как из ее груди извлекли пули.

— Видели ли вы возле пострадавшей Бернара де Мопра?

— Я увидел его на месте происшествия в ту минуту, когда Эдме упала замертво и, как мне казалось, уже готова была испустить дух; он был словно помешанный. Я решил, что его мучат угрызения совести, я был суров с ним, назвал его убийцей. Он ничего не ответил и уселся на землю возле Эдме. И долго еще после того, как ее унесли, сидел он на земле, тупо уставившись вдаль. Никому не приходило в голову обвинять его; все думали, что он упал с лошади, ибо видели, как его лошадь без седока мчалась по берегу пруда; решили, что его карабин выстрелил при ударе о землю. Лишь господин аббат Обер слышал от меня прямое обвинение в убийстве по адресу господина Бернара. В последовавшие затем дни Эдме разговаривала, но происходило это не всегда в моем присутствии, к тому же она почти все время бредила. Я утверждаю, что никому — и, уж конечно, не мадемуазель Леблан! — она не открыла того, что произошло между нею и господином де Мопра перед тем, как раздался ружейный выстрел. Не открыла она этого и мне. В те редкие минуты, когда Эдме находилась в сознании, она в ответ на наши расспросы твердила, что, конечно же, Бернар не мог ранить ее преднамеренно; в первые дни после ранения она даже несколько раз выражала желание увидеть его. А когда у нее начинался бред, она кричала: «Бернар! Бернар! Ты совершил ужасное преступление, ты убил моего

отца!» Это она себе крепко в голову забрала; она и впрямь думала, что отец ее умер, и думала так довольно долго. Стало быть, очень немногое из того, что она говорила, можно принимать в расчет. Все речи, которые мадемуазель Леблан приписала Эдме де Мопра, придуманы свидетельницей. Через три дня после ранения Эдме произносила одни только бессвязные слова, а через неделю болезнь и вовсе обрекла ее на полное молчание. Но вот уж неделя, как к ней вернулся рассудок, и она тотчас же прогнала мадемуазель Леблан, что довольно ясно говорит против этой находившейся у нее в услужении горничной. Вот все, что я имею показать против господина Бернара де Мопра. От меня одного зависело умолчать об этом; но, намереваясь добавить и кое-что другое, я не хочу ничего утаивать.

Пасьянс сделал паузу. И публика, и сами судьи, которые, постепенно утрачивая враждебность и предубеждение в отношении меня, уже проникались ко мне сочувствием, так и замерли, услышав совсем не те свидетельские показания, каких ожидали.

Пасьянс снова заговорил.

— Несколько недель,— продолжал он,— я был убежден в преступлении Бернара. Но я много размышлял над этим; не раз я говорил себе, что столь добрый и просвещенный человек, как Бернар, человек, которого Эдме так уважала, а господин Юбер де Мопра любил как сына, словом, человек, в котором столь сильны понятия справедливости и истины, не способен ни с того ни с сего стать злодеем. И тогда меня осенила мысль, что ранить Эдме мог кто-нибудь другой из рода Мопра. Я имею в виду не того новообращенного трапписта,— прибавил Пасьянс, ища глазами Жана де Мопра, которого не было в зале,— я говорю о его брате Антуане, чья смерть не была никем засвидетельствована, хотя суд и нашел возможным пройти мимо этого факта и поверить на слово господину Жану де Мопра.

— Свидетель,— прервал его председатель суда,— считаю нужным напомнить вам, что вы находитесь здесь не в качестве адвоката подсудимого и не для того, чтобы оспаривать решения суда. Вам надлежит говорить лишь о том, что вам самому известно, а не излагать свои предположения по существу дела.

— Возможно,— отвечал Пасьянс.— Однако ж я хочу объяснить, почему в прошлый раз отказался свидетельствовать против Бернара: ведь тогда я мог представить суду лишь доказательства его вины, в которую сам не верил.

— Сейчас вас об этом не спрашивают, не уклоняйтесь в сторону от свидетельских показаний.

— Погодите! Мне, с вашего разрешения, надлежит защитить собственную честь и объяснить собственное поведение.

— Вы ведь не обвиняемый, так что вам пока ни к чему защищать самого себя. Если суд сочтет нужным возбудить против вас преследование за неподчинение, тогда вы будете думать о том, как защищаться; но теперь речь идет не об этом.

— Речь идет о том, чтобы помочь суду разобраться, честный я человек или лжесвидетель. Простите, но мне сдается, что это имеет касательство к разбираемому делу; от моих показаний зависит жизнь обвиняемого, и суд не может отнестись к этому безразлично.

— Говорите,— сказал прокурор,— но старайтесь сохранять уважение, какое надлежит выказывать суду.

— В мои намерения не входит оскорблять суд,— продолжал Пасьянс,— я только говорю, что каждый человек может не подчиняться вашим требованиям по соображениям собственной совести; и если суд, следуя закону, может осудить такого человека, то каждый судья в отдельности должен понять и извинить его. Итак, я сказал, что в душе не верил в виновность Бернара де Мопра; я своими ушами слышал, как его обвинили в убийстве, но этого для меня было недостаточно. Прошу прощения, господа, но ведь мне и самому приходится разбирать тяжбы. Разузнайте обо мне; в нашей округе меня зовут «главным судьей». Когда земляки просят меня высказаться по поводу ссоры в кабачке или по поводу спорной межи на поле, я руковожусь не столько их суждениями, сколько своими собственными. О человеке судят не по одному только содеянному им поступку; все его предшествовавшее поведение позволяет определить, верно или неверно суждение о том поступке, который вменяется ему в вину. Повторяю: я не в силах был поверить, что Бернар — убийца; и вот, услышав из уст, по крайней мере, десятка людей, которых я почитаю не способными лжесвидетельствовать, что какой-то монах, «похожий на Мопра», шатался по окрестностям, и увидев своими глазами спину и клобук этого монаха, который появился в Пулиньи в то утро, когда была ранена Эдме, я захотел разузнать, все ли еще он находится в Варенне, и мне стало известно, что он все еще там; вернее сказать, он отлучался из Варенны, но снова возвратился сюда в прошлом месяце, когда происходил суд, и, что самое главное, не раз виделся с господином Жаном де Мопра. «Кто ж он такой, этот монах? — спрашивал я себя.— Почему лицо его внушает страх всем местным жителям? Что делает он в Варенне? Если он принадлежит к ордену кармелитов, почему он не носит одежды, предписанной этому ордену? Если же он траппист, как и господин Жан, почему не поселился вместе с ним в одном и том же монастыре? Если он нищенствующий монах, почему, закончив сбор подаяний, не уходит в другое место, а продолжает надоедать людям, которые

уже подавали ему милостыню накануне? Если он траппист, но почему-то не хочет оставаться в монастыре кармелитов, как его собрат, зачем не возвращается в свою обитель? Кто же он такой, этот бродячий монах? И почему господин Жан де Мопра говорил нескольким людям, будто монах ему незнаком? Ведь на самом деле он знаком ему столь близко, что они время от времени вместе завтракают в одном кабачке в Креване». И вот тогда-то я и захотел дать свои показания; пусть даже они могли малость повредить Бернару, зато я получил возможность рассказать вам то, что сейчас рассказал, даже если это ни к чему не приведет. Но так как вы, господа хорошие, никогда не даете свидетелям времени разобраться в том, о чем им предстоит свидетельствовать, то я, не мешкая, удалился в свои леса, где жил, как живут лисицы; я дал себе клятву не выходить оттуда, пока не разузнаю, что делает в нашем краю этот монах. Итак, я пошел по его следу и наконец узнал, кто он такой: зовут его Антуан де Мопра, и он пытался убить Эдме де Мопра.

Эти слова произвели сильное впечатление на членов суда и вызвали движение в зале. Все стали искать глазами Жана де Мопра, но его нигде не было видно.

— Какие вы можете представить доказательства сказанному? — спросил председатель суда.

— Сейчас приведу их,— отвечал Пасьянс.— Узнав от кабатчицы в Креване, которой я некогда оказал услугу, что у нее, как я вам только что говорил, частенько завтракают два трапписта, я поселился неподалеку от кабачка в уединенном месте, именуемом Пещерой фей. Пещера эта расположена в лесной чаще, и любой прохожий может найти здесь себе готовый приют. Она выбита в скале, и, кроме огромного камня для сидения, в ней ничего больше нет. Я прожил там двое суток, питаясь кореньями и хлебом, который мне время от времени приносили из кабачка. Не в моих правилах останавливаться в харчевне. На третий день сынишка кабатчицы прибежал предупредить меня, что оба монаха садятся за стол. Я поспешил к кабачку и спрятался в погребе, что выходит в сад. Дверь в погреб скрыта раскидистой яблоней; под этой-то яблоней господа монахи и закусывали на свежем воздухе. Господин Жан был трезв; его спутник ел как кармелит, и пил как францисканец. Из моего убежища мне все было видно и слышно.

«Хватит с меня,— говорил Антуан, которого я без труда признал, увидев, как он пьет, и услышав, как он сквернословит.— Мне осточертела жизнь, которую я веду по твоей милости. Спрячь меня у кармелитов, не то я подниму шум».

«Попробуй только поднять шум, кабан безмозглый, тотчас же угодишь на плаху,— отвечал ему господин Жан.— Будь уверен,

ноги твоей не будет у кармелитов; я вовсе не желаю, чтобы меня втянули в уголовный процесс, ибо в монастыре тебя живо раскусят».

«Это еще почему, скажи на милость? Ведь тебе-то удалось убедить их, что ты праведник!»

«Я умею вести себя как праведник, а вот ты ведешь себя как болван. Ведь ты не можешь и часу прожить, чтобы не браниться, и всякий раз бьешь посуду после обеда!»

«Скажи-ка, братец *Непомук,* неужто ты надеешься выйти сухим из воды, если против меня будет возбуждено уголовное преследование?» — спросил Антуан.

«Отчего же нет? — отвечал траппист.— Я ведь к твоей дурацкой выходке непричастен и не подстрекал тебя ни к чему подобному».

«Ха-ха! Вот так святой! — И Антуан с хохотом откинулся на спинку стула.— А ведь сейчас, когда дело сделано, ты, кажется, доволен? Ты всегда был трусом и без меня вовек не придумал бы ничего лучше, чем постричься в монахи, корчить из себя святошу, а затем каяться здесь в прошлых грехах, чтобы получить возможность вытянуть немного деньжат у Сорвиголовы, у старого кавалера из Сент-Севэра. Есть чего добиваться, черт побери! Сдохнуть под клобуком, после того как всю жизнь нуждался в деньгах, не вкусил и малой доли удовольствий, да еще прятался при этом, как крот в норе! Ну ладно, ладно! Когда милягу Бернара вздернут, красотка Эдмонда помрет, а старые кости долговязого Юбера Сорвиголовы зароют в землю, мы унаследуем все их славное состояньице, и тогда ты признаешь, что это было ловко подстроено: ведь мы разом отделались от троих! Мне трудно корчить из себя святошу: я-то ведь не привык к монастырям, и монашеская ряса мне не пристала; поэтому я отказываюсь быть монахом и ограничусь тем, что воздвигну часовню в Рош-Мопра и буду там причащаться четыре раза в году».

«Все, что ты натворил,— глупо и низко!»

«Неужели! Вам ли говорить о низости, мой сладчайший братец? Полегче, не то я заставлю тебя проглотить эту бутылку вместе с сургучом!»

«Я говорю, что это было глупо, и если все обойдется, тебе надо будет поставить толстенную свечу пресвятой деве; но если ты попадешься, я умываю руки, так и знай! Когда в Рош-Мопра, спрятавшись в потайной комнате, я услышал, как Бернар рассказывал после ужина своему слуге, что он с ума сходит по красотке Эдме, я вскользь заметил, что тут можно бы сыграть веселую шутку, а ты, скотина, принял все это всерьез и, даже не посоветовавшись со мной, не выждав благоприятной минуты, привел в исполнение

замысел, который следовало еще хорошенько обдумать и взвесить».

«Что ты там толкуешь о благоприятной минуте, заячья твоя душа! А доколе было ее ожидать? *Доброму вору все впору!* Охотники застали меня в лесной чаще, я спрятался в этой проклятой башне Газо, и, как нарочно, туда являются оба моих голубка; до меня доносится их разговор, такой, что со смеху лопнуть можно: Бернар слезливо умоляет, девочка ломается; затем Бернар уходит как последний дурак — мужчина так не поступает! И тут, черт знает откуда, в руках у меня оказывается пистолет, да еще, каналья, заряженный! *Паф!..*»

«Молчи ты, дикарь, скотина! — испуганно воскликнул Жан.— Разве о таких вещах говорят в кабаке? Придержи язык, несчастный! Иначе я с тобой встречаться перестану».

«Однако ж, милейший братец, нам придется встретиться, когда я позвоню у дверей обители кармелитов и подниму там переполох».

«Посмей только, я донесу на тебя!»

«Не донесешь, ведь и я о тебе кое-что знаю...»

«Я тебя не боюсь, я покаялся и искупил свои грехи».

«Притворщик!»

«Ну, будет тебе буянить,— сказал траппист.— Мне пора уходить. Вот деньги».

«Всего-то!»

«Много ли возьмешь с монаха? Ты, видно, меня богачом считаешь?»

«Твои кармелиты богаты, а ты вертишь ими как хочешь».

«Даже если бы я и мог дать больше, я бы не стал этого делать. Окажись у тебя в руках два луидора, ты тут же напьешься и поднимешь шум, тебя прямо на месте и схватят».

«Ты, стало быть, хочешь, чтобы я отсюда убрался? А на какие средства прикажешь мне жить?»

«Разве я уже трижды не давал тебе денег на дорогу? Но ты тотчас возвращаешься, пропив их в первом же притоне соседней провинции. Откуда у тебя столько наглости берется? Особенно сейчас, когда после показаний видевших тебя людей все только и говорят о каком-то монахе, когда стражники подняты на ноги, когда Бернар добился пересмотра дела и тебя, того и гляди, схватят».

«Ну, это уж, братец, твоя забота, ты держишь в своих руках кармелитов, а кармелиты — епископа, бог знает почему: не потому ли, что он малость пошалил после ужина в их монастыре, вкупе с братией, разумеется, келейно?..»

Здесь председатель суда прервал Пасьянса:

— Я призываю вас к порядку, свидетель. Вы оскорбляете достоинство духовного сановника скандальным пересказом подобной беседы.

— Вовсе нет,— отвечал Пасьянс,— я просто передаю клеветнические обвинения, возведенные распутником и убийцей на духовного сановника; от себя я ничего не прибавляю, и каждый из присутствующих знает, как ему следует ко всему этому отнестись; но если вам угодно, я больше ничего не скажу на сей счет. Итак, братья еще довольно долго препирались. Траппист подлинный требовал, чтобы траппист мнимый убрался из здешних мест, а тот упорствовал в своем желании остаться, говоря, что если его не будет поблизости, то брат добьется его ареста, как только Бернару отрубят голову: он-де не остановится перед этим, чтобы прикарманить себе все наследство. Доведенный до крайности, Жан всерьез пригрозил Антуану донести на него и передать его в руки правосудия.

«Полно! Ты ни в жизнь не посмеешь этого сделать, как бы ни грозился,— возразил Антуан.— Ведь если Бернар будет оправдан — прощай наследство!»

На этом они расстались. Траппист подлинный удалился с весьма озабоченным видом, а траппист мнимый захрапел, уронив голову на стол. Я вышел из своего укрытия, чтобы добиться распоряжения об его аресте. И вот тут-то стражники, которые давно уже гнались за мною по пятам, чтобы препроводить в суд для дачи показаний, задержали меня. Напрасно указывал я на монаха как на убийцу Эдме, они ничего не желали слушать и ответили, что у них нет приказа о его аресте. Я хотел было поднять против него деревню, но мне не дали говорить; меня везли сюда от заставы к заставе, точно дезертира, и вот уже целая неделя, как я в темнице, а никто даже не пожелал выслушать мои жалобы. Мне даже не позволили повидать защитника господина Бернара и сообщить ему, что я в тюрьме; только сейчас тюремщик предупредил меня, что надо одеться и *пожаловать* в суд. Не знаю, отвечает ли все это правилам судопроизводства, но со всей определенностью заявляю, что убийцу можно было задержать, а он между тем не задержан и не будет задержан, если вы не озаботитесь заняться особой господина Жана де Мопра, чтобы помешать ему предупредить не скажу его сообщника, но человека, которому он покровительствует. Я готов присягнуть, что, судя по разговору, который я слышал, господин Жан де Мопра не может быть заподозрен в сообщничестве. Что же касается попытки добиться осуждения невинного по всей строгости закона и спасти виновного, не останавливаясь даже перед тем, чтобы доказывать мнимую смерть преступника при помощи лжесвидетельств и фальшивых документов...

Пасьянс, заметив, что председатель суда вновь намеревается прервать его, поторопился закончить свою речь словами:

— ...что до этого, господа, то вам, а не мне дано право судить Жана Мопра.

XXVIII

После этого важного свидетельства заседание суда было прервано на несколько минут, и, когда оно возобновилось, перед судьями предстала Эдме. Бледная и разбитая, она с трудом дошла до приготовленного для нее кресла; тем не менее она проявила во время допроса необычайную выдержку и присутствие духа.

— Чувствуете ли вы себя в состоянии отвечать спокойно и без волнения на вопросы, которые вам будут предложены? — спросил председатель суда.

— Надеюсь, сударь,— отвечала она.— Правда, я только что перенесла тяжелую болезнь и всего несколько дней, как ко мне вернулась память; но полагаю, что она вернулась ко мне совершенно и мой ум теперь вполне ясен.

— Ваше имя?

— Соланж-Эдмонда де Мопра. Edmea silvestris,— прибавила она вполголоса.

Я задрожал. Когда она произносила эти столь неуместные здесь слова, в глазах ее мелькнуло странное выражение. Мне показалось, что она сейчас снова начнет заговариваться. Мой защитник испуганно и вопрошающе посмотрел в мою сторону. Никто, кроме меня, не понял двух этих слов, которые Эдме часто повторяла во время болезни. По счастью, то было последним проявлением ее душевного недуга. Она тряхнула своей прелестной головкой, словно желая отогнать навязчивую мысль, и, когда председатель суда осведомился, что означают эти непонятные слова, ответила с кротостью и достоинством:

— Не обращайте внимания, сударь; соблаговолите продолжать допрос.

— Ваш возраст, мадемуазель?

— Мне двадцать четыре года.

— Вы родственница обвиняемому?

— Да, он мне кузен, внучатный племянник моего отца.

— Клянетесь ли вы говорить правду, одну только правду?

— Да, сударь.

— Поднимите руку.

Эдме повернулась к Артуру с печальной улыбкой. Он снял с ее бессильной кисти перчатку и помог поднять руку, которой она

сама почти не могла двинуть. Я почувствовал, как по щекам у меня текут слезы.

С простодушным лукавством Эдме рассказала, как, заблудившись вместе со мной в лесу, она вылетела из седла, ибо, по ее словам, в порыве усердия я схватил кобылу под уздцы, полагая, что та понесла; происшедшую между нами сцену Эдме изобразила как небольшую ссору, возникшую из-за «нелепого каприза довольно взбалмошной женщины», которой захотелось без посторонней помощи сесть в седло; Эдме прибавила, что, выйдя из себя, она наговорила мне дерзостей, не придавая им никакого значения, ибо она любит меня как брата. Когда же я, глубоко огорченный ее резкостью, отошел по ее требованию на несколько шагов, она, в свою очередь огорчившись, что мы так глупо поссорились, собиралась уже последовать за мной, но внезапно почувствовала нестерпимую боль в груди и упала на землю. Она не могла вспомнить, в какую сторону смотрела и откуда раздался выстрел, да и самый звук выстрела едва расслышала.

— Вот и все, что произошло,— закончила она.— Я меньше, чем кто-либо другой, могу помочь вам разобраться в этом происшествии. Со всей искренностью говорю: я объясняю его только неловкостью какого-нибудь охотника, который все еще боится в этом признаться. Ведь законы так строги, а доказать правду так трудно!

— Стало быть, мадемуазель, вы не думаете, что ваш кузен — виновник этого покушения?

— Нет, сударь, конечно нет! Ведь теперь я уже в здравом уме; я не позволила бы себе предстать пред вами, будь я еще во власти безумия.

— Вы, кажется, хотите приписать горячечному состоянию признания, сделанные вами крестьянину Пасьянсу, вашей компаньонке мадемуазель Леблан и, быть может, также аббату Оберу?

— Я не делала никаких «признаний»,— твердо ответила Эдме,— ни достойному Пасьянсу, ни почитаемому мной аббату Оберу, ни служанке Леблан. Если называть признанием бессвязные слова, которые произносят в горячке, то придется выносить смертный приговор всем, кто привиделся нам в страшных сновидениях. Какое признание могла я сделать касательно события, которое для меня самой осталось загадкой?

— Но в ту минуту, когда вы, раненная, упали с лошади, вы воскликнули: «Бернар, Бернар, я никогда не думала, что ты способен в меня стрелять!»

— Не помню, говорила ли я это; но если даже и сказала что-нибудь подобное, то не понимаю, как можно придавать та-

кое значение словам человека, сраженного выстрелом: ведь разум в это мгновение безмолвствует! Одно только я знаю твердо: Бернар де Мопра, не задумываясь, пожертвует жизнью ради моего отца и меня самой. И уж одно это делает маловероятным предположение, будто он хотел меня убить. Да и зачем, великий боже?

Тогда председатель суда, желая смутить Эдме, привел все доводы, почерпнутые им из свидетельских показаний мадемуазель Леблан. И действительно, было от чего прийти в замешательство. Эдме была поражена тем, что судьи осведомлены о таких вещах, которые, как она полагала, скрыты от посторонних; однако она вновь обрела присутствие духа и гордость, когда ей зачитали выдержки из свидетельских показаний, где с протокольной грубостью, принятой в судебном разбирательстве, было записано, что в Рош-Мопра Эдме сделалась жертвой моего насилия. И тогда, с жаром защищая от клеветы мою порядочность и собственную честь, Эдме заявила, что я вел себя в тот день с благородством поистине изумительным, особенно если вспомнить о полученном мной воспитании. Однако от нее потребовали, чтобы она объяснила и другие обстоятельства ее жизни со времени нашего знакомства: ее разрыв с господином де ла Маршем, частые ссоры со мной, причину моего неожиданного отъезда в Америку, ее нежелание выйти замуж.

— Подобный допрос — просто гнусность! — вскричала Эдме, внезапно поднимаясь; казалось, вместе с душевными силами к ней возвратились и силы физические.— От меня требуют отчета в самых сокровенных моих чувствах, вторгаются в святая святых моей души, пренебрегают моей стыдливостью, присваивают себе права, принадлежащие одному богу. Заявляю вам, что, если бы речь шла здесь о моей жизни, а не о жизни другого человека, вы больше не услышали бы от меня ни единого слова. Но ради того, чтобы спасти жизнь даже последнему из смертных, я готова превозмочь отвращение, которое вызывают во мне такие вопросы; с тем большим основанием я сделаю это ради человека, находящегося перед вами. Если вы принуждаете меня к признанию, противному скромности и достоинству, какие подобают моему полу, то знайте: все, что вам представляется в моем поведении необъяснимым, все, что вы приписываете проступкам Бернара и моей вражде к нему, все, что вы объясняете его угрозами и моими страхами,— все это станет понятным, едва я скажу три слова: *«Я люблю его!»*

Произнеся эти слова, Эдме, зардевшись, вновь опустилась в кресло и закрыла лицо руками; вряд ли когда-либо душа, охваченная глубокой страстью, выражала себя более величественно и гор-

деливо! В это мгновение меня обуял такой восторг, что я был не в силах сдержаться и крикнул:

— А теперь пусть меня ведут на эшафот, я повелитель вселенной!

— На эшафот? Тебя? — вскричала Эдме, вставая.— Скорее туда поведут меня. Разве ты виноват в том, мой бедный мальчик, что вот уже семь лет я таю от тебя свое чувство? Ведь я хотела открыть его лишь тогда, когда ты станешь самым мудрым и просвещенным из людей, ты, кого по праву можно назвать самым благородным и добрым! Ты дорого заплатил за мое тщеславие, коль скоро его толкуют как презрение и ненависть к тебе. Ты должен меня просто ненавидеть: ведь это моя гордыня привела тебя на скамью подсудимых. Но я смою твой позор перед лицом всего мира, и если завтра тебя пошлют на эшафот, ты взойдешь на него моим супругом.

— Великодушие заводит вас слишком далеко, Эдме де Мопра,— вмешался председатель суда.— Чтобы спасти своего родственника, вы готовы обвинить себя в кокетстве и жестокости, ибо как иначе объяснить, что вы семь лет упорно отказывались выйти замуж за этого молодого человека и довели его до крайности?

— А не допускаете ли вы, сударь,— сказала Эдме с лукавой улыбкой,— что вашему суду дело это неподсудно? Многие женщины полагают, что не велик грех пококетничать с человеком, которого любишь. На это, пожалуй, имеешь право, раз уж ты отказалась ради него от всех остальных претендентов. Что может быть невиннее и естественнее желания заставить своего избранника почувствовать, что ты чего-нибудь да стоишь и заслуживаешь, чтобы тебя упорно добивались? Однако если такое кокетство влечет за собою угрозу смертного приговора для любимого человека, то всякая женщина мигом перестанет быть кокеткой. Но возможно ли, господа, что вы и в самом деле решили столь жестоким способом утешить бедного юношу, измученного моей суровостью?

Заключив свою речь этими словами, в которых звучал насмешливый вызов, Эдме разрыдалась. Такая нервная чувствительность обнаруживала все привлекательные черты ее души и ума — нежность, мужество, остроумие, гордость, стыдливость,— и в то же время придавала ее лицу столько обаяния, что даже члены этого сурового и мрачного судилища почувствовали, как с них спадает медная броня невозмутимого бесстрастия и свинцовая мантия ханжеской добродетели. Если Эдме своими признаниями и не сумела полностью защитить меня, то ей удалось, по крайней мере, возбудить ко мне явное сочувствие. Мужчина, любимый прекрасной и

добродетельной женщиной, владеет талисманом, делающим его неуязвимым: каждый понимает, что жизнь этого человека дороже, нежели жизнь других.

Эдме было задано еще много вопросов, и она восстановила истинное положение вещей, изрядно искаженное мадемуазель Леблан; надо признаться, она всячески щадила меня и, главное, с удивительным искусством умела обходить некоторые каверзные вопросы и, таким образом, избегала необходимости либо говорить неправду, либо осуждать меня. Она великодушно принимала на себя вину за все наши ссоры и утверждала, будто столкновения между нами происходили лишь потому, что это доставляло ей тайное удовольствие, ибо она усматривала в моем гневе проявление любви; свое согласие на мой отъезд в Америку она объяснила желанием подвергнуть испытанию мою добродетель; она, по ее словам, сначала, как и все в то время, не допускала мысли, что война продлится дольше года, а потом уже полагала, что честь обязывает меня мириться со всеми бесконечными оттяжками; но она еще больше, чем я, страдала от разлуки; наконец, она не только удостоверила подлинность найденного на ее груди письма, но, взяв его в руки, с удивительной точностью восстановила по памяти отсутствующие строки; при этом Эдме просила секретаря суда следить за тем, как она разбирает наполовину стершиеся слова.

— Письмо это так мало походит на угрозу,— заключила она,— и впечатление, которое оно на меня произвело, было так далеко от страха и отвращения, что я хранила его у своего сердца целую неделю, хотя и не призналась Бернару, что получила его.

— Но вы еще не объяснили,— заметил председатель суда,— почему семь лет назад, в первые дни пребывания кузена у вас в доме, вы не расставались с ножом, который велели наточить на случай неожиданного нападения, и почему вы каждую ночь клали его под подушку?

— Все мы в нашем роду,— отвечала Эдме, покраснев,— отличаемся необузданным воображением и гордым нравом. Это правда, что меня несколько раз охватывало желание убить себя, ибо я чувствовала, как в душе моей зарождается неодолимое влечение к кузену. Считая себя связанной нерасторжимыми узами с господином де ла Маршем, я предпочла бы скорее умереть, нежели нарушить данное слово; в то же время выйти замуж за кого-либо другого, а не за Бернара, было для меня немыслимо. Позднее господин де ла Марш с большой деликатностью и великодушием освободил меня от моего обещания, и с тех пор я больше не думала о смерти.

Эдме удалилась, провожаемая взглядами всех присутствующих и гулом одобрения. Едва выйдя из зала суда, она снова лишилась чувств, но это не повлекло серьезных последствий, и через несколько дней от ее болезненного состояния не осталось и следа.

Я был так потрясен и опьянен признаниями Эдме, что совершенно перестал замечать происходящее вокруг. Все мои помыслы сосредоточились на нашей любви, и все-таки я по-прежнему сомневался: ведь если Эдме скрыла некоторые мои провинности, то она вполне могла также преувеличить силу своей привязанности ко мне, стремясь смягчить этим мои недостатки. Я не мог поверить, что она любила меня еще до моего отъезда в Америку; а то, что она меня полюбила с первого взгляда, казалось мне уж и вовсе невероятным. Одно только это и занимало мои мысли; я словно позабыл об истинной причине происходящего процесса и о том, что мне угрожает. Мне начало казаться, будто вопрос, обсуждаемый этим холодным ареопагом, сводится лишь к одному: любим я или не любим? Победа или поражение, жизнь или смерть — все решалось ответом на этот вопрос.

Меня вернул к действительности голос аббата Обера. Он похудел и осунулся, но был исполнен спокойствия; как выяснилось, его содержали в одиночной камере, и он перенес все строгости тюремного режима с покорностью мученика. Несмотря на принятые меры предосторожности, ловкий Маркас, пронырливый, как хорек, ухитрился передать ему письмо от Артура, в котором содержалось несколько слов и от Эдме. Получив в этом письме разрешение говорить обо всем, аббат дал показания, совпадавшие с показаниями Пасьянса: он признал, что, основываясь на первых словах, произнесенных Эдме после ранения, посчитал меня виновным в преступлении; но затем, видя, что больная находится в состоянии умопомешательства, и вспомнив о моем безупречном поведении за последние шесть лет, а также многое уразумев во время судебного разбирательства и из упорных слухов о появлении в наших краях Антуана де Мопра, он проникся убеждением в моей невиновности и не пожелал свидетельствовать против меня. Если же, продолжал аббат, он все-таки согласился на это сейчас, то потому, что пересмотр дела многое разъяснил суду и его показания не будут иметь тех серьезных последствий, какие они могли бы иметь месяц назад.

Спрошенный о том, какие чувства Эдме питала ко мне, аббат опроверг все измышления мадемуазель Леблан и засвидетельствовал, что Эдме не только пылко любила меня, но что любовь ко мне проснулась в ней с первых же дней нашего знакомства. Он подтвердил это под присягой, упирая несколько больше на мои бы-

лые проступки, нежели это делала Эдме. Он признал, что на первых порах побаивался, как бы мадемуазель де Мопра не совершила опрометчивого шага, выйдя за меня замуж, но никогда не приходилось ему опасаться за ее жизнь, ибо он не раз наблюдал, как она усмиряла меня единым словом и взглядом даже в те времена, когда еще сильно сказывалось мое дурное воспитание.

Продолжение судебного разбирательства отложили до конца розысков, предпринятых для того, чтобы задержать убийцу. Многие были того мнения, что мой процесс похож на дело Каласа, и, как только это мнение утвердилось в обществе, мои судьи, увидя, что они сделались мишенью довольно злых острот, вынуждены были признать, что вражда и предвзятость — дурные советчики и опасные поводыри. Интендант нашей провинции заявил себя моим сторонником и защитником Эдме, которую он самолично отвез к отцу. Он поставил на ноги всю полицию. Начались энергичные розыски, арестовали Жана де Мопра. Как только монах увидел, что ему угрожает опасность, он тут же выдал своего брата и указал, что тот каждую ночь находит себе прибежище в Рош-Мопра, где прячется в потайной комнате; его укрывает арендаторша без ведома своего мужа.

Траписта под надежным конвоем препроводили в Рош-Мопра, с тем чтобы он указал эту потайную комнату, которую старый охотник за ласочками, крысолов Маркас, так и не смог обнаружить, несмотря на свое исключительное умение исследовать стены и стропила. Привезли туда и меня, чтобы я помог отыскать эту комнату или коридоры, которые могли в нее привести, на случай, если траппист заставит усомниться в искренности своих признаний. Таким образом, я вновь увидел этот ненавистный замок и бывшего атамана разбойников, превратившегося в траписта. Жан выказал столь жалкое смирение, так пресмыкался передо мной, выражал мне столь гнусную покорность, с таким равнодушием относился к участи своего брата, что, охваченный неодолимым отвращением, я тут же попросил его более ко мне не обращаться. Под наблюдением стражников, которые не выпускали нас из виду, мы принялись за поиски потайной комнаты. Сначала Жан заявил, будто слышал о существовании этой комнаты, но не может точно указать ее местоположение, так как башня на три четверти разрушена. Но, увидев меня, он тут же вспомнил, что я застал его в комнате, где я ночевал и откуда он исчез, выскользнув через дверь, скрытую в стене. Поэтому он безропотно согласился проводить нас туда и показать секрет потайной двери; секрет этот весьма любопытен, но я не стану его описывать, чтобы не отвлекаться от главного. Мы проникли в потайную комнату, но в ней никого

не оказалось. Между тем экспедиция наша была проведена быстро и с соблюдением должных предосторожностей, и вряд ли Жан успел предупредить брата. Башня была со всех сторон окружена конными стражниками, и выходы из нее хорошо охранялись. Ночь стояла темная. Наше вторжение переполошило всех обитателей фермы; арендатор, казалось, искренне не понимал, чего мы ищем, но волнение и беспокойство его жены утверждали нас в уверенности, что Антуан в замке. У нее недостало находчивости сделать вид, будто она уже успокоилась, когда мы осмотрели первую потайную комнату, и это навело Маркаса на мысль, что существует еще и вторая. Быть может, траппист о ней знал и только прикидывался простачком. Во всяком случае, он так хорошо играл свою роль, что все мы попались на удочку. Пришлось заново обследовать все углы и закоулки полуразвалившегося замка. Огромная, стоявшая особняком башня, казалось, никому не могла служить прибежищем. Внутренняя лестница в ней обрушилась вследствие пожара, а обе имевшиеся на ферме приставные лесенки, даже если связать их вместе веревками, не доставали до верхнего яруса, который, как видно, хорошо сохранился; там находилась комната, свет в нее проникал сквозь две узкие бойницы. Маркас высказал предположение, что есть, возможно, еще одна лестница, вырубленная в самой стене, как это нередко бывает во многих старинных башнях. Но куда эта лестница выводит? Должно быть, в какое-нибудь подземелье. Отважится ли преступник выйти из своего укрытия, пока мы здесь? Если он, хотя была темная ночь и мы хранили полное безмолвие, все же почуял врагов, то рискнет ли он высунуть нос наружу, догадываясь, что мы подстерегаем его повсюду?

— Вряд ли,— заявил Маркас.— Надо придумать способ поскорее взобраться наверх. Да вот и способ!

Он указал на почерневшую от огня балку футов в двадцать длиною, которая на головокружительной высоте соединяла башню с чердаком соседнего строения. В том месте, где балка примыкала к башне, образовалась широкая трещина из-за того, что часть башенной стены обвалилась. Маркасу показалось, что он видит в этой трещине каменные ступеньки в стене, которая, кстати, обладала достаточной толщиною. В другое время крысолов ни за что не отважился бы пройти по балке, и отнюдь не потому, что она была слишком тонка и расположена на большой высоте: ведь он привык к таким опасным «прогулкам», как он их называл; но балка обуглилась и настолько обгорела посредине, что невозможно было определить, выдержит ли она человека, если даже человек этот столь ловок и невесом, как мой славный сержант. До сих пор не стоило еще рисковать жизнью, пытаясь пройти по балке; но те-

перь это стало необходимо, и Маркас не минуты не колебался. Меня не было рядом, когда он принял это решение,— я любой ценой воспрепятствовал бы ему. Но я узнал о затее Маркаса, лишь увидев его уже на середине балки, в том месте, где обожженное дерево превратилось, быть может, в уголь. Как передать, что я испытал, глядя, как мой верный друг балансирует в воздухе и все же неторопливо продвигается к цели? Барсук семенил впереди своего хозяина с таким спокойствием, словно выслеживал среди стогов сена куниц и сурков. Занимался день, и на сером небе вырисовывался тонкий силуэт нашего идальго, скромно и горделиво шествовавшего к своей цели. Я закрыл лицо руками. Мне показалось, будто я слышу треск злосчастной балки, но я сдержал крик ужаса, боясь испугать Маркаса в этот грозный и решительный миг. Однако, когда из башни раздались два выстрела, я невольно вскрикнул и поднял голову. Первая пуля сбила шляпу с головы Маркаса, вторая скользнула по его плечу. Он остановился.

— Цел! — крикнул он.

И, бесстрашно бросившись вперед, Маркас бегом преодолел остальную часть воздушного моста. Сквозь трещину он проник в башню и стал спускаться по лестнице, крича:

— За мной, друзья! Балка выдержит.

Тотчас же пятеро смельчаков, сопровождавших сержанта, ступили на балку и на четвереньках один за другим добрались до башни. Когда первый из них достиг чердака, где скрывался Антуан де Мопра, то увидел, как Маркас, упоенный успехом и, видно, забывший, что его задача — захватить врага живьем, собирался уже проткнуть Антуана своей длинной рапирой, точно ласку. Но мнимый траппист был опасным противником. Вырвав оружие из рук сержанта, он повалил его на землю и задушил бы, если бы на него не набросились сзади. Преступник отчаянно боролся с тремя напавшими на него стражниками, и только когда подоспели еще двое, они все вместе наконец его осилили. Поняв, что все пропало, Антуан перестал сопротивляться и дал связать себе руки; затем, сопровождаемый стражниками и Маркасом, он спустился по лестнице, которая вела в глубь высохшего колодца, находившегося посреди башни. Обычно Антуан спускался в этот колодец и выбирался из него при помощи лесенки, которую ему подавала жена арендатора, затем она убирала и прятала ее. Обрадованный, я бросился в объятия сержанта.

— Пустяки,— проговорил он,— это меня позабавило. Я теперь вижу, что ноги у меня еще крепкие, а голова ясная. Эхе-хе, старый сержант,— прибавил он, глядя на свою ногу,— старый идальго, старый крысолов, теперь уж никто больше не будет потешаться над твоими икрами!

XXIX

Если бы Антуан де Мопра был человек смелый, он мог бы сыграть со мной дурную шутку, объявив себя очевидцем якобы совершенного мною покушения на Эдме. Прежние его преступления служили более чем достаточной причиной для того, чтобы скрываться, и Антуан мог бы сказать, что именно поэтому он окружал себя тайной и молчал о происшествии у башни Газо. В мою пользу говорили одни только свидетельские показания Пасьянса. Достаточно ли будет их для моего оправдания? Ведь столько других свидетелей, даже друзья, даже Эдме, не отрицали, что у меня неистовый нрав, и тем самым их показания были направлены против меня, делали вероятным мое преступление.

Однако Антуан, на словах самый наглый из всех Мопра Душегубов, на деле был самым трусливым. Едва попав в руки правосудия, он тотчас во всем повинился, еще не зная даже, что брат отступился от него.

Позднее, на судебных заседаниях, носивших скандальный характер, братья самым низким образом сваливали вину один на другого. Траппист, как обычно, прибегавший к лицемерию, хладнокровно предоставил убийцу его судьбе и упорно защищался от обвинения в том, что он когда-либо подстрекал брата совершить преступление; Антуан же, доведенный до отчаяния, обвинял Жана в самых ужасных злодеяниях, в частности — в отравлении моей матери и матери Эдме: обе они умерли в страшных муках, одна вслед за другой. Жан де Мопра, утверждал он, был мастер изготовлять яды; искусно меняя обличье, он проникал в дома и подмешивал отраву в пищу. Антуан заявил, что в день, когда Эдме была обманом завлечена в Рош-Мопра, Жан собрал всех братьев, дабы обсудить с ними способ, как лучше избавиться от этой наследницы значительного состояния; он будто бы давно уже мечтал прибрать его к рукам и лелеял преступный замысел — уничтожить потомство старого кавалера Юбера де Мопра. Отец Эдме выразил настойчивое желание усыновить меня, и одно это стоило жизни моей матушке. Братья Мопра единодушно хотели избавиться разом и от меня и от Эдме, и Жан уже приготовлял яд, когда стражники, осадив замок, помешали осуществлению этого чудовищного плана. Жан со страхом отвергал эти обвинения, смиренно признавая, что он и без того совершил немало смертных грехов, погрязнув в безверии и разврате, и незачем приписывать ему еще новые. Опираясь лишь на показания Антуана, без дополнительного расследования, суд не мог обвинить Жана де Мопра в этих преступлениях, а провести такое расследование вряд ли

удалось бы, тем более что духовенство было слишком влиятельно и слишком заинтересовано в том, чтобы не допустить скандального разоблачения трапписта; вот почему суд снял с Жана де Моира обвинение в сообщничестве с Антуаном; однако его отослали в монастырь траппистов, и архиепископ не только запретил ему появляться в нашей епархии, но и предложил настоятелю траппистов вообще не дозволять Иоанну Непомуку выходить за пределы обители. Жан умер там через несколько лет, предаваясь раскаянию, приступы которого принимали у него характер тяжелого помешательства. Вполне возможно, что сначала он только играл роль человека, мучимого угрызениями совести, чтобы добиться морального оправдания в глазах общества, а затем, когда замыслы его потерпели неудачу, он под влиянием сурового режима и жестоких наказаний, принятых в его ордене, действительно почувствовал ужас, испытал муки нечистой совести и запоздалого раскаяния. Муки ада — вот единственное, во что верят и чего боятся люди с низкой душой.

Едва я был оправдан, восстановлен во всех правах и освобожден, как тут же помчался к Эдме; я застал старого кавалера уже при смерти. Перед своей кончиной он вновь обрел не скажу память о событиях, но память сердца. Он узнал меня, прижал к груди, благословил меня и дочь и соединил наши руки. Отдав последний долг этому благородному человеку и чудесному отцу, утрата коего была для нас так горестна, словно мы не предвидели и не ожидали ее уже с давних пор, мы покинули на некоторое время родные края, не желая быть свидетелями казни Антуана, которого приговорили к колесованию. Двое свидетелей, давших против меня ложные показания, были биты плетьми, заклеймены палачом и изгнаны из провинции. Мадемуазель Леблан, которую прямо нельзя было уличить в лжесвидетельстве, ибо она ничего не утверждала, а лишь высказывала предположения, ко всеобщему неудовольствию вышла сухой из воды и переехала в другую провинцию, где жила безбедно; это давало основание предполагать, что она получила некую сумму за то, чтобы меня погубить.

Мы не захотели ни на минуту расстаться с нашими лучшими друзьями, с моими единственными защитниками — Маркасом, Пасьянсом, Артуром и аббатом Обером. Все мы разместились в одной дорожной карете; Маркас и Пасьянс, привыкшие к вольному воздуху, охотно заняли наружные места; мы обращались с ними как с равными. Никогда с тех пор они больше не сидели за отдельным столом. У некоторых людей хватало невоспитанности удивляться этому, но мы пренебрегали всеми толками. Существуют обстоятельства, когда бесследно стираются все мнимые или действительные различия в положении и воспитании.

Мы посетили Швейцарию. Артур считал это путешествие необходимым для полного выздоровления Эдме; нежные и предупредительные заботы нашего преданного друга, наша любовь и старания сделать Эдме счастливой, великолепные горные виды — все способствовало тому, чтобы рассеять ее печаль и изгладить из души воспоминания о недавно перенесенных нами бурях. Швейцария оказала на поэтическую натуру Пасьянса магическое действие. Часто он приходил в такое восторженное состояние, что мы бывали этим одновременно и восхищены и испуганы. Он было прельстился мыслью построить себе хижину где-нибудь в долине и провести остаток дней своих, созерцая природу; однако любовь к нам заставила его отказаться от этого намерения. Впоследствии Маркас объявил, что, несмотря на все удовольствие, какое он получал в нашем обществе, для него это путешествие было самой печальной порой его жизни. Дело в том, что однажды после нашего возвращения с прогулки Барсук, который к старости начал страдать несварением желудка, скончался, пав жертвой великолепного приема, оказанного ему на кухне гостиницы в Мартиньи. Сержант не произнес ни слова. Некоторое время он мрачно молчал, глядя на своего бездыханного друга, затем похоронил его в саду под самым красивым розовым кустом; впервые он заговорил о своем горе лишь год спустя.

Во время путешествия по Швейцарии Эдме проявляла ко мне ангельскую доброту и заботливость; следуя теперь велению своего сердца, не испытывая больше недоверия или же сказав себе, что я был достаточно несчастлив и заслужил награду, она тысячу раз давала мне чудесные доказательства своей любви, которую впервые выразила, подняв голос в мою защиту в зале суда. Признаюсь, недомолвки, поразившие меня в ее свидетельских показаниях, и воспоминание о словах обвинения, которые слетели с ее уст, когда Пасьянс нашел ее истекающей кровью, заставили меня долго страдать. Я полагал, и, быть может, не без основания, что Эдме стоило немалых усилий поверить в мою невиновность до разоблачений Пасьянса. Правда, она касалась этой темы лишь очень осторожно и сдержанно. Но однажды она окончательно исцелила мою рану, воскликнув с присущей ей очаровательной непосредственностью:

— Ну, а если я тебя так любила, что способна была оправдать в своем сердце и защитить перед людьми, пусть даже солгав, что тогда?

Мне очень хотелось понять, как следует относиться к утверждению Эдме, будто она полюбила меня с первых же дней нашего знакомства. Тут она немного смутилась, словно неодолимая гор-

дыня внушила ей ревнивое сожаление о том, что эта тайна отныне принадлежит не ей одной. Тогда аббат взял на себя труд передать мне исповедь ее души; он уверял, что на первых порах частенько бранил Эдме за пристрастие к «юному дикарю». Когда же я напомнил ему о задушевном разговоре между ним и Эдме, который мне довелось однажды вечером подслушать в парке (я пересказал ему эту беседу почти слово в слово, ибо память у меня отличная), аббат на это возразил:

— Если бы в тот вечер вы прошли за нами еще немного дальше по аллее, то сделались бы свидетелем ссоры, которая бы вас весьма обнадежила: она объяснила бы вам, каким образом из антипатичного, я бы сказал, почти ненавистного мне человека вы стали сначала терпимым, а мало-помалу чуть ли не самым дорогим для меня существом.

— Расскажите об этом! — вскричал я.— Что послужило причиной такого чуда?

— Всего лишь одно сказанное ею слово,— отвечал аббат,— Эдме вас любила. Сделав мне это признание, она закрыла лицо руками и на несколько мгновений застыла, словно оцепенев от стыда и горя; затем, внезапно подняв голову, она воскликнула:

«Ну что ж! Да, я люблю его, раз уж вам так хочется это знать, без памяти влюблена, как вы изволите выражаться. Это не моя вина, и мне нечего краснеть. Ничего не поделаешь, так судил рок. Я никогда не любила господина де ла Марша, я отношусь к нему только как к другу. А к Бернару у меня совсем иное чувство — такое сильное, противоречивое, бурное, сотканное из вражды и страха, жалости, гнева и нежности, что я ничего в нем не понимаю, да и не стараюсь понять».

«О женщина, женщина! — вскричал я вне себя от удивления, воздевая руки.— Ты бездна, ты тайна, и тот, кто мнит, будто знает тебя,— трижды безумец!»

«Называйте это как хотите, аббат,— продолжала она с решимостью, но в голосе ее слышались досада и смятение,— мне совершенно безразлично. По этому поводу я столько уже говорила сама себе, сколько вы не сказали за всю свою жизнь всей вашей пастве. Я знаю: Бернар — сущий медведь, барсук, как его именует мадемуазель Леблан; он дикарь, деревенщина — что вам еще? Нет на свете человека более своенравного, угловатого, скрытного и злобного, чем Бернар; это неуч, который едва умеет подписать свое имя; это грубиян, который надеется укротить меня, как вареннскую кобылицу. Он жестоко ошибается: я скорее умру, чем соглашусь принадлежать ему, если только он не переделает себя, чтобы сделаться моим мужем. Стало быть, остается рассчитывать

лишь на чудо; так я и поступаю, хотя и не очень верю в чудеса. Но пусть он принудит меня покончить с собой или уйти в монастырь, пусть останется таким, каков он есть, или даже сделается еще хуже, я все равно буду его любить. Милый аббат, уж вы-то понимаете, чего стоит мне это признание, и если я, точно кающаяся грешница, припадаю к вашим стопам и взываю к вашему сердцу, вы не должны унижать меня такими восклицаниями и заклятиями: ведь вы мне друг! А теперь судите сами, рассуждайте, спорьте, доказывайте! Вот болезнь — я люблю его! Вот ее симптомы — я думаю только о нем, я вижу только его одного и сегодня не стала обедать потому лишь, что его не было дома. Для меня он самый необыкновенный человек на свете. Когда он говорит, что любит меня, я вижу, я чувствую, что это правда; его страсть меня и оскорбляет и восхищает. С тех пор как я узнала Бернара, де ла Марш кажется мне слащавым и напыщенным, в Бернаре я вижу себя: он столь же горд, неистов, отважен, как и я, он столь же чувствителен, ибо плачет, как ребенок, когда я рассержу его; вот и я плачу, едва подумала о нем».

— Дорогой аббат,— вскричал я, бросаясь на шею Оберу,— я сейчас задушу вас в объятиях за то, что вы все это вспомнили!

— Аббат преувеличивает,— лукаво заметила Эдме.

— Как! — воскликнул я и крепко, до боли сжал ее руки.— Ты заставила меня страдать целых семь лет, а теперь скупишься подарить несколько целительных слов...

— Не жалей о прошлом,— сказала она,— ведь мы погибли бы, если бы у меня недостало благоразумия и сил для нас обоих. Вспомни только, каким ты был! Боже мой, что сталось бы с нами сегодня? Ты все равно страдал бы от моей суровости и моей гордыни, но только еще горше; конечно, ты в первый же день нашего брака оскорбил бы меня, и я бы тебя наказала, либо уехав, либо покончив с собой, либо убив тебя самого, ибо в нашем роду убивают: к этому нас приучали с детства. Во всяком случае, ты сделался бы мне ненавистен, твое невежество заставляло бы меня краснеть, ты хотел бы властвовать надо мной, и мы бы не ужились друг с другом; это привело бы в отчаяние моего отца, а ведь он, ты знаешь, был для меня всем! Я бы, пожалуй, не задумываясь, попытала счастья с тобой, будь я одна на свете,— ведь я не робкого десятка; но мой отец *должен* был жить счастливо, спокойно и пользоваться всеобщим уважением, ибо он делал все, чтобы я была счастливой и независимой. Я бы никогда не простила себе, если б отняла у него в старости те блага, которые он так щедро дарил мне всю жизнь. Не думай, что я так добродетельна и благородна, как полагает аббат,— просто я люблю, но люблю сильно, беззаветно и неизменно. Я приносила тебя в жертву отцу, мой

бедный Бернар! И небо, которое прокляло бы нас, если бы я принесла отца в жертву тебе, ныне нас вознаградило: оно пожелало, чтобы мы вышли из всех испытаний, сохранив любовь и верность друг другу. По мере того как ты вырастал в моих глазах, я чувствовала, что могу терпеливо ждать, ибо мне предстояло любить тебя долго и я не опасалась, что страсть моя улетучится, прежде чем я утолю ее, как подчас бывает со слабодушными. Мы оба — люди недюжинные, и нам нужна героическая любовь, чувства обыденные сделали бы нас дурными.

XXX

Мы вновь приехали в Сент-Севэр, когда закончился траур Эдме; к этому времени была приурочена наша свадьба. Покидая родные места, где на нашу долю выпало столько горьких мук и великих несчастий, мы воображали, что нам никогда не захочется сюда возвратиться; однако столь велика сила воспоминаний детства и столь крепкие узы привязывают нас к домашнему очагу, что во время пребывания в чарующей стране, не омраченной никакими горестными воспоминаниями, мы довольно скоро начали жалеть о покинутой нами печальной и дикой Варенне, тосковать по старому дубовому парку Сент-Севэра. Мы вошли в него с глубокой и благоговейной радостью. Эдме прежде всего нарезала в саду красивых цветов и, опустившись на колени, убрала ими могилу отца. Мы поцеловали эту священную для нас землю и поклялись употребить все свои силы, дабы наши имена после смерти были окружены таким же уважением и почетом, как имя старого кавалера Юбера де Мопра. Честолюбивое стремление оставить по себе добрую память превратилось для него в страсть, но то была благородная страсть, то было святое честолюбие.

Нас венчали в деревенской часовне, а свадьбу мы отпраздновали в семейном кругу: никто, кроме Артура, аббата, Маркаса и Пасьянса, не присутствовал на этом скромном пиршестве. Мы не нуждались в свидетелях, чуждых нашему счастью! Чего доброго, они еще решили бы, будто оказывают нам милость своим присутствием, которое поможет скорее забыть о тех, кто запятнал позором наш род. Для довольства и счастья мы больше ни в ком не нуждались. Сердца наши до краев были переполнены чувством дружбы. Мы были слишком горды, чтобы искать чьего-нибудь расположения, слишком довольны друг другом, чтобы еще чего-либо желать. Пасьянс снова поселился в хижине, по-прежнему отказываясь что-либо изменить в своей одинокой и скромной жиз-

ни; в определенные дни недели он отправлял обязанности «главного судьи» и «казначея». Маркас оставался возле меня до самой своей кончины, которая последовала в конце Французской революции; надеюсь, мне удалось в меру моих сил вознаградить его не стесняемой никакими условностями дружбой и ничем не омрачаемой близостью.

Артур, посвятивший нам целый год жизни, не мог отрешиться от любви к отечеству и от желания споспешествовать его возвышению, отдавая этому свои познания и плоды своих трудов; он возвратился в Филадельфию, где я и навестил его, после того как овдовел.

Не стану описывать вам счастливые годы, проведенные мною с этой благородной и великодушной женщиной: о таких годах не рассказывают. Нельзя было бы жить, после того как они безвозвратно ушли, если бы всеми силами не отгонять воспоминаний о них! Эдме подарила мне шестерых детей, из которых четверо еще живы и занимают достойное положение в обществе. Я льщу себя надеждой, что благодаря им из памяти людской окончательно изгладятся постыдные воспоминания о наших предках. Я жил ради наших детей, следуя завету Эдме, которая поручила мне их на смертном одре. Позвольте мне не касаться более этой утраты, которая постигла меня всего лишь десять лет назад, я и до сих пор ощущаю ее столь же болезненно, как в первый день, и даже не стараюсь утешиться; я лишь стремлюсь быть достойным того, чтобы соединиться в лучшем мире со святой спутницей моей жизни, когда и я окончу свой земной путь. Она была единственной женщиной, которую я любил; никогда другая не привлекла моего взора и не испытала страстного пожатия моей руки. Таков я от природы: то, что я люблю, я люблю вечно — в прошлом, настоящем и будущем.

Бури революции не разрушили нашего благополучия, и вызванные ею страсти не внесли разлад в нашу семью. Мы охотно, от всего сердца, отдали бо́льшую часть своего имущества, подчиняясь законам республики; мы считали эти жертвы справедливыми. Аббат, испуганный кровопролитием, порою отступался от своих политических верований: то суровое время нередко требовало непомерной для него силы духа. В нашей семье он был жирондистом.

Эдме, не менее чувствительная от природы, оказалась более мужественной; женщина с отзывчивой душой, она глубоко сочувствовала горестям всех партий, оплакивала все невзгоды своего века, но никогда не забывала о его величии, окрашенном священным фанатизмом. Она осталась верна идее всеобщего равенства. В те времена, когда деяния Горы возмущали и приводили в отчая-

ние аббата, она великодушно приносила в жертву дружбе свои патриотические порывы и с присущей ей деликатностью никогда не произносила при нем имена некоторых людей, заставлявшие его содрогаться; между тем сама она была такой стойкой и убежденной их сторонницей, каких я среди женщин не видывал.

Что касается меня самого, то могу утверждать: я был воспитан Эдме; всю жизнь я всецело доверялся ее разуму и чувству справедливости. Когда в своем искреннем увлечении я захотел принять участие в общественной борьбе, она удержала меня, напомнив, что мое имя помешает мне приобрести влияние среди простого народа, ибо люди не станут доверять мне и будут думать, что я желаю опереться на них, дабы заставить забыть, что я дворянин. Но когда враг появился у ворот Франции, Эдме сама послала меня служить в армию волонтером; когда же военное поприще стало поприщем честолюбия, а республика была уничтожена, жена призвала меня к себе и сказала:

— Больше ты меня не покинешь.

Пасьянс играл видную роль в годы революции. Он был единодушно избран судьей своего округа. Его неподкупность, беспристрастие, с каким он относился и к дворцу и к хижине, его твердость и мудрость оставили неизгладимые воспоминания в памяти жителей Варенны.

На войне мне представился случай спасти жизнь господину де ла Маршу и помочь ему бежать за границу.

— Вот, пожалуй, и все события моей жизни, в которых играла роль Эдме,— закончил свой рассказ старый Бернар де Монра.— Об остальном нет смысла вспоминать. Если в повести этой есть что-либо доброе и полезное, нужно, чтобы вы, молодые люди, извлекли из нее урок. Стремитесь иметь рядом с собой прямодушного советчика, взыскательного друга и любите не того, кто вам льстит, но того, кто вас исправляет. Не слишком доверяйтесь френологии: ведь у меня весьма выражена шишка убийцы, и, как иногда грустно шутила Эдме, в нашем роду убивают, к этому нас приучали с детства. Не верьте в неотвратимость рока или, по крайней мере, никогда не призывайте безропотно покоряться его воле. Вот мораль моей истории.

В заключение старый Бернар угостил нас вкусным ужином и непринужденно беседовал с нами почти весь вечер. Мы попросили его подробнее остановиться на том, что он назвал моралью своей истории; и тогда он перешел к общим соображениям, здравый смысл и ясность которых нас поразили.

— Я говорил о френологии,— сказал он нам,— не для того, чтобы подвергнуть критике теорию, у которой есть свои хорошие стороны, ибо она направлена к тому, чтобы пополнить наши познания в области физиологии и тем самым лучше изучить человека. Я воспользовался словом «френология», ибо в наши дни верят, будто одни лишь инстинкты формируют человека, верят столь же слепо, как древние верили в могущество рока. Я не думаю, что френология более проникнута духом фатализма, чем любая другая теория такого же порядка, и Лафатер, которого еще при жизни обвиняли в фатализме, на самом деле был ближе многих других христиан к духу Евангелия.

Не верьте в абсолютную неотвратимость рока, дети мои, и все же не отрицайте некоторой доли влияния, которое оказывают на человека его инстинкты, его способности, впечатления, окружавшие его с колыбели, первые картины, поражавшие его детское воображение, одним словом — весь внешний мир, так как он и определяет развитие нашей души. Помните, что мы не всегда бываем вполне свободны в выборе между добром и злом, не забывайте об этом, если только хотите быть терпимы к виновному, то есть справедливы, как само небо, ибо суд господень исполнен милосердия; иначе правосудие божье было бы несовершенным.

То, что я сейчас сказал, быть может, и не вполне согласуется с буквой христианской религии, но заверяю вас, мысль моя вполне отвечает духу христианства, ибо она истинна. Человек не рождается злым; не рождается он и добрым, как полагает Жан-Жак Руссо, старый учитель моей дорогой Эдме. Человек от рождения наделен теми или иными страстями, теми или иными возможностями к их удовлетворению, большей или меньшей способностью извлекать из них пользу или вред для общества. Но воспитание может и должно исцелять от всякого зла; в том и заключается великая задача, ждущая своего решения,— речь идет о том, чтобы найти такую форму воспитания, которая отвечала бы натуре каждого отдельного человека. Всеобщее и совместное образование представляется необходимым; но следует ли отсюда, что оно должно быть одинаковым для всех? Если бы меня десяти лет от роду отдали в коллеж, я бы, конечно, вырос вполне приемлемым для общества человеком; но разве удалось бы таким путем избавить меня от неистовых желаний и научить их обуздывать, как это сделала Эдме? Сомневаюсь. Каждый испытывает потребность быть любимым, это поднимает его в собственных глазах; но людей нужно любить по-разному: одного — с бесконечной снисходительностью, другого — с неослабной строгостью. А пока будет разрешена проблема воспитания, общего для всех и одновременно при-

способленного к особенностям каждого, старайтесь сами исправлять друг друга.

Вы спросите меня, каким образом? Ответ мой будет краток: возлюбите друг друга всем сердцем. Тогда нравы станут воздействовать на законы, и вы придете к уничтожению самого отвратительного и самого безбожного из всех законов — закона возмездия, к уничтожению смертной казни; ведь смертный приговор представляет собою не что иное, как признание власти рока над людьми, ибо такой приговор полагает виновного неисправимым, а небо — беспощадным.

ПЕРЕВОД Р. ЛИНЦЕР

ПРЕДИСЛОВИЕ

Надо полагать, что в *Орасе* верно изображен весьма распространенный в наши дни тип молодого человека, ибо из-за этой книги я нажил себе немало непримиримых врагов. Люди, совершенно мне неизвестные, утверждали, будто узнают себя в моем герое, и не могли простить мне, что я так безжалостно их разоблачил. Мне не остается ничего другого, как повторить здесь то, что уже было сказано мною в первом предисловии: я никого не имел в виду, рисуя портрет моего героя; я брал его черты повсюду и нигде в частности, так же как я поступал, создавая образ и второго героя, наделенного безграничной самоотверженностью, которого я противопоставил первому, обладавшему необузданным себялюбием. Оба эти характера вечны, и, как сказал в шутку один весьма остроумный человек, мир мало-мальски мыслящих существ делится на два вида: *насмешников* и *простаков*. Быть может, именно это меткое замечание и побудило меня написать «Ораса». А может быть, мне просто захотелось показать, что себялюбцы порою становятся жертвой собственного эгоизма, а люди самоотверженные не всегда несчастны. Я не доказал ничего. Впрочем, ничего и нельзя доказать ни вымыслом, ни даже правдивым рассказом; но люди честные находят опору в своей совести, и для них-то я и писал эту книгу, в которой иные усмотрели столько коварства. Мне оказали слишком много чести; я предпочел бы принадлежать к самому скромному разряду *простаков*, нежели к блестящему сонму *насмешников*.

Жорж Санд

Ноан, 1 ноября 1852 г.

ГОСПОДИНУ ШАРЛЮ ДЮВЕРНЕ

Разумеется, он нам знаком, черты его присущи многим людям, но ни один из них не послужил мне образцом. Боже избави меня высмеивать в моем романе какую-нибудь определенную личность. Моя цель и на этот раз — дать сатирическое изображение порока, распространенного в современном обществе; и если это удалось мне не лучше, чем всегда, то, как и всегда, я скажу: в этом повинен автор, а не истина. Нынешние маркизы уже не смешны. Несомненно, что теперь, когда старые общественные слои вытеснены новыми, дерзкие притязания тщеславия проявляются поиному и в иной среде. Я попытался внимательно исследовать образ современного молодого человека, но наш герой нимало не похож на то, что в Париже именуют «львом». «Лев» — существо вполне безобидное. Орас — тип опасный, ибо обладает подлинными достоинствами, и к тому же это тип более распространенный. «Львы» не являются преемниками ни маркизов Мольера, ни волокит эпохи Регентства; они ни хороши, ни дурны; они только подетски разыгрывают злодеев. Это бессильное подражание ныне исчезнувшим блистательным порокам — лишь мелкий эпизод в общем ходе спектакля. Орас должен был пройти через это; но он действовал из иных побуждений и стремился к иным целям. К счастью, одно лишь смешное подражание не может удовлетворить честолюбивую молодежь, которая, проходя через сотни ошибок и заблуждений, растет и очищается, движимая могущественной силой самолюбия. Мы часто говорили с вами, друг мой, о тех наших современниках, в ком себялюбие достигло крайних пределов. Не раз мы видели, как, желая творить добро, они творили зло. Порой мы смеялись над ними, часто их осуждали, еще чаще жалели, но все-таки мы их любили, *несмотря ни на что!*

Жорж Санд

ГЛАВА I

Люди, к которым мы испытываем наибольшую привязанность, не всегда внушают нам наибольшее уважение. Влечение дружественных сердец не нуждается в восхищении и восторгах. Оно основано на чувстве равенства, побуждающем нас искать в друге человека, подобного себе, человека, подверженного тем же страстям, тем же слабостям, что и мы. Преклонение требует привязанности совсем иного рода, чем непрестанная напряженная близость, именуемая дружбой. Я был бы дурного мнения о человеке, который не любит того, чем сам восхищается, еще меньше мне понравился бы человек, любящий только то, что его восхищает. Однако это справедливо лишь в отношении дружбы. Любовь — совсем другое: она живет восторгами; все, что оскорбляет ее пылкую чувствительность, сушит и губит ее. И все же самое сладостное из человеческих чувств — то, что питается слабостями и ошибками в той же мере, как величием и подвигом, что свойственно любому возрасту, зарождается в нас с первым ощущением бытия и кончается вместе с нашей жизнью; чувство, которое поистине удваивает и расширяет наше существование, возрождается из пепла и, казалось, исчезнувшее навсегда, вновь возникает, столь же прочное и нерушимое; чувство это, увы, не любовь; вы знаете сами — это дружба.

Если бы я высказал здесь все, что думаю и знаю о дружбе, я забыл бы о своем повествовании и написал бы трактат во многих томах; но, пожалуй, я рисковал бы найти немного читателей в наш век, когда дружба настолько вышла из моды, что и она встречается не чаще, чем любовь. Итак, я ограничусь изложенным, дабы предпослать своему рассказу следующее введение: да будет известно, что друг мой, о котором я горячо сожалею, чья жизнь особенно тесно переплелась с моей, не был совершеннейшим и

лучшим из людей; напротив, это был юноша, исполненный недостатков и странностей; порой я ненавидел и презирал его, но все же ни к кому и никогда не испытывал столь властного и непобедимого чувства симпатии.

Его звали Орас Дюмонте; он был сыном мелкого провинциального чиновника с жалованьем в полторы тысячи франков, который, женившись на богатой деревенской наследнице, обладавшей почти шестью тысячами экю, оказался, как говорится, держателем ренты в три тысячи франков. Его будущее — то есть продвижение в обществе — зависело от его трудолюбия, здоровья и хорошего поведения — иными словами, от слепого повиновения всем установлениям и порядкам существующего строя.

Не удивительно, что при таком ненадежном положении и ограниченном достатке господин и госпожа Дюмонте, отец и мать моего друга, решив дать сыну образование, поместили его в провинциальный коллеж, где он получил звание бакалавра, а затем отправили в Париж обучаться в высшей школе, с тем чтобы через несколько лет он стал адвокатом или врачом. Я говорю «не удивительно», ибо нет семьи, находящейся в подобных условиях, которая не лелеяла бы честолюбивой мечты обеспечить своим отпрыскам независимое положение. *Независимость* или то, что понимают под этим возвышенным словом,— вот идеал бедного чиновника; слишком много претерпел он лишений, а зачастую, увы, и унижений, чтобы не испытывать желания избавить от них свое потомство; он верит, что судьба щедро рассыпала вокруг счастливые жребии и стоит лишь нагнуться, чтобы обрести любой из них. Человек стремится вверх; благодаря этому инстинкту и держится столь поражающее своей хрупкостью и вместе с тем долговечностью здание общественного неравенства.

Из всех профессий, доступных юноше и способных избавить его от нищеты, родители никогда не согласятся избрать самую скромную и самую надежную. Решает тут всегда алчность или тщеславие. Вокруг столько блестящих примеров! Из низших слоев общества выбивается на первые места столько гениев разного рода, в том числе и гениев ничтожества! «Почему бы,— говорил жене господин Дюмонте,— нашему Орасу не выйти в люди, как такой-то или такой-то и многие другие! У него-то способностей и смелости побольше». Госпожу Дюмонте несколько испугали жертвы, необходимые, по словам мужа, для того, чтобы поставить Ораса на ноги, но как не поверить, что ты произвела на свет самого умного и одаренного ребенка из всех когда-либо живших на земле? Госпожа Дюмонте была простая, добрая женщина, выросшая в деревне и обладавшая здравым смыслом в пределах доступных

ей понятий. Но огромный неизвестный ей мир, существовавший за пределами этого узкого круга, она видела лишь глазами своего мужа. Когда господин Дюмонте говорил ей, что после революции все французы равны перед законом, что нет более привилегий и каждый талантливый человек может пробиться сквозь толпу и преуспеть, разве лишь проталкиваться придется посильнее, чем тому, кто находится ближе к цели, она поддавалась на его уговоры, боясь прослыть отсталой и упрямой, как те крестьяне, среди которых она родилась и выросла.

Жертва, на которой настаивал господин Дюмонте, представляла собой ни больше ни меньше, как половину их дохода! «На полторы тысячи франков,— говорил он,— мы можем скромно жить и воспитывать дома нашу дочь; на остальные же доходы, то есть на мое жалованье, мы можем в течение нескольких лет прилично содержать Ораса в Париже».

Полторы тысячи франков, чтобы прилично жить в Париже, имея от роду девятнадцать лет, да еще будучи Орасом Дюмонте!.. Госпожа Дюмонте не останавливалась перед жертвами; славная женщина согласилась бы питаться одним черным хлебом и ходить босиком, лишь бы помочь сыну и угодить мужу; но ей горько было истратить разом все сбережения, сделанные за время ее супружеской жизни и составившие около десяти тысяч франков. Тому, кто незнаком с убожеством провинциальной жизни и поразительной способностью рачительных хозяек сокращать расходы и выгадывать на всем, покажется баснословной возможность при ренте в три тысячи франков скопить несколько сотен экю в год, не уморив при этом голодом мужа, детей, служанок и кошек. Но тому, кто сам ведет такую жизнь или видит ее вблизи, известно, как часто это бывает. Женщина, не имеющая ни таланта, ни профессии, ни состояния, может существовать и поддерживать существование своих близких, лишь проявляя необычайную изворотливость в обкрадывании себя самой, ежедневно лишая чего-либо необходимого свою семью. Жалкая жизнь, не знающая ни сострадания, ни веселья, ни разнообразия, ни гостеприимства. Но какое до этого дело богачам? Они считают, что общественные блага распределены вполне справедливо! «Если эти людишки хотят воспитывать своих детей так же, как мы своих,— говорят они о мелких буржуа,— пусть терпят лишения! А не хотят терпеть лишения, пусть отдают детей в ремесленники или чернорабочие!» Богачи рассуждают справедливо с точки зрения общественного права, но с точки зрения права человеческого... Бог им судья!

«А почему бы,— рассуждают бедняки в своих жалких лачугах,— почему бы нашим детям не пользоваться всеми благами наравне с детьми крупных промышленников или благородных гос-

под? Образование уравнивает людей, и сам бог велит нам стремиться к равенству».

Вы тоже правы, почтенные родители, совершенно правы,— с общей точки зрения; и, несмотря на частые и жестокие крушения ваших надежд, мы, несомненно, долго еще будем идти к равенству тропой, проторенной вашим законным честолюбием и вашим наивным тщеславием. Но когда свершится действительное уравнение прав и надежд, когда каждый человек найдет в обществе ту среду, где его существование будет не только возможно, но полезно и плодотворно,— тогда каждый, будем надеяться, измерит свои силы и оценит свои способности в обстановке спокойствия, даруемого свободой, более разумно и скромно, чем это делается сейчас, в лихорадочной тревоге и возбуждении борьбы. Я твердо верю: придет время, когда перед юношей не будет стоять выбор: стать первым человеком своего века либо пустить себе пулю в лоб. А так как в те времена каждому будут даны политические права и пользование этими правами явится неотъемлемой частью жизни всех граждан, то, весьма вероятно, политическая карьера не будет привлекать столько честолюбцев, рвущихся к ней сейчас с такой страстью и с таким презрением ко всем другим занятиям, лишь потому что эта карьера сулит им главенство и власть над людьми.

Как бы то ни было, госпожа Дюмонте, предназначавшая накопленные десять тысяч франков в приданое дочери, наконец согласилась истратить их на содержание сына в Париже и снова стала откладывать деньги, чтобы выдать замуж Камиллу, сестру Ораса.

И вот Орас на прекрасных улицах Парижа. При нем — его звание бакалавра и студента юридического факультета, его девятнадцать лет и полторы тысячи пенсиона. Он уже целый год был — или считался — студентом, когда я познакомился с ним в маленьком кафе возле Люксембургского сада, куда мы каждое утро заходили выпить чашку шоколада и почитать газеты. Его учтивость, открытое лицо, живой и мягкий взгляд пленили меня с первого раза. Молодые люди сходятся быстро; достаточно им посидеть несколько дней сряду за одним столиком и перекинуться из вежливости двумя-тремя словами, чтобы в первое же солнечное утро завязался откровенный разговор и из кафе перенесся в тенистые аллеи Люксембургского сада. Это с нами и случилось в одно прекрасное весеннее утро. Цвела сирень, солнце весело играло на красном дереве и бронзовых украшениях конторки, за которой сидела госпожа Пуассон, прелестная хозяйка кафе. Сам не помню, как мы с Орасом очутились у большого бассейна и, гуляя рука об руку, болтали, словно старые друзья, не зная даже, как зовут друг друга; ибо если обмен мнениями неожиданно и сблизил нас, то

ни он, ни я не отрешились еще от той сдержанности, которая у людей воспитанных обычно является доказательством взаимного уважения. Я только и узнал в тот день об Орасе, что он студент юридического факультета; он только и узнал обо мне, что я изучаю медицину. Он лишь спросил, как отношусь я к избранной мною науке; такой же вопрос задал ему и я.

— Я восхищаюсь вами,— сказал он мне на прощание,— вернее, я вам завидую: вы работаете, вы не теряете времени даром, вы любите науку, у вас есть надежды, вы идете прямо к цели! Я же стою на другой дороге; и, вместо того чтобы стремиться вперед, только и думаю, как бы свернуть в сторону и сбежать. У меня отвращение к юриспруденции — этому сплетению лжи, направленному против божественной справедливости и вечной истины. И хотя бы вся эта ложь была связана какой-нибудь логической системой! Но нет, одна ложь бесстыдно противоречит другой, словно для того, чтобы каждый мог причинять зло теми извращенными способами, какие ему представляются наиболее удобными. Я объявляю глупцом или негодяем каждого молодого человека, который всерьез занимается изучением судейского крючкотворства. Презираю, ненавижу его!..

Он говорил с подкупающим жаром, не лишенным, однако, известной нарочитости. Слушая его, нельзя было усомниться в его искренности; но казалось, он разражается подобными тирадами не впервые. Они лились так естественно и свободно, словно были заучены наизусть,— да простится мне этот мнимый парадокс! Если вы превратно поймете то, что я хочу этим сказать, вам нелегко будет постичь тайну характера Ораса, ибо его трудно определить, трудно справедливо оценить даже мне, так долго его изучавшему.

Это была смесь притворства и естественности, столь искусно соединенных, что невозможно было различить, где начиналось одно и кончалось другое; так в некоторых блюдах или духах ни по вкусу, ни по запаху невозможно распознать их составные элементы. Я видел людей, которым Орас сразу же внушал безмерную антипатию, он казался им высокомерным и напыщенным. Другие же пленялись им немедленно, не могли им нахвалиться, утверждали, что такого чистосердечия и *непринужденности* не найти нигде. Должен вас заверить, что и те и другие ошибались,— вернее, и те и другие были правы: Орас был *естественным притворщиком.* Разве не знаете вы подобных людей? Они так и рождаются с заимствованным характером и манерами, и кажется, будто они играют роль, тогда как в действительности разыгрывается драма их собственной жизни. Они копируют самих себя. Это пылкие умы, назначенные природой любить великое; пусть среда, окружающая

их, обыденна — зато стремления романтичны; пусть их способность к творчеству ограниченна — зато замыслы безмерны; и потому такой человек всегда драпируется в плащ героя, созданного его воображением. Но герой этот не кто иной, как он сам,— его мечта, его творение, его внутренняя, вдохновляющая сила. Реальный человек живет рядом с человеком идеальным; и подобно тому как в расколотом надвое зеркале мы видим собственное отражение двойным, так и в этом как бы удвоенном человеке мы различаем два образа, неразделимых, но совершенно несходных между собой. Именно это мы понимаем под выражением «вторая натура», ставшим синонимом слова «привычка».

Таков был Орас. Потребность показывать себя в наиболее выгодном свете была у него так сильна, что он всегда был изысканно одет, наряден и блестящ. Природа, казалось, помогала ему в этой неустанной работе. Он был красив, держался изящно и непринужденно. Правда, не всегда в его одежде и манерах проявлялся безупречный вкус, однако художник мог бы в любую минуту подметить в нем какую-нибудь эффектную черту. Он был высокого роста, хорошо сложен, плотен, но не толст. Лицо его привлекало благородной правильностью черт,— однако в нем не было утонченности. Утонченность — нечто совсем иное. Благородство черт дается природой, утонченность — искусством; первое рождается вместе с нами, второе приобретается. Утонченность предполагает сознательно выработанное поведение, вошедшее в привычку выражение лица. Густая черная борода Ораса была подстрижена с щегольством, сразу выдававшим его принадлежность к Латинскому кварталу, а пышные и черные как смоль волосы рассыпались в буйном изобилии, которое истинный денди постарался бы слегка обуздать. Но когда он порывисто проводил рукой по этой темной волне, растрепавшиеся волосы не делали его смешным и не портили прекрасного лба. Орас отлично знал, что может безнаказанно ерошить прическу хоть двадцать раз на день, ибо, как он сам невзначай при мне обмолвился, волосы его лежали *восхитительно*. Одевался он с некоторой изысканностью. Его портной, малоизвестный и не имевший представления о подлинном *светском тоне,* понял его стиль и отваживался изобретать для него более широкие обшлага, более яркий жилет, более выпуклый пластрон, более смелый покрой фрака, чем для других молодых клиентов. Орас был бы совершенно смешон на Гентском бульваре; но в Люксембургском саду или в партере театра Одеон он был самым элегантным, самым непринужденным, самым щеголеватым, самым *блестящим* молодым человеком, как принято писать в журналах мод. Шляпа его была сдвинута набок, но в меру, трость была не слишком тяжела, но и не слишком легка. В его

одежде отсутствовала та мягкость линий на английский лад, которая отличает истинную элегантность; зато в его движениях было столько гибкости, а свои негнущиеся *лацканы* он носил с такой свободой и естественной грацией, что дамы из аристократических кварталов, особенно молодые, нередко удостаивали его взглядом из глубины ложи или из окна кареты.

Орас знал, что он красив, и не упускал случая дать это почувствовать, хотя у него хватало такта никогда не говорить о своей внешности. Зато он всегда обращал внимание на внешность других людей. Он мгновенно и придирчиво отмечал все погрешности, все недостатки чужой наружности и, естественно, своими ироническими замечаниями побуждал вас мысленно сравнивать его внешность с внешностью его жертвы. В таких случаях он становился язвительным. Обладая превосходно очерченным носом и чудесными глазами, он был безжалостен к некрасивым носам и невыразительным глазам. Он испытывал какое-то болезненное сострадание к горбунам; всякий раз, когда он указывал мне на одного из этих несчастных, я невольно бросал взгляд анатома на стройную спину Ораса и чувствовал, что по ней пробегает дрожь от втайне ощущаемого удовольствия; а между тем на лице его играла улыбка, выражавшая полное равнодушие к столь пустому преимуществу, как хорошее телосложение. Если кому-нибудь случалось заснуть в неловкой или смешной позе, Орас первый начинал смеяться. И невольно я обращал внимание — когда он ночевал у меня или когда я заставал его спящим дома,— что сам он всегда спал красиво, откинув руку или подложив ее под голову, как бы подражая античной статуе; и вот это, казалось бы, невинное наблюдение помогло мне понять его естественное, иными словами, врожденное притворство, о котором шла речь. Даже во сне, даже без свидетелей и без зеркала Орас старался принимать благородную позу. Один из наших товарищей ехидно утверждал, что он позирует даже перед мухами.

Да простят мне все эти подробности. Я остановился на них, так как полагал это необходимым, и теперь возвращаюсь к описанию первых наших встреч.

ГЛАВА II

На следующий день я спросил у Ораса, почему бы, раз уж он чувствует такое отвращение к праву, не заняться ему изучением какой-нибудь другой науки.

— Дорогой мой,— ответил он с самоуверенностью, не свойственной его возрасту и словно позаимствованной у сорокалетнего

человека, умудренного опытом,— сейчас существует лишь одна профессия, которая открывает путь ко всему,— это профессия адвоката.

— А что вы называете *всем?* — спросил я.

— В наше время,— ответил он,— звание депутата — это все. Но погодите немного, и мы увидим кое-что иное!

— Так вы рассчитываете на новую революцию? А если ее не будет, то как же вы станете депутатом? Быть может, у вас есть состояние?

— Не совсем так, но оно у меня будет.

— Отлично. В таком случае важно лишь получить диплом, а заниматься адвокатской практикой вам не придется.

Я искренно поверил, что он располагает состоянием, достаточным для того, чтобы оправдать его самонадеянность. Несколько мгновений он колебался; потом, не решаясь ни подтвердить мое заблуждение, ни сразу его рассеять, он продолжал:

— Придется заняться адвокатской практикой, чтобы приобрести известность... Несомненно, года через два способные люди получат возможность выставлять свою кандидатуру; нужно, следовательно, доказать свои способности.

— Два года? Мне кажется, это маловато; к тому же чтобы получить звание юриста и доказать свои способности, вам потребуется вдвое больше времени; да и тогда вы еще не достигнете возраста...

— Неужели вы думаете, что к следующим выборам возрастной ценз не будет снижен?..

— Думаю, что нет; но в конце концов это вопрос времени; и я полагаю, что если уж вы так твердо решили, то рано или поздно добьетесь своего.

— Не правда ли, этого достаточно, чтобы добиться цели! — сказал он с радостной улыбкой, горделиво сверкнув глазами.— И с каких бы низов ты ни начал восхождение, все равно можно достигнуть вершин общества, если в душе у тебя живет мысль о будущем.

— Не сомневаюсь в этом,— ответил я,— главное — знать, много ли препятствий впереди, но это тайна провидения.

— Нет, дорогой мой! — воскликнул он, дружески беря меня под руку.— Главное — знать, обладаешь ли ты волей достаточно сильной, чтобы преодолеть все препятствия; а у меня,— добавил он, с силой ударив себя в грудь,— у меня она есть!

Беседуя, мы поравнялись с палатой пэров. Казалось, что Орас вот-вот начнет расти на глазах, подобно сказочному великану. Я взглянул на него и заметил, что, несмотря на преждевременно отпущенную бороду, округлые линии лица выдавали

его крайнюю молодость. Его восторженное честолюбие еще больше подчеркивало этот контраст.

— А сколько, собственно, вам лет? — спросил я.

— Угадайте,— сказал он с улыбкой.

— На первый взгляд, вам двадцать пять,— ответил я.— Но, возможно, вам нет и двадцати.

— Действительно нет. Что же из этого следует?

— Что ваша воля не старше двух-трех лет, и, следовательно, она еще очень молода и неустойчива.

— Ошибаетесь! — воскликнул Орас.— Моя воля родилась вместе со мною. Мы ровесники.

— Это верно, если говорить о врожденной черте характера. Но все же, я полагаю, у вас было не так уж много случаев проявить свою волю на политическом поприще! Не может быть, чтобы вы уже давно всерьез мечтали о депутатском кресле; да и вообще — давно ли вы узнали, что такое депутат?

— Будьте уверены, я узнал это так рано, как только возможно для ребенка. Едва лишь начал я понимать смысл слов, как почувствовал, что в этом слове таится для меня нечто магическое. Это предзнаменование, поверьте: моя судьба стать парламентским деятелем. Да, да, я буду говорить и заставлю других говорить о себе!

— Пусть так! — ответил я.— Данные у вас есть: это дар божий. А пока занимайтесь теорией.

— Что вы имеете в виду? Право? Крючкотворство?

— О! Если бы только это! Я хочу сказать: займитесь изучением гуманитарных наук: истории, политики, различных религий — и тогда уже решайте, сопоставляйте, формируйте убеждения...

— Вы хотите сказать — идеи? — перебил он с торжествующей убежденностью в улыбке и взгляде.— Идеи у меня уже есть; и, если хотите знать, я думаю, что лучших у меня никогда и не будет,— ибо идеи наши порождаются чувствами, а все мои чувства возвышенны! Да, сударь, небо наделило меня возвышенной и доброй душой. Я не знаю, какие испытания оно мне готовит, но могу сказать с гордостью, над которой способны смеяться только глупцы, что чувствую себя великодушным, отважным, мужественным; душа во мне содрогается и кровь кипит при одной мысли о несправедливости. Все великое опьяняет меня до исступления. Я не кичусь и не могу, мне кажется, кичиться этим, но говорю с уверенностью: я из породы героев.

Я не мог сдержать улыбку, но Орас, наблюдавший за мной, понял, что в ней не было и тени неприязни.

— Вас удивляет,— сказал он,— что, едва успев познакомиться с вами, я даю волю чувствам, которые люди обычно скрывают

даже от лучшего друга? Вам кажется, что это свидетельствует о большей их скромности?

— Нет, конечно,— только о меньшей их искренности.

— Прекрасно! Тогда не смейтесь надо мною. Я считаю, что я лучше, чем все эти лицемеры, *in petto*[1] мнящие себя полубогами и притворно склоняющие головы, изображая стыдливость, якобы требуемую хорошим тоном. Все они эгоисты и честолюбцы в самом полном и отвратительном смысле слова. Вместо того чтобы открыто проявлять воодушевление, которое встретило бы широкий отклик и привлекло к себе все высокие умы, все смелые сердца (разве не так совершаются великие революции?), они втайне любуются своим ничтожным превосходством и, боясь напугать других, скрывают его от ревнивых взоров, чтобы ловко воспользоваться им в тот день, когда обеспечат себе положение. Уверяю вас, эти люди годны лишь на то, чтобы наживать деньги и занимать места в продажных правительствах; люди же, ниспровергающие тиранию, те, кто будит смелые страсти и приводит мир в глубокое и благородное волнение,— Дантоны, Мирабо, Питты,— да разве прибегали они когда-нибудь к ужимкам ложной скромности?

В его словах была доля истины, и говорил он так убежденно, что мне не пришло в голову возражать ему, хотя по своему воспитанию и по натуре я терпеть не могу самомнения. Но Орас обладал одной особенностью: пока вы видели и слушали его, вы неизбежно покорялись обаянию его голоса и жестов. Стоило же вам расстаться с ним, и вы сами удивлялись, как можно было тотчас же не опровергнуть его заблуждений; однако при новой встрече вы опять поддавались притягательной силе его парадоксов.

В тот раз я простился с ним, пораженный необычностью его натуры, и спрашивал себя: «Кто он? Безумец или гений?» Пожалуй, я склонялся ко второму мнению.

— Раз вы так любите революцию,— сказал я ему на следующий день,— вы, должно быть, сражались в прошлом году в Июльские дни?

— Увы! Я уезжал на каникулы,— ответил он.— Но и там, в глухой провинции, я не бездействовал, и если мне удалось избежать опасности, не моя в том вина. Я состоял в добровольческой городской гвардии; она должна была закрепить победу. Ночи мы проводили в карауле, с ружьем на плече, и если бы старый режим сопротивлялся, если бы против нас, как мы ожидали, были посланы войска,— надеюсь, мы вели бы себя лучше, чем все эти ста-

[1] В глубине души *(итал.)*.

рые лавочники, которые позднее, когда правительство организовало национальную гвардию, были допущены в ее ряды. Они притаились в своих лавках, пока исход событий был еще неясен; мы же ходили дозором вокруг города и оберегали их от нападения реакционеров. А две недели спустя, когда опасность миновала, они проткнули бы нас штыками, если бы мы закричали: «Да здравствует свобода!»

В тот день, проболтав с ним довольно долго, я предложил ему пообедать вместе на улице Старой Комедии у Пенсона, самого честного и радушного ресторатора в Латинском квартале.

Я угостил его на славу, к тому же кормили у Пенсона поистине превосходно — сытно и недорого. Его ресторанчик был местом свидания всех честных студентов и молодых людей, жаждавших литературной славы. С тех пор как коллега и соперник Пенсона Даньо, офицер конной национальной гвардии, проявил чудеса храбрости при подавлении восстания, целая фаланга студентов, его завсегдатаев, поклялась не переступать порога его владений и обратилась к более сочным котлетам и толстым бифштексам миролюбивого и приветливого Пенсона.

После обеда мы отправились в Одеон посмотреть госпожу Дорваль и Локруа в «Антони». С этого дня знакомство было закреплено, и между нами завязалась тесная дружба.

— Итак,— сказал я ему в антракте,— вы находите медицину еще более отталкивающим занятием, нежели юриспруденцию?

— Дорогой мой,— ответил он,— признаюсь, я не понимаю, как можно чувствовать призвание к такой профессии, как ваша. Может ли быть, чтобы вы ежедневно погружали свои руки, свой взор, свою мысль в человеческую падаль, не теряя при этом чувства поэзии и свежести воображения?

— Оперировать живых,— сказал я,— пострашнее, чем резать трупы: тут нужно больше мужества и решительности, уверяю вас. Вид самого отвратительного трупа причиняет меньше страданий, чем первый крик боли, исторгнутый из груди несчастного ребенка, который не понимает, зачем вы делаете ему больно. Это ремесло мясника, если не видеть в нем миссию апостола.

— Говорят, будто это ремесло сушит сердце,— продолжал Орас.— Разве вам не страшно, что, увлеченный наукой, вы забудете о человечестве, как это случилось со многими великими анатомами? Все восхваляют их, а я отворачиваюсь, как если бы встретил палача.

— Надеюсь,— ответил я,— что сумею быть достаточно хладнокровным, чтобы приносить пользу, не теряя при этом чувства сострадания и любви к человеку. Мне далеко еще до настоящего спокойствия, но все же я не боюсь, что сердце мое очерствеет.

— Допустим. Но в конце концов чувства притупляются, воображение слабеет, ощущение прекрасного и безобразного пропадает; в жизни начинаешь видеть лишь материальную сторону, где все идеальное сводится к соображениям пользы. Случалось ли вам слышать о враче-поэте?

— Я мог бы, в свою очередь, спросить вас, много ли вы знаете депутатов-поэтов? Сдается мне, что политическая карьера в том виде, в каком мы наблюдаем ее в наши дни, тоже не способствует живости поэтического чувства и воображения.

— Будь общество перестроено,— воскликнул Орас,— политическая карьера сулила бы широчайший простор для развития сильных умов и чувствительных сердец; но в наше время этот путь, несомненно, приводит к черствости. Когда я подумаю, что для понимания социальных законов, где все зиждется на философии, я должен знать кодекс и дигесты, изучать Потье, Дюкоруа и Рогрона,— словом, работать до одурения; что, наконец, для того, чтобы сблизиться с толпой современников, мне придется опуститься до ее уровня... О, тогда я серьезно подумываю, не уйти ли от политики!

— Но что в таком случае станете вы делать с вашим бьющим через край энтузиазмом, с непомерным величием души? Какое применение найдете для своей железной воли, в которой я на днях позволил себе усомниться, за что вы упрекнули меня?

Он охватил голову обеими руками, облокотился на перила, отделявшие партер от оркестра, и погрузился в раздумье, продолжавшееся до тех пор, пока не подняли занавес. Весь третий акт «Антони» он смотрел с величайшим вниманием и волнением.

— А страсти?! — воскликнул он, едва закончился акт.— Какое место уделяете вы страстям в нашей жизни?

— Вы говорите о любви? — спросил я.— Жизнь, какой мы сами ее сделали, требует отдавать любви все или ничего. Желание быть одновременно любовником, подобным Антони, и гражданином, подобным вам, неосуществимо. Нужно выбирать.

— Именно об этом я и думал, когда слушал Антони, столь презирающего общество, озлобленного против него, восставшего против всего, что препятствует его любви... А вы любили когда-нибудь?

— Может быть. Но разве это важно? Спросите у собственного сердца, что такое любовь.

— Накажи меня бог, если я имею об этом хоть малейшее представление,— воскликнул он, пожимая плечами.— Разве было у меня время любить? Разве я знаю, что такое женщина? Я чист, дорогой мой, чист, как младенец! — прибавил он, разражаясь добродушным смехом.— Можете презирать меня, но признаюсь,

что до сих пор женщины внушали мне скорее страх, чем желание. А между тем у меня уже большая борода и большие запросы, которые трудно удовлетворить. Что ж! Именно это и предохранило меня от грубых заблуждений, в какие впадают мои товарищи. Я не встретил еще той идеальной девы, ради которой мое сердце дало бы себе труд забиться сильнее. А несчастные гризетки, которых подбирают в Шомьере или в других злачных местах, возбуждают во мне такую жалость, что даже ради всех наслаждений рая я не желал бы упрекать себя за совращение одного из этих ощипанных ангелов. И потом, эти ручищи, эти вздернутые носы, этот жаргон, попреки своим несчастьем, да еще в письмах, читая которые можно умереть со смеху. Тут нельзя даже испытывать серьезные угрызения совести. О, если уж я предамся любви, я хочу, чтобы она потрясла меня, воспламенила, поразила в самое сердце или вознесла до небес и опьянила страстью. Никакой середины! Одно или другое; либо и то и другое, если угодно! Но только не драмы на задворках лавчонок, не победы в дешевых кафе! Я согласен страдать, согласен безумствовать, согласен отравиться вместе с возлюбленной или заколоть себя над ее трупом, но я не хочу быть смешным, а главное — не хочу почувствовать скуку в самый разгар трагедии и завершить ее жалким фарсом. Товарищи издеваются над моей невинностью, они разыгрывают передо мной донжуанов, чтобы соблазнить или ослепить меня; и, уверяю вас, делают это зря. Я желаю им всяческих удовольствий, но для себя предпочитаю что-нибудь иное. О чем вы думаете? — добавил он, заметив, что я отворачиваюсь, не в силах удержаться от смеха.

— Я думаю,— сказал я,— о том, что завтра со мной будет завтракать одна очень милая гризетка, которой я хотел бы вас представить.

— О! Упаси бог от такого рода развлечений! — воскликнул он.— У меня и без того есть несколько друзей, которых я обречен видеть лишь в неизбежном обществе их двухнедельных подруг. Я знаю наизусть лексикон этих самок. Фи! Вы шокируете меня, а я-то считал вас менее легкомысленным, чем вся эта беспутная компания. Целую неделю я избегал их, чтобы видеться с вами; я думал, вы человек серьезный, с более высокими требованиями, чем у других студентов, и вдруг оказывается, что даже у вас есть женщина, даже у вас! Боже мой, куда мне скрыться, чтобы не встречать этих женщин!

— И все же с моей подругой вам придется познакомиться. Я настаиваю на этом и завтра явлюсь за вами сам, если вы не придете, чтобы вместе с нею позавтракать у меня.

— Если она вам надоела, предупреждаю — я не из тех, кто может вас от нее избавить.

— Дорогой мой Орас, должен вас успокоить и заверить, что если даже вы пожелаете избавить *ее* от меня, то сперва вам придется перерезать мне горло.

— Вы говорите серьезно?

— Совершенно серьезно.

— В таком случае принимаю ваше приглашение. Приятно будет посмотреть вблизи на истинную любовь...

— К гризетке. Вас это удивляет, не правда ли?

— Что ж, если хотите, да. Действительно удивляет. Я видел только одну женщину, которую мог бы полюбить, будь она лет на двадцать моложе. Это была знатная вдова, владелица замка, некогда красивая и еще не успевшая поседеть; она говорила, двигалась, принимала и провожала гостей с такой грацией, что по сравнению с ней все женщины, каких я до нее видел, показались мне разве что пригодными пасти гусей. Эта дама принадлежала к старинному роду; у нее была осиная талия, руки Рафаэлевой мадонны, ножки сильфиды, лицо мумии и язык змеи. И я поклялся, что никогда не возьму в любовницы молодую, обаятельную и красивую женщину, если только у нее не будет таких ножек и ручек, а главное — таких аристократических манер и такого обилия белых кружев на золотистых волосах.

— Дорогой мой Орас,— сказал я ему,— не скоро еще вы полюбите, а возможно, не полюбите никогда.

— Да услышит вас бог! — воскликнул он.— Если я полюблю хоть раз, я погиб. Прощай тогда политическая карьера, прощай моя большая, суровая будущность! Ничего не умею делать наполовину. Посмотрим, стану ли я оратором, поэтом или влюбленным?

— А что, если для начала нам стать студентами? — сказал я.

— Увы! Легко вам говорить! — ответил он.— Вы и студент и влюбленный. Я же не люблю, а учусь и того меньше...

ГЛАВА III

Орас возбуждал во мне живейший интерес. Я отнюдь не был убежден в существовании той героической силы и того сурового энтузиазма, которые в простоте душевной он себе приписывал. Мне он казался хорошим малым, искренним, чистосердечным, скорее способным увлекаться прекрасными мечтами, чем претворить их в жизнь. Но я полюбил его за искренность и постоянное стремление ко всему возвышенному, для чего мне вовсе не нужно было непременно видеть в нем героя. В этой прихоти не было ничего отталкивающего: она лишь доказывала его любовь к прекрасному

идеалу. «Одно из двух,— говорил я себе,— либо ему суждено стать выдающимся человеком, и тайный инстинкт, которому он бесхитростно следует, подсказывает ему это, либо он просто славный молодой человек; и когда его юношеский пыл остынет, в нем неожиданно проявятся кроткая доброта и спокойная совесть, оживляемые редкими вспышками энтузиазма».

Пожалуй, этот нравственный облик мне нравился больше. Я был бы больше уверен в Орасе, если бы он отказался от своего простодушного фатовства, не утратив при этом любви к добру и красоте. Выдающегося человека ждет трагическая участь. Препятствия ожесточают его, а гордость его обычно так велика и неукротима, что может повести его по ложному пути и обратить во зло силы, данные ему богом для свершения добра. Но, так или иначе, Орас мне нравился и привлекал к себе. Проявится в нем сила — тогда я последую за ним; окажется он слабым — я поддержу его. Я был старше его на пять-шесть лет и наделен более спокойным характером; планы мои на будущее уже определились, оно не вызывало у меня тревоги. В пору страстей нежная, искренняя любовь охранила меня от ошибок и страданий. Я чувствовал, что выпавшее на мою долю счастье — бесценный дар провидения, что я недостаточно заслужил право пользоваться им безраздельно и обязан поделиться с кем-нибудь своим душевным спокойствием, предложив его как целительное средство другой душе, легко возбудимой или озлобленной. Я рассуждал как врач, но действовал из самых добрых побуждений, и — да не будет это повторением невинной похвальбы моего бедного Ораса — скажу, что я тоже был добр и более отзывчив, чем умел это выразить.

Единственной чертой в моем новом друге, казавшейся мне совершенно нелепой и достойной осуждения, было его тяготение к женщинам аристократического круга, особенно смешное у него, ярого республиканца, уж наверное плохого судьи в вопросе хороших манер, но подчеркнуто презиравшего простое и грубое обращение, от которого сам он, разумеется, был не так уж свободен, как стремился изобразить.

Я решил познакомить его с Эжени, и чем скорее, тем лучше, воображая, что общение с этой простой и благородной девушкой произведет переворот в его мыслях или, по крайней мере, придаст им более разумное направление. Он увидел ее, был очарован ее приветливостью, но она показалась ему вовсе не такой красивой, какой должна была быть, по его мнению, женщина, способная внушить настоящее чувство.

— Она мила, и только,— сказал он мне в дверях,— но она, должно быть, необычайно умна?

— Скорее рассудительна, чем умна,— ответил я,— а бывшие подруги считали ее совсем дурочкой.

Эжени подала нам скромный завтрак, который сама приготовила, и это прозаическое занятие покоробило возвышенную душу Ораса. Но когда она села между нами и принялась угощать его с изысканной учтивостью и непринужденностью, он преисполнился уважением к ней и начал вести себя по-иному. До этого момента он подавлял мою бедную Эжени весьма остроумными парадоксами, не вызывавшими, однако, у нее улыбки, что, впрочем, он воспринял как знак восхищения. Когда же он увидел в ней судью, а не предмет для насмешек, он стал серьезен и так же усердно пытался выглядеть солидным, как раньше старался казаться легкомысленным. Но было уже поздно. На требовательную Эжени он произвел неприятное впечатление; правда, она никак этого не показала и, едва завтрак был окончен, села в дальнем углу комнаты и принялась шить, словно была самой обыкновенной гризеткой. Орас почувствовал, что все его уважение пропало так же быстро, как и возникло.

Моя квартирка на набережной Августинцев состояла из трех комнат и обходилась мне в триста с лишним франков в год. Я сам обставил ее. Для студента это была роскошь. У меня была столовая, спальня, а между ними рабочий кабинет, который я пышно именовал «гостиной». Туда мы перешли пить кофе. Увидев сигары, Орас бесцеремонно закурил одну из них.

— Простите,— сказал я, беря его за руку.— Эжени это неприятно; я курю только на балконе.

Он не преминул извиниться перед Эжени за свою рассеянность, но в глубине души был удивлен, увидев, как я почтителен к женщине, которая в тот момент подрубала мои галстуки.

Балкон мой как бы венчал собой верхний этаж здания. Эжени затенила его вьюнком и душистым горошком, посеянным в двух кадках с апельсиновыми деревьями. Апельсины были в цвету, несколько горшков с фиалками и резедой дополняли убранство моей *диванной*. Я предоставил в распоряжение Ораса кусок старой обивки, заменявшей мне восточный ковер, и кожаную подушку, на которую обычно опирался, когда курил, наслаждаясь при этом, как настоящий паша. Оконное стекло отделяло *диванную* от кабинета, в котором работала Эжени. Таким образом, я видел ее, был вместе с ней, и в то же время дым моей трубки не беспокоил ее. Когда она увидела на ковре вместо меня Ораса, она незаметно опустила муслиновую занавеску, как бы защищаясь от солнца, на самом же деле из скромности, которую Орас не мог не оценить. Я сел позади него на одну из кадок. На узкой террасе едва хватало места для двух человек да четы-

трех-пяти горшков с цветами; отсюда нашим взорам открывались красавица Сена, позолоченный солнцем фасад Лувра, словно врезанный в синеву небес, все мосты и набережные до самой больницы Отель-Дье. Прямо напротив нас церковь Сен-Шапель возносила свои темно-серые шпили и остроконечный фронтон над домами острова Ситэ. Немного дальше вздымались к небу четыре исполинские льва прекрасной башни Сен-Жак-ла-Бушери, а справа картину замыкал своей изящной и внушительной громадой собор Богоматери. Вид был чудесный: с одной стороны — прославленные памятники и живописный беспорядок старого Парижа; с другой — Париж Возрождения, сливающийся с Парижем Империи,— творение Медичи, Людовика Четырнадцатого и Наполеона. Каждая колонна, каждая дверь была страницей истории французского королевства.

Мы только что прочли новый роман, «Собор Парижской богоматери», и, подобно всем людям или, по крайней мере, подобно всей молодежи того времени, безотчетно поддавались очарованию поэзии этого романтического произведения, озарившего новым светом древние красоты нашей столицы. Словно волшебная краска оживила поблекшие воспоминания; благодаря поэту мы смотрели на кровли старых зданий, разглядывали причудливые формы и живописные детали глазами, какими не могли смотреть наши предшественники, студенты Реставрации или Империи. Орас был увлечен Виктором Гюго. Он исступленно любил все его странности и дерзания. Я не спорил, хотя и не всегда соглашался с ним. Мои вкусы и склонности влекли меня к более спокойным формам, к живописи с менее причудливыми линиями, с менее резкими тенями. Я сравнивал Гюго с Сальватором Розой,— очами воображения тот также видел больше, чем очами науки. Но к чему было затевать с Орасом войну из-за слов и образов! Не в девятнадцать лет бояться выражений, смело обнажающих чувство, и не в двадцать пять лет осуждать их. Нет, счастливая молодость отнюдь не педантична; она никогда не находит слов достаточно убедительных, чтобы выразить то, что сама испытывает с такой силой. И велика заслуга поэта, если он сумел придать своим мыслям столь всеобъемлющую, столь яркую форму, что почти целое поколение взглянуло на мир его глазами и увлеклось переживаниями, которые его вдохновили!

Было так: наиболее косные из нас, те, кому для освежения восприятия необходимо было после «Собора Парижской богоматери» прочесть страничку из «Павла и Виргинии» или, как сказал один утонченный критик, припомнить самый «кристальный» из сонетов Петрарки, все же охотно надевали на свои изнеженные

глаза эти очки с пестрыми стеклами, сквозь которые можно было увидеть так много нового; а насладившись волнующим зрелищем, неблагодарные заявляли: какие странные очки! Что ж, странные, если угодно: но разве без этой причуды художника вы разглядели бы хоть что-нибудь вашим невооруженным глазом?

Под натиском моей критики Орас шел на ничтожные уступки, я же отступал значительно дальше перед его восторгами; и после спора наш взор, следуя за полетом ласточек и ворон, проносившихся у нас над головою, отдыхал вместе с ними на башнях собора Богоматери, неизменном предмете нашего созерцания. Он получал и от нас свою долю любви, этот старый собор; так забытая красавица вновь входит в моду, вновь вокруг нее теснится толпа, едва обретет она нового поклонника, чьи горячие восхваления возвращают ей молодость.

Я не собираюсь превращать рассказ о своей юности в критический разбор целой эпохи: это было бы мне не по силам; но, вспоминая эти дни, я не могу не сказать о том, какое действие оказывали некоторые книги на Ораса, на меня, на всех нас. Они были частью нашей жизни, как бы частью нас самих. Я не мог бы отделить в своей памяти поэтические впечатления отрочества от чтения «Рене» и «Атала».

В разгар наших романтических споров кто-то позвонил. Эжени дала мне об этом знать, легонько постучав в окно, и я пошел открыть дверь. Это был ученик из школы живописи Эжена Делакруа по имени Поль Арсен; в той мастерской, где я ежедневно читал художникам курс анатомии, его прозвали *маленьким Мазаччо*.

— Привет синьору Мазаччо,— сказал я и представил его Орасу, который окинул презрительным взглядом его перепачканную блузу и растрепанные волосы.— Вот юный мастер, который, как уверяют, далеко пойдет, а пока что он пришел звать меня на лекцию.

— Нет, еще рано,— ответил Поль Арсен,— у вас целый час впереди; я пришел поговорить с вами о деле, которое касается только меня. Найдется ли у вас время выслушать меня?

— Разумеется,— ответил я,— а если мой друг мешает, он выйдет на балкон, покурит.

— Нет,— возразил молодой человек,— у меня нет никаких секретов. Ум хорошо, а два лучше, и я не возражаю, чтобы этот господин тоже послушал.

— Присаживайтесь,— сказал я и направился в соседнюю комнату за четвертым стулом.

— Не беспокойтесь,— остановил меня художник, взбираясь на низенький комод; он положил фуражку на колени, вытер клетча-

тым платком мокрое от пота лицо и, свесив ноги и наклонившись в позе Pensieroso [1], произнес следующие слова:

— Сударь, я намерен бросить живопись и серьезно заняться медициной,— говорят, она обеспечивает более прочное положение; вот я и пришел посоветоваться с вами.

— На такой вопрос,— сказал я,— ответить труднее, чем вы думаете. Мне кажется, в любой профессии занято сейчас слишком много людей и, следовательно, любое положение, как вы выразились, весьма ненадежно. Большие познания и трудоспособность сами по себе еще не обеспечивают будущности; одним словом, я не вижу, почему бы медицина оказалась для вас выгоднее, чем искусство? Наилучшим является тот выбор, который отвечает нашему призванию; а поскольку у вас, как говорят, незаурядные способности к живописи, я не понимаю, почему она так скоро вам надоела.

— Надоела? О нет! — возразил Арсен.— Она мне совсем не надоела, и, если бы можно было зарабатывать на жизнь, занимаясь живописью, я предпочел бы ее всему остальному, но, кажется, это будет еще не скоро, очень не скоро! Патрон говорит, что нужно рисовать натуру по меньшей мере два года, прежде чем взяться за кисть. А потом как будто и маслом придется поработать года два-три, прежде чем можно будет послать картину на выставку. И даже если ее примут, этим не многого добьешься. Сегодня утром я был в музее; я думал, что все будут останавливаться перед картиной патрона,— в конце концов, он мэтр, он знаменитость! И что же? Половина посетителей даже не взглянула на нее, все спешили посмотреть на портрет какого-то господина в артиллерийской форме, у которого были совершенно деревянные руки и лицо как из картона. Ну, эти еще куда ни шло: все они просто жалкие невежды; но вот пришли молодые художники, ученики из различных мастерских; каждый высказывался: одни ругали, другие восхищались; но ни один не сказал того, что я хотел бы услышать. Ни один ничего не понял. Тогда я сказал себе: к чему создавать произведения искусства для публики, которая все равно ничего в них не видит и ничего не смыслит. Это было хорошо в доброе старое время! Нет, я займусь другим ремеслом, лишь бы оно давало мне деньги.

— Вот грязный болван! — шепнул мне на ухо Орас.— Его душа не чище его блузы!

Я не разделял презрения Ораса. Я почти не знал Мазаччо, но слышал, что он малый умный и работящий. Г-н Делакруа очень ценил его, и товарищи относились к нему с любовью и уважением. Должно быть, за этой наивной жадностью скрывалась какая-то не-

[1] Мыслителя *(итал.)*.

понятная мне причина; но так как он предупредил, что не собирается сообщать никаких тайн, я понял, что в эту тайну проникнуть нелегко. Достаточно было взглянуть на лицо Мазаччо и присмотреться к тому, как он держал себя, чтобы убедиться в его упорстве и вместе с тем почувствовать, что им движут совсем не низменные побуждения.

Это был как бы сам народ, воплощенный в одном человеке, но не мирный, здоровый народ земледельцев, а народ ремесленников — хилый и отважный, смышленый и проворный. Словом, молодой художник не был хорош собой. Однако о таких, как он, товарищи по мастерской говорят: «Его лицо так и просится на полотно, замечательная получилась бы вещь!» Действительно, в его лице, несмотря на грубые черты, было что-то необычное. Я не видел выражения более энергичного и одухотворенного. Глаза у него были небольшие, бесцветные и как бы прищуренные, но взгляд такой пламенный и острый, что, казалось, все пронизывал насквозь. Нос был короткий, и слишком маленькое расстояние от углов глаз до ноздрей на первый взгляд придавало всему лицу простоватый и даже вульгарный вид. Но это впечатление тут же рассеивалось. Если и было в его внешнем облике что-то от раба или вассала, то в душе таился гений независимости, иногда прорывавшийся вспышками молний. Рот неправильной формы, с толстыми губами, оттененный пробивающимися черными усиками, узкий подбородок с ямочкой посредине, широкие выдающиеся скулы — все эти прямые и жесткие плоскости, пересеченные резкими линиями, эти угловатые контуры лица выражали неукротимую волю и непреклонную прямоту намерений. В рисунке его ноздрей последователь Лафатера увидел бы много для себя интересного, а его лоб, великолепный, с точки зрения скульптора, был бы не менее любопытен для френолога. Я сам, страстно увлеченный в то время научными изысканиями, не мог вдоволь на него насмотреться; а проводя занятия по анатомии в мастерской, всегда невольно обращался к этому юноше, казавшемуся мне олицетворением ума, смелости и доброты.

Поэтому, признаюсь, мне было больно услышать из его уст такие пошлости.

— Как, Арсен,— сказал я,— неужели вы бросили бы живопись, если бы другое занятие дало вам на несколько франков больше?

— Да, сударь, я поступил бы именно так,— ответил он без малейшего смущения.— Если б я был уверен, что заработаю чистыми тысячу франков в год, я стал бы сапожником.

— Такое же искусство, как всякое другое, – с презрительной усмешкой заметил Орас.

— Это вовсе не искусство,— холодно возразил Мазаччо.— Это ремесло моего отца, и я справился бы с ним не хуже других. Но оно не даст столько денег, сколько мне нужно.

— А много ли вам нужно денег, бедный мой друг? — спросил я.

— Я же сказал, мне надо зарабатывать тысячу франков; а я расходую пятьсот и ничего не зарабатываю.

— Но как можете вы в таком случае думать об изучении медицины? Ведь вам понадобится не меньше тридцати тысяч франков на годы учения и на то время, когда у вас еще не будет достаточно пациентов. А потом...

— А потом, вы даже школы не окончили,— сказал Орас, раздраженный моей терпеливостью.

— Это верно,— сказал Арсен,— но я окончу ее или, по крайней мере, заменю чем-нибудь равноценным. Я засяду в своей комнате на хлеб и воду и, несомненно, за неделю выучу то, что школьники учат месяц. Ведь школьники не очень-то прилежны; ребенком играешь, тратишь время попусту, а когда тебе двадцать лет и ты стал разумнее, да к тому же знаешь, что надо торопиться,— поневоле будешь спешить. Но из ваших слов о том, что сулит бедняку медицинский факультет, я отлично вижу— мне не быть врачом. А если стать адвокатом?

Орас расхохотался.

— Осторожней, а то еще надорветесь,— спокойно сказал Арсен, оскорбленный пансионаньем Ораса.

— Дорогой мой,— возразил я,— откажитесь от всех этих планов, в вашем возрасте они неосуществимы. Вы можете выбрать лишь искусство или ремесло. И ни то, ни другое не даст вам уверенности в будущем, если у вас нет денег или кредита. Что бы вы ни решили, вам нужны время, терпение и покорность судьбе.

Арсен вздохнул. Я решил отложить расспросы до другого раза.

— Вы рождены быть художником, это несомненно,— продолжал я.— В искусстве вы скорее добьетесь успеха.

— Нет, сударь,— ответил он,— стоит мне поступить в какой-нибудь галантерейный магазин, и я завтра же заработаю деньги.

— Вы можете стать даже лакеем,— добавил Орас, возмущаясь все больше и больше.

— Мне бы этого очень не хотелось,— сказал Арсен,— но если не останется ничего иного...

— Арсен! Арсен! — воскликнул я.— Это было бы огромным несчастьем для вас и потерей для искусства. Неужели вы не понимаете, что большой талант — это великий долг, налагаемый на человека самим провидением?

— Прекрасные слова,— сказал Арсен, сверкнув глазами.— Но есть другие обязанности, кроме долга перед самим собою. Ну,

так и быть! Пойду скажу в мастерской, что вы будете в три часа, ладно?

Он спрыгнул с комода, молча пожал мне руку и, едва кивнув Орасу, проворно, как кошка, сбежал по лестнице, останавливаясь, однако, на каждой площадке, чтобы поправить спадавшие с ног стоптанные башмаки.

ГЛАВА IV

Поль Арсен снова пришел ко мне, и, когда мы остались наедине, я добился, хоть и не без труда, признания, которого ожидал. Он начал следующими словами рассказ о своей жизни:

— Как я уже говорил вам, сударь, мой отец — сапожник. Жили мы в провинции. Нас было пятеро детей; я третий. Старший брат был уже взрослым, когда отец, который на старости лет мог уже оставить ремесло и жить на небольшие сбережения, женился вторично. Жена его была ни хороша, ни добра, ни молода, ни богата, но все же подчинила его себе и пустила по ветру его деньги, а с ними и честь. Отец, обманутый, несчастный, любил ее тем сильнее, чем больше она давала ему поводов для ревности; чтобы забыться, он запил, как это случается с людьми нашего сословия, когда у них горе. Бедный отец! Мы долго выносили все это, потому что искренно его жалели. Ведь мы помнили его разумным и добрым! Наконец пришло время, когда терпеть дольше стало невозможно. Его характер так изменился, что за каждое неосторожное слово, за каждый взгляд он бросался на нас с кулаками. Мы были уже не дети и не могли больше с этим мириться. К тому же в свое время к нам относились мягко, нежно, и подобный семейный ад был для нас непривычен. А тут еще ему вздумалось приревновать жену к моему старшему брату. Мачеха действительно с ним заигрывала — он был красивый, славный парень; брат пригрозил, что все расскажет отцу, но она опередила его, как в трагедии «Федра», которую я с тех пор не могу слушать без слез. Она приписала моему бедному брату собственные греховные помыслы. Тогда он пошел в рекруты за другого и уехал. Второй брат, опасаясь, как бы и его не постигла та же участь, отправился в Париж искать счастья, пообещав вызвать меня, как только найдет какие-нибудь средства к существованию. Я же остался дома с двумя сестрами и жил сравнительно спокойно, так как решил никогда не отвечать этой злой женщине, сколько бы она ни кричала. Я всегда был чем-нибудь занят: в школе я учился довольно хорошо, и когда не помогал в лавке отцу, то читал или марал бумагу, потому что меня всегда тянуло к рисованию. Правда, я не думал, чтобы это

занятие когда-нибудь пригодилось мне, и времени уделял ему не много. Однажды какой-то заезжий художник, писавший в наших краях пейзажи, заказал отцу пару грубых башмаков, и меня послали к нему в гостиницу снять мерку. Весь стол в его комнате был завален альбомами. Я попросил разрешения посмотреть рисунки. Его удивила моя любознательность, он дал мне клочок бумаги и карандаш и предложил нарисовать человечка. Я думал, что он смеется надо мной, но соблазн поводить таким черным карандашом по такой гладкой бумаге был сильнее самолюбия. Я изобразил первое, что пришло в голову; он взглянул и не засмеялся. Он даже наклеил рисунок в свой альбом и подписал под ним мою фамилию, профессию и название нашего городка. «Напрасно вы остаетесь рабочим,— сказал он мне,— вы рождены для живописи. На вашем месте я бы все бросил и поехал учиться в какой-нибудь большой город». Он даже предложил мне уехать вместе с ним, это был добрый и великодушный молодой человек. Он дал мне свой парижский адрес, чтобы я мог его разыскать, если пожелаю. Я поблагодарил, но не посмел ни последовать за ним, ни поверить надежде, которую он во мне заронил. Я вернулся к своим заготовкам и колодкам, и еще год прошел без особых столкновений с отцом.

Мачеха меня ненавидела; однако я уступал ей во всем, и раздоры далеко не заходили. Но в один прекрасный день она обнаружила, что моя сестра Луизон, которой исполнилось пятнадцать лет, очень похорошела и что мужчины в нашем квартале стали на нее заглядываться. Тут она возненавидела Луизон, стала попрекать ее кокетством и даже кое-чем похуже. Между тем бедная Луизон была чиста, как десятилетний ребенок, и к тому же горда, как наша покойная мать. Вместо того чтобы вести себя смирно, как я советовал, Луизон возмутилась, заспорила и пригрозила уйти из дому. Отец попытался заступиться за нее, но жена скоро взяла верх. Она разбранила Луизон, осыпала ее оскорблениями и — увы, сударь! — избила и ее, и маленькую Сюзанну, когда та попыталась вступиться за сестру и криком всполошить соседей. Тогда я взял сестер за руки, и мы все трое, пешком, без гроша в кармане, в чем были, под палящими лучами солнца вышли на большую дорогу, заливаясь горькими слезами. Я повел сестер к тетушке Анриетте, которая жила в десяти с лишком лье от нашего города, и сказал ей:

«Тетушка, прежде всего дайте нам поесть и попить, потому что мы умираем от голода и жажды; мы даже говорить не в силах».

А когда тетка накормила нас обедом, я объяснил ей все.

«Я привел к вам ваших племянниц,— сказал я,— если вы не оставите их у себя, им придется просить милостыню под окнами или вернуться домой и умереть от побоев. У нашего отца было пятеро детей, теперь у него не осталось никого. Мальчики выпу-

таются, они будут работать, но с девочками, если вы над ними не сжалитесь, случится то, что я вам сказал».

Тетушка ответила:

«Я очень стара, я очень бедна; но лучше я сама пойду побираться, чем брошу на произвол судьбы своих племянниц. К тому же они благоразумны, они прилежны, и мы все трое станем работать».

Уладив это дело, я взял двадцать франков, которые бедная женщина заставила меня принять, и отправился пешком в Париж. Я тут же разыскал второго брата, Жана, который устроил меня в мастерскую, где сам работал сапожником, а затем отправился к молодому художнику за советом. Он принял меня очень хорошо, предложил денег, однако я отказался. На хлеб я мог себе заработать, но эта чертова живопись, которой он сбил меня с толку, так у меня из головы и не выходила, и каждое утро я вздыхал, раздумывая, насколько приятнее было бы орудовать карандашом или кистью, чем шилом. Я сделал кое-какие успехи, ибо, несмотря ни на что, продолжал рисовать и по воскресеньям целыми часами набрасывал какие-нибудь фигуры или копировал иллюстрации из старой книги, доставшейся мне от матери. Молодой художник поощрял меня, и я не нашел в себе мужества отказаться от уроков, которые он предложил мне давать бесплатно. Надо было как-то существовать, но на какие же средства? У художника нашелся знакомый литератор, который поручил мне переписку своих рукописей. У меня был, что называется, каллиграфический почерк, но грамматики я не учил. Для пробы мне продиктовали несколько строк, ошибок в них не оказалось. Я много читал и благодаря зрительной памяти научился писать почти грамотно, но правил я не знал и не смел сказать об этом из страха потерять работу. Впрочем, переписывая, я и вовсе не делал ошибок, что объяснялось исключительным моим вниманием. Но зато я работал медленно; вскоре я убедился, что уйдет меньше времени на изучение грамматики, и засел за упражнения. Действительно, дело пошло на лад; но я все время недосыпал и в конце концов заболел. Жан забрал меня в свою комнату на чердаке, а сам стал работать за двоих. Те небольшие деньги, какие я заработал перепиской рукописей, ушли на оплату лекарств. Я не хотел, чтобы художник знал о моем положении. Я сам видел, как туго ему порой приходится,— ведь ни состояния, ни известности у него еще не было. Я знал, что по доброте сердечной он захочет мне помочь; и так как он уже не раз делал это против моего желания, я предпочел бы умереть на своей койке, чем снова вводить его в расходы. Он счел меня неблагодарным, а тут еще ему представился случай совершить путешествие по Италии, куда он давно стремился,— он уехал, не

простившись со мной и, к моему большому огорчению, увозя обо мне дурное воспоминание.

Когда я немного оправился после болезни, я был поражен видом Жана: брат был невероятно худ и измучен; я узнал, что сбережения наши истрачены и двери мастерской для нас закрыты, так как, ухаживая за мной, Жан много дней не ходил на работу. Это было в июле прошлого года, в самую дьявольскую жару. Мы беседовали о своих невеселых домашних делах; я еще лежал и был настолько слаб, что с трудом понимал, о чем говорит мне Жан. В это время раздался пушечный выстрел, но мы даже не задумались, что это могло значить. Дверь вдруг распахнулась, и вбежали два наших товарища по мастерской, возбужденные и взъерошенные: они явились за нами, чтобы, как они выразились, всем вместе победить или погибнуть. Я спросил, о чем идет речь.

«О том, чтобы свергнуть короля и установить республику!» — ответили они.

Я соскочил с кровати, вмиг натянул старые штаны и рваную блузу, служившую мне халатом; Жан последовал за мной. «Лучше умереть от пули, чем от голода»,— сказал он. И мы отправились.

Мы прибежали к двери какой-то оружейной лавки, где такие же молодые люди, как мы, раздавали ружья всем желающим. Каждый из нас взял по ружью, и мы бросились к баррикадам. Первым же залпом мой бедный Жан был убит у меня на глазах. Я впал в неистовство, я обезумел. Ах, никогда я не думал, что способен пролить столько крови! Три дня я купался в ней; я был залит не только чужой кровью, но и своею, она текла из многих ран, но я ничего не чувствовал. Наконец второго августа я очнулся в больнице; сам не знаю, как я туда попал. Когда я вышел из нее, я был еще несчастнее, чем раньше, сердце мое терзали горькие муки: брата больше нет на свете, а королевская власть восстановлена.

Я слишком ослабел, чтобы работать, к тому же после Июльских дней голова у меня горела, как в лихорадке. Мне казалось, что гнев и отчаяние могут пробудить во мне художника: я бредил страшными картинами, я разрисовывал стены фигурами, которые казались мне достойными Микеланджело, я читал «Ямбы» Барбье и мысленно претворял их в живые образы. Я мечтал, я ничего не делал; я умирал с голоду и сам того не замечал. В таком состоянии я не мог оставаться слишком долго, и все же несколько дней оно владело мной с такою силой, что я стал равнодушен ко всему окружающему. Мне казалось, что у меня осталась только голова, что нет у меня ни рук, ни ног, ни желудка, ни памяти, ни совести, ни родных, ни друзей. Я подолгу бесцельно бродил по улицам. Но всегда, сам не зная как, оказывался у могил жертв Июльского

восстания. Я не знал, там ли похоронен мой бедный брат, но мне представлялось, что все равно — он ли, другие ли мученики лежат там, и что, преклоняя колена на этой земле, я как бы отдаю последний долг покойному брату. Я был необычайно возбужден и постоянно разговаривал вслух сам с собою. Я ничего не помню из этих длинных речей; кажется, чаще всего я говорил стихами. Вероятно, они были плохи, а сам я очень смешон; прохожие, должно быть, принимали меня за сумасшедшего. Но я не замечал никого и даже собственный голос слышал лишь изредка. Тогда я пробовал молчать, но это не удавалось. Лицо мое было мокро от пота и слез, и, что самое странное, в этом отчаянии было нечто приятное. Я бродил ночи напролет или, сидя на придорожном камне, при лунном свете предавался бесконечным, бессвязным грезам, будто видел сны наяву. И все-таки я не спал, потому что во время ходьбы замечал, как рядом со мною, на стене или на мостовой, металась и размахивала руками моя тень. Сам не понимаю, как меня ни разу не задержал патруль.

Наконец я встретил одного студента, которого раньше несколько раз видел в мастерской молодого художника. Он не побоялся уронить свое достоинство и, хотя я походил скорее на нищего, первый подошел ко мне. В ту минуту я не оценил этого поступка, потому что совершенно не знал, хорошо или плохо я одет, голова моя была занята другим; я шел рядом с ним по набережной и рассуждал только о живописи; это была моя навязчивая идея. То, что я говорил, казалось, заинтересовало его. А возможно, ему было лестно появиться с одним из героев славных дней перед толпой зевак, чтобы создать впечатление, будто и он сражался. В те времена многие из буржуазной молодежи любили похвастаться жандармской саблей, купленной после восстания у какого-нибудь *оборванца,* или царапиной, которую заработали, неосторожно высунувшись из окна, чтобы поглядеть на происходящее. Этот студент, как мне показалось, тоже был из породы хвастунов: по его словам, он будто бы виделся и разговаривал со мной на какой-то баррикаде, чего я никак не мог припомнить. Напоследок он пригласил меня позавтракать с ним; я согласился не чинясь — много дней я уже ничего не ел, и рассудок мой начал мутиться. После завтрака ему надо было зайти в музей Дюсомерара в старинном особняке Клюни, и он предложил проводить его; я машинально последовал за ним.

При виде чудесных произведений искусства и всевозможных редкостей, собранных в этом музее, я пришел в такой восторг, что сразу забыл все свои горести. В углу сидели несколько учеников-живописцев и копировали эмали для альбома гравюр, заказанного господином Дюсомераром. Я взглянул на их работу; мне показа-

лось, что я мог бы делать то же самое ничуть не хуже; пожалуй, у меня был даже более верный глаз, чем у некоторых из них. В этот момент вошел господин Дюсомерар; мой спутник был с ним немного знаком, и они поздоровались. Несколько минут они стояли в отдалении от меня, но по взглядам, которые они бросали в мою сторону, я понял, что разговор шел обо мне. После завтрака я более или менее пришел в себя и начал понимать, что моя рваная одежда неприлична и антиквар свободно мог принять меня за вора, если бы его собеседник не поручился за меня. Господин Дюсомерар очень добр; он не любит бахвалов, но охотно оказывает услуги беднякам, проявляющим усердие и бескорыстие. Он подошел и заговорил со мной; узнав, что я хотел бы для него работать, и, несомненно, приняв во внимание, насколько я нуждаюсь, он тут же вручил мне немного денег, якобы на карандаши, а в действительности, чтобы я мог приобрести самое необходимое из одежды. Он показал все, что мне надлежало скопировать. На другой день, прилично одетый, я уже сидел на своем новом рабочем месте. Я выполнил заказ на совесть и так быстро, что господин Дюсомерар остался доволен и снова дал мне работу. У меня есть все основания быть признательным господину Дюсомерару — ведь благодаря ему я остался жив. Он не только заказал мне множество копий с художественных изделий, но и рекомендовал меня нескольким ювелирам,— я рисовал им цветы и птичек для эмалей и женские головки для поддельных камей.

Таким образом, я мог последовать своему призванию и поступить в студию господина Делакруа, к которому я с первого взгляда почувствовал уважение и любовь. Я не попрошайка и никогда не посмел бы мечтать о том, что он предложил мне сам. Когда я впервые сказал ему о своем желании присутствовать на его уроках, то счел не лишним показать кое-какие свои наброски. Он просмотрел их и сказал: «Совсем недурно». Меня предупредили, что он не щедр на похвалы и, если он так скажет, я могу быть доволен. Я действительно был очень рад и уже собрался уходить, когда он окликнул меня и спросил, могу ли я платить за учение. Я ответил утвердительно, но при этом покраснел до корней волос. То ли он понял, как мне трудно будет сделать это, то ли ему обо мне уже говорили, но он добавил: «Отлично, вы будете платить старосте».

Это означало, как я вскоре узнал, что я буду вносить деньги лишь для оплаты помещения и натурщиков, сам же мэтр ничего с меня не возьмет и я буду пользоваться его уроками даром. Мудрено ли после этого, что он навсегда остался в моем сердце!

Так продолжается вот уже полгода, и я был бы счастлив, если бы так продолжалось всегда. Но это невозможно, мое положение

должно измениться; и, вместо того чтобы следовать по одному из прекраснейших жизненных путей, я вынужден немедленно устремиться на любой другой путь.

Мазаччо заметно смутился; он стал не так пространно и чистосердечно излагать свои мысли. Он искал предлогов, но не находил ни одного мало-мальски правдоподобного, чтобы объяснить обуявшие его сомнения. Он показал мне письмо от своей сестры Луизон, сообщавшей о здоровье тетушки Анриетты. Добрая старушка окончательно одряхлела и могла лишь оберегать племянниц, которые работали поденно, чтобы поддержать ее существование. Врачи приговорили ее к смерти, и трудно было надеяться, что она проживет больше трех-четырех месяцев.

— Если мы потеряем ее,— сказал Поль Арсен,— что станется с моими сестрами? Неужели им оставаться в городишке, где у них нет других родственников, кроме тетушки Анриетты, и подвергаться всем опасностям, которые могут угрожать двум хорошеньким одиноким девушкам? Прежде всего отец не допустит этого, его долг вернуть их домой; но тогда их участь будет еще тяжелее: им придется терпеть дурное обращение мачехи, да еще постоянно иметь перед глазами дурной пример, ибо злой нрав — не единственный порок этой женщины. Мне остается либо поехать к сестрам в провинцию, устроиться там рабочим и жить вместе с ними, либо забрать их сюда, приняв на себя расходы по их содержанию, пока они сами не начнут зарабатывать себе на жизнь.

— Все это весьма справедливо и весьма благородно,— сказал я,— но если ваши сестры действительно дельные и трудолюбивые девушки, они недолго будут вам в тягость. И все же я не понимаю, почему вы стремитесь найти работу с таким большим заработком, как вы на днях говорили. Речь идет ведь о небольшой сумме, необходимой, чтобы привезти Луизон и Сюзанну и поддержать их на первых порах. Что ж, у вас есть друзья, они легко могут ссудить вам эти деньги, и я первый...

— Благодарю вас, сударь,— сказал Арсен,— но я не хочу... Занимать легко, отдавать трудно. Я и так слишком обязан чужой доброте, а времена, как я знаю, сейчас трудные для всех. Зачем перекладывать на плечи других лишения, которые я сам могу вынести. Я люблю живопись, но вынужден ее оставить,— что ж, тем хуже для меня. Если вы принесете жертву ради того, чтобы я продолжал рисовать, то завтра, быть может, вам не удастся помочь человеку более несчастному, чем я. В конце концов, не все ли равно, быть художником или чернорабочим, если ты живешь честно? Незачем щадить самого себя. Говорят, многие великие художники жалуются на судьбу; пусть в таком случае найдутся бедные башмачники, которые терпеливо молчат.

Как я ни уговаривал его, все было бесполезно, он оставался непоколебим. Ему нужно было зарабатывать тысячу франков в год и для этого как можно скорее поступить на службу, хотя бы лакеем. Теперь все его мысли были заняты одним: как найти подходящее место.

— Что, если я возьму на себя,— спросил я,— достать для вас побольше работы на дом,— скажем, рукописи для переписки или заказ на рисунки, тогда вы не оставите живописи?

— Ах, если бы это было возможно! — воскликнул он после минутного колебания.— Но нет,— тут же добавил он,— это причинит вам слишком много хлопот, а заработок все равно будет неверный.

— Позвольте мне все же попытаться,— настаивал я.

Он снова пожал мне руку и ушел, унося с собой свою тайну и свое решение.

ГЛАВА V

Орас посещал меня все чаще и чаще. Он проявлял ко мне дружеское расположение, которое я очень ценил, хотя Эжени не разделяла моего чувства. Он не раз встречался у меня с маленьким Мазаччо, но, как бы хорошо я ни отзывался об этом юноше, Орас не соглашался с моим мнением и испытывал к художнику непреодолимую антипатию. Впрочем, он стал с ним более любезен, увидев однажды, как тот набрасывал портрет Эжени. Эскиз был так удачен, отличался таким бесспорным сходством и смелым рисунком, что Орас, чувствительный ко всякому проявлению духовного превосходства, невольно начал относиться к Мазаччо с некоторым уважением. Однако это не мешало ему еще сильнее возмущаться необъяснимым отсутствием благородного честолюбия, непонятным для такого честолюбца, каким был он сам. По этому поводу он разражался пылкими тирадами. Поль Арсен, слушавший его со сдержанной улыбкой на губах, вместо ответа произносил, обращаясь ко мне: «Ваш друг прекрасно говорит, сударь!»

Сам Поль не выказывал ни хорошего, ни дурного отношения к Орасу. Он принадлежал к тем людям, которые идут прямо к цели, никогда не задерживаясь ради дорожных развлечений. Он ничего не говорил зря, не высказывался почти ни о чем,— ссылаясь на свое неведение, иногда действительное, иногда лишь служившее предлогом для прекращения спора. Обычно молчаливый и замкнутый, он проявлял себя лишь тогда, когда без всякого педантства успокаивал других или без лишних разговоров оказывал кому-нибудь услугу. Пока принятое им решение не было еще осуществлено, он продолжал посещать класс натуры, изучать ана-

томию и делать рисунки для фарфора тщательно и прилежно, словно и не помышлял о перемене рода занятий. Это спокойствие в настоящем, соединенное с волнением за будущее, восхищало меня. Как редко встречается в человеке сочетание таких качеств! Молодости особенно свойственно усыплять себя настоящим, без заботы о завтрашнем дне,— либо прожигать настоящее в лихорадочном ожидании будущего.

Орас, казалось, был убежденным и сознательным антиподом этого характера. Очень скоро я убедился в том, что он совершенно не занимается науками, хотя он и утверждал, будто в течение нескольких часов, украденных у сна, может наверстать все упущенное за неделю. Не тут-то было. За всю свою жизнь он не прослушал и трех лекций; пожалуй, не чаще открывал он и книги. Рассматривая однажды у него в комнате книжные полки, я обнаружил там одни романы и поэмы. Он признался, что все книги по юриспруденции были им проданы.

Это признание повлекло за собой другие. Я заподозрил, что такая острая нужда в деньгах — следствие легкомысленного поведения. Он горячо оправдывался и сказал, что его родители — люди малосостоятельные; не сообщая цифры назначенного ему пенсиона, он добавил, что его добрая матушка питает странные иллюзии, будто высылает ему сумму, достаточную для жизни в Париже.

Я не посмел продолжать свой допрос, но невольно представил себе элегантный и хорошо подобранный гардероб моего юного друга: чего там только не было! Жилетов, сюртуков и фраков у него было больше, чем у меня, обладателя наследства, дающего три тысячи франков ренты. Я догадался, что портной может стать бичом его существования. И не ошибся. Вскоре я заметил, что Орас начал хмуриться, говорить более отрывисто и резко. Целую неделю я не мог от него ничего добиться. Наконец мне удалось вырвать признание о постигшем его несчастье. Мерзавец портной посмел представить счет! Избить бы его тростью! Вот каналья! Возмущение было все же признаком добродетели. Орас не дошел еще до той степени порочности, когда люди кичатся своими долгами или хвастливо посмеиваются при мысли, что на родителей обрушится счет в три или четыре тысячи франков. К тому же он нежно любил свою мать, хотя и находил ее ограниченной, и был хорошим сыном, хотя втайне и презирал отца за слепое повиновение воле правительства.

Увидев, что он впал в уныние, я взялся переговорить с портным и умерить его притязания, после чего, поблагодарив меня с необычайным жаром, Орас вновь обрел свою безмятежность.

Но он продолжал бездельничать, и его образ жизни — впрочем, для студента совершенно обычный — вызывал во мне все

большее недоумение. В самом деле, как сочетать жажду славы, мечты о парламентской деятельности и политическом главенстве с глубокой инертностью и сибаритской беспечностью этой натуры? Казалось — человеческая жизнь раз во сто длиннее, чем она есть, а сделать ему остается не так уж много. Он расточал часы, дни и недели с истинно королевской беззаботностью. Была даже своеобразная прелесть в том, как этот молодой красавец атлетического сложения, с черными кудрями и огненным взором, с утра до вечера возлежал на ковре у меня на балконе, покуривая огромную трубку (которую ежедневно приходилось подновлять, ибо, выколачивая ее о перила балкона, он неизменно ронял головку на мостовую), и перелистывал какой-нибудь роман Бальзака или томик Ламартина, не давая себе труда прочесть хоть одну главу или отрывок целиком. Я оставлял его там, уходя на работу, а когда возвращался из клиники или госпиталя, находил его дремлющим на том же месте, почти в той же позе. Эжени приходилось терпеть общество Ораса; впрочем, жаловаться ей было не на что: он едва удостаивал ее словом, рассматривая скорее как мебель, чем как живого человека. Она возмущалась его царственной ленью. Я же только улыбался, когда он с затуманенным от сонных мечтаний взором снова принимался за свои бредни о славе, политике и власти.

Однако в моих сомнениях не было ни тени презрения или порицания. Каждый день после обеда мы встречались с Орасом в Люксембургском саду, в кафе или в Одеоне, среди многолюдного сборища моих и его друзей; тут Орас разглагольствовал с необычайным красноречием. Во всех вопросах он казался самым сведущим, хотя был самым молодым. Во всех делах он был самым смелым, самым пылким, самым *передовым,* как говорили тогда и как говорят, я полагаю, и теперь. Даже те, кто не любил его, невольно слушали с интересом, противники же проявляли обычно больше недоверия и досады, чем справедливости и честности. Дело в том, что в таких случаях Орас широко использовал все свои преимущества: спор был его стихией; и каждый в душе признавал, что, если логика Ораса и небезупречна, тем не менее он неистощимый, изобретательный и страстный оратор. Те, кто его не знал, полагали, что развенчивают его, утверждая, будто он человек неглубокий, без собственных взглядов, но очень много работающий, и что все его вдохновенные речи тщательно подготовлены. Я же, хорошо зная обратное, восхищался его поразительной интуицией, благодаря которой ему достаточно было мимоходом коснуться любого вопроса, чтобы тут же усвоить его и развить, вдохновенно импровизируя. Это была поистине избранная натура, и можно было предсказать, что для ее развития и совершенствования времени всегда хватит,— так мало, казалось, для этого было нужно.

Постоянное присутствие Ораса в моем доме было подлинной мукой для Эжени. Как все деятельные, трудолюбивые люди, она не могла видеть это длительное бездействие, не испытывая какого-то беспокойства, доходящего до страдания. Я же был деятелен не по природе, а по убеждению и по необходимости и поэтому не возмущался так, как она. К тому же я утешал себя мыслью, что это бездействие было вызвано преходящим упадком сил и вскоре мой юный друг сделает, как он говорил, «могучий рывок вперед».

Однако, убедившись, что два месяца истекли, не принеся никаких изменений, я счел своим долгом содействовать *пробуждению льва* и однажды, когда мы сидели за кофе у Пуассона, попытался затронуть этот деликатный вопрос. День выдался грозовой, и вспышки молний то и дело бросали голубоватые отблески на зеленую листву Люксембургского сада. Дама, сидевшая за стойкой, была прекрасна, как всегда; а может быть, еще прекрасней, ибо печаль, обычно светившаяся в ее глазах, гармонировала с вечерним сумраком, полным томления.

Орас все поглядывал на нее и наконец сказал мне проникновенным тоном:

— Удивляюсь, как это вы, человек, способный серьезно увлекаться женщинами подобного рода, не прониклись великой страстью к этой красавице.

— Она действительно очень хороша,— ответил я,— но, к счастью, для меня существует лишь та женщина, которую я люблю. Скорее должен удивляться я, как это вы, чье сердце свободно, не обратите внимания на ее греческий профиль и талию нимфы.

— Полигимния из музея тоже прекрасна,— возразил Орас.— И, кроме того, у нее есть большие преимущества. Прежде всего — она молчит, а эта красавица исцелила бы меня от страсти первым же произнесенным ею словом. Затем — дама из музея не торгует лимонадом, а в-третьих — ее не зовут госпожой Пуассон. Госпожа Пуассон! Ну и фамилия! [1] Вы опять будете осуждать меня за аристократические замашки, ну, а сами-то вы? Что, если бы Эжени звали Марго или Жавоттой...

— Я предпочел бы Марго или Жавотту Леокадии или Федоре. Но позвольте вам заметить, Орас, вы что-то скрываете. Вы влюбились?

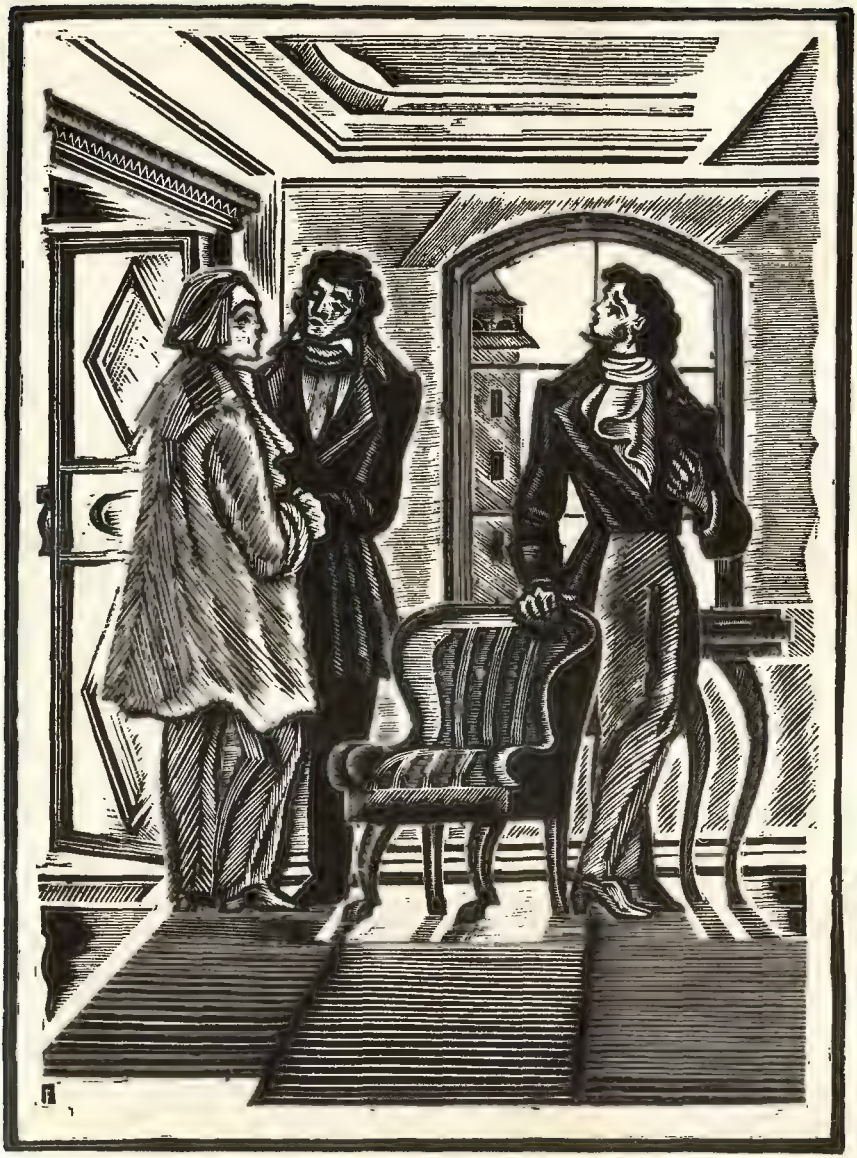
Орас протянул мне руку.

— Доктор,— воскликнул он смеясь,— пощупайте пульс. Должно быть, моя любовь очень спокойна, раз я не замечаю ее. Но почему пришла вам в голову такая фантазия?

— Потому что вы перестали думать о политике.

---

[1] Пуассон (poisson — *франц.*) буквально значит «рыба».



«Орас»

— Откуда вы это взяли? Думаю больше, чем когда бы то ни было. Но разве к цели ведет один-единственный путь?

— О! Каков же тот путь, которым вы идете? Для меня, я сам знаю, far niente[1] было бы счастьем. Но для того, кто стремится к славе...

— Слава сама находит тех, кто любит ее гордой и скромной любовью. Я же чем больше размышлял, тем тверже убеждался, что изучение права несовместимо со складом моего ума, а ремесло адвоката невозможно для уважающего себя человека; я отказался от него.

— Неужели? — воскликнул я, пораженный легкостью, с какой он сообщил мне о подобном решении.— Что же вы намерены делать?

— Не знаю,— ответил он равнодушно,— может быть, займусь литературой. Этот путь шире любого другого, или, вернее,— это открытое поле, куда можно войти со всех сторон. Вот подходящее занятие для удовлетворения моих нетерпеливых надежд и моей лени. Достаточно одного дня, чтобы выдвинуться в первые ряды; и когда пробьет час великой революции, партии смогут гораздо легче распознать нужных им людей среди литераторов, чем среди судейских.

Когда он говорил это, мне показалось, что в зеркале промелькнуло лицо Поля Арсена; но прежде чем я успел обернуться, оно исчезло.

— Какую же область литературы вы изберете? — спросил я Ораса.

— Стихи, прозу, роман, театр, критику, полемику, сатиру, поэму — все формы к моим услугам, и ни одна из них не пугает меня.

— Форма — пусть так, но содержание?

— Содержание бьет через край,— возразил он,— форма — это тесный сосуд, в который мне придется загонять свои мысли. Успокойтесь, вы скоро увидите, что кроется под пугающим вас безделием. Тихие воды таят глубины.

Оглядываясь по сторонам, я вновь увидел Поля Арсена, но в совершенно необычном для него наряде. На этот раз на нем была очень белая и довольно тонкая сорочка, белый фартук, и, в довершение метаморфозы, он держал в руках поднос, уставленный чашками.

— Смотрите,— сказал Орас, повернувший голову в направлении моего взгляда,— вот гарсон, удивительно похожий на Мазаччо.

Я не усомнился ни на минуту, что это был Мазаччо, собст-

[1] Безделье *(итал.)*.

венной персоной, хотя он и подстриг свои длинные волосы и сбрил усы. Сердце у меня больно сжалось. Сделав над собой усилие, я подозвал гарсона.

— Что прикажете, сударь,— откликнулся он тотчас же и, подойдя к нам без малейшего смущения, подал кофе.

— Возможно ли, Арсен? — воскликнул я.— Неужели вы избрали это занятие?

— За неимением лучшего,— ответил он,— впрочем, мне и здесь неплохо.

— Но у вас не остается ни минуты для рисования,— сказал я, зная, что это единственное возражение, способное его взволновать.

— О, это действительно несчастье! Но оно касается только меня,— ответил он.— Не браните меня, сударь! Тетушка умирает, и я хочу привезти сестер сюда; видите ли, когда попробуешь, что такое этот чертов Париж, то уже не захочешь вернуться в провинцию. Здесь, по крайней мере, я буду слушать, как молодые студенты говорят о живописи и об искусстве, а когда господин Делакруа выставит свои картины, я смогу убежать на часок, чтобы посмотреть на них. Неужели искусство погибнет оттого, что Поль Арсен перестал им заниматься? Вот чашки — те действительно могут погибнуть,— весело добавил он, подхватывая поднос, едва не выскользнувший из его еще неопытных рук.

— Ах так, Поль Арсен! — воскликнул Орас, разражаясь смехом.— Ну, либо вас обуяла жадность, либо вы влюблены в прекрасную госпожу Пуассон.

По своему обыкновению, он произнес эту шутку так громко, что госпожа Пуассон, сидевшая за стойкой, совсем близко от нас, услышала его слова и покраснела до ушей. Арсен побледнел как смерть и уронил поднос; на шум прибежал господин Пуассон, прикинул на глаз убыток и направился к конторке сделать запись в книге ad hoc [1]. Гарсон оплачивает всю разбитую им посуду. Заметив волнение жены, хозяин во всеуслышание прикрикнул на нее:

— Что же, вы так и будете вскакивать и кричать при малейшем шуме? Нервы как у маркизы!

Госпожа Пуассон отвернулась и опустила веки, словно один вид этого человека приводил ее в ужас. Эта маленькая мещанская драма продолжалась не более трех минут. Орас даже не обратил на нее внимания; но мне она открыла глаза на многое.

Искренний и глубокий интерес к судьбе бедного Мазаччо нередко приводил меня в кафе Пуассона. Я засиживался там подолгу и заказывал побольше, чтобы не возбудить подозрений хозяина, по-

[1] Для данной цели *(лат.)*.

казавшегося мне грубым ревнивцем. Но хотя я все время ждал какой-нибудь трагедии, прошло более месяца, прежде чем суровый порядок, царивший в этом семействе, был нарушен. Арсен выполнял обязанности официанта с редкой расторопностью; всегда безупречно аккуратный, предупредительно вежливый и жизнерадостный, он завоевал расположение всех завсегдатаев кафе и даже своего черствого хозяина.

— Вы его знаете? — обратился господин Пуассон ко мне, заметив, что я довольно долго разговаривал с Арсеном. Боясь потерять доверие хозяина, Арсен просил меня не говорить, что он был художником, и, выполняя его просьбу, я сказал, что видел его в одном ресторане, где очень жалеют об его уходе.

— Прекрасный парень,— заметил господин Пуассон,— честный, не болтун, не соня, не пьяница. Всегда всем доволен, всегда готов услужить. Мое заведение очень выиграло с тех пор, как он у меня. Но вот беда! Поверите ли, сударь, госпожа Пуассон, которая до глупости снисходительна и добра ко всем этим молодцам, терпеть не может бедного Арсена!

Господин Пуассон говорил это, стоя в двух шагах от моего столика, величественно опершись на стойку красного дерева, за которой восседала его жена со скучающим видом истинной королевы. Круглая, красная физиономия супруга вылезала прямо из муслинового жабо сорочки, а тучные телеса, казалось, с трудом умещались в нанковых панталонах, смешно обтягивавших толстые ляжки. Орас прозвал его Минотавром. Пока Пуассон сетовал на несправедливое отношение жены к бедному Арсену, мне показалось, что по губам у нее пробежала едва заметная улыбка. Но она не произнесла ни слова и, когда я попытался продолжить этот разговор с нею, ответила с невозмутимым спокойствием:

— Чего же вы хотите, сударь? Эти люди (она говорила о гарсонах вообще) — бич нашего существования. У них такие грубые манеры, так мало привязанности к хозяевам! Они дорожат местом, а не людьми. Моя кошка и то лучше — она любит и дом и меня.

Говоря это приятным, певучим голосом, она провела белоснежной рукой по тигровой спине ангорской кошки, которая резвилась на прилавке, ловко прыгая среди посуды.

Госпожа Пуассон была совсем не глупа, и я часто замечал, что она читает хорошие книги. Как завсегдатай, я получил право беседовать с ней, а моя почтительность внушала ее супругу полное ко мне доверие. Я часто хвалил ее за выбор чтения; ни разу мне не случалось видеть у нее в руках те легкомысленные, почти непристойные книжонки, какими обычно зачитываются в мещанских семьях. Однажды, когда она кончила читать «Манон Леско», я увидел, как по ее щеке скатилась слеза; я обратился к госпоже

Пуассон, заметив, что это прекраснейший из всех написанных во Франции любовных романов. Она воскликнула:

— О да, сударь! По крайней мере, прекраснейший из всех, какие я читала. Ах, коварная Манон! Благородный де Гриё! — И взгляд ее упал на Арсена, сдававшего деньги в кассу; был ли этот взгляд случайным или преднамеренным — трудно сказать; Арсен же никогда не поднимал на нее глаз; он сновал от столиков к прилавку со спокойным видом, способным обмануть самого тонкого наблюдателя.

ГЛАВА VI

Мало-помалу Орас начал удостаивать своим вниманием красоту и изысканные манеры Лоры — так называл господин Пуассон свою жену.

— Если бы подобное существо родилось в королевском дворце,— не раз говорил Орас, глядя на нее,— весь мир простерся бы ниц перед величием такой красоты.

— Зачем же во дворце? — отвечал я.— Красота сама по себе равна королевской власти.

— Что отличает ее, по моему мнению, от прочих содержательниц кафе,— продолжал он,— это ее холодное достоинство, столь непохожее на их дешевое кокетство. Обычно они продают вам свои нежные взгляды за стакан подслащенной воды; это способно отбить жажду навеки. Но она среди окружающей ее грубой лести подобна прекрасной жемчужине в навозной куче; она действительно внушает какое-то уважение. Будь я уверен, что она не дура, я, пожалуй, захотел бы влюбиться в нее.

Постоянное присутствие в кафе молодых людей, изо всех сил старавшихся привлечь внимание прекрасной лимонадницы и действительно способных натворить ради нее глупостей, в конце концов задело самолюбие Ораса; однако гордость не позволяла ему следовать по пути этих наивных обожателей. Он не желал принадлежать к свите госпожи Пуассон: ему нужно было, говорил он, овладеть крепостью, опередив всех осаждающих. Он обдумал все средства и однажды, оставив на столе страстное письмо, исчез до следующего вечера, полагая, что подобное поведение, которое впоследствии можно будет, смотря по обстоятельствам, объяснить робостью, надменностью или занятостью, произведет выгодное впечатление по контрасту с навязчивостью соперников.

Я решил не препятствовать этой проделке, будучи втайне уверен, что исход ее послужит уроком для все возраставшего самомнения Ораса и что все его эпистолярное красноречие пропадет даром. На следующий день я был занят больше обычного, и мы на-

значили друг другу свидание в кафе Пуассона только вечером. Лоры на обычном месте не было. Арсен один выполнял обязанности хозяина и слуги и так захлопотался, что на все наши расспросы отвечал только «не могу знать», с равнодушным видом бросая слова на бегу. Господин Пуассон тоже не показывался, и мы собрались было уходить, так ничего и не узнав, как вдруг в кафе с шумом ворвался Ларавиньер, *«предводитель бузенготов»*, окруженный веселой ватагой своих друзей.

Однажды я прочел где-то довольно пространное определение слова «студент», сделанное не без таланта, но отнюдь не показавшееся мне точным. Этим определением студент умален, я сказал бы, даже принижен; ему незаслуженно приписывается неблаговидная и пошлая роль, совсем ему не свойственная. У студента больше чудачеств и странностей, чем пороков; а если и есть у него пороки, то обычно они так неглубоко заложены, что достаточно студенту сдать экзамены и вернуться под отчий кров, чтобы стать человеком спокойным, положительным и уравновешенным,— чаще всего слишком положительным, ибо пороки студента — это пороки всего общества; общества, которое обрекает подростков на воспитание поверхностное и вместе с тем педантичное, развивающее у них самонадеянность и тщеславие; общества, где юноши, не зная ни меры, ни удержу, предаются всем излишествам, порождаемым скептицизмом, а став зрелыми мужами, немедленно вступают в сферу эгоистического соперничества и ожесточенной борьбы. Но если бы студенты действительно были так испорчены, как пытаются нам доказать, будущему Франции грозила бы опасность.

Впрочем, автора этого определения можно простить, если понять, как трудно — чтобы не сказать невозможно — в одном типе воплотить столь многообразную и многочисленную группу, как студенчество. Как! Неужели всю учащуюся молодежь вы хотите изобразить нам, пользуясь одной и той же схемой? Но какое бесконечное множество оттенков в этом сонме полувзрослых детей, непрестанно возобновляющемся, подобно разнородной пище в огромном чреве Латинского квартала! Среди студентов столько же различных враждующих групп, сколько существует их среди буржуазии. Можете ненавидеть стоящую у власти косную буржуазию, которая обратила все силы и установления государства в предмет позорного торга, но пощадите буржуазную молодежь; в ней зарождаются и растут благородные стремления. Участвуя во многих событиях современной истории, эта молодежь доказала свою храбрость и искреннюю приверженность республике. В 1830 году она выступила посредницей между народом и свергнутыми министрами Реставрации, которым грозила опасность даже в самом зале суда; это был последний день ее славы.

С тех пор она подверглась такой слежке и притеснениям, ее так угнетали, что она не могла больше выступать открыто. И все же, если любовь к справедливости, чувство равенства и преданность великим принципам французской революции знают другой очаг, кроме очага народного, то искать его нужно именно в душе буржуазной молодежи. Но этот огонь охватывает и сжигает ее слишком скоро. Несколько лет благородного воодушевления, которым как бы воспламеняют ее самые камни парижской мостовой, а затем — провинциальная скука, или деспотизм семьи, или разлагающее влияние общества быстро и бесследно уничтожают возвышенные порывы юности.

Тогда человек замыкается в себе самом, другими словами — в себе одном; называет безумием смелые теории, которые любил и отстаивал; стыдится того, что был фурьеристом, или сенсимонистом, или хоть сколько-нибудь революционером; не смеет рассказывать о дерзких предложениях, которые вносил или поддерживал в политических обществах; а затем начинает удивляться тому, что мечтал о всеобщем равенстве, любил народ без страха, голосовал за братство без оговорок. А через несколько лет — другими словами, когда он так или иначе устроится,— изберет ли он золотую середину, станет ли легитимистом или республиканцем, будет ли придерживаться направления «Деба», «Газетт де Франс» или «Насьональ»,— он напишет на своей двери, на своем дипломе или патенте, что никогда в жизни и не слыхивал о покушениях на архисвященную собственность.

Но в этом, повторяю, следует винить угнетающее нас буржуазное общество. Не будем осуждать молодежь, ибо она была такой, какой всегда бывает и будет молодежь, взятая в целом и замкнутая в рамках своей среды,— восторженной, романтической и великодушной. Итак, все, что есть лучшего в буржуа, воплотилось именно в студенте, это несомненно.

Оспаривая утверждения упомянутого автора,— обвиняемого мною, клянусь, без всякой злобы,— я не собираюсь вдаваться в подробности. Возможно, он лучше меня осведомлен о нравах нынешних студентов; но я должен сделать вывод, что либо автор ошибается, либо студенты очень изменились,— ибо мне приходилось видеть совершенно иное.

Например, в мое время мы не разделялись на так называемых *кутил* — весьма многочисленную группу, которая проводит время в Шомьере, в кабачках или на балах в театре Пантеон, одурманивая себя табаком, крича и распевая в отвратительной, нездоровой обстановке дешевых кафе; и другую, весьма немногочисленную группу — так называемых *зубрил,* которые, скрываясь от мира, ведут жалкую жизнь и занимаются тяжелым, изнурительным тру-

дом, в результате приводящим к кретинизму. Нет! Было и у нас немало бездельников и лентяев, даже подлецов и тупиц, но было также очень много деятельных и умных молодых людей; их нравы были чисты, любовь романтична, а жизнь отмечена печатью изящества и поэзии, несмотря на окружавшее их убожество и даже нищету. Правда, эти молодые люди были очень самолюбивы, тратили много времени попусту, увлекались чем угодно, но только не учением, расходовали гораздо больше денег, чем позволяла добродетельная преданность семье, и, наконец, в занятиях политикой и социализмом проявляли больше рвения, чем разума, а в философии — больше чувства, чем знаний и вдумчивости, но если и отличались они, как я уже признавался, странностями и чудачествами, все же нельзя сказать, что они были порочны и проводили дни в тупом безделье, а ночи — в оргиях. Одним словом, я видел гораздо больше студентов, похожих на Ораса, чем на «студента», описанного автором, которому я позволяю себе возразить.

Жан Ларавиньер, чей портрет я хочу теперь нарисовать вам, был высокий молодец лет двадцати пяти, легкий как олень и сильный как буйвол. Его родители по преступной небрежности не сделали ему в свое время прививки, и он был обезображен оспой; к счастью, это лишь служило ему неиссякаемым источником для веселых насмешек над самим собой. Хотя он был некрасив, лицо его было приятно и весь облик так же своеобразен, как и его ум. Он был великодушен и храбр, а это не так уж мало. Его «воинственные задатки», как сказал бы френолог, властно побуждали его принимать участие во всех стычках, и он всегда увлекал за собой целую когорту бесстрашных друзей, которых воодушевлял своим героическим хладнокровием и боевым задором. Он не на шутку сражался в Июльские дни; позже он столь же беззаветно сражался и в других боях.

Это был буян, *кутила,* если хотите; но какой честный, прямой характер, какая героическая самоотверженность! Он отличался всей эксцентричностью, присущей таким людям, всей непоследовательностью пылкого нрава, всей буйной удалью, соответствовавшей его положению. Можно было смеяться над ним, но нельзя было его не любить. Он был так добр, так простодушен в своих убеждениях, так предан друзьям! Он числился медиком, но в действительности был и хотел быть только студентом-бунтовщиком — *бузенготом,* как тогда говорили. И так как это слово историческое и, если не принять мер, оно легко забудется, я постараюсь его объяснить.

Был разряд студентов, которых мы (юноши, признаюсь, несколько аристократического толка) называли, без всякого, однако, пренебрежения, *студентами из кофейни.* Эта группа пополнялась

главным образом студентами первого курса, юнцами, недавно прибывшими из провинции. Париж кружил им головы, и они надеялись сразу стать мужчинами, накуриваясь до тошноты и с утра до вечера шатаясь по улицам, сдвинув набекрень фуражки, ибо у студента первого курса редко имеется шляпа. Со второго курса студент обычно становится серьезнее и проще. А на третьем он совершенно отказывается от подобного образа жизни. К этому времени он начинает ходить в Итальянскую оперу и одевается как все люди. Но известная часть молодых людей остается верна привычке к фланированию, бильярду, курению до одури в дешевых кафе или к прогулкам шумными толпами по Люксембургскому саду. Одним словом, передышку, которую другие разрешают себе ненадолго, они превращают в смысл и содержание всей жизни. Поэтому их манеры, их мысли и даже черты лица, вместо того чтобы сформироваться, сохраняют какую-то ребяческую неопределенность и подвижность; не стоит поощрять эту ребячливость, хотя есть в ней своя прелесть и даже поэзия. Совершенно естественно, что эти молодые люди легко вовлекаются в мятежи. Самые юные идут, чтобы поглазеть, другие — чтобы действовать. А кто в те времена не бросался в бой — пусть ненадолго, пусть лишь затем, чтобы поспешно покинуть поле, предварительно обменявшись с противником парой добрых ударов! Это не меняло положения дел, и единственным новшеством, внесенным такими попытками, был возросший ужас лавочников и удвоенная жестокость полицейских. Но сейчас ни один из тех, кто тогда колебал основы общественного порядка, не должен краснеть за дни своей пылкой юности. Если юность может выразить величие и отвагу, заложенные в ее сердце, лишь покушаясь на общество, значит, общество устроено плохо!

В то время их называли «бузенготами» [1], потому что все они носили матросские шляпы из лакированной кожи как отличительный знак своего содружества. Позже они стали носить пунцовые шапки с черным бархатным околышем, похожие на военную фуражку. Когда на них снова донесли полиции и на улице их начали осаждать шпики, они надели серые шляпы; но от этого их не стали меньше выслеживать и притеснять. Немало речей было произнесено в осуждение их действий; но я не знаю, чем могло бы правительство оправдать поведение своих агентов, настоящих убийц, погубивших множество этих юношей, причем ни один лавочник не выразил ни малейшего негодования или жалости.

Кличка «бузенготы» осталась за ними. Когда газета «Фигаро», в свое время возглавлявшаяся Делатушем и поддерживавшая оп-

[1] От bousingot — матросская шляпа *(франц.)*.

позицию своими язвительными статьями, перешла в другие руки и постепенно переменила окраску, эта кличка стала оскорблением, и не было таких злых и несправедливых издевательств, какими не старались бы их очернить. Но истинных бузенготов это не смутило, и наш друг Ларавиньер с радостью сохранил свое прозвище «предводителя бузенготов» и носил его до самой смерти, не боясь ни насмешек, ни презрения.

Товарищи так домогались его дружбы и так любили его, что увидеть Ларавиньера одного было невозможно. В кругу веселой ватаги, с пением и шумом сопровождавшей его повсюду, он возвышался подобно могучей и гордой сосне среди мелкой лесной поросли, или фенелоновой Калипсо среди хоровода нимф, или, наконец, подобно юному Саулу среди пастухов Израиля. (Он предпочитал последнее сравнение.) Его можно было узнать издалека по островерхой широкополой серой шляпе, козлиной бородке, длинным прямым волосам и пышному красному галстуку, выступавшему из-под огромных белых отворотов жилета, *как у Марата.* Обычно он носил долгополый синий сюртук с металлическими пуговицами, панталоны в крупную серую и черную клетку и никогда не расставался с тяжелой рябиновой палкой, которую называл своим «братом Жаном», в память о той дубине, сделанной из креста, что помогла брату Жану, в книге Рабле, учинить такое ужасающее избиение войск Пикрохола. Добавьте сигару толщиной с полено, торчащую из-под рыжих, подпаленных усов, хриплый голос, сорванный в первые дни августа 1830 года пением «Марсельезы», и добродушную самоуверенность человека, сотни раз обнимавшего Лафайета, о котором, впрочем, в 1831 году он уже говорил, неизменно прибавляя «мой бедный друг»,— и вы увидите во весь рост Жана Ларавиньера, предводителя бузенготов.

ГЛАВА VII

— Вы спрашиваете госпожу Пуассон? — сказал Ларавиньер Орасу, который обычно не очень-то терпеливо сносил его фамильярности.— Госпожи Пуассон вы больше не увидите! Госпожа Пуассон уволилась. Недурно придумано! По крайней мере, господин Пуассон не сможет теперь ее бить.

— Взяла бы она меня в защитники! — воскликнул маленький Полье, который ростом был не больше мухи.— В другой раз ее не избили бы. Но раз уж она отдала предпочтение *предводителю...*

— Простите! Это не совсем верно,— возразил предводитель бузенготов, повышая свой хриплый голос, чтобы все слышали.— Арсен, стакан рому! Глотка так и горит. Мне нужно освежиться.

Арсен налил ему рому и остановился рядом, внимательно, с каким-то странным выражением глядя на него.

— Итак, бедный мой Арсен,— продолжал Ларавиньер, не подымая на него глаз и смакуя каждый глоток,— ты больше не увидишь свою хозяйку! Тебя это, может быть, радует? Она ведь тебя недолюбливала, а?

— Право, не знаю,— как всегда, четко и решительно ответил Арсен.— Но куда, черт возьми, могла она исчезнуть?

— Говорю же тебе, она ушла. *Ушла,* понимаешь? Это значит — она там, где ей нравится. Ищите ее где угодно, только не здесь.

— А вы не боитесь огорчить или оскорбить мужа, так громко рассуждая о подобном событии? — сказал я, бросая взгляд на дверь в глубине помещения, из которой обычно то и дело выглядывал господин Пуассон.

— Гражданин Пуассон отсутствует,— ответил бузенгот Луве,— мы только что встретили его у входа в префектуру. Наверное, пошел наводить справки. Еще бы! Он ищет. Долго же придется ему искать! Шерш, Пуассон, шерш! Апорт!

— Болван несчастный! — подхватил другой бузенгот.— Это его научит уму-разуму. Арсен, кофе!

— Правильно сделала! — сказал третий.— Однако я не думал, что она способна на такую выходку! Бедная женщина, у нее всегда был такой угнетенный вид! Арсен, пива!

Арсен проворно подавал, а потом всякий раз останавливался позади Ларавиньера, словно чего-то ожидая.

— Эй! С чего ты так уставился на меня? — спросил Ларавиньер, увидев его в зеркале.

— Жду, чтобы налить вам вторую рюмку,— спокойно ответил Арсен.

— Давай, милый мальчик,— сказал предводитель бузенготов, протягивая ему стакан,— мы, как видно, отлично понимаем друг друга. Ах, если бы ты стоял вот так, подобно богине Гебе, у баррикады на улице Монторгей в июле прошлого года! Какая у меня тогда была ужасная жажда! Но где там! Этот мальчишка только и делал, что подстреливал жандармов. Храбрый мальчишка, настоящий лев! А рубашка на тебе была не такая белая, как сейчас. О нет! Красная от крови, черная от пороха. Но где ты пропадал с тех пор?

— Скажи лучше, где провела почь госпожа Пуассон, раз тебе это известно,— подхватил Полье.

— Как! Вам это известно? — вспыхнув, воскликнул Орас.

— Ба! Вас это интересует? — спросил Ларавиньер.— И, кажется, даже чертовски интересует. Так нет же! Прошу не обижать-

ся, но этого вам не узнать, ибо я дал слово, и вы сами понимаете...

— Я понимаю,— с горечью сказал Орас,— что вы намекаете, будто госпожа Пуассон ушла к вам.

— Ко мне! Я был бы очень рад: это означало бы, что у меня есть *свой угол*. Но, пожалуйста, без пошлостей. Госпожа Пуассон — честная женщина и, я уверен, никогда не пойдет ни к вам, ни ко мне.

— Расскажи им наконец, как ты помог ей спастись,— сказал Луве, видя, что нам не терпится постичь смысл недомолвок Ларавиньера.

— Ну ладно! Слушайте! — ответил предводитель.— Об этом я могу говорить свободно. Даме это не повредит. Вот как, и ты слушаешь? — добавил он, снова увидев Арсена у себя за спиной.— Ты что ж, за нами шпионить вздумал? Донесешь потом хозяину?

— Я даже не знаю, о чем вы говорите,— возразил Арсен, садясь за свободный столик и развертывая газету.— Я здесь, чтобы прислуживать вам. Если я мешаю, могу уйти.

— Нет, нет! Оставайся, дитя Июля! — сказал Ларавиньер.— То, что я расскажу, никого не компрометирует.

В этот час все жители квартала обедали. В кафе оставались только Ларавиньер, его друзья и мы. Он начал свой рассказ следующими словами:

— Вчера вечером... или, лучше сказать, сегодня утром (ибо было около часу пополуночи), я возвращался один в свою берлогу, а это не так-то близко. Не скажу вам, ни откуда я шел, ни где произошла эта неожиданная встреча,— о таких подробностях я умолчу. Я заметил впереди себя женщину с тонкой, осиной талией, походка у нее была скромная и вид самый *порядочный*, так что я долго колебался, прежде чем... Наконец, решив, что это все же только «ночная бабочка», я нагоняю ее; однако какое-то таинственное и необъяснимое чувство (изысканный стиль, дети мои!) помешало бы мне быть грубым даже в том случае, если бы французская галантность не была присуща вашему предводителю. «Очаровательная незнакомка,— говорю я,— разрешите предложить вам руку?» Она не отвечает, даже не поворачивает головы. Это удивляет меня. Вон оно что! Может быть, она глуха, такие вещи уже случались. Я упорствую. Меня вынуждают ускорить шаг. «Не бойтесь же!» — «Ах!» — слабый крик, и она опирается на парапет.

— Парапет? Значит, это было на набережной! — заметил Луве.

— Я сказал парапет, как сказал бы тумба, окно, стена — что угодно. Неважно! Я увидел, что она дрожит, готова вот-вот упасть в обморок. Я останавливаюсь в замешательстве. Уж не смеется ли она надо мной? «Но, мадемуазель, вам, право же, нечего боять-

ся».— «Ах, боже мой! Неужели это вы, господин Ларавиньер?» — «Ах, боже мой! Это вы, госпожа Пуассон?» (Каков театральный эффект!) — «Я очень рада, что встретила вас,— говорит она решительно,— вы честный и порядочный человек, вы проводите меня. Вручаю свою судьбу в ваши руки и доверяюсь вам. Но я требую тайны».— «Сударыня, за вас и с вами я готов в огонь и в воду». Она подает мне руку. «Я могла бы попросить вас не следовать за мной и уверена, что вы повиновались бы; но я предпочитаю довериться вам. Моя честь в надежных руках; вы ее не предадите». Я тоже протягиваю руку, она пожимает ее. Голова у меня слегка кружится, но это неважно. Я, точно маркиз, предлагаю госпоже Пуассон руку и, не решаясь ни о чем спрашивать, следую за ней...

— Куда? — нетерпеливо спросил Орас.

— Куда ей было угодно,— ответил Ларавиньер.— По дороге она сказала: «Я покидаю господина Пуассона навсегда; но покидаю его не для того, чтобы дурно вести себя. У меня нет любовника, сударь; клянусь вам перед богом, который не оставляет меня, ибо это он послал вас сюда в такую минуту, что любовника у меня нет и я не хочу иметь его. Я ушла оттого, что со мною дурно обращались, вот и все. Мне дает пристанище одна приятельница, честная и добрая женщина; я буду жить своим трудом. Не посещайте меня. После такого побега мне надо быть очень осторожной; но сохраните обо мне дружеское воспоминание и верьте, что я никогда не забуду...» Новое рукопожатие, торжественное прощание, быть может навеки, и... я снова один... Я знаю, где она, но не знаю, у кого и с кем. Я не буду пытаться узнать это и никому не помогу проникнуть в ее тайну. Неважно, что я не спал всю ночь и сейчас влюблен как дурак! Что толку в этом...

— И вы верите,— взволнованно сказал Орас,— что у нее нет любовника, что она приютилась у женщины, что она...

— Ах, ничему я не верю, ничего я не знаю, и мне все равно. Она завладела мною. А теперь я вынужден держать слово, раз уж продался в рабство. Уж эти мне женщины! Арсен, рому! Оратор устал.

Я взглянул на Арсена: его лицо не выдавало ни малейшего волнения. Я перестал верить в его любовь к госпоже Пуассон; но, увидев, как возбужден Орас, я подумал, что любовь этого юноши начинает принимать серьезный характер. Мы расстались на улице Жи-ле-Кер. Я изнемогал от усталости. Всю прошлую ночь я провел у постели больного друга и с утра еще не был дома.

Хотя я видел свет в окнах своей квартиры, я готов был подумать, что там никого нет, так долго Эжени меня не впускала. Лишь после третьего звонка она решилась открыть дверь, да и то предварительно вглядевшись в меня и опросив через дверной глазок.

— Вы чего-нибудь боитесь? — спросил я, входя.

— Очень боюсь,— ответила она,— у меня есть на то причины. Но раз вы пришли, я спокойна.

Такое вступление встревожило меня не на шутку.

— Что случилось? — воскликнул я.

— Нечто весьма приятное,— ответила она улыбаясь.— Надеюсь, вы на меня не рассердитесь: я здесь без вас распорядилась вашей комнатой.

— Моей комнатой? Боже правый! А я-то как раз всю ночь не спал! Но почему? И что за таинственность?

— Тсс!.. Не шумите! — сказала Эжени, рукой зажимая мне рот.— Ваша комната занята человеком, который больше вас нуждается в отдыхе и сне.

— Вот странное вторжение! Все, что вы делаете, дорогая Эжени, прекрасно, но в конце концов...

— Но в конце концов, друг мой, вы немедленно уйдете и попросите вашего приятеля Ораса или еще кого-нибудь (мало ли их у вас) уступить вам половину комнаты на одну ночь.

— Скажите мне, по крайней мере, ради кого я приношу эту жертву?

— Ради одной моей подруги, которая, находясь в отчаянном положении, попросила у меня убежища.

— Ах, боже мой! — воскликнул я.— Роды в моей комнате! Черт побери наглеца, которому я обязан появлением этого младенца!

— Нет, нет! Ничего подобного! — сказала Эжени, покраснев.— Но говорите тише. Это, собственно, не совсем любовная история, а совершенно невинный платонический роман! Но уходите же!

— Ах, так! Очевидно, все эти предосторожности принимаются из-за похищенной принцессы?

— Нет, она такая же простая женщина, как я, и имеет право на ваше уважение.

— И вы даже не скажете мне, как ее зовут?

— Зачем же сегодня? Завтра утром мы решим, что можно вам доверить.

— А это действительно женщина?..— спросил я в величайшем смятении.

— Вы сомневаетесь? — ответила Эжени и рассмеялась.

Она подтолкнула меня к двери, и я машинально повиновался. Она подала мне свечу, весело и сердечно выпроводила меня на площадку и вернулась в комнаты; я услышал, как она заперла дверь двойным оборотом ключа и задвинула засов, который я заказал, чтобы вечерами спокойно оставлять Эжени одну в моей мансарде.

Не успел я добраться до второго этажа, как вся кровь бросилась мне в голову. По натуре я не ревнив, к тому же моя кроткая, правдивая подруга никогда не давала мне ни малейшего повода для недоверия. Эжени внушала мне чувство большее, чем любовь,— я питал к ней безграничное уважение, верил каждому ее слову. Несмотря на все это, я был как в бреду, я не мог заставить себя выйти на улицу. Двадцать раз поднимался я к двери своей квартиры и снова спускался. Глубокая тишина царила в моей мансарде и во всем доме. Чем больше я боролся со своим безумием, тем сильнее оно овладевало мною. На лбу выступал холодный пот.

Несколько раз у меня мелькала мысль, не выломать ли дверь; несмотря на замок и железный засов, мне кажется, в тот момент у меня хватило бы сил сделать это; но боязнь напугать и обидеть таким поступком Эжени, оскорбить ее своей подозрительностью мешала мне поддаться искушению. Если бы Орас видел меня, он проникся бы жалостью ко мне или жестоко высмеял. После всех моих нападок на чувства ревности и деспотизма, которые он отстаивал в своей теории любви, я был поистине смешон.

И все-таки я не мог решиться выйти из дома. Я уже подумывал, не провести ли ночь, гуляя по набережной; но в доме был также черный ход на улицу Жи-ле-Кер, и пока я ходил бы вокруг, в одну из дверей легко можно было бы ускользнуть. Между тем, выйди я из главного подъезда и случись так, что привратник получил приказание не впускать меня или лег спать, можно было бы с уверенностью сказать, что после полуночи я в дом уже не попаду. Привратники чужды сострадания в обращении со студентами, мой же был из самых несговорчивых. «К черту неизвестную гостью и ее репутацию!» — подумал я и, приняв решение стеречь свое сокровище безотлучно, совершенно изнемогая от усталости, повалился на соломенную циновку у собственной двери и тут же уснул.

К счастью, мы жили на верхнем этаже, и единственная квартира, выходившая на нашу площадку, не была сдана. Мне не грозила опасность быть застигнутым в этом нелепом положении злоязычными соседями.

Как можно себе представить, сон мой был ни долог, ни спокоен. Утренний холод разбудил меня спозаранку. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Чтобы приободриться, я закурил и часов в шесть утра, едва заслышав, как внизу открылась входная дверь, позвонил к себе в квартиру. Снова пришлось ждать и подвергнуться обследованию через глазок. Наконец мне было дозволено войти.

— Ах, боже мой! — сказала Эжени, протирая глаза после сна, несомненно более сладкого, чем мой.— Вы как будто даже в лице

переменились! Бедный Теофиль! Видно, вам было очень неудобно у вашего приятеля Ораса?

— Страшно неудобно,— ответил я,— очень жесткая постель. А ваш гость? Ушел наконец?

— Мой гость? — произнесла она с таким искренним изумлением, что меня пронизало чувство стыда.

Если ты даже сознаешь свою вину, редко находишь в себе мужество вовремя раскаяться. Меня охватила досада, и, не найдя в этот момент мало-мальски разумных слов, я сердито бросил трость на стол, а шляпу на стул; шляпа скатилась на пол, и я отшвырнул ее ногой; мне хотелось что-нибудь разбить.

Эжени, никогда меня таким не видевшая, застыла от удивления. Она молча подняла шляпу, пристально поглядела на меня и по моему лицу поняла, как я страдаю. Она подавила вздох, сдержала слезы и бесшумно ушла в мою спальню, тщательно закрыв за собою дверь. Там и скрывалась таинственная личность. Я не смел, я не хотел больше сомневаться — и все еще сомневался. Стоит дать волю подозрениям, как они с такой силой овладевают нами, что подчиняют наше воображение, даже когда разум и совесть восстают против них. Это была пытка; я в волнении шагал по кабинету, всякий раз останавливаясь перед роковой дверью с чувством, близким к бешенству. Минуты казались мне веками.

Наконец дверь отворилась, и какая-то женщина, наспех одетая, с не причесанными еще после сна волосами, закутанная в большую пунцовую шаль, бледная, дрожащая, двинулась мне навстречу. Я отступил, пораженный. То была госпожа Пуассон.

ГЛАВА VIII

Она склонилась передо мной, чуть ли не опустившись на колени. Ее скорбная поза, бледное лицо, распущенные волосы, простертые ко мне прекрасные обнаженные руки способны были обезоружить и тигра; я же был так счастлив убедиться в невиновности Эжени, что даже нашу безобразную привратницу принял бы столь же любезно, как прекрасную Лору. Я поднял ее, усадил, извинился за свой ранний приход, не смея еще ни просить прощения у своей бедной возлюбленной, ни даже взглянуть на нее.

— Я очень несчастна и очень перед вами виновата,— сказала в волнении Лора.— Я чуть было не внесла раздора в ваш дом. Это моя вина: нужно было предупредить вас, нужно было отказаться от великодушного гостеприимства Эжени. Ах, сударь! Упрекайте только меня. Эжени ангел! Она любит вас, как вы того заслужи-

ваете и как я бы хотела быть любимой хотя бы один день в моей жизни. Она объяснит вам все, она расскажет вам о моих невзгодах и о моей вине; моя вина не в том, о чем вы думаете, она в тысячу раз тяжелее, и я буду сожалеть о ней всю жизнь.

Слезы помешали ей продолжать. Я был тронут и с нежностью взял ее за руки. Не помню, какими словами я утешал и успокаивал ее, но они как будто возымели свое действие, и, подведя меня к Эжени, она с чисто женской мягкостью помогла прорваться моему раскаянию и добилась для меня прощения у моей дорогой подруги. Я просил о нем, стоя на коленях. Вместо ответа Эжени подвела ко мне Лору и сказала: «Будьте ей братом и обещайте защищать и поддерживать ее, как если бы она была нашей общей сестрой. Вот видите, я не ревнива! А ведь насколько она красивее и образованнее меня и могла бы легко вскружить вам голову».

После завтрака, скромного, как всегда, но скрашенного сердечностью и непринужденным весельем, Эжени принялась устраивать беглянку в квартире, выходившей на нашу площадку,— привратник не удосужился еще предоставить эту квартиру в распоряжение Лоры, хотя, втайне от меня, с ним договорились уже несколько дней назад. Пока наша новая соседка располагалась с несколько меланхолической медлительностью в своем тайном убежище (она назвалась мадемуазель Мориа — по фамилии Эжени, которая выдала ее за свою сестру), моя подруга вернулась ко мне и приступила к необходимым разъяснениям.

— Кажется, вы питаете дружеские чувства к Мазаччо? — начала она с вопроса.— Вас интересует его судьба? Так неужели вы не полюбите Лору еще сильнее, если узнаете, что она дорога Полю Арсену?

— Как, Эжени,— воскликнул я,— вам известна тайна Мазаччо? Он доверил вам эту непостижимую для меня тайну?

Эжени покраснела и улыбнулась. Она давно все знала. Когда Мазаччо писал ее портрет, она сумела внушить ему необычайное доверие. Всегда сдержанный и даже скрытный, он был покорен искренней добротой и чутким вниманием Эжени. Арсен, человек из народа, гордо и недоверчиво держался со мной, но по-братски открыл свое сердце женщине, так же, как и он, вышедшей из народа: это было вполне естественно.

Эжени обещала ему полную тайну и свято хранила ее. Она учинила мне тщательно продуманный и весьма подробный допрос и, лишь убедившись, что мое любопытство основано на искреннем и глубоком сочувствии к ее подопечному, рассказала мне множество неизвестных мне подробностей. Во-первых, госпожа Пуассон была, оказывается, вовсе не госпожой Пуассон, а молодой работницей, родившейся в том же городке, на той же улице, что и Мазаччо.

Чуть ли не с детства он проникся к ней романтической, но совершенно безнадежной страстью, ибо прекрасную Марту, совсем еще юной, соблазнил и увез господин Пуассон, бывший в те времена коммивояжером; приехав вместе с ней в Париж, он открыл кафе у ограды Люксембургского сада, несомненно рассчитывая привлечь красотой Марты большое число посетителей. Эта тайная мысль не мешала господину Пуассону быть очень ревнивым; при малейшем подозрении он гневно обрушивался на Марту и превратил ее жизнь в ад. В квартале поговаривали даже, будто он нередко бил ее.

Во-вторых, Эжени сообщила мне, что как-то, месяца три тому назад, Поль Арсен, вопреки своей обычной умеренности, зашел в кафе Пуассона выпить кружку пива. Там он увидел прекрасную женщину, в белом платье, с черными волосами, причесанными, как у средневековой знатной дамы, и, узнав в ней бедную Марту, свою первую и единственную любовь, едва не лишился чувств. Марта подала ему знак не заговаривать с нею, ибо свирепый страж был рядом. Но, давая ему сдачу с пятифранковой монеты, она незаметно сунула ему в руку такую записку:

«Мой бедный Арсен, если ты не очень презираешь свою землячку, приходи завтра поболтать с нею. Господин Пуассон будет на дежурстве. Мне хочется поговорить о нашем городке и былом счастье».

— Разумеется,— продолжала Эжени,— Арсен явился на свидание. Ушел он еще более влюбленным, чем раньше. Ему показалось, что бледность только украсила Марту, а горе облагородило ее. И так как, сидя за стойкой, она прочла много романов и даже несколько серьезных книг, то и речь у нее стала более правильной и мысли появились такие, каких раньше быть не могло. Она поведала ему о своих горестях, о своем раскаянии и желании избавиться от постыдной и жалкой участи, уготованной ей соблазнителем; и Арсен вообразил, что отныне его связывает с землячкой лишь братская дружба и долг христианского милосердия. Он продолжал заглядывать к Марте, не возбуждая, однако, подозрений ревнивца, и ему удавалось побеседовать с ней всякий раз, когда господина Пуассона не было дома. Марта твердо решила покинуть своего тирана; но, говорила она, не для того, чтобы один позор променять на другой. Она поручила Арсену подыскать для нее занятие, которое позволило бы ей честно жить своим трудом,— например, место экономки в богатом доме или продавщицы в магазине мод. Но все занятия казались Полю недостойными его любимой. Он хотел создать ей положение почетное, обеспеченное и вместе с тем независимое: а это было нелегко. Тогда он задумал и осуществил план оставить искусство и заняться любым ремеслом,

хотя бы поступить в лакеи. Он убедил себя, что тетушка непременно скоро умрет и тогда он привезет сестер в Париж, поселит их вместе с Мартой, добудет им работу на дому и будет поддерживать всех троих, пока дело у них не пойдет на лад; он готов был даже никогда не возвращаться к живописи, если его сбережений и их заработка не хватит им на безбедную жизнь. Так Поль Арсен отрекся от своей страсти к искусству — ради страсти самопожертвования и от своего будущего — ради любви.

Не найдя более прибыльной должности, чем место гарсона в кафе, он и сделался гарсоном и выбрал именно кафе господина Пуассона, где ему легче было подготовить побег Марты и где он рассчитывал остаться еще некоторое время, чтобы не навлечь на себя подозрений. Теперь тетушка Анриетта умерла, сестры Арсена уже в пути, и я взялась помочь им прилично устроиться. В нашем доме чисто и живут порядочные люди. В соседней квартире две небольшие комнаты; сдается она за сто франков. Девушкам там будет очень хорошо. Мы можем ссудить их постельным бельем и необходимой мебелью, пока они сами не обзаведутся хозяйством; а ждать придется недолго: за два месяца, что Поль работает, он уже купил кое-что из обстановки, и, надо сказать, довольно удачно; мы, не спросив у вас разрешения, поставили вещи на чердаке. Наконец позавчера вечером, когда вы были у больного, Лора, или, вернее, Марта, как ее в действительности зовут, собралась с духом и, пользуясь тем, что господин Пуассон был на дежурстве, как только пробило полночь, ушла из дому вместе с Арсеном; он должен был проводить ее сюда и успеть прибежать обратно в кафе, прежде чем хозяин придет с дежурства; но не сделали они и тридцати шагов, как им показалось, будто на антресолях в комнате Пуассона зажегся свет, и они начали колебаться, идти ли им дальше или возвратиться. Тогда Марта с решимостью отчаяния уговорила Арсена вернуться, а сама бросилась бежать по улице Турнон, надеясь, что с помощью бога и своих быстрых ножек она спасется от грозивших ей ночью опасностей. На набережной к ней пристал было какой-то мужчина, но, к счастью, он оказался вашим товарищем, Ларавиньером, который обещал ей сохранить тайну и проводил Марту сюда. Арсен забегал к нам на следующее утро. Беднягу послали с каким-то поручением на другой конец Парижа. Он весь обливался потом, был так взволнован и так запыхался, когда взбежал по лестнице, что нам стало страшно, как бы он не упал в обморок. В пятиминутном разговоре Поль успел сообщить, что испуг, пережитый ими в момент бегства, оказался ложной тревогой,— господин Пуассон вернулся лишь утром и в своем смятении и ярости далек от того, чтобы подозревать Арсена в сообщничестве.

— Чего же им бояться господина Пуассона? — сказал я Эжени.— Раз он не женат на Марте, о каком-либо преследовании по суду не может быть и речи.

— Да, но какая-нибудь злая выходка сейчас, когда он так взбешен, вполне возможна. Он человек грубый, необузданный, не способный на истинную привязанность и вскоре утешится с новой любовницей. Марта хорошо знает его и хочет хотя бы на месяц сохранить в тайне свое убежище; она говорит, что потом бояться будет уже нечего.

— Если я правильно понимаю роль, отведенную мне в этом деле,— продолжал я,— то я должен, во-первых, разрешить вам распоряжаться всем нашим достоянием, чтобы помочь несчастным соседкам; во-вторых, всегда держать наготове увесистую палку для спины господина Пуассона на случай нападения. Итак, вот, во-первых, трехмесячная рента, полученная мною вчера,— можешь, как всегда, делать с ней все, что найдешь нужным; во-вторых, вот надежная дубина — пусть стоит наготове.

С этими словами я повалился на постель и заснул, не успев даже раздеться.

Часа через два меня разбудил Орас.

— Что у тебя здесь происходит? — сказал он.— Прежде чем открыть, ведут переговоры через глазок, шушукаются за дверью, кого-то прячут не то на кухне, не то в чулане или в шкафу; а когда вхожу, смеются мне в лицо. Кого здесь обманывают? Тебя или меня?

Я, в свою очередь, расхохотался. Совершив утренний туалет, я удалился на кухню, чтобы принять участие в совещании, которое Марта и Эжени там устроили. Я считал, что нужно довериться Орасу, так же как и немногим друзьям, обычно меня посещавшим. Положиться на их порядочность и осторожность было бы гораздо безопаснее, чем пытаться скрыть от них тайну Марты. Сохранить же эту тайну казалось мне невозможным, даже при условии, если Марта никогда не будет заходить к нам в комнату, а я запрещу привратнику пускать к нам всех моих друзей. Они все равно не посчитаются с запретом; а между тем достаточно будет приоткрыть на мгновение дверь, чтобы кто-нибудь из наших молодых людей увидел и узнал прекрасную Лору. Поэтому я начал с Ораса и сделал ему ряд торжественных признаний, скрыв, однако, от него, а позже и от других, заинтересованность Арсена в судьбе Лоры, роль его в ее бегстве и даже их давнее знакомство. Лора, снова ставшая теперь Мартой, была для Ораса и всех наших друзей подругой детства Эжени, которая, разумеется, умолчала о том, что знает Марту всего два дня. Предполагалось, что Эжени сама предложила ей убежище и свою защиту. Ее покровительство

никому не казалось предосудительным; все мои друзья по справедливости относились к Эжени с глубоким уважением, а я, как легко себе представить, отнюдь не был намерен рассказывать о своей нелепой вспышке ревности.

Между тем Эжени не так-то легко простила мне эту ревность, как я воображал. Могу сказать даже, что она никогда мне ее не простила. И хотя я уверен, что она всеми силами старалась забыть об этом случае, мысленно она постоянно возвращалась к нему с горечью и обидой. Сколько раз впоследствии давала она мне это почувствовать, горячо доказывая, что любовь мужчины не может сравниться с любовью женщины! «Лучший, самый преданный, самый верный из них,— говорила она,— всегда готов усомниться в женщине, которая отдала ему свое сердце. Он оскорбит ее если не поступками, то мыслью. В нашем обществе отношение мужчины к женщине определяется исключительно его материальными правами; поэтому о нашей любви он судит на основании фактов. Что же касается нас, пользующихся лишь моральной властью, мы доверяем больше моральным доказательствам, чем очевидности. В своей ревности мы способны отвергать то, что видим собственными глазами; но, когда вы клянетесь, верим вашему слову, как если бы оно было свято и нерушимо. Но разве наше слово не менее свято? Почему вы сделали из вашей чести и нашей столь различные понятия? Вы пришли бы в ярость, если бы мужчина сказал вам, что вы лжете. Однако к нам относитесь с крайней подозрительностью и принимаете предосторожности, доказывающие, что вы в нас сомневаетесь. Нравственная чистота и искренность женщины, проявляемые ею на протяжении долгих лет, должны были бы, казалось, навсегда внушить доверие мужчине, а между тем случайного стечения обстоятельств, какой-нибудь недомолвки, жеста, открытой или закрытой двери оказывается достаточно, чтобы все доверие было мгновенно разрушено».

Свои великолепные тирады она обращала к Орасу, который любил изображать себя будущим Отелло; но в действительности ее колкости ранили сердце мне.

— Где, черт возьми, она этого набирается? — замечал Орас.— Дорогой мой, ты слишком часто разрешаешь ей ходить на *проповеди* в зал Тэтбу.

ГЛАВА IX

Отношения Поля Арсена и Марты были совершенно необычны. Потому ли, что он никогда не смел признаться в своей любви, потому ли, что она не хотела понять его,— они так и остались с первого дня в рамках братской дружбы. Марта не догадывалась

о самоотверженности этого юноши; она не знала, от каких надежд он отказался, чтобы связать с нею свою судьбу. Он не скрыл от нее, что занимался живописью, но не сказал, какими редкими способностями одарила его природа; к тому же он объяснял свое отречение необходимостью вызвать сестер и помогать им. У Марты ничего не было, и она ничего не захотела взять у господина Пуассона. Она собиралась работать и полагала, что принимает помощь от одной Эжени. Вряд ли она бежала бы, опираясь на руку Арсена, если бы знала, что обязана ему большим, чем переговоры с Эжени и пристанище под общим кровом с его сестрами, за что она надеялась вскоре рассчитаться, уплатив свою долю расходов. Проявив такое самопожертвование, Поль сжег свои корабли и навсегда лишил себя права сказать ей: «Вот что я сделал для вас»; ибо если не вникать глубже, то что особенного он совершил? Оказал ей лишь скромную дружескую услугу.

Бедняга был так обременен работой и хозяин так неохотно отпускал его, что он не мог встретить дилижанс, с которым должны были приехать сестры. Марта не выходила из дому, опасаясь, что кто-нибудь из знакомых увидит ее и наведет на ее след господина Пуассона. Мы с Эжени взялись помочь Луизон и Сюзанне, нашим будущим соседкам, выгрузить багаж. Старшая из сестер, Луизон, была деревенская красавица, несколько грубоватая, обладавшая зычным голосом, обидчивым нравом и властными замашками. Она приобрела их, когда жила у старой, больной тетки; та слушалась ее, как оракула, и в своей швейной мастерской позволяла ей по собственному усмотрению руководить ученицами, для которых младшая сестра, Сюзон, была второстепенным лицом, она лишь присматривала за ними, в свою очередь, беспрекословно подчиняясь всем распоряжениям старшей сестры. Поэтому Луизон были присущи вид королевы и неутолимая жажда власти, снедающая всех повелителей.

Сюзанна не была красива, но отличалась миловидностью и более тонкой, чем у Луизы, душевной организацией. Легко было заметить, что она способна понять то, что Луизе было совершенно недоступно. Но опека сестры давила на нее, как свинцовый колпак, и мешала проявить себя или подпасть под чужое влияние.

К нашей предупредительности они отнеслись по-разному: одна — с робким удивлением, другая — с тупым равнодушием. Обе не имели ни малейшего представления о парижской жизни и никак не могли взять в толк, что важные причины могли помешать Арсену их встретить. Они рассеянно благодарили Эжени, причем Луиза кстати и некстати повторяла: «Все-таки ужасно неприятно, что Поля нет». А Сюзанна с горестным изумлением добавляла: «Ну разве не странно, что Поль не приехал».

Принимая во внимание, что они впервые в жизни проделали столь длительное путешествие в дилижансе, впервые вступили в столкновение с таможенниками, осматривавшими их сундуки, и совершенно не понимали, что означает вся эта суета вокруг запрягаемых и выпрягаемых лошадей, бестолковая беготня отъезжающих и прибывающих пассажиров, чиновников, носильщиков, посыльных,— вполне естественно было, что они потеряли голову, испытывали усталость, испуг и недовольство. Убедившись, что я пришел помочь им — последил за их узлами и уладил их расчеты с конторой,— они смягчились. Едва уселись они в фиакр со всеми своими пожитками, бесчисленными корзинками и картонками (ибо, по обычаю деревенских жителей, они захватили с собой множество ненужных вещей, плата за провоз которых превышала их стоимость), как Луизон, засунув руку по самый локоть в кошелку, закричала: «Обождите, сударь! Обождите! Я хочу отдать вам долг! Сколько заплатили вы за наш проезд в дилижансе? Обождите же».

Для нее было непостижимо, как это я не требую немедленного возврата денег, выложенных мною из собственного кармана, чтобы истратить на них; такое проявление великодушия, которое я сам не способен был оценить по достоинству, положило начало их уважению ко мне.

Мы с Эжени наняли кабриолет, чтобы одновременно с ними подъехать к парадной двери нашего общего жилища.

— Боже мой! Какой огромный дом! — воскликнули сестры, оглядев его снизу доверху.— Он такой высокий, что даже конька на крыше не видно.

Он показался им еще выше, когда понадобилось подняться по девяносто двум ступенькам, отделявшим нас от земли. На третьем этаже они пришли в изумление, на четвертом разразились смехом, на пятом обозлились, на шестом заявили, что никогда не смогут жить на такой голубятне. Озадаченная Луиза присела на ступеньку и сказала: «Ну и занесла нас нелегкая!»

Сюзанна, которую все это скорее смешило, чем злило, добавила: «Вот здорово будет, а? Побегать этак вверх и вниз раз пятнадцать на дню! Шею сломать можно!»

Эжени сразу же повела сестер в их квартиру. Они нашли ее тесной, а потолки низкими. Одно из окон выходило на общий с нами балкон. Луиза подошла было к этому окну но тотчас же отпрянула назад и упала на ближайший стул.

— Боже мой! — воскликнула она.— У меня даже голова закружилась. Ну словно я стою на шпиле нашей колокольни!

Мы собирались пригласить их поужинать с нами. Эжени заранее приготовила легкую закуску у меня в квартире, считая, что за столом удобнее всего будет устроить встречу сестер с Мартой.

— Вы очень любезны, сударь и сударыня,— сказала Луизон, бросив грозный взгляд на Сюзанну.— Мы не голодны.

В глазах у нее было отчаяние. Сюзанна же с таким рвением принялась распаковывать сундуки и раскладывать вещи, будто это было самое спешное дело в мире.

— А это что! Почему здесь три кровати? — заметила вдруг Луиза.— Значит, Поль все-таки будет жить с нами? Вот и прекрасно!

— Нет, Поль пока не может жить здесь,— ответил я.— Зато с вами будет ваша землячка, одна старинная ваша приятельница. Поль хотел сам представить вам ее...

— Вот как! Кто же это? У нас тут нет никакой землячки. Почему он ничего не писал об этом?

— Он сам обо всем расскажет. Ему есть что рассказать. А пока что он поручил мне устроить вашу встречу. Она уже живет здесь и сейчас готовит вам ужин. Привести ее?

— Мы сами пойдем на нее посмотрим,— ответила Луизон; ее разбирало любопытство.— А где она, эта землячка?

Она поспешила за мной.

— Ба! Да это Мартон! — пронзительно закричала она, узнав красавицу Марту.— Как поживаете, Мартон? Видать, вы овдовели, раз собираетесь жить с нами? Ну и дурно же вы поступили, удрав от отца с этим господином. Но потом, говорят, вы вышли за него замуж. Что ж, всякому греху — прощение!

Марта покраснела, побледнела, смутилась. Она не ожидала подобного приема. Бедная женщина совсем забыла своих бывших товарок, так же как Арсен забыл своих сестер. Тоска по родине действует на всех одинаково: она преображает в наших глазах картины прошлого, идеализируя их; достоинства возрастают, а недостатки смягчаются временем и расстоянием, пока не сотрутся в нашем представлении совершенно.

К тому же, когда Марта покинула родину, пять лет назад, Луиза и Сюзанна были детьми, не способными судить о чем бы то ни было. Теперь же это были два стража высокой нравственности, особенно старшая, обладавшая запосчивостью красавицы, знаменитой в своей округе, и всей непершимостью общепризнанной добродетели. Вырванные из родной почвы, где они цвели во всем великолепии, эти дикие растения неизбежно (Арсен не подумал об этом) должны были утратить часть своей прелести и достоинств. В деревне они подавали хороший пример, приучали к трудолюбию и скромности своих сверстниц,— в Париже их достоинств никто не заметит, их наставления бесполезны, пример никому не нужен; а качеств, необходимых в их новом положении — доброты,

гибкости ума, братского милосердия,— у них не было и не могло быть.

Поздно было теперь думать об этом. Первым побуждением Марты было броситься в объятия сестры Арсена, вторым — посмотреть, как та отнесется к ней, третьим — замкнуться в справедливом чувстве отчуждения и гордости; но бледность ее лица выдавала глубокую скорбь, а на глазах выступили слезы.

Я взял ее руку и ласково пожал; затем, усадив Марту за стол, заставил Луизу сесть рядом.

— Вы не имеете права ни допрашивать, ни упрекать Марту,— сказал я Луизе решительным тоном, сразу укротившим ее строптивость.— Ваш брат и мы глубоко уважаем ее. Она была несчастна, а порядочным людям чужое несчастье внушает только сочувствие. Когда вы возобновите знакомство с Мартой, вы полюбите ее и никогда не станете говорить с ней о прошлом.

Луизон опустила глаза, озадаченная, но не убежденная. Сюзанна, которая шла следом за нею, наклонилась к Марте и, уступая движению сердца, хотела поцеловать ее. Но грозный взгляд исподлобья, брошенный на нее Луизой, умерил этот порыв, и она только пожала Марте руку. Эжени, опасаясь, что Марте будет не по себе между двумя односельчанками, села рядом и с подчеркнутой вежливостью и предупредительностью принялась ухаживать за ней. Это был невеселый ужин; все чувствовали себя неловко. То ли от досады, то ли потому, что кушанья были ей не по вкусу, Луизон ни к чему не притронулась. Наконец пришел Арсен и после первых же объятий, догадавшись с присущей ему чуткостью обо всем происходящем, увел сестер в соседнюю комнату и пробыл там с ними больше часу.

После этого совещания лица у всех троих разгорелись. Но авторитет старшего брата, по провинциальным обычаям — непререкаемый, сломил сопротивление Луизы. Сюзанна, которая не лишена была сообразительности, поняла, что Арсен способен помочь ей противостоять властному характеру сестры, и не прочь была, мне кажется, на время сменить господина. Она отнеслась к Марте с искренним дружелюбием, Луиза же осыпала ее лицемерными любезностями, весьма неуклюжими и почти оскорбительными.

Арсен почти тотчас же отправил их спать.

— Мы подождем госпожу Пуассон,— сказала Луиза, не подозревая, что, называя ее так, она снова вонзает кинжал в сердце Марты.

— Марта никуда не ездила,— холодно ответил Мазаччо,— она не обязана ложиться спать раньше, чем ей захочется. Вы же устали, и вам надо отдохнуть.

Они повиновались. И после их ухода Поль сказал Марте:

— Умоляю вас, простите моим сестрам некоторые провинциальные предрассудки; ручаюсь, они скоро откажутся от них.

— Не называйте это предрассудками,— ответила Марта.— Ваши сестры вправе презирать меня: я совершила постыдный поступок. Я доверилась человеку, которого неизбежно должна была возненавидеть, человеку, не заслуживающему любви. Ваши сестры возмущены лишь моим недостойным выбором. Если бы я бежала с таким человеком, как вы, Арсен, я встретила бы снисходительность и, быть может, уважение в чужих сердцах. Вы видите, все уважают Эжени. К ней относятся как к жене вашего друга, хотя она никогда не выдавала себя за его жену; а я называлась супругой, но все чувствовали, что это не так. Видя, какого ужасного человека я избрала, никто не верил, чтобы в такую пропасть меня толкнула любовь.

Сказав это, она горько заплакала. Долго сдерживаемая боль истерзала ей сердце.

Арсен едва не разрыдался.

— Никто никогда не говорил и не думал о вас плохо,— воскликнул он,— а сестер я заставлю разделить мое уважение к вам!

— Уважение! Возможно ли, что вы уважаете меня, вы! Так вы не думаете, что я продалась ему?

— Нет! Нет! — горячо воскликнул Поль.— Я убежден, что вы любили этого отвратительного человека,— в чем же ваше преступление? Вы не знали его, вы поверили его любви; вы были обмануты, как многие другие. Ах, сударь,— добавил он, обращаясь ко мне,— ведь вы не допускаете мысли, что Марта могла продаться, не правда ли?

Я несколько затруднился ответом. Вот уже несколько дней, как мы с Орасом, узнав об отношениях Марты и господина Пуассона, задавались вопросом, как могла такая красивая и умная женщина увлечься *Минотавром.* Иногда мы решали, что несколько лет назад, когда этот грубый, тупой человек был моложе, он мог быть и красивее, что до того, как он безобразно разжирел и огрубел, в его столь отвратительном ныне профиле Вителия могло быть нечто оригинальное. Но иногда нам приходило также в голову, что соблазн приобрести наряды и драгоценности, а также надежда на беспечную жизнь вскружили голову этой девочке раньше, чем в ней проснулись сердце и ум. Наконец мы допускали, что ее история похожа на историю всех совращенных девушек, которых тщеславие и леность толкают ко злу.

Несмотря на поспешность, с какой я стал успокаивать Марту, она поняла, что со мной происходит, и почувствовала необходимость оправдаться.

— Выслушайте меня,— сказала она.— Я очень виновата, но не так тяжко, как это кажется. Мой отец был бедный, забитый рабочий; подобно многим другим, он искал забвения своих горестей и забот в вине. Вы не знаете, что такое народ, сударь! Нет, не знаете. В народе можно встретить величайшие добродетели — и величайшие пороки. Есть люди, подобные ему (она положила свою руку на руку Арсена), но есть также люди, чья жизнь как бы отдана во власть духу зла. Их снедает мрачная ярость; глубокая безнадежность поддерживает в них постоянное озлобление. Мой отец принадлежал к числу таких людей. Кляня судьбу и бранясь, он вечно жаловался на материальное неравенство и на несправедливость судьбы. Он не был ленив от природы, но отчаяние сделало его лентяем; и в нашем доме воцарилась нищета. Все детство я металась между двумя мучительными переживаниями: я испытывала то глубокое сострадание к моим несчастным родителям, то беспредельный ужас перед вспышками гнева и неистовством моего отца. Убогая кровать, на которой все мы спали, была чуть ли не единственным нашим достоянием; и каждый день жадные кредиторы покушались на нее. Моя мать умерла совсем молодой, и главным образом из-за дурного обращения отца. Я была тогда ребенком. Я остро почувствовала утрату, хотя и была жертвой, на которой мать вымещала все доставшиеся ей побои и ругань. Но мне и в голову не приходило оскорблять ее память, радуясь относительной свободе, наступившей для меня с ее смертью. Все несправедливости, какие я терпела как от нее, так и от отца, я относила на счет нищеты. Нищета была единственным врагом, но врагом всеобщим, безжалостным и отвратительным, которого с первых же дней моей жизни я научилась ненавидеть и бояться.

Несмотря ни на что, моя мать была трудолюбива и приучала к трудолюбию и меня. Но когда я осталась одна и могла дать волю своим склонностям, я уступила той, что в детстве бывает сильнее других: я впала в леность. Отца я почти не видела; он уходил утром до моего пробуждения и возвращался поздно вечером, когда я уже спала. Он работал хорошо и быстро; но стоило ему заработать немного денег, как он тут же их пропивал. Когда он, пьяный, возвращался домой среди ночи, тяжелым топотом неверных шагов сотрясая мостовую, выкрикивая непристойные куплеты голосом, который скорее походил на рев,— я просыпалась, обливаясь холодным потом, и от ужаса волосы шевелились у меня на голове. Я забивалась под одеяло и часами лежала, не смея дышать, а он в возбуждении продолжал метаться по комнате и в пьяном бреду разговаривал сам с собой; а иногда, вооружившись стулом или палкой, принимался колотить по стенам и даже по моей кровати, так как ему казалось, что его преследуют и атакуют воображаемые

враги. Я остерегалась заговаривать с ним, ибо однажды, еще при жизни матери, он хотел убить меня, чтобы избавить, как он сказал, от горькой участи нищенки. С той поры я пряталась при его приближении, и часто, чтобы избежать ударов, которые он наудачу обрушивал в темноту, я залезала под кровать и оставалась там до утра, полуголая, оцепенев от холода и страха.

В те времена я часто бегала со своими сверстниками в луга, окружавшие наш городок; нередко мы играли там вместе, Арсен, и вы хорошо знаете, что девочка в стоптанных башмаках, подвязанных, наподобие котурнов, веревочкой, с непокорными волосами, которые так трудно было засунуть под обрывки чепца,— вы хорошо знаете, что эта робкая девочка была так же чиста и так же мало тщеславна, как и ваши сестры. Единственным моим грехом — да и грех ли это, когда влачишь такое жалкое существование! — была жажда не богатства даже, а спокойствия и дружелюбия, доступных лишь тем, кто живет безбедно. Когда я случайно попадала в семью какого-нибудь буржуа и видела взаимную предупредительность всех домашних, опрятность детей, изящную простоту жены, единственным моим стремлением было иметь возможность сесть на чистый стул и читать или вязать в тихой и мирной обстановке; а пределом моего честолюбия были мечтания о переднике из черной тафты. Как все дочери ремесленников, я умела шить, но делала это медленно и неловко. Страдания подавили все мои способности; я жила лишь мечтами; была счастлива, когда меня не обижали, приходила в ужас и впадала чуть ли не в отупение, когда меня преследовали.

Но как сказать вам о главной и самой страшной причине моего поступка? Нужно ли это, Арсен, не лучше ли стерпеть осуждение, чем предать такому чудовищному позору имя своего отца?

— Нужно сказать все,— сказал Арсен,— или лучше я сам сделаю это за вас, ибо нельзя позволять, чтобы вас обвиняли в преступлении, если вы невиновны. Я знаю все и только что рассказал обо всем своим сестрам. Ее отец,— сказал он, обращаясь к нам,— простите ему, друзья мои, нищета ведет к пьянству, а пьянство — ко всем порокам,— этот несчастный человек, опустившийся, униженный, несомненно потеряв рассудок, воспылал постыдной страстью к своей дочери, и страсть эта вспыхнула в нем как раз в тот день, когда Марта, сама того не подозревая, во время танцев обратила на себя внимание заезжего коммивояжера и возбудила в отце бешеную ревность. Коммивояжер был с ней очень любезен; он не преминул, как все они поступают с молоденькими девушками, которых встречают в провинции, заговорить с ней о любви и о похищении. Марта его не слушала. На следующий день он должен был уехать, и вот перед самым отъездом какая-то жен-

щина с распущенными волосами бросилась к нему и вскочила в его тележку. Это была Марта, бежавшая, подобно Беатриче, от зловещего насилия нового Ченчи. Она могла бы, скажете вы, принять другое решение, искать убежища у соседей, обратиться к защите закона? Но в таком случае пришлось бы обесчестить отца, пройти через позор скандальных процессов, после которых невиновный порой так же запятнан в общественном мнении, как и виноватый. Марта поверила, что нашла друга, покровителя, даже супруга; ибо, заметив ее детскую наивность, коммивояжер обещал жениться на ней. Она надеялась, что полюбит его из благодарности, и даже когда была обманута, считала, что обязана быть ему признательной.

— Кроме того,— продолжала Марта,— мои первые жизненные шаги сопровождались такими ужасными сценами, такими страшными опасностями, что я не считала себя вправе быть слишком разборчивой. Я переменила тирана. Но второй получил все же кое-какое воспитание и, несмотря на свою ревнивость и вспыльчивость, показался мне менее жестоким, чем первый. Все относительно. Человек, которого вы считаете таким грубым,— я и сама поняла это теперь, когда могу сравнить его с окружающими,— поначалу казался мне добрым и искренним. Моя терпеливость и привычка к повиновению — результат суровой подневольной жизни — придали смелости моему новому хозяину, и скоро он дал волю своим деспотическим наклонностям. Я все сносила с покорностью, которая была бы немыслима у женщины, получившей иное воспитание. Я стала почти равнодушна к угрозам и брани. Я все еще мечтала о независимости, но думала, что для меня она уже невозможна. Душа моя была сломлена; я уже не чувствовала в себе энергии, необходимой для сопротивления, и никогда не нашла бы ее без дружбы, советов и помощи Арсена. Все похожее на объяснение в любви, даже простая любезность, лишь пугало меня и печалило. Мне нужен был больше чем любовник,— мне нужен был друг. Я нашла его и теперь удивляюсь, как могла я так долго страдать без надежды.

— Теперь вы будете счастливы,— сказал я,— потому что встретите у нас только нежность, преданность и уважение.

— О! В вас и Эжени я уверена! — воскликнула Марта, бросаясь на шею моей подруге.— А его дружба,— добавила она, положив руку на голову Арсена,— поможет мне вынести все.

Арсен то краснел, то бледнел.

— Мои сестры будут уважать вас,— взволнованно воскликнул он,— не то...

— Не надо угроз,— ответила она.— Никогда и никому не надо угрожать из-за меня. Я обезоружу ваших сестер, не сомне-

вайтесь, а если не удастся,— что ж, буду сносить их пренебрежение. Для меня это такие пустяки! Все это кажется мне детской игрой. Будь спокоен, дорогой Арсен. Ты захотел меня спасти — ты действительно спас меня! И я буду благословлять тебя до конца жизни.

Упоенный любовью и радостью, Арсен вернулся в кафе Пуассона, а Марта, стараясь не шуметь, пошла занять свое место на узенькой кровати подле обеих сестер, чей мощный храп заглушил ее легкие шаги.

ГЛАВА X

Сестры Арсена действительно смягчились. После нескольких дней усталости, удивления и неуверенности они как будто свыклись со своей участью и сблизились с навязанной им подругой. Правда, Марта проявляла по отношению к ним услужливость, доходившую до полного подчинения. Приобретенные ею хорошие манеры в сочетании с природной мягкостью и всегда повышенной, но не чрезмерной чувствительностью придавали ее обхождению необычайную прелесть. Не прошло и двух-трех дней, как мы с Эжени прониклись к ней чувством искренней дружбы. Вежливость Марты располагала в ее пользу заносчивую Луизон; и когда та искала ссоры, нежный голос, спокойная речь и предупредительность Марты усмиряли провинциалку или, по крайней мере, сдерживали ее сварливый нрав.

Со своей стороны мы делали все возможное, чтобы примирить Луизу и Сюзанну с Парижем, так возмутившим их при первом знакомстве. У себя в деревне они воображали, будто Париж — это Эльдорадо, где нищета соответствует тому, что в провинции считается богатством. До известной степени мечты их осуществились; катаясь в наемном экипаже (два или три раза я доставлял им это невинное удовольствие), они недоуменно переглядывались и говорили: «Однако нельзя сказать, чтобы мы себя стесняли! Вот в какой карете разъезжаем!» Вид самых захудалых лавчонок приводил их в восхищение. Люксембургский сад показался им волшебным царством. Но хотя новые для них впечатления и развлекли их на несколько дней, это не мешало им с грустью задумываться над своим новым положением, когда они возвращались в крошечную комнатку на шестом этаже, где отныне должна была протекать их жизнь. И впрямь, как не похоже было все здесь на их глухую провинцию! Ни воздуха, ни свободы, ни болтовни у порога с соседками; ни дружбы со всеми обитателями квартала; ни прогулок с местными девушками под каштанами после трудового дня; ни танцев под открытым небом по воскресеньям! Как только они при-

нялись за работу, они увидели, что в Париже дня не хватает для самых необходимых дел, а если здесь и заработаешь вдвое больше, чем в провинции, то и тратить приходится вдвое, а работать втрое больше. Каждое такое открытие неприятно поражало их. Они не понимали также, что девичьей добродетели грозят в Париже бесчисленные опасности и что девушке, если она хочет вести себя благопристойно, нельзя выходить вечером одной или танцевать на общественных балах. «Ах, боже мой,— восклицала озадаченная Сюзанна,— неужели здесь так много плохих людей?»

Но все же они смирились, хотя и не безропотно. Арсен частыми увещаниями держал их в повиновении, и теперь они уже не выражали своего неудовольствия так необузданно, как в первые дни. Соседство двух вечно надутых и не очень-то хорошо воспитанных девиц было бы весьма неприятно, если бы труд — великий целитель всех зол, когда он приведен в соответствие с нашими силами,— не восстанавливал тишины и спокойствия. Благодаря мерам, заранее принятым Эжени, работа нашлась; и, пользуясь уважением и доверием своих заказчиц, она всерьез подумывала об открытии швейной мастерской. Марта не отличалась проворством, но у нее был хороший вкус и изобретательность. Луизон шила быстро и на редкость прочно. Сюзанна не лишена была ловкости. Эжени могла бы принимать заказы, примерять и руководить работой; она честно делилась бы с товарками. Каждая, будучи заинтересована в успехе *фаланстера,* работала бы не по обязанности и нехотя, как поденная портниха, а со всем усердием и вниманием, на какое только была способна. Эта блестящая идея очень улыбалась сестрам Арсена; оставалось узнать, может ли Луизон настолько обуздать свой нрав, чтобы такое содружество стало возможным. Привыкнув командовать, она расстраивалась всякий раз, когда видела, что эта бездельница Марта (как она называла ее шепотом, на ухо сестре) придумывала более удачную отделку для рукава или с бо́льшим изяществом распределяла складки на корсаже. Когда, верная своим допотопным навыкам, Луиза кроила на собственный вкус, а Эжени неожиданно разрушала ее планы и путала ее замыслы, деревенской красавице стоило немалого труда не швырнуть в нее стулом. Однако ласковое слово Марты или лукавая улыбка Сюзон сразу смягчали ее гнев, и она лишь глухо ворчала, будто море после шторма.

Между тем как в наших двух квартирках осуществлялся опыт новой жизни, Орас, запершись у себя в мансарде, отдавался опытам литературным. Едва мне возвратили относительную свободу, я отправился к нему, ибо уже много дней я был лишен его общества. В жилище Ораса я увидел большие перемены. Он убрал свою каморку с некоторой претенциозностью. Он покрыл куском сукна

стол, стараясь придать ему сходство с письменным. Одним из матрацев заложил дверную нишу, чтобы заглушить шумы из соседних комнат, а наброшенная на его плечи ситцевая занавеска должна была изображать халат или, вернее, театральную мантию. Он сидел за столом, опершись головой на руки, ероша всклокоченные волосы, и когда я открыл дверь, по меньшей мере двадцать исписанных листков, подхваченные сквозняком, запорхали вокруг него и опустились со всех сторон, как стая перепуганных птиц.

Я кинулся поднимать и невольно бросил на них нескромный взгляд. На всех листках стояли различные заголовки.

— Роман! — вскричал я.— Называется «Проклятие», глава первая! Но нет, он называется «Новый Рене», глава первая... Э, нет! Это «Заблуждение», книга первая. А, теперь совсем другое — «Последний верующий», часть первая... О! Да тут стихи! Поэма, песнь первая — «Конец мира». А, баллада! «Прекрасная дочь короля мавров», строфа первая; а на том листке «Сотворение» — фантастическая драма, сцена первая; а тут еще водевиль... Боже милосердный! «Бродячие философы», действие первое; и, честное слово, еще что-то! Политический памфлет, страница четвертая. Да если всему этому дать ход, ты, дорогой Орас, заполонишь всю литературу.

Орас был взбешен. Обругав меня за любопытство, он вырвал у меня из рук все эти начатые листки, из которых ни один не был заполнен больше чем наполовину, смял их, скомкал и швырнул в камин.

— Как! Из-за шутки отказаться от всех своих грез, всех планов и замыслов? — сказал я.

— Друг мой, если ты пришел сюда развлекаться,— возразил он,— отлично! Будем болтать, смеяться сколько тебе угодно; но если ты начнешь издеваться надо мной раньше, чем моя колесница сдвинется с места, я никогда не смогу пустить коней вскачь.

— Ухожу, ухожу,— сказал я, надевая снятую было шляпу,— не хочу мешать тебе в минуты вдохновения.

— Нет, нет, останься,— сказал он, удерживая меня силой,— вдохновение сегодня не придет. Я отупел; ты вовремя пришел, чтобы отвлечь меня от самого себя. Я измучен, голова совершенно отказывается работать. Три ночи я не спал и пять дней не был на воздухе.

— Ну что ж, поздравляю тебя с таким усердием. Что-нибудь, наверное, уже получается? Не прочтешь ли?

— Я? Да я ничего не написал. Ни одной строчки не выправил. Оказывается, марать бумагу значительно труднее, чем я предполагал. По правде сказать, это препротивное занятие. Сюжеты одолевают меня. Стоит закрыть глаза, как в голове возникает и

приходит в волнение целое полчище, целый мир образов. Стоит открыть глаза — все исчезает. Я поглощаю кофе пинтами, выкуриваю дюжины трубок, опьяняюсь собственными восторгами; мне кажется, я подобен вулкану перед извержением. Но едва я приближаюсь к этому проклятому столу, как лава застывает и вдохновение гаснет. Пока я готовлю бумагу и чиню перо, меня одолевает скука; запах чернил вызывает во мне тошноту. А потом, эта нудная обязанность излагать словами и записывать какими-то каракулями свои мысли, пылкие, живые, стремительные, как лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи! О, и тут ремесло, даже тут! Куда бежать от ремесла, великий боже! Ремесло преследует меня повсюду!

— Вы, значит, собираетесь,— сказал я ему,— найти такой способ выражения ваших мыслей, который не имел бы осязаемой формы? Мне такой способ неизвестен.

— Нет,— сказал он,— но я хотел бы выражать их сразу же, без усталости, без усилий, как течет вода, как поет соловей.

— Течение воды — результат известного усилия природы, а пение соловья — искусство. Приходилось ли вам слышать, как молодые птицы щебечут неверными голосами и пробуют силы в первой песне? Любое точное выражение идей, чувств и даже инстинкта требует известной подготовки. Неужели вы надеетесь с первого же наброска писать с той легкостью и плавностью, какие даются лишь долгими трудами?

Орас уверял, что дело не в отсутствии у него легкости и плавности, а в том, что время, затрачиваемое на выписывание букв, сводит на нет все его способности. Он лгал: когда я предложил, что буду стенографировать под его диктовку, пока он будет сочинять вслух, он отказался, и не без причины. Я знал, что ему ничего не стоит написать очаровательное, остроумное письмо,— но, по-видимому, для того, чтобы какой-нибудь мысли придать форму, хотя бы не очень развернутую и законченную, требовалось много больше труда и терпения. Несомненно, ум Ораса не был бесплоден. Юноша был прав, жалуясь на излишнюю подвижность своих мыслей и избыток зрительных образов,— но он совершенно лишен был дара обрабатывать задуманное и выбирать нужную форму. Он не умел работать; позже я убедился в том, что он не умеет страдать.

Да и не в этом было главное препятствие. Я полагаю, для того чтобы писать, нужно иметь определенное и обоснованное мнение о том, что пишешь, не говоря уже об известном количестве других, не менее определенных мыслей, необходимых для подкрепления своих доводов. Орас не имел твердого мнения ни о чем. Он импровизировал свои убеждения в ходе разговора, по мере их

«Орас»

изложения, и делал это, надо сказать, блестяще; поэтому он нередко менял их, и, слушая его, Мазаччо обычно бормотал сквозь зубы поговорку «семь пятниц на неделе».

Если ограничиваться беседами, можно на свой страх и риск привлекать внимание слушателей и забавлять их таким манером. Но когда слово приобретает более высокое назначение, надо, пожалуй, точно знать, что ты хочешь рассказать или доказать. Орасу нетрудно было найти доводы в споре; его воззрения, в которые он верил, лишь пока излагал их, не могли взволновать его до глубины души, воспламенить воображение и произвести в нем ту могучую, таинственную и скрытую работу, которая порождает вдохновение, как труд циклопов порождает пламя Этны.

Если нет цельного мировоззрения, то чувства сами по себе могут взволновать нас и даже пробудить наше красноречие; это свойство, присущее молодости. Орас этой способностью еще не обладал; не изведав волнения страстей, не видев их проявления в обществе — одним словом, почерпнув то, что знал, только из книг, он не мог при выборе того или иного рассказа, той или иной картины руководствоваться откровением свыше или благородной необходимостью. Все же, поскольку голова его была полна вымыслами, подсказанными общей образованностью, которые сулили интересное развитие, как только сам он обогатится жизненным опытом, он считал себя способным творить. Но он не мог полюбить свои экспромты, не затрагивавшие его души и, по правде сказать, порожденные не ею, а лишь работой памяти. Поэтому, в какую бы форму он ни облекал их, им не хватало своеобразия, и он это чувствовал; он был человеком со вкусом, и его самолюбие не было самолюбием глупца. И вот он зачеркивал, рвал, начинал сызнова и в конце концов бросал свое сочинение, чтобы испробовать силы в новом, которое удавалось не лучше.

Не понимая причин своей беспомощности, он ошибочно объяснял ее отвращением к форме. Форма была единственным богатством, которое он мог бы постепенно приобрести с помощью терпения и воли; но никогда она не заменила бы глубины содержания, совершенно ему недоступной,— а без нее литературное произведение с самыми блестящими метафорами, с самыми искусными и чарующими оборотами не имеет никакой цены.

Я часто твердил ему об этом, но убедить его мне не удавалось. Даже после целого месяца напряженных трудов он все еще упорствовал в своем самообольщении. Орасу казалось, что препятствиями, которые ему предстояло преодолеть, были только кипение крови, горячность молодости, лихорадочное стремление выразить свои чувства. Вместе с тем он признавал, что все его наброски через десять строк или три стиха приобретали разительное сходство

с произведениями его любимых авторов, и краснел, видя, что способен только на подражание. Он показывал мне некоторые стихи и фразы, под которыми могло бы стоять имя Ламартина, Виктора Гюго, Поля Курье, Шарля Нодье, Бальзака и даже Беранже, хотя последнему подражать особенно трудно из-за его ясной, сжатой манеры. Но эти короткие наброски, которые можно было назвать фрагментами фрагментов, служили бы в произведениях его вдохновителей лишь украшением их собственных, индивидуальных мыслей, а именно индивидуальности у Ораса и не было. Если он излагал какую-нибудь идею, то вас поражал (да и его самого тоже) явный плагиат, ибо эта идея принадлежала вовсе не ему — она принадлежала им; она принадлежала всем. Чтобы сообщить мысли отпечаток собственной индивидуальности, ему бы следовало вынашивать ее в своем сознании, в своем сердце очень глубоко, очень долго, пока с ней не произойдут совершенно особые превращения; ибо ни один ум не бывает тождествен другому, и никогда одни и те же причины не вызывают в разных умах одинаковых следствий; поэтому многие мастера могут одновременно стремиться передать одно и то же чувство, разрабатывать один и тот же сюжет, не опасаясь повторить друг друга. Но для того, кто не подчинился этому закону, кто сам не наблюдал этих явлений и не испытал этого чувства,— ни индивидуальность, ни своеобразие невозможны. Вот почему прошло много дней, а Орас все еще не продвинулся ни на шаг. Необходимо добавить, что при этом он истратил впустую весь небольшой запас воли, накопленный им, чтобы выйти из бездействия. Окончательно сломленный усталостью, преисполненный отвращения, почти больной, вышел он из своего убежища и снова окунулся в жизнь, ища развлечений и стремясь даже, по его словам, испытать страсть, в надежде хоть ею разбудить свою дремлющую музу.

Его решение испугало меня. Пуститься без всякой цели в это бурное море, не обладая опытом, который предохранил бы от опасности,— значит рисковать большим, чем можно предполагать. Так же очертя голову бросился он и в литературу; но там у него не было сообщника, и единственной грозившей ему катастрофой была потеря времени и чернил. Но что станется с ним, бедным слепцом, под водительством *слепого бога*?

Крушение произошло не так скоро, как я боялся. В пучине страстей гибнет не всякий, кто к этому стремится. По натуре Орас отнюдь не был страстен. Собственная личность выросла в его сознании до таких размеров, что, казалось, ни одно искушение не было достойным его. Чтобы пробудить в нем восторг, нужна была встреча с какими-то высшими существами; а пока он не без основания предпочитал себя самого тем пошлым женщинам, с какими

мог завязать отношения. Нечего было бояться, что он подвергнет опасности свое драгоценное здоровье знакомством с уличными проститутками. Он также не был способен унизить свою гордость до того, чтобы умолять тех, кто сдается лишь перед дорогими подарками или другими доказательствами пылкого увлечения, которые оживили бы их угасшие сердца и пресыщенное любопытство. К таким женщинам он испытывал презрение, доходившее до самой суровой нетерпимости. Он не понимал поистине великого нравственного смысла «Марион Делорм». Он любил это произведение, но не постигал содержащейся в нем глубокой морали. Ему нравилось изображать из себя Дидье, но Дидье из одной лишь сцены — той, где любовник Марион, потрясенный своим открытием, осыпает несчастную насмешками и проклятиями; что же до прощения, даруемого в заключительной сцене, Орас утверждал, будто Дидье никогда на него не согласился бы, если б не знал, что через мгновение ему отрубят голову.

Опасность была в том, что, обращаясь к существам более утонченным, Орас мог обесчестить или погубить их ради своего каприза или спеси, а потом всю жизнь сожалеть об этом и мучиться угрызениями совести. К счастью, такую жертву нелегко было найти. Любви, так же как и поэтического вдохновения, не находят, когда ищут хладнокровно и преднамеренно. Чтобы полюбить, надо сперва понять, что такое женщина и с какой заботой и уважением должно к ней относиться. Тому, кто постиг святость взаимных обязательств, равенство полов перед богом, несправедливость общественного порядка и мнения толпы в этом вопросе, любовь может открыться во всем своем величии, во всей своей красоте; но тому, кто пропитан грубыми предрассудками, кто считает, что женщина по своему развитию стоит ниже мужчины, что долг ее в отношении супружеской верности отличен от нашего, тому, кто ищет лишь волнений крови, а не идеала, любовь не откроется никогда. Вот почему любовь — чувство, созданное богом для всех,— знакома лишь немногим.

Орас никогда не касался мыслью этого великого для всего человечества вопроса. Он охотно смеялся над тем, чего не понимал, и, судя о сенсимонизме (в те времена весьма распространенном) лишь по его отрицательным сторонам, отвергал изучение «подобного шарлатанства» — это было его выражение; но если отчасти оно и было справедливо, то, во всяком случае, не Орасу было судить об этом. Он видел только синие одеяния и плешивые лбы *отцов* новой доктрины, и этого было достаточно, чтобы он провозгласил нелепым и лживым все учение Сен-Симона. Итак, он не стремился обогатить свои знания, но беззаботно руководствовался животным инстинктом мужского превосходства, который

признан и освящен обществом, не желая впадать, как он сам говорил, ни в педантизм консерваторов, ни в педантизм новаторов.

При полном отсутствии религиозных и социальных убеждений, нравственно не сложившийся, он хотел испытать любовь — наиболее религиозное проявление нашей духовной жизни, наиболее важное из наших индивидуальных действий по отношению к обществу! У него не было ни возвышенного порыва, который может оправдать любовь смелого ума, ни фанатического упорства, способного, по крайней мере, согласно традициям прошлого, сохранить в любви видимость постоянства и своего рода добродетель.

Его первой страстью была Малибран.

Раньше он только изредка посещал Итальянскую оперу; теперь же стал занимать деньги и ходить туда всякий раз, когда божественная певица появлялась на сцене. Разумеется, ему было от чего загореться восторгом, и я не возражал бы, чтобы это неослабное обожание как можно дольше занимало его чувства: оно подготовило бы его к более глубоким переживаниям. Но Орас не умел ждать. Он хотел осуществить свою мечту и проделывал ради госпожи Малибран тысячу *безумств*: кинулся под колеса ее кареты (после того, как подстерег артистку у подъезда театра), не причинив себе, впрочем, ни малейшего вреда; бросил два или три букета на сцену и, наконец, написал ей сумасбродное письмо, вроде того, что несколько недель назад написал госпоже Пуассон. На этот раз он также не был удостоен ответа и не знал, пренебрегла ли она его излияниями или просто не получила письма.

Я опасался, что это первое поражение причинит Орасу большое горе. Но он отделался легкой досадой. Он сам издевался над тем, что мог на мгновение поверить, будто «горделивый талант снизойдет до понимания бескорыстного и пылкого поклонения». Однажды я застал его за сочинением нового письма, которое начиналось так: «Благодарю тебя, о женщина, благодарю тебя! Ты разочаровала меня в славе»; и кончалось следующими словами: «Прощайте, сударыня! Наслаждайтесь своим величием, опьяняйтесь своими триумфами! И да встретится вам среди окружающих вас знаменитых друзей сердце, способное вам ответить, ум, способный вас оценить!»

Я уговорил его бросить письмо в огонь, сказав, что госпожа Малибран, несомненно, получает подобные письма не реже трех раз в неделю и перестала тратить время на их чтение. Мои слова заставили его задуматься.

— Если бы я допускал,— вскричал он,— что у нее хватит низости показать мое первое письмо своим друзьям и вместе с ними насмехаться надо мною, я освистал бы ее сегодня вечером в «Танкреде», ибо, в конце концов, ей тоже случается фальшивить!

— Ваш свист будет заглушен аплодисментами,— сказал я.— Если же он и долетит до ушей певицы, она улыбнется и подумает: «Вот свистит автор любовной записки; такова оборотная сторона вчерашнего букета». И ваша выходка явится лишь еще одним выражением восторга среди всех прочих восторгов.

Орас стукнул кулаком по столу.

— С ума я, что ли, сошел, когда писал это письмо! — воскликнул он.— К счастью, я подписался вымышленным именем, и если когда-нибудь я прославлю свое пока безвестное, она не сможет сказать: «А! Это один из отвергнутых».

ГЛАВА XI

Орас оставил на время литературу и любовь и после первых пережитых им потрясений явился отдыхать ко мне на балкон; он, как султан, возлежал на диване, разглядывая четырех обитательниц нашей мансарды и, по своему обыкновению, ломая мои трубки.

Вынужденный из-за своих учебных занятий и других дел часть дня проводить вне дома, я волей-неволей предоставлял Орасу валяться у меня на ковре: ведь для того, чтобы вывести его из состояния величественной апатии, мне пришлось бы дать ему понять, что его присутствие мне неприятно, а, в сущности, это было не так. Я отлично знал, что он не станет ухаживать за Эжени, что сестры Арсена размозжили бы ему голову своими чугунными утюгами, попытайся он разыграть перед ними распутного молодого повесу; а так как я действительно любил его, то, возвращаясь домой, с удовольствием снова встречался с ним и оставлял его разделить с нами скромный семейный обед.

Марта же, казалось, отводила ему в своих мыслях не больше места, чем в те времена, когда она сидела за стойкой в кафе Пуассона, а он усердно строил ей глазки. Теперь он платил ей тем же, не простив пренебрежения к своему любовному письму, которого она на самом деле не получала. Однако его всегда невольно поражало ее умение держать себя, ее немногословная, разумная и изысканная речь. Марта хорошела на глазах. Она была по-прежнему печальна, но, освободившись от рабства, утратила привычное унылое выражение. Господин Пуассон утешился с другой и больше не внушал ей опасений. По воскресеньям она вместе с нами дышала свежим деревенским воздухом, и ее подорванное здоровье укреплялось благодаря прописанному мной полезному и правильному режиму, который она соблюдала без капризов и сопротивления, что так редко приходится наблюдать у нервных женщин. Ее присутствие привлекло к нам нескольких новых друзей. Эжени

взяла на себя отвадить тех, чья неожиданная симпатия к нам была явно напускной. Однако старым друзьям охотно прощались участившиеся посещения. Эти вечеринки в нашей мансарде, на которых дерзкие и озорные на улице студенты, желая понравиться порядочным девушкам и приветливым женщинам, внезапно обретали утонченные манеры, скромную веселость и разумную речь, сами по себе сочетали приятное с полезным. Нужно было обладать черствым сердцем и холодным умом, чтобы не испытывать какой-то возвышенной радости, наблюдая это искреннее и благородное содружество. Всем было здесь хорошо. Орас меньше язвил и меньше занимался своей особой. Наши молодые люди узнавали и начинали любить нравы более мягкие, чем те, к которым они привыкли в других местах; Марта забывала об ужасах прошлого; Сюзанна смеялась от чистого сердца и приобретала более здравые понятия о жизни, чем те, которые она получила в провинции. Луизон преуспевала меньше других; но и она училась сдерживать свою грубую откровенность и, хотя по-прежнему оставалась неумолимо строгой к соблюдению правил нравственности, ничего не имела против, когда молодые люди, чью элегантность и благовоспитанность она, возможно, преувеличивала, обращались с ней как с важной дамой.

Незаметно Орас стал находить прелесть в обществе Марты. Не имея возможности узнать, получила ли она его письмо, он нашел в себе достаточно ума и такта, чтобы держаться при ней как человек, не желающий быть отвергнутым дважды. Он проявлял по отношению к ней своего рода дружеское расположение, которое могло бы перерасти в любовь, допусти она это; в случае же упорного сопротивления оно было бы достойным искуплением прошлого.

Такое положение наиболее благоприятно для развития страсти. Огромные расстояния преодолеваются незаметно. Хотя мой юный друг ни по натуре, ни по воспитанию не был расположен к тонкостям любви, ему помогло постичь их невольное уважение. Однажды он инстинктивно заговорил на языке страсти и был красноречив. Этот язык Марта услышала впервые. Он не испугал ее, как она того ожидала; напротив, она даже испытала неведомое ей прежде восхищение и, вместо того чтобы оттолкнуть Ораса, призналась, что поражена и взволнована, попросила дать ей время разобраться в своих чувствах и заронила в нем искру надежды.

Я был наперсником Ораса, но вместе с тем косвенно, при посредстве Эжени, и наперсником Арсена. Меня интересовали и тот и другой; я был другом обоих; если Арсена я больше уважал, то, должен сознаться, к Орасу я испытывал больше приязни и влечения. Если бы спросили у меня совета, мне было бы очень не-

легко сделать выбор между двумя женихами живущей под моей охраной Пенелопы. Моя привязанность к обоим не позволяла препятствовать ни одному из них; но Эжени открыла мне глаза.

— Арсен любит Марту вечной любовью,— сказала она,— а для Ораса Марта только прихоть. В одном она — что бы с ней ни случилось — найдет друга, защитника, брата; другой смутит ее покой, а может быть, и посмеется над ее честью; он бросит ее ради нового каприза. Пусть ваша дружба к Орасу не будет мальчишески наивной. Предметом всех ваших забот и участия должна быть только Марта. К сожалению, она как будто с удовольствием слушает нашего вертопраха; меня это огорчает; и, кажется, чем больше плохого я говорю о нем, тем лучше она о нем думает. Только вы можете вразумить ее: вам она поверит скорее, чем мне. Скажите, что Орас не любит ее и не полюбит никогда.

Сказать это было легко, но доказать трудно. Что мы, в конце концов, знали? Орас был так молод, что вполне мог не ведать любви; но любовь могла произвести в нем коренную перемену и сразу сформировать его характер. Я согласился, что нельзя подвергать благородную женщину опасности подобного опыта, и обещал испробовать средство, подсказанное мне Эжени: я должен был ввести Ораса в свет, чтобы отвлечь его от любви или же убедиться в ее силе.

«В свет? — скажут мне.— Вы? Студент, жалкий лекаришка?» Да, представьте себе! Я поддерживал отношения со многими аристократическими домами, не очень близкие, но постоянные и длительные; они могли по первому моему желанию открыть мне доступ в блестящее общество Сен-Жерменского предместья. У меня был единственный черный фрак, заботами Эжени сохранявшийся для таких парадных случаев, желтые перчатки, служившие по три раза после каждой чистки хлебным мякишем, и сорочки безупречной белизны — все это позволяло мне примерно раз в месяц выходить из своего убежища; я навещал старых друзей моей семьи, которые всегда принимали меня с распростертыми объятиями, хоть я и не выдавал себя за ярого легитимиста. Разгадка заключалась в том,— простите, дорогой читатель, об этом надо было сообщить вам раньше,— что я родился дворянином и принадлежал к старинному аристократическому роду.

Единственный и законный сын графа де Монт..., разоренный революциями еще до появления на свет, я был воспитан своим почтенным отцом, самым справедливым, честным и мудрым человеком, какого я когда-либо знал. Он сам обучил меня всему, чему обучают в коллеже; уже в семнадцать лет я мог отправиться с ним в Париж получать диплом на звание бакалавра гуманитарных наук. Затем мы вместе возвратились в наш скромный провинци-

альный дом, и там он сказал мне: «Ты видишь, меня одолевают тяжкие недуги; возможно, они сломят меня раньше, чем мы предполагаем, или же ослабят мою память, волю и способность суждения. Я хочу, пока мне не изменила ясность мысли, серьезно поговорить с тобой о твоем будущем и помочь тебе выработать собственные взгляды на жизнь.

Что бы ни говорили люди нашего класса, которые не могут примириться с гибелью режима благочестия и галантности, человечество в нашу эпоху идет по пути прогресса. Франция движется вперед к осуществлению демократических идеалов, которые представляются мне все более справедливыми и предначертанными свыше, по мере того как я приближаюсь к сроку, когда предстану нагим пред тем, кто нагим послал меня на землю. Я воспитал тебя в духе глубокого уважения к равноправию всех людей и рассматриваю это чувство как исторически оправданное и необходимое дополнение к принципу христианского милосердия. Хорошо будет, если ты сумеешь осуществить это равенство, работая в меру своих сил и знаний, дабы занять и удержать свое место в обществе. Я отнюдь не желаю тебе блестящего положения. Я желаю, чтобы оно было независимым и почетным. Скромное наследство, которое я оставляю, поможет тебе лишь получить специальное образование, после чего ты станешь сам содержать себя и свою семью, если она у тебя будет и если образование это принесет свои плоды. Я отлично знаю, что люди нашего круга вначале жестоко осудят меня за то, что я побудил сына приобрести профессию, а не отдал его под покровительство государства. Но, быть может, недалек тот день, когда сами они горько пожалеют, что единственное, чему они научили своих сыновей,— это умение пользоваться милостями двора. В эмиграции я убедился, как убого дворянское воспитание, и почувствовал желание обучить тебя другим наукам, кроме верховой езды и охоты. Я встретил в тебе почтительное послушание, за которое благодарю тебя со всей силой моей отеческой любви, а ты не раз еще поблагодаришь меня за то, что я подверг тебя столь суровому испытанию».

За два года, проведенные возле отца, я пополнил свои первоначальные познания и серьезно обдумал заложенные им идеи. Он заставил меня изучить основы многих наук, чтобы увидеть, к чему у меня проявится наибольшая склонность. Не знаю, может быть, на меня повлияла скорбь, вызванная во мне его непрерывными страданиями, которые я не в силах был облегчить, но несомненно, что я начал изучать медицину, следуя призванию.

Когда отец убедился в этом, он хотел отправить меня в Париж, но здоровье его было в таком плачевном состоянии, что он разрешил мне не уезжать и ухаживать за ним еще несколько ме-

сяцев. Мы приближались — увы! — к вечной разлуке. Болезнь его усугублялась; шел месяц за месяцем, не принося ему облегчения, но и не лишая мужества. При каждой новой вспышке болезни он пытался отослать меня, говоря, что есть дела поважнее, чем уход за умирающим, но в конце концов все же сдался на мои ласковые уговоры и позволил мне остаться, чтобы закрыть ему глаза. Перед самой кончиной он заставил меня повторить клятву, которую я давал уже много раз: немедленно приняться за учение.

Я свято сдержал обещание и, несмотря на удручавшее меня горе, стал деятельно готовиться к отъезду. Отец сам привел в порядок мои дела, сдав землю в аренду на девять лет, чтобы обеспечить мне верный доход на годы занятий в Париже. Так я существовал около четырех лет, живя на свои три тысячи франков ренты и приближаясь к поре экзаменов с сознанием, что сделал все от меня зависящее, чтобы исполнить последнюю волю лучшего из отцов. Все это время я не порывал знакомства с теми из наших старинных друзей, к кому он испытывал привязанность и уважение.

К их числу принадлежала графиня де Шайи; говорили, будто в молодости она, вопреки разнице в имущественном положении, питала к моему отцу весьма нежные чувства. Верная дружба пришла на смену любви, и, умирая, отец сказал мне: «Не покидай ее никогда; это лучшая из женщин, которых я встречал в жизни».

Она действительно была не только добра, но и умна. Несмотря на огромное богатство, она не была тщеславна, несмотря на знатное происхождение — чужда аристократических предрассудков. Она владела несколькими замками, один из которых находился по соседству со скромным поместьем моего отца; в этом замке она особенно охотно проводила лето. Кроме того, у нее был небольшой особняк на улице Варенн. Графиня любила остроумную беседу, и у нее собиралось довольно приятное общество. Этикет и чопорность были изгнаны оттуда; там можно было встретить светских людей, принадлежавших к старинному дворянству, или убежденных легитимистов, и в то же время литераторов или артистов, придерживавшихся любых убеждений. Там разрешалось исповедовать новейшие идеи; но золотую середину и буржуазных выскочек госпожа де Шайи не жаловала. Как все карлисты, она более терпимо относилась к республиканским взглядам и к скромной, но гордой бедности.

В тот год важные дела задержали ее в Париже, и, хотя весна была в разгаре, она не собиралась еще покидать город. Кружок ее друзей значительно сузился, артисты и литераторы, которые выезжают в деревню только осенью (если вообще туда выезжают), преобладали в ее салоне над аристократами. Она милостиво раз-

решила мне представить ей кого-либо из моих друзей, и как-то вечером я привел к ней Ораса.

Орас наивно попросил меня научить его, как надо вести себя в светском обществе. Ему не впервые приходилось видеть людей, принадлежащих к аристократическому кругу, но он знал, что в деревне они снисходительнее, чем в Париже, и считал крайне существенным для себя не показаться неотесанным увальнем в салоне госпожи де Шайи. Орас хотел извлечь из этой, как он говорил, затеи нечто полезное: он намеревался наблюдать, изучать и собирать факты для будущего романа; однако не без тревоги он подумывал о том, что может поскользнуться на вощеном паркете, отдавить лапу любимой собачке, наткнуться на кресло — одним словом, разыграть роль смешного персонажа из классической комедии.

Когда он надел свой хорошо сшитый фрак, свой самый нарядный жилет и соломенного цвета перчатки да почистил свою шляпу, Эжени, очень рассчитывавшая на то, что этот *дебют в мире графинь* поможет спасти Марту, сама пожелала завязать ему галстук и сделала это более изящно, чем удалось бы ему, заставила его убрать манжеты на два пальца, посоветовала не сдвигать шляпу набекрень — одним словом, почти сумела придать ему вид «светского» человека. Орас охотно подчинился ее указаниям, восхищаясь художественным чутьем и тактом этой женщины из народа, открывшими ей тысячи мельчайших подробностей хорошего вкуса, до которых сам он никогда не додумался бы, и удивляясь равнодушию,— возможно, притворному,— с каким Марта отнеслась ко всем этим приготовлениям. В глубине души Марта была немало встревожена безрассудной фантазией Ораса появиться в высшем обществе; и хотя она даже самой себе не признавалась в любви к Орасу, сердце ее сжималось от тайного страха. В такой-то момент Орас, весело смеясь и как бы репетируя свое появление в свете, подошел к ней и с комическим видом поклонился, словно перед ним была не она, а графиня де Шайи. Пораженная почтительностью его поклона, Марта вздрогнула и, обращаясь ко мне, спросила:

— Неужели действительно так полагается приветствовать знатных дам?

— Он проделал это недурно,— ответил я,— но все же с излишней фамильярностью; госпожа де Шайи — дама почтенная. Повторите еще раз, Орас. И потом, имейте в виду: когда вы будете уходить, госпожа де Шайи, наверное, пригласит вас к себе снова; она скажет вам несколько любезных слов и, возможно, протянет руку, так как вообще она очень сердечно относится к моим друзьям. Тогда вам надлежит кончиками пальцев взять ее руку и поднести к губам.

— Вот так? — спросил Орас, делая попытку поцеловать руку Марты.

Марта поспешно ее отдернула. На лице у нее отразилось страдание.

— Может быть, вот так? — сказал Орас, хватая толстую красную руку Луизы и целуя собственный большой палец.

— Прекратите ли вы наконец свои глупости? — завопила возмущенная Луизон.— Правильно говорят, что светские люди — самые бесчестные. Подумать только! Такая старуха, как графиня, заставляет молодых людей целовать ей руки! Ну и ну! Только со мной вы это бросьте; я не графиня и могу закатить вам хорошую пощечину...

— Потише, моя голубка,— ответил Орас, делая пируэт,— никто к этому не стремится. Что ж, Теофиль, пойдем? Я чувствую себя в ударе, и ты увидишь, как ловко я разыграю маркиза. То-то я позабавлюсь!

Он вошел в гостиную гораздо лучше, чем я ожидал. Проследовав мимо дюжины гостей, он приветствовал хозяйку дома без всякой неловкости, с видом не слишком развязным, но и не слишком приниженным. Его наружность поразила всех; и, как ни странно, даже виконтесса де Шайи, невестка старой графини, не проявила по отношению к нему того презрительного высокомерия, с каким обычно встречала новичков.

После кофе все перешли в сад и разделились там на две группы: одни медленно прогуливались с оживленной и приветливой графиней, другие расположились вокруг ее мечтательной и томной невестки.

Это был небольшой сад, разбитый на старинный манер, с подстриженными деревьями, потемневшими статуями и фонтаном с тоненькой струйкой воды, который приводили в действие, когда приказывала виконтесса. Она утверждала, что любит «это журчанье прохладной струи под сенью деревьев, в сумеречный час; ибо тогда, не видя этого жалкого бассейна с зеленоватой водой, она может вообразить себя в деревне, подле реки, вольно текущей среди лугов».

Виконтесса полулежала в кресле, которое вынесли для нее из гостиной на пожелтевший газон. Экзотическое деревце склонялось над ее головой наподобие пальмы. Все ее придворные — а это были самые молодые и галантные представители собравшегося общества — расположились вокруг и с нарочитой оживленностью начали обмениваться красивыми, но ничего не значащими фразами. Сам я избрал бы не эту группу, если бы необходимость наблюдать за Орасом при его вступлении в большой свет не вынудила меня наслаждаться *изысканным* умом виконтессы, значительно, по мо-

ему мнению, уступавшим взыскующему уму ее свекрови. Я опасался, что Орасу все это скоро наскучит; но, к великому моему удивлению, он, видимо, получал огромное удовольствие, хотя ему выпала сложная и трудная роль.

И действительно, это было нелегкое испытание для его самоуверенности и остроумия. Очевидно было, что с первого же взгляда виконтесса возымела желание познакомиться с ним поближе и узнать, что кроется под столь пышным оперением. Вместо того чтобы держать его на расстоянии до тех пор, пока он сам, по собственному почину, не даст доказательств своего ума, она с лукавым благоволением облегчила ему возможность сразу же показать, умен он или глуп. Она немедленно перевела беседу на такую тему, где он неизбежно должен был высказаться, и окольным путем побудила его заговорить о литературе, обратившись к первому попавшемуся гостю с коварным вопросом: «Читали ли вы последнее стихотворение господина Ламартина?»

— *Не ко мне ли*, сударыня, *относится ваш вопрос?* — спросил молодой поэт-легитимист, в мечтательной позе сидевший почти у ее ног.

— Если хотите,— ответила виконтесса, развевая веером длинные пряди своих каштановых волос, легкими локонами ниспадавшие ей на плечи.

Молодой поэт заявил, что последние «Размышления» показались ему весьма слабыми. С тех пор как он утратил надежду стать вторым Ламартином, он зло критиковал его.

Виконтесса дала ему понять, что догадывается, по каким соображениям он так говорит, и Орас, ободренный вскользь брошенным на него взглядом, осмелился произнести несколько слов. Из трех или четырех собеседников, выжидавших, что он скажет, по меньшей мере трое издавна считались поклонниками виконтессы и, следовательно, были не очень расположены к новоприбывшему, чья пышная шевелюра и самоуверенный тон обнаруживали известное притязание на превосходство. В общем, все объединились против него, и не без злого умысла, так как рассчитывали, что он рассердится и наговорит глупостей.

Надежды их оправдались лишь наполовину. Орас увлекся, заговорил чересчур громко и с большей запальчивостью и резкостью, чем это допускается требованиями хорошего тона и хорошего общества; однако он не сказал ни одной из тех глупостей, которых от него ждали. Зато наговорил много других, совсем неожиданных, которые, однако, побудили виконтессу и даже его противников составить себе самое высокое мнение об его уме, ибо в определенных слоях этого легкомысленного, скучающего общества вам охотнее простят парадокс, чем плоское замечание, а проявление ориги-

нальности, несомненно, вызовет похвалу не одной пресыщенной красавицы.

Говорить ли все, что я об этом думаю? Да, я обязан так поступить во имя истины. Если меня даже обвинят в предательстве или по меньшей мере в том, что я отошел от традиций своего класса, я вынужден здесь заявить, что за малым исключением легитимистское общество в 1831 году отличалось невероятной умственной ограниченностью. Столь прославленное старинное французское искусство непринужденной болтовни ныне в салонах забыто. Оно спустилось на несколько этажей ниже; и если вы все же захотите найти что-либо его напоминающее, то искать надо за кулисами некоторых театров или в живописных мастерских. Там вы услышите диалог более грубый, но столь же стремительный, столь же искрометный и гораздо более красочный, чем диалоги в старинном великосветском обществе. Только это может дать иностранцу некоторое представление о той изощренности мысли, о той насмешливости, на которые наша нация издавна получила монополию. Если говорить только об остроумии, щедро расточаемом в студенческих или артистических мансардах, то я сказал бы, что за один час молодые люди, воодушевленные сигарным дымом, могут проявить его столько, что нашлось бы чем поддержать разговор во всех салонах Сен-Жерменского предместья в течение целого месяца. Надо самому послушать их, чтобы убедиться в этом. Говорю без предубеждения; я нередко попадал из студенческой обстановки в высшее общество, и всегда меня поражало это резкое различие; часто я с удивлением наблюдал, как по салону бережно, словно бесценное сокровище, передавалась из уст в уста какая-нибудь острота, которую у нас уже так затаскали, что никто и не польстился бы на нее. Я не говорю о буржуазии вообще: она убедительно доказала, что практического ума у нее больше, чем у дворянства; но ум в собственном смысле слова наблюдается у нее лишь во втором поколении. Выскочки того времени вырастали в мире промышленности, в отравленном воздухе фабричных корпусов, душа их была поглощена страстью к наживе, парализована эгоистическим честолюбием. Но их дети, воспитанные в общих школах вместе с детьми мелкой буржуазии, которая за неимением денег жаждет, в свою очередь, выдвинуться с помощью образования, обычно несравненно культурнее, живее и сообразительнее, чем хилые наследники старой аристократии. Эти жалкие юноши, сбитые с толку воспитателями, чья умственная свобода скована политическими и религиозными прописями, редко бывают умны и никогда не бывают образованны. Отсутствие придворной жизни, потеря положения и должностей, досада, вызванная триумфами новой аристократии,

окончательно их обезличивают; и участь их,— которая, впрочем, становится легче, по мере того как они ее осознают и примиряются с нею,— во времена, о которых идет речь, была самой горькой участью во Франции.

Я ничего не сказал о народе, а между тем французский народ, особенно та его часть, которая живет в больших городах, славится своим острым умом. Я возражаю против этого мнения. Остроумие возможно лишь при условии, что оно очищено вкусом, которого народ иметь не может, ибо самый вкус есть результат известных пороков цивилизации, народу не свойственных. Следовательно, у народа, по моему мнению, остроумия нет. У него есть нечто лучшее: у него есть поэзия, у него есть гений. Для него форма ничто; он не ломает себе голову в поисках ее, он останавливается на той, какая случайно подвернется. Мысли его полны величия и мощи, ибо они зиждутся на принципе вечной справедливости, отвергнутом обществом, но сохранившемся в сердце народа. Когда принцип этот проявляется вовне — каково бы ни было его выражение,— он одушевляет и поражает нас, как внезапная вспышка божественной истины.

ГЛАВА XII

Орас говорил много. Как всегда, увлекшись спором, он с жаром защищал своих любимых романтических авторов, которых собравшиеся осуждали всех вместе и каждого в отдельности. Он ломал копья за всех, и виконтесса де Шайи, щеголявшая широтой своих взглядов на искусство и литературу, горячо его поддерживала. Нужно признать, противники его были очень слабы, и мне было непонятно, как может Орас тратить столько времени и слов на спор с ними.

Старая графиня, прогуливавшаяся со своими друзьями по соседней аллее, сделала мне знак, чтобы я подошел.

— У тебя очень шумливый друг,— сказала она,— отчего он так горячится? Уж не смеется ли над ним моя невестка? Присмотри за ним. Ты знаешь, она очень жестока и любит испытывать свой ум на тех, у кого его нет.

— Успокойтесь, дорогая матушка,— ответил я (я с детства привык называть ее так).— У него ума достанет, чтобы защититься самому и даже суметь понравиться.

— Вот как? Да ты привел ко мне опасного человека! Он очень хорош собой и, кажется мне, очень романтичен. К счастью, Леони не склонна к романтике. Но позови его сюда, дозволь и мне насладиться его умом.

Я увел Ораса (к большому его неудовольствию) из кружка очарованных им слушателей, а сам остановился за деревом, чтобы узнать, что будут о нем говорить.

— Он довольно забавен, этот юнец,— сказала виконтесса, играя веером.

— Это фат,— откликнулся поэт-легитимист.

— Фат! Вы слишком суровы,— заметил старый маркиз де Верн.— Самонадеянный — вот, мне кажется, более точное определение. Но этот молодой человек обладает некоторыми достоинствами и обещает стать большим умницей, если увидит свет.

— Ум-то у него уже есть,— возразила виконтесса.

— Да! Ума ему не занимать стать,— сказал маркиз.— Но ему не хватает такта и чувства меры.

— Он развлекал меня,— продолжала виконтесса,— зачем понадобилось матушке завладеть им? Но вы еще не высказали о нем своего мнения, господин де Мейере,— обратилась она к молодому денди, которого, по-видимому, держала в подчинении.

— Боже мой, сударыня! — ответил тот с холодной язвительностью.— Вы так ясно высказали свое, что мне остается лишь склонить голову и произнести: «Аминь».

Виконтесса Леони де Шайи никогда не была хороша собой, но непременно хотела казаться красивой и с помощью разных ухищрений стяжала славу хорошенькой женщины. По крайней мере, она пользовалась соответствующими привилегиями, держала себя подобающим образом и обладала всей необходимой для этого самоуверенностью. У нее были красивые зеленые глаза с изменчивым выражением; они могли если не очаровать, то смутить и встревожить. Худоба ее была ужасна и естественность зубов сомнительна, но волосы великолепны и всегда причесаны с изумительной тщательностью и вкусом. Руки у нее были длинные и худощавые, но белые, как алебастр, и отягчены перстнями, вывезенными из всех стран мира. Она была наделена некоторой грацией, покорявшей многих. Одним словом, красоту ее можно было назвать искусственной красотой.

Виконтесса де Шайи никогда не отличалась остроумием, но непременно хотела обладать им и умела внушить людям, что ей присуще это качество. Самые избитые фразы она произносила с законченной изысканностью, самые нелепые парадоксы изрекала с ошеломляющим спокойствием. К тому же она владела надежным приемом вызывать восхищение и преклонение: она беззастенчиво льстила всем, кого хотела завоевать, и относилась с безжалостной иронией ко всем, кого приносила в жертву своим любимцам. Холодная и насмешливая, она разыгрывала восторженность и дружеское расположение с искусством, способным пленить неглупых,

но несколько тщеславных людей. Она кичилась своими знаниями, эрудицией, эксцентричностью. Она начиталась всего понемногу, даже политических и философских книг; и было действительно любопытно послушать, как она повторяла перед невеждами мысли, вычитанные утром в книжке или услышанные накануне от какого-нибудь серьезного человека, выдавая их за свои. Одним словом, ум ее можно было назвать искусственным умом.

Виконтесса де Шайи происходила из семьи финансистов, купившей себе титулы во времена Регентства; но она хотела прослыть родовитой и помещала гербы и короны повсюду, вплоть до ручки веера. Она была невыносимо заносчива с молодыми женщинами и не прощала своим друзьям браков по расчету. Впрочем, она довольно любезно принимала у себя молодых литераторов и художников. Она охотно изображала перед ними патрицианку и притворялась, будто судит о людях исключительно по их личным заслугам. Одним словом, ее дворянство было так же поддельно, как и все остальное, как ее зубы, как ее бюст, как ее сердце.

Таких женщин в великосветском обществе больше, чем думают, и тот, кто видел одну из них, видел всех. Для Ораса же, при его полной наивности, эта встреча имела всю прелесть новизны; он совершенно серьезно относился к каждому слову виконтессы, и она сразу вскружила ему голову.

— Друг мой, это очаровательная женщина! — говорил он, возвращаясь со мной вечером по длинным пустынным улицам Сен-Жерменского предместья.— Какой ум, какое изящество! И еще что-то не поддающееся определению, но волнующее, как тонкий аромат духов. Что за бесценное сокровище женщина, которая путем длительных усилий постигла в совершенстве искусство обольщать! Ты называешь это кокетством? Что ж! Пусть! Во всяком случае, это очень красиво, очень привлекательно. Это целая наука, и наука на благо людям. Право, не понимаю, почему так дурно отзываются о кокетках: женщина, у которой есть другие желания, кроме желания нравиться, в моих глазах — не женщина. Несомненно, это первая настоящая женщина из всех, кого я встречал.

— Однако же есть мужчины, которым виконтесса не нравится, и что касается меня...

— Значит, она не желает нравиться этим мужчинам; она считает, что они недостойны ни малейшего ее внимания. Она умеет распознавать людей.

— Благодарю за комплимент,— заметил я.

Он даже не услышал. Мысли его были заняты виконтессой. Он не постеснялся заговорить о ней на следующий день при Марте и так ополчился на скромных и неприступных женщин, что та оскорбилась и ушла работать в другую комнату.

— Все идет чудесно! — шепнула мне Эжени.— Опыт удался лучше, чем я ожидала. Орас сразу загорелся. Надеюсь, теперь Марта исцелена.

Явился Арсен. Он нашел Марту более нежной и веселой, чем всегда, хотя в действительности она жестоко страдала. Поль объявил нам, что оставаться в кафе Пуассона ему больше незачем и поэтому он решил переменить работу.

— Вот как! — сказал Орас.— Вы снова займетесь живописью?

— Возможно, со временем я это сделаю,— ответил Мазаччо,— но только не сейчас. Мои сестры еще не обеспечены на весь год работой. Не можете ли вы подыскать мне какую-нибудь службу, счетную работу, например? В дирекции театра, в конторе омнибусов или еще где-нибудь? Ведь у вас так много знакомых!

— Любезный,— сказал Орас,— вы недостаточно хорошо и быстро пишете. И потом, умеете ли вы вести книги?

— Я научусь,— ответил Арсен.

— Ничего не боится! — сказал Орас.— Если вас интересует мой совет, то я могу лишь предложить вам заниматься тем, что вы уже испробовали. Справляетесь вы с вашими обязанностями прекрасно; просто вы немного устали. Поступите на службу в приличный дом, вместо того чтобы служить в кафе; зарабатывать будете много, а делать вам будет нечего. Если Теофиль захочет, он может устроить вас к какому-нибудь вельможе или просто к какой-нибудь милой даме из Сен-Жерменского предместья. Разве графиня, например, откажется взять его к себе слугой, если ты дашь ему рекомендацию? Отвечай же, Теофиль!

— Хватит с меня быть в услужении,— возразил Арсен, отлично понимавший желание Ораса унизить его в глазах Марты.— К этому я всегда могу вернуться, если не найду ничего лучшего. Но раз это занятие все презирают...

— Кто смеет презирать тебя? — гневно воскликнула Луизон, уловив, в чью сторону невольно взглянул Поль.— Уж не вы ли, Мартон, презираете моего брата?

— Занимайся своим делом! — резко сказал Арсен, чтобы заставить Луизу, с угрозой смотревшую на Марту, опустить глаза.

— Но в конце концов,— продолжала она,— мне даже странно, как это можно тебя презирать: не знаю, по какому праву, и не вижу, чем это мадемуазель Мартон...

Марта грустно посмотрела на Арсена и взяла его за руку, словно желая успокоить. Еще немного, и он прикрикнул бы на сестру.

— Она с ума сошла,— сказал он, пожимая плечами, и сел рядом с Мартой, отвернувшись от Луизы, глаза которой наполнились слезами.

— И все-таки это подло! — закричала Луиза, как только Поль ушел.— Послушайте, господин Теофиль, я не могу оставаться хладнокровной. Мадемуазель Марта и господин Орас отлично, смею вас уверить, понимают друг друга, они только и думают, как бы *ославить* моего брата.

— Вы с ума сошли,— вмешалась Эжени,— ваш брат сам так сказал, а уж он хорошо вас знает. Марта всегда отзывается о Поле с похвалой, и все, что она говорит о нем, служит лишь к его чести.

— Я не сошла с ума,— закричала Луизон, рыдая,— и хочу, чтобы все вы тут сами рассудили, права я или нет. Я не стала бы говорить при нем, потому что боялась вызвать ссору; но раз он ушел, а виновные здесь (она указала сперва на Марту, смотревшую на нее с печальным состраданием, а затем на Ораса, который сидел, небрежно развалившись, положив ноги на спинку стула, и даже не соблаговолил прервать ее), я расскажу о том, что слышала не далее чем позавчера, когда эти *господа почтенные* беседовали наедине, как это, слава богу, случается довольно часто: она ведь сидит в одной комнате, а мы в другой,— нечего сказать, удобно это, когда работаешь вместе! Они там ходят взад и вперед, прогуливаются, видите ли; влюбленным, как говорится, время девать некуда.

— Прелестно! Прелестно! — сказал Орас, приподнимаясь на локте и глядя на нее с холодным презрением.— Ну что ж, продолжайте, дочь Иродиады! А там посмотрим, подадут ли вам к ужину мою голову на блюде. Так что я сказал? Ну! Говорите уж, раз вы подслушиваете под дверью.

— Да, я подслушиваю под дверью, когда слышу, что произносят имя моего брата! И, если хотите, вы сказали так: «Очень жаль, что он стал лакеем, теперь он погиб». А мадемуазель Мартон, вместо того чтобы как следует отчитать вас за такие слова, спросила с притворным удивлением: «Что это значит? Что это значит — погиб?» — «Да,— сказали вы,— теперь, если он даже и переменит занятие, в нем навсегда останется что-то лакейское — эта постыдная печать не стирается. Одним словом, он как бы заклеймен, подобно каторжнику!»

— Послушай вы еще немного,— с ангельской кротостью сказала Марта,— вы услышали бы мой ответ: я возразила, что, если бы даже и было так, Арсен облагородил бы самое низкое звание.

— А если вы даже так сказали, то разве это хорошо? Значит, по-вашему, у моего брата самое низкое звание? Хотела бы я знать, из какого теста сделаны были ваши предки? И разве не приучали всех нас одинаково к труду, чтобы зарабатывать на жизнь!

Я прервал эту ссору, которая грозила затянуться на всю ночь, ибо труднее всего убедить тех, кто не понимает значения слов и

воспринимает их смысл в искаженном виде. Я предложил сестрам идти спать, заявив, что они, как всегда, не правы, и впервые пригрозил пожаловаться на них Полю и рассказать ему о всех неприятностях, какие они чинят Марте.

— Вот! Вот! Пожалуйста! — рыдая и пронзительно взвизгивая, ответила Луизон.— Это будет очень красиво с вашей стороны! И совсем нетрудно поссорить его с нами: она так прибрала его к рукам, эта Мартон, что стоит нам перестать работать для того, чтобы содержать ее, как он выставит нас за дверь по первому же ее слову. Эх, сударь, сударыня и вы, Мартон! Нехорошо сеять раздоры между братом и сестрами; вы в этом раскаетесь в день Страшного суда! Пусть рассудит нас бог!

Она удалилась с трагическим видом, увлекая за собой Сюзанну, осыпая нас бранью и с шумом хлопая дверьми.

— Ну и ведьмы ваши соседки,— сказал Орас, спокойно закуривая сигару.— Поль Арсен оказал вам, бедные мои друзья, медвежью услугу. В нашем доме теперь сущий ад.

— Что касается нас, то мы на такие выходки и внимания не обратили бы,— ответила Эжени,— это легкие тучки на нашем небосклоне. Но тебе, Марта, должно быть очень тяжело; впрочем, если бы ты послушалась меня, нашлось бы средство избавиться от их нападок.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, милая Эжени,— со вздохом ответила Марта,— но, уверяю тебя, это невозможно. К тому же сестры Арсена еще сильнее возненавидят меня, если...

— Если что? — спросил Орас, заметив, что она не кончает фразы.

— Если она выйдет за него замуж,— сказала Эжени.— Она так думает, но она ошибается.

— Если вы выйдете за него замуж? — воскликнул Орас, сразу забыв о виконтессе и вновь загораясь чувствами, какие Марта некогда сумела внушить ему.— Вам выходить замуж за Арсена? Кому могла взбрести в голову подобная мысль?

— Это вполне разумная мысль,— возразила Эжени, которой хотелось в корне пресечь их зарождающееся взаимное влечение.— Они из одной местности родом, одного общественного положения и почти одного возраста. Они любили друг друга с детства, любят и сейчас. Только излишняя деликатность мешает Марте согласиться. Но я-то знаю, в чем дело, и так прямо и скажу ему,— потому что пришло время сказать. Это единственное желание, единственная мечта Арсена.

Эффект, произведенный заявлением Эжени, превзошел все ее ожидания. Став для Ораса невестой Поля Арсена, Марта так низко пала в его глазах, что он устыдился своей любви к ней. Оскорб-

ленный, обиженный, считая себя одураченным, он взял шляпу и, надевая ее, произнес в дверях:

— Если вы собираетесь обсуждать ваши дела — я здесь лишний и лучше пойду посмотрю Одри, сегодня она играет в «Медведе и папе».

Марта была потрясена. Эжени продолжала еще что-то говорить ей об Арсене... Она не отвечала, попыталась встать — и без чувств упала посреди комнаты.

— Дорогая моя,— сказал я Эжени, помогая ей поднять приятельницу,— видно, от судьбы не уйти! Ты думала, что можешь спасти Марту. Увы, слишком поздно: она любит Ораса!

ГЛАВА XIII

Этот нервный припадок завершился длительными рыданиями. Когда Марта немного успокоилась, она пожелала возобновить прерванный разговор и проявила такую твердость духа, какой мы ни разу не замечали у нее за два месяца совместной жизни. Она сказала, что намерена оставить нас и поселиться одна в какой-нибудь мансарде, где наши дружеские отношения не были бы омрачены нетерпимым и нестерпимым правом Луизон.

— Вы по-прежнему можете давать мне работу,— сказала она,— я каждый день стану приносить выполненный заказ. Таким образом, мое присутствие не будет нарушать ваш покой; я же чувствую, что переоценила свои силы, надеясь вынести эти грубые ссоры и низкие обвинения. Я вижу — мне не пережить этого.

Нам и самим было ясно, что ей уже не под силу терпеть дольше подобные унижения, но мы не хотели обрекать ее на тоску и опасности, связанные с одиночеством. Мы решили попросить Арсена поселить своих сестер где-нибудь в другом месте. Работать все, как и раньше, могли бы вместе, а Марта, которую мы полюбили, как сестру, осталась бы нашей соседкой и столовалась бы вместе с нами.

Но такое решение не удовлетворило ее. Ею руководила при этом тайная мысль, которую мы отлично понимали: теперь ей тяжело было встречаться с Орасом, и она решила бежать от него во что бы то ни стало. Несомненно, то был наиболее верный способ оборвать опасную привязанность; но как объяснить Арсену эту основную причину, которая разрушила бы все его надежды? При сложившихся обстоятельствах Эжени рассчитывала еще все исправить, если удастся выиграть время. Марта исцелилась бы, Орас сам помог бы ей в этом, проявляя свое пренебрежение и все более

увлекаясь виконтессой де Шайи,— в конце концов Марта склонилась бы на сторону Арсена. Таковы были мечты, какими обольщала себя Эжени. Необходимо было только поскорее удалить Луизон и Сюзанну; их общество начинало уже тяготить нас, ибо какой-нибудь злой или глупой их выходки могло оказаться достаточно, чтобы разрушить все то, чего мы достигли ценою большого терпения и всяческих предосторожностей.

Но Луизон сама положила конец нашей растерянности, неожиданно и резко изменив свое поведение.

На другой день, едва рассвело, она подсела на кровать к сестре и принялась о чем-то шептаться с нею, но так тихо, что Марта, которая сквозь сон услышала шепот сестер и подумала, уж не замышляют ли они против нее какую-нибудь новую гнусность, ничего не могла разобрать из их беседы. Однако Луизон внезапно подошла к ее кровати, опустилась на колени и произнесла, умоляюще сложив руки:

— Марта, мы оскорбили вас, простите. Во всем виновата я одна. У меня вздорный характер, Мартон, но в глубине души я жалею о том, что произошло, и хочу исправиться. Подойди сюда, Сюзон, подойди, сестра моя, и помоги мне загладить мою вину перед Мартой.

Сюзанна подошла, но с явной неохотой, которую Марта приписала неприязни к себе. Марта была добра и великодушна; смирение Луизы так ее тронуло, что она бросилась к ней на шею и простила от всего сердца; она не решалась огорчить Луизу осуществлением задуманного накануне плана и теперь не знала, какой предлог придумать для разлуки, хотя и чувствовала, что ей необходимо уехать из-за Ораса.

Раскаяние Луизы взволновало нас, и весь день мы провели во взаимных дружеских излияниях, как будто несколько утешивших Марту в ее печали.

Вечером Эжени, желая избежать встречи с Орасом, собиравшимся прийти к нам, предложила пойти погулять. Марта поспешно согласилась, и все мы были уже на лестнице, как вдруг Луиза заявила, что плохо себя чувствует и предпочла бы остаться дома.

— Я лягу пораньше,— сказала она,— и завтра все пройдет; я знаю, это всегдашняя моя мигрень.

Она осталась, но, вместо того чтобы лечь спать, вышла на балкон. Это было сделано не без умысла. Орас, направлявшийся к нам и узнавший от привратника, что все мы ушли, случайно посмотрел вверх и увидел на балконе женщину. Он был немного близорук и вообразил, что это Марта. Ему пришло в голову отомстить ей, ответив какой-нибудь жестокой насмешкой на то, что он называл ее «уловками», ибо он верил, что, сговорившись с Арсеном,

Марта позволяла ему, Орасу, ухаживать за собой и чуть ли не благосклонно выслушивала его, чтобы затем одурачить или же вести две интриги одновременно.

Он стремительно взбежал по лестнице и, запыхавшись, позвонил; сердце его было полно жгучего злорадства; но когда вместо Марты ему открыла «дочь Иродиады», он отступил на три шага и, не стесняясь, выругался.

Луизон не оробела из-за такого пустяка и, немедленно приступив к делу, обратилась к Орасу с самыми кроткими и вежливыми извинениями за свое вчерашнее поведение.

Орас, восхищенный таким превращением, обещал обо всем забыть, и, полагая, что небольшая дерзость придаст ему в собственных глазах облик донжуана, необходимый для его роли перед Мартой, он запечатлел братский поцелуй на круглой, румяной щеке девушки. Несмотря на обычную свою неприступность, она не очень рассердилась и сказала ему:

— Если я так обозлилась вчера вечером, господин Орас, то только потому, что ошибалась. Видя, как мой брат влюблен в мадемуазель Марту, я вообразила, будто она и ему позволяет за собой ухаживать, и к вам неравнодушна, и что вы сговорились с ней обманывать моего бедного Арсена.

— Благодарю за предположение,— ответил Орас,— разрешите засвидетельствовать свою признательность поцелуем в другую щечку, а то она завидует соседке.

— Хорошо, но только уж последний раз,— сказала Луизон и, зардевшись, позволила поцеловать себя еще раз,— теперь мы, значит, помирились. Так вот, я думала, что со стороны Марты очень некрасиво иметь сразу двух воздыхателей; даю вам слово честной девушки, я не знала, что брат ни словечком не заикнулся ей о своей любви.

— Вот как! — равнодушно сказал Орас.— Это странно!

Однако он стал прислушиваться с бо́льшим интересом.

— Ну да! Ей-богу, да вы и сами не хуже меня это знаете,— продолжала Луизон.— Сдается мне (и даже наверняка), Мартон и думать не хочет ни о каком замужестве. И потом, видите ли, сударь (вам-то я могу сказать), Мартон горда, слишком горда для девушки, у которой гроша нет за душою, она корчит из себя принцессу, читает книжки, мечтает о нежной любви какого-нибудь хорошо одетого и хорошо воспитанного молодого человека. Мой брат для нее слишком прост! Кроме того, ей вскружил голову другой, а кто — вы сами знаете...

— Черт бы меня побрал, если знаю,— сказал Орас, удивленный лукавым огоньком, загоревшимся в глазах Луизон.

— Полно вам! — сказала она, совсем по-деревенски подталки-

вая его локтем.— Не такой уж вы простачок, чтобы не знать, что она без ума от вас.

— Вы сами не знаете, что говорите, Луизон.

— Как раз! А с чего бы это ей так наряжаться последнее время? И о ком, по-вашему, она думает, когда по целым ночам вздыхает и охает, вместо того чтобы спать? И почему, скажите, приключился с ней обморок вчера вечером, когда вы рассердились и ушли?

— Она упала в обморок? Как! Что вы говорите, Луизон?

— Замертво, на пол! И ну плакать, рыдать! И вот она хочет уехать отсюда, чтобы не встречаться с вами, потому что решила, будто теперь вы и смотреть на нее не станете.

— Но кто же вам это сказал, Луизон?

— Ах, господи, сударь, у меня есть глаза и уши! Сами раскройте глаза пошире, так тоже увидите.

— Однако ваш брат и Марта любили друг друга с детства? Они должны были пожениться?

— Ничего подобного, это все выдумки Эжени! Она просто решила поженить их и бог весть чего только не придумывает ради этого. Но та ничего и слышать не хочет. Стоит вам сказать ей словечко, и она сама начистоту поговорит с моим братом.

— Но почему же она не сделала этого раньше? Значит, она обманывает его?

— Что вы, сударь! Просто у нее доброе сердце и она боится огорчить Поля. К тому же, как я сказала, брат никогда ни о чем ее не просил. Все натворила эта сумасшедшая Эжени. Хороша услуга — заставлять Поля жениться на женщине, у которой другой на уме! Никогда этого не будет!

Когда мы вернулись (прогулка наша длилась недолго, так как дело было перед экзаменами и я мог уделять развлечениям не более часа в день), Орас показался нам совсем другим, чем накануне. Он вышел к нам навстречу и особенно горячо пожал Марте руку. Желание, если не любовь, завладело его помыслами. До сих пор неуверенность в успехе уязвляла его самолюбие и охлаждала его пыл. Теперь, уверенный в победе, он блаженствовал, заранее наслаждаясь ею. На лице его появилось какое-то вдохновенное и мечтательное выражение, удивительно его красившее. Он был бледен; его томные, задумчивые взгляды пронзали бедную Марту, как отравленные стрелы. Она не ожидала увидеть его в этот вечер, она надеялась отдалить опасность хоть на один день; она почувствовала, что теряет сознание, когда он удержал в своих руках ее руку и не выпускал ее, пока Эжени не принесла лампы.

Орас сел напротив Марты, он не сводил с нее глаз, и, пока я писал в соседней комнате за полуоткрытой дверью, а женщины

работали, сидя вокруг стола, он вел с ними беседу с таким изяществом и вкусом, словно находился в салоне виконтессы де Шайи. Мне было некогда прислушиваться к тому, что он говорил; я слышал только звучные раскаты его красивого голоса. Вечером Эжени рассказала мне, что никогда он не был так любезен, так изыскан в выражениях, так близок к естественности и простоте, как в течение этих двух часов.

Марта не смела ни говорить, ни дышать; Эжени тоже не поддерживала разговора, не желая содействовать успеху своего противника. Одна только смягчившаяся Луизон взяла на себя роль собеседницы. Она все время задавала вопросы; и как бы глупы и бессмысленны они ни были, Орас отвечал ей с чарующей снисходительностью, находчиво выбирая самые живые, порой самые поэтические примеры и сравнения, как в разговоре с любимым ребенком, которому хочешь объяснить понятно, не изменяя при этом истине.

Хотя Эжени пустила в ход всю свою изобретательность, чтобы прервать его, запутать, даже заставить уйти, это ей не удавалось. Марта подпала под власть его обаяния, и ничто уже не могло спасти ее. Склонившись над работой со стесненным дыханием и затуманенным взором, она изредка отваживалась на робкий взгляд и всякий раз, встречая взгляд Ораса, быстро опускала глаза в смущении, исполненном ужаса и блаженства.

Как я уже говорил, любви Марты впервые домогался умный человек. Сама она, одинокая и никому не нужная, находившаяся всегда в состоянии скрытой экзальтации, давно отказалась от надежды на духовную близость с любимым человеком, возможность которой до сих пор никто не сумел ей раскрыть. Бедный Арсен никогда не осмеливался, никогда не мог заговорить о чем-либо ином, кроме дружбы. В его внешности не было ничего привлекательного, в речах — никакой поэзии, вернее — никакой изысканности. В других случаях, когда Марта внушала кому-нибудь чувство любви, это были либо дерзкие сумасбродства, которые она пресекала, либо проявления грубой страсти, которые пугали ее. С того дня, когда Орас впервые заговорил с ней о любви, она сохранила в своем сердце, в своих мечтах чувство, похожее на воспоминание о какой-то опьяняющей музыке. Она думала об Орасе днем, грезила ночью. Целомудренная и сдержанная, она не мечтала о большем счастье, чем снова услышать те же слова, тот же голос. Одна мысль, что она лишена этого навсегда, вызывала у нее такую острую боль, как если бы счастье ее длилось годами. В этот вечер она отдала бы жизнь за то, чтобы хоть на миг остаться с ним наедине и вновь пережить минуты первого опьянения. Орас прекрасно понял причину ее молчания.

— Марта погибла,— сказала мне Эжéни, когда все разошлись.— Теперь она уже не станет слушать Арсена; его любовь слишком проста, а в ушах у нее звучат красивые слова другого. Завтра вы должны повести Ораса к виконтессе.

— Ты же отлично видишь: одного дня оказалось достаточно, чтобы он забыл ее,— ответил я,— потому что сегодня он, несомненно, без ума от Марты. Но зачем же всегда думать о нем плохо? В тот день, когда он полюбит, он переменится.

— Говори тише,— заметила Эжени.— Мне кажется, что за стеной нас слышат.

— Там стоит кровать Луизон, а она так храпит...

— По-моему,— возразила она,— эта девчонка гораздо хитрее, чем кажется; если она чего-нибудь и не понимает, так догадывается.

Несмотря на неустанную бдительность Эжени, Орасу и Марте удавалось обмениваться взглядами, словами и даже записками. Я предложил Орасу пойти к графине — он отказался. Тогда я посоветовал Эжени не пытаться мешать этой страсти, по-видимому подлинной,— препятствия могли только сильнее разжечь ее. Луизон была отныне сама доброта и кротость. Она относилась к Марте с трогательной заботливостью, которую Марта принимала тем охотнее, что Луизон покровительствовала ее любви и помогала ей в тысяче уловок, не способных, однако, обмануть проницательность Эжени.

Однажды, когда Эжени была больна, она выбранила Луизон за то, что та отправила с поручениями Марту, вместо того чтобы пойти самой.

— А почему она не может пойти, ведь мы все ходим? — спросила Луизон, притворяясь очень удивленной.

— Марта так красива, что все будут засматриваться на нее, и потом — к ней могут пристать на улице.

— Подумаешь! — сказала Луизон с плохо скрытым раздражением.— Как будто, кроме нее, и красивых нет на свете! На меня вот тоже заглядываются, да ко мне не пристанут: сразу увидят, что не на такую напали... Да и к Марте тоже не пристанут,— добавила она, спохватившись,— поймут, что ничего не выйдет.

Накануне Луизон сказала Марте так, чтобы это услышал только Орас:

— Завтра в полдень вы пойдете на улицу дю Бак, в магазин около церкви святого Фомы, за остатком жаконета, который нам поручили подобрать.

В ее старании предоставить Орасу возможность встретиться с Мартой вне дома была столь явная нарочитость, что Марта испу-

галась. Но, поразмыслив, она усмотрела в этом простое легкомыслие подруги; и хотя по учащенному биению своего сердца она почувствовала, что Орас будет ждать ее в условленном месте, ей хотелось убедить себя, будто он не обратил внимания на слова Луизы. На другой день, приближаясь к магазину, она действительно увидела Ораса, который прогуливался по тротуару, поджидая ее. Она прошла мимо него, он не остановил ее, даже не поклонился, но бросил на нее такой страстный взгляд, что это забвение принятых форм приличия явилось лишь красноречивым доказательством владевшей им любви. Она улыбнулась ему робкой, счастливой, растроганной улыбкой; оба замедлили шаг; обмен взглядами и улыбками длился всего мгновение. Но это мгновение показалось им обоим целым веком счастья.

Они ничего не сказали друг другу, но, делая наспех покупки, Марта была уверена, что найдет его на том же месте, у витрины магазина. Действительно, он был там; он ждал ее, чтобы проводить домой и поговорить с ней без свидетелей. Но в ту минуту, когда он подошел к Марте и уже готов был нежно взять ее под руку, у ворот напротив магазина остановился открытый экипаж. Ливрейный лакей, стоявший на запятках, спрыгнул наземь и направился в дом с каким-то поручением, а дама, пославшая его, наклонилась и, прищурившись, стала вглядываться в Ораса, словно пытаясь вспомнить, где она его видела. Орас поклонился; это была виконтесса де Шайи. Она едва кивнула в ответ с выражением сомнения и неуверенности, затем поднесла к глазам лорнет, как бы желая удостовериться, что знает его. Орас не собирался дожидаться исхода этого довольно дерзкого осмотра и пошел вслед за Мартой. Но проклятый лорнет не оставлял его в покое. По мере того как Орас удалялся, виконтесса все больше высовывалась из коляски, стоявшей так, что ей легко было следить за ним до самого поворота улицы. Орас прекрасно все видел, и для него это было мучением. Марта была одета очень просто, однако с изяществом, придававшим ей вид дамы из общества. Но увы! В руках у нее был сверток, завязанный в шелковый платок, а этого было достаточно, чтобы безошибочно признать в ней гризетку. Сие ничтожное обстоятельство и нескромное любопытство виконтессы пробудили тщеславие Ораса, и он уже не мог подчиниться велению сердца. Он заколебался, раз десять менял решение, вернулся назад, чтобы обмануть виконтессу, и, когда коляска уехала, бросился бежать за Мартой. Она, думая, что Орас идет следом, сочла благоразумным свернуть на Университетскую улицу, дабы избежать многочисленных прохожих на улице дю Бак. Она рассчитывала, что он ее догонит. Но, оглянувшись, она никого не увиде-

ла; Орас же, побежав со всех ног по улице дю Бак к Сене, тоже нигде ее не нашел.

Так упустил он случай сказать ей о своей любви. Но Луизон сумела предоставить ему другой.

Эжени, сама едва оправившись после болезни, должна была переехать на несколько дней в Сен-Жермен, чтобы ухаживать за одной из своих сестер, которая неожиданно также тяжело заболела. Мансарда осталась на попечении Марты. Орас проводил там целые дни. Луиза и Сюзанна старались не тревожить влюбленных. Вверившись судьбе, Марта слушала любовные излияния Ораса, действовавшие на нее властно и чарующе. Я учинил Орасу допрос, он поклялся, что любит ее серьезно и готов на любые жертвы, чтобы доказать это. Я уговаривал Марту употребить все свое влияние, чтобы заставить его работать, ибо видел, как день ото дня возрастают его денежные затруднения, и если бы я ежедневно не снабжал его деньгами, право, не знаю, на какие средства он обедал бы. Эта помощь, которую я оказывал от чистого сердца, ставила меня в трудное и нелепое положение: я не мог попрекать его леностью. Когда я отваживался сказать по этому поводу хоть слово, он безнадежным тоном отвечал:

— Это верно, я сижу у тебя на шее; ты должен презирать меня.

Если же я отвергал подобный довод, одинаково оскорбительный для нас обоих, и ссылался на его собственные интересы, на его будущность, он снова зажимал мне рот, говоря:

— Во имя настоящего, умоляю тебя, не говори мне о будущем. Я люблю, я счастлив, я опьянен, я чувствую, что живу. Так почему же ты хочешь, чтобы я думал о чем-нибудь другом, кроме этого счастливого мгновения, когда жизнь во мне бьет через край?

Разве не был он прав? «До сих пор,— думал я,— в его честолюбии было что-то чересчур личное, он видел будущее лишь в эгоистическом свете. Теперь, когда он любит, душа его откроется более истинным и благородным помыслам. В нем проснется самоотверженность, а с нею — необходимость и желание работать».

ГЛАВА XIV

Когда Эжени вернулась домой и увидела, что все ее усилия отныне бесполезны, она подумала, не пора ли сообщить Арсену истину или, по крайней мере, подготовить его к ней. Она посоветовалась со мной; и, после того как мы со всех сторон рассмотрели вопрос, приняла следующее решение: не доверяя больше стенам мансарды, у которых, по ее словам, оказались уши, она задумала

захватить Ораса врасплох у него дома; ее хорошая репутация и всеобщее уважение давали ей право отважиться на такой шаг.

— Послушайте,— сказала она ему,— вы сумели внушить к себе любовь, но совершенно не знаете, какие обязательства взяли на себя по отношению к Марте. Из-за вас она лишается покровительства Арсена, покровительства мужественного и заботливого, в котором он никогда ей не отказывал и которое всегда бывало благотворным. Она не подозревает, чем она обязана ему, чем была бы обязана еще, если бы сама не поставила себя в такие условия, которые вынуждают ее отказаться от его поддержки. Но вам я должна сказать об этом, потому что вы обязаны знать, как обстоит дело. Арсен никогда не оставил бы страстно любимой им живописи, если бы втайне не мечтал помочь Марте и оградить ее от нужды. Ему никогда не пришло бы в голову выписывать сестер из провинции, если бы единственной целью его не было дать ей подруг и обеспечить ей покровительство, за которым легко было бы скрыть свою собственную заботливость. Наконец, как раз сейчас ему предложили скромную должность в конторе какого-то промышленного предприятия. Ничто так не противоречит его склонностям, его деятельной натуре и благородным порывам его ума; я знаю это и боюсь — он не выдержит. Но я знаю также, что он хочет побольше зарабатывать, да и зарабатывает уже достаточно, чтобы незаметно поддерживать Марту, хотя делает вид, будто заботится только о сестрах. Я знаю, что иглой никогда не выручить столько, чтобы три женщины (себя я не считаю) могли жить в таком достатке, такой чистоте и независимости, как Марта и сестры Арсена. Все, что я знаю, все, что я вам рассказываю, Марте пока неизвестно. Она никогда самостоятельно не вела хозяйства; в этом отношении она неопытна, как младенец. Арсен обманывает ее, и мы помогаем ему, стараясь, чтобы она не знала ни лишений, ни непосильного труда. Заодно приходится обманывать и сестер, так как рассчитывать на их скромность мы не можем. До сих пор всю отчетность вела я. Мне удалось уверить сестер и Марту, что получаемая нами прибыль превышает расходы, тогда как на самом деле происходит обратное. Но так не может продолжаться вечно. Арсен втайне всегда надеялся, что, оправившись от пережитых ужасов и старых ран, Марта его полюбит и душа ее раскроется для более сладостных переживаний. Признаюсь, я разделяла его иллюзии и делала все от меня зависящее, чтобы охранить Марту от другой привязанности. Мне это не удалось. Теперь скажите сами, как отнеслись бы вы на моем месте к тайне Арсена и что посоветуете вы и ему и ей?

Это открытие сильно смутило Ораса.

— У меня нет никакого состояния,— сказал он,— как могу я быть чьим-либо покровителем, если до сих пор не могу обеспечить

самого себя и не умею руководить собой? — Он в волнении зашагал по комнате, и мало-помалу им овладело мрачное настроение.— Я не предусмотрел всего этого! — воскликнул он горестно и не без досады.— Ничего подобного мне никогда и в голову не приходило. Неужели если два человека любят друг друга, так один обязательно должен быть покровителем, а другой подопечным? Кстати, ведь вы, Эжени, всегда ратовали за равноправие женщин...

— Да, сударь,— ответила она,— я ратую за принцип равноправия и провожу его в жизнь, хотя нелегко отстаивать его в нынешнем обществе. Я умею ограничивать свои потребности тем немногим, что дает мне мое ремесло портнихи. Вы знаете, как я живу с Теофилем, и, следовательно, знаете, что я не теряю ни одного дня, ни одного часа. Но знаете ли, в каком отношении я рассматриваю его как своего законного и естественного покровителя? Если, например, я заболею и надолго лишусь работы, мне не придется ложиться в больницу, потому что у него в сердце я найду убежище от одиночества и нищеты. Если какой-нибудь негодяй осмелится оскорбить меня, найдется кому заступиться и отомстить за меня. Наконец, если я стану матерью,— добавила она, из чувства стыдливости опуская глаза, но тут же снова решительно поднимая их на Ораса, как бы желая внушить ему мысль о возможных последствиях его любви к Марте,— моим детям будут обеспечены кусок хлеба и образование. Вот почему, сударь, таким женщинам, как мы, важно встретить в своих возлюбленных длительную привязанность и преданность, равную нашей.

— Эжени, Эжени,— сказал Орас, бессильно опускаясь на стул,— вы просто повергаете меня в отчаяние! Я не настолько еще вошел в роль возлюбленного Марты, чтобы задумываться над серьезными последствиями любовного упоения, овладевшего всеми моими помыслами. Что ж, дорогая Эжени, я готов исповедаться перед вами и обвинить самого себя; я не могу и не хочу обманывать вас. Я тянусь к Марте всем своим существом, я люблю ее всем сердцем; но могу ли я обещать, что буду для нее тем, чем Теофиль является для вас? Могу ли взять на себя обязательство уберечь ее от всех опасностей, от всех бед, грозящих ей в будущем? Теофиль — богач по сравнению со мною: у него небольшое, но прочное состояние, он может работать для будущего. У меня же нет ничего, кроме долгов, и, следовательно, я вынужден буду работать для будущего, для настоящего и для прошлого одновременно.

— У Арсена тоже ничего нет,— возразила Эжени,— а между тем он поддерживает еще двух сестер.

— Ах,— воскликнул Орас, приходя в неистовство от этого обидного для него сравнения,— уж не прикажете ли вы мне тоже

стать лакеем! Нет, не родилась еще та женщина, ради которой я согласился бы унизиться до занятия, недостойного меня. Если Марта воображает...

— О сударь, не кощунствуйте,— сказала Эжени.— Марта ничего не воображает, ибо все это я тщательно от нее скрываю; и, узнай она, что из-за нее обсуждаются подобные вопросы, она, я уверена, в тот же день сбежала бы от всех нас, из опасения быть кому-нибудь в тягость. Для меня совершенно очевидно, что вы ее не любите, так как совсем не понимаете ее и нисколько не уважаете. Бедная Марта! Я знала, что она заблуждается!

Эжени встала, чтобы уйти. Орас удержал ее.

— И теперь,— сказал он,— вы собираетесь действовать против меня?

— Так же, как поступала до сих пор; не скрою.

— Вы постараетесь изобразить меня гнусной личностью, чудовищем эгоизма потому лишь, что по своей бедности я не могу содержать женщину и слишком уважаю себя, чтобы стать лакеем? О! Если заслуги человека оценивать по количеству заработанных им денег, то, несомненно, Поль Арсен — герой, а я — ничтожество!

— Во всем, что вы говорите,— возразила Эжени,— проскальзывают мысли, оскорбительные для Марты и для меня, и я отказываюсь продолжать этот разговор. Позвольте мне уйти, сударь. Правда жестока, но нужно, чтобы Марта узнала ее и в тот же день отреклась от своего друга ради вас и от вас — ради себя самой. К счастью, мы останемся с ней! Теофиль сумеет заменить Арсена, и даже более бескорыстно; я тоже буду работать для нее и с нею,— и никогда нам не придет в голову, что это называется *содержать* женщину!

— Эжени,— сказал Орас с жаром, беря ее за руки,— не осуждайте меня, не зная, что творится в моем сердце. Когда-нибудь вы раскаетесь в том, что унизили меня в глазах Марты и в моих собственных. У меня вовсе нет тех низких мыслей, какие вы мне приписываете. Быть может, беседуя с вами, я был недостаточно тактичен и рассудителен, но если вы обижаетесь из-за слов, случайно сорвавшихся у меня с языка, то согласитесь, что и я могу возмутиться из-за оскорбительной параллели, которую вы постоянно проводите между мной и этим Мазаччо. У меня нет склонности к бессознательному подражанию, я ненавижу примерных людей, разыгрывающих ходячую добродетель, но я тоже способен, как мне кажется, на самоотверженную преданность без пышных фраз и клятв. Как можете вы знать меня, если я сам себя не знаю; мне не приходилось еще подвергаться испытанию, но сколько бы я ни изучал и ни проверял себя, я не нахожу в своей душе задатков подлости или признаков неблагодарности. Почему же вы заранее

осуждаете меня? Вы очень предубеждены против меня, Эжени; каждый мой вздох, каждый шаг, каждое слово вы готовы истолковать в дурную сторону. Стоит Марте загрустить или уронить слезу, как причину этого вы приписываете мне. Одним словом, оба мы не сможем существовать без того, чтобы имя Арсена не висело у нас над головой как приговор. Одно это стесняет и омрачает все порывы моего сердца, будущее мое теряет поэзию, душа моя теряет доверчивость. Жестокая Эжени, зачем вы сказали мне все это!

— Неужели у вас так мало мужества? — возразила Эжени.— Или вы боитесь унизить себя, сказав, что пример Арсена вас не пугает и что, подобно ему, вы чувствуете себя способным на величайшее самоотречение ради женщины, которую вы любите?

— Чего вы, собственно говоря, от меня хотите? Что должен я сделать? Жениться? Но это бессмысленно. Я еще несовершеннолетний, и родители никогда не позволят мне...

— Да будет вам известно, что в некоторых отношениях я разделяю убеждения сенсимонистов,— отвечала Эжени,— и в браке вижу добровольный и свободный союз, которому ни мэр, ни свидетели, ни церковь не могут придать более священного характера, чем любовь и доверие. Марта, я знаю, придерживается тех же взглядов; и я уверена, что никогда ни она, ни я не заговорим с вами о законном браке. Но есть браки поистине святые — те, что заключаются на небесах; и если вы отступите перед этим браком...

— Нет, Эжени, нет, благородный друг мой,— воскликнул Орас,— такого брака и я не отвергаю! Меня огорчает только ваше недоверие; и если вы заразите им свою подругу, все переменится — великий боже! Наша бурная, искренняя страсть превратится в нечто упорядоченное, принужденное, лживое, и оба мы охладеем.

Пока Эжени так сурово и внимательно исследовала сердце Ораса, в тот же час, в тот же миг на сердце Арсена было совершено еще более серьезное посягательство. Он пришел навестить сестер или, вернее, воспользовался этим предлогом, чтобы повидаться с Мартой. Луизон не было дома, и Сюзанна, недовольная деспотизмом старшей сестры, в свою очередь задумала нанести решающий удар. Отведя Арсена в сторону, она сказала ему:

— Братец, я прошу вашей защиты, но для начала требую сохранить в полной тайне все, что я вам доверю.

Когда Арсен пообещал, она рассказала ему о поведении Луизы по отношению к Марте.

— Вы думаете,— сказала она,— что Луизон по доброй воле, от чистого сердца помирилась с Мартой и перестала причинять ей огорчения? Знайте же, она готовит ей еще большее горе и ненави-

дит ее сильнее, чем когда-либо. Видя, как вы любите Марту, и понимая, что уговорами не заставишь вас отказаться от нее, она решила унизить ее в ваших глазах. Она замыслила погубить ее, и мне кажется, что ей это уже удалось.

— Унизить ее! Погубить! — воскликнул Поль Арсен.— И это говорит моя сестра? И это говорится о другой моей сестре?

— Послушайте, Поль,— продолжала Сюзанна,— вот что произошло: Луизон подслушала через перегородку, о чем говорили в своей комнате Теофиль и Эжени. Так она узнала, что Эжени собиралась женить вас на Марте, а Марта полюбила господина Ораса. Тогда она сказала мне: «Мы спасены, и брат скоро узнает, что его дурачат. Нужно только представить ему доказательства, и когда он поймет, какую погибшую женщину выбрал нам в подруги, он прогонит ее и будет верить только нам».— «Но какие же доказательства ты можешь представить ему? — спросила я.— Марта вовсе не погибшая женщина».— «Если она еще не погибла, то скоро погибнет, ручаюсь тебе,— сказала Луизон,— делай только все по-моему и во всем слушайся меня, и тогда увидишь, как эта дура попадет в ловушку». Она притворилась, что просит у Марты прощения, и, чтобы угодить ей, начала во всем ей поддакивать. Потом она, уж не знаю как, уговорила господина Ораса посмелее ухаживать за Мартой, потом целый день нашептывала Мартон, что господин Орас — красивый молодой человек, очень милый молодой человек и что на ее месте она не заставляла бы его так долго томиться; потом, наконец, устраивала им свидания наедине, помогала встречаться вне дома, а когда Эжени заболела, она нарочно оставляла их на целый день одних в комнате, а меня уводила в другую. Два или три раза Марта, взволнованная и испуганная, прибегала к нам, как бы ища у нас защиты, но Луизон запирала дверь у нее перед носом и притворялась, будто не слышит, как она стучит. Бог знает, что из всего этого вышло! Во всяком случае, это просто ужасно со стороны Луизон! Ругает меня что есть мочи, если я заколю ворот немного ниже подбородка, не позволит мужчине дотронуться до кончика своего пальца, а сама толкает бедную девушку в сети дьявола и помогает молодому человеку, у которого уж никак не христианские намерения. Мне было очень стыдно за нее и горько за Марту. Я попыталась объяснить Мартон, что не с добрыми целями с ней так поступают и что господин Орас — гнусный соблазнитель, но Марте это не понравилось, она решила, что я ее ненавижу. Луизон пригрозила, что изобьет меня, если я скажу еще хоть слово, а Эжени, увидев, что я грустна, попрекнула меня дурным характером. Одним словом, скоро вам будет нанесен тяжелый удар. Будьте готовы к нему, братец, и не слишком осуждайте бедную Марту, она виновата меньше других.

Арсену удалось скрыть необычайное волнение, охватившее его при этом признании. Ему все еще не верилось. Он задавался вопросом: была ли Луизон чудовищем вероломства или Сюзанна — подлой клеветницей, но и в том и в другом случае он чувствовал себя оскорбленным и был потрясен, неожиданно обнаружив в своей семье такие низкие чувства. Он дождался возвращения Луизы и с самым простодушным видом спокойно спросил у нее об отношениях Марты и Ораса.

— Мне говорили,— сказал он,— будто они любят друг друга. Я не вижу в этом ничего плохого и не имею никакого права обижаться. Но я полагаю, что вы, как сестры, могли бы предупредить меня раньше, тем более что вы думали, будто я этим интересуюсь.

Луизон сразу заметила, что, несмотря на кажущееся спокойствие Поля, губы у него побелели и голос прерывался. Она решила, что причиной его страданий была только скрытая ревность, и, заранее торжествуя победу, сказала:

— Ах, боже мой, Поль! Видишь ли, утверждать что-либо можно, когда сам в этом уверен, и потом, ты ведь был недоволен, когда мы как-то хотели тебя предупредить! Но теперь-то я могу говорить с тобой откровенно, если, конечно, ты этого требуешь и если обещаешь, что Марта ничего не узнает.

С этими словами она вытащила из кармана письмо, которое Орас поручил ей передать Марте. Арсен не распечатал бы его даже в том случае, если бы от этого зависела его жизнь. Впрочем, согласно его убеждениям, простым и прямолинейным, письмо это само по себе было красноречивой уликой. Он положил его в карман и сказал Луизе:

— Достаточно! Благодарю тебя. Решение было принято мною, уже когда я шел сюда. Даю тебе слово, что Марта никогда не узнает, какую услугу ты мне оказала.

Он прошел ко мне в кабинет (я только что вернулся), а через несколько минут появилась и Эжени.

— Возьмите,— сказал он, подавая ей письмо Ораса,— вот письмо к Марте, я нашел его на полу в комнате у сестер. Это почерк господина Ораса, я узнал его.

— Поль, настало время сказать вам...— начала Эжени.

— Нет, мадемуазель, не стоит,— сказал Поль,— я ничего не хочу знать. Марта не любит меня; остальное меня не касается. Я никогда не был и не буду навязчивым. Я был назойлив только с вами — слишком много говорил о себе и обременил вас обществом своих сестер, которое не всегда было вам приятно. С Луизой ужиться нелегко; теперь представился случай устроить ее в другом месте, и я пришел сказать вам, что завтра же избавлю вас и

от нее и от Сюзанны. Я очень признателен вам за все, что вы для них сделали, и прошу вас и впредь не отказывать мне в своей дружбе, к которой, несомненно, я буду прибегать так часто, как только смогу, если, конечно, господин Теофиль не найдет это неуместным.

— Ваши сестры мне вовсе не в тягость,— отвечала Эжени,— Сюзанна всегда была очень кротка, да и Луизон с некоторых пор стала гораздо мягче. Я понимаю, что ваши планы на будущее изменились и теперь вы хотите расторгнуть союз, который создавался нами в более благоприятной обстановке; но все же зачем так торопиться?

— Мои сестры должны уехать как можно скорее,— возразил Арсен.— И, пожалуй, они не так хороши, как вам кажется. Кроме того, сейчас мне уже легче устроить их, чем это было сразу по приезде. Послушайте, Эжени,— сказал он, отводя ее в сторону,— я надеюсь, вы оставите Марту у себя, пока она сама не захочет уйти, и позаботитесь об удовлетворении всех ее нужд, пока кто-нибудь другой не возьмет это на себя. Вот часть тех денег, что я получил сегодня; употребите их, как обычно, и, как обычно, сохраните все в тайне.

— Нет, Поль, теперь это невозможно,— сказала Эжени.— Вы как бы унижаете бедную Марту, оказывая ей подобное покровительство после того, как вам все стало известно. Она должна узнать наконец, кому обязана удобствами, которыми по сей день пользовалась, чтобы поблагодарить вас и раз навсегда отказаться от вашей помощи.

— Эжени,— с жаром сказал Поль,— если вы это сделаете, мне уже нельзя будет посещать вас, нельзя видеть Марту. Она будет краснеть передо мной, неловко себя чувствовать, быть может, возненавидит меня. Не лишайте же меня ее доверия и дружбы, раз уж я не могу надеяться на большее. Отказывать же мне в последней услуге, которую я хочу ей оказать, вы не имеете права, как не имеете права нарушить клятву, которую мне дали.

Я поддержал его перед Эжени, и было решено, что Марта ничего не узнает. Вскоре она пришла вместе с Орасом, которого, кажется, поджидала на лестнице. Арсен поздоровался с ней и, как ни в чем не бывало, принял участие в разговоре на общие темы, в то же время внимательно наблюдая за ней и за Орасом; но ни тот, ни другая не замечали этого; влюбленные отличаются поистине изумительной рассеянностью. Через четверть часа Арсен удалился, крепко пожав руку Марте и вежливо простившись с Орасом. Я понял взгляд Эжени и пошел проводить Арсена. Я боялся, как бы под этой стоической выдержкой не скрывалось какое-нибудь отчаянное решение, тем более что Арсен всячески старался от меня отделать-

ся. Наконец, устав от борьбы с самим собой и со мною, он прислонился к парапету, и я увидел, что он близок к обмороку. Я заставил его зайти в аптеку и принять несколько капель эфира. Затем долго уговаривал его; казалось, он слушал меня, но, я уверен, не слышал ничего. Я проводил его домой и ушел лишь после того, как он лег в постель. Уже на углу улицы меня начали осаждать мрачные мысли о трагических ночных самоубийствах, вызванных несчастной любовью; я вернулся и вошел к Арсену. Он сидел на кровати, задыхаясь от мучительных, беззвучных рыданий. Проявление дружеского участия с моей стороны вызвало у него на глазах слезы, но они не облегчили его. Несколько опомнившись и увидев мою тревогу, он сказал:

— Успокойтесь, сударь. Даю вам слово вести себя как подобает мужчине. Может быть, когда я останусь один, мне удастся поплакать; это будет самое лучшее. Поверьте же мне и оставьте меня одного. Завтра я приду, обещаю вам.

Вернувшись домой, я застал Марту в самом веселом расположении духа. Орас, смущенный вначале присутствием соперника, прилагал все усилия, чтобы понравиться ей, и влюбленная Марта радостно восхищалась его умом. Она даже не догадывалась, как тяжело было на душе у Поля, и мой расстроенный вид не внушил ей ни малейших подозрений. «О, эгоизм любви!» — подумал я.

ГЛАВА XV

На другой же день Арсен пришел за своими сестрами и, не дав им времени даже проститься с нами как следует, молча увел их в новое жилище, которое наспех для них приготовил.

— Теперь,— сказал он,— предоставляю на ваше усмотрение: хотите ли вы остаться здесь или предпочитаете вернуться на родину.

— Вернуться на родину? — воскликнула пораженная Луизон.— Значит, ты выпроваживаешь нас, Поль? Значит, ты хочешь нас бросить?

— Ни то, ни другое,— ответил он.— Вы мои сестры, и свои обязанности я знаю. Но мне казалось, что вы ненавидите столицу и хотели бы уехать.

Луизон ответила, что привыкла к парижской жизни, что на родине не найдет работы, так как за время своего отсутствия потеряла всех заказчиц, и потому хочет остаться.

После того как, подслушивая у перегородки, Луиза проникла во все тайны нашего дома, она примирилась с жизнью в Париже, надеясь извлечь немалые выгоды из беспримерной самоотвержен-

ности своего брата. До сих пор она не знала Арсена; она рассчитывала на некоторую поддержку с его стороны, но никак не на полное забвение им своих личных интересов, своей свободы, самой своей жизни. Ей непонятны были также та энергия, бодрость духа и жажда заработка, если можно так выразиться, которые проявились в Арсене, вдохновленном благородной страстью. Но едва лишь ей стало ясно, какую пользу можно извлечь из этих качеств брата, она начала рассматривать его как свою законную добычу, которой необходимо завладеть. Тщеславие и корыстолюбие — вот две страсти, управляющие женщинами с неразвитым умом, если только воздействие повседневных впечатлений не уравновешивается у них врожденным благородством души. Одна ведет их к распутству, другая — к самому откровенному и безжалостному эгоизму. Луизон, с детства лишенная материнской заботы, принесенная в жертву ради мачехи и предоставленная дурным влияниям и дурным примерам, неизбежно должна была предаться одной из этих губительных страстей. Из духа противоречия она поддалась той, которой у мачехи не было, и, став добродетельной из ненависти к пороку, на который вдоволь нагляделась, инстинктивно уступила другой страсти, подсказанной ей нищетой и лишениями: она сделалась алчной и, думая лишь о том, чтобы удовлетворить свою страсть, проявляла ловкость и изворотливость, на которые, казалось, был не способен ее ограниченный ум. Алчность и надежда безраздельно властвовать над братом и побудили ее толкнуть Марту в ловушку.

— Все, что он делал для нас, он делал ради этой безбожницы,— нашептывала она Сюзанне,— а теперь, когда благодаря нам он узнает, как недостойна она его благодеяний, он станет заботиться о нас еще больше.

У Сюзанны была далеко не такая низкая душа, как у сестры, но, привыкнув трепетать перед Луизой, она способна была лишь на запоздалое раскаяние или слабое противодействие. Арсен совершенно не подозревал о гнусных расчетах и намерениях Луизы. Ее отвратительное вероломство по отношению к Марте он приписывал нередкой у женщин ненависти, основанной на предрассудках, на религиозной нетерпимости и властолюбии, доходящем до мстительности. Правда, он видел чудовищное несоответствие между ее угодливостью перед Орасом и мелочной строгостью в соблюдении нравственных правил; такую непоследовательность он приписывал невежеству, неправильно понятому благочестию. Все это глубоко огорчало его. Но, полный снисхождения и мужества, он решил похоронить в тайниках своей души преступление заносчивой и жестокой сестры. Он дал себе слово постепенно привить ей более искренние и благородные чувства и не делать ей упреков до того дня, когда она сама будет в состоянии понять и исправить свою

ошибку. Впоследствии он сказал Эжени, которая, несмотря на его скрытность, узнала о том, что произошло между ним и сестрой:

— Что же делать! Если бы я тогда рассказал вам, какое горе она мне причинила, вы бы все возненавидели и стали бы презирать ее; вы сказали бы: какое чудовище! Потерять же уважение честных людей — величайшее несчастье, какое только может постигнуть человека, и я почувствовал к сестре такую жалость, что почти не мог на нее сердиться.

Поэтому он начал относиться к Луизе с мягкостью, исполненной грусти, но эту мягкость она принимала за возросшую братскую любовь.

— Если вы хотите остаться, если вам так лучше,— сказал он сестрам,— я не возражаю. Я подыщу вам работу, а пока стану помогать вам. Мы не такие *богатеи,* чтобы снимать две квартиры; я буду жить вместе с вами. Так и порешим пока что.

— Пока что? Что ты этим хочешь сказать?

— Я хочу сказать — до тех пор, пока вы не сможете обойтись без меня,— ответил он,— потому что моя жизнь не застрахована от смерти, как дом от пожара. Подумайте же над тем, как бы вам постепенно стать самостоятельными если не путем замужества, то путем честного труда, приобретя с помощью вашей сметливости и усердия хороших заказчиц.

— Будь уверен,— сказала Луизон, несколько опешив, но постаравшись принять гордый вид,— мы не станем сидеть у тебя на шее, ничего не делая; напротив, мы хотим как можно скорее избавить тебя от заботы о нас.

— Не в этом дело,— возразил Арсен, испугавшись, что обидел ее.— Пока я жив, все, что есть у меня, принадлежит вам. Но, как я уже говорил, я не бессмертен, и нужно подумать...

— Да что с ним сегодня! — воскликнула Луизон, в ужасе оборачиваясь к Сюзанне.— Уж не хочет ли он, чего доброго, наложить на себя руки? Послушай, братец, неужели тоска тебя так одолела? Неужели ты собираешься мучиться из-за этой...

— Я запрещаю вам раз и навсегда произносить при мне имя Марты! — сказал Арсен с таким выражением, что обе сестры побледнели.— Я запрещаю раз и навсегда говорить мне о ней, хотя бы намеками, все равно — хорошо отзываясь о ней или дурно, слышите? Если только это случится, я уйду от вас и никогда не вернусь. Итак, вы предупреждены.

— Хорошо,— сказала подавленная Луизон,— мы повинуемся. Но, Поль, умолять тебя, чтобы ты не огорчался, еще не значит говорить о ней.

— Мое настроение никого не касается,— так же решительно возразил он,— и я не желаю, чтобы меня допрашивали. Только что

я говорил о смерти, но должен заметить вам, я не из тех, кто кончает жизнь самоубийством. Я не трус. Однако обстановка сейчас напряженная, и, если вспыхнет революция, я не поручусь, что, как и в прошлом году, не приму в ней участия. Потому привыкайте к мысли, что когда-нибудь вам придется полагаться только на свои силы, как это и подобает честным ремесленникам. Я иду к себе в контору. Вы же пока займитесь починкой вашего белья. Через несколько дней у вас будут заказы, но я запрещаю вам просить или брать работу у Эжени.

— Вот видишь,— сказала Луизон сестре, когда он вышел,— все устраивается, как я хотела. Теперь он ненавидит и Эжени. Он уверен, что она погубила Марту.

Сюзанна в смущении опустила голову и сказала:

— Ему очень тяжело; он думает только о смерти.

— Ба! Это вопрос одного дня,— возразила сестра.— Увидишь, скоро он совсем забудет о ней. Арсен горд, он не станет горевать из-за девки, которая смеется над ним с другим возлюбленным. Ты еще увидишь, он первый заговорит с нами о ней и будет доволен, когда мы будем ругать ее.

— Пусть так, но я никогда не стану этого делать,— сказала Сюзанна.

— Ну уж ты, смиренница! Дура, ты что угодно стерпишь от какой-то Марты! Ты чересчур снисходительна, Сюзон. Будь у тебя принципы, ты знала бы, что нельзя быть слишком доброй к безнравственным женщинам. Увидишь, говорю тебе, что недалек тот день, когда сам же брат попрекнет тебя равнодушием к этому делу.

— Пусть так,— сказала Сюзанна,— повторяю, я никогда не позволю себе сказать ему хоть слово против Марты, если даже он сделает вид, будто поощряет меня. Я совершенно уверена — он не перенесет этого. Попробуй сама, коли воображаешь, что ты такая умная!

День, как обычно, прошел в ссорах. Тем не менее, когда Арсен вернулся, он увидел, что в комнате прибрано, все его белье починено, платье вычищено и сложено, овощи сварены и скромный ужин ждет его на столе. Всячески подчеркивая свои заботы и внимание, Луизон относилась к брату с назойливой предупредительностью, которую он терпеливо сносил. Она попыталась развеселить его, но не вызвала у него и тени улыбки; едва проглотив несколько кусков, он вышел, не отвечая на ее расспросы. Так было и на другой день, и через день, и во все последующие дни. Благодаря своей расторопности и усердию он вскоре достал сестрам работу; кроме того, он по-прежнему отдавал им на хозяйственные расходы две трети своего заработка, но одну треть оставлял себе, и они никогда не знали, для чего. Напрасно рылась Луизон повсюду — в его тюфяке, даже

под каменными плитками пола,— чтобы узнать, не завел ли он втайне от них личные сбережения,— она ничего не находила. Напрасно задавала ему коварные вопросы — ответа она не получала. Напрасно уговаривала его истратить воображаемые деньги на мебель, белье или другие полезные, по ее словам, в хозяйстве вещи — он притворялся, что не слышит. Не допуская, чтобы сестры в чем-либо терпели нужду, он не разрешал себе ни малейшего излишества. У Луизон появилась новая забота: принимая как должное возможность распоряжаться большей частью достояния своего брата, она ломала себе голову, как бы заполучить все остальное. Ей казалось, что Арсен совершает несправедливость, чуть ли не воровство, удерживая несколько экю для какой-то таинственной цели. Это не давало ей покоя; если бы она смела, она громко выразила бы свою досаду, но невозмутимой мягкостью и ледяным спокойствием Арсен принуждал ее к столь беспрекословному повиновению, какого она сама от себя не ожидала. Итак, пришлось смириться, отказаться от надежды до конца постичь его замкнувшееся навеки сердце, уловить какую-нибудь затаенную мысль на этом окаменевшем лице.

Я рассказываю о подробностях домашней жизни Арсена, хотя и не бывал у него в то время. Но все, что относится к героям моего рассказа, они сами постепенно открывали мне с такой исчерпывающей полнотой и ясностью, что я могу описывать события их жизни, в которых не принимал никакого участия, с такой же достоверностью, как если бы сам был их очевидцем.

Отъезд обеих сестер явился для нас подлинным облегчением. Но таинственность и поспешность, с какими Арсен осуществил это предприятие, долго оставались необъяснимыми. Сначала мы подумали, что, решив больше не видеть Марту, он мужественно лишил себя возможности и повода встречаться с нею,— однако он продолжал приходить к нам, как прежде; когда же Марта спросила у него адрес сестер, он вначале уклонился от ответа, но потом сказал, что устроил их на работу к одной портнихе, хозяйке швейной мастерской в Версале. Мне было известно другое, так как иногда я видел их неподалеку от торгового дома, где работал Арсен; но они так старательно избегали встреч со мной, что я усмотрел в этом волю Арсена и подчинился ей. Эжени тоже не могла разгадать эту загадку, ей не удавалось даже вызвать Арсена на новые признания о его тайных чувствах и планах по отношению к Марте. Напуганная его внешним спокойствием, опасаясь, как бы у него не сохранилось каких-либо обманчивых надежд, она часто пыталась рассеять это кажущееся заблуждение. Но он обрывал подобные разговоры, поспешно отвечая: «Знаю! Знаю! Незачем говорить об этом».

При всем этом ни слова, ни взгляда, которые дали бы Марте основание заподозрить, что она внушила Арсену глубокое и пылкое чувство. Он так хорошо играл свою роль, что она склонна была вообразить, будто всегда была для него только другом; мы и сами начинали верить, что он сумел подавить в себе любовь и окончательно излечился.

Эжени, предвидевшая, как смущена и огорчена будет Марта, если узнает о денежной помощи, какую без ее ведома оказывал ей Арсен, уговорила его взять обратно последнюю принесенную им сумму. Отныне она хотела сама материально поддерживать подругу; и поддержка эта была легко осуществима: Марта была крайне умеренна в своих потребностях, одевалась всегда со скромной простотой и усердно помогала Эжени в работе. Единственной памятью о благодеяниях Арсена, которую мы не решились уничтожить, боясь чересчур огорчить этого чудесного юношу, была недорогая мебель, купленная им для Марты и состоявшая из железной кровати, двух стульев, стола, орехового комода и туалетного столика, который он сам выбирал, увы, с такой любовью! Мы заставили Марту поверить, будто все эти вещи принадлежат нам и мы предоставляем их в ее пользование. Она принимала наши заботы с таким очаровательным простодушием, что мы охотно проявляли бы их всю жизнь; не суждено было, однако, этому сбыться. Злой гений витал над судьбой Марты: то был Орас.

После объяснения с Эжени он приготовился к борьбе против Арсена. Ему казалось весьма унизительным иметь подобного соперника; но вместе с тем он знал, как Арсен умен и смел, как уважаем его все мы, и особенно Марта, и этого было достаточно, чтобы он вступил в бой. Еще несколько дней назад он предпочел бы скорее отказаться от такой затеи, чем противопоставить свой изощренный и развитый ум менее искушенному, крестьянски-грубоватому, но острому уму Мазаччо. Но теперь, когда любовь его приняла форму какого-то лихорадочного пароксизма, он, не краснея, взялся бы оспаривать предмет своей страсти даже у самого господина Пуассона.

Ко всеобщему изумлению, Поль Арсен казался спокойным, чуть ли не равнодушным, и Орас подумал, что Эжени сильно преувеличила его любовь. Однако, когда он узнал, что собственная его любовь уже не секрет для Поля, а я рассказал ему, в какой тоске и отчаянии застал однажды этого мужественного молодого человека, Ораса начало тревожить частое появление Поля в нашем доме и показное торжествующее спокойствие, которым он как бы бросал ему вызов. В нем вспыхнула ревность; в мозгу у него зашевелились самые нелепые подозрения. Марта сначала ничего не поняла: ее совесть была слишком чиста, чтобы ей самой могло прий-

ти в голову обижаться на сомнения, ничем с ее стороны не вызванные. Мрачность Ораса беспокоила ее, хотя ничего не объясняла. Эжени из деликатности не вмешивалась в их отношения, но надеялась, что, поняв, какую несправедливую обиду ей наносят, Марта возмутится и в ней заговорит оскорбленная гордость.

Терзаемый ревностью, Орас с досады попросил меня повести его к госпоже де Шайи. Он побывал там еще два или три раза и не без нарочитости утверждал, будто находит виконтессу все более прелестной. Это всякий раз ранило душу Марты; но зарождающаяся любовь подобна змее, только что рассеченной на части,— они находят в себе силы приблизиться друг к другу и соединиться вновь. Печаль, бессонница, бурные, тяжелые ссоры сменялись примирениями, полными восторгов и опьянения; клятвы никогда больше не видеться — клятвами никогда не покидать друг друга. Это было счастье, насыщенное грозами, обильно орошенное слезами, но это было сильное, напряженное счастье, еще более яркое от постоянной борьбы.

Однажды Орасу вздумалось в отсутствие Арсена высмеять и унизить его. Марта принялась с жаром защищать своего друга, тогда Орас схватил шляпу и, как обычно при вспышке гнева, ни с кем не попрощавшись, выбежал из комнаты. Марта отлично знала, что он явится на другой день и будет просить прощения за свою выходку, но она принадлежала к тем чувствительным и нежным натурам, которые не умеют гордо выжидать конца мучительной для них размолвки. Она вскочила, накинула на плечи шаль и бросилась к двери.

— Что вы делаете? — спросила Эжени.

— Вы же видите,— не помня себя от волнения, воскликнула Марта,— бегу за ним.

— Что вы, что вы, друг мой! Не поощряйте таких дурных и несправедливых поступков, после сами пожалеете.

— Я знаю,— сказала Марта,— но это сильнее меня. Я должна успокоить его.

— Он сам придет, не лишайте его хоть этой заслуги.

— Он придет завтра!

— Ну и что же! Конечно, завтра.

— Завтра, Эжени? Вы не знаете, что значит ждать до завтра! Провести всю ночь как в лихорадке, задыхаясь, не зная сна, считать часы и минуты и повторять в тоске: он не любит меня! Или же, что еще ужаснее: он нехороший человек, он чужд великодушия, и не должна любить его! О нет! Вы этого не знаете.

— Боже мой,— воскликнула Эжени,— ведь вы сами понимаете, что ваша любовь — заблуждение, но едва появляется у вас проблеск разума, вы спешите потерять его.

— Дайте мне поскорее потерять его,— сказала Марта,— ибо это просветление для меня невыносимая мука.

И, высвободившись из объятий Эжени, она выбежала на лестницу и мгновенно исчезла.

Эжени не решилась пойти за ней, чтобы не привлечь внимание соседей и не вызвать в доме скандал. Она надеялась, что внизу, при выходе на улицу, безрассудные влюбленные встретятся и через несколько минут вернутся вместе. Но взбешенный Орас шагал неимоверно быстро. Марта видела его в десяти метрах впереди себя. Она не смела окликнуть его на набережной, бежать у нее тоже не было сил. При каждом шаге ей казалось, что она вот-вот упадет; Марта видела, как в припадке безудержной ярости он ударял тростью по парапету. Она снова поспешила за ним, забывая о собственных страданиях и думая теперь только о страданиях возлюбленного. Орас сбил с ног двух или трех прохожих, невзирая на брань и крики возмущения, задел еще несколько человек, поднялся по улице Лагарп и подошел к отелю «Нарбонн», в котором жил, так и не заметив, что Марта все время шла за ним следом и несколько раз едва не нагнала его. Когда он брал из рук привратницы ключ и подсвечник, он обратил внимание на то, что та, грозно нахмурившись, смотрит поверх его плеча.

— Куда это вы идете, мамзель? — грозно спросила она у кого-то, кто, ни слова не говоря, собирался подняться по лестнице.

Орас обернулся и увидел Марту, без шляпы, без перчаток, бледную как смерть. Он подхватил ее сильными руками, почти поднял на воздух и, набросив ей на голову шаль, чтобы укрыть от посторонних взглядов, увлек за собой вверх по лестнице и осторожно втолкнул в дверь своей комнаты. Там он бросился к ее ногам. Это и было их объяснением. Причина ссоры была забыта в первый же миг.

— О, как я счастлив! — воскликнул он в исступленном восторге.— Ты здесь, ты со мной, мы одни! Впервые в жизни я наедине с тобою, Марта! Пойми, какое это счастье!

— Позволь мне уйти,— сказала испуганная Марта,— за мной, кажется, идет Эжени, может быть, Арсен. Боже мой, или все это почудилось мне? Я где-то видела лицо Арсена, когда бежала за тобой, не знаю где. Нет, я не уверена... может быть!.. Все равно, ты любишь меня, ты любишь меня по-прежнему! Пойдем, проводи меня.

— О, не уходи! Не уходи! — повторял Орас.— Еще мгновение! Если придет Эжени, я не стану отвечать ей, если придет Арсен, я убью его! Останься же, останься еще хоть на мгновение!

Между тем Эжени, в одиночестве, в страхе и тревоге, считала минуты и металась от лестничной площадки к окну, тщетно ожи-

дая возвращения Марты. Наконец она услышала, как кто-то поднимается по лестнице. Она, наконец-то она!.. Нет, это мужские шаги.

Она обрадовалась, решив, что это я и меня можно будет послать на поиски Марты. Она кинулась мне навстречу... но вместо меня увидела Арсена.

— Где Марта? — спросил он упавшим голосом.

— Она вышла на минутку,— смутившись, ответила Эжени,— она сейчас вернется.

— Вышла? Одна, ночью? — сказал Арсен.— И вы позволили ей уйти одной?

— Она вернется с Теофилем,— ответила Эжени, совсем потеряв голову.

— Нет! Нет! Она не вернется с Теофилем,— произнес Арсен, тяжело опускаясь на стул.— Не трудитесь обманывать меня, Эжени. Она не вернется даже с Орасом. Она вернется одна, вернется в отчаянии.

— Значит, вы видели ее?

— Да, я видел, как она бежала по набережной в сторону улицы Лагарп.

— И Ораса не было с нею?

— Я видел только ее.

— И вы не пошли за ней?

— Нет; но я пойду и буду ждать ее,— сказал он.

И стремительно вскочил со стула.

— Но почему вы не последовали за ней? — спросила Эжени.— Зачем вы пришли сюда?

— Ах, я сам не знаю! — растерянно ответил Арсен.— Я, впрочем, хотел было... Да, да, именно это! Я хотел спросить у вас, Эжени... в первый ли раз она выходит одна вечером. Одна или с ним? Скажите, в первый раз?

— Да, в первый раз,— сказала Эжени.— Марта еще невинна, клянусь вам! О боже, почему вы не побежали за ней?

— О, может быть, еще не поздно убить этого негодяя! — в бешенстве воскликнул Арсен и со всех ног бросился вниз по лестнице.

Эжени поняла, к каким мрачным последствиям может привести это происшествие. В ужасе она кинулась бежать вслед за Арсеном. К счастью, я поднимался домой и встретил обоих.

— Куда вы идете? — спросил я.— Отчего у вас такой встревоженный вид?

— Удержите его, бегите за ним! — на ходу крикнула мне Эжени, видя, что Арсен уже проскользнул мимо меня.— Марта ушла с Орасом, а Поль может натворить беды! Идите!

Я, в свою очередь, бросился за Мазаччо и нагнал его. Я схватил его за руку, но не мог удержать, хотя был гораздо выше и

сильнее его. Гнев удесятерил его силы, и он увлекал меня за собою, как ребенка.

Из его отрывистых восклицаний я узнал, что произошло, и понял, какую неосторожность допустила Эжени. Единственным способом помешать трагической развязке была ложь.

— Как могли вы поверить,— сказал я Арсену,— будто они уходят вдвоем в первый раз? Да они проделывают это по меньшей мере в десятый.

Это утверждение подействовало на него, как вода на раскаленное железо. Он резко остановился и мрачно посмотрел на меня.

— Вы вполне уверены в том, что говорите? — спросил он душераздирающим голосом.

— Совершенно уверен. Вот уже месяц как она его любовница.

— Значит, Эжени меня обманула?

— Нет, но они обманывают Эжени.

— Его любовница! Значит, этот подлец не собирается жениться на ней.

— Откуда вы знаете,— возразил я, думая лишь о том, как бы успокоить его и увести с собою.— Орас — порядочный человек, и то, чего захочет Марта, захочет и он.

— Вы уверены в том, что он порядочный человек? Поклянитесь в этом собственной честью!

С помощью туманных уверений и уклончивых ответов мне удалось образумить его. Он поблагодарил за доброе к нему отношение и ушел, обещав, что немедленно вернется домой.

Как только я убедился, что он пошел по направлению к дому, я побежал в отель «Нарбонн» и осведомился об Орасе.

— Он там наверху, заперся с какой-то барышней или дамой, это уж как вам будет угодно,— ответила привратница.— Но я заставлю ее спуститься. Я не потерплю такого срама в моем доме.

Я попросил ее говорить потише и подкрепил свою просьбу «неотразимыми доводами» Фигаро. Она рассказала мне, что дама была красивая, с длинными черными волосами и в красной шали. Я удвоил свои «доводы» и получил обещание, что она не станет поднимать шум и выпустит беглянку в любой час ночи, не сказав ей ни слова и никому не сообщая о том, что видела.

Убедившись, что все будет в порядке, я отправился успокоить Эжени. Я не мог удержаться от смеха, видя ее полную растерянность. Теперь, когда Арсена удалось урезонить и от всего отстранить, несколько стремительная, но неизбежная развязка любви Марты и Ораса казалась мне совсем не такой уж поразительной и мрачной, как это представлялось моей благородной подруге. Она сильно выбранила меня за то, что называла моим легкомыслием.

— Видите ли,— сказала она,— с тех пор как Марта полюбила, она мне кажется человеком, приговоренным к смерти. Сейчас я не могу смеяться — как не смеялась бы, видя, что она подымается на эшафот.

Мы прождали до полуночи. Марта не вернулась. Наконец сон победил нашу тревогу.

На заре дверь отеля «Нарбонн» тихо отворилась и еще тише закрылась, пропустив женщину в красной шали, наброшенной на голову. Она торопливо сделала несколько шагов, словно хотела скорее удалиться. Затем, слабая и разбитая усталостью, она остановилась у фонарного столба и оперлась на него, чтобы не упасть. Эта женщина была Марта.

Какой-то человек принял ее в объятия: это был Арсен.

— Как! Одна! Одна! — сказал он.— Он даже не проводил вас?

— Я запретила ему,— еле слышно сказала Марта,— я боялась, что меня встретят с ним; и потом, я не хотела, чтобы он видел меня днем! Я хотела бы никогда больше не видеть его! Но ты, Поль, что делаешь ты здесь так рано?

— Я не мог уснуть,— ответил он,— я пришел за вами, увести вас; внутренний голос говорил мне, что вы уйдете от него одна и что вы будете в отчаянии.

ГЛАВА XVI

Марта была так смущена и так растерянна, что не хотела возвращаться домой.

— Отведите меня к вашим сестрам,— сказала она Арсену,— они, по крайней мере, не будут знать, где я провела ночь.

— У вас нет более преданного и верного друга, чем Эжени,— отвечал Арсен.— Не осложняйте же своего положения еще более длительным отсутствием. Пойдемте, я провожу вас к ней, и ручаюсь, вы не услышите от нее ни слова упрека.

Он проводил Марту до дверей ее комнаты. Она хотела запереться и вволю поплакать, прежде чем увидеться с нами, но, прощаясь с Арсеном, которому излила свое сердце как брату, она вдруг вспомнила, что он любил ее менее спокойной любовью; она забыла об этом, привыкнув всегда рассчитывать на его слепую преданность.

— Ну что ж, Арсен,— сказала она с глубоким волнением,— теперь ты не жалеешь, что не женился на мне?

— Об этом я буду жалеть всю жизнь,— ответил он.

— Не говори так, Арсен,— сказала она,— ты терзаешь меня. О! Почему я не могу любить тебя так, как ты хочешь и заслуживаешь? Видно, господь возненавидел и проклял меня!

Оставшись одна, она бросилась одетая на кровать и горько зарыдала. Услышав через перегородку ее рыдания, Эжени принялась стучать в дверь; все было тщетно — Марта не открывала. Решив, что с ней случился один из нервных припадков, которым она была подвержена, Эжени схватила связку ключей; вкладывая их поочередно в замочную скважину, она подобрала подходящий, отперла дверь и бросилась к Марте. Марта лежала, уткнувшись лицом в подушку, вцепившись обеими руками в свои прекрасные черные волосы, мокрые от слез.

— Марта,— сказала Эжени, прижимая ее к груди,— о чем ты горюешь? Жалеешь ли ты о прошлом или боишься будущего? Ты сама себе хозяйка, ты свободна, никто не имеет права презирать тебя. Зачем же ты прячешься, а не идешь ко мне? Ведь я ждала тебя с такой тревогой и, как всегда, встречаю тебя с такой радостью!

— Дорогая Эжени, меня мучит не только сожаление, но стыд и угрызения совести,— ответила Марта, обнимая ее.— Нет, я распорядилась собою не по собственному выбору и не по доброй воле. Я уступила порыву, которого не разделяла, скованная воспоминаниями о недавних обидах и предчувствием новых оскорблений! Эжени! Эжени! Он не любит меня! Я совершенно убеждена, что буду несчастна! Им владеет страсть, а не любовь, восторженность, а не уважение, жажда сердечных излияний, а не доверие. Он ревнив, потому что у него нет веры в меня, он считает меня недостойной внушить серьезную любовь и неспособной разделить ее.

— Потому что сам он не способен ни на то, ни на другое! — воскликнула Эжени.

— Нет, не говори так. Все это из-за меня, из-за моей несчастной судьбы! Он никого еще не любил, его сердце так же девственно, как его губы, он заслуживает любви женщины такой же чистой, как он сам.

— Вероятно, поэтому,— пожимая плечами, сказала Эжени,— он влюбился в виконтессу де Шайи, у которой три любовника сразу.

— Эта женщина,— возразила Марта,— может обворожить своим умом, блестящим воспитанием, знатностью, прекрасными манерами и роскошью. Я же слишком проста, ограниченна и невежественна; я едва умею читать; правда, понимать — я все понимаю, но ничего не умею выразить, у меня нет ни одной своей мысли, и никогда не смогу я покорить сердце и ум такого человека, как он! О, он отлично дал мне это почувствовать, отлично объяснил мне это сегодня ночью в разгар нашей ссоры; и теперь я вижу, что совершенным безумием с моей стороны было жаловаться на него. Я должна обвинять только себя, должна проклинать свое прошлое!

— Как! Дело уже дошло до этого? — спросила ошеломленная Эжени.— Он разыгрывает уже роль учителя и высшего судии? Я думала, что хотя бы при первом свидании, опьяненный любовью, он забудет о себе и будет любоваться и восхищаться только тобою. Он же, вместо того чтобы на коленях благодарить тебя за столь высокое доказательство любви и доверия, которое мы даем, беззаветно раскрывая свои объятья и душу, успел уже превратиться в милостивого властелина, оказывающего тебе честь своей снисходительностью и всепрощением! Поистине, Марта, ты имеешь основания стыдиться: ты действительно унижена...

— Не говори так, Эжени. Если бы ты видела его волнение, его страдания, его слезы! Как смиренно и нежно говорил он мне подчас все эти ужасные вещи! Нет, он не понимал, как больно он мне делает, он не задумывался над этим. Он сам так страдал! У него была одна мысль — освободиться от мучивших его подозрений; и если он обвинял меня, то лишь затем, чтобы своими ответами я успокоила его. Но я... я не находила в себе сил сделать это. Я так оробела, столкнувшись с этой благородной гордостью, этой чистой юностью, этим незаурядным умом, которые требовали — имели право требовать от меня — столь многого! И я почувствовала себя таким ничтожеством, поняла, что бессильна удовлетворить эти требования! Я была удручена, а он неожиданно принял мою печаль за угрызения совести, как-то дурно истолковал ее... «Что с тобою? — спросил он.— Ты не чувствуешь себя счастливой в моих объятиях? Ты мрачна, озабочена; значит, ты думаешь о ком-то другом?» И вдруг он вообразил, будто у меня тайная связь с Полем Арсеном, и стал умолять, чтобы я прогнала Поля и никогда больше с ним не виделась. И я согласилась бы, да, я проявила бы такую слабость, если бы он по-прежнему просил меня с нежностью. Но стоило мне обнаружить минутное колебание, как он пришел в состояние такого раздражения и гнева, что у меня хватило сил воспротивиться; ибо я тоже начала раздражаться и сердиться. Мы наговорили друг другу множество жестоких слов, они тяжелым грузом лежат у меня на сердце!

— Ты была права, считая, что он не любит тебя,— подхватила Эжени.— Но ты ошибаешься, воображая, будто в этом виновата ты сама и твое прошлое. Корень зла в его собственной гордости и эгоизме, которому ты собираешься потакать своею слабостью. Мужчина, способный любить по-настоящему, не задается вопросом: достойна ли такого чувства его избранница. Полюбив, он не занимается изучением прошлого — он наслаждается настоящим и верит в будущее. Если разум подсказывает ему, что в этом прошлом есть какая-то ошибка, которую надо простить,— он прощает ее в глубине своего сердца, не выставляя напоказ свое великодушие как не-

кое чудо. Забвение ошибок так просто, так естественно для любящего человека. Обвинял ли тебя когда-нибудь Арсен? Не защищал ли он тебя от тебя самой, как защитил бы от всего мира?

— Я сомневалась бы даже в Арсене,— со вздохом сказала Марта.— Мне кажется, лишь отвергнутая любовь скромна и великодушна; счастье же делает человека требовательным и жестоким. Так случилось и у меня с Орасом. В эти ночные часы, проведенные нами вместе, доверчивость непрестанно сменялась в нас враждебностью. Когда я восставала против него, он на коленях успокаивал меня; но едва я смирялась, как он снова нападал на меня. Ах, мне кажется, любовь делает людей плохими!

— Да, любовь плохих людей,— заметила Эжени, с грустью качая головой.

Эжени была несправедлива; она была столь же далека от истины, как и Марта. Обе они ошибались, каждая по-своему. Орас не был ни так хорош, ни так плох, как они думали. Победа сразу сделала его самонадеянным, в этом он уподобился очень многим; и если строго судить такой недостаток, пришлось бы заклеймить презрением бо́льшую часть представителей нашего пола. Но сердце у него не было ни холодным, ни развращенным. Несомненно, он любил страстно, но, как и все мужчины, не был нравственно подготовлен к любви и, не принадлежа к незначительному числу тех, кто благодаря врожденной самоотверженности становится исключением, он любил только во имя собственного счастья или, если можно так выразиться, во имя любви к самому себе.

Он пришел днем и не только не проявил никакого смущения, но предстал перед нами с таким торжествующим видом, что даже я нашел это довольно неуместным. Он, видимо, ожидал, что я стану подшучивать над ним, и приготовился дать мне отпор. Вместо этого я позволил себе упрекнуть его.

— Мне кажется,— сказал я, уводя его в кабинет,— ты мог бы устраивать свидания с Мартой, не компрометируя ее. Эта ночь, проведенная вне дома, без всякого предупреждения, без какого-либо предлога, может вызвать немало пересудов среди соседей.

Орасу весьма не понравилось мое замечание.

— Меня просто умиляет,— сказал он,— что ты так тревожишься о Марте, когда сам открыто живешь с Эжени!

— Именно потому Эжени и пользуется всеобщим уважением,— ответил я.— Она моя сестра, моя подруга, моя любовница, моя жена, если угодно. Как бы ни рассматривать наш союз, он нерушим и вечен. Я заставил всех, кто любит меня, признать этот союз и окружил Эжени преданными друзьями, так что ни один двусмысленный намек не может оскорбить ее слуха. Но я не позволил себе приподнять завесу, скрывавшую нашу тайную любовь, до тех пор,

пока не убедился в прочности нашего взаимного чувства. Я не стал представлять Эжени своим товарищам после первой же ночи нашей любви и не сказал им: «Вот моя любовница, уважайте ее ради меня». Я скрывал свое счастье, пока не мог честно и открыто заявить им: «Вот моя жена, она сама по себе достойна уважения».

— Ну что ж, я чувствую себя сильнее вас,— высокомерно сказал Орас.— Я заявлю всему миру: «Вот моя возлюбленная, я требую, чтобы ее уважали». И если пожелаю, я заставлю непокорных пасть ниц перед женщиной, которую я избрал.

— Это вам не удастся, даже если бы вы обладали непобедимой удалью какого-нибудь *вояки* рыцарских времен. В наши дни мужчины не боятся друг друга; и вашу возлюбленную, как вы ее называете, будут уважать лишь в той мере, в какой вы сами будете уважать ее.

— Странный вы человек, Теофиль! Чем же оскорбил я женщину, которую люблю? Она сама пришла ко мне и бросилась в мои объятья, я же задержал ее у себя на час или на два дольше, чем это подобает согласно вашему условному кодексу приличий. Право же, я не знал, что добродетель и репутация женщины, как полномочия понятóго, ограничены часами между восходом и заходом солнца.

— Весьма неуместная шутка,— сказал я,— для такого торжественного дня в истории вашей любви, как сегодняшний. Если бы Марта так же легкомысленно примирилась с создавшимся положением, я перестал бы уважать ее. Но, как мне кажется, она относится к нему совершенно иначе, ибо с утра не перестает плакать. Я не спрашиваю вас о причине ее слез, но не пойдете ли вы сами спросить у нее об этом, только с менее веселым лицом и не с таким развязным видом.

— Послушайте, Теофиль,— сказал Орас, становясь серьезным.— Раз так, я буду говорить с вами откровенно. Моя привязанность к вам мешала мне начать объяснение, но ваше строгое отношение ко мне делает его неизбежным. Знайте же, я больше не ребенок, и если до сих пор я позволял вам обращаться со мной как с ребенком, это не значит еще, что таково ваше неотъемлемое право и я не могу лишить вас его, когда мне это будет угодно. Итак, сегодня я заявляю вам, что устал, невероятно устал от той странной войны, которую вы с Эжени ведете против моей любви к Марте во имя господина Поля Арсена. Я действую вовсе не так легкомысленно, как вы думаете, если отказываюсь от всякого притворства и сдержанности. Будет очень хорошо, если все вы — и вы и ваши друзья — узнаете, что Марта моя любовница, моя, а не кого-либо другого. Для моего достоинства, для моей чести необходимо, чтобы меня принимали здесь не как докучливого посетителя, а чтобы для вас, для них, для Марты, для всех, для самого себя я был любовни-

ком, единственным любовником, то есть господином этой женщины. И так как с некоторых пор благодаря странной роли, которую вы мне отводите, благодаря упорным притязаниям господина Поля Арсена, благодаря откровенному покровительству, какое оказывает ему Эжени (по милости вашего невмешательства, Теофиль), благодаря двусмысленной дружбе, существующей между ним и Мартой, благодаря, наконец, собственным моим подозрениям, причиняющим мне жестокие страдания, я уж сам не знаю, что здесь происходит и за кого меня принимают,— то я решил узнать наконец, какой линии поведения мне держаться, и ясно представить себе свое положение. Вот почему я пришел сюда утром с поднятой головой и говорю всем вам без недомолвок и оговорок: «Марта провела эту ночь в моих объятиях, и если кому-нибудь это не нравится, я готов признать его права и уступить свои, если мои права менее обоснованны».

— Орас,— сказал я, пристально глядя на него,— если к этой мысли вы пришли сегодня утром — отлично, я согласен. Но если вы руководствовались ею уже вчера вечером, когда оставили Марту у себя, чтобы скомпрометировать ее,— тогда это уж слишком холодный расчет для такого пылкого человека, каким вы представляетесь, и я вижу тут больше политики, нежели страсти!

— Страсть не исключает известной дипломатии,— ответил он улыбаясь.— Вы сами знаете, Теофиль, что свою жизнь я начал с политики. Если я превращусь в человека чувств, надеюсь — во мне все же останется кое-что от человека мысли. Но успокойтесь и не возмущайтесь так. Признаюсь, вчера вечером я был очень слабым дипломатом, я не думал ни о чем и уступил минутному опьянению. Но сегодня утром, поразмыслив, я решил, что должен испытывать не глупое раскаяние, а удовлетворение и прилив энергии, как подобает счастливому любовнику.

— Ну что ж, испытывайте их на доброе здоровье,— сказал я,— но постарайтесь, чтобы ваше лицо и поведение выражали только то, что вы действительно испытываете, ибо в данный момент, возможно сами того не подозревая, вы кажетесь просто фатом.

Меня в тот день действительно раздражала в нем какая-то неприятная самоуверенность и самодовольство; при всей моей любви к нему мне хотелось немножко осадить его. Я боялся, что Марта будет оскорблена; но у бедной женщины даже на это не оказалось сил. Появление Ораса повергло ее в трепет и уныние, вызвало у нее какую-то нервную дрожь. Он попытался нежно успокоить ее; но все же оба были необычайно смущены. Орасу хотелось остаться наедине с нею; Марта же из чувства стыдливости не решалась покинуть нас и предоставить ему такую возможность. Был момент, когда ему показалось, что у нее хватит му-

жества встать и уйти; он несколько раз вызывал ее на это, но она притворялась, будто не понимает его. Эжени тоже не решалась выйти из комнаты, опасаясь, как бы ее уход не показался преднамеренным, а тем временем появился Поль Арсен.

Несмотря на то что Арсен умел владеть собою и готов был к возможной встрече с Орасом, ему не удалось скрыть своего рода отвращения, какое тот внушал ему. Орас заметил, как внезапно изменилось его бледное, измученное после ночных тревог лицо. Будучи не в силах преодолеть душившую его гордость, Орас надменно поднял голову и протянул ему руку с видом монарха, принимающего почести от своего подданного. Искренний и великодушный Арсен не понял значения этого жеста и, приписав его совершенно противоположному чувству, схватил и крепко пожал руку соперника. Его честный, исполненный скорби взгляд как бы сказал при этом: «Вы обещаете сделать ее счастливой, благодарю вас!»

Это молчаливое объяснение вполне удовлетворило его. Справившись о здоровье Марты и с жаром пожав ей руку, он обменялся с нами несколькими незначащими замечаниями и минут через пять ушел.

ГЛАВА XVII

Орас не так уж сильно ревновал к Арсену, чтобы беспокоиться о чувствах Марты к нему, но он боялся, что в прошлом между ними были более близкие отношения, в которых она не хотела признаться. Он полагал, что сохранить такую преданность женщине, которая приносит тебя в жертву ради другого человека, можно лишь в том случае, если питаешь какую-нибудь надежду или же вполне обоснованную признательность; оба эти предположения были для него одинаково оскорбительны. С тех пор как Эжени открыла ему всю самоотверженность Арсена, он стал еще подозрительнее. Как сам он наивно признавался, его обидело сопоставление, которое представило его в невыгодном свете перед Эжени и могло оказаться роковым для отношения к нему Марты, если Арсен по-прежнему будет оставаться у нее перед глазами. К тому же окружавшие нас люди не вполне понимали, что, собственно говоря, между ними происходит. Те, кто не любил Ораса, охотно выражали сомнение в его победе — по крайней мере, в его присутствии они делали вид, будто верят в победу Арсена. Те же, кто любил его, осуждали Марту за то, что она открыто не отдает ему предпочтения и не прогоняет его соперника, и давали это понять Орасу. Наконец, другие молодые люди, менее близкие знакомые, которые у нас не бывали и судили о нас несколько сурово

и поверхностно, позволяли себе злословить о Марте в таких выражениях, которые очень легко срываются с языка и очень быстро и широко распространяются. Уступая чувству безотчетной зависти, какую может внушить вид человека, счастливого в любви, они намеренно унижали Марту, чтобы таким путем умалить в собственных глазах счастье Ораса. Многие из тех, кто некогда ухаживал за красавицей из кафе Пуассона, мстили за ее равнодушие к ним, утверждая, что победа над Мартой не так уж трудна и почетна, раз она проявляет благосклонность к такому хвастуну, как Орас. Кое-кто поговаривал даже, что старший гарсон из кафе был ее любовником. Наконец,— не знаю, у кого хватило низости и бесстыдства,— был пущен слух, будто она одновременно была любовницей Арсена, Ораса и моей.

Эта клевета в то время не доходила до меня, но нашлись люди, имевшие неосторожность передать ее Орасу. Он оказался так малодушен, что придал ей значение и начал думать только о том, как бы ослепить и поразить недоброжелателей бесспорным доказательством своего торжества над всеми действительными и мнимыми соперниками. Он так жестоко мучил и упрекал Марту, что превратил ее добродетельную и спокойную жизнь у нас в пытку. Он требовал, чтобы она появлялась с ним вдвоем в театре и на прогулке. Эти дерзкие выходки огорчали Эжени, видевшую в них лишь бесцельный вызов общественному мнению. Все ее попытки удержать подругу от выполнения подобных требований еще больше раздражали и злили Ораса.

— До каких же пор,— говорил он Марте,— намерены вы подчиняться этой навязчивой и лицемерной дуэнье, которую возмущает в других то, что для себя она считает вполне законным! Неужели вам не надоели нудные поучения этой ханжи? Я уверен, она далеко не бескорыстна, если считает лучшим любовником того, кто может предоставить своей любовнице наибольшее благосостояние и свободу. Если бы вы любили меня, вы быстро заставили бы ее замолчать и не потерпели бы, чтобы она все время порочила меня в ваших глазах. Могу ли я быть доволен, когда в тайны нашей любви все время вмешивается нескромный соглядатай? Могу ли я быть спокоен, зная, что ваша единственная подруга — мой заклятый враг, который в мое отсутствие озлобляет и восстанавливает вас против меня?

Он потребовал, чтобы Марта окончательно удалила Поля Арсена; и для такого изгнания была особая причина: он очень боялся показаться смешным ревнивцем, и мысль, что Мазаччо может возгордиться причиненным им беспокойством, была для него нестерпима. Поэтому он хотел, чтобы Марта действовала как бы с заранее обдуманным намерением и без всякого постороннего влия-

ния. Она долго противилась этому несправедливому и низкому требованию; но мало-помалу, назойливо и безжалостно приставая к ней, он вынудил ее согласиться. Она не имела права пожимать своему другу руку, не смела улыбнуться ему. Все становилось преступлением: каждый взгляд, каждое слово вызывали горькие упреки. Если Арсен по старой привычке в разговоре обращался к ней на «ты», это являлось прямой уликой их старинной любовной связи. Если мы гуляли все вместе и она позволяла Арсену предложить ей руку, Орас приходил в дурное настроение и под каким-нибудь пустым предлогом покидал нас, предварительно шепнув Марте, что не стремится прослыть соперником Поля и что с него достаточно быть преемником господина Пуассона, не делясь с его лакеем. Когда Марта возмущалась этими несправедливыми и оскорбительными нападками, он по целым неделям сердился на нее, и несчастная, будучи не в силах перенести его отсутствие, бежала к нему и таким образом как бы просила у него прощения за его же вину. Но если она предлагала откровенно объясниться с Мазаччо, прежде чем просить его уйти, Орас восклицал:

— Ах, так! Чтобы я прослыл безумцем, тираном или глупцом, а господин Поль Арсен мог повсюду высмеивать и позорить меня?! Если вы так сделаете, я вынужден буду искать с ним ссоры и в одно прекрасное утро при всех дать ему в кафе пощечину.

Измученная этой унизительной борьбой, Марта взяла однажды Арсена за руку и, поднеся ее к губам, сказала: «Ты мой лучший друг, я прошу тебя о последней услуге, самой трудной для тебя и особенно для меня. Ты должен проститься со мной навсегда. Не спрашивай почему; я не могу и не хочу сказать тебе это».

— И не нужно, я давно уже догадался,— ответил Арсен.— Ты ничего не говорила мне, и я думал, что мой долг оставаться до тех пор, пока тебе нужно будет мое покровительство. Но раз, вместо того чтобы помогать, оно вредит тебе, я ухожу. Только не говори, что это навсегда, и обещай, что позовешь меня, как только я буду тебе нужен. Стоит тебе сказать слово, подать мне знак — и я буду подле тебя. Знаешь, Марта, если хочешь, я каждый день буду проходить мимо твоего окна, привяжи только к ручке окна платок, ленту, какой-нибудь другой предмет, и в тот же день я прибегу. Обещай мне.

Марта, плача, пообещала. Арсен больше не возвращался. Но для Ораса и этого было мало. Однажды, когда он, как обычно, увел Марту к себе, мы напрасно прождали ее к ужину, а вечером получили от нее такую записку:

«Не ждите меня, дорогие, благородные друзья. Я не вернусь больше в ваш дом. Я узнала, что своим благополучием была обязана не только вашему великодушию, но что долгое время мне по-

могал Поль, как помогает и теперь, поскольку вся мебель, которую вы якобы ссудили мне, принадлежит ему. Вы понимаете, что, узнав об этом, я не могу больше ею пользоваться. К тому же люди так жестоки, что дурно истолковывают самые добродетельные чувства. Не хочу повторять вам все сказанные обо мне низости. Я предпочитаю положить им конец и, с болью отрываясь от вас, говорить лишь о вечной моей признательности за вашу доброту и о неизменной привязанности, какую всегда будет испытывать к вам

ваш друг *Марта»*.

— Еще одна подлость Ораса! — воскликнула в негодовании Эжени.— Он выдал тайну, которую я доверила ему, рассчитывая на его порядочность.

— Человек может проговориться в приступе гнева,— ответил я,— это случилось, наверное, после какой-нибудь ссоры.

— Марта погибла,— продолжала Эжени,— погибла навеки! Теперь она безоглядно отдалась дурному человеку!

— Не дурному, Эжени, а, что еще страшнее для нее, слабому человеку, которым руководит тщеславие.

Я тоже был возмущен и крайне охладел к Орасу. Предчувствуя несчастья, грозившие Марте, я тщетно пытался предотвратить их. Все наши старания вернуть ее оказались безуспешными. Предвидя, что без борьбы мы не уступим ему его жертву, Орас поспешил переменить квартиру. Он снял комнату в другом квартале и жил там с Мартой так уединенно, что нам потребовалось больше месяца, чтобы отыскать их. Когда же это удалось, было уже слишком поздно убеждать их менять решение и сложившиеся привычки. Наши увещания только сильнее восстановили обоих против нас. Орас так подчинил себе свою любовницу, что она совсем перестала нам доверять. Забывая, что нередко она сама рассказывала нам о всех обидах, какие он причинял ей, она хотела, чтобы отныне мы поверили в ее счастье, и упрекала нас, будто мы без всякого основания приписываем ей какие-то страдания, которые между тем наложили уже глубокий отпечаток на ее лицо. Мы предвидели, что если не теперь, то скоро ей понадобятся деньги и работа, но не могли уговорить ее принять от нас хотя бы незначительную помощь. Она отклонила наши предложения даже с каким-то высокомерием, которого раньше никогда не проявляла.

— Я все равно стала бы бояться,— сказала она,— не скрывается ли опять за вашими услугами какое-нибудь благодеяние Арсена; и хотя мне известно, как вы были всегда великодушны ко мне, признаюсь, мне трудно простить вам справедливое недоверие Ораса, вызванное таким положением вещей.

В своей преданности несчастной подруге Эжени доходила до истинного героизма; но все было тщетно. Орас ненавидел ее и настраивал против нее Марту. Все проявления нашей предупредительности принимались сдержанно, даже холодно. В конце концов это обидело и утомило нас; поняв, что нас избегают, мы не захотели быть навязчивыми. За всю зиму мы виделись не больше трех раз; а весной, встретив однажды Ораса на улице, я убедился, что он притворяется, будто не узнает меня, видимо желая избежать разговора. Это дало нам повод считать, что мы окончательно рассорились, чем я был очень огорчен, а Эжени и того больше. Она не могла без слез произносить имя Марты.

ГЛАВА XVIII

Из романов, по которым Орас изучал женщин, он вынес о них такое смутное и противоречивое представление, что играл с Мартой, как ребенок или кошка играют с каким-нибудь неизвестным предметом, одновременно и притягивающим и пугающим. После мрачных, фантастических женских образов, которыми романтизм насытил воображение молодых людей, в литературе начал возрождаться стиль, характерный для искусства восемнадцатого века,— стиль *помпадур,* как стали его называть, и нашими грезами завладели красавицы более соблазнительные и опасные. Жюль Жанен дал к этому времени, как мне кажется, удачное определение *прелестного* во вкусах, в искусстве, в моде. Он давал его по любому поводу, всегда изящно и остроумно. Школа Гюго украсила *уродливое* и отомстила за него классической школе с ее каноном *прекрасного.* Школа Жанена облагородила *манерное* и вернула ему все обаяние, слишком долго отрицавшееся и заклейменное суровым презрением наших республиканских вкусов. Литература творит иногда такие чудеса совершенно незаметно. Она воскрешает поэзию прошлых времен и, предавая забвению все, что некогда вызывало справедливую критику, доносит до нас, как забытый аромат, неоцененные нами до сих пор богатства стиля, который уже не вызывает нападок, ибо перестал господствовать безраздельно. Искусство, хотя оно и выступает в роли эгоиста *(искусство для искусства),* само того не подозревая, формирует прогрессивное мировоззрение. Оно мирится с ошибками и неудачами прошлого, чтобы, как в музее, сохранить реликвии побед.

Орас обладал силой воображения и впечатлительностью, исключительными даже для нашего весьма впечатлительного века. Он жил скорее вымыслами, чем действительностью, и рассматривал свою новую возлюбленную как бы сквозь призму различных жен-

ских образов, известных ему из прочитанных книг. И хотя в поэмах и романах образы эти были исполнены обаяния, они отнюдь не были подлинными живыми типами современной действительности. Это были призраки прошлого, веселые или грозные. Эпиграфом к своим прекрасным наброскам Альфред де Мюссе взял слова Шекспира: «Коварна, как волна»; изображая самые идеальные и безупречные женские характеры, но по привычке видя в женщинах всех времен опасных «дочерей Евы», он колебался между свежими, чистыми красками и мрачными, изменчивыми тонами, что доказывало собственную его неуверенность. Этот поэт-дитя имел огромное влияние на ум Ораса. Пленившись вдруг Порцией или Камарго, Орас загорался желанием, чтобы бедная Марта походила на ту или на другую. На следующий день после появления нового фельетона Жанена она должна была превратиться в изящную, кокетливую патрицианку. После романтических хроник Александра Дюма она становилась тигрицей, и обращаться с ней следовало по-тигриному. А после «Шагреневой кожи» Бальзака делалась таинственной красавицей, каждый взгляд, каждое слово которой скрывали беспредельную глубину.

Увлеченный чужой фантазией, Орас забывал заглянуть в собственное сердце, чтобы найти там, отраженный как в зеркале, подлинный образ своей подруги. Поэтому первое время он метался, превращая ее то в героиню Шекспира, то в героиню Байрона.

Эта ложная оценка отпала наконец, когда благодаря совместной жизни он открыл в подруге настоящую женщину нашего времени и нашей страны, быть может столь же прекрасную в своей простоте, как вечно живые героини великих мастеров, но измененную окружающей средой и никак не желавшую превращать скромную семейную жизнь студента наших дней в бурную сцену из средневековой драмы. Постепенно Орас поддался очарованию ее нежной любви и беспредельной преданности. Он уже не восставал против вымышленных опасностей, он наслаждался счастьем жизни вдвоем; и присутствие Марты стало для него столь же необходимым и спасительным, сколь раньше казалось гибельным. Но счастье не сделало его общительным и доверчивым; оно не привело его к нам, не внушило великодушия по отношению к Полю Арсену. Орас ни разу не отнесся к Марте со справедливостью, заслуженной ею и в прошлом и в настоящем; вместо того чтобы признать, что он плохо ее понял, Орас приписал победу, якобы одержанную им над воспоминанием о Мазаччо, своему ревнивому владычеству. Марте хотелось бы внушить ему более благородные чувства; она страдала, видя, что гнев и ненависть в любой момент готовы вспыхнуть при одном слове, сказанном в защиту ее отвергнутых друзей. Стремясь сохранить спокойствие своего

рабского существования, она, к стыду своему, вынуждена была постоянно принимать тщательные предосторожности, чтобы устранить всякую тень подозрения. У нее не было никакого стремления к независимости, ее любовь чуждалась этого чувства; и когда она увидела наконец, что Орас доволен ее жертвами и гордится ее преданностью, она тоже почувствовала себя счастливой и ни за что на свете не согласилась бы переменить господина.

Но это счастье было несовершенным и как бы порочным, ибо ни один из любовников ничего не выигрывал ни в нравственном, ни в умственном отношении, как это бывает при более возвышенной любви. Мне кажется, прекрасна та страсть, что облагораживает нас и укрепляет в ощущении красоты чувств и величия идей; дурна та, что приводит нас к эгоизму, страху и убожеству слепого инстинкта. Следовательно, каждая страсть законна или преступна в зависимости от ее результата, хотя официальное общество, которое не выражает подлинного мнения человечества, зачастую освящает дурные страсти и преследует хорошие.

Обычно мы рождаемся и умираем в неведении этих истин и поэтому испытываем все несчастья, связанные с их искажением, не зная, откуда приходит беда и как ее предотвратить. Тогда мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить причину наших страданий, полагая, что смягчаем их средствами, которые на деле только усугубляют их.

Так жили Орас и Марта: он надеялся достичь спокойствия, усиливая свою подозрительность и принимая всяческие меры предосторожности, дабы властвовать безраздельно; она надеялась умиротворить эту мятежную душу, принося ему жертву за жертвой и, таким образом, день ото дня давая больший простор его мучительной для обоих тирании, ибо во всех случаях деспотизма угнетатель страдает в той же мере, как и угнетенный.

Итак, малейшее затруднение неизбежно должно было нарушить это хрупкое счастье, и, усмирив ревность, Орас неизбежно должен был почувствовать пресыщение. Так и случилось, как только он столкнулся с житейскими трудностями. За дверью подкарауливал враг — нужда. Три месяца Орас удачно ускользал от нее, вручив Марте небольшую сумму денег, которую родители прислали ему сверх обычного его пенсиона. Эту сумму он испросил на покрытие «непредвиденных» долгов, признавшись родителям лишь в небольшой их части, ибо долги его намного превышали бюджет всей семьи. Но вместо того чтобы этими деньгами погасить хотя бы часть долга, он употребил их на повседневные нужды своего нового хозяйства и выдал кредиторам лишь небольшие суммы «в счет долга», которые они милостиво согласились принять. Меньше других страшило это неизбежное банкротство

портного. Я представил ему поручительство за Ораса, в чем начинал уже раскаиваться, ибо расходы шли своим чередом, и всякий раз, когда портной предъявлял счет, Орас выходил из положения, прибегая к туманным обещаниям и новым заказам, которые становились все более значительными, по мере того как возрастали долги: теперь он уже не смел ограничивать свое франтовство, к которому в собственных интересах обязывал его поставщик. Когда я убедился в спекулятивных расчетах портного и в неслыханном легкомыслии Ораса, я счел себя вправе ограничить свое поручительство суммой уже понесенных расходов и сообщил портному, что на будущие заказы оно не распространяется. Я и без того взял уже на себя обязательства, превышающие мой скромный годовой доход, и, предчувствуя денежные затруднения, которые действительно испытывал потом в течение десяти лет, не считал себя вправе навязывать их людям, более дорогим мне и близким, чем этот новый друг, нисколько не заботившийся о поддержании своей и моей чести. Узнав о принятых мною мерах, Орас был возмущен моим, как он выразился, недоверием и написал мне письмо, исполненное горечи и гордыни, которым ставил меня в известность, что не желает более принимать от меня какие-либо услуги, что пользовался моим покровительством, сам того не зная и совершенно забыв обо всех моих хлопотах, что просит меня впредь не вмешиваться в его дела и что портному будет уплачено через неделю. Ему действительно было уплачено, но уплачено мною, ибо Орас столь же быстро забыл свои обязательства по отношению к портному, как и мои поручительства за него самого; я же постарался забыть его безрассудное письмо, которое оставил без ответа.

Но другие кредиторы, которых я не мог держать в узде, начали осаждать его. Это были, несомненно, ничтожные долги, которые вызвали бы только улыбку у какого-нибудь расточителя с Шоссе д'Антэн; но все в мире относительно, и для Ораса эти затруднения были огромны. Марта ничего не подозревала. Он не позволял ей зарабатывать на жизнь и скрывал от нее свое положение, чтобы не вызвать у нее угрызений совести. Он питал отвращение ко всему, что могло напомнить ему в ней гризетку, и даже неохотно разрешал ей шить для самой себя. Сам же он предпочел бы ходить в рваном белье, лишь бы не видеть, что любимая женщина сидит за починкой. Скромной Марте разрешалось отныне заниматься лишь чтением и туалетами, если она не хотела потерять в глазах Ораса всю поэтичность,— как будто красота теряет свою ценность и блеск, попадая в условия простой и честной жизни. Три месяца должна она была играть роль Маргариты перед этим новоявленным Фаустом: поливать цветы на окошке, по

нескольку раз на день заплетать свои длинные черные косы перед *готическим* зеркалом, купленным ей в подарок по непомерной для его кошелька цене; учиться выразительно читать стихи,—словом, с утра до вечера беспечно позировать перед Орасом. И когда она подчинялась его прихотям, Орас не замечал, что это не подлинная простодушная Маргарита, ходившая в церковь и к фонтану, а Маргарита с виньетки, красавица с цветной открытки.

Наступил все же момент, когда Фаусту не оставалось ничего другого, как признаться Маргарите, что ему нечем ее кормить и что ждать помощи от Мефистофеля тоже не приходится. После того как Орас долгое время мужественно хранил свою тайну, после того как за несколько недель он исчерпал скромные сбережения своих друзей, после того как много дней разыгрывал отсутствие аппетита, отказываясь от еды в пользу подруги, он вдруг впал в отчаяние и, мрачно промолчав целый день, исповедался в своем несчастье с драматической торжественностью, которой вовсе не требовали обстоятельства. Сколько студентов безмятежно засыпают с пустым желудком по меньшей мере два раза в неделю и сколько терпеливых и стойких подруг разделяют их участь, не теряя жизнерадостности и не страшась завтрашнего дня! Марта родилась в нищете; она выросла и расцвела, несмотря на то что нередко ее терзали муки неутоленного голода. Ее очень испугала всерьез разыгранная Орасом трагедия; но она удивилась, что его смущает развязка.

— У меня осталось еще два ржаных хлебца,— сказала она,— на ужин нам хватит, а завтра утром я снесу свою шаль в ломбард. За нее мне дадут двадцать франков, а на это мы можем прожить целую неделю, если ты позволишь мне самой экономно вести хозяйство.

— С каким чудовищным хладнокровием ты говоришь об этом! — воскликнул Орас, подскочив на стуле.— Мое положение поистине постыдно, и я не понимаю, как ты решаешься разделять его. Оставь меня, Марта, оставь меня. Такая женщина, как ты, не должна ни одного дня оставаться с мужчиной, который не способен избавить ее от подобных унижений. Надо мною тяготеет рок!

— Вы не можете серьезно говорить это,— возразила Марта.— Оставить вас из-за того, что вы бедны? Разве я когда-нибудь считала вас богатым? Я всегда предвидела, что наступит момент, когда вам придется разрешить мне снова взяться за работу, и если и согласилась жить на ваш счет, то лишь потому, что знала, какие нам предстоят трудности, и надеялась со временем отблагодарить вас. Полноте, завтра я пойду искать работу и за несколько дней заработаю достаточно, чтобы нам хватило на кусок хлеба.

— Какое убожество! — снова воскликнул Орас, раздражаясь от сознания, что приходится поступиться своей гордостью.— Допустим, тебе удастся оградить нас от голода, а дальше что? Будем носить все свои вещи в ломбард?

— Что же делать, раз нет иного выхода?

— А кредиторы?

— Продадим драгоценности, которые вы дарили мне против моего желания; по крайней мере, выиграем время.

— Дурочка! Это же капля в море. У тебя нет ни малейшего представления о реальной жизни, бедная моя Марта; ты витаешь в облаках и думаешь, будто можно выпутаться из беды так же легко, как в романе.

— Вы сами хотели, чтобы я витала в облаках и в мире романов. Но позвольте мне спуститься на землю, и вы увидите, что я не утратила желания работать и привычки к лишениям. Разве я родилась в роскоши? Разве я всегда была обеспечена? Какое же я имею право быть привередливой?

— Вот, вот,— сказал Орас,— именно это и унижает, именно это и возмущает меня. Ты родилась в нищете; я забыл об этом, потому что в моем представлении ты достойна трона. Я ревниво оберегал аромат твоего врожденного благородства. Мне доставляло удовольствие наряжать тебя, охранять твою красоту, как доверенное мне бесценное сокровище. Теперь же мне предстоит увидеть, как ты будешь бегать по грязи, торговаться с лавочницами из-за каждого су, стряпать, убирать, портить свои прекрасные руки, проводить бессонные ночи, бледнеть, носить стоптанные башмаки, перешивать свои платья — одним словом, жить так, как ты собиралась вначале, когда мы только поселились вместе! Фу! Фу! Одна мысль об этом приводит меня в ужас! Попробуйте при таких условиях вести поэтический образ жизни и сохранить возвышенные идеи! Никогда не смогу я мечтать, мыслить, писать. Если такова ожидающая меня участь, я предпочту пустить себе пулю в лоб.

— За все три месяца нашей беззаботной жизни вы не написали ни строчки,— мягко возразила Марта.— Быть может, нужда неожиданно вызовет у вас вдохновение. Попытайтесь, вдруг вам посчастливится, и вы сразу добьетесь успеха.

— Она читает мне нравоучения, да еще и высмеивает меня! —воскликнул Орас, носком сапога ткнув полено, увы, последнее полено, догоравшее в камине.

— Боже упаси! — ответила Марта.— Я хотела только утешить вас и сказать, что я вовсе не горда; и в тот день, когда вы разбогатеете, я, не краснея, приму вашу помощь. Но пока что позвольте мне работать, Орас. Умоляю вас, позвольте мне жить так, как я считаю правильным.

— Никогда! — решительно возразил он.— Никогда я не соглашусь, чтобы ты снова стала гризеткой, женой студента; это невозможно, я предпочту, чтобы ты оставила меня.

— Какое страшное слово! И вы повторяете его уже третий раз. Значит, вы больше меня не любите, если нищета со мною так пугает вас!

— О боже! Разве я за себя боюсь? Разве не случалось мне уже попадать в отчаянное положение? Теперь я даже не знаю, сильно ли я страдал. Я даже не помню, как я тогда выпутывался.

— Значит, вы тревожитесь за меня? Так успокойтесь: бездействие, на которое я обречена, угнетает, убивает меня; работа не только отвратит нищету, но с нею и жизнь моя станет легче и на сердце будет веселее.

— Но ведь работа, о которой ты говоришь, и нищета, которую ты ни во что не ставишь,— одно и то же; да, Марта, для меня это одно и то же. Нет, нет, мне не вынести этого! Я найду, я придумаю какой-нибудь выход. Возьму в долг последнее экю у маленького Полье и попытаю счастья в рулетке. Вдруг я выиграю миллион!

— Не делайте этого, Орас. Ради всего святого, не прибегайте к такому ужасному средству!

— Ну да, ты ведь предпочитаешь идти в ломбард! В ломбард — пребежище всех самых презренных женщин, всех падших девушек! Это было бы впервые в твоей жизни, не правда ли? Отвечай, Марта! Скажи, что ты никогда там не бывала.

— Пусть даже и была, неужели я стала бы от этого хуже? Если добывать таким способом деньги — позор, то он падает на общество. Поверьте, там скорее встретишь честную мать семейства, чем погибшую девушку, и не одна бедняжка предпочла снести туда последнюю свою тряпку, лишь бы не торговать собою.

— А, ты была там, Марта! Я вижу, ты была там! Ты так непринужденно говоришь обо всем этом, что я совершенно уверен... что это уже не в первый раз... Но постой, зачем было тебе ходить туда? Ведь, живя с господином Пуассоном, ты ни в чем не нуждалась, да и Арсен не пустил бы тебя!

И вместо того чтобы оценить спокойствие и преданность своей возлюбленной, Орас начал ломать голову, отыскивая в ее прошлом какую-нибудь вину, которая могла толкнуть ее на такое крайнее средство, как только что предложенное ею для его спасения.

— Клянусь вам,—сказала Марта, взор которой затуманился от стыда и грусти при упоминании Орасом имени господина Пуассона рядом с именем Арсена,— что завтра я пойду туда первый раз в жизни.

— Но кто подал тебе мысль пойти туда?

— Сегодня утром я прочла один отрывок из «Воспоминаний современницы», где она рассказывает о своей бедности. Она несла в ломбард последнюю драгоценность и, увидев у дверей женщину, плакавшую оттого, что у нее не приняли заклада, поделилась с нею полученными десятью франками. Как это прекрасно, не правда ли?

— Что такое? — спросил Орас.— Я не слушал. Ты рассказываешь мне какие-то сказки, как будто я сейчас расположен развлекаться ими!

Справедливо отмечено, что если уж не везет, то несчастья и неприятности, точно сговорившись, обрушиваются на нас одно за другим. Орас обдумывал способ избавиться от кредитора, с которым два часа назад у него состоялось бурное объяснение, как вдруг вошел господин Шеньяр, хозяин меблированных комнат, и потребовал погашения двухмесячной задолженности за две комнаты, которые Орас снимал у него по сорок франков в месяц. Орас, и без того уже дурно настроенный, принял хозяина весьма холодно и разговаривал с ним свысока, а когда тот стал настаивать и угрожать, окончательно вышел из себя и, в свою очередь, пригрозил выбросить его в окно. Шеньяр был не храброго десятка и удалился, пообещав на следующий день перейти в вооруженное наступление.

— Теперь ты сам видишь, завтра непременно надо идти в ломбард, иначе нам не избежать скандала,— ласкаясь к Орасу, чтобы успокоить его, сказала Марта.— Если ты допустишь, что тебя выгонят из квартиры, другие кредиторы станут еще настойчивее и нам не удастся выиграть время.

— Ну хорошо! Только ты никуда не пойдешь,— сказал Орас,— пойду я сам и снесу свои часы.

— Какие часы? У тебя их нет.

— Какие часы? Матушкины! Ах, проклятие! Да ведь они давно уже там и, несомненно, там же и останутся. Бедная матушка! Если бы она знала, что ее прекрасные старинные часы валяются среди всякой рухляди и мне не на что их выкупить!

— А если вместо них я дам цепочку, которую ты мне подарил? — робко спросила Марта.

— Ты, видно, нисколько не дорожишь знаками моей любви,— сказал Орас, схватив цепочку, лежавшую на камине, и злобно вертя ее в руках.— Не знаю, что удерживает меня от того, чтобы выбросить ее за окно. Так, по крайней мере, она принесет пользу какому-нибудь бедняку, а не исчезнет завтра в пучине ростовщичества, без какой-либо выгоды для нас самих. Замечательный выход, что и говорить! Постой, но у меня есть еще вполь-

не приличные носильные вещи; есть, например, пальто, без которого я прекрасно могу обойтись.

— Твое пальто! В такой холод! Когда подходит зима!

— Пустое! Ты ведь собиралась отнести свою шаль.

— Я никогда не простуживаюсь, а ты уже болен. И потом, разве мужчине подобает самому идти в ломбард закладывать свою одежду? Часы — куда ни шло, это предмет роскоши! Но необходимое! Вдруг кто-нибудь встретит тебя?

— О, если меня встретит Арсен, он скажет: «Вот тот, кто взял на себя заботу о Марте,— должно быть, она очень несчастна, бедная Марта!» Чего доброго, он уже так говорит.

— Как может он говорить то, чего нет?

— Почем я знаю? Но все-таки признайся: он очень торжествовал бы, если бы знал, до чего мы дошли?

— Но ведь не станем же мы рассказывать об этом?

— Ба! С завтрашнего дня ты начнешь поиски работы; вскоре ты обязательно встретишь его,— он постоянно бродит вокруг нашего дома... Ты это отлично знаешь, Марта, не притворяйся удивленной. Так вот! Ты увидишь его; он станет расспрашивать, и в какую-нибудь тяжелую минуту ты расскажешь ему обо всем. Ибо тебя ждут тяжелые дни, бедная моя девочка! Не всегда будешь ты относиться к этому так философски, как сегодня.

— Увы! Я действительно предвижу тяжелые дни,— ответила Марта,— но нищета будет лишь косвенной их причиной. Ревность ваша усилится.

На глазах у нее выступили слезы; Орас осушил их поцелуями и предался восторгам любви, которая всегда была более страстной, чем нежной, а в этот вечер особенно.

ГЛАВА XIX

Марта давно уже встала, когда Орас проснулся. Было поздно. Орас выспался и был в спокойном, благодушном настроении. Его развеселило чириканье воробьев, перекликавшихся на крыше, с которой утреннее солнце согнало выпавший накануне снег.

— Ага! — сказал он.— Холодно и голодно вам там наверху? Пожалуй, еще хуже, чем нам. Если у тебя нет больше хлеба, бедная моя Марта, твои гости останутся без крошек и обидятся.

— Этого не случится,— ответила Марта,— я кое-что припрятала для них вчера от своего ужина — кусочек ржаного хлеба. Наши гости не привередливы, они уже отлично позавтракали.

— Они в более выгодном положении, чем мы, не правда ли?

— Что за беда,— сказала Марта,— зато мы лучше пообедаем.

— Ты говоришь об обеде,— что ж, неплохое утешение для того, кто мечтает о завтраке. Ах, вот как! Значит, ты была уже в ломбарде?

— Нет еще. Ты ведь почти запретил мне это вчера. Я ждала твоего разрешения.

— А я думал, ты уже вернулась,— сказал Орас, зевая.

Марта обрадовалась перемене в его настроении, приписав это пробудившемуся здравому смыслу, хотя в действительности это объяснялось лишь голодом, властно дававшим о себе знать. Она набросила на плечи старую красную шаль, а новую завернула в хорошую бумагу; затем, боясь, как бы Орас не передумал, поспешно вышла. Но через несколько минут вернулась, бледная и расстроенная: господин Шеньяр заставил ее подняться обратно, не очень любезно заявив, что не позволит вынести из дома ни одной тряпки, пока не будет уплачено за квартиру. Возмущенный таким оскорблением, Орас выбежал на лестницу, где все еще брюзжал господин Шеньяр, и между ними завязался горячий спор. Шеньяр держался особенно стойко, ибо у него были свидетели. Предвидя грозу, он подкрепил себя с флангов привратником и еще каким-то советчиком, смахивавшим на судебного пристава. Один из этих приспешников исполнял роль защитника священной особы хозяина, другой — миротворца, готового, впрочем, в любой момент приступить к составлению протокола. Орас прекрасно понимал, что право не на его стороне и что в конечном счете придется капитулировать, но не мог отказать себе в удовольствии осыпать бедного Шеньяра градом язвительных эпитетов и заклеймить его скаредность самыми ядовитыми и оскорбительными выражениями, какие только могли ему прийти на ум. Однако все это вдохновение и желчное остроумие пропали бы впустую, если бы на шум не сбежалось несколько насмешливых слушателей, чье присутствие вполне удовлетворило самолюбие Ораса. Шеньяр, весь красный, брызгал слюной, не помня себя от ярости; судебный пристав, не находя, к чему бы придраться в этой стычке, где прибегают к столь изысканному методу нападения, как сарказмы, терпеливо выжидал, не будет ли произнесено какое-нибудь более резкое и оскорбительное слово, которое явилось бы нарушением порядка, наказуемым по закону. Привратник, недолюбливавший своего хозяина, посмеивался в неопрятную седую бороду над забавными ответами Ораса, а несколько студентов, приоткрыв двери своих комнат, наслаждались колоритным языком этого диалога. Наконец одна из дверей распахнулась, и на пороге показалась огромная фигура с всклокоченной рыжей гривой, укутанная в старый плед, из-под которого торчали тощие волосатые ноги. Обладателем этой диковинной фигуры и непомерно длинных ног был не кто

Opac

иной, как славный Жан Ларавиньер, предводитель бузенготов, поселившийся накануне в комнате, которая сдавалась за пятнадцать франков в месяц, на восхитительных, по его словам, антресолях, где ему приходилось открывать окно и дверь, когда он вытягивал руки, напяливая на себя сюртук.

— Ну и шум, господин хозяин! — сказал он кипевшему гневом Шеньяру.— Смотрите, как бы вас не хватил удар. Но это еще наименьшее зло,— хуже, что вы разбудили в восемь часов утра одного из ваших жильцов, вернувшегося домой только в шесть.

— А вы-то чего вмешиваетесь? — заорал Шеньяр вне себя от злости.

— Что за манеры? Что за нравы, любезный Шеньяр? — продолжал Ларавиньер.— Недолго же будете вы иметь честь и удовольствие видеть меня у себя в доме и получать квартирную плату, если станете в моем присутствии так обращаться с сынами отечества!

— Отечество хочет, чтобы платили долги,— завопил Шеньяр.— Я сам лейтенант национальной гвардии...

— Это мне известно,— хладнокровно возразил Ларавиньер,— поэтому я и призываю вас к спокойствию.

— И свои обязанности гражданина я тоже знаю,— продолжал Шеньяр.

— В таком случае мы договоримся,— подхватил Ларавиньер.— Господин Орас Дюмонте — мой хороший знакомый, и если он нуждается в чьем-либо поручительстве перед вами, охотно предлагаю свое.

Не знаю, в какой мере успокоила хозяина гарантия Ларавиньера, но он искал лишь предлога, чтобы положить конец неприятной сцене, в которой являлся посмешищем. Буря утихла, и впредь до новых событий все разошлись по своим комнатам.

Через четверть часа Жан Ларавиньер, сбросив с себя костюм, торжественно именуемый им римской тогой, и сменив его на более современное и пристойное одеяние, постучался в дверь к Орасу. С тех пор как Орас жил с Мартой, он постарался отдалить от себя всех знакомых, кроме двух-трех приятелей, неспособных вызвать в нем ревность и относящихся к нему с тем почтительным восхищением, которое умному и самонадеянному молодому человеку ничего не стоит внушить десятку более ограниченных и скромных товарищей. Можно мимоходом отметить, что главной причиной гордости, обуревающей в наш век большинство юных талантов, является наивное и щедро проявляемое поклонение окружающих. Но в данном случае это соображение неуместно. Ларавиньер отнюдь не принадлежал к числу поклонников Ораса

и расценивал людей лишь с точки зрения их участия в политической деятельности. И если он зашел к Орасу под предлогом посмеяться вместе с ним над господином Шеньяром, то, вероятно, у него были иные намерения, нежели желание возобновить знакомство, которое никогда не было особенно близким, а в последние два-три месяца, казалось, совершенно оборвалось.

Орас всегда с большим пренебрежением относился к республиканцам, стриженным, как он говорил, под одну гребенку, питавшим нечто вроде презрения к искусствам, литературе и даже науке и, под влиянием учения Бабёфа, готовым разрушить дворцы и построить на их месте хижины. Такие крайние средства были несовместимы со стремлением Ораса к изящному и мечтами его о собственном величии. Он считал Ларавиньера одним из тех орудий разрушения, которым более осторожные революционеры охотно уступают дорогу, не стремясь, впрочем, доверить им свое будущее.

Как бы то ни было, он принял Ларавиньера с распростертыми объятиями, сам не зная почему. Орас был хорошо настроен и заливался веселым смехом: только что он рассказал своей подруге, каким насмешкам подверг бедного Шеньяра, и был рад представить ей свидетеля своей победы. Да и кто из вас, молодые люди, чья судьба всецело зависит от случая, не испытывал подобного чувства? Когда приходишь в отчаяние, всякое знакомое лицо всегда вносит искру надежды и бодрости и располагает к радушию.

Увидев Марту, Жан отступил на шаг, пробормотал какие-то извинения и, казалось, хотел уйти, но Орас удержал его и представил своей подруге; она протянула ему руку в память о той ночной встрече, когда он с такой готовностью и почтительностью оказал ей помощь, и, улыбаясь, попросила рассказать о ссоре с Шеньяром.

После того как они вдоволь посмеялись над этим происшествием, Ларавиньер увел Ораса в коридор и сказал ему:

— Судя по тому, что сейчас случилось, я вижу, вы попали в финансовый кризис, хорошо знакомый всем нам по опыту. Я не предлагаю заплатить за вас господину Шеньяру — этого я сделать не могу, к тому же при умелом с ним обращении его можно будет укротить до следующего раза; но если вам пригодятся несколько экю, которые никогда не бывают лишними и которые особенно трудно найти именно тогда, когда в них больше всего нуждаешься, я готов поделиться с вами пятью или шестью оставшимися у меня монетами.

Орас колебался. В беседах с Мартой и со мною он нередко довольно зло отзывался о Ларавиньере, затаив в душе обиду на

него за то, что тот когда-то похвастался поддержкой, оказанной им беглянке из кафе Пуассона; наконец, ему неприятно было воспользоваться услугой малознакомого человека. Но при мысли о бедной Марте, оставшейся без завтрака, он передумал и с искренней благодарностью согласился принять деньги.

— С обязательством возврата,— сказал Ларавиньер.— Вам не за что благодарить меня. Когда мы поменяемся местами, мы поменяемся и ролями. Каждому свой черед.

— Я именно так и понимаю,— ответил Орас. Как только он положил деньги в карман, он сразу почувствовал себя с Ларавиньером несколько напряженно и неловко.

Таким образом, на сей раз обошлось без посещения ломбарда, этой подлинной голгофы отчаявшихся. Тем не менее Марта продолжала настаивать на своем желании искать работу. Взяв с нее клятву, что она не обратится к Эжени, Орас разрешил ей начать необходимые хлопоты. Первое время они были почти безуспешны; работу ей удалось найти не скоро. Все же несколько недель спустя она могла, как обещала, заработать на пропитание; новые займы у Ларавиньера обеспечили остальное; кроме того, Орас тоже серьезно намеревался работать, чтобы расплатиться с долгами.

Однако, несмотря на старания Марты и решимость Ораса, бедные любовники испытывали все возраставшие денежные затруднения. Марта покорилась судьбе с чувством какого-то грустного удовлетворения. Как она ни уставала, она была горда, что отныне стала опорой существования своего возлюбленного,— ибо, надо признаться, без ее усилий они частенько сидели бы без обеда. Иногда ей удавалось повлиять на Ораса и уговорить его пенею каких-нибудь жертв умилостивить кредиторов. К тому же кредиторы студента более сговорчивы, чем кредиторы какого-нибудь денди. Они отлично знают, что за сынком буржуа деньги не пропадут, если даже и задержатся,— вернувшись в семью, юный провинциал сочтет для себя вопросом чести расплатиться с долгами. Делается это медленно; но в конце концов полного банкротства среди этого класса не случается, а безденежье бывает преходящее. Поэтому Орасу по-прежнему был открыт кредит у его поставщиков, что позволяло ему, как всегда, одеваться довольно элегантно. Но странное и все же обычное явление! Страсть к расточительству возрастала в нем вместе с вытекавшими из нее последствиями — тревогой и денежными затруднениями. Такова особенность легкомысленных характеров: лишения и преграды только возбуждают в них жажду наслаждений, и они с удвоенной энергией принимаются прожигать жизнь. После того как Орас открыл своей щепетильной подруге истинное положение

дел, после того как он показал ей письма матери, полные нежных упреков и вполне справедливых сетований, стало уже невозможно обманывать Марту или уговорить ее бросить работу и отказаться от соблюдения строгой экономии. Это могло вызвать осуждение с ее стороны, а Орас нуждался в восхищении не меньше, чем в любви. Итак, приходилось мириться с тем, что Марта вернулась к своим скромным привычкам, и разыгрывать перед ней стоика. Но эта роль жестоко угнетала его, и вскоре домашний очаг, бывший доселе для него отрадой, стал тяготить его. Скука взяла верх над ревностью. Он принадлежал к тем страстным артистическим натурам, чья любовь иссякает при столкновении с прозаической действительностью. Суровая картина нищенской семейной жизни была чересчур мрачной для его лучезарного воображения. Вместо того чтобы, следуя примеру Марты, отдать все силы работе, он почувствовал, что работать ему стало еще труднее, чем когда-либо. Ему было холодно в плохо отапливаемой комнатушке, а холод, не останавливавший проворных пальцев Марты, парализовал мозг этого молодого человека. Кроме того, скудная пища, которую Марта сама приготовляла со всей заботливостью и тщательностью, стараясь возбудить его аппетит, не была ни достаточно питательна, ни достаточно обильна для поддержания сил двадцатилетнего юноши, привыкшего ни в чем себе не отказывать. Он осыпал свою терпеливую хозяйку грубыми упреками, которые через мгновение вызывали у него самого раскаяние и слезы, но на следующий день повторялись вновь. Он обвинял Марту в мелочной скаредности; и если она, чуть не плача, отвечала, что может тратить на еду лишь двадцать су в день, он иногда язвительно спрашивал, куда же она девала сотню франков, которую он дал ей неделю тому назад, забывая, что сам постепенно, не считая, забрал у нее эти деньги и истратил вне дома на безделушки, на спектакли, на мороженое, на завтраки и ссуды друзьям. Ибо Орас был воплощением щедрости; он не любил возвращать, но давал охотно; и, забывая вернуть два франка, взятые взаймы у какого-нибудь бедняги в рваных башмаках, разыгрывал богача перед веселым приятелем, просившим сорок франков на угощение любовницы. Он принимал ароматические ванны и давал пять франков на чай массажисту; бросал золотой маленькому трубочисту, чтобы увидеть, как тот запрыгает от радости и назовет его «ваше сиятельство»; дарил Марте шелковое платье, совершенно ей не нужное, ибо у нее не было ситцевого; нанимал верховых лошадей для прогулок в Булонском лесу. Словом, те небольшие деньги, которые госпожа Дюмонте умудрялась посылать ему, урезывая насущные потребности семьи, расходились в три дня, и надо было снова возвращаться к вареной

картошке, вынужденному уединению и томительной скуке семейной жизни.

Между тем за медленной пыткой несчастной Марты наблюдал честный и справедливый свидетель. Это был Жан-бузенгот. Его присутствие в доме не было так случайно, как он стремился изобразить. Жан был душой и телом предан человеку, который не мог приблизиться к печальному святилищу, где увядала его любимая, но хотел, по крайней мере, издали украдкой следить за нею и втайне продолжать свои заботы о ней. Этим человеком был Поль Арсен. Глубокое отчаяние, овладевшее им вначале, сменилось стремлением посвятить себя большому общественному делу. Он всегда утешал себя тем, что у него хватит мужества сложить голову во имя республики. Вот почему Арсен обратился к единственному человеку, о котором знал, что он причастен к республиканской организации, и Жан принял его с распростертыми объятиями.

ГЛАВА XX

В те времена самой значительной и лучше других организованной политической ассоциацией было «Общество друзей народа». Многие из его вождей сыграли уже известную роль в движении карбонариев; вместе с другими, более молодыми, они продолжали играть еще более видную роль начиная с 1830 года. Среди людей, появившихся и выросших за это десятилетие и вошедших в историю, «Общество друзей народа» насчитывало таких, как Трела, Гинар, Распайль и другие; но наибольшее влияние на молодых студентов, подобных Ларавиньеру, и молодых республиканцев из народа, подобных Полю Арсену, оказывал Годфруа Кавеньяк. Пожалуй, одному ему не было свойственно ребяческое самодовольство, заметное у большинства выдающихся людей нашего времени, для которых притворство — вторая натура. Высокий рост, благородное лицо, нечто рыцарственное во всем облике, искренние, яркие речи, живость, мужество и самоотверженность — все это воспламенило бы голову воинственного Жана и зажгло бы сердце отважного Арсена, даже если бы Годфруа и не придерживался тех законченных и последовательных социальных идей — я сказал бы, идей философских,— которые сформировались к тому времени в народных обществах. Лишь один этот вождь «Друзей народа» проповедовал в клубах то, что можно назвать учением; учение это во многих отношениях не удовлетворяло еще внутренних побуждений Арсена и больших требований, предъявляемых им к будущему, но, во всяком случае, оно означало огромный и неоспоримый шаг вперед по сравнению

с либерализмом эпохи Реставрации. По мнению Арсена и по всегда суровому и недоверчивому суждению народа, остальные республиканцы были слишком заняты свержением власти и недостаточно заняты созиданием основ республики; когда же они пытались это делать, то в результате получались скорее надуманные регламенты и дисциплина, чем нравственные законы и новое общество.

Кавеньяк готовил прекрасную оппозицию, деятельность которой так бурно и широко развернулась в следующем году, в противовес вялой и лживой оппозиции палаты, и одновременно углублял свое учение, развивая идеи и устанавливая принципы. Он думал об освобождении народа, о бесплатном народном образовании, о праве голоса для всех граждан, о прогрессивном видоизменении права собственности, не включая притом, подобно некоторым нынешним республиканцам, эти ясные и обширные принципы в лицемерный вопрос *организации труда и избирательной реформы,*— понятия весьма гибкие, смысл которых можно сужать и расширять по желанию. В 1832 году никто не боялся, как сейчас, прослыть *коммунистом*; это стало пугалом для людей любых убеждений лишь в наши дни. Суд оправдал Кавеньяка после того, как он сказал с замечательной смелостью: «Мы не оспариваем права собственности. Мы только ставим выше его законную волю общества руководить осуществлением права собственности во имя общего блага». В этой речи, самой законченной и возвышенной из всех произнесенных на политических процессах того времени[1], Кавеньяк сказал: «Мы оспариваем у него *(у вашего официального общества)* монополию на политические права; но не затем, чтобы требовать ее лишь для талантливых людей. По нашему мнению, талантлив тот, кто полезен. Любая деятельность обеспечивает человеку его права».

Арсен присутствовал на этом процессе; он слушал со сдержанным волнением. В то время как большинство слушателей, подчиняясь магнетизму страстной речи и всего облика оратора, всегда столь властно действующему на массы, разражалось бурными аплодисментами, он хранил глубокое молчание, хотя и был потрясен сильнее всех, и не слушал больше в этот день ни одного выступления[2]. Он всецело погрузился в мысли, пробужденные в нем Годфруа, и ушел, охваченный идеей, которую изложил мне в следующих словах:

---

[1] Процесс против права ассоциаций в 1832 году.

[2] Между тем на этом же заседании Плок произнес прекрасные слова: «Разве не логично, что нужда и обездоленность могут требовать права назначать своих представителей — адвокатов голода, нищеты и невежества?»

«Религия, как мы ее понимаем, есть священное право человечества. Речь идет теперь уже не о том, чтобы запугивать преступника страшной карой после смерти или обещать несчастному утешение по ту сторону могилы. В этом мире нужно установить высокую нравственность и общее благополучие — то есть равенство. Нужно, чтобы звание человека давало всем, кто его носит, священное уважение к их общим правам, почтительное сочувствие к их нуждам. Наша религия — это такая религия, которая превратит ужасные тюрьмы в исправительные приюты и во имя неприкосновенности человеческой личности отменит смертную казнь... Мы не принимаем веры, которая все переносит на небеса, которая равенство перед богом сводит к равенству после смерти, признанному не только христианством, но и язычеством...»

— Теофиль,— воскликнул Арсен, пожимая мне руку,— вот великие слова, вот новая мысль — по крайней мере, для меня. Я столько думаю над этим, что все мое прошлое, другими словами, все, во что я верил еще вчера, рушится у меня на глазах.

— Не думайте, что эта мысль принадлежит только услышанному вами оратору,— ответил я.— Эта мысль принадлежит веку, и не раз уже излагали ее в самых различных формах. Можно даже сказать, что идея эта господствует в наших революциях вот уже сто лет, а в истории человечества — с тех пор как оно существует, ибо в ней человечество инстинктивно открыло свои права, выразив их с большей силой, чем в религиозной идее аскетизма и отречения. Но когда права человека, рассматриваемые с религиозной точки зрения, провозглашаются революционером,— это явление новое и значительное. Давно уже ваши республиканцы забывают, что их теории должны иметь божественную санкцию. Я как *легитимист*...— добавил я улыбаясь.

— Не говорите так,— горячо возразил Поль Арсен,— вы не легитимист в обычном смысле этого слова; вы понимаете, что законность правления определяется волей народа.

— Правильно, Арсен, я глубоко это чувствую, и хотя мой отец по происхождению был связан с людьми прошлого, а совесть не позволяла ему порывать эту связь, он на старости лет сумел подняться до понимания общественных отношений будущего и уважения к ним. Разве он был одинок среди умов того поколения? Разве Шатобриан сотни раз не говорил себе, что бог выше королей,— в том же смысле, как Годфруа Кавеньяк провозглашал сегодня превосходство права общества над правом богачей?

— Тем лучше,— сказал Арсен.— Значит, верно, что мы имеем право на счастье в этой жизни, что не грех стремиться к нему

и что сам бог вменяет нам это в обязанность? Такая мысль никогда не приходила мне в голову. Я колебался между убеждениями революционера, делавшими меня почти атеистом, и пережитками детского благочестия, доводившими мою сострадательность до малодушия. Ах! Если бы вы знали, как бессердечно жесток был я в течение трех дней моего исступления! Я убивал людей, я говорил им: «Умри, ты, который заставлял умирать! Будь убит, ты, который убиваешь!» Это казалось мне осуществлением какого-то дикарского правосудия; но я чувствовал, что мною движет сверхъестественная сила. Затем, когда я успокоился, когда преклонил колена у июльских могил, я вспомнил о боге, о том боге смирения и покорности, которому меня учили молиться, и мной овладели сомнения. Я спрашивал себя, не будет ли мой брат проклят за то, что поднял руку против тирании? И не буду ли я сам проклят за то, что отомстил за своего брата и всех своих братьев из народа? Тогда я предпочел не верить ни во что, ибо не мог понять, почему во имя распятого Иисуса я должен позволить его служителям распять меня. Вот до чего дошли мы, дети невежества: мы либо атеисты, либо суеверны, а нередко и то и другое вместе. О чем же думают наши учителя, республиканские вожди, почему не говорят они о самом существе нашего бытия, о движущей силе всех наших действий? Неужели они считают нас просто животными, раз обещают нам лишь удовлетворение материальных потребностей? Разве они думают, что у нас нет потребностей более возвышенных — как потребность в религии, например,— или считают это только своей привилегией? Или, может быть, как раз у них и нет таких потребностей? Может быть, они люди еще более грубые и неверующие, чем мы? Так вот,— добавил он.— Годфруа Кавеньяк будет моим жрецом, моим пророком; я пойду к нему и спрошу, что следует думать обо всем этом.

— Он наговорит вам только множество красивых слов, дорогой Арсен,— ответил я.— Еще раз, не думайте, что это направление является единственным очагом новых идей. Усовершенствуйте свой ум для более широкого понимания духа нашего времени. Не доверяйтесь безраздельно тому или иному человеку, как если бы он был воплощением истины, ибо люди изменчивы. Порой они отступают, думая, что стремятся к благородной цели. Есть и такие, что вместе с молодостью теряют свой благородный пыл и неизвестно почему развращаются! Но займитесь серьезно теми самыми вопросами, решения которых вы ищете. Просвещайтесь, черпая из самых различных источников. Наблюдайте, читайте, сравнивайте и размышляйте. Ваша совесть поможет вам обнаружить логическую связь между многими противоречивыми на первый взгляд мнениями. Вы увидите, что честные люди различаются между со-

бой не столько существом идей, сколько словами, их выражающими, что иногда лишь ревнивое самолюбие является для них препятствием к единству верований, но что между этими людьми и власть имущими лежит огромная пропасть, отделяющая нужду от роскоши, самоотверженность от эгоизма, право от силы.

— Да, нужно учиться,— сказал Арсен.— Увы! Если бы у меня было время! Но, просидев целый день за подсчетами, к вечеру я уже не в состоянии читать; глаза невольно слипаются, или, наоборот, я прихожу в возбуждение и, не улавливая смысла прочитанного, начинаю грезить наяву и перелистываю воображаемые страницы своих собственных вымыслов. Давно уже я хочу узнать, что такое *фурьеризм*. Сегодня Кавеньяк говорил о нем, а также об «Энциклопедическом обозрении» и *сенсимонистах*. О них он сказал, что, несмотря на все ошибки, они самоотверженно отстаивали полезные идеи и развивали принцип ассоциаций. Эжени, я пойду послушаю их проповеди.

Здесь Эжени была в своей сфере; она всегда горячо ратовала за восстановление женщины в ее правах. Она принялась поучать своего друга Мазаччо, чего до сих пор никогда не делала, ибо принадлежала к тем осторожным и чутким натурам, которые решаются употреблять свое влияние, лишь будучи уверенными в успехе. Эжени умела ждать так же, как умела выбирать. Вряд ли она больше десяти раз говорила мне о своих сенсимонистских верованиях, но всегда ее слова производили на меня глубокое впечатление. Занимаясь изучением этой философии, я знал все ее сильные и слабые стороны, может быть, лучше самой Эжени. Однако меня всегда восхищали чистота намерений, проницательность и такт, с какими она умела без лишних слов устранять из споров, в которых учение искажалось второстепенными приверженцами, все, что возмущало ее врожденное благородство и скромность; и часто она a priori [1] извлекала из туманных разглагольствований учителей именно то, что отвечало ее врожденной гордости, прямоте и любви к справедливости. Иногда я говорил себе, что Эжени могла бы явиться той сильной и умной женщиной, которую *апостолы* призывали сформулировать права и обязанности женщин. Но, помимо того, что ее сдержанность и скромность помешали бы ей подняться на подмостки, где слишком часто вместо человеческой драмы разыгрывалась социальная комедия, в среде самих сенсимонистов, при неизбежной в те времена неустойчивости их принципов, одни сочли бы ее слишком нетерпимой, другие — слишком независимой. Час еще не пробил. Сенсимонизм завершал новую фазу своего развития, после которой должна была образо-

[1] Заранее *(лат.)*.

ваться пустота. Эжени чувствовала это и предвидела, что понадобится, может быть, десять, двадцать лет передышки, прежде чем сенсимонизм возобновит свое движение вперед.

Поль Арсен, пораженный тем, что успел узнать от нее в первом же разговоре, пошел послушать проповеди сенсимонистов. Он завязал знакомства с молодыми апостолами и, не имея времени на то, чтобы учиться, в самих спорах вырабатывал свои убеждения, симпатии, идеалы. То был стремительный и глубокий переворот в духовной жизни этого человека из народа: до сих пор он не лишен был предрассудков, теперь он потерял их или — по меньшей мере — обрел силы их преодолеть. Любовь, которую он так и не мог заглушить в себе (хотя делал для этого все возможное), закалилась в горниле этих новых, ранее ему недоступных мыслей и приняла характер еще более спокойный и благородный,— характер, если так можно выразиться, религиозный.

Действительно, до сих пор Марта была для него лишь предметом упорной, непобедимой страсти... Сотни раз проклинал он эту страсть, которая черпала новые силы во всем, что, казалось, должно было бы ее погасить. Но страсть эта владела благородным сердцем и, хотя была таинственна и непонятна даже для того, кто испытывал ее, приводила лишь к беспримерному и безграничному великодушию. Какую ужасную борьбу вела с собой эта гордая, непреклонная душа! Как стыдился Арсен, сознавая, что является рабом привязанности, которую, при его взглядах и суровом воспитании, ему следовало бы порицать! Неужели он, человек строгих нравов, мог с такой силой влюбиться в бывшую любовницу Пуассона, а теперь любовницу другого? Никогда не стремился он воспользоваться той слабостью и способностью целиком отдаться увлечению, которые угадывал в Марте, чтобы вырвать тайком — в знак признательности, в знак пылкой дружбы — те милости, что считал возможными лишь при настоящей, длительной любви. Но хотя надеяться ему было почти не на что, он постоянно ловил себя на том, что жаждет окончания ее романа с Орасом и лелеет мечту о своем законном браке с нею. Здесь как раз подстерегали его и начинали мучить собственные неизжитые предрассудки, осуждение близких, негодование сестры Луизы, ужас сестры Сюзанны, боязнь прослыть смешным, какой-то ложный стыд, от которого подчас не свободны даже возвышенные и сильные характеры, ибо стыд этот внушается общественным мнением, так же как уважение к себе и другим. Тогда Арсен попытался вырвать любовь из своей груди, как отравленную стрелу. Но его евангельская натура противилась этому, он должен был любить. Он призывал на помощь ненависть и презрение, но они отказывались войти в сердце, исполненное всепрощения, ибо оно было исполнено справедливости.

Эту зиму, проведенную вдали от Марты, он посвятил изучению религии, природы и общества, усваивая все новые и новые воззрения; по очереди и одновременно он был фурьеристом, республиканцем, сенсимонистом и христианином (ибо он читал также «Будущее» и горячо поклонялся Ламенне); из всех этих обрывков Арсен не мог построить цельной и стройной системы взглядов, но он все же чудесным образом очистил свою душу, возвысил свой ум и облагородил свое и без того прекрасное сердце. С каждым днем, с каждой неделей я все больше поражался и восхищался его быстрыми успехами. В конце концов я открыл его убежище и, не обращая внимания на негостеприимство старшей сестры, иногда по вечерам заходил к нему и заставал его погруженным в размышления. Пока сестры работали, болтая между делом всякий вздор, он сидел в конце стола за книгой, подперев голову руками, и, полузакрыв глаза, читал или думал при тусклом свете лампы, едва доходившем до него. Судя по желтому цвету лица, усталым глазам и унылой позе, его можно было принять за человека, измученного изнурительным трудом и нищетой; но стоило ему заговорить, как взгляд его загорался, морщины разглаживались и речь звучала со все возраставшей силой. Я уводил его прогуляться по набережной, и там, покуривая сигары, мы дружески беседовали. Обсудив вопросы общего порядка, мы переходили к своим личным переживаниям; он часто разговаривал со мной о Марте:

— Будущее за мной; царствование Ораса продлится недолго. Бедняга не понимает, какое счастье ему досталось, он не радуется ему и никогда не сумеет им воспользоваться; вы увидите, Марта узнает, что такое настоящая любовь, когда почувствует, как мало величия и искренности в той любви, которую она внушает сейчас. Видите ли, друг мой, я одержал большую победу в тот день, когда понял, что в так называемых ошибках женщины следует винить общество, а не дурные наклонности. Дурные наклонности, слава богу, редки — они исключение. У Марты же наклонности только хорошие. Если вместо меня она выбрала Ораса, значит, тогда я был недостоин ее, а Орас показался ей более достойным. Я был замкнут, суров и, предлагая ей свою преданность, не сумел сказать того, что она жаждала услышать. Воспоминание об ее несчастьях внушало мне только жалость, она это чувствовала,— ей же хотелось уважения. Орасу удалось выразить свое восхищение, и она позволила обмануть себя, но это не ее вина. Теперь я нашел бы нужные слова, чтобы исцелить ее старые раны, успокоить ее совесть и добиться ее доверия, которого раньше не было. Моя суровость отпугивала ее, она боялась моих упреков и питала ко мне лишь холодное уважение, естественное по отношению к разумному и сравнительно доброму человеку. Ей нужна была опора,

спаситель, человек, который открыл бы перед ней новую жизнь, возвышенную и исполненную милосердия. Повторяю, прекрасные глаза и громкие фразы сделали Ораса в представлении Марты апостолом любви. Она последовала за ним. Mea culpa![1]

Я находил, что Арсен из-за чрезмерной снисходительности к людям был несправедлив к самому себе. Ослепление Марты до известной степени объяснялось слабостью и своего рода тщеславием, что у женщин является следствием скверного воспитания и ложных взглядов на жизнь. Для Марты это и вовсе было естественно, так как она не получила никакого образования и ничего не знала из круга тех понятий, которые столь необходимы женщинам всех классов и тем не менее столь мало их интересуют.

Марта все узнавала из романов. Это было лучше, чем ничего. Можно сказать, это было не так уж мало; ибо такое волнующее чтение развивает, по крайней мере, чувство прекрасного и поэтизирует самые ошибки. Но этого было недостаточно. Увлекательный рассказ о человеческих страстях, драма современной жизни, как мы ее понимаем, не раскрывает причин, а изображает только следствия, скорее гибельные, чем благотворные для умов, не приобщенных к какой-либо иной культуре. Я всегда считал, что хорошие романы очень полезны, но лишь как отдых, а не как единственная и постоянная духовная пища.

Я поделился этим соображением с Мазаччо, он же рассудил по-своему: чем более ограниченной в некоторых отношениях считать Марту, тем менее значительной становится ее вина. Он твердо решил когда-нибудь раскрыть ей глаза на подлинное назначение женщины; и когда он развивал передо мной свои идеи, я восхищался тем, что, подобно Эжени, он сумел отбросить из сенсимонизма все неприемлемое для нашей эпохи и извлечь из него апостольскую и поистине божественную мысль о восстановлении в правах и освобождении рода человеческого в лице *женской его половины.*

Меня восхищал также склад ума этого юноши, так неожиданно совместившего в себе способность восприятия, свойственную художнику, со способностью к отвлеченному мышлению. Его ум был одновременно аналитическим и синтетическим; и когда Арсен шел со мною рядом в своей потрепанной одежде и грубых башмаках, я, невольно замечая его заурядный облик и *простонародные* манеры, как истый анатом и френолог, задавался вопросом: почему блеск роскоши и элегантности украшает вокруг нас столько недостойных людей, на челе которых лежит печать умственного, физического и нравственного вырождения?

---

[1] Моя вина *(лат.)*.

ГЛАВА XXI

Добряк Ларавиньер далеко не был таким глубоким философом. По строению черепа он принадлежал скорее к длинноголовым, чем к круглоголовым,— иными словами, он был скорее склонен к восторгам, чем к кропотливым исследованиям. Эта горячая голова вмещала единственную идею — идею революции. Страстно ей преданный и отважный, он предоставлял заботы о будущем многочисленным кумирам, которыми украсил свой республиканский Пантеон: Кавеньяк, Каррель, Араго, Марраст, Трела, Распайль, блестящий адвокат Дюпон и tutti quanti[1] составляли в его сознании руководящий комитет; причем он мало задумывался над тем, смогут ли эти люди, несомненно выдающиеся, но такие же неустойчивые и не сложившиеся, как и современные идеи, сговориться между собою, чтобы управлять новым обществом. Пылкий молодой человек жаждал свержения буржуазной власти; сражаться, чтобы ускорить ее падение,— таков был его идеал. Все, что принадлежало к оппозиции, имело право на его уважение и любовь. Излюбленными словами его были: «Дайте мне дело».

Он проникся горячей дружбой к Арсену, но не потому, что оценил его светлый ум, а потому, что его беспредельную отвагу и беззаветную преданность, о которых был вправе судить, считал равными собственному мужеству и самоотречению. Его очень удивило, что Арсен старается бережно сохранить в душе чувство, не встречающее взаимности, но из любви к нему он поддерживал то, что называл причудой Арсена, и, поселившись под одной крышей с Мартой, постарался завоевать доверие и расположение Ораса. Это была нелегкая роль для такого правдивого человека, как Ларавиньер. Однако он довольно ловко с ней справился, ничем не выказывая дружбы к Орасу, которой, собственно, и не испытывал. Следуя наставлениям Арсена, он был услужлив, общителен и весел с Орасом, но не больше. Легковерное себялюбие Ораса завершило остальное. Он вообразил, что Ларавиньера привлекают его остроумие и обаяние, перед которыми не устояло столько других юнцов. Так оно могло быть, однако было не так. Ларавиньер обращался с Орасом, как обращаются с мужем, которого не хотят обманывать, которого щадят и терпят, чтобы пользоваться дружбой и приятным обществом его жены. В любых слоях общества люди поступают так без всякого злого умысла, а Ларавиньер не только не имел сам никаких личных притязаний, но заранее заявил Ар-

---

[1] И прочие, им подобные *(итал.)*.

сену, что не желает быть предателем и никогда не станет ничего говорить Марте ни во вред ее любовнику, ни в пользу другого. Арсена это вполне удовлетворяло; для него совершенно достаточно было каждый день получать известия о Марте и быть вовремя предупрежденным о неизбежном, по его мнению, разрыве между ней и Орасом, чтобы сохранять твердую, спокойную надежду, которой он только и жил.

Итак, Ларавиньер видел Марту каждый день — иногда одну, иногда в присутствии Ораса, который не удостаивал его ревностью, а по вечерам встречался с Арсеном и целых четверть часа беседовал с ним о Марте, при условии, что следующие полчаса они будут говорить о республике.

Хотя Жан и не собирался быть соглядатаем, вскоре он не мог не заметить раздражительности Ораса и его охлаждения к бедной Марте, и это неприятно поразило его. Над женским характером и женской долей он размышлял не больше, чем над другими социальными вопросами; впрочем, по натуре он был настолько благороден, что всякие размышления на эту тему были для него излишни. Как все сильные и честные люди, он испытывал к женщинам почтительное уважение. Тирания, ревность и насилие всегда являются признаком слабости. Жан никогда не был любим. Из-за своей некрасивой внешности он был крайне сдержан в обращении с женщинами, которых мог бы считать достойными своей любви; и хотя, судя по грубости его языка и манер, его никак нельзя было бы заподозрить в робости, он был так робок, что лишь украдкой осмеливался поднять глаза на Марту. Эту неуверенность в себе он отлично скрывал под личиной беззаботности, о любви же говорил не иначе, как с иронической напыщенностью, невольно возбуждавшей смех. Женщины обычно считали его мужланом, и это мнение установилось так прочно, что от бедного Жана потребовалось бы большое мужество и красноречие, чтобы его опровергнуть. Он сам отлично понимал это; кроме того, потребность в любви, схороненная им в самых дальних тайниках души, была у него настолько робкой, что он не решался подвергнуть себя насмешкам и сомнениям, неизбежным при первом же объяснении. Не в силах хоть на мгновение отречься от взятой на себя роли, он был вынужден посещать женщин слишком доступных, чтобы внушить ему серьезную привязанность, но относился к ним с мягкостью и бережностью, к которой они совсем не привыкли.

Такова судьба многих людей. Из странной гордости они не хотят раскрыть себя и всю жизнь вынуждены нести бремя невинного обмана, в котором все их поддерживают. Но истинный характер все равно сказывается, и, несмотря на пренебрежительную насмешливость, с какой наш бузенгот всегда отзывался о роман-

тических чувствах, он выходил из себя, когда унижали и оскорбляли женщину, кем бы она ни была. Если какой-нибудь негодяй бил на улице проститутку, Жан героически за нее вступался и защищал ее с опасностью для собственной жизни. Еще труднее было ему держать себя в руках, когда он видел, как наносят нежному созданию душевные раны, более чувствительные для возвышенной женщины, чем побои для женщины падшей. Поселившись в доме Шеньяра, он с первых же дней заметил на лице Марты следы слез; нередко при его появлении Орас, с трудом овладев собой, подавлял вспышки гнева. Мало-помалу, перестав считаться с Ларавиньером, Орас перестал себя сдерживать, а Жан не мог долго оставаться безучастным свидетелем его грубых выходок. Однажды он застал Ораса в настоящем бешенстве. Орас провел ночь на балу в Опере, нервы его были возбуждены, и ему взбрело в голову, что Марта, упрекая его за долгое отсутствие, оскорбляет его, посягает на его свободу, проявляет деспотизм. Марта не была ревнива или, по крайней мере, никогда этого не выказывала; но она всю ночь волновалась, потому что Орас обещал ей вернуться к двум часам. Ее пугала возможность какой-нибудь ссоры, несчастного случая, а может быть, и измены. Марта глубоко страдала, но жаловалась лишь на то, что он ее не предупредил; однако ее осунувшееся лицо красноречиво говорило о жестокой тревоге бессонной ночи.

— Ведь это же нестерпимо, когда тебя опекают, как малое дитя, или экзаменуют, как школьника! — жаловался Орас, обращаясь к Ларавиньеру.— Я не имею права уходить и возвращаться, когда мне вздумается, я должен спрашивать разрешения; а если я засижусь хоть немного, передо мной встает назначенный срок, как приговор, как точно установленная мера времени, отпущенного мне для развлечений. Это, право, забавно! Придется, видно, брать отпускное свидетельство и платить неустойку за каждую минуту опоздания.

— Вы же видите, как она страдает,— вполголоса заметил Ларавиньер.

— А я, черт возьми? Не думаете ли вы, что я блаженствую? — громко возразил Орас.— Что же, по-вашему, потакать этим выдуманным, нелепым страданиям, а моими подлинными, глубокими, возрастающими со дня на день муками можно пренебречь?

— Значит, из-за меня вы несчастны, Орас? — сказала Марта, с суровой скорбью поднимая на него большие голубые глаза.— Не знала я, что это дело моих рук.

— Да, несчастен,— закричал он,— ужасно несчастен! Если вам угодно, я при Жане скажу, что из-за вашего вечного уныния мне опротивел собственный дом. Опротивел до того, что только вне дома я свободно дышу, я оживаю, прихожу в себя, а стоит лишь

вернуться домой, как грудь моя сжимается и я чувствую, что умираю. Ваша любовь, Марта, давит меня как пресс, я от нее задыхаюсь. Вот почему с некоторых пор вы реже меня видите.

— Мне кажется, вы ошибаетесь, последовательность иная,— ответила Марта; оскорбленная гордость вернула ей самообладание.— Не моя постоянная печаль побуждает вас отлучаться из дому, а ваши постоянные отлучки вызывают мою печаль.

— Слышите, Ларавиньер,— сказал Орас, который всегда искал моральной поддержки у окружающих и, глядя на хмурое лицо Жана, опасался, что тот его осудит.— Итак, оттого, что я бываю на людях, оттого, что веду жизнь, подобающую мужчине, оттого, что пользуюсь своей независимостью,— я обречен видеть по возвращении расстроенное лицо, горькую улыбку, холодность, выслушивать сомнения, упреки, поучения! Да ведь это же невыносимая пытка!

— Я вижу,— сказал Ларавиньер, поднимаясь,— что обоих вас можно лишь пожалеть. Поверьте моему слову, вам нужно расстаться!

— Он только этого и хочет! — воскликнула Марта, закрывая лицо руками.

— А вы мне это формально заявляете через Ларавиньера? — вскипел Орас.

— Позвольте,— сказал Ларавиньер.— Не заставляйте меня играть неблаговидную роль. Ни вы, ни Марта не поверяли мне своих тайн, и то, что сейчас было сказано, я сказал по собственному побуждению, ибо так я думаю. Вы друг другу не подходите и никогда не подходили; ваше увлечение обращается в ненависть, а вы могли бы разойтись мирно, оставаясь добрыми друзьями.

— Я допускаю, что эта прекрасная речь произнесена по вдохновению и является импровизацией Ларавиньера,— сказал Орас,— но скажите, Марта, выразил ли он действительно ваши чувства?

— Он мог легко предположить их и даже угадать, услышав, как вы обвиняете меня в своем несчастье,— ответила она с достоинством.

Все складывалось совсем не так, как хотелось бы Орасу. Он был не прочь бросить Марту, но не желал быть покинутым ею. Проявленная Мартой твердость, которую внушило ей присутствие Ларавиньера, привела Ораса в исступление. Он вскочил, сломал попавшийся под руку стул и дал полную волю своей ярости и горю. В нем проснулась даже прежняя ревность, и ненавистное имя господина Пуассона из мести было снова пущено в ход; уже готово было сорваться и имя Арсена, но тут Ларавиньер взял Марту за руку и решительно произнес:

— Вы избрали себе в защитники безрассудного и ничтожного мальчишку; на вашем месте, Марта, я не остался бы с ним ни минуты.

— Так уведите ее к себе, милостивый государь! — отвечал Орас с убийственным презрением.— Охотно соглашаюсь, ибо теперь я понял, что происходит между вами.

— У меня, милостивый государь,— возразил Жан спокойно,— она пользовалась бы почетом и уважением, у вас же она подвергается унижениям и издевательствам. Великий боже! — добавил он с внезапным волнением.— Если бы я хоть один день был любим подобной женщиной, я помнил бы об этом всю жизнь...

Голос его пресекся, словно вся накопленная в его сердце нежность вылилась наконец в этих словах. В них прозвучала такая искренность, что притворная или внезапно вспыхнувшая ревность Ораса мгновенно погасла. Волнение Ларавиньера передалось ему, и, подчиняясь той реакции, которую часто вызывают в нас бурные сцены, Орас залился слезами и, протянув Жану руку, горячо сказал:

— Вы правы, Жан. Вы великодушный человек, а я подлец и негодяй! Вымолите мне прощение у этой страдалицы, я недостоин ее.

Это честное и благородное решение положило конец ссоре и даже завоевало бесхитростное сердце Жана.

— Давно бы так,— сказал он, вложив руку Марты в руку Ораса,— вы лучше, чем я думал, Орас. Прекрасно, когда человек умеет так быстро и мужественно признавать свои ошибки. А Марта, разумеется, рада все забыть.

И он убежал к себе в комнату — то ли чтобы не видеть радости Марты, то ли чтобы скрыть прорвавшуюся чувствительность, которую обычно подавлял.

Несмотря на счастливую развязку, подобные сцены стали повторяться все чаще и чаще. Орас любил развлечения и отдавался им с необузданным легкомыслием. Он не мог провести дома ни одного вечера и оживал лишь в партере у Итальянцев или же в Опере. Там, правда, Орас не мог привлекать внимания, но он наслаждался, разглядывая в ложах женщин, выставлявших напоказ свою красоту или наряды перед толпой молодых людей, не имеющих средств, но жаждущих удовольствий, роскоши и богатства. Он знал по именам всех женщин, блиставших в свете, но их титулы, богатство и гордость ставили непреодолимую преграду его вожделениям. Он знал их ложи, их экипажи, их любовников; он стоял на нижней ступеньке лестницы, глядя, как они медленно проходят мимо в дорогих мехах, которые едва прикрывают их обнаженные плечи и подчас, задевая его, спадают совсем, открывая

его дерзкому взгляду невозмутимо дерзкую наготу. Жан-Жак Руссо ничуть не преувеличивал, говоря о необычайном бесстыдстве светских женщин; но то была философическая грубость, которую Орас отнюдь не одобрял. Высокомерные, вызывающие взгляды этих женщин, словно говорившие: «Любуйтесь, но только издали», не охлаждали его честолюбивых стремлений. Наглый взгляд Ораса, казалось, отвечал: «Ко мне это не относится». Словом, волнения сцены, власть музыки, гипноз аплодисментов — все, вплоть до фантасмагории декораций и блеска огней, кружило юноше голову; но в конце концов вина его состояла лишь в том, что он стремился к наслаждениям, которые общество то предлагает беднякам, то отнимает, как воду у жаждущего Тантала.

Неудивительно, что, когда он возвращался в свою темную, жалкую мансарду и видел там бледную, озябшую Марту, задремавшую от усталости у погасшего очага, ему становилось не по себе от двойственного чувства раскаяния и досады. Тогда гроза разражалась по малейшему поводу; а Марта, не находя исцеления от своей злосчастной любви, жаждала конца и страстно призывала смерть.

Стоит лишь однажды приподнять завесу над подобной семейной тайной, как ее участники уже не могут обойтись без помощи третьего лица; к нему прибегают то как к наперснику, то как к судье. Вначале Ларавиньер был посредником. Он сердился, что его вовлекают в эти ссоры, и признавался Арсену, что, несмотря на свое намерение не вмешиваться, у него с Орасом завязалось нечто вроде дружбы. Действительно, Орас относился к нему с доверием и часто проявлял великодушие, все больше покорявшее Жана. Вопреки всем его недостаткам, в Орасе было много прекрасных качеств: вспылив, он быстро остывал; умное слово всегда находило путь к его разуму; дружеское слово еще скорее достигало его сердца; от бешеных порывов гордости и тщеславия он мог внезапно перейти к смиренному и чистосердечному раскаянию. Короче говоря, он по очереди проявлял самые противоречивые черты и наклонности, и описанная нами ссора мало чем отличалась от всех последующих, в которых Ларавиньеру приходилось выступать в роли примирителя.

Однако, когда подобные сцены стали повторяться слишком часто, Ларавиньер, доверяясь, как советовал ему Арсен, непосредственным впечатлениям, стал проявлять меньше снисходительности к Орасу. Частое повторение одной и той же ошибки усугубляет ее и вместе с тем истощает терпение людей, в которых живо чувство справедливости. Постепенно Ларавиньеру так наскучила легкость, с какой Орас каялся и винился, что его восхищение сменилось презрением. В конце концов он понял, что Орас просто сен-

тиментальный болтун, и без всяких угрызений совести отделался от привязанности, которой раньше не мог противиться. Окончательный приговор был суров, но неизбежен со стороны такого твердого и цельного характера, как Жан.

— Мой бедный друг,— сказал он однажды Орасу, когда тот снова просил их рассудить,— не могу дольше скрывать от вас, что меня уже не интересуют ваши любовные дела. Мне надоело наблюдать безумие, с одной стороны, и неизлечимую слабость — с другой. Пожалуй, вернее будет сказать — слабость и безумие и с той и с другой стороны; ибо неизменная любовь Марты к вам — мономания, а все эти бурные сцены, которыми вы нас угощаете,— просто жалкая слабость. Сначала я считал вас эгоистом, потом мне показалось, что вы добры. Теперь я вижу, что вы и не добры и не злы. Вы холодны и любите бесноваться в порыве притворных страстей,— у вас натура комедианта. А когда вам удается взволновать нас вашим неистовством, вашей декламацией, вашими рыданиями, я уверен, вы втихомолку потешаетесь над нами. О, не сердитесь, не вращайте глазами, как Бокаж в роли Буридана, не сжимайте кулаки. Я так часто все это видел, что на все, что вы можете сказать или сделать, я отвечу: старо! Я — пресыщенный зритель и отныне холоден, как человек, имеющий даровые билеты в театр. Я знаю, что вы сильны в драме; но все ваши роли я помню наизусть. Если хотите, чтобы я вас выслушал, перестаньте паясничать, отбросьте свой кинжал и говорите дело. Скажите языком прозы, что вы разлюбили свою любовницу, потому что она вам надоела, и уполномочьте меня дать ей это понять со всеми оговорками и предосторожностями, которых она заслуживает. Только тогда я вам верну свое уважение и буду считать вас порядочным человеком.

— Хорошо,— сказал Орас, едва сдерживая ярость,— я согласен говорить с вами хладнокровно, даже весьма хладнокровно, ибо я умею владеть собой; и для начала скажу вам серьезно и спокойно, что вы мне ответите за все нанесенные сейчас оскорбления.

— Будем говорить начистоту,— возразил Жан.— За этот месяц вы меня вызываете уже десятый раз. Если бы я сейчас поймал вас на слове, это пошло бы вам только на пользу, но мне есть за что проливать свою кровь, и я не стану рисковать жизнью, даже с таким неискусным противником, как вы. Припомните, ведь я выбивал у вас рапиру всякий раз, как мы забавлялись фехтованием, и посему примиритесь с тем, что я отклоню ваш новый вызов.

— Я заставлю вас драться,— сказал Орас, побледнев как смерть.

— Оскорбите меня публично? Дадите пощечину? А в ответ получите подножку и добрый удар «братом Жаном»! Боже меня избави, Орас! Эти приемы хороши для шпиков и жандармов. Знаете, хотя я больше не люблю вас, все же какое-то чувство к вам у меня сохранилось, и я скорее готов снести вашу безумную выходку, нежели на нее ответить. Так что молчите лучше. Предупреждаю, я защищаться не стану, и с вашей стороны будет подлостью напасть на меня.

— Но кто же тут нападает и дает повод для вызова? Кто же из нас подлец, трижды подлец — я или вы? Вы осыпаете меня оскорблениями, всячески унижаете меня, да еще отказываетесь со мной драться. О, теперь я понимаю поединок малайцев, которые вспарывают себе живот на глазах у врага!

— Прекрасная фраза, Орас, но это опять декламация. Какой же я вам враг? Клянусь, я не хотел вас оскорбить. Это всего-навсего небольшое дружеское наставление, и вы можете его выслушать, поскольку сами не раз приходили ко мне за советом. Я и так слишком долго щадил вас, принимая ваши оправдания, и никогда как будто не злоупотреблял вашей откровенностью.

— Но теперь злоупотребляете самым бессовестным образом; я краснею за свою искренность и чистосердечие.

— Какое же это злоупотребление, если я не желаю вас слушать именно потому, что хочу избавить вас от новых унижений?

— Боже мой! Боже мой! Что же я сделал? — воскликнул Орас, плача от ярости и ломая руки.— Чем заслужил подобное обращение?

— Что вы сделали, это я вам сейчас скажу,— ответил Ларавиньер.— По вашей вине страдает и чахнет несчастное создание; она обожает вас, а вы ее даже не уважаете.

— Я! Я не уважаю Марту! Как смеете вы говорить, что я не уважаю женщину, которой я отдал свою молодость, свою жизнь, свое девственное сердце!

— Не думаю, чтобы все это вы делали, принося себя в жертву; я, во всяком случае, мало расположен вас жалеть.

— Потому что вы ничего не смыслите в любви. Не я, а вы холодный, бесчувственный человек.

— Возможно,— сказал Жан, горько усмехнувшись,— но я никем и не прикидываюсь. Однако объясните мне, за что, собственно, вас нужно жалеть?

— Жан,— воскликнул Орас,— вы не знаете, что значит любить в первый раз и быть любимым во второй или третий!

— А, вот оно что! — сказал Ларавиньер, пожимая плечами.— Одна лишь дева Мария достойна Ораса Дюмонте! *Старо*, дорогой

мой! Вы частенько говорили это при мне бедной Марте. Но, видите ли, тот, кто говорит подобные вещи или хотя бы думает о них, сам в лучшем случае достоин мадемуазель Луизон. Какое тщеславие, какое заблуждение! Да есть падшие женщины, которые лучше иных добродетельных юнцов!

— Жан, вы невежа, грубиян, наглец!

— Пусть так, но я говорю правду. Бывают чистые сердца под грязным рубищем — и сердца развращенные под великолепными жилетами.

Орас разорвал на себе жилет алого бархата и швырнул клочья в лицо Ларавиньеру. Жан увернулся и, подбросив их носком башмака, сказал:

— Можно подумать, что вы мало задолжали своему портному!

— Я задолжал вам, милостивый государь,— сказал Орас,— я не забыл об этом, но очень благодарен, что вы мне напомнили.

— Если помните, тем лучше,— беззаботно ответил Жан,— у нас в тюрьмах сидят бедные патриоты, можно будет купить им сигар. Но ваша, кажется, погасла, закуривайте, и давайте мирно побеседуем. Что вы, бесспорно, виноваты перед Мартой, вы, я думаю, отрицать не станете. В какой-то мере я даже готов извинить вас. Вы умны, красноречивы, хороши собой — одним словом, баловень судьбы! Я отлично знаю, что капризы — привилегия не одних только красивых женщин, и не собираюсь требовать от вас благоразумия, свойственного такому человеку, как, скажем, я, у которого всю физиономию точно градом побило и который вообще походит скорее на дикого кабана, чем на доброго христианина. Но я не могу вам простить того, что вам нравится причинять страдания, что вы никак не можете разорвать связь, которая вам опротивела, что вам недостает прямоты,— короче говоря, что вы не хотите исправить зло, которое совершили.

— Но я люблю эту женщину, хотя и причиняю ей страдания! Я не могу с ней расстаться! Я к ней привык, я не в силах жить без нее!

— Будь даже это правдой (в чем я сомневаюсь, поскольку вы стараетесь видеться с ней как можно реже), ваш долг победить любовь, гибельную для нее.

— Если бы я и хотел, она на это никогда не согласится.

— Вы так уверены в этом?

— Она с собой покончит, если я ее покину.

— Если вы грубо и равнодушно ее бросите — возможно. Но если вы расстанетесь с ней как порядочный человек, жертвуя своими эгоистическими привычками во имя чести, во имя самой вашей любви...

— Никогда! Никогда Марта не согласится расстаться со мной! Я слишком хорошо это знаю.

— Ну и самомнение! Уполномочьте меня поговорить с нею так же откровенно, как с вами, и тогда посмотрим.

— Жан, еще раз: вы имеете на нее виды?

— Я? Для этого нужны три условия: во-первых, чтобы во всем мире не было ни одного зеркала; во-вторых, чтобы Марта ослепла; в-третьих, чтобы ни у нее, ни у меня не сохранилось ни малейшего воспоминания о моей физиономии.

— Почему же вы так упорно стремитесь разлучить нас?

— Это я вам скажу напрямик: я на нее имею виды для другого.

— Вам поручили совратить или похитить ее? Для кого же? Для русского князя или какого-нибудь донжуана из «Парижского кафе»?

— Для сына сапожника, для Поля Арсена.

— Как, вы с ним встречаетесь?

— Каждый день.

— И скрывали от меня?.. Как странно!

— Ничего странного нет. Я знал, что вы его не любите, и не хотел, чтобы вы при мне плохо о нем отзывались, потому что я его люблю.

— Итак, вы Меркурий этого Юпитера, обернувшегося дождем из полновесных су, чтобы отстранить меня.

— Тройное оскорбление: *ему, ей* и *мне*. Благодарю покорно! Это тоже из вашей роли? Прекрасно сыграно! Будь я клакером, я отбил бы себе ладони.

— В конце концов, Ларавиньер, от этого можно сойти с ума! Вы, оказывается, действуете против меня, вы меня предаете, хлопочете за другого. А я-то доверял вам!

— И были правы. Я никогда не произносил перед Мартой имени Арсена. Я не только не ссорил вас, но всегда стремился восстановить мир. Отныне я отказываюсь вас мирить: мое сердце, моя совесть мне этого не позволяют. Либо я сегодня же покину этот дом и никогда больше не увижу ни вас, ни Марты, либо, с вашего согласия, предложу ей разорвать связь, которая вас тяготит, а ее губит.

Грубая прямота и неумолимая твердость Ларавиньера одержали верх, и Орас, припертый к стене, не зная еще, как поступить, чтобы вернуть уважение человека, осуждения которого он побаивался, обещал подумать над его словами и попросил несколько дней для окончательного решения. Но дни шли, а он не мог ни на что решиться.

ГЛАВА XXII

Орас не лгал, говоря, что Марта ему необходима. Он не выносил одиночества, не мог обойтись без преданности близкого человека — и потому дорожил Мартой больше, чем смел признаться Ларавиньеру, ибо тот не строил никаких иллюзий на его счет и, догадайся он об истинной причине такого постоянства, несомненно обвинил бы Ораса в эгоизме и тирании. Но Марту было легче обмануть или уговорить. Стоило Орасу проявить испуг или сожаление при мысли о разлуке, как она с готовностью соглашалась героически терпеть все страдания, на которые обрекал ее их несчастный союз.

— Он нуждается во мне больше, чем думают,— говорила она.— У него не такое уж крепкое здоровье, как может показаться. Он постоянно хворает из-за своей чрезмерной нервности; иногда я опасаюсь если не за жизнь его, то за рассудок. При малейшем огорчении он впадает в совершенное неистовство. Затем он рассеян, беспечен — где ему заботиться о себе; не будь меня тут, он всегда витал бы в облаках, забывая и есть и спать. Не говоря уж о том, что у него никогда не хватило бы предусмотрительности каждый день оставлять себе двадцать су на обед. Наконец, он любит меня, несмотря на все его выходки. Как часто в минуты раскаяния и умиления, когда человек не способен притворяться и лгать, он говорил мне, что предпочел бы в тысячу раз больше страдать от своей любви, чем исцелиться, разлюбив меня!

Так отвечала Марта Ларавиньеру; ибо, увидев, что Орас не может ни на что решиться, Жан сам заговорил с ней, предупредив заранее Ораса о своем намерении. Орас, относившийся к Жану с неприязнью после высказанных им горьких упреков, предвидя, что ему уж не отделаться от него без крупной ссоры, насмешливо предложил отвоевать у него сердце Марты и предоставил Жану полную свободу действий. Ораса выводила из себя пренебрежительная самоуверенность Жана, открыто выступавшего против него, однако никаких опасений тот ему не внушал. Он знал, что Жан неловок, робок и более щепетилен и жалостлив, чем хочет казаться, и отлично понимал, что одним лишь словом может рассеять в душе своей кроткой подруги впечатление от самой длинной речи Ларавиньера. Так оно и было. И Орас стал прилагать все усилия, чтобы вновь обрести власть над Мартой, как если бы старался выиграть пари. Часто человек с пресыщенным или охладевшим сердцем затягивает и как бы вновь оживляет неудачную любовную связь, опасаясь, что восторжествуют те, кто предсказывал ей близкий конец! Раскаяние и прощение в таких случаях не все-

гда бескорыстны, и порой честнее было бы, не убоявшись скандала, пойти на неизбежный разрыв.

Итак, все старания Ларавиньера оказались тщетными. С тех пор как он решил спасти Марту, она больше чем когда-либо противилась собственному спасению. Вскоре он убедился, что не только не достиг задуманного, но лишь заставил Марту утвердиться в ее чувстве к Орасу. Он признался Арсену, что не только не помог, но даже повредил ему, а потому решил впредь не вмешиваться, утешаясь мыслью, что Марта, очевидно, не так несчастна, как он полагал.

В ту пору он покинул бы дом Шеньяра, если бы по причинам, не имеющим отношения к нашим любовникам, этот дом не представлял наиболее надежного и удобного убежища для некоторых его тайных замыслов. Почему бы не рассказать об этом теперь, когда храбрый Жан находится уже вне пределов человеческой власти, разделив судьбу всех, кого смерть или бегство избавили от преследований? Жан подготавливал мятеж. С кем — этого я никогда не знал, не знаю и теперь. Может быть, он действовал один; не думаю, чтобы кто-нибудь на него повлиял, убедил его или увлек. Зная его пылкий нрав и снедавшую его жажду деятельности, я всегда думал, что он скорей осудил бы осторожность вождей своей партии и перешагнул бы за пределы их намерений, чем дал им опередить себя в попытке совершить переворот с оружием в руках. Мое общественное положение было таково, что я не мог стать его доверенным лицом. В какой степени доверял он Арсену, я не знал и узнавать не пытался. Известно мне лишь одно, что однажды Орас, неожиданно войдя в комнату Ларавиньера, позабывшего запереть дверь, увидел на полу большой чемодан и вынутые из него пистолеты и карабины, которые Жан осматривал, как человек, знающий толк в обращении с оружием. В том же чемодане лежали патроны, порох, свинец и форма для литья — словом, все необходимое, чтобы отправить владельца этих опасных реликвий под суд, а оттуда на Гревскую площадь или в тюрьму Мон-Сен-Мишель. Орас пребывал как раз в состоянии мрачного уныния. В такие минуты он приходил еще к Ларавиньеру, хотя и поклялся, что этого больше не случится.

— Э, так вы играете в эту игру? — воскликнул он, увидев, что Жан поспешно захлопнул чемодан.— Полноте, что вам от меня скрываться? Я сочувствую вашим взглядам. И если в назначенный час вы мне доверите один из этих кларнетов, я тоже на нем неплохо сыграю.

— Вы действительно говорите то, что думаете, Орас? — спросил Жан, впиваясь в него зелеными, блестящими, как у кошки, глазами.— Вы столько раз высмеивали мои революционные увле-

чения, что я не знаю, могу ли я рассчитывать на вашу скромность. Но все же, как бы мало симпатии ни внушали вам мои стремления и моя особа, надеюсь, вы не станете при всех шутить над свойственным мне пристрастием к огнестрельному оружию, когда вспомните, что я могу поплатиться за это головой.

— Надеюсь, в свою очередь, что вы этого не опасаетесь; повторяю, я не только не осуждаю, но одобряю вас. И завидую вам. Как бы я хотел, подобно вам, иметь твердую веру и убеждения, чтобы умереть за них на баррикаде.

— Ну, если вам так этого хочется, можете обратиться ко мне. Скажите, разве таким пером молодой поэт вроде вас не может написать прекрасную страницу и обессмертить свое имя?

Говоря это, он вскинул небольшой, красиво отделанный карабин, который облюбовал для себя. Орас взял оружие, взвесил на руке, поиграл курком, потом сел, положив карабин на колени, и погрузился в глубокую задумчивость.

— Ради чего жить в такое время? — воскликнул он, когда Ларавиньер, закончив укладку опасных игрушек, потихоньку отнял у него свое любимое ружье.— Наша жизнь — это одни разочарования и муки. Разве не гнусный обман со стороны общества говорить нам: «Работайте, учитесь, будьте образованны, будьте честолюбивы, и вы достигнете всего! Нет такого высокого поста, которого вы не могли бы занять!» Что же делает это лживое и подлое общество, чтобы сдержать свои обещания? Какие возможности предоставляет нам, чтобы развить качества, которых оно от нас требует, и использовать знания, приобретенные для него? Никаких! Оно нас отталкивает, не признает, бросает на произвол судьбы, а не то просто уничтожает. Если мы делаем попытки выдвинуться — оно заключает нас в тюрьмы или посылает на казнь; если мы ведем себя смирно — оно презирает или забывает нас. Ах, вы правы, Жан, тысячу раз правы, готовясь к самоубийству, сулящему вам славу!

— О, если вы думаете, что я забочусь о славе, своей или моих друзей, то глубоко ошибаетесь,— сказал Ларавиньер.— Лично я не имею оснований жаловаться на общество. Я пользуюсь в нем полной независимостью и вкушаю сладостное безделье. Я живу в этом обществе праздным бродягой, настоящим цыганом и занят одним лишь делом — устраиваю заговоры для свержения существующего порядка: ибо народ страдает, и это долг чести всякого, кто ему предан. Бог весть, что из этого выйдет!

— Народ — вот великое слово! — воскликнул Орас.— Но, не в обиду вам будь сказано, мне думается — вам до него не больше дела, чем ему до вас. Вы любите драку и только ее и ищете,—

вот и все, уважаемый мой предводитель: каждый следует своим наклонностям. В самом деле, с какой стати вам любить народ?

— Потому что я сам из народа.

— Вы вышли из народа, но больше к нему не принадлежите. Народ прекрасно чувствует, что у вас с ним разные интересы, и предоставляет вам устраивать заговоры в одиночку.

— Вы ничего в этом не смыслите, Орас, и я не собираюсь объяснять вам; но поверьте, я искренно говорю, что люблю народ. Не спорю, я мало жил с ним, в какой-то степени я все-таки буржуа, и у меня эпикурейские вкусы, которые причинят мне много хлопот, если когда-нибудь у нас установится спартанский режим и запретят пиво и табак «Капораль», но что с того? Народ — это непризнанное право, отвергнутое страдание, попранная справедливость. Это идея, если угодно. Но единственная великая и истинная идея нашего времени. Она достаточно прекрасна, чтобы сражаться за нее.

— Эта идея обратится против вас же, когда вы ее провозгласите.

— Да почему же, если я сам не отрекусь от нее? И ради чего я стану это делать? Как могу я так измениться? Разве идея умирает, как умирает страсть или потребность? Власть народа всегда будет законна, и для ее установления понадобится не один день. Работы мне хватит на всю жизнь, если только смерть не сразит меня в самом начале.

Они не первый раз уже спорили на эту тему, и Жан всегда терпел поражение, хотя на его стороне были истина и убежденность в своей правоте; ум его был недостаточно находчив и гибок, чтобы дать отпор всем возражениям и насмешкам противника. Орас тоже хотел установления республики, но хотел, чтобы от этого выиграли талант и честолюбие. Он говорил, что и народ не прогадает, доверив защиту своих интересов уму и знанию; что долг вождя заботиться о просвещении и благосостоянии народа; но он не признавал за народом права вмешиваться в действия выдающихся людей и отрицал его способность разумно пользоваться этим правом. Немало горечи примешивалось к их спорам, и самый убедительный довод Ораса против буржуазных демократов заключался в том, что они только говорят, но не действуют.

Когда он убедился, что Ларавиньер играл или готовился играть активную роль в предстоящем восстании, он проникся к нему бо́льшим уважением и пожалел, что оскорбил его. Продолжая в принципе отвергать революцию, которая дала бы права народу, он в то же время поверил в нее и захотел принять в ней участие, надеясь обрести в революции славу, сильные ощущения и простор

для своего честолюбия, не нашедшего удовлетворения при конституционном строе. Он просил Жана отнестись к нему с доверием и помирился с ним. Потому ли, что в массах замечались тогда признаки оживления, потому ли, что сам Жан питал напрасные иллюзии, но Орас поверил в успех движения, дал Жану клятву последовать за ним по первому зову и приготовился к великим событиям. Он раздобыл себе ружье и, радуясь, как дитя, с увлечением мастерил патроны. С этой поры он утихомирился, больше сидел дома и вел себя спокойно. Роль заговорщика захватила его целиком. Эта роль оживила его угасшие было надежды: в ней была тайная месть обществу за равнодушие к нему, она придавала ему значение в собственных глазах и вес в глазах Жана и его товарищей. Ему нравилось волновать Марту и видеть, как она бледнеет, когда он намекал на опасности, которым вскоре подвергнется. Он несколько преждевременно оплакивал себя и осыпал цветами свою могилу; он даже сочинил себе эпитафию в стихах. А встретив как-то в Опере виконтессу де Шайи, которая весьма небрежно ответила на его поклон, он утешился при мысли, что, быть может, ей еще придется просить его о какой-нибудь милости, когда он станет могущественным человеком, великим оратором или влиятельным публицистом в будущей республике.

То ли никто, кроме Ларавиньера, не предвидел надвигавшихся событий, то ли их задерживали какие-то скрытые причины, но Жану только и оставалось, что начищать свои ружья в ожидании революции; а тут еще в Париже вспыхнула холера и своими ужасами отвлекла массы от политики.

В одну из холодных весенних ночей, когда это бедствие представлялось особенно грозным, я, закутавшись в плащ, дремал в приемном покое, пытаясь хоть на четверть часа забыться тревожным сном, в ожидании нового вызова, как вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Я сразу проснулся и, по привычке, вскочив раньше, чем открыл слипавшиеся от усталости глаза, последовал за женщиной, просившей меня о помощи. И только когда она прошла мимо красного фонаря, висевшего у входа в больницу, мне показалось, что я узнал ее, хотя она сильно переменилась.

— Марта! — вскричал я.— Вы ли это? Ради бога, к кому же вы меня ведете?

— К нему, конечно. К кому же еще? — воскликнула она, ломая руки.— О, идем скорее! Идем, молю вас!

Я и так уже шагал рядом с ней.

— Тяжелая форма? — спросил я по дороге.

— Не знаю,— отвечала она.— Но он страдает ужасно и так пал духом, что можно ожидать всего. Его давно уже мучили предчувствия, а сегодня он несколько раз говорил, что ему приходит

конец. Но он хорошо пообедал, пошел в театр, а вернувшись, поужинал.

— Какие же признаки?

— Никаких, но он страдает, он так закричал, чтобы я бежала за врачом, что мне стало страшно; я едва держусь на ногах.

— И правда, Марта, вас лихорадит. Обопритесь о мою руку.

— Нет, мне просто немножко холодно.

— Вы легко одеты, а ночь такая прохладная. Накиньте мой плащ.

— Нет, нет, это задержит нас, идемте!

— Бедняжка, как вы похудели! — сказал я, едва поспевая за нею и разглядывая при неверном свете фонарей ее впалые щеки; тень от черных волос, развеваемых ветром, еще больше подчеркивала ее худобу.

— Но я вполне здорова,— проговорила она, видимо озабоченная чем-то другим. Потом, побуждаемая какой-то еще не совсем для нее ясной мыслью, вдруг воскликнула: — Скажите мне лучше, здорова ли Эжени?

— Эжени чувствует себя хорошо,— сказал я,— она страдает лишь оттого, что потеряла вашу дружбу.

— Ах, не говорите так! — с отчаянием в голосе отвечала она.— Господи, не упрекайте хоть вы меня. Видит бог, я этого не заслужила! Скажите лучше, любит ли она меня по-прежнему?

— Она вас по-прежнему нежно любит, дорогая Марта.

— А вы все так же любите Ораса? — спросила Марта и тут же, позабыв о себе, схватила меня за руку и почти бегом повлекла за собой.

Вскоре мы очутились подле него. Увидев меня, Орас громко вскрикнул и бросился в мои объятья.

— Ах, теперь я могу умереть! Я вновь обрел друга!

С этими словами он, бледный как смерть, в изнеможении упал в кресло.

Такой упадок сил меня напугал. Я пощупал пульс, он едва бился. Осмотрев Ораса, я уложил его в постель, внимательно расспросил и решил остаться с ним до утра.

Он был действительно болен. Мозг его был во власти болезненного отчаяния, нервы возбуждены до предела; он, как в бреду, говорил о смерти, о гражданской войне, о холере, об эшафоте; тяготившие его мысли мешались, и Орас принимал меня то за санитара, явившегося, чтобы бросить его в зловещий фургон, то за палача, ведущего его на казнь. Это возбуждение сменялось обмороками, а приходя в себя, он узнавал меня, с силой сжимал мне руки и, цепляясь за мою одежду, умолял не покидать его, спасти от смерти. Уходить от него я не собирался и ломал себе голову,

пытаясь определить его болезнь; но сколько я ни старался, я не мог обнаружить ничего, кроме острого нервного возбуждения. Не было ни малейших симптомов ни холеры, ни лихорадки, ни отравления, никакого определенного заболевания. Марта без устали хлопотала возле него, но он этого и не замечал; я же, взглянув на нее, поразился — такое у нее было изможденное и печальное лицо, и стал умолять ее прилечь. Уговорить ее мне не удалось. Все же, когда на рассвете Орас успокоился и задремал, она повалилась в кресло у его ног и уснула. Я сидел у изголовья кровати напротив нее и невольно сравнивал пышущее силой и здоровьем лицо Ораса с лицом этой женщины, некогда такой прекрасной, а теперь похожей на собственную тень.

Я тоже задремал, когда в комнату на цыпочках вошел Ларавиньер и, никого не разбудив, тихонько сел возле меня. Он сам провел ночь у постели друга, заболевшего холерой, а вернувшись домой, узнал, что Марта ходила за врачом для Ораса.

— Что с ним? — спросил он, наклоняясь, чтобы рассмотреть больного.

Когда я признался, что не нашел ничего серьезного, но все же вынужден был остаться и заботиться о нем всю ночь, Жан пожал плечами.

— Хотите, я объясню вам, что это такое,— сказал он, понизив голос.— Мнительность, и ничего больше. Он уже два или три раза устраивал подобные сцены. Будь я вечером дома, Марта не кинулась бы со страху беспокоить вас. Бедная женщина! Если кто из них болен, то, конечно, она.

— Мне тоже так кажется. Но, сдается, вы очень суровы к моему бедному Орасу.

— Нет, я справедлив. Я не утверждаю, что Орас трус в обычном смысле слова; я даже уверен, что он храбр и решительно бросится в огонь сражения или пойдет на дуэль. Но у него трусость, свойственная всем людям, которые слишком себя любят: он боится болезни, страдания, медленной, бесславной и мучительной смерти в собственной постели. Он что называется *неженка.* Я видел, как однажды на улице он дал отпор каким-то подозрительным личностям, которые хотели было напасть на него, но убежали, увидев его самообладание, а в другой раз он упал в обморок из-за того, что, чиня перо, чуть-чуть порезал себе палец! Это натура женственная, несмотря на его бороду Юпитера Олимпийского. Он может возвыситься до героизма, но не вынесет пустячной физической боли.

— Дорогой мой Жан,— ответил я,— я каждый день вижу людей в расцвете сил и молодости, людей твердых и разумных, которых одна лишь мысль о холере (или даже менее серьезной бо-

лезни) повергает в крайнее малодушие. Не думайте, что Орас исключение. Напротив, только единицы встречают болезнь стоически.

— Да я и не осуждаю вашего друга,— возразил он.— Но я хочу, чтобы бедняжка Марта привыкла к его выдумкам и не поднимала тревоги всякий раз, как ему взбредет на ум, что он умирает.

— Так вот почему она так печальна и угнетена? — спросил я.

— О, это лишь одна из многих причин! Но я не хочу быть доносчиком. До сих пор я молчал о том, что здесь происходит. А теперь, когда вы с ними снова встретились, вы сами все поймете.

ГЛАВА XXIII

Действительно, навестив Ораса на другой день и найдя его, как я и ожидал, в полном здравии, я без особого труда вызвал его на откровенность, и он поведал мне свои огорчения.

— Что ж, не скрою,— сказал он в ответ на какое-то мое замечание,— я недоволен своей судьбой, недоволен жизнью. Скажу прямо — устал жить! Еще одна капля, и чаша переполнится; и тогда... тогда я покончу с собой.

— Однако вчера, когда вам показалось, что вы заболели холерой, вы умоляли меня спасти вас. Надеюсь, вы несколько преувеличиваете свою сегодняшнюю хандру.

— Вчера у меня в голове мутилось, я с ума сходил, и животный инстинкт заставлял меня цепляться за жизнь. Сегодня ко мне вернулась способность рассуждать, а вместе с нею скука и отвращение к жизни.

Я попытался заговорить с ним о Марте. Орас был теперь ее единственной опорой, и, решись он выполнить свое преступное намерение, она могла не пережить этого. У него вырвался жест нетерпения, чуть ли не ярости. Заглянув в соседнюю комнату и убедившись, что Марта еще не пришла из лавки, он воскликнул:

— Марта! В ней-то все и дело. Это мой бич, моя мука, мой ад! Вы меня предостерегали, Теофиль, и мне казалось унизительным признаться вам, что все ваши опасения сбылись. Теперь нет во мне больше этой глупой гордости, я вновь обрел своего лучшего, своего единственного друга и не понимаю, к чему скрывать от него то, что со мной происходит. Узнайте же правду, Теофиль. Я люблю Марту — и вместе с тем ненавижу, я боготворю ее — и в то же время презираю; я не могу расстаться с ней — но живу только тогда, когда не вижу ее. Объясните мне это. Вы ведь умеете

все объяснить, ведь вы и любовь возводите в теорию и пытаетесь установить для нее режим, как для всех прочих болезней.

— Дорогой Орас,— ответил я,— думаю, что мне удастся, по крайней мере, определить ваше душевное состояние. Вы любите Марту, я уверен в этом. Но вы хотели бы любить ее еще сильнее — и не можете...

— Да, так оно и есть! — воскликнул он.— Я стремлюсь к великой любви, а испытываю любовь ничтожную. Я хотел бы обнять идеал, а сжимаю в руках лишь жалкую действительность.

— Иначе говоря,— продолжал я, пытаясь ласковым тоном смягчить суровость своих слов,— вы хотели бы любить ее больше, чем самого себя,— но даже так, как самого себя, полюбить не можете.

Он нашел, что я даю несколько упрощенное толкование его скорби, и ему это не совсем понравилось. Но как ни старался он уверить меня в возвышенности своих страданий, все, что он говорил, лишь подтверждало правильность моих выводов. Марта вернулась, и Орас, у которого тоже были какие-то дела в городе, оставил меня наедине с нею. То, что я узнал об их семейной жизни, отнюдь не внушало мне надежды быть им полезным. Но все же, прежде чем от них уйти, мне хотелось убедиться, что я действительно бессилен смягчить их печальную участь...

Оказалось, что Марта настолько же мало расположена делиться со мной своими горестями, насколько Орас спешил поведать мне свои. Этого следовало ожидать: обижена была она, у нее накопилось достаточно поводов жаловаться на него, но именно поэтому благородное великодушие обрекало ее на молчание. Чтобы преодолеть ее щепетильность, я сказал, что Орас повинился передо мной и исповедался во всех своих грехах. Это была правда: Орас не щадил себя, он открыл мне все свои проступки, но ни за что не хотел признать, что причина их кроется в его эгоизме. Однако и эта уловка не изменила принятого Мартой решения; я заметил в ней какую-то мрачную отвагу и угрюмое отчаяние, так не вязавшиеся с ее былой живостью и доброжелательной отзывчивостью. Она оправдывала Ораса и сказала мне, что во всем виновато общество: его неумолимый приговор навсегда клеймит падшую женщину и не дает ей подняться даже в глазах любимого человека. Она отказалась обсуждать свое будущее и туманно говорила о вере и покорности. Она не захотела также, чтобы я привел к ней Эжени, говоря, что новое сближение долго не продлится по тем же причинам, какие уже однажды привели к разрыву; и, уверяя меня в своей неизменной привязанности к моей подруге, заклинала меня не говорить о ней ни слова Эжени. Единственная мысль, казалось, владевшая ее сознанием,— ибо она неоднократно

к ней возвращалась,— был долг, лежавший на ней; но в чем заключался этот загадочный долг, она мне так и не открыла.

Внимательно приглядевшись к ее внешности и движениям, я заподозрил, что она беременна; но она так мало была расположена к откровенности, что я не посмел расспрашивать ее, решив отложить это до более подходящего случая.

После того как я, глубоко опечаленный, расстался с Мартой, я случайно проходил мимо кафе, где Орас обычно читал газеты; он меня окликнул и уговорил посидеть с ним. Ему хотелось узнать, что говорила мне Марта; я же начал с того, что спросил, не беременна ли она. Трудно даже передать, как он изменился в лице, когда услышал эти слова.

— Беременна? — воскликнул он.— Не может быть! Вы думаете, она беременна? Она сама вам в этом призналась? Черт знает что! Этого еще только не хватало!

— Что же тут ужасного? — спросил я.— Если бы Эжени мне сообщила о таком событии, я почел бы себя счастливым.

Он стукнул кулаком по столу с такой силой, что во всем кафе задрожала посуда.

— Вам легко говорить! — сказал он.— Во-первых, вы философ, а во-вторых, у вас есть профессия и три тысячи ливров ренты. А я что буду делать с ребенком? В моем возрасте, при моей бедности, с моими долгами? Да и родители мои возмутятся! Как я его прокормлю? На какие деньги воспитаю? Не говоря уже о том, что я ненавижу этих пискунов, а ужаснее рожающей женщины для меня нет ничего на свете!.. Ах, боже мой!.. Вы мне напомнили, что вот уже две недели она не отрываясь читает «Эмиля»! Конечно, она хочет сама кормить своего ребенка! Она собирается его воспитывать по Жан-Жаку в комнате величиной в шесть квадратных футов! Итак, я отец! Все кончено!

В своем отчаянии он был так смешон, что я не мог не расхохотаться. Я думал, что это одна из тех безобидных выходок, которые Орас позволял себе даже при обсуждении самых серьезных вопросов, просто чтобы поупражнять свой ум, подобно тому как всадник позволяет горячей лошади танцевать и становиться на дыбы, прежде чем пустить ее размеренной рысью. Я считал, что у него доброе сердце, и боялся, как бы он не обиделся, если я вдруг начну торжественно разъяснять ему обязанности, возлагаемые на него отцовством. Кроме того, я мог и ошибиться. Если Марта действительно была в положении, то как мог Орас об этом не знать? Наконец мы распрощались, я — подтрунивая над его непреодолимым отвращением к младенцам, а он — продолжая с неисчерпаемым вдохновением метать против них громы и молнии.

«Орас»

Вернувшись домой, я нашел длинный список больных. С прошлой осени я получил звание врача и для начала должен был пройти мрачный и тяжелый искус во время холерной эпидемии. Таким образом я сразу приобрел гораздо больше пациентов, чем того желал, и был так занят, что не виделся с Орасом целых две недели. Встреча произошла вследствие необычайного события, сразу положившего конец всем его желчным замечаниям о продолжении рода человеческого.

Однажды утром он вбежал ко мне бледный, расстроенный.

— Она здесь? — были первые его слова.

— Эжени? — спросил я.— Да, конечно, она в своей комнате.

— Марта! — вскричал он в волнении.— Я говорю о Марте, ее нет дома, она исчезла! Теофиль, недаром я говорил, что убью себя: Марта меня покинула, Марта бежала в отчаянии, может быть с мыслью о самоубийстве.

Он упал в кресло. На этот раз в его ужасе и смятении не было ничего притворного. Мы помчались к Арсену. Я подумал, что, может быть, Марта посвятила этого верного друга в свои намерения. Мы застали только сестер; их удивление ясно говорило о том, что они ничего не знают и даже не догадываются о причине нашего посещения. Выходя от них, мы встретили возвращавшегося домой Поля. Орас бросился ему навстречу и обнял его в порыве искреннего чувства, способного искупить все прежние его прегрешения.

— Друг мой, брат мой, дорогой мой Арсен! — воскликнул он от всей души.— Скажите мне, где она? Вы знаете, вы должны знать. Я преступник, но не казните меня безжалостным молчанием. Успокойте нас, скажите, что она жива, что она доверилась вам! Не думайте, что я ревную, Арсен. Нет, богом клянусь, в этот час я чувствую к вам лишь дружбу и уважение! Я согласен на все, я подчиняюсь всему. Будьте ее опорой, ее спасителем, ее любовником. Я отдаю ее вам, я вам ее доверяю. Я благословляю вас, если вы можете, если вам суждено сделать ее счастливой. Скажите только, что она не умерла, что я не палач, не убийца!

Хотя имя Марты и не было произнесено, но, поскольку лишь *она* занимала мысли Арсена, он сразу же понял.

Я испугался, что он упадет замертво. Несколько мгновений он не мог произнести ни слова. Зубы его стучали, он бессмысленно смотрел на Ораса, держа его руку в своей холодной, судорожно сжатой руке. С его губ не сорвалось ни слова упрека. Смешанное чувство ужаса и надежды привело его в состояние мрачного исступления. Он побежал вместе с нами искать ее. Мы направились в морг. Орас еще раньше собирался пойти туда, но у него не хватило мужества. Мы вошли без него; он остался у двери, прислонившись к решетке, чтобы не упасть, и стараясь не глядеть на

страшную картину; если бы среди жертв нищеты и страстей он увидел ту, кого мы искали, он бы этого не перенес. Мы вошли в мрачный зал, где несколько трупов, лежавших на длинных столах, являли взору одну из отвратительнейших общественных язв — насильственную смерть во всем ее ужасе, свидетельство и следствие одиночества, преступления или отчаяния. К Арсену, казалось, вернулось мужество в тот миг, как оно покинуло Ораса. Он подошел к женщине, которая лежала на столе, прижав к груди труп своего ребенка. Недрогнувшей рукой он откинул черные волосы, упавшие на лицо покойницы, и, словно взор его застилало туманом, наклонился и стал пристально всматриваться в застывшие, искаженные черты, потом с не свойственным ему равнодушием отвернулся.

— Нет,— твердо сказал он и увлек меня к выходу, чтобы поскорее повторить это утешительное «нет» Орасу и успокоить его.

Пройдя несколько шагов, Арсен остановился.

— Покажите-ка еще раз записку, которую она оставила.

Эту записку Орас уже показывал нам. Он снова дал ее Полю, и тот внимательно ее перечел. В ней говорилось следующее:

«Успокойтесь, дорогой Орас, я ошиблась. Вам не грозят скучные заботы и обязанности отца; но после всего, сказанного вами за последние две недели, я поняла, что наш союз может привести вас к несчастью, а меня — к позору. Разрыв этот назревал уже давно. Я знаю, что мой поступок огорчит вас, но вы примиритесь с ним, когда поймете, что взаимное уважение требовало этого решительного и благоразумного шага. Прощайте навсегда! Не ищите меня, это бесполезно. Не тревожьтесь обо мне, теперь я сильна и спокойна. Я покидаю Париж, быть может, я поеду на родину. Мне ничего не нужно, я вас ни в чем не упрекаю. Вспоминайте обо мне без горечи. Я ухожу, призывая на вас благословение господне».

Письмо это не предвещало ничего зловещего, однако оно нас не успокоило; меня в особенности, ибо еще при последнем свидании с Мартой я заметил у нее все признаки безысходного отчаяния и ту мрачную решимость, которая может толкнуть человека на что угодно.

— Придется вам,— сказал я Орасу,— собраться с духом и рассказать нам слово в слово все, что произошло между вами за эти две недели, тогда нам легче будет судить, насколько основательны ваши опасения. Может быть, вы и преувеличиваете: не могли же вы быть настолько жестоки с Мартой, чтобы заставить ее совершить какой-нибудь безумный поступок. Это натура религиозная,

характер, может быть, более сильный, чем вы думаете. Говорите же, Орас. Мы вас слишком жалеем, чтобы порицать вас, что бы вы нам ни рассказали.

— Мне исповедаться перед ним? — ответил Орас, глядя на Арсена.— Наказание суровое, но я заслужил его и повинуюсь. Я знал, что он любит Марту и что он более достоин ее, чем я. Самолюбие мое страдало оттого, что кто-то другой мог дать ей счастье, которого она не знает со мной; думаю, что в порыве гнева я скорее убил бы Марту, чем позволил Арсену спасти ее!

— Да простит вас бог! — сказал Арсен.— Но признавайтесь до конца: почему вы так мучили ее? Из-за меня? Вы отлично знаете, что она меня не любит.

— Да, я знал это! — сказал Орас с внезапной вспышкой гордости и эгоистического торжества; но тут же глаза его увлажнились и голос дрогнул.— Я знал это,— продолжал он,— но я не хотел, чтобы она даже уважала вас, великодушный Арсен! Меня оскорбляла мысль, что, сравнивая нас, она в глубине души неизбежно должна будет отдать предпочтение вам. Вы видите, друзья мои, к моему тщеславию примешивалось немало угрызений совести и стыда.

— В конце концов,— возразил Арсен,— не так уж она обо мне сожалела и не так уж много думала обо мне, чтобы ей трудно было и вовсе меня забыть.

— Она долго защищала вас,— ответил Орас,— защищала с упорством, доводившим меня до бешенства. Потом вдруг вовсе перестала о вас говорить, покорилась со спокойствием, за которым, думаю, крылось тайное презрение. Это произошло в то время, когда нужда заставила меня согласиться, чтобы она опять начала работать; и хотя внешне я поборол свою ревность, каждый раз, когда она уходила из дому одна, меня мучили подозрения. Но я боролся с собой, Арсен, и, клянусь, очень редко давал это почувствовать. Лишь несколько раз в гневе у меня вырвались какие-то намеки, и они, по-видимому, задели и смертельно оскорбили ее. Она не выносила, когда ее подозревали во лжи или хотя бы в самом ничтожном обмане,— гордость ее восставала. И, видя, как с каждым днем в ней нарастает возмущение, я начинал опасаться, что она разлюбит или покинет меня. Все же в течение последних нескольких недель я стал больше владеть собой, а она — несправедливая! — она принимала мою стойкость за равнодушие. Но вот несчастное обстоятельство внезапно вызвало бурю. Я решил, что Марта беременна. Теофиль навел меня на эту мысль, и я был потрясен. Мне стыдно признаться, насколько мало развиты во мне отцовские чувства. Что делать, если я не достиг того возраста, когда этот инстинкт просыпается в человеке! А нужда и лише-

ния — разве не превращают они в проклятие то, что могло бы быть счастьем в других условиях? Короче, расставшись с Теофилем, я бросился домой — сегодня тому ровно две недели — и стал расспрашивать Марту,— признаюсь, скорее со страхом, чем с надеждой. Она не дала мне прямого ответа, а затем, разгневанная моими опасениями и жалким малодушием, заявила, что если бы имела счастье быть матерью, то не стала бы вымаливать у меня для своего ребенка отцовского покровительства, потому что люди моего положения не понимают отцовских обязанностей и всячески от них уклоняются. В этом я уловил затаенную мысль о вас, Арсен, и пришел в ярость; она отнеслась ко мне с уничтожающим презрением. Все эти две недели наша жизнь была сущим адом, а разрешить мучившие меня сомнения мне так и не удалось. То она мне говорила, что она на шестом месяце, то говорила, что не беременна вообще, и, наконец, заявила, что если бы это с ней случилось, то она все скрыла бы, уехала и стала бы воспитывать своего ребенка вдали от меня. В этих спорах я был бесчеловечен, каюсь со слезами, и не могу себе этого простить. Когда она отрицала свою беременность, я вызывал ее на признание притворной нежностью; когда же она признавалась, я разбивал ей сердце своим отчаянием, своими проклятиями и, нечего греха таить, оскорбительными сомнениями в ее верности и горькими насмешками над тем счастьем, которое она готовит себе, произведя на свет наследника моих долгов, моей лени и моего разочарования. Впрочем, бывали и минуты восторга и раскаяния, когда я принимал свою участь с чистосердечием и какой-то лихорадочной отвагой; но вскоре я опять впадал в прежнее состояние, и тогда Марта говорила мне с ледяным презрением: «Успокойтесь, я вас обманула. Мне только хотелось посмотреть, что вы за человек. Теперь, когда я знаю меру вашей любви и мужества, я могу сказать вам: я не беременна, и повторить, что если бы это и случилось, я не стала бы приобщать вас к тому, что сочла бы самым большим для себя счастьем».

Что же мне еще сказать? С каждым днем рана раскрывалась все больше. Позавчера разлад был глубже, чем накануне, и, наконец, вчера он дошел до предела, за которым должна была последовать катастрофа, если бы, постоянно терзая друг друга, мы оба не притерпелись к боли. В полночь, после ссоры, которая продолжалась два мучительных часа, меня вдруг настолько ужаснули ее бледность и изнеможение, что я разрыдался. Я бросился на колени, целовал ей ноги, я предлагал ей вместе умереть и лучше так прекратить пытку нашей любви, чем осквернить ее разрывом. Она ответила лишь страдальческой улыбкой, подняла глаза к небу и замерла как бы в экстазе. Потом обвила мою шею руками и при-

жалась к моему лбу губами, иссушенными лихорадкой. «Не будем больше говорить об этом,— сказала она, вставая.— То, чего вы боитесь, не случится. Вы, наверное, очень устали, ложитесь; мне осталось еще несколько стежков. Спите спокойно; я тоже спокойна, как видите!»

Спокойна! А я, глупец, ей поверил и не понял, что это было спокойствие смерти, которая навсегда омрачит мою жизнь. Я уснул весь разбитый и проснулся уже среди бела дня. Первым моим движением было кинуться к Марте и на коленях благодарить ее за доброту ко мне. Но я нашел только эту роковую записку. В комнате ничто не говорило о поспешном отъезде. Все было прибрано, как обычно; только комод, где лежал ее жалкий скарб, был пуст. Постель была не тронута; она не ложилась. Привратника в три часа ночи разбудил звонок — кто-то из жильцов просил, чтобы его выпустили, он машинально потянул шнур, ибо в дни холеры люди выходят в любой час, чтобы найти или оказать помощь. Он никого не видел и только слышал, как захлопнулась дверь. Но я, увы, ничего не слышал. Я спал мертвым сном, в то время как она готовилась к бегству и вырвала у меня сердце из груди, навеки лишив меня любви и счастья!

После скорбного молчания, вызванного этим рассказом, мы начали строить различные предположения. Орас был убежден, что Марта не могла пережить разрыва и взяла свои платья лишь затем, чтобы придать своему исчезновению подобие отъезда и лучше скрыть намерение покончить с собой. Но я уже не разделял его опасений. Во всем поведении Марты я скорее готов был видеть чувство долга и инстинкт материнской любви, а это должно было нас успокоить. Что касается Арсена, то после целого дня, проведенного нами в розысках, столь же тщательных, сколь бесполезных, он простился с Орасом, пожав ему руку немного принужденно, но торжественно. Орас был в отчаянии.

— Нужно,— сказал ему Арсен,— уповать на бога. Внутренний голос говорит мне, что он не оставил совершеннейшее из своих созданий и хранит ее.

Орас умолял меня не покидать его сейчас. Но долг призывал меня к жертвам эпидемии, и я мог провести с ним лишь часть ночи. Ларавиньер, в свою очередь, бегал целый день, пытаясь разузнать что-нибудь о Марте. Мы с нетерпением ждали его возвращения, но поиски его были столь же безуспешны, как и наши. Однако, вернувшись домой в час ночи, он нашел несколько строк от Марты, доставленные с вечерней почтой. «Вы проявили ко мне столько участия и дружбы,— писала она,— что я не хочу расстаться с вами, не попрощавшись. Я прошу вас о последней услуге: успокойте Ораса и уверьте его, что мое состояние и физическое

и нравственное не должно волновать его. Я верю в бога,— вот лучшее, что я могу сказать. Скажите это также *моему брату* Полю. Он поймет».

Это письмо, несколько успокоив Ораса, пробудило в нем тревоги иного рода: им снова овладела ревность. В последних строках, написанных Мартой, он уловил предупреждение и как бы косвенное обещание Полю Арсену.

— Соединившись со мной,— сказал он,— Марта в глубине души всегда таила мысль об Арсене и обращалась к этой мысли всякий раз, как я причинял ей огорчения. Эта мысль дала ей силы меня покинуть. Она рассчитывает на Поля, будьте уверены! Но она еще в какой-то мере уважает наш союз, и ей неловко сразу же уйти к другому. Впрочем, мне не хотелось бы думать, что Поль играл со мной комедию сегодня утром и что, помогая мне искать Марту в морге, он в глубине души испытывал эгоистическую радость, зная, что она жива и ждет его.

— Вы не должны в нем сомневаться,— ответил я горячо.— Арсен сам измучен. Я сейчас по пути в больницу забегу к нему и расскажу об этом письме,— пусть он хоть час или два поспит спокойно.

— Я сам пойду к нему,— сказал Ларавиньер,— его горе трогает меня больше, чем все остальное.

И, не обращая внимания на грозный взгляд, брошенный Орасом, он взял у него из рук письмо и вышел.

— Теперь вы видите, что все они сговорились одурачить меня! — в бешенстве закричал Орас.— Жан предан Полю душой и телом, он-то и был послом любви в этой целомудренной интриге. А Поль, который, по словам Марты, должен понять, как и почему она *верит в бога* (это пароль, я тоже кое-что понимаю, поверьте!..), Поль побежит в условленное место, где и найдет ее; или же будет преспокойно спать, зная, что через два-три дня, отведенных для слез, пролитых по мне из приличия, гордая изменница соизволит принять его утешения. Все это для меня очень ясно, хотя и подстроено не без ловкости. Она давно искала повода от меня отделаться, да так, чтобы я же и оказался виноватым. Нужно было очернить меня в глазах друзей и оградить самое себя от упреков совести. Это удалось; она расставила мне ловушку, *притворилась, что притворяется* беременной, а вы невольно стали сообщником этой ловкой проделки. Марта знала мое слабое место, знала, что эта возможность всегда бросала меня в дрожь, и подстроила все так, чтобы я показал себя подлецом, негодяем, преступником. А добившись того, что я стал противен самому себе и другим, она покинула меня с видом несчастной жертвы! Неплохо придумано! Но я-то не попадусь на эту удочку! Я вспоминаю, как она покину-

ла Минотавра, как скрывалась, пока не прошел первый взрыв горя и гнева. Он тоже, болван такой, поверил в самоубийство и тоже бегал в полицию и в морг! И, без сомнения, он тоже нашел прощальную записку и в ней красивые, великодушные фразы, после того как она изменила ему с Полем Арсеном! Думаю, что писала она ему то же, что и мне; такое письмо может с успехом служить во всех подобных случаях!..

Орас еще долго говорил в том же духе, с мрачной язвительностью. Все это было в высшей степени нелепо и несправедливо, но, хотя я никак не разделял его подозрений, я упорно молчал, не решаясь выбранить его открыто. По правде сказать, зная, что я должен идти на дежурство и оставить его одного до завтрашнего дня, я даже предпочитал, чтобы его подстегивала горечь обиды, а не убивала невыносимая тревога. Так я и ушел, не попробовав даже разубедить его.

ГЛАВА XXIV

Когда я вернулся к Орасу после полудня, он лежал в постели, страдая от легкой лихорадки и сильнейшего нервного возбуждения. Я попытался было строго отчитать его, думая этим его образумить и успокоить, но тут же отказался от своего намерения, увидев, что он только и ждет возражений, чтобы дать выход своей злости. Я упрекнул его в том, что он больше досадует, чем огорчается. Тогда он стал уверять меня, что он в полном отчаянии, и, рисуя свое горе, настолько в него уверовал сам, что слезы выступили у него на глазах и гнев сменился рыданиями. В это время вошел Арсен. Несмотря на оскорбительные подозрения Ораса, которых Ларавиньер от него не скрыл, благородный молодой человек пришел к больному с единственной целью помочь ему, попытавшись их рассеять. Он проявил при этом столько великодушия и подлинного достоинства, что Орас бросился к нему на грудь, восторженно благодаря его, и, перейдя от бессмысленной ненависти к самой экзальтированной любви, попросил Арсена быть «его братом, утешителем, лучшим другом, целителем его истерзанной души и больного мозга».

Хотя и я и Арсен чувствовали, что во всем этом было некоторое преувеличение, оба мы были растроганы красноречивыми словами, которые он сумел найти, чтобы вызвать сочувствие к своему несчастью, и решили провести с ним вечер. Так как лихорадка его прошла и он со вчерашнего дня ничего не ел, я повел его с Арсеном обедать к нашему славному Пенсону. По дороге мы встретили Ларавиньера и прихватили его с собой. Сначала обед проходил

в сосредоточенном молчании, мы все сидели подавленные, как и подобает в таких случаях; но постепенно Орас оживился. Я заставил его выпить немного вина, чтобы подкрепить силы и привести в равновесие кровообращение и нервную систему. Обычно Орас пил мало, и поэтому два или три стакана бордо подействовали на него гораздо быстрее, чем я ожидал; он воодушевился и стал болтлив, он пространно изъяснялся нам в дружеских чувствах. Сначала мы отнеслись к нему благодушно, но вскоре все это начало раздражать Поля, не говоря уже о Ларавиньере. Орас ничего не замечал и продолжал предаваться восторгам и превозносить обоих, хотя они и не слишком понимали за что. Постепенно к этим излияниям примешалось воспоминание о Марте; бросая небу вызов, он выразил надежду отыскать ее, хвалился, что утешит ее, сделает ее счастливой, и, желая уверить нас в том же, сообщил, какую страсть он сумел внушить Марте, и описывал ее пылкую и преданную любовь с непозволительным самомнением. Арсен бледнел, слушая, как Орас не без тщеславия превозносил красоту и неотразимую прелесть своей возлюбленной, выражаясь в стиле, принятом в романах. До сих пор Ораса сдерживало наше безучастное и неодобрительное отношение к его победе над Мартой, и ему приходилось, к немалому своему огорчению, торжествовать молча. Теперь, когда общее горе неожиданно заставило нас говорить с ним откровенно, расспрашивать, выслушивать его, обсуждать с ним эту деликатную тему, теперь, когда он увидел, с каким уважением и любовью мы относимся к женщине, которую он так мало ценил, он мог наконец удовлетворить свое самолюбие, рассказывая нам о ней и напоминая самому себе все достоинства утраченного им сокровища. Ему представился случай похвастаться перед нами этим сокровищем, не рискуя показаться фатом, и видно было по всему, что он уже наполовину утешился в своем горе, ибо оно дало ему право вспомнить о своем счастье. Арсен хотя и терзался, но слушал и даже с какой-то странной решимостью облегчал ему эти неосторожные признания. Хотя кровь поминутно бросалась ему в лицо, он, казалось, намерен был изучить Марту в представлении Ораса, словно в зеркале, показывающем ее с новой стороны. Он хотел раскрыть секрет той любви, которую сопернику посчастливилось внушить ей. Как потерял Орас эту любовь, ему было понятно, ибо он знал серьезную, сдержанную Марту; а Марту романтическую, подчинившуюся страсти безумца, он изучал и пытался понять впервые, слушая, как этот безумец сам ее описывает. Несколько раз он сжимал руку Ларавиньера, чтобы помешать ему прервать Ораса, а когда узнал все, что хотел, простился с ним без горечи и презрения, хотя это неуместное легкомыслие и бахвальство не могло не внушить ему скрытой жалости.

Едва он ушел, как Ларавиньер, будучи не в силах больше сдерживать свое негодование, высказал Орасу несколько горьких истин. Орас был в приподнятом настроении. Он поглощал кофе с ромом стакан за стаканом, хоть я и предостерегал его от такого чрезмерного усердия в выполнении моих предписаний. Он с удивлением поднял голову, когда безмолвное внимание Ларавиньера вдруг сменилось довольно сухой критикой. Но теперь он уже не был расположен покорно выслушивать упреки: приступ скромности и раскаяния прошел, мелкое тщеславие взяло верх. Он отвечал на холодное презрение Ларавиньера язвительными насмешками, говоря, что тот сам воспылал безрассудной и нелепой любовью к Марте; он проявил остроумие и постепенно сам увлекся блеском своих возражений и нападок. Тон его стал оскорбителен: стремясь высмеять и унизить противника, он начал злиться. Наш обед мог окончиться весьма печально, если бы я не вмешался и не прекратил этот ожесточенный спор.

— Вы правы,— сказал Ларавиньер, вставая,— я забыл, что говорю с умалишенным.

И, пожав мне руку, он повернулся к нему спиной. Я отвел Ораса домой; он был совершенно пьян и в еще большем нервном возбуждении, чем раньше. У него начался новый приступ лихорадки; мне же нужно было идти к больным, и я боялся оставить его одного. Я спустился к Ларавиньеру, который тоже вернулся домой, и попросил его посидеть с Орасом.

— Хорошо,— сказал он,— я это сделаю ради вас, а также ради Марты: если бы она знала, что он хоть немного прихворнул, она просила бы меня об этом. Что же до него самого, то, откровенно говоря, он не возбуждает во мне ни малейшего участия. Это фат, драпирующийся в свою скорбь, тогда как горюет он на самом деле гораздо меньше нашего.

Как только я ушел, Жан сел у постели больного и минут десять внимательно к нему присматривался. Орас плакал, кричал, вздыхал, вскакивал, декламировал, призывая Марту то с нежностью, то с яростью. Он ломал руки, кусал одеяло, чуть не рвал на себе волосы. Жан наблюдал молча, не шевелясь, готовый вмешаться, если Орас что-нибудь учинит в настоящем бреду, но твердо решив не попадаться на удочку драматических сцен, которые, по его мнению, Орас был способен холодно разыгрывать, даже испытывая настоящее горе.

На мой взгляд, Орас (а я полагаю, что узнал его достаточно хорошо) не был, как думал Жан, холодным эгоистом. Это верно, что он был холоден; но он был также страстен. Это верно, что ему свойствен был эгоизм; но в то же время он испытывал потребность в дружбе, заботе и сочувствии, указывающую на любовь к ближ-

ним. Эта потребность была в нем так сильна, что доходила до детской требовательности, до болезненной обидчивости, до ревнивого тиранства. Эгоист живет один — Орас и четверти часа не мог прожить без общества. Его недостатком была самовлюбленность,— это совсем не то, что эгоизм. Он любил других в связи со своей собственной персоной; но он любил их, это несомненно, и можно было бы сказать, не прибегая к софизмам, что, не вынося одиночества, он предпочитал собственным мыслям беседу с первым встречным,— следовательно, в известном смысле, он предпочитал других людей самому себе.

Когда у Ораса было какое-нибудь горе, он знал одно только средство забыться: он доводил себя до изнеможения; средство это равно годилось и на то, чтобы разжалобить и вернуть преданного, но оскорбленного им человека, и на то, чтобы рассеять собственное страдание. Это странное изнеможение, действовавшее на душевное состояние так же, как и на физическое, достигалось тем, что он давал бурный выход своему горю в словах, слезах, криках, рыданиях, даже в судорогах и в бреду. Это не было, как думал Ларавиньер, комедией; это был действительно жестокий и болезненный припадок, который он мог вызвать, когда хотел. Нельзя сказать, что он так же легко мог прекратить его. Часто припадок продолжался даже после того, как Орас чувствовал, что становится смешным, или испытывал страшное изнеможение: но достаточно было малейшего внешнего толчка, чтобы положить ему конец. Резкий упрек, угроза со стороны человека, которого он избирал своим утешителем или жертвой, внезапное предложение развлечься, какая-нибудь неожиданность, легкий ушиб или ничтожная царапина, полученная при жестикуляции или падении, могли привести его от жесточайшего возбуждения к самому покорному спокойствию; для меня это являлось лучшим доказательством того, что переживания Ораса не были игрой: будь он таким великим актером, как утверждал Жан, он более ловко разыгрывал бы переход от притворства к естественности. Ларавиньер относился к нему безжалостно, как обычно человек, умеющий управлять и владеть собой, безжалостен к людям восторженным и увлекающимся. Если бы ему приходилось исполнять обязанности врача или санитара, он скоро узнал бы, что среди детей и сумасшедших есть разновидности, одновременно пылкие и нерешительные, спокойные и раздражительные, энергичные и вялые, притворщики и простодушные,— одним словом, холодные и страстные, как я уже говорил выше и повторяю снова, желая установить явление, наблюдаемое не так уж редко, хотя обычно его считают невероятным. Эти люди часто бывают посредственны, но иногда они обладают выдающимися способностями. Вообще же это явление в той или иной мере присуще сложной и

впечатлительной натуре актеров. Они не только изнуряют себя, злоупотребляя своей способностью изображать волнующие их чувства, но вдобавок еще с ненасытной жадностью прибегают к возбуждающим средствам, вызывая в себе душевные бури, в которых, однако, прорывается подлинная страсть. Так и Орас прибегал к бреду и отчаянию, как другие прибегают к опиуму или крепким напиткам.

— Стоит ему сделать небольшое усилие,— говорил Жан,— и, словно по волшебству, на него находит исступление; можно подумать, он одержим тысячью страстей и десятью тысячами дьяволов. Но пригрозите только, что уйдете, и он вмиг успокаивается,— как ребенок, которого нянька грозится запереть одного в темном чулане.

Жану не приходило в голову, что в Бисетре есть буйные сумасшедшие, которые убили бы себя, если их оставить без надзора, но которые сейчас же затихают и становятся смирными, стоит только пригрозить, что будешь им лить холодную воду на голову.

— Однако,— возражал он,— Орас поднимает весь этот шум только затем, чтобы им занимались, а если никто не обращает на него внимания, он ложится спать или идет прогуляться.

К несчастью, это было правдой, и с этой стороны поведение бедного юноши было непростительно. Из своих припадков он извлекал выгоду: они вызывали участие и дружескую заботу; расположенные к Орасу люди старались изо всех сил и находили сотни способов развлечь его и утешить. Один льстил ему — и этим исцелял его уязвленное самолюбие; другой жалел его — и тем поддерживал его интерес к собственной особе; третий силой уводил его на спектакль — и развлечениями рассеивал скуку, одолевавшую его лишь потому, что в карманах у него было пусто. Наконец, он любил болеть, как маленький школьник, с удовольствием отправляющийся в лазарет, лишь бы там отдохнуть и наесться сластей. И, подобно новобранцу, который увечит себя, чтобы избавиться от солдатчины, он готов был нанести себе любой вред, лишь бы только избежать какой-нибудь неприятной обязанности.

К несчастью, в эту ночь он имел дело с самой суровой из своих сиделок. Он знал это, но надеялся преодолеть недоверие Ларавиньера и расположить его к себе, умышленно преувеличив свои страдания. Он намеренно усилил свою лихорадку и довел себя до крайне болезненного состояния. Ларавиньер был неумолим.

— Послушайте,— сказал он ледяным тоном,— мне ничуть вас не жаль. Вы заслужили свои страдания и страдаете гораздо меньше, чем заслужили. Я порицаю все ваше поведение и презираю запоздалое раскаяние. У вас есть льстецы, сеиды — я это знаю; но я знаю также, что, если бы им пришлось столкнуться с вами так

близко, как мне, они не сидели бы возле вас всю ночь, как я, а просто подняли бы вас на смех. Обращаясь с вами сурово, но храня тайну ваших слабостей, я оказываю вам бо́льшую услугу, чем все эти глупцы, которые вас портят своим восхищением. Послушайтесь доброго совета. Эти люди в конце концов вас узнают и начнут вас презирать, вы будете мишенью для их плоских шуток, если не станете наконец мужчиной и не будете соответственно вести себя, ибо мужчине не подобает ныть и рвать на себе волосы из-за покинувшей его женщины. У вас есть другие заботы, а вы об этом и не думаете. Готовится революция, и если вы действительно так устали от жизни, как говорите,— вот вам простой способ умереть с честью для себя и с пользой для других людей. Подумайте, что для вас лучше —отравиться газом, как покинутая гризетка, или сражаться, как подобает отважному патриоту?

То было единственное утешение, полученное Орасом от предводителя бузенготов, и волей-неволей приходилось это утешение принять. Поздно было оспаривать его справедливость и своевременность, ибо еще до бегства Марты, до испытанного им великого отчаяния он сам вызвался — то ли из тщеславия, то ли от скуки, то ли из честолюбия — принять участие в первом же деле. Если верить Жану, случай должен был вскоре представиться. Орас торжественно подтвердил свои обеты; и Жан, имевший слабость все прощать тому, кто готов был с оружием в руках искупить свой грех, немедленно вернул Орасу уважение, дружбу и преданность. Он согласился ухаживать за ним, гулять с ним и поддерживать в нем бодрость духа, готовя его к великому дню, который, по его словам, должен был наступить не позже, чем завтра. Орас, возобновив приготовления к смерти, перестал оплакивать Марту и не смел даже упоминать ее имени.

Целый месяц прошел с исчезновения молодой женщины. Никому из нас не удалось ничего разузнать — Марта не подала о себе весточки даже Эжени или Арсену, которые рассчитывали, что им-то она уж непременно напишет. И это пробудило все наши прежние страхи. Я начинал опасаться, что она бежала из Парижа, чтобы скрыть от нас самоубийство или, может быть, тяжелую болезнь, грозившую ей мучительной смертью, но не смел поделиться своими предположениями с друзьями. Думаю, что и другими владело то же уныние. Я почти не видел Арсена. Орас не произносил имени несчастной и, казалось, вынашивал зловещие намерения, на которые намекал мне с трагическим и мрачным видом. Эжени часто украдкой плакала. Ларавиньер больше чем когда-либо был занят подготовкой заговора,— политика захватила его целиком.

Между тем госпожа де Шайи-мать написала мне, что в соседнем с ее имением городке были случаи холеры. Она боялась не за

себя (об этом она и не думала), но за друзей, за близких, за своих крестьян и горячо и настойчиво просила меня побыть это тяжелое время у них в деревне. В наших местах не было врача; в Париже холера затихала. Видя в этом долг человеколюбия и дружбы, ибо опасность грозила всем бывшим друзьям моего отца, я решил ехать и взял с собой Эжени.

Орас приходил несколько раз прощаться. Он поздравлял меня с тем, что я могу покинуть «этот ужасный Вавилон», говорил, что может мне только позавидовать и что если бы это было в его власти, то *сбежал бы* со мной. Словом, я понял, что ему нужно излить душу, и, прервав на несколько часов подготовку к отъезду, увел его в Люксембургский сад и попросил объясниться. Он заставил довольно долго упрашивать себя, хотя ему самому очень хотелось все рассказать. Наконец он произнес:

— Я вижу, что должен открыться вам, хоть я и связан страшной клятвой. Я не могу действовать вслепую в таких серьезных обстоятельствах. Мне нужен разумный совет, и только вы можете мне его дать. Итак, поставьте себя на мое место: допустим, вы поклялись жизнью, честью, всем самым для себя священным — разделять убеждения и содействовать политическим целям какого-нибудь человека; и вдруг вы замечаете, что человек этот заблуждается, что он может совершить ошибку, погубить дело... больше того, что вы переросли его идеи,— и теперь, когда вы прозрели, принципы его стали просто нелепы в ваших глазах; как вы думаете, имел бы он право презирать вас, имел бы хоть один человек в мире право порицать вас за то, что вы отстранитесь от дела и порвете с руководителями накануне его свершения? Отвечайте, Теофиль. Это серьезнее, чем вы думаете,— ведь речь идет о моей репутации, о моей чести, о моем будущем.

— Прежде всего,— сказал я,— рад слышать, что вы заговорили о будущем, ибо вот уже месяц, как меня пугает ваша мрачность и непрестанные мысли о смерти. Но вы предлагаете мне быть судьей в политических вопросах. Это не легко; вам известно, сколь ложно мое положение; я сын дворянина, друг и родственник легитимистов, и мне приходится быть весьма осмотрительным, чтобы не дать повода к кривотолкам. Хотя мои принципы, мои убеждения, моя вера и симпатия, быть может, более демократичны, чем даже идеи Ларавиньера и его друзей, я не могу, как это ни странно и как это мне ни тягостно, протянуть им руку и идти с ними вместе. Меня сочтут перебежчиком, меня станут презирать в том лагере, к которому я принадлежу по происхождению, а лагерь, к которому я примкну, оттолкнет меня с недоверием. Я разделяю судьбу немалого числа искренних молодых людей, которые не могут сразу отречься от веры своих отцов,— а жаль, у них горячее

сердце и надежная рука. Они понимают, что прошлое проиграло свою игру, что его не стоит далее отстаивать, что победа нового справедлива и священна; они хотели бы открыто выступить за равенство, ибо почитают и стремятся осуществить его. Но тут перед ними встают условности: нарушить их не дозволено, ибо и та и другая сторона требуют уважения к этим условностям, отлично сознавая, насколько они произвольны, несправедливы и бессмысленны. Итак, я вынужден устраниться от политической деятельности; и когда я стану избирателем, не знаю, смогу ли я голосовать с тем беспристрастием и здравомыслием, с каким бы мне хотелось исполнить эту благородную обязанность. Словом, до поры до времени я вынужден довольствоваться — и кто знает, на сколько лет! — философскими рассуждениями о людях и событиях моего времени. И хоть порой это и горько, особенно когда сознаешь, что тебе всего двадцать пять лет и что в душе твоей кипят отвага и пыл молодости, но зато как радостно становится при мысли, что тебе надолго заказаны политические страсти с их ошибками, заблуждениями и невольным злом и что тебе дано, не совершая подлости, хранить свои социальные убеждения во всей их чистоте. Но как же может человек, стоящий в стороне от вашего движения, далекий от социальных бурь, указать вам правильный путь, вам — республиканцу по натуре, по положению и даже, так сказать, по самому рождению?

— Все, что вы сейчас сказали,— ответил Орас,— наводит меня на серьезные размышления. Итак, значит, можно любить республику и осуществлять ее принципы, не бросаясь при этом очертя голову в мятежи, подготавливающие ее приход? Да, конечно, я это знал, я это чувствовал, я давно об этом думал! Над всеми этими преходящими грозами есть высшая область — область философской мысли! Есть точка зрения более истинная, чистая и возвышенная, чем все мятежные декламации и заговоры!

— Так я решил этот вопрос для себя, и только потому, что занимаю совершенно особое положение в современной борьбе,— возразил я.— Не знаю, как поступил бы я на вашем месте; одно могу сказать, что, будь я, как большинство молодых людей моей касты, роялистом, легитимистом и католиком, я, не колеблясь, примкнул бы к герцогине Беррийской, как к выразительнице определенного политического принципа.

— И приняли бы участие в гражданской войне? — сказал Орас.— Это мне и предлагают; вот куда хотят меня вовлечь. А мне противны такие средства, я больше уповаю на провидение.

— В добрый час! Но в таком случае вы отказываетесь играть активную роль, ибо при настоящем положении вещей парламентская революция растянется по меньшей мере на целое столетие.

— Народ не станет ждать целое столетие! — вскричал Орас, забывая о личном вопросе ради вопроса общего.

— Будем же последовательны,— сказал я,— либо произойдут бурные революционные потрясения, и тогда неизбежны ожесточенные схватки; либо будут продолжаться длительные словесные бои, упорная борьба принципов, верный, но медленный прогресс, при котором нам обоим ничего другого не остается, как изучать для собственной пользы уроки истории. Это не так-то уж мало, и я удовольствуюсь этим.

— Все произойдет быстрее, чем вы полагаете, я же рассчитываю помогать делу словом или пером, если только найду подходящую трибуну или газету.

— В таком случае вы можете без колебаний отойти от мятежа; я тем более ценю вашу мужественную твердость, что искушение велико и даже я, сторонний наблюдатель, по временам испытывал соблазн принять участие в борьбе.

— Да, без сомнения, тут требуется большое мужество,— несколько напыщенно произнес Орас.— Но у меня оно найдется, должно найтись! Моя совесть горько упрекает меня в том, что я позволил вовлечь себя в эти мятежные замыслы; я не могу противиться ей. Вы оказали мне великую услугу, Теофиль, помогли мне разобраться в самом себе. Благодарю вас.

Я, правда, не очень-то понял, в чем именно я просветил Ораса по вопросу, который он сам недвусмысленно поставил в начале нашего объяснения; однако, увидев, что все его сомнения разрешены, я хотел было с ним распрощаться, но он снова удержал меня.

— Вы мне не ответили,— сказал он.

— Вы больше ни о чем меня не спрашивали,— возразил я.

— Да как же так! — продолжал он.— Я спрашивал, вправе ли будет кто-либо из моих друзей или бывших единомышленников, к примеру — бузенгот Жан, порицать меня за то, что я отказался от безумств мятежного заговора и возвратился на более широкий и нравственный путь, с которого никогда не должен был сворачивать.

— Из ваших слов я заключаю,— ответил я,— что вы совершили ошибку. Вы связали себя обещанием с каким-нибудь союзом.

— Это моя тайна,— поспешно возразил Орас. Потом добавил: — Я не знаю никаких союзов, никаких заговоров, но Лараviньер ведь безумец, одержимый! Он ничего не скрывает от своих друзей, и всем известно, что в уличных стычках он всегда впереди. Вы сами понимаете, что, поскольку мы жили несколько месяцев в одном доме, он не мог не поделиться со мной своими револю-

ционными идеями. Однажды, в минуту уныния, когда все на свете мне опостылело, мне захотелось сильных ощущений, битв, опасностей и — признаваться, так уж до конца! — трагической и не бесславной смерти. Я увлекся, как ребенок, и если сегодня я отступлюсь, он не преминет сказать, что я испугался. Он со своим слепым героизмом обвинит меня в трусости, и, возможно, мне придется с ним драться, чтобы доказать, что я не трус.

— Не дай-то бог! — воскликнул я.— Любой ценой вам нужно избежать дуэли с одним из лучших ваших друзей. Но, мне кажется, вы ошибаетесь, он вовсе не так груб и жесток. Изложите ему честно и откровенно ваши идеи, принципы и решения, и я уверен, что он все поймет.

— К сожалению,— возразил Орас,— у Жана нет ни идей, ни принципов. Все его пылкие решения — плод его воинственных наклонностей, или, как сказали бы вы, сангвинического темперамента. Он ничего не поймет и будет обвинять меня; но я не боюсь рассердить его или скрестить с ним шпаги, есть опасность более серьезная: он будет трубить о моем так называемом отступничестве среди своих приятелей бузенготов, забияк и горлопанов, которые только и умеют разглагольствовать по кабачкам, орать «Марсельезу» и обмениваться тумаками с полицейскими, но при первом же ружейном выстреле бросаются врассыпную. Предположим, что их безумная затея удастся, что в одно прекрасное утро народ пойдет за ними, что буржуазное правительство будет свергнуто и попытка провозгласить республику осуществится; тогда эти молодые люди станут задирать нос и разыгрывать героев. В нашем мире столько всякого шарлатанства, а революционные движения так ему благоприятствуют, что этих молодцов, чего доброго, еще провозгласят спасителями отечества. Перед ними будут открыты все пути, а меня они отшвырнут в сторону за то, что в день решающей схватки я якобы отсиживался в погребе. Подумать только! Иной пустяк порой влечет за собою самые серьезные последствия. Знаете ли вы, что главные вожди оппозиции тысяча восемьсот тридцатого года в значительной степени потеряли свое влияние на массы из-за того, что не поняли значения восстания двадцать седьмого июля и только двадцать восьмого с грехом пополам уразумели, что это была революция! Что же тогда говорить обо мне, неизвестном юноше, подвизавшемся до сих пор лишь в жалком кружке студентов-бузенготов, если меня вдруг ошельмуют и заклеймят в самом начале моей карьеры из-за наглого бахвальства и дурацких обвинений этих мелких людишек! Как вы думаете? Об этом-то я вас как раз и спрашиваю.

— Я отвечу вам, дорогой Орас, что все возможно, но есть одно верное средство избежать подобных обвинений: нужно быть

последовательным и не принимать участия ни в одном насильственном действии ни накануне, ни тем более на следующий день после его свершения. Либо будьте философом, как я, либо революционером, как Жан. Середины тут нет и быть не может. Если вы по-прежнему мечтаете о славе, вы должны искать поддержки у масс. Сейчас ваша среда — это узкий кружок друзей; нужно снискать их любовь, идти вместе с ними, подчиняться им, с тем чтобы их убедить, поразить и подчинить себе впоследствии. Если же вы, подобно мне, думаете, что для серьезных людей не пришло еще время осуществлять свои принципы, если вы считаете (как сказали в начале нашего разговора), что предприятие, на которое вас толкают, губит дело свободы,— нужно заранее твердо и решительно отказаться от мысли извлечь какую-нибудь личную выгоду в случае непредвиденного успеха. Нужно отложить свою политическую карьеру до более отдаленных времен. Вы молоды, вам еще, быть может, доведется увидеть торжество цивилизации, достигнутое теми средствами, которые отвечают вашим нравственным принципам.

Орас ничего не ответил и возвратился со мной, задумчивый и опечаленный. У порога моего дома он поблагодарил меня за логичный и разумный совет, как он выразился, и простился со мной, так и не сказав, что же он надумал. Я уезжал на следующее утро.

Меня беспокоило странное поведение Ораса, и, боясь, как бы он не пришел к какому-нибудь опрометчивому решению, я вечером отправился к нему, но не застал его дома. Господин Шеньяр весьма любезно уведомил меня:

— Господин Дюмонте час назад уехал в провинцию, он получил письмо от родителей: его матушка при смерти. Бедный юноша потрясен. Он оставил мне в залог половину своих вещей. Он, конечно, через несколько дней вернется.

Я поднялся к Ларавиньеру.

— Вы не видели Ораса? — спросил я.

— Нет,— ответил он,— но Луве видел, как он садился в дилижанс с таким веселым видом, словно отправлялся получать наследство после богатого дядюшки, а не хоронить любимую мать.

— Право же, вы слишком плохого мнения об Орасе! — воскликнул я.— Вы несправедливы к нему. Орас — прекрасный сын, он обожает свою мать.

— Обожает! — возразил Жан, пожимая плечами.— Да его матушка так же больна, как мы с вами.

Дальше он объясняться не пожелал.

ГЛАВА XXV

Холера произвела немало опустошений в соседнем с нами городке, но она не перекинулась за реку, и обитатели левого берега, в том числе и мы, были в безопасности. В ожидании возможного бедствия я обосновался в своем маленьком поместье и, ежедневно навещая семейство де Шайи — их замок был всего в четверти лье,— внимательно следил за здоровьем своего старого друга графини и ее внуков, которыми она занималась гораздо больше, чем их родная мать, жеманная виконтесса Леони. Хотя виконтесса была со мной чрезвычайно любезна, нравилась она мне все меньше и меньше. Нельзя сказать, чтобы у нее не было ума или характера. Ей был присущ некоторый внешний блеск, равно привлекавший и лицемеров и простаков: последние от чистого сердца принимали ее за выдающуюся женщину, какой она хотела казаться, первые соглашались на все ее притязания, при условии, что и она, по безмолвному уговору, признает их самих выдающимися людьми. В Шайи, так же как и в Париже, у виконтессы был свой маленький двор, довольно нелепый, пожалуй, даже более нелепый, чем в Париже, ибо он вербовался из сельских дворян, провинциальных щеголей, над которыми она жестоко потешалась вместе с более высокопробными щеголями, вывезенными ею из Парижа. Эти бедные неотесанные юнцы из кожи вон лезли, чтобы сравняться с ней в остроумии, и становились оттого еще глупее; но они ездили с ней верхом, сопровождали ее на охоту, гурьбой следовали за ней по пятам, суетились вокруг ее стремени, не замечая, что их принимают лишь затем, чтобы увеличить свиту и дать провинциальным дамам повод для ревнивого злословия о том, что виконтесса захватила всех мужчин департамента.

Графиня, привыкшая к терпимости — закону высшего света, жила в замке обособленно. Она находила время присмотреть за детьми, за учителями и гувернантками, за сельскими работами и за порядком в доме. Подвижная и деятельная, несмотря на свой преклонный возраст, она была так необходима ленивой и беспечной Леони, что та проявляла к ней почтение и любезность, в которых не чувствовалось, однако, любви. Виконт де Шайи был человек ничтожный; он, по беззаботности, не обращал внимания на поведение жены и разрешал ей все при условии, чтобы и она ни в чем его не стесняла. Богатый и ограниченный, он предпочитал расточать свое добро с хористками из Оперы, чем приумножать его по примеру матери. Почти все время он проводил в Париже, с отменной аккуратностью выполняя бесчисленные поручения виконтессы у портних и модисток, в надежде, что ему простят его до-

вольно подозрительные отлучки. В сущности, только это и скрепляло их брачный союз и в этом крылась тайна их добрых отношений. Виконт искренно любил своих детей, а к матери относился с нежностью, какой никогда ни к кому не испытывал; но ее он не понимал, а детям был не способен дать правильное воспитание. Внешне все в этой семье дышало дружбой и согласием, хотя в действительности никакой семьи не существовало и без неутомимой и беспредельной самоотверженности старой графини — главы этого дома и его ангела-хранителя — все остальные и дня не прожили бы под одной кровлей.

Через несколько дней после моего приезда в деревню я получил письмо от Ораса, отправленное из его родного городка. «Моя мать спасена,— писал он.— На следующей неделе я возвращаюсь в Париж и буду проезжать в двадцати лье от вас. Если вы еще в деревне, я могу сделать крюк и поболтать с вами несколько часов под липами, свидетелями вашего рождения. Черкните мне, и я изменю свой маршрут».

Эжени сделала недовольную гримаску, когда я сказал, что ответил на это письмо радушным приглашением, но, когда Орас приехал, она приняла его в нашем скромном жилище с обычной своей достойной и приветливой простотой.

Госпожа Дюмонте не была столь опасно больна, как написал Орасу отец в первую минуту тревоги. Холера прошла стороной, и когда он приехал, мать была уже почти здорова; но он не мог сразу вырваться из отчего дома и если бы только послушался родителей, то застрял бы у них до самой осени.

— Наш городишко стал просто невыносим,— рассказывал он,— в этот раз я яснее чем когда-либо почувствовал, что с родными местами у меня все покончено. Что за жизнь, друг мой! Вечная скаредность, в ее тисках все там бесславно прозябают, без радости, без пользы! И что за люди эти провинциалы! Завистливые, невежественные, тупые и чванливые! Если бы мне действительно пришлось прожить с ними три месяца — клянусь, я пустил бы себе пулю в лоб!

В самом деле, простые нравы, жизнь у всех на виду, страсть к пересудам и неизбежная косность маленьких городков были несовместимы со вкусами и потребностями, привитыми Орасу в Париже. Почтенные родители сделали для этого все, что могли, и, однако же, простодушно удивлялись плодам своего честолюбия. Они совершенно не понимали, на что может молодой человек тратить столько денег, когда видели его пренебрежение к местным развлечениям — общественным балам, кафе, актрисам из бродячих трупп, охоте и т. д. Они огорчались, замечая, что их общество нагоняет на него смертельную скуку, которую он даже не в силах был

скрыть. Его нетерпимость к их осторожности в политических вопросах, его язвительное презрение к их старым друзьям, брезгливое отвращение к лобызаниям и тяжеловесной учтивости деревенских родственников, беспричинная грусть, разглагольствования против века денег (и это при такой нужде в деньгах), его беспокойное, мрачное настроение, таинственные недомолвки всякий раз, как речь заходила о женщинах, любви и женитьбе,— все это было для них источником глубокого горя и жестоких терзаний. Особенно страдала мать, которая подозревала, что за этим кроется какое-нибудь страшное, необычайное несчастье, не замечая, что и другие юноши из их провинции, получившие такое же столичное воспитание, проклинали, подобно Орасу, свою судьбу.

За несколько часов беседы с Орасом я постиг и тревоги его семьи, и раздражение, которое в нем вызывали родители, и его вину перед ними, которую он, правда, признавал, но с оговоркой, что она была неизбежна в его положении: отец якобы «донимал» Ораса тревожными расспросами о его занятиях и планах, мать «изводила» советами и наставлениями относительно его работы и расходов. Наконец, излив потоки красноречия, упреков, слез умиления и ярости при изображении слепой и безрассудной любви дорогих, но невыносимых людей, которым обязан был своим рождением, Орас ощутил непреодолимую потребность развлечься, чтобы забыть свои неприятности, и попросил повести его в замок Шайи, где, как он слышал, шли пышные приготовления к охоте.

Час спустя его пригласила сама графиня: во время прогулки она, как это часто случалось, зашла ко мне отдохнуть. Графиня оценила Эжени с первого взгляда и сразу же почувствовала к ней душевное расположение. Ораса поразила дружеская непринужденность, с какой эта знатная дама уселась рядом с женщиной из народа, любовницей лекаря, и то, как просто и ласково она с ней разговаривала. Он заметил также, с каким умом и достоинством Эжени поддерживала беседу. С этого дня он проникся к ней уважением и, хотя иногда и бывал с ней непочтителен, все же отказался от былого своего предубеждения.

Появление Ораса в замке пришлось весьма кстати для виконтессы, которой уже надоело окружавшее ее общество. Она вспомнила, что этот юноша когда-то показался ей умным и не лишенным своеобразия, и мило упрекнула его в том, что он не бывал у нее в Париже.

— Наш дом вам показался скучным,— сказала она таким тоном, что нельзя было понять, лесть это или насмешка.— Здесь, может быть, мы будем не так скучны; к тому же в деревне люди менее разборчивы.

— Это соображение и придало мне смелости явиться к вам, сударыня,— ответил Орас с дерзким смирением, принятым, впрочем, благосклонно.

Виконтесса смыслила в истинном остроумии не больше, чем в истинных достоинствах. В мужчине она ценила лишь одну способность — умение льстить и раболепствовать перед женщиной. С первого взгляда она старалась угадать, какое впечатление произвела на человека, которого ей представили, и если видела, что не может завладеть его воображением, она, не тратя напрасных усилий, принимала его как врага. В этом и состояла вся ее тактика. Она ни для кого не стала бы компрометировать себя, но и не отступала ни перед чьей враждой. Она умела привлечь к себе достаточно сторонников, чтобы не бояться противников. Для суждения об окружающих у нее было одно мерило: тот, кто недостаточно высоко ценил ее, раз и навсегда объявлялся бездушным тупицей; тот, кто ее отмечал и стремился быть отмеченным ею, сразу попадал в число ее любимцев и лиц, пользующихся ее благоволением. Ей нравились робость и волнение молодых обожателей, но дерзость опытного волокиты нравилась еще более. Она была болезненна, холодна по натуре и не стремилась к любовным утехам, но это не мешало ей быть кокетливой и на свой лад развращенной,— она дарила мнимую власть над своим сердцем, оделяла всевозможными надеждами и ничтожными милостями нескольких поклонников одновременно, достаточно ловко внушая каждому из них, что именно он был первым и последним, кого она любила или могла полюбить. Но нет такой испорченной натуры, недостатки которой не имели бы своего рода достоинств, и к чести виконтессы нужно сказать, что она не лицемерила перед светом и не проповедовала правил, которым сама не следовала. Она проявляла немало независимости в мыслях и эксцентричности в поведении. Она не верила в добродетель, но не осуждала порока и говорила о других женщинах с большей снисходительностью, чем это принято у светских дам, причем говорила без задней мысли, без лукавства, не стараясь выказывать стыдливость, которая была ей так же не свойственна, как и истинная страсть.

Орас нимало не сомневался в несравненных достоинствах виконтессы, жаждавшей его поклонения. Он сразу же признал их; и не только потому, что виконтесса была богата, знатна, окружена поклонниками, блистала нарядами,— для него все это было ново и соблазнительно,— но еще и потому, что он, так же как она, судил о людях и проникался к ним дружбой или неприязнью в зависимости от того, понравился он им или нет. С первого же дня, когда встретились их взоры, проявилась эта владевшая ими обоими потребность в чужом восхищении. Их тщеславные натуры всту-

пили в единоборство, и, как два искусных бойца, они подманивали и дразнили друг друга, вызывая на решительную схватку, в которой оба жаждали прославиться за счет побежденного.

Виконтесса всю ночь обдумывала те три туалета, которые собиралась надеть на следующий день. Утром, выйдя на балкон в прозрачном и легком, сверкавшем белизной одеянии, она напоминала Дездемону, поющую песенку об иве. Затем, пока седлали лошадей, она оделась амазонкой времен Людовика XIII и даже отважилась приколоть к шляпе черное перо, которое было бы безвкусно в Булонском лесу, но выглядело очень задорно и мило в лесах Шайи. Вернувшись с охоты, она надела изысканный туалет, предназначенный для деревни, и так надушилась, что у Ораса разболелась голова.

Сам он встал на рассвете, чтобы нарядиться как подобает охотнику, и, воспользовавшись моим гардеробом, соорудил себе костюм, не слишком отдававший стилем парижского канцеляриста. Я предупредил его, что моя лошадь норовиста, и посоветовал обращаться с ней осторожно. Сначала все шло хорошо, но, едва всадник оказался под огнем взглядов владелицы замка, он позабыл мои предостережения и вступил в жестокую распрю со своим конем. Свидетели этой сцены отметили, что он понятия не имеет о верховой езде.

— Вы, я вижу, отчаянный наездник! — развязно крикнул ему граф Мейере, горячий поклонник виконтессы.— Но берегитесь, как бы лошадь не прижала вас к стене.

Замечание графа показалось Орасу по меньшей мере бестактным, и, желая доказать, сколь мало он с ним считается, он хлестнул лошадь и поднял ее на дыбы.

Он был смел и силен, хотя мало занимался в манеже; отдавая себе отчет в том, что не может соперничать в искусстве и умении с опытными наездниками, окружавшими виконтессу, он решил, по крайней мере, затмить их своей отвагой и так напугал даму своего сердца, что она побледнела и стала умолять его быть осторожнее. Цель была достигнута, и победа Ораса над соперниками обеспечена. Женщин больше пленяет отвага, чем ловкость. Мужчины утверждали, что он ездит отвратительно, что никто из них не доверил бы свою лошадь подобному безумцу, но виконтесса сказала, что никто из них не осмелился бы совершать такие безумства и столь беззаботно рисковать своей жизнью. Отлично понимая, что Орас проделывал все эти безрассудства только ради нее, она прониклась к нему безграничной признательностью и в продолжение всей охоты занималась только им одним. Орас следовал за ней, не отставая ни на шаг, и выказывал к охоте полное равнодушие.

Охотник он был такой же плохой, как и наездник, а потому, боясь совершить какую-нибудь оплошность, изображал глубокое презрение к этой грубой забаве.

— Зачем же вы поехали? — спросила госпожа де Шайи, напрашиваясь на любезность.

— Я поехал, чтобы быть возле вас,— ответил он попросту.

Это было несколько больше, чем ожидала виконтесса. Но обстоятельства благоприятствовали Орасу; конечно, при некотором знании света он выразился бы и изысканнее и осторожнее, но именно внезапность признания, которым Орас ошеломил виконтессу, показалась ей следствием бурной, неудержимой страсти. Эта женщина, не блиставшая красотой и не отличавшаяся отзывчивым сердцем, никогда не была любима. Ее добивались, преследовали ухаживаниями из любопытства или из тщеславия. К ней никогда не пылали страстью, хотя сама она страстно жаждала внушить безумную любовь, ради которой готова была погубить свою с таким трудом созданную репутацию изысканно-утонченной, гордой женщины. Быть может, она надеялась, что любовь эта пробудит в ней порывы и чувства, которые ей были неведомы. Несомненно, в других отношениях ее самолюбие было вполне удовлетворено. Она даже была пресыщена победами, которые неизменно одерживали ее остроумие и кокетство. Однако она никогда не испытывала восторгов, которые разжигает в сердцах красота и питает страсть. Ей наскучили угодливая лесть и приторные комплименты светских волокит. Она хотела безумств, совершенных ради нее; она хотела не возбуждения, а упоения; и Орас, казалось, подходил для роли неистового, дерзкого любовника, чьи восторги были бы для нее внове и разогнали бы унылое однообразие пошлых интрижек.

Была у виконтессы и любовная связь, которая с годами перешла в дружбу, сохранившуюся на всю жизнь. Она стала любовницей маркиза де Верна, когда тому было пятьдесят лет. Случилось это лет двадцать назад, и в свете об этом ничего не знали,— или, во всяком случае, не знали ничего достоверного. Часто бывая у них в доме, этот опытный развратник воспользовался первыми огорчениями, которые причинили виконтессе измены мужа. Маркиз был поверенным горестей Леони и, злоупотребив ее неопытностью, соблазнил это наивное дитя, которое не остерегалось его, относясь к нему как к отцу. Прежде у несчастной виконтессы был один недостаток — тщеславие; но первое страшное разочарование, испытанное ею в жизни по вине развратного старика, оставило неизгладимый отпечаток в ее уме и сердце, породив в ней новые пороки. Она ужаснулась своего падения, почувствовала себя униженной, решила, что погибнет навек, если не поднимется в собственном мнении, заняв с помощью хитрости и кокетства подобаю-

щее ей место. Маркиз помог ей; не то чтобы он способен был на раскаяние, но при всех его пороках у него была своеобразная этика, следуя которой, он считал бесчестным губить женщину в глазах света и в ее собственных глазах. Это был человек необычный, загадочный и лукавый, отличавшийся холодным лицемерием, за которым, однако, таилась известная порядочность. Он был прирожденным дипломатом, но в жизни его произошли некоторые события, вследствие которых ему пришлось отказаться от дипломатической карьеры; поэтому он направил всю силу своего изворотливого ума на удовлетворение поглощавших его страстей, действуя и здесь не без тщеславия, но, по крайней мере, без огласки. Он гордился, например, тем, что светские женщины считают его *верным человеком;* и хотя по его ласково-циничному взгляду, по его изысканно-бесстыдным речам, по его слегка наставительному тону, когда разговор заходил о любовных делах, в нем сразу сказывался развратник высшего ранга, никогда с его уст не сорвалось имя ни одной из его любовниц, пусть даже умершей в ореоле святости сорок лет назад; никогда ни одна женщина не была им скомпрометирована. Если ему отказывали, он никогда не жаловался; если ему изменяли — никогда не мстил. Число его побед было баснословно, хотя он был дурен собой. Не умея отдаться любви всем сердцем, он и сам никогда не был любим и отлично знал, что удерживает победы лишь благодаря ловкому притворству; зато он становился необходим, и связи его были более длительными, чем у мужчин любимых, но не дороживших репутацией и покоем своих возлюбленных. Пока он домогался любви, он был опасен, магнетизируя свою жертву холодной неотступной дерзостью; овладев ею — становился не только безобидным, но полезным и незаменимым. Он вел себя благородно, проявлял самую нежную преданность, старался загладить свою вину перед женщиной, которую совратил,— одним словом, употреблял все свое влияние и красноречие, чтобы публично поддержать репутацию той, которую тайно погубил. Он проделывал все это холодно, методически, разбивая все свои интриги на три четко разграниченных периода: соблазнить, покорить, сохранить. В первом акте он внушал дружбу и доверие; во втором — стыд и страх; в третьем — признательность и даже какое-то уважение: странный результат наиболее бесчестной и наиболее рыцарственной любви, какую только мог изобрести человеческий ум.

Виконтесса Леони была одной из последних жертв маркиза, и он проявлял к ней особую преданность. Постыдная драма ее совращения далась ему труднее, чем это было с большинством других женщин. Он не встретил с ее стороны ни малейшего увлечения и вынужден был пробуждать и поощрять ее тщеславие, дей-

ствуя более искусно и терпеливо, чем когда-либо в жизни. Его бесславная победа вызвала в Леони глубокое отвращение, горькое чувство, близкое к ненависти и ярости. Она грозилась разоблачить перед родными всю низость его поступка, заставить мужа отомстить за нее, хотела даже отомстить сама, заколов его кинжалом. Эта бурная вспышка была вызвана не оскорбленной добродетелью, а задетым и уязвленным самолюбием. Ею, такой гордой, такой уверенной в себе, овладел безобразный, холодный старик! Она чуть не умерла от обиды; это было самым большим горем за всю ее жизнь. Даже видавший виды маркиз перепугался; он с таким усердием и рвением стремился успокоить ее и оправдать в ее собственных глазах, что сотворил поистине чудо, превзошедшее все прежние его успехи на этом поприще. Ни за что на свете не хотел он, чтобы эта надменная и мстительная душа затаила против него ненависть. Он пошел даже на то, что стал разыгрывать перед ней раскаяние, отчаяние и страсть, делая это так удачно, что виконтесса поверила, будто была первой любовью этого пресыщенного старика. Прежде всего он подыскал ей любовника, который мог польстить ее самолюбию; ему удалось устроить все так, что его преемник и не подозревал об оказанной ему помощи. Леони не знала, что подобным же образом он поступал со всеми женщинами, с которыми хотел остаться в дружбе; мало того — для нее он сделал исключение: с другими он говорил как философ восемнадцатого века, с ней же — как герой девятнадцатого. Он притворился, что приносит себя в жертву, что у него разрывается сердце при мысли о необходимости уступить ее сопернику; а так как Леони чувствовала себя польщенной тем, что способна внушить такое высокое чувство, она согласилась на новую, созданную им для нее роль. Он, со своей стороны, искренно наслаждался ее пылкой признательностью; и оба разыгрывали эту комедию всю жизнь. Он стал преданным наперсником виконтессы, поверенным всех ее увлечений, посредником во всех ее любовных интригах. Сам он был уже стар и ни на что не притязал, утешаясь тем, что его открыто восхваляла и превозносила женщина, которая постыдилась бы признаться в тайной причине их близости, но объявляла его самым замечательным, самым умным, самым благородным человеком на свете. Женщин не первой молодости, узнавших дружбу маркиза на собственном опыте, не могла ввести в заблуждение эта дочерняя любовь; но они не хвалились тем, что постигли ее причину; и если какой-нибудь из них случалось присоединиться к похвалам, расточаемым Леони по адресу маркиза, забавно было смотреть на невозмутимо добродетельные физиономии обеих женщин, надеявшихся обмануть друг друга и отлично знавших общую горькую тайну.

Маркизу достаточно было одного дня, чтобы догадаться о склонности виконтессы к Орасу. Если ставить превыше всего осторожность, заменяющую свету мораль, надо признать, что он всегда давал ей хорошие советы; между тем это увлечение сначала ему не понравилось. Сам он не мог принять участие в охоте, но на лице юного разночинца, помогавшего виконтессе сойти с коня, он прочел, каким галопом скакали его надежды. Маркиз прошел в комнаты Леони, когда ее причесывала одна из тех редких сейчас служанок, при которых можно говорить не стесняясь. Присутствовать при туалете дамы было привилегией старого режима, а возраст маркиза давал на это право.

— Итак, мое дорогое дитя! — сказал он Леони.— Надеюсь, что, хотя вы и готовы сжечь свои волосы ради красивого брюнета, свалившегося к нам с неба, вы не собираетесь ради него опалить себе крылышки? Он хорош собой и недурно болтает, согласен; но этот человек вам не подходит.

— Я так привыкла к вашим шуткам, что даже не стану оправдываться,— ответила, смеясь, виконтесса.— Но скажите все же, почему этот человек мне не подходит?

— Вы это и без меня понимаете, на то вы самая дальновидная и проницательная женщина на свете.

— Проницательность моя ничего мне не подсказала; я не обратила на него ни малейшего внимания.

— В таком случае я вам скажу почему,— возразил маркиз, которого эта ложь не могла обмануть.— Этот господин — человек низкого происхождения, существо грубое — одним словом, плебей!

— Дорогой друг, для меня это не имеет значения,— сказала виконтесса,— не забывайте, что мои понятия и воззрения сложились после революции.

— Мои сложились несколько раньше, однако у меня не больше предрассудков, чем у вас, дорогая виконтесса; но существуют факты, и я наблюдаю их. Люди низкого сословия могут обладать достоинствами, которых у нас нет. Но они обладают также недостатками, которые нам не свойственны и совершенно не походят на наши недостатки. Я не отказываю им ни в таланте, ни в образовании, ни в энергии, но держать себя как подобает, воля ваша, они не умеют.

— Разве этот мальчик в чем-нибудь нарушил приличия? — рассеянно спросила виконтесса.— Я не заметила.

— Пока не нарушил; он их и не нарушит, если вы будете держать его на должном расстоянии, в числе ваших покорных слуг. В этом положении он разве что иногда преступит правила хорошего тона, а вы знаете, как мало я придаю значения подобным мелочам; но если вы вознесете его на высоту, которой он

недостоин, то скоро увидите, что у него, как у всех ему подобных, нет ни такта, ни выдержки, ни вкуса, ни хороших манер, и вам придется за него краснеть.

— Но, право,— воскликнула виконтесса, принужденно рассмеявшись,— вы говорите об этом как о чем-то решенном, а я даже не разглядела, какой у него нос.

Орас имел в лице маркиза опасного противника; если бы он об этом подозревал, то, несомненно, еще больше восстановил бы его против себя своим высокомерием и заносчивостью. Но бедняга был слишком простодушен, чтобы догадаться о том, какое влияние имел старый развратник на его прекрасную виконтессу. Орас был так далек от этой мысли, что поддался чувству невольного восхищения, которое вызывали в нем все знатные люди. Невзирая на свой республиканизм, в душе Орас был аристократом. По образному выражению, заимствованному нами из «Мизантропа», *знатность бросилась ему в голову*. Он проявлял к этим людям безграничную политическую терпимость, его к ним неудержимо влекло. Да и как мог он называть преступлением привычки, порожденные властью и знатностью, к которым сам так жадно стремился, считая, что создан для высокого положения и имеет право на него притязать. И он восхищался великосветским обществом, которого не уважал; старался усвоить манеры, принятые в этом кругу, и, вступая в него, пробовал свои силы, твердо веря, что скоро добьется успеха. Способность перевоплощаться, непринужденность, уверенность в себе действительно придавали ему большое обаяние. Он совершал множество неловкостей, никого этим не раздражая, ибо первый замечал их и готов был сам над ними посмеяться, не прося прощения за незнание того, чему его не научили, сообщая любому собеседнику, что никогда не видел света, и не проявляя ни ложного стыда, ни глупой гордости. Свобода деревенской жизни была ему на руку. Виконтесса намеренно доводила эту простоту до предела, избегая дурного тона в своем веселье с удивительным чувством меры. Она от души смеялась над промахами новичка, после того как сама же их вызывала; но смеялась она только при нем и вместе с ним; а он, в свою очередь, выказывал такое беззлобное простодушие, что, несмотря на предубеждение окружающих, завоевал общую симпатию, включая и графа Мейере, который его более не опасался, уверенный в своих преимуществах перед Орасом уже потому, что обладал прекрасными манерами. К несчастью, граф придавал своим манерам значение, которое они за последние двенадцать часов совершенно утратили для виконтессы. Орас с его детской непринужденностью был ей во сто крат милее, чем граф с его дендизмом и кривлянием. Последним словом она воспользовалась, чтобы

объяснить Орасу, что означало первое, когда он задал ей этот наивный вопрос.

Несмотря на утомительный день, гости долго не расходились. В полночь подали чай, а в два часа ночи все еще оживленно беседовали за столом, уставленным фруктами и сластями, на которые Орас набросился без всякого стеснения. Граф Мейере, знавший романтические склонности Леони (виконтесса заявляла даже, что лорд Байрон, которого она и в глаза не видела, был единственной ее любовью), безгранично ликовал: соперник, столь беспокоивший его нынче утром, показал себя в самом прозаическом свете. Граф пичкал его пирожными и вареньем, в восторге от того, что виконтесса потешается над этой детской прожорливостью, и даже почувствовал благодарность и расположение к Орасу, который так легко попался на удочку и показал себя весьма заурядным и недалеким человеком. Но виконтесса первый раз в жизни смеялась без иронии; она понимала, что Орас согласился развлекать ее, стремясь любой ценой добиться ее дружбы. Она знала, что Орас красноречивее тех, кому он позволял подшучивать над собой; она видела, как на охоте он перескакивал рвы и барьеры, перед которыми отступали они все, ибо в девяти случаях из десяти всадник мог разбиться. Она знала, что он превосходит их и умом и отвагой. И если обладатель таких достоинств соглашался ради ее удовольствия принять на себя самую неблагодарную роль — значит, думала она, он безгранично ей предан и любит ее беспредельно.

ГЛАВА XXVI

Но, как ни странно, вслед за виконтессой кажущееся простодушие Ораса совершенно покорило самого опасного его врага — старого маркиза де Верна. Перед ним Орас не разыгрывал роли, его сразу увлек этот старый вельможа; Ораса восхищали снисходительная невозмутимость, с которой тот преподносил самые вольные шутки, блеск и дерзость его чересчур смелых манер, напоминавших о былых нравах. Для того, кто видал маркизов доброго старого времени только на сцене, встретить в жизни образец сей вымершей породы — бесспорно, немалая удача. Орас упустил из виду, что царедворцы абсолютной монархии выродились и измельчали, равно как в свое время и рыцари феодализма, и считал маркиза де Верна вторым Лозеном или Креки. Иногда он видел в нем чуть ли не герцога Сен-Симона. Во всяком случае, он проникся к нему почтительным восхищением, которое выражалось в желании походить на него и, поелику возможно, во всем ему следовать. Орас обладал такой подвижностью ума и был столь

впечатлителен, что не мог удержаться от подражания. Не прошло и трех дней с его появления в замке, а он пытался уже цедить слова сквозь зубы, на манер маркиза, и, выпросив у меня одну из отцовских табакерок, изящным жестом осыпал табаком свои рубашки, подражая изысканной небрежности старика, в той мере, в какой это доступно студенту второго курса, то есть неуклюже и нелепо. Эжени не преминула сказать ему об этом, и Орас был глубоко уязвлен; он позабыл, что мы достаточно хорошо знали образец, которому он следовал, и тем самым игра его лишалась даже видимости своеобразия. Но он упорно подражал маркизу перед теми, кто не мог, подобно нам, сравнить ученика с учителем.

Однако, нелепо жеманничая в нашем присутствии, Орас, следуя одной из бесчисленных странностей своего характера, вел себя совершенно иначе на расстоянии каких-нибудь четверти лье, в салоне виконтессы, где пускал в ход все чары простоты. Кто бы подумал, что это тоже игра или, во всяком случае, поза, к которой он прибегал, чтобы произвести впечатление? В Орасе, несомненно, имелось подлинное простодушие; но он мог прибегать к нему или от него отказываться, смотря по обстоятельствам. Когда это качество шло ему на пользу, он давал себе волю и становился *самим собой,* то есть очаровательным молодым человеком. Когда же оно вредило ему, он играл любую роль с непостижимой легкостью и не без успеха, если только ему не попадался человек достаточно проницательный. Такая игра была бы очень опасна со старым маркизом, изощренным в ней издавна, и еще более опасна с виконтессой — ученицей старого волокиты, способной потягаться со своим учителем. Решив быть естественным, Орас пленил обоих. Маркиз не жаловал молодых людей, хотя в обществе женщин, служению коим он посвятил себя, вынужден был постоянно с ними встречаться. Но Орас отнесся к нему с такой теплотой, так жадно его слушал, так весело смеялся над его старыми анекдотами, задавал столько вопросов, просил стольких советов — одним словом, с такой доверчивостью избрал его своим наставником и кормчим, что старик, в котором тщеславие перевешивало даже осторожность, в свою очередь был пленен им и даже заявил виконтессе, что Орас, несомненно, самый любезный, умный и достойный молодой человек из всего нынешнего поколения.

Видя, что маркиз к нему благоволит, Орас открылся ему. Он поверил ему свою тайну и умолял научить, как понравиться виконтессе. И вдруг впервые что-то дрогнуло в душе маркиза; он стал задумчив, серьезен, почти грустен и, потрепав ученика по плечу, сказал:

— Молодой человек, вы ставите меня в весьма щекотливое положение. Позвольте мне несколько часов поразмыслить, а вечером я дам вам ответ.

Непривычно торжественный тон, которым были сказаны эти слова, разжег любопытство Ораса. Почему маркиз, в своих шутливых речах высмеивавший всякую мораль, вдруг стал серьезен, лишь только дело коснулось Леони? Неужели даже в глазах этого циника, не верящего в человеческие добродетели, она была женщиной необыкновенной? До сих пор ему казалось, что Леони свободна от предрассудков (так называла она то, что другие зовут принципами); и Орасу, вовсе лишенному их в любовных делах, очень нравился подобный образ мыслей. Но из того, что она не почитала нужным обуздывать свои склонности, отнюдь не следовало, что она изберет безвестного пришельца, в то время как ее окружает толпа поклонников с блестящими титулами и громкими именами. Может быть, она уже остановила на ком-нибудь свой выбор? Уж не был ли ее любовником граф Мейере? Есть ли надежда вытеснить его из сердца виконтессы? А может быть, все кажущиеся знаки благоволения просто ловушка, чтобы поскорее низвести его в ряды отвергнутых почитателей?

В то время как Орас вопрошал судьбу, маркиз размышлял о том, какой путь посоветовать своему юному другу. Старый дипломат жестоко обманывался в своем ученике. Он считал Ораса столь простодушным, страстным и благородным, что опасался последствий его любви к такой ловкой, холодной и самовлюбленной женщине, как виконтесса. Он боялся, что разразится гроза и он не сумеет ее отвратить; долгие годы он внушал Леони, что самое главное — это умение избегать скандала, и теперь не знал, как примирить подлинную привязанность, которую к ней испытывал, с горячей симпатией к Орасу, сумевшему польстить его самолюбию.

Быть может, впервые в жизни он решил быть искренним, словно непосредственность Ораса оказала на него то же магическое действие, какое его собственная развращенность оказала на юношу.

— Послушайте,— сказал он, прогуливаясь с ним при лунном свете по пустынным аллеям английского парка,— я буду с вами откровенен. Я верю всей душой, что вы увлечены виконтессой, и даже допускаю, что она выслушает вас. Но если вы, вопреки снедающей вас страсти, а также надеждам, о которых я догадываюсь, способны еще внять доброму совету, откажитесь от мысли заронить любовь в это сердце.

— Я откажусь, если вы приведете мне веские доводы,— ответил Орас,— а их в вашем распоряжении, очевидно, немало, маркиз, ведь вы размышляли целый день.

— А может быть, вы поверите мне на слово и все-таки воздержитесь? Позже вы сами все поймете.

— Как можете вы, великий знаток человеческого сердца, требовать этого от меня? Всецело веря вам, я напрасно пообещаю то, чего все равно не в силах выполнить.

— Ну что ж, попытаюсь убедить вас. Любили ли вы когонибудь?

— Да.

— Что это была за женщина?

— Женщина простого происхождения, как и я сам, но красивая, умная, самоотверженная.

— Она была вам верна?

— Думаю, что да.

— Вы ревновали?

— Как безумец или, вернее, как глупец.

— Как вы расстались с ней?

— Не спрашивайте. Я был смешон или отвратителен,— пожалуй, то и другое вместе.

— Но с ней все кончено?

— Вы хотите принудить меня к рассказу, одна мысль о котором приводит меня в содрогание. Думаю, что и вы не посоветуете мне смеяться: она покончила с собой.

— Вот как? Прекрасно, прекрасно! — сказал маркиз с полной серьезностью.— Поздравляю вас. В моей практике этого не случалось. Самоубийство! Великолепно, друг мой, да еще в столь юном возрасте! Когда об этом узнают, все женщины будут от вас без ума. Вас ждет блестящая будущность! Раз так, я вам советую выждать и не делать выбора опрометчиво. Но скажите, как вы приняли это самоубийство? Очень вы были потрясены?

— Маркиз,— сказал Орас,— такими вещами не шутят. Меня удивляет, что вы, при вашей чуткости, задаете мне подобный вопрос. Можете презирать меня за малодушие, но я готов был тогда пустить себе пулю в лоб. Теперь смейтесь, если вам угодно.

— Однако вы этого не сделали? — сказал маркиз, продолжая свой допрос с величайшим хладнокровием.— Вы не взялись за пистолет? Не ранили себя? Говорите, вы не совершили подобной глупости?

Орас не знал, что сказать: его приводил в негодование холодный цинизм маркиза, и в то же время ему хотелось оправдать свое легкомыслие. Маркиз продолжал с прежней непринужденностью:

— Вы, значит, были очень влюблены?

— Напротив,— ответил Орас,— я был недостаточно влюблен. Она была чересчур добродетельна. Жизнь с ней стала мне в тягость.

— И она покончила с собой, чтобы вернуть вам вкус к жизни? Весьма похвально с ее стороны. Так что ж, вы и впредь будете требовать, чтобы все женщины лишали себя жизни ради вас?

Орас, рассказывая о самоубийстве Марты, из тщеславия несколько сгустил краски и теперь почувствовал, что сделал непростительную глупость. Маркиз дал ему это понять своими насмешками. Рассерженный и смущенный, Орас некоторое время выслушивал все молча. Но наконец он не выдержал.

— Господин маркиз! — воскликнул он.— Ваше превосходство надо мной внушало мне надежду на снисхождение. Какая вам слава оттого, что вы, знатный вельможа, унизите бедного юношу и, человек пожилой, высмеете мальчишку? Вам показалось смешным фатовством мое увлечение виконтессой. Ну что ж, если вам поручено насмехаться надо мной...

— Что бы вы сделали тогда? — живо спросил маркиз.

— Что мог бы я сделать против женщины и...

— И старика? — сказал маркиз, спокойно заканчивая фразу Ораса.— Ну-с, так как же? Вы удалились бы и остались в дураках?

— Может быть, и нет, господин маркиз,— ответил Орас решительно,— может быть, я принял бы вызов, даже если бы мне грозило поражение; по крайней мере, я бы не сдался без боя.

— В добрый час,— сказал маркиз, протягивая ему руку.— Такие речи мне по душе. Теперь выслушайте меня. Я отнюдь не насмехаюсь, я уважаю вас и жалею: перед вами станут разыгрывать комедию или, если хотите, чтобы я выразился более современно,— *драму* страстей. Уж слишком много в вас иллюзий и юношеского огня. Вы неопытны, друг мой.

— Это я хорошо знаю, потому-то я и прошу у вас совета.

— Вот я и советую вам: еще пять-шесть лет поволочиться за восторженными, безумными женщинами, убивающими себя от любви или досады. Когда вы погубите и доведете до отчаяния по меньшей мере дюжину, вы созреете для великого предприятия, дерзко задуманного вами сейчас: сможете повести наступление на светскую женщину.

— Это урок? Понимаю. Но мне хотелось бы, чтобы он был серьезным и исчерпывающим, тогда я им охотно воспользуюсь. Скажите, сударь, без высокомерия, без лукавства: неужели светская женщина так неприступна, так недосягаема для мужчины, не принадлежащего к свету?

«Орас»

— Напротив! Нет ничего легче, как победить, в вашем понимании слова, самую неприступную из этих женщин. Вы видите, я с вами не высокомерен и не лукавлю.

— В таком случае... продолжайте, скажите мне все.

— Вы настаиваете? Знайте же: одержать победу, разбудив желания и любопытство в светской женщине, очень легко. Это ничего не стоит. Для этого не надо ни молодости, ни красоты, а только немного ума. Но не быть сброшенным на другой же день тем непокорным скакуном, что зовется *размышлением,*— это дано не всякому и требует известного искусства. Вы можете хоть сегодня неожиданно добиться того, что считают победой, но завтра же вас могут прогнать, а послезавтра завоеванная вами женщина не ответит при встрече на ваш поклон.

— Возможно ли? Так вот каковы их приемы!

— Это их право. И можно ли его оспаривать? Мы осаждаем их, мы вторгаемся в их мысли, их воображение, их совесть, хитростями и дерзостью мы вырываем у них согласие,— так что ж, разве они не вправе передумать, когда страсть наша, остывая, теряет свое могущество? Разве не могут отомстить за то, что проиграли игру, и взять реванш при первом же случае? Полноте! Мы ведь не мусульмане, чтобы лишать их свободы и собственного мнения.

— Вы правы, теперь и я начинаю понимать. Но что это за таинственная наука, без которой невозможно очаровать их больше чем на один день?

— Не знаете? Это наука никогда не разочаровывать их! Великая наука, поверьте мне!

— Научите меня, я хочу постичь ее,— сказал Орас.

Тогда старый маркиз с тайным самолюбованием и с тщеславным педантизмом волокиты, которого тешили унизительные жертвы и ничтожные интриги полувека любовных похождений, во всех подробностях изложил Орасу свою систему и свое учение. Он проделал это с такой торжественностью, словно завещал молодому приверженцу великую науку, тайну, призванную облагодетельствовать человечество. Орас слушал в остолбенении и ушел от маркиза настолько потрясенный и расстроенный, что не сомкнул глаз всю ночь. Он по-прежнему пытался восхищаться маркизом, но им против воли овладело такое отвращение к этому издевательству над любовью, к этому холодному расчету, что на другой день он не мог заставить себя пойти в замок. Три дня он был сам не свой под впечатлением этих страшных открытий, не веря больше ни во что и горько оплакивая свои иллюзии: то ему становилось стыдно за высший свет, к которому он стремился с таким жаром, то за самого себя, столь неопытного еще в

искусстве лжи. О виконтессе он больше не помышлял. В свете сухих, беспощадных суждений маркиза она казалась ему трупом, рассеченным на части в анатомическом театре.

За время своего непреднамеренного отсутствия он, сам того не ведая, проделал немалый путь к сердцу виконтессы. Она мысленно создала целый роман и не собиралась останавливаться на первой главе. В подзорную трубу, установленную на балконе замка, она могла ясно видеть наш домик и окружающие луга. Она даже различала Ораса, бродившего неподалеку по прогалине, граничившей с парком Шайи. Направившись туда же, она встретила его как бы невзначай, долго с ним гуляла, пустила в ход все свои чары, но не добилась от него признания. Орас был так потрясен наставлениями маркиза, так напуган преподанной ему наукой, что, несмотря на льстившие его самолюбию знаки внимания со стороны Леони, он нашел в себе силы сопротивляться. Сил этих хватило надолго, почти на три недели — срок огромный для двух людей, которые стремятся друг к другу и свободны от каких бы то ни было нравственных правил. Может быть, непреклонность молодого человека оскорбила и оттолкнула бы виконтессу, упорствуй он дольше. Но маркиз де Верн, который боялся холеры, хотя и делал вид, что пренебрегает опасностью, услышав, что кто-то заболел на левом берегу реки, сослался на письмо своего банкира и в тот же день уехал в Париж. Оставшись без ментора, Орас растерялся. Виконтесса, видя, что он увлечен ею, и не понимая, откуда нашлась у неопытного юнца воля отказаться от таких страстных поначалу преследований, была задета за живое; она решила во что бы то ни стало добиться победы и каждый день изобретала все новые и новые соблазны. Сотни раз она видела, что он готов упасть к ее ногам, но вдруг убегает от нее, взволнованный, потрясенный, так и не сказав ни слова любви. Их отношения не шли дальше взаимной симпатии и дружбы. Виконтессе в минуты самого, казалось бы, полного самозабвения всегда удавалось вовремя овладеть собой и с удивительным хладнокровием избежать опасности. Орас отлично видел, что она откровенно преследует его, но при этом сохраняет за собой все преимущества. Он тщетно ждал, когда же она отрежет себе пути к отступлению; но, что бы он ни делал, в течение трех недель самого необузданного кокетства она не сказала ему ни одного слова, которое нельзя было бы взять обратно или истолковать в другом смысле, если бы ей вдруг взбрело в голову дать ему отпор. Эта бесславная борьба доставляла ему жестокие страдания, и все же он не мог от нее отказаться. Он забыл обо всем: не помышлял о возвращении в Париж, не смел сообщить родителям, что покинул их лишь для

того, чтобы застрять на полпути, и, боясь огорчить их столь явным свидетельством равнодушия, не писал им вовсе, оставляя их во власти тревоги и в полном неведении о его судьбе.

А Марта? Она, казалось, никогда для него не существовала. Разыгрывал ли он стоически роль простака в гостиной виконтессы, окружал ли себя мрачной и зловещей тайной при свиданиях с ней наедине, возвращался ли вечером к нам, угрюмый и молчаливый,— он был словно одержимый, его терзали тысячи фурий, и, постепенно сдаваясь, он проходил школу светского разврата, которому добровольно обрек себя, лишь бы походить на маркиза де Верна.

Виконтесса долго искала уязвимого места в этой волшебной броне и наконец нашла: это было самолюбие литератора. Она заставила его признаться, что он поэт, и попросила показать ей свои стихи. Орас, никогда ничего не доводивший до конца, оказался в весьма затруднительном положении. Но она так восхищалась высоким призванием поэта, что ему страстно захотелось вкусить яд этой новой для него лести, и он сел за работу. Прошло уже добрых три месяца, как он не прикасался к перу и чернилам, не связал и двух фраз, не срифмовал и двух стихов. Обшарив закоулки своей памяти, он нашел там лишь одно, да и то не слишком яркое и сильное впечатление: это было исчезновение Марты и ее предполагаемое самоубийство. Не следует забывать, что с тех пор как он поразил воображение двух или трех человек, доверив им трагическую тайну, якобы разбившую его сердце и омрачившую его жизнь, предположение это превратилось у Ораса в уверенность. Сюжет был драматичен; Орас вдохновился. Он написал недурные стихи и прочел их мне с волнением, оттенявшим их достоинства. Я сам был очень взволнован. Я не знал, что за эти полтора месяца он впервые вспомнил о Марте,— в свои сердечные дела с виконтессой он меня не посвящал,— словом, я не подозревал, что слезы, катившиеся из его глаз на листки элегии, были репетицией сцены, задуманной для Леони.

На следующий день у виконтессы он восторжествовал как поэт и потерпел поражение как дипломат. Орас прочел ей свои стихи, якобы написанные два года назад,— ибо, надо заметить, он прибавил себе несколько лет, чтобы не казаться слишком юным в этом обществе. Кроме того, скорбь, помеченная задним числом, придавала ему байронический вид. Декламировал он с еще большим подъемом, чем передо мной; на последнем полустишии голос его дрогнул и пресекся. Виконтессе едва не стало дурно — так старалась она заплакать. Но в конце концов она с честью вышла из положения и пролила слезу... настоящую слезу. Увы, притворство исторгает из глаз слезы совершенно так же, как подлинное

волнение. Мы наблюдаем это ежедневно — еще одно психофизиологическое открытие науки девятнадцатого века, открытие, которое я долго отрицал, пока не увидел явные, неоспоримые и страшные тому доказательства.

Поразительно, что люди, одаренные этой способностью, очень легко поддаются обману, когда встречают подобную себе натуру. Орас отлично знал, что оплакивает Марту, не испытывая никакой жалости; но он не догадывался, что заставил плакать виконтессу, ничуть ее не растрогав. Увидев, какое он произвел впечатление на Леони, Орас совсем потерял голову; он позабыл все свои намерения, все наставления маркиза. Он бросился к ногам виконтессы и весьма красноречиво объяснился ей в любви. Орас был в ударе; все силы его ума были напряжены. Глаза его все еще блестели от слез, голос прерывался, губы дрожали, волосы в беспорядке падали на лоб. Виконтесса поверила, что он обожает ее, и радость победы на несколько мгновений вернула ей молодость и красоту. Но Леони была не такая женщина, чтобы уступить хотя бы днем раньше. Она затратила столько труда, вызывая его на объяснение, что теперь хотела дать ему почувствовать цену его мнимой победы и продлить величайшее для всякой кокетки удовольствие — заставить его униженно молить себя.

Как бы огромным усилием воли поборов охватившее ее чувство, она вырвалась из объятий Ораса и, изобразив на лице ужас, изумление и стыд, оставила растерянного юношу в будуаре, где происходила эта сцена, а сама убежала к себе в спальню и там заперлась.

Быть может, она надеялась, что Орас выломает дверь. Но у него не хватило на это ни ума, ни глупости. Он ушел из замка в ярости, смертельно оскорбленный, решив, что его одурачили и унизили. Виконтесса отнюдь не сочла такую обидчивость неуместной. Она увидела в этом проявление непомерной гордости и не ошиблась. Теперь она радовалась удачно придуманной уловке, понимая, что гордыню эту нужно смирить постепенно, дабы не подвергнуть тяжким испытаниям свою собственную гордость.

Эта бесчестная, эгоистическая игра продолжалась еще несколько дней. Орас потерял все свои преимущества. Он дулся; его призвали, но по-прежнему во имя дружбы. Согласились его выслушать, после того как заставили говорить. Его принудили замолчать, когда он сказал все, что угодно было услышать. Его то отталкивали, то приближали. Делали вид, что питают к нему лишь дружеские чувства, что признание его было полнейшей неожиданностью, разыгрывали изумление, тревогу, нежное сочувствие, великодушное и робкое желание исцелить невольно нане-

сенную рану. Леони наслаждалась; но, попав в собственные сети, она поплатилась за свое лицемерие и коварство и оказалась одураченной и поставленной в самое нелепое положение. Она воображала, будто борется с истинной любовью, сражается с жгучим раскаянием, торжествует над ужасным прошлым. Бедная Марта была ставкой в этой игре. Виконтесса верила, что затмила ее образ, не подозревая, что это была ложь, придуманная, чтобы завлечь ее в ловушку. Кто же был обманут, Орас или Леони? Обмануты были оба; и в тот день, когда оба сдались, их любовь, как ни мало достойна она этого прекрасного имени, была уже исчерпана утомительной и наскучившей им борьбой.

ГЛАВА XXVII

Этот день *блаженства,* самый памятный и зловещий в жизни Ораса, был отмечен в истории событиями более серьезными и значительными. То было 5 июня 1832 года. Хотя я и провел этот и следующий за ним день в полном неведении относительно неожиданно разыгравшейся в Париже трагедии, в которой участвовали многие мои друзья, я все же прерву рассказ о любовных успехах Ораса и последую за Арсеном и Ларавиньером, вовлеченными в кровавую драму неудавшейся революции. В мою задачу не входит рассказывать о событиях, память о которых еще горит как рана во многих сердцах. Я мало осведомлен о самом восстании, знаю только, какую роль сыграли в нем мои друзья. Мне неизвестно даже, как случилось, что в этих событиях принял участие Ларавиньер,— предвидел ли он их или бросился в бой внезапно, возмущенный провокационными действиями войск во время похорон прославленного генерала Ламарка и всем, необъяснимым даже сейчас, беспорядком этого рокового дня.

Как бы то ни было, разгоревшаяся борьба не могла не увлечь его. Она захватила также и Арсена; он не надеялся на успех восстания, но, желая смерти и видя, что его дорогой Жан сражается на баррикадах, последовал за ним, разделяя все опасности, и изведал героическое и мрачное упоение, владевшее самоотверженными защитниками этих новых Фермопил. Когда войска уже прорвались к баррикадам у монастыря Сен-Мерри и наступал последний час этих мучеников, весь израненный Ларавиньер упал, сраженный пулей.

— Я умираю,— сказал он Арсену.— Мы разбиты. Но ты еще успеешь спастись. Беги!

— Никогда,— сказал Арсен, бросаясь к нему,— пусть убьют меня вместе с тобой!

— А Марта?! — вскричал Ларавиньер.— Марта еще, быть может, жива, и у нее нет никого, кроме тебя! Последняя воля умирающего священна. Я завещаю тебе судьбу Марты и приказываю сохранить свою жизнь ради нее. Здесь делать больше нечего. Ты можешь, ты должен бежать от этих палачей, опьяневших от вина и мести. Жалкие солдаты! Их сто против одного, а они считают себя победителями!

И в то же мгновение отважный Жан склонился бездыханным на грудь Арсена. Дом — последнее убежище инсургентов — был взят приступом. Арсен и еще несколько человек выбрались через слуховое окно и бежали, перебираясь с крыши на крышу. Бегство это было истинным чудом и спасло от ярости нападающих лишь немногих смельчаков. Арсен прятался в трубах и на чердаках; десятки раз его замечали и кидались за ним — десятки раз он ускользал от преследователей, словно оберегаемый рукой провидения; он оступался и падал, снова подымался и наконец, весь израненный и разбитый, чувствуя, что силы и мужество его иссякают, решился на последнюю попытку спасти свою жизнь, к которой его привязывала лишь слабая надежда. Ему предстояло перепрыгнуть с одной крыши на другую и проскользнуть в мансарду через слуховое окно, которое он увидел в нескольких футах от себя. Нужен был один лишь прыжок, одно лишь мгновенье решимости и хладнокровия! Но Арсен был чуть жив и почти в беспамятстве. Кровь Ларавиньера, смешанная с его собственной, жгла ему грудь, одеревеневшие руки, пылающее лицо. Голова кружилась. Нравственные страдания были так жестоки, что заглушали страдания физические. Но все же инстинкт самосохранения еще руководил им и не давал почувствовать все усиливающееся изнеможение, осознать начавшуюся агонию. «Боже,— подумал он, заглянув в провал между двумя домами,— если жизнь моя еще нужна на что-нибудь — сохрани ее; если нет — дай мне умереть сразу!» И, наклонившись вперед, он скорее упал, чем прыгнул на край противоположной крыши. Затем ползком, на локтях и на коленях, ибо руки и ноги отказывались ему служить, он добрался до окна и, упершись в него коленями, выдавил стекло; всей тяжестью своего тела Арсен навалился на раму и, с полным равнодушием отдаваясь во власть благородства или низости застигнутых врасплох хозяев этого жалкого жилища, упал без чувств на пол мансарды. От ушиба, которого Арсен даже не ощутил, он на несколько секунд пришел в себя. Глаза его увидели окружающие предметы; мозг едва воспринял их, но сердце как бы расширилось от радости, озарившей его лицо в тот миг, когда он снова потерял сознание.

Что же увидел он в мансарде? Бледную, худую, бедно одетую женщину; она сидела на жалкой кровати, держа в объятиях новорожденного младенца, которого в ужасе закрыла своим телом, увидев человека, рухнувшего к ее ногам. Арсен узнал эту женщину. Он созерцал ее одно мгновение, краткое, как вспышка молнии, но в сознании его — бесконечное, как вечность; и, позабыв все, что выстрадал и потерял, он испытал такое счастье, какое не могли бы стереть в его памяти двадцать веков страданий. Так говорил он впоследствии об этом неизъяснимом мгновении своей жизни, открывшем ему источник новых размышлений об относительности человеческого понятия времени и о неизменности божественной истины.

Марта не узнала его. Обессиленная страданиями, нищетой и горем, она не находилась, подобно Арсену, в состоянии лихорадочного возбуждения, способного внезапно одушевить ее и дать ей почувствовать радость в бездне отчаяния. В первую минуту она испугалась; но вскоре разгадала причину столь странного посещения. Весь день, всю прошлую ночь и вечер она прислушивалась к зловещему шуму уличных боев, разгоревшихся неподалеку от ее жилища, с единственной мыслью: «Орас там, и каждый из этих выстрелов может быть направлен в его грудь». Орас неоднократно давал ей понять, что при первом же мятеже он будет на баррикадах; и она верила, что он способен выполнить подобное решение. Думала она также о Ларавиньере, зная, как он горяч и как рвется в бой; но, помня, сколь ненавистны были Арсену трагические воспоминания о днях 1830 года, она не предполагала, что он может принять участие в нынешних событиях. Когда она увидела распростертого на полу умирающего, она поняла, что перед ней беглец, побежденный, и бросилась к нему на помощь, не раздумывая, к какой партии он принадлежит. Лишь когда она осветила лампой почерневшее от пороха, залитое кровью лицо, у нее мелькнула мысль об Арсене; но она не поверила своим глазам. Без страха и отвращения — несчастные не подвержены подобным слабостям — она приподняла дрожащими руками голову незнакомца, положила ее к себе на колени и краем передника отерла кровь и следы пороха с его лица. И тогда лишь, вглядевшись в эти искаженные, обезображенные черты, она узнала его: то был Арсен, ее преданный брат, ее лучший друг. Ей показалось, что он мертв, и, склонившись к его иссиня-бледному лицу с погасшим взором и застывшей улыбкой на сведенных судорогой губах, она стала осыпать его поцелуями и замерла без слез, без стона, погрузившись в мрачное отчаяние, близкое к безумию.

Когда Марта немного овладела собой, она попыталась по биению артерий узнать, теплится ли еще в нем жизнь. Ей пока-

залось, будто она уловила пульс; но ее собственное сердце стучало так сильно, что она боялась ошибиться. Она бросилась к двери, чтобы позвать на помощь кого-нибудь из соседей; но, вспомнив тут же, что среди этих незнакомых ей людей любой негодяй или трус может предать беглеца в руки мстительного закона, заперла дверь на задвижку, вернулась к Арсену и, сложив молитвенно руки, стала вслух вопрошать бога, единственного своего заступника, что ей делать. Потом, повинуясь внезапному побуждению, попыталась поднять безжизненное тело. Дважды она падала подле него, не в силах сдвинуть его с места, наконец каким-то сверхъестественным усилием она подняла Арсена, как ребенка и уложила его на свою убогую кровать, где лежал другой обездоленный — ее собственный ребенок, который спал, не зная ни страхов, ни тревог своей матери.

— Вот, сын мой, как начинается твоя жизнь! — воскликнула она, словно обезумев.— Кровь — твое крещение; у изголовья твоего — смерть!

Затем она разорвала простыню, чтобы промыть и перевязать раны Арсена. Она отмыла кровь, налипшую на волосах, зажала пальцами кровоточившие вены, своим дыханием согрела ему руки и обратилась к богу с горячей мольбой, вылившейся из глубины ее истерзанного сердца. Это было все, что она могла сделать.

Ее молитва была услышана — Арсен пришел в сознание. Сделав над собой усилие, он заговорил:

— Не утруждай себя,— сказал он.— Если раны мои смертельны, бесполезно заботиться о них; если же нет — право, не так уж важно, чтобы мне стало легче немногим раньше. К тому же я не чувствую боли. Сядь здесь, возле меня. Только сперва принеси мне воды и дай этот платок, я сам остановлю кровь из раны на груди. Теперь положи мне руку на лоб, и больше мне ничего не нужно. Скажи, что я не грежу, ведь я так счастлив!.. Счастлив? — с ужасом воскликнул он, внезапно опомнившись, ибо перед ним возник образ Ларавиньера. Но, подумав, что у Марты и без того много горя, Арсен затаил эту страшную мысль и промолчал. Он с жадностью выпил воды, но тут же спохватился.— Убери от меня стакан,— сказал он,— если раненые много пьют, они сразу же умирают. А я не хочу умирать, Марта; ради тебя, мне кажется, я не должен умирать.

Всю ночь он находился между жизнью и смертью. Его мучила жестокая жажда, но у него достало воли не пить. Марте удалось остановить кровь. Раны, хотя и были глубоки, сами по себе не грозили опасностью. Но возбуждение, горе и усталость вызвали у него горячку; ему казалось, что огонь струится по его жилам. Если бы он поддался обуявшему его исступлению, то лишил бы

себя жизни, ибо владевшая им последние два дня ярость разрушения обратилась теперь против него самого. В своем неистовстве он нашел в себе, однако, силы бороться с болезнью: дух его не был сломлен. Этот могучий дух, скованный физическим недугом, сам приходил в смятение, но не поддавался терзавшим его мукам и почти нечеловеческим усилием отгонял прочь призраки, навеянные лихорадкой, и мысли, внушенные отчаянием. Десятки раз он вскакивал с постели, готовый сорвать с себя повязки и оттолкнуть Марту, которую временами не узнавал и принимал за врага, бешеными криками грозя выдать тайну своего убежища, пытаясь размозжить голову о стену. Но тут же воля его творила чудеса. Его глубоко религиозная натура даже в помрачении сохраняла способность верить и молиться; складывая руки, он восклицал:

— Боже мой! Что это? Где я? Что творится со мной и вокруг меня? Не оставь меня, боже! Даруй мне благочестивую, спокойную кончину! — Потом он говорил, обращаясь к Марте: — Ведь я человек, не правда ли? Я не убийца, я не пролил умышленно невинную кровь! Я не утратил права призывать его? Скажи мне, что это ты, что ты здесь, Марта! Скажи, что ты надеешься, что ты веришь! Молись, Марта, молись за меня и со мной, чтобы я выжил; или уж пусть умру я, но как человек, а не как собака.

Он прятал лицо в подушку, чтобы заглушить вопли, вырывавшиеся из груди, кусал одеяло, чтобы не скрежетать стиснутыми до боли зубами; а когда предметы принимали в его глазах фантастические очертания, когда его воображение превращало Марту в страшный призрак, он закрывал глаза, величайшим усилием мысли и воли побеждая свой бред, и отстранял рукой видения, заклиная их силой своей веры и любви.

Эта ужасная борьба продолжалась почти двенадцать часов. Марта держала младенца на руках; когда Поль терял мужество и скорбно восклицал: «Боже мой, боже мой! Опять ты покинул меня!» — она падала на колени и протягивала Полю невинное создание, перед которым тот, казалось, испытывал благоговение. Арсен не сказал еще о ребенке ни слова. Он его видел, спокойно на него глядел, ничего о нем не спрашивал; но всякий раз, когда у него вырывался стон или рыдание, быстро оглядывался, чтобы посмотреть, не разбудил ли он малютку. Но вот, пролежав долгое время в безмолвном оцепенении, Арсен внезапно спросил:

— Он умер?

— Кто? — спросила Марта.

— Ребенок,— отвечал он,— почему он затих? Нужно спрятать ребенка, враги торжествуют, они убьют его. Дай мне ребенка, я спасу его; я унесу его на крышу, там его не найдут. Спасем ребенка; все остальное неважно, ребенок — вот святыня!

Бред омрачал сознание Арсена, но чувство долга и самопожертвования не покидало его. Он повторял сотни раз: «Ребенок! Что с ребенком? Его спасли? О! Будь спокойна за ребенка, мы спасем его».

Приходя в сознание, он подолгу смотрел на малютку, но уже ничего не говорил. Понемногу возбуждение его улеглось, и он проспал целый час. Марта, изнемогая от усталости, положила дитя на кровать рядом с умирающим. Сидя на стуле, она одной рукой обнимала сына, а другой поддерживала голову Поля; наконец голова ее тоже упала на подушку. И трое несчастных уснули, хранимые богом, единственным их защитником, и отгороженные от остального человечества опасностью, нищетой и смертью.

Но вскоре их разбудил глухой шум и движение в доме. Марта услышала незнакомые голоса, поспешные тяжелые шаги — и похолодела от ужаса: полицейские агенты обходили мансарды в поисках жертв. Они приближались к ее двери. Марта накрыла Арсена с головой, выровняла постель, засунув под одеяло разное тряпье, и, положив на нее ребенка, пошла открывать дверь с решимостью и мужеством, проявляющимися в минуту крайней опасности. Обломки оконной рамы были спрятаны в углу, а разбитое окно она завесила передником, чтобы скрыть повреждение. Сердобольная соседка, у которой уже сделали обыск, последовала за сыщиками до самого порога комнаты, где жила Марта.

— Здесь, мои добрые господа,— сказала она им,— живет только бедная женщина, едва оправившаяся после родов, она еще совсем больная. Не пугайте ее, добрые господа, от испуга она может умереть.

Ее просьба ничуть не тронула этих бессердечных, безжалостных людей, но хладнокровие, с которым Марта встретила полицейских, рассеяло все их подозрения. Один лишь взгляд, брошенный на ее комнату, слишком маленькую и пустую, чтобы можно было в ней кого-нибудь спрятать, убедил их в бесполезности более тщательного осмотра. Они ушли, не заметив оставшихся на полу следов крови, — еще одно чудо, способствовавшее спасению Арсена. Соседка Марты, добрая и достойная старушка, принимала у нее ребенка, теперь она помогла ей укрыть беглеца и взялась принести ему пищу и кое-какие лекарства. Но она не знала ни одного врача, на молчание которого можно было бы положиться, и, запуганная поистине инквизиторскими жестокостями, проявленными к жертвам Сен-Мерри, оказывала Арсену лишь ту незначительную помощь, на которую была способна сама. Марта не смела ни на шаг отойти от дому, боясь, как бы в ее отсутствие к ней не пришли опять с обыском. Впрочем, Арсен стал так спо-

коен, что тревога ее улеглась и она рассчитывала на его скорое выздоровление.

Однако случилось иначе. Больной был настолько слаб, что больше месяца не мог подняться с кровати. Марта спала все это время на связке соломы — она выпросила ее, чтобы сделать себе тюфяк, но денег на холст у нее не было. Соседка сама жила в крайней бедности. Слабость и истощение Марты, а также состояние больного не позволяли ей работать и тем более выходить из дому на поиски работы. После разлуки с Орасом Марта, решив никому не быть в тягость, когда станет матерью, целых два месяца жила, продавая или закладывая последние свои платья; но так как недомогание, вызванное беременностью и родами, оказалось более длительным и тяжелым, чем она предполагала, то ее скудные средства скоро иссякли и она впала в полную нищету. Арсен оказался не в лучшем положении. Узнав из разговоров с Ларавиньером, что в Париже готовится переворот, и желая развязать себе руки, чтобы принять в нем участие, он отдал все свои сбережения сестрам и велел им ехать в провинцию. Полагая, что неизбежно погибнет, он не оставил себе ничего. Положение двух покинутых всеми людей было ужасно. Оба они были больны, оба истерзаны. Он был прикован к ложу страданий; она кормила грудного ребенка, питалась одним хлебом и спала на соломе; в этой мансарде она даже не была защищена от холода, потому что боялась позвать кого-нибудь починить окно: выломанная рама разоблачила бы их тайну, и Арсену это могло стоить жизни; к тому же у нее не было сил двинуться с места.

Прибавьте еще ко всему этому какое-то безразличие и упадок духа, вызванные лишениями, крайнюю изнуренность, болезненное самолюбие, полную оторванность от мира, парализующую волю, ум, чувства,— и вы поймете, почему они оставались в таком состоянии, без помощи, в течение нескольких недель, хотя, приняв некоторые предосторожности и поступившись немного своей гордостью, могли позвать меня и Эжени.

Один только ребенок не слишком страдал от всех этих невзгод. У Марты почти пропало молоко, но соседка уделяла малютке немного молока от собственного завтрака и каждый день гуляла с ним по залитой солнцем Цветочной набережной. Большего и не нужно парижскому ребенку, чтобы расти, подобно хрупкому, но выносливому растению, среди этих сырых стен, где жизнь развивается вопреки всему, жизнь более хилая и слабая, но вместе с тем более напряженная, чем на чистом воздухе полей.

Во время этого жестокого испытания Арсену ни разу не изменила выдержка. Он не проронил ни одной жалобы, хотя сильно

страдал,— и даже не столько от ран, которые, к счастью, не загноились и понемногу заживали, не внушая опасений, сколько от сильнейшего нервного возбуждения, сменявшегося глубокой подавленностью. За упадком сил снова следовало возбуждение, и редко выдавался светлый промежуток, когда он мог поговорить с Мартой. Во время лихорадки он заставлял себя молчать,— и Марта не знала, как он страдает; в спокойные минуты берег силы для борьбы с новым приступом болезни. Эта стоическая решимость способствовала его выздоровлению. Марта удивлялась, как медленно он поправляется, не понимая, насколько серьезна его болезнь; мне же, когда я впоследствии услышал от Арсена подробный рассказ о всех его страданиях, такое быстрое выздоровление показалось почти чудом. Хотя Арсен и сумел внушить Марте уверенность в благополучном исходе своей болезни, порой ее пугало равнодушие, с которым он ждал своего выздоровления, как будто вовсе его не желая. Тогда ей казалось, что его умственные способности серьезно пострадали, и она боялась, что они никогда полностью не восстановятся. Но в то время как Марта предавалась этим мрачным размышлениям, Арсен считал часы и минуты, полный упорства и решительности; чувствуя, что болезнь очень медленно идет на убыль, он справедливо заключил, что стоит ему ослабить волю — и возврат ее неминуем. Поэтому он старался избегать сильных волнений, не поддаваться малодушию и, казалось, не замечал ужасного положения, в котором они с Мартой находились.

Однажды, когда Арсен лежал с закрытыми глазами и как будто спал, он услышал, как старушка соседка выражала участие Марте в меру своих понятий и чувств, несомненно добрых и человечных, но ограниченных и грубоватых.

— Ах, душенька,— говорила она,— какое несчастье, что вам пришлось приютить этого человека. У вас у самих-то ничего нет, а тут еще последний кусок хлеба дели: хлеб-то, милая, вам самой нужен, а то и молока для ребеночка не будет.

— Я бы и рада поделиться с ним,— с печальной улыбкой возразила Марта,— но он не съедает за целый день и того ломтика, что я крошу ему в суп. А суп-то какой! Капля молока на тарелку воды. Не знаю, чем он только жив!

— Так он у вас никогда не поправится! — ответила старуха.— Разве при таком питании можно встать на ноги? Зря только вы изведетесь, а его все равно не выходите.

— Нет, уж лучше я умру вместе с ним, но его не покину,— сказала Марта.

— А если уморите ребенка? — возразила старуха.

— Бог не допустит этого! — воскликнула в ужасе Марта.

— Да я не говорю, что это непременно случится,— мягко продолжала старуха,— не говорю, что вы напрасно собой жертвуете. Я знаю, помогать ближнему мы обязаны; но сам-то он должен понимать, что незачем ему было спасаться от эшафота, если теперь вы оба попадете в больницу. Этот бедняга не знает, как он вредит вам. Он не видит, что вы спите на соломе под открытым окном, а так вы долго не протянете. Попросту он от болезни немного помешался; но если вы позволите мне поговорить с ним, я уверена, он в тот же день решит хоть ползком выбраться отсюда. Вдвоем, взяв его под руки, мы уж как-нибудь довели бы его до больницы. Там ему будет лучше, чем здесь.

— До больницы!— воскликнула Марта бледнея.— Разве вы не знаете... Да ведь вы же сами мне говорили, что врачам велено сообщать обо всех раненых, обратившихся к ним за помощью, что в больницах над каждой койкой вывешивают сведения для полиции! Людей, выполняющих самую священную обязанность, под угрозой, что их обвинят в соучастии, заставляют становиться доносчиками! И вы хотите, чтобы я отдала этого несчастного на расправу обществу, где подобные приказы принимаются безропотно и, может быть, даже не вызывают возмущения? Нет, если мир превратился в разбойничий притон, то, по крайней мере, в сердцах бедных женщин и под крышами наших мансард живы еще вера и человеколюбие! Разве не так, голубушка?

— Чего уж там! — отвечала соседка, утирая слезы краем передника.— Вы всегда меня уговорите. Не знаю, где вы всего этого набрались, но ваши слова угодны богу, а мне они тоже по сердцу. Пойду-ка я принесу молока и сахару для вашего больного, да, кстати, и для малютки,— добавила она, целуя ребенка, прижавшегося к груди матери.

— Нет, матушка Олимпия,— сказала Марта,— вы не должны отказывать себе в последнем; вы и так уже слишком много для нас сделали. Нельзя в вашем возрасте терпеть такие лишения. Мы еще молоды, у нас хватит сил все перенести.

— А если я хочу себе отказывать, хочу терпеть! — вскричала, рассердясь, добрая старушка.— Уж не считаете ли вы, что я только о себе думаю, что у меня нет сердца? Да и какое вы имеете право отказываться? Ведь делаю я это для *нашего солнышка* и для несчастного, которого сам господь бог нам поручил!

— Ну хорошо, я согласна,— ответила Марта, обвивая исхудалыми руками шею старухи,— я с радостью соглашаюсь. Придет день, и, может быть, даже очень скоро, когда мы отблагодарим вас за все добро, какое вы для нас сделали, потому что бог все-таки вернет нам силы и свободу!

— Ты права, Марта,— произнес Арсен слабым, прерывающимся голосом, когда соседка вышла.— Мы будем свободны, и силы наши восстановятся. Твое сострадание спасло меня — придет и мой черед. Крепись, моя Марта, молча, покорно, как я крепнюсь. Мне нужно еще больше мужества, чем тебе,— ведь я вижу, как ты страдаешь, и мне больно думать, что я не только ничем не помогаю тебе, но еще больше отягчаю твою участь. В первые дни я спрашивал себя, не лучше ли мне снова выбраться на крышу и, забившись в какой-нибудь уголок, умереть там, как птице с перебитым крылом; но я почувствовал, что моя любовь к тебе поможет мне преодолеть болезнь, что я выживу,— ибо во мне сильна воля к жизни; и, принимая твою поддержку теперь, в будущем я сам стану тебе опорой. Видишь, Марта, бог ведает, что творит! Из гордости ты убежала, ты скрывалась от меня. Ты готова была жить в одиночестве, скорби и нужде, только бы не принимать моей помощи. Теперь, когда судьба привела меня сюда и я испытал всю силу твоей преданности, ты не вправе больше ни оттолкнуть меня, ни отказаться от моей поддержки. Я предлагаю тебе, Марта, только мое сердце и мои руки, ибо нет у меня ни золота, ни серебра, ни одежды, ни пристанища, ни талантов, ни покровителей; но сердце мое горит любовью к тебе, а эти руки добудут пищу тебе и «нашему солнышку», как говорит соседка.

С этими словами Поль взял ребенка и поцеловал его; это было первым проявлением его любви. Он и прежде часто укачивал малютку на коленях, чтобы Марта могла отдохнуть, и не раз по ночам убаюкивал его в своих объятиях и согревал, прижимая к груди; но, заботясь о нем, Арсен никогда его не ласкал. В этот миг слеза умиления медленно скатилась по его щеке на личико ребенка, и Марта осушила ее губами.

— Поль! Брат мой! — воскликнула она.— Если бы только ты мог полюбить мое милое, несчастное дитя!

— Молчи, Марта, не надо,— ответил он, отдавая ей сына.— Я еще слишком слаб; до сих пор я не сказал тебе об этом ни слова. Мы поговорим, и я надеюсь, ты останешься мною довольна. А пока будем терпеть, если на то воля божья. Я ведь вижу, что ты голодаешь, вижу, что ты спишь где-то в углу, подложив под голову охапку соломы,— и я даже не смею сказать тебе: дай я буду спать на полу, ибо ты и слышать об этом не хочешь, и терзаешь меня своей добротой, от которой мне так больно и так сладко. И вот я должен лежать здесь, хладнокровно смотреть на твои мучения и твердить: все хорошо! Увы! Боже милостивый, дай мне силы выдержать до конца!

— Смотри, Марта,— сказал он ей на следующий день, когда ему опять стало немного полегче,— не забудь все что ты для меня

сделала, и не говори потом, когда я тебе об этом напомню, что не так уж ты сильно страдала! Я ведь знаю тебя, Марта: ты способна на такое вероломство.

Чуть приметная улыбка пробежала по губам обоих; и Марта, наклонившись, запечатлела чистый поцелуй на лбу своего друга. Это была первая ласка, на которую она осмелилась за те пять недель, что они жили взаперти, оставаясь наедине и днем и ночью. Все это время, каждый раз, когда Марта, в страхе за его жизнь, не помня себя от горя, бросалась к нему, чтобы поцеловать в последний раз, он резко отталкивал ее и гневно говорил: «Оставь. Ты что же, убить меня хочешь?» Только в эти минуты в нем, казалось, просыпались отзвуки былой страсти. Кроме этих редких и быстро проходящих вспышек (Марта поняла, что не следует вызывать их своей дружеской нежностью), они не обменялись ни одним словом о прошедших горестях. Можно было подумать, что со времен их мирной детской дружбы и до трагического дня сражения у монастыря Сен-Мерри ничего не произошло,— так старательно избегал Арсен всякого упоминания об этой поре ее жизни, такой стыд и тоска охватывали Марту при одной мысли об этом! Сегодня они оба впервые подумали о прошлом без смущения, и оба поняли, что эта мысль может со временем утратить для них свою горечь. На сей раз Поль не отстранил Марту; с еще большей нежностью, чем накануне, он вернул поцелуй ее ребенку и сказал веселым голосом, в котором, однако, прозвучала грусть:

— Знаешь, Марта, он прелестен. Говорят, что все младенцы в этом возрасте безобразны: но тот, кто так говорит, никогда не смотрел на ребенка глазами отца.

ГЛАВА XXVIII

После первых же посещений замка Шайи Орас дал нам понять, что имеет виды на виконтессу и питает в отношении ее некоторые надежды. Эжени высмеяла его фатовство; а я, отнюдь не считая его успех невозможным, никак не мог поздравить его с таким намерением; напротив, я сказал ему без околичностей, что весьма невысокого мнения о Леони. Орасу не понравилось наше отношение к его признаниям, и он молчал вплоть до дня своего торжества, преисполнившего его несказанной гордости. В этот день за ужином он то и дело вставлял в разговор замечания о покоряющей прелести, исключительном уме и необычайном такте виконтессы, желая вызвать в нас восхищение ее чарами. Эжени, которая когда-то шила на нее и видела ее красоту, прекрасные манеры и возвышенный ум, так сказать, в натуральном виде, никак

не разделяла его восторгов и твердила, что виконтесса высокомерна, даже когда хочет казаться простой, суха и оскорбительна, когда выказывает благоволение. Мысль о Марте, негодование, тайно испытываемое Эжени оттого, что Орас так быстро забыл о ней, придали ее выражениям излишнюю резкость. Орас рассердился и заговорил с ней как с глупенькой девочкой, которая обязана относиться к госпоже де Шайи с почтением и забывает о разнице в их положении. Он заявил, что она не способна понять очарование столь высокопоставленной и знатной дамы.

— Дорогой Орас,— ответила Эжени с величайшей кротостью,— все, что вы сейчас сказали, меня не обижает. Я никогда не собиралась оспаривать у кого бы то ни было ваше уважение. Если, высказав откровенно свое мнение, я оскорбила вас, пусть мне послужит извинением участие, которое я в вас принимаю: боюсь, как бы эта прекрасная дама вас не замучила и не унизила,— она провела немало мужчин, более опытных, чем вы, и хвастает этим даже перед своими *камеристками,* что показалось мне проявлением дурного вкуса и тона.

Орас злился все больше. Я попытался его успокоить, уверяя, что Эжени права, и умолял его в последний раз хорошенько подумать, прежде чем подвергать себя насмешкам виконтессы. Тогда, оскорбленный нашими предположениями, не будучи в силах больше сдерживаться, он заявил нам вполне недвусмысленно, что ему больше не грозит опасность позорного изгнания и что если виконтессе взбредет в голову добавить еще один трофей к коллекции сердец, которую она носит как ожерелье, то кто ему помешает носить ее цвета, как бутоньерку, в петлице?

— Вы этого не сделаете,— холодно возразила Эжени,— порядочный человек не хвалится своими любовными победами.

Орас прикусил губу, потом добавил после минутного раздумья:

— Порядочный человек не хвалится своими победами, пока гордится ими; но подчас он кается в увлечениях, когда его вынуждают за них краснеть. Я это сделаю, не сомневайтесь, если женщина доведет меня до крайности.

— Это не входит в систему вашего друга маркиза де Верна,— заметил я.

— Система маркиза,— возразил Орас,— (а он знает на этот счет побольше нас с вами) состоит в том, чтобы никогда не позволять смеяться над собой. Я не собираюсь стать его подражателем, слепо применяя те же средства. Каждому свое! И все средства хороши, если приводят к цели.

— Не знаю, что думает об этом маркиз де Верн,— сказала Эжени,— но знаю, как рассуждали бы в подобном положении вы.

— Не соблаговолите ли вы сказать, как именно? — спросил Орас.

— Пожалуйста,— ответила она.— Вы взвесили бы на весах разума и справедливости ущерб, причиненный вам женщиной, которая кичится тем, что вас отвергла, и ущерб, который вы неминуемо ей причините, хвалясь тем, что покорили ее,— и поняли бы, что за насмешку вы хотите отплатить оскорблением. Ибо в свете (да, я уверена, в высшем свете, так же как в народе) женщину уважают, если ее уважает любовник, и относятся к ней с презрением, если любовник ее презирает. Из ее ошибки делают преступление; и нужно признать, что в этом отношении женщины достойны жалости, ибо даже самых осторожных и ловких из них может оскорбить человек, еще вчера умолявший о любви. Разве это не так, Орас? Не смейтесь и отвечайте. Для того чтобы вас выслушала виконтесса,— а я не считаю ее слишком строгой,— разве не пришлось бы вам некоторое время настаивать, смиряться, молить? Разве не требовалось бы проявлять любовь или изображать ее? Говорите!

— Эжени, дорогая,— возразил Орас, наполовину смущенный, наполовину довольный этим, как казалось ему, скрытым допросом,— вы очень нескромны, и я не обязан давать вам отчет в том, что могло или может произойти между виконтессой и мною.

— Вам нет надобности кого-либо компрометировать, я задаю вам только принципиальный вопрос. Ведь вы не стали бы ухаживать за женщиной, которая сдалась бы вам без сопротивления?

— Вы сами знаете, я имею дело только с теми женщинами, которые упорно защищают свою честь и победа над которыми трудна и опасна.

— Зная вашу гордость, я утверждаю, что в таком случае вы не вправе будете предать женщину, ибо вам будет принадлежать только та, которой вы клялись в уважении, преданности и скромности. Опозорить ее после этого было бы подлостью и вероломством.

— Дорогой друг,— продолжал Орас,— я знаю, что вы учились спорить в зале Тэтбу; и, следовательно, все ваши выводы всегда будут в защиту прав женщины. Но сколь ни хитроумны ваши рассуждения, позвольте заметить, что я никогда не соглашусь, чтобы женщины присвоили себе первенство. Мне кажется несправедливым, чтобы вам давалось право ославить нас глупцами, нахалами или рабами, а мы не могли бы даже требовать равенства. Значит, по-вашему, любая кокетка, желая увидеть меня у своих ног, будет неделями играть мною, восторжествует наконец над моей осторожностью и, достигнув цели, предоставит мне права супруга и госпо-

дина, а назавтра начнет все сначала с другим и, дав мне отставку, скажет моему преемнику, своим друзьям и горничным: «Видите этого наглеца? Он осаждал меня своими домогательствами, но я его поставила на место, сбила с него спесь!» Нет, знаете ли, это уж чересчур! И, право же, я не намерен позволять такие шутки. Мне кажется, быть смешным ничуть не лучше, чем быть опозоренным. Может быть, во Франции, и особенно в наши дни, это еще хуже. И женщина, подвергшая меня такому позору, может ожидать мести, о которой будет помнить всю свою жизнь. Наше законодательство покоится на принципе возмездия.

— Если подобный принцип кажется вам справедливым и человечным,— отвечала Эжени,— мне нечего больше сказать. В таком случае вы одобрите и смертную казнь, и другие варварские установления, против которых, как мне казалось, возмущалась ваша совесть. По крайней мере, я слышала, как вы утверждали это, и думала, что в своем собственном поведении, там, где вы властны исправлять нелепость и жестокость законов,— например, в том, что касается общественного мнения,— вы проявите больше великодушия и благородства, чем выказали сейчас. Но,— добавила она, поднимаясь из-за стола,— надеюсь, все это, как говорим мы, простые люди, *одни разговоры,* и ваши поступки окажутся лучше ваших слов.

Как внутренне ни сопротивлялся Орас, благородные мысли Эжени произвели на него впечатление. Когда она вышла из комнаты, он сказал мне в порыве великодушия:

— Твоя Эжени исключительное существо! Мне кажется, если у нее ума и меньше, то мыслей, пожалуй, даже больше, чем у моей виконтессы.

— Так она окончательно *твоя,* дорогой Орас? — спросил я, взяв его за руку.— Что ж! Признаюсь, я этим очень огорчен.

— Да почему же? — воскликнул он с надменным смехом.— Право же, вы с Эжени уморительны с вечными вашими соболезнованиями. Можно подумать,— я несчастнейший из смертных оттого, что обладаю самой прелестной, самой обольстительной женщиной на свете. Не знаю, похожа ли она на идеальную героиню романа, как вам бы того хотелось, но я более скромен, и для меня это — прекрасное приобретение, упоительная любовница!

— Любишь ли ты ее, по крайней мере? — спросил я.

— Черт его знает, я и сам не разберусь,— беззаботно ответил он.— Ты слишком многого от меня требуешь. Я любил уже — и, думаю, первый и последний раз в жизни. Отныне я ищу в женщине лишь рассеяния от скуки и возбуждения для моего усталого сердца. Для меня любовь превратилась в войну, а у солдата, как известно, очень мало человеколюбия, ни капли добродетели, уйма

честолюбия и изрядная доля тщеславия. Признаюсь, эта победа льстит моему самолюбию,— ведь она мне стоила немало времени и труда. Что здесь дурного? Уж не собираешься ли ты наставлять меня на путь истины? Ведь мне всего двадцать лет. Если чувства мои умерли, то страсти во мне еще бушуют!

— Все это мне кажется лживым и напыщенным,— сказал я.— Говорю с тобой от чистого сердца, Орас, не щадя твоего тщеславия, за которым ты пытаешься укрыться,— это слишком мелкое чувство для тебя. Великое чувство, великая любовь не умерла еще в твоей груди; я даже думаю, она еще не просыпалась и ты никого еще не любил. Не сомневаюсь, что благородные страсти, долго заглушавшиеся неопытностью и самолюбием, зреют в тебе, и они станут твоей мукой, если не приведут тебя к счастью. Дорогой мой Орас! Ты не Дон-Жуан, изображенный Гофманом, и тем более не Дон-Жуан Байрона. Поэтические вымыслы слишком занимают твой ум, ты насилуешь себя, чтобы уподобиться им в жизни. Но ты моложе, ты сильнее, чем эти призраки. Тебя не сломила гибель твоей первой любви; это был лишь неудачный опыт. Берегись же, как бы второй опыт, вопреки тому легкомыслию, с каким ты к нему относишься, не стал бы серьезной и роковой любовью в твоей жизни.

— Что ж, если так,— согласился Орас, тщеславию которого льстили мои предположения,— будь что будет! Леони создана для того, чтобы внушить истинную страсть; она сама испытывает ее, в этом я нимало не сомневаюсь. Да, Теофиль, я любим и любим пылко; эта женщина готова ради меня на величайшие жертвы, на величайшие безумства. Быть может, ее любовь разбудит во мне ответное чувство, и мы познаем в объятиях друг друга истинную страсть. Большего я и не прошу у судьбы, лишь бы выйти из ужасного оцепенения, в которое я был так долго погружен.

— Орас,— вскричал я,— она тебя не любит! Она никогда никого не любила и никогда никого не полюбит. Она не любит даже своих собственных детей.

— Все это вздор, пустые поучения! — ответил он в сердцах.— Я счастлив, что она никого не любит и отдает мне девственное сердце. На это я не смел и надеяться; твои слова приводят меня в восторг, а не расхолаживают. Черт возьми! Будь она хорошей супругой и матерью, она не могла бы стать страстной любовницей. Ты считаешь меня ребенком. Неужели ты думаешь, что я могу ошибаться в ней; разве не ощутил я сегодня ее восторга? Ах, как не похоже ее опьянение на целомудренную покорность Марты! Та была монахиня, святая,— я преклоняюсь перед ее памятью, священной для меня навеки! Но Леони! Это настоящая женщина, это тигрица, демон!

— Это комедиантка,— печально сказал я.— Горе тебе, когда ты увидишь ее не на сцене, а за кулисами!

Если бы подле виконтессы был в это время истинный друг, он сказал бы ей об Орасе то же самое, что я говорил Орасу о ней; но, обуреваемая желанием быть любимой со всем романтическим неистовством, которое знала только по книгам и не нашла ни в одном человеке своего круга, она послушалась бы доброго совета не больше, чем Орас. Она отдалась ему, веря, что внушила бурную страсть, но сама испытывала только тщеславие и любопытство. Можно сказать, что оба они разыгрывали свои роли с одинаковым искусством.

Я до сих пор не могу понять, каким образом такая проницательная женщина, как виконтесса, смолоду приученная маркизом де Верном хитрить с мужчинами и предугадывать события, могла так обмануться в Орасе. Она надеялась найти в нем непоколебимую романтическую преданность и слепое восхищение, рассчитывала, что ее любовник будет горд уже тем, что обладает такой женщиной, как она. Она жестоко заблуждалась: Орас мог предаться упоению, но ненадолго; при всей его неопытности, уязвленное самолюбие должно было толкнуть его на борьбу с самолюбием Леони. Я могу объяснить промах виконтессы только тем, что она вступила в совершенно неведомый ей мир, избрав предметом своей любви человека из буржуазной среды. У нее не было никаких аристократических предрассудков, поэтому она создала себе идеал умственного превосходства и мысленно поместила его на низшей ступени социальной лестницы, чтобы придать ему больше необычности, таинственности и поэзии. Не следует забывать, что воображение ее было столь же пылко, сколь холодно сердце. Наскучив всем, по первому же слову угадывая фразу, которую готовился произнести перед ней какой-нибудь титулованный поклонник, она нашла в необычной для нее порывистости Ораса ту новизну, которой так жаждала. Но, распознав достоинства в человеке, лишенном знатного происхождения, она не могла предвидеть в нем недостатков человека, не знающего законов света и «не умеющего держать себя», как весьма точно выразился маркиз.

В обществе, лишенном каких-либо принципов, понятие чести, служащее им заменой, и хорошее воспитание, позволяющее делать вид, что они существуют,— преимущества более серьезные, чем может показаться на первый взгляд.

Орас чувствовал своеобразное превосходство так называемого хорошего общества. Восхищаясь всем, что могло его поднять и возвеличить, Орас решил привить себе эти качества. Но если это и удавалось ему в мелочах, то в крупном он срывался. Когда эти-

кет требовал лишь легких жертв, характер и привычки еще можно было пересилить; но когда приходилось поступаться своим тщеславием — преувеличенное самолюбие, неуместная заносчивость и грубоватая натура этого человека *третьего сословия* давали себя знать. Это было совсем не то, чего желала виконтесса. Ей нравилась остроумная и милая непосредственность Ораса, и она находила, что он слишком быстро ее теряет. Она ждала от него великого самоотречения, своего рода героизма в любви, но не нашла в нем ни малейшей к тому склонности.

Но так как, несмотря на ложное направление ума, сердце Ораса не было развращено, в первые дни он испытывал искреннюю признательность виконтессе. Он выражал свои чувства не без вдохновения; и она наконец поверила, что это и есть обожание, к которому она стремилась. В том, как Орас принял прошлое своей новой любовницы — без недоверия, без любопытства, без тревоги,— было даже нечто величественное. Она уверяла его, будто он первый, кого она полюбила. И говорила правду — в том смысле, что он был действительно первым, кого она любила такой любовью. Орас, не колеблясь, поверил ей на слово. Он охотно согласился с мыслью, что ни один человек не мог заслужить такую любовь, какую внушил ей он; и хотя Орас понимал, что Леони случалось уже забывать свой супружеский долг, он смотрел на ее былые увлечения сквозь пальцы и даже не задал ей на этот счет ни одного нескромного вопроса. Он не знал с ней той ревности к прошлому, которая превратила его жизнь с Мартой в пытку для нее и для него. С одной стороны, под влиянием виконтессы и старого маркиза, его взгляды на достоинство женщины претерпели сильные изменения; он искал теперь не мещанской добродетели, бывшей некогда его идеалом, а игривой и изящной непринужденности, свойственной женщине, пользующейся успехом. С другой стороны, его не могли унизить предшественники, снискавшие до него любовь виконтессы, как унижала его необходимость наследовать сердце Марты после содержателя кафе, господина Пуассона, и (как он предполагал) лакея, Поля Арсена. Кто мог сомневаться, что Леони досталась ему после знатных вельмож, герцогов, может быть принцев? Ему не приходилось стыдиться такого блестящего авангарда, открывшего и предварившего его триумфальное шествие. Бедная Марта, с кротостью и раскаянием принимавшая его упреки в единственной своей ошибке, была раздавлена подозрительной гордостью Ораса; и в силу той же гордости надменная виконтесса, готовая хвалиться своими грехами, заслужила его уважение.

Если бы он осмелился допрашивать ее, как Марту, виконтесса не удостоила бы его ответом. Но если бы ответила, то не утаила

бы ни одного из своих похождений. В вопросах нравственности она не была лицемеркой. Напротив, она обладала некоторой долей вольтеровского цинизма, явно опровергавшего всякое подозрение в лицемерии. Она хотела казаться не добродетельной женщиной, а юной, пылкой душой, готовой ответить тому, кто сумеет внушить ей страсть. Это было своего рода проституирование сердца; она шла навстречу всем вожделениям, заставляя уважать себя одной фразой: «Я не способна любить», и разрешая ухаживания другой фразой, которая прибавлялась для избранных: «Но я хотела бы научиться».

Когда Орас стал ее любовником, они наслаждались почти полным уединением в замке де Шайи. Граф де Мейере уехал; всегдашние поклонники рассеялись — одних напугала холера, другим она принесла богатое наследство или тяжелые утраты. Однако бедствие оставило наши края, а Леони все еще не сзывала к себе свой двор. Поглощенная новой любовью, а быть может, не зная, как придать своей связи благопристойный вид в глазах друзей, она никого не приглашала, отвечая на все письма, что вскоре возвращается в Париж. Между тем шли недели, и Орас тайно,— даже слишком тайно, на его взгляд,— торжествовал над отсутствующими соперниками.

Несмотря на свою показную откровенность, виконтесса из-за свекрови и детей требовала от Ораса полного молчания. И если их связь не получила огласки, то помогло этому не столько близкое соседство и принятые меры, сколько самоуверенность Леони. Привычки Леони, ее речи, высокомерие, недомолвки, полупризнания — вся эта смесь искренности и лживости придавала ее жизни некую загадочность, которая счастливым любовникам нравилась, ибо она сообщала их победе большую остроту, а отвергнутым казалась удобной, ибо помогала им скрыть свой позор. Ораса причислили к сонму поклонников-завсегдатаев, о которых говорили: «Либо все они осчастливлены, либо ни один из них; либо она благосклонна ко всем, либо всех держит на расстоянии». Однако Орас разыграл бы свою роль иначе, если бы ему предоставили выбор. В сближении его с Леони им прежде всего руководило желание унизить своих соперников,— пусть даже не добиться успеха, но заставить говорить о себе: «Вот к кому она благоволит; никого другого она и не слушает». И очень скоро он начал страдать оттого, что обстоятельство это никому не известно и его победа вызвала так мало шуму. Он утешился, доверив эту тайну под страшной клятвой не только мне, но и некоторым другим людям, которых знал слишком мало, чтобы пускаться в подобные откровенности; впрочем, они сочли его ужасным фатом и отказались верить его удаче.

Эта нескромность привела к посрамлению Ораса и к вящей славе виконтессы. Когда ей донесли о его нескромных разговорах, она сказала с поразительным хладнокровием и ангельской кротостью, что это невозможно, ибо Орас человек порядочный, не способный придумать и распространять подобную ложь. Но, оставшись с ним наедине, она дала ему почувствовать его вину с такой жестокой мягкостью, с такой язвительной добротой, что он вынужден был, задыхаясь от бешенства, прибегнуть к хитросплетению оттоворок и лжи, стремясь вернуть доверие и уважение виконтессы. Но все уже было кончено: любопытство Леони было удовлетворено; ее тщеславие пресыщено высокопарной лестью, которой Орас подменял и любовный жар в своих клятвах, и чувства в своих прозаических или поэтических посланиях. Он исчерпал для нее весь ошеломляющий словарь модной любви; он осыпал ее восторженными эпитетами; его записки были испещрены восклицательными знаками. Леони была сыта по горло. Как женщине тонкой, ей быстро надоел этот дурной поэтический вкус. Как проницательный дипломат, она распознала, что любовь эта отличается от всякой иной лишь способом выражения и что не стоит давать повод для разных глупых толков единственно ради того, чтобы выслушивать не менее глупый любовный жаргон. Прошел лишь месяц, и этот опыт, с каждым днем вызывавший у Леони все большую скуку и разочарование, убедил ее в необходимости исподволь развязаться с Орасом и, в ожидании лучшего, вернуться к графу Мейере, который был, по крайней мере, светским человеком.

Виконтесса, никогда не стыдившаяся своих ошибок, нередко стыдилась тех, кто был им виною; поэтому, признаваясь иногда чистосердечно в своих грехах, она никогда не называла имен. Этот болезненный стыд зародился в ней еще с той поры, как она стала жертвой старого маркиза. Она сохранила с ним лишь дружеские отношения, но и прочие любовные связи не внушили ей достаточно гордости, чтобы залечить рану и смыть этот позор, унизивший ее в собственных глазах. Она стала ненавидеть и презирать всех мужчин, которые ей не нравились или перестали нравиться; и даже к тем, кто мог бы ей понравиться, она неизменно относилась с недоверием. Она никогда не подтверждала их власти над собой ни откровенными признаниями друзьям (маркиз являлся исключением, ему она рассказывала почти все), ни тем более какими-нибудь компрометирующими поступками. Обычно партнеры отвечали ей той же щепетильностью и шли на разрыв так же хладнокровно, как она, ибо это были светские люди, равно не способные ни на сожаление, ни на месть. Орас, ради которого она чуть не прене-

брегла своей осторожностью, Орас, которого она считала таким чистым, влюбленным и простодушным, Орас, которому она так доверяла,— показался ей самым презренным из всех, когда захотел предстать перед светом в качестве ее любовника. Она была так возмущена, что не только решила как можно скорее изгнать его, но еще и отомстить ему, лишив всех своих милостей. «Ты будешь наказан тем, в чем согрешил,— твердила она в своей уязвленной душе.— Ты хотел прослыть моим господином — при первой же возможности я ославлю тебя своим шутом. Твое фатовство падет на твою же голову; там, где ты посеял тщеславие, ты пожнешь позор и насмешки».

Орас предчувствовал эту месть; и новая борьба завязалась между ними, но уже не за господство — теперь они стремились погубить друг друга.

ГЛАВА XXIX

Между тем мы ничего не знали о судьбе трех самых дорогих нам людей: Марту мы уже привыкли считать потерянной для нас навеки; Ларавиньера безуспешно разыскивали его друзья; Арсен обещал нам писать, но и о нем мы знали не больше, чем о двух первых.

Жан исчез бесследно. Предполагали, что он погиб у монастыря Сен-Мерри; пятого июня наиболее отважные бузенготы были с ним в течение всего дня, но ночью они разошлись в поисках оружия, припасов и подкрепления. Шестого утром было уже невозможно соединиться с инсургентами — войска окружили их со всех сторон и загнали в последнее убежище. Не стану утверждать, что все студенты с достаточной отвагой и настойчивостью стремились прорваться к своим, но, несомненно, некоторым это удалось; и при взятии дома, где укрывался их вождь, они, пользуясь общим смятением, искали его, чтобы помочь ему бежать или хотя бы унести его тело. Им не было дано и это последнее утешение. Луве нашел только знакомую красную фуражку и сберег ее как реликвию, но он не мог даже узнать, находится ли его друг среди пленных. Позднее, когда готовился процесс против июньских жертв, тоже ничего не открылось, ибо имя Ларавиньера не было упомянуто. Друзья оплакивали его; они собрались, чтобы почтить его память речами и пением траурных гимнов, слова и музыку которых сложили сами.

По этому случаю они написали мне, спрашивая, не имею ли я известий от Поля Арсена, и таким образом я узнал, что он тоже исчез. Я написал его сестрам, но и они знали не больше моего.

Луизон ответила жалобным письмом, в котором простодушно выразила свою довольно корыстную любовь к брату. Письмо кончалось так: «Мы потеряли единственную нашу опору и теперь вынуждены работать не покладая рук, чтобы не впасть в нищету».

Пока мы предавались волнениям, в которых Орас за недосугом не мог принять участия, хотя искренно жалел Жана и Поля, когда ему о них напоминали, Поль медленно поправлялся в безвестной мансарде несчастной Марты. Она начала выходить и удостоверилась, что в квартале наконец воцарилось спокойствие. Хотя соседи подозревали, что у нее скрывается беглый *патриот*, тайна эта хранилась свято, и полиция не следила за Мартой. Все же было необходимо, чтобы Арсен переехал в другой квартал, как только будет в состоянии ходить. Нельзя было оставаться там, где его, несомненно, видели на баррикадах и в осажденном доме. Стоит Арсену два-три раза показаться на соседних улицах, как кто-нибудь по злобе или по неосторожности скажет об этом, а его слова услышит какой-нибудь проходящий мимо шпион. Поль решил переехать на другой конец Парижа. Трудность состояла не в том, чтобы выйти из убежища,— он начал уже ходить и, при некоторой осторожности, в сумерках легко мог бы спуститься по лестнице и ускользнуть незамеченным,— но он боялся покинуть Марту в такой нищете, тем более что ей грозили преследования со стороны хозяина: она не могла заплатить за квартиру, а он при первой же проверке, конечно, обнаружил бы сломанную раму, и кто тогда мог поручиться за то, что взбешенный кредитор не донес бы на Марту в полицию. Арсен понимал, что опасность не предотвратить, если сидеть сложа руки, и решил выйти из дому, не дожидаясь дня платежа. Он доверился Луве, и тот немедленно посадил его в фиакр, перевез в Бельвиль и отнес старушке соседке деньги, чтобы выручить Марту из беды. Затем он разыскал плотника, убежденного республиканца, что оказалось нетрудным, и тот, стараясь не шуметь, починил раму, после чего Луве увез Марту, ребенка и соседку, которая не хотела покидать их, в убогое жилище, где поселил Арсена под своим именем, ссудив ему свой паспорт. Луве был прекрасный юноша, самый бедный и, следовательно, самый великодушный из всех известных Полю друзей Ларавиньера. Поль горевал, что не может тут же возместить ему все затраты, на которые тот шел с величайшей охотой, но из-за Марты он вынужден был на все соглашаться, а Луве не дожидался его просьб. Он обещал Полю полную тайну и хранил ее так свято, что ничего не сообщил об этих переменах даже мне, и я оставался в прежнем неведении о судьбе Марты и Арсена.

Устроившись в Бельвиле, Арсен вскоре нашел работу, но был еще настолько слаб, что она оказалась ему не по силам и его уволили. Отдохнув два-три дня, он набрался мужества и нанялся подручным к мостильщику. У Арсена не оставалось ни времени, ни выбора — деньги были на исходе. В своей новой профессии он ничего не смыслил, и его опять уволили. Он испробовал все — был рассыльным у виноторговца, гипсовальщиком, носильщиком, машинистом в бельвильском театре, сапожником, землекопом, пивоваром, каменщиком, пекарем,— уж и не знаю, кем еще. Он предлагал свои руки и труд повсюду, где мог заработать на кусок хлеба. Нигде его не держали, потому что здоровье его еще не восстановилось, и, несмотря на все свое рвение, Арсен успевал меньше, чем другие. Нищета росла с каждым днем: одежда превращалась в отрепье. Соседка пыталась вязать, но почти ничего не зарабатывала. Марта не могла найти работу: ее бледность, лохмотья, грудной ребенок говорили не в ее пользу. Она нанималась помогать по хозяйству за шесть франков в месяц, потом стала шить на статисток бельвильского театра; но так как ее дамы зачастую ничего не платили, она решила попросить в театре место капельдинерши. Ей сказали, что она слишком самонадеянна, что должность это ответственная, но из жалости дали ей место костюмерши; актрисы остались довольны ее ловкостью и быстротой.

Тогда Поль, который во время недолгой работы театральным машинистом внимательно слушал пьесы и наблюдал артистов, задумал попытать счастья на подмостках. Он обладал поразительной памятью: достаточно было ему прослушать две репетиции, чтобы знать всю пьесу наизусть. Его заставили прочесть какой-то монолог и нашли, что он не лишен данных для серьезных ролей. Но все амплуа этого жанра были заполнены, вакантным оказалось только амплуа комика, и он дебютировал в роли продувного слуги, получающего колотушки. Арсен вышел на сцену в смертной тоске, колени его дрожали от стыда и отвращения, желудок был пуст, зубы сжимались от гнева, лихорадки и волнения; он играл вяло, холодно и был позорно освистан. Свой провал он принял со стоическим равнодушием. Не затем он решился попытать счастья у публики, чтобы удовлетворить глупое тщеславие; это было для него лишь еще одной отчаянной попыткой прокормить свою жену и ребенка, ибо в сердце своем он считал Марту женой, а ребенка Ораса признал перед богом своим сыном. Директор, привычный к подобным злоключениям, посмеялся над неудачей, постигшей новичка, и посоветовал ему не рисковать больше. Но он заметил хладнокровие и присутствие духа, проявленные Арсеном во время разразившейся в театре бури, его ясное произношение, чистую дикцию, безупречную память и чувство диалога. Он нашел, что

Арсена ждет будущее, и, желая дать ему возможность привыкнуть к сцене и усовершенствоваться, не раздражая бельвильскую публику, предоставил ему должность суфлера, с которой Арсен прекрасно справился. Вскоре он показал, что знает также толк в декорациях и костюмах, хорошо и быстро рисует и обладает вкусом и знаниями. Ему пригодилось все, что он видел и копировал у господина Дюсомерара. Его скромность, честность, усердие и распорядительность привели к тому, что он очень скоро стал одним из самых ценных и незаменимых работников театра и наконец, после долгих месяцев отчаяния, тревог, страданий и бесплодных поисков, приобрел обеспеченное положение и каждый месяц получал жалованье в несколько сот франков.

Одевая актрис и следя из-за кулис за ходом спектакля, Марта, в свою очередь, освоилась с театром. Ее живой ум быстро отметил все сильные и слабые стороны актерского ремесла. Она легко запоминала целые сцены и, возвращаясь к себе на чердак, беседовала о них с Арсеном, превосходно разбирая пьесу и справедливо критикуя исполнение; забавно изобразив жалкие ужимки актрис, она читала потом роль так, как сама ее понимала, и делала это с такой естественностью, достоинством и подлинным чувством, что глаза Арсена порой увлажнялись, а старая Олимпия начинала всхлипывать; малыш же, испуганный странными жестами и речами матери, с криком прятался на груди у старушки. Однажды Арсен воскликнул:

— Марта, если бы ты захотела, ты стала бы великой актрисой.

— Я попыталась бы,— сказала она,— если бы была уверена, что сохраню твое уважение.

— Как же ты можешь потерять его? — ответил он.— Ведь я сам бывший актер, но только плохой.

Гранд-кокет, желая насолить *ингеню* — своей сопернице и недругу,— оказала Марте покровительство; Марта дебютировала в главной роли и имела бурный успех. Через две недели она подписала ангажемент с жалованьем в пятьсот франков, не считая костюмов, и трехмесячным отпуском. Для них это было целое состояние. Наконец-то достаток и спокойствие воцарились в их бедном жилище. Матушка Олимпия тоже узнала хорошие дни; она гордилась блестящим положением своих молодых друзей и, прохаживаясь с ребенком на руках по живописным улицам Бельвиля, поглядывала по сторонам, отыскивая гуляющих и кумушек, которым могла бы с торжествующим видом сообщить: «Это сын госпожи Арсен!»

Хотя Марта носила имя своего друга, жила с ним под одной кровлей и предоставляла окружающим возможность думать, что

она замужем,— она не была ни женой, ни любовницей Поля Арсена. В иных условиях подобная ложь бывает проявлением бесстыдства и лицемерия; в положении Марты она была проявлением достоинства и осторожности,— без этого ей трудно было бы избежать ехидных расспросов и оскорбительных притязаний со стороны ее коллег по сцене. Эта скромная, безропотная пара убедилась, что им не по силам обеспечить свое существование, оставаясь в суровой и достойной среде простых тружеников. Конечно, ни он, ни она не гнушались бы следовать по тому трудному пути, которым шли их родители; конечно, ни он, ни она не стремились, по склонности или из честолюбия, к бродячей жизни актеров, но несомненно, что только искусство могло оградить их от материальной нужды и удовлетворить их духовные запросы. В общественной иерархии любое положение пока еще приобретается по праву наследования. Положение, достигнутое по праву завоевания, является исключением. В рабочей среде, так же как и в других социальных слоях, для этого требуются определенные данные, которых у Арсена не было и не могло быть. Не думая о собственной будущности, заботясь лишь о благосостоянии дорогих ему людей, он не совершенствовался ни в одной области. Будь Арсен один, он охотно пошел бы в ученики к какому-нибудь ремесленнику и, терпеливо и упорно трудясь, овладел бы его ремеслом; но он с юных лет был обременен семьей, он постоянно торопился, хватался за любую работу, лишь бы она была достаточно выгодна и служила бы поставленной им благородной цели. В довершение несчастья, физические силы изменили ему именно тогда, когда были особенно необходимы. Оставалось одно — умножить и без того огромное число пасынков нашей эгоистической цивилизации, которая позабыла найти применение беднякам, одаренным способностями, но лишенным сил и здоровья. Для них театр, литература, искусство — во всех своих блистательных или жалких проявлениях — открывают, по крайней мере, путь к успеху. Многие, увы, выбирают этот путь лишь по слабости, тщеславию или беспутству, однако на этой стезе талант и рвение все же могут рассчитывать на какую-то будущность. Арсен обладал большими способностями, и любая работа давалась ему легко. Но все пути были ему отрезаны, ибо у него не было ни денег, ни положения. Чтобы стать художником, нужно было долго и упорно учиться, а он не мог себе этого позволить; чтобы стать чиновником, нужны были большие связи, а их он не имел. Самую мелкую должность осаждают десятки жаждущих. Победивший обязан успехом не уважению к его достоинствам, не участию к его нуждам, а силе протекции. Итак, Арсену только и оставалось стучаться в дверь, ключ от которой отдан прихоти и случаю, но которая отворяется перед отвагой и

талантом,— дверь театра. Театр нередко служит прибежищем тем, кто мог бы стать гордостью общества, если бы само это общество зачастую не вынуждало их стать его позором.

В театр идут самые красивые, самые умные женщины, туда идут мужчины, которым, быть может, суждено было стать пламенными проповедниками. Но если мужчина, который в другую эпоху, когда в сердцах еще жила вера, мог бы творить чудеса силой своего слова, если женщина, которая в обществе, проникнутом духом религии и поэзии, была бы жрицей и наставницей,— если они вынуждены опускаться до роли фигляров и забавлять часто грубую и несправедливую, а иногда и нечестивую и бесстыдную толпу, то какого же величия совести, возвышенных идей и чувств можно требовать от этих людей, которым не дали следовать по их пути и осуществить свое призвание. Однако, по мере того как рассеивается предубеждение против актерского ремесла и постепенно исчезает одна из могущественных причин нравственного разложения — чувство отверженности и бессильного негодования,— мы видим на многочисленных примерах, что честь и достоинство если и не легко достижимы, то все же возможны в среде актеров. Я говорю не только о знаменитых, стоящих наравне с самыми прославленными людьми века, но и о самых скромных и безвестных актерах, среди которых есть люди нравственные, трудолюбивые и достойные уважения.

Жизнь Марты была тому новым доказательством. Хрупкая, с нежной душой, склонная к восторженности, с умом скорее впечатлительным, чем творческим, недостаточно образованная, чтобы самостоятельно создавать произведения искусства, но способная понимать и выражать самые возвышенные чувства, наделенная невыразимым очарованием, красотой, изяществом и врожденным благородством, она не могла безболезненно подавить все свои способности, уничтожить дарованную ей силу. Однако же она это делала всю жизнь без горечи и сожалений; она даже не знала причины внезапных приступов тоски или воодушевления, глубокого уныния или постоянной потребности в радости и восхищении. Ее любовь к Орасу была следствием этих стремлений, разбуженных, но не удовлетворенных чтением и мечтами. Театр открыл ей мир напряженного труда, в котором она нуждалась, упорных занятий, живительных волнений. Арсен понял, что этой нежной мятущейся душе нужна постоянная пища, и поддержал и ободрил ее. Он не закрывал глаза на связанные с театральной карьерой опасности, но не боялся их. Он чувствовал, что с тех пор, как оба они имели перед собой ясную цель, душа Марты обрела покой, а в его душе крепнут могучие силы. Целью Марты было своим трудом обеспечить сыну образование; целью Арсена — помочь ей

в этом, не стесняя ее независимости, не унижая ее достоинства. Ибо до сих пор достоинство Марты страдало от положения обязанной и опекаемой,— положения, которое подчиняет почти всех женщин их мужьям или любовникам. Когда же Марта, перестав зависеть от другого человека, почувствовала себя единственной опорой и защитой существа более слабого, она испытала сладостное чувство гордости и смело подняла голову, так долго склонявшуюся перед властью мужчины. С первых дней после переезда в Бельвиль она опасалась снова стать от кого-то зависимой, но опасения эти развеялись. Ее не страшило больше покровительство Арсена; теперь, когда она могла без него обойтись, она принимала его заботы спокойно. Она видела в Арсене не мужа, которого обязана будет терпеть ради блага ребенка, не любовника, которого обязана выслушивать по долгу признательности,— Арсен стал в ее глазах братом, связавшим свою судьбу с ней и ее ребенком из чувства чистой любви, а не великодушной жалости. Она поняла, что это не благодетель, простивший ей ее прошлое, а друг, который как милости просит о счастье жить возле нее. Это неожиданное открытие успокоило ее боязливое сердце и удовлетворило ее законную гордость. К тому же Арсен не произнес ни слова любви со времени их чудесной встречи шестого июня. Каждый день она со страхом ждала вспышки этой долго сдерживаемой нежности, но Арсен не только не поддавался своему чувству, а, казалось, сумел побороть его; он сохранял спокойствие и почтительность в дружеской близости, веселость в своей печали. Между ними не было ни одного объяснения, кроме повторной просьбы Арсена не прогонять его в трудное для нее время. Но вот благоденствие их было обеспечено, и Арсен наконец заговорил, и заговорил с таким благородством, с такой убедительностью и простотой, что вместо ответа Марта бросилась в его объятия, воскликнув:

— Твоя, твоя, всей душой и навеки! Я давно это решила и уже боялась, что ты отказался от меня.

— Боже, наконец-то ты сжалился надо мной! — горячо воскликнул Арсен, воздевая руки к небу.

— А мой сын? — спросила Марта, бросаясь к колыбельке.— Подумай, Арсен, ты должен любить его так же, как меня.

— Ты и твой ребенок для меня одно,— возразил Арсен,— как могу я разделить вас в своем сердце или мыслях? Выслушай меня, Марта. Я должен задать тебе серьезный вопрос. Пора произнести имя, которое давно не слетало с наших уст. Теперь, когда ты будешь моей женой, а я твоим мужем, ребенок должен принадлежать нам обоим, и никто больше не должен иметь прав на самое дорогое для нас существо. Имела ли ты какие-нибудь известия от Ораса после того, как от него ушла?

— Нет,— ответила Марта,— я не знала, да и сейчас не знаю, где он и что с ним. Иногда, признаюсь, мне хотелось хоть что-нибудь о нем узнать; любви к нему у меня не осталось, но порой он вызывает во мне участие и жалость. Однако я всегда заглушала эти чувства и подавляла в себе желание спросить о его судьбе.

— А как ты намерена поступить? Как будешь вести себя с ним?

— Я ничего еще не решила. Я хотела бы никогда его больше не видеть и надеюсь, что так оно и будет.

— Но если в один прекрасный день он придет и потребует своего ребенка, что ты ему ответишь?

— Своего ребенка! — воскликнула, ужаснувшись, Марта.— Ребенка, которого он не знает, не подозревает даже о его существовании! Ребенка, которого он не хотел, которому дал жизнь против воли, ненавидя самую мою надежду на его рождение! Ребенка, которого он запретил бы мне родить, если бы это было в нашей власти. Нет, это не его ребенок и никогда им не будет! Ах, Поль! Как ты не понял, что я могла простить Орасу то, что он унижал, мучил, ненавидел меня, но того, что он ненавидел и проклинал мое дитя, я не прощу ему никогда! Нет, нет! Это наш ребенок, Арсен, а не Ораса. Любовь, преданность и заботы — вот истинное отцовство. В этом ужасном мире, где мужчина может бросить плод своей любви и не прослыть чудовищем, узы крови не значат почти ничего. А я воспользовалась правом, которое дает закон, и окончательно порвала связь, соединяющую моего сына с Орасом. Матушка Олимпия записала его в мэрии под моим именем, и в книгах значится: «отец неизвестен». Вот моя месть Орасу! Ужасная месть, если только у него есть сердце, чтобы ее почувствовать.

— Дорогая моя,— возразил Арсен,— поговорим без горечи и озлобления о человеке, скорее слабом, чем дурном, скорее несчастном, чем преступном. Твоя месть была очень сурова, и, может случиться, ты еще о ней пожалеешь. Орас мальчишка и останется мальчишкой, возможно, еще несколько лет; но когда-нибудь он станет мужчиной и, быть может, осудит заблуждения своего сердца и ума. Он раскается во зле, которое сотворил, сам того не ведая, и ты будешь мучительным укором всей его жизни. Если он увидит когда-нибудь этого прелестного ребенка — я не сомневаюсь, что он будет прелестен, ведь это твой сын,— и ты лишишь Ораса права прижать к сердцу свое дитя...

— Арсен, твое великодушие заводит тебя слишком далеко,— прервала Марта с горечью.— Орас никогда не полюбит своего ребенка. Раз он не почувствовал любви в ту пору, когда сердце

бьется со всем пылом молодости, как сможет он полюбить позднее, когда в человеке просыпается эгоизм и все его мысли заняты собственным благополучием? Если бы красота и ум ребенка могли польстить Орасу, он, возможно, позабавился бы с ним несколько дней; но, будь уверен, он не даст ему ни наставлений, ни примеров, которые были бы мне по сердцу. Я не хочу, чтобы мой сын принадлежал ему. Нет, никогда! Ни за что!

— Пусть так,— сказал Арсен,— но все ли ты обдумала? Бесповоротно ли твое решение?

— Да,— ответила Марта.

— В таком случае,— продолжал он,— есть простой выход. Ребенка все считают моим сыном,— ведь никто из окружающих не знает ни наших прошлых, ни нынешних отношений. Нас считают супругами или любовниками. Не в обычаях театра спрашивать у какой-нибудь пары свидетельства о законности их союза. Мы никого не разубеждали: нам казалось, так будет спокойнее. Одна только матушка Олимпия могла бы сказать, что не я отец ребенка, но она не болтлива и слишком нам предана, чтобы выдать нашу тайну. Итак, все очень просто; остается только поддерживать установившееся мнение; но вот когда мы увидимся со старыми друзьями — ведь как бы мы ни избегали их, все равно рано или поздно мы кого-нибудь да встретим,— что мы им скажем, Марта?

Марта смутилась и как будто огорчилась; на мгновение она задумалась, а потом твердо произнесла:

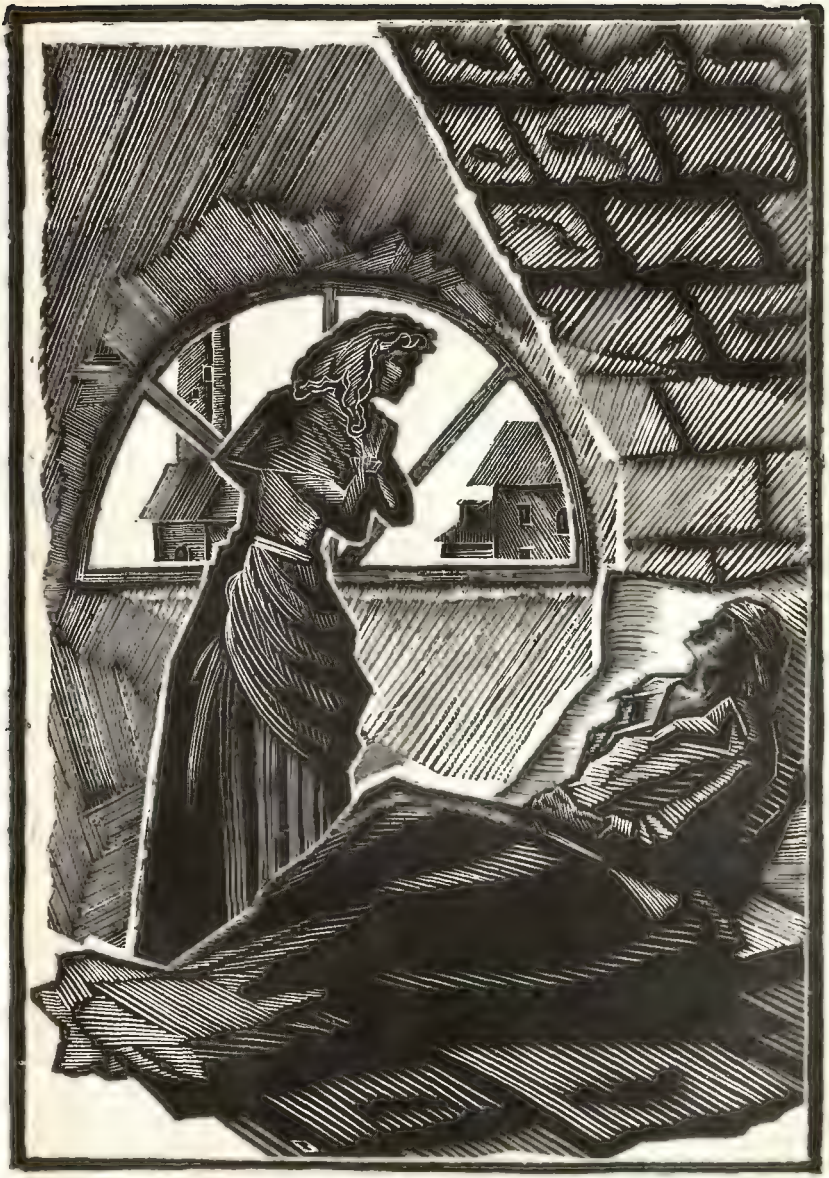
— Мы скажем им то же, что и всем: мы скажем, что это твой ребенок.

— Подумала ли ты о последствиях такой лжи, дорогая Марта? Вспомни: друзьям Ораса известна была его ревность, но не все достаточно знали тебя, чтобы понять, сколь она необоснованна... Теперь они решат, что ты обманывала его; и несправедливое обвинение, которое возмущало тебя в устах Ораса, будут повторять все, даже те твои друзья, которые никогда в тебе не сомневались,— Теофиль, Эжени и другие!

Марта побледнела.

— Это будет очень тяжело,— ответила она.— Я была так горда! С таким негодованием отвергала все подозрения! И вот они подумают, что я потеряла всякий стыд и бессовестно лгала. Но что из того, в конце концов? Меня могут обвинить только в глупости и суетном тщеславии: ведь все знают, что я не навязывала Орасу ребенка и ушла от него раньше, чем стала матерью.

— Скажут, что он прогнал тебя, что ты пыталась его обмануть, но он убедился в твоей неверности, и это послужит ему оправданием в глазах окружающих и своих собственных.



«Opac»

— В своих собственных! — воскликнула пораженная Марта.— Об этом я не подумала! Значит, он будет избавлен от наказания, уготованного ему божьим правосудием! Значит, он не почувствует стыда, увидев, как ты исполнил вместо него долг, которым он пренебрег! Нет! Я хочу, чтобы он узнал о твоем великодушии, о твоей чистой любви! Я хочу, чтобы он был унижен до глубины души, чтобы вынужден был сказать: да, Марта была права, избрав своим заступником Арсена!

— Это не столь важно,— возразил Арсен,— важно другое: мне нестерпима мысль, что этот жестокий, ослепленный своей гордостью человек будет считать себя вправе презирать тебя и говорить твоим самым близким друзьям: «Вот видите! Недаром я не доверял Марте. Она была любовницей Арсена и моей одновременно. Недаром я проклинал ее беременность. У ребенка, которого она хотела подарить мне, было два отца, и неизвестно, кому же он, собственно, принадлежит».

— Ты прав,— ответила Марта.— Хорошо, мы не солжем нашим старым друзьям; а если когда-нибудь я буду иметь несчастье встретить Ораса, у меня хватит мужества сказать ему в глаза: «Вы отказались от своего ребенка; другой человек с гордостью взял на себя право стать моим супругом, любовником и братом на всю жизнь!»

С этими словами Марта бросилась в объятия Арсена и покрыла его лицо слезами и поцелуями. Потом, вынув малютку из колыбели, она протянула его Полю. Поль торжественно поднял его и, призвав в свидетели небо, подтвердил это усыновление, более святое и нерушимое, чем если бы оно было скреплено законом перед лицом людей.

ГЛАВА XXX

К концу лета виконтесса заторопилась с отъездом из деревни под предлогом неотложных дел, а в действительности затем, чтобы бежать от Ораса, которого не только разлюбила, но даже начинала ненавидеть. Желая избавиться от опасного любовника, она написала своему старому другу маркизу де Верну и, как обычно, когда нуждалась в его помощи, попросила у него совета. Она поверила ему и свою склонность к Орасу, и последовавшее за ней отвращение, описала презрение и гнев, вызванные его нескромностью, и страх перед новыми его выходками. Она рассказала маркизу, что, думая внушить Орасу почтение, попробовала обращаться с ним свысока, но потерпела неудачу: Орас пожелал заявить о своих правах и, чтобы держать ее в страхе, не вызывая ненависти, за-

говорил о ревности и мести, подобно герою Кальдерона. Леони в ужасе умоляла маркиза прийти к ней на помощь и избавить ее от этого безумца.

— Я предвидел такой исход,— отвечал маркиз.— Этот молодой человек мне понравился, а вам еще больше. Он обладает достоинствами таланта и недостатками человека *безродного*. Он любит вас, но скоро возненавидит, ибо вы не можете ни любить, ни ненавидеть его так, как он это понимает. И его ненависть и его любовь будут для вас одинаково гибельны. Есть одно лишь средство защитить себя: добейтесь, чтобы он стал к вам равнодушен. Но при этом остерегайтесь проявлять свое равнодушие. Это может оживить в нем желания, возбудить досаду и толкнуть его на самые отчаянные поступки. Напротив, будьте страстны: превосходите его в ревности, в несправедливости, в угрозах. Запугайте его, утомите своими чувствами, постарайтесь досадить ему своими требованиями. Разыграйте и вы пылкую испанку и доведите его до того, чтобы он сам захотел вас покинуть. Постарайтесь, чтобы первый шаг к разрыву сделал он и сделал это грубо; тогда вы спасены, вина падет на его голову. Вы тут же воспользуйтесь этим, чтобы его покинуть, и ваша поспешность будет воспринята как проявление законной гордости, чувства собственного достоинства, неумолимого гнева великой любви! За остальное отвечаю я. Когда придет время, я займусь им, выслушаю все его жалобы, докажу, что он сам во всем виноват, и, даже ненавидя, он вынужден будет вас уважать. Возможно, он станет докучать вам, пойдет на всякие безумства, чтобы увидеться с вами. Будьте безжалостны. Может быть, он попытается застрелиться, но промахнется: он слишком умен, чтобы добровольно лишить себя любовных утех, которые сулит ему будущее. Заметьте, что все его сумасбродства не только вас не скомпрометируют, а напротив, обернутся вашим торжеством. Возможно, все узнают, что этот юноша вас обожает; но все узнают также, что вы довели его до отчаяния; а если ему случится в гневе похвалиться прошлым, его сочтут фатом или безумцем. Все это, моя дорогая, послужит к вящей вашей славе. Женщины еще больше станут завидовать вашему могуществу, а мужчины сотнями падут к вашим ногам.

Виконтесса в точности последовала совету своего ментора. Она так хорошо разыграла страсть, что Орас испугался. Как только он начал отступать, она перешла в наступление и не побоялась потребовать, чтобы он похитил ее. Сперва эта мысль даже увлекла Ораса, он представил себе, какой шум вызовет подобное происшествие, какой славой покроет его в провинции и даже в свете неистовая страсть дамы такого высокого положения и такого ума. Виконтесса похолодела, увидев, что он готов согласиться, но на

следующее же утро Орас пришел в ужас при мысли о том, чтобы соединить свою судьбу с такой ревнивой и властной любовницей. Он представил себе, какие будет испытывать мучения, когда зеваки, сбежавшиеся, чтобы поглядеть на похищенное им сокровище, станут говорить: «Так, значит, это и есть та самая хваленая красавица?» А кто-нибудь еще добавит: «Да она уже не первой молодости!»

И, хорошенько рассудив, он отказался от предложенной ему жертвы под тем предлогом, что беден и не смеет обречь на нищету женщину, взлелеянную в роскоши. Предлог этот, впрочем, был довольно основателен. Виконтесса сделала вид, что это не может ее остановить, что она презирает богатство и не считается с мнением суетного, ненавистного ей света. Но как только она убедилась, что Орас напуган ее намерениями, она обвинила его в том, что он ее не любит; притворилась, будто ревнует к Эжени, выдумывала невесть какие нелепые поводы для подозрений и обид. Она даже пролила слезы и вырвала клочок фальшивых волос. Потом вдруг выгнала Ораса из своего будуара, быстро собралась и, отказавшись выслушать его объяснения или даже проститься с ним, уехала в Париж, утомленная разыгранной драмой, но довольная тем, что избавилась наконец от своих страхов.

С этой минуты, как и предсказал маркиз, победа ее была обеспечена; Орас, жалея Леони в ее мнимом горе и радуясь вместе с тем, что буря миновала, почувствовал себя более уязвимым, ибо считал себя более холодным.

Местные молодые дворяне из свиты Леони оставались еще в своих замках, чтобы насладиться осенней охотой; один из них, подружившись с Орасом и всерьез считая его выдающимся человеком, пригласил его завершить сезон в своем имении. Орас с радостью согласился. Луи де Меран был богат и холост. Это был человек недалекий, почти без всякого образования, но с добрым сердцем и прекрасными манерами. Не мудрено, что Орас ослепил его своей эрудицией, очаровал блеском своего ума и в то же время воспользовался его обществом, чтобы перенять аристократическую непринужденность, которая привлекала его теперь более чем когда-либо.

Прежде всего Орас постарался забыть о пережитых им тягостных волнениях, и дом де Мерана показался ему раем. Отличные верховые лошади, тильбюри в его личном распоряжении, великолепное оружие, превосходные гончие, хороший стол, веселые собутыльники, а также и иные развлечения, которыми он передо мной не хвастал после высказанного им презрения к такого рода удовольствиям, но которым охотно предавался, видя, что взятые им за образец денди занимаются развратом и восхваляют его,—

всего этого было достаточно, чтобы увлечь Ораса и вскружить ему голову до самой зимы. Превосходя всех своих новых друзей и умом и развитием, Орас блеском остроумия возмещал недостаток знатности, богатства и светского обхождения; впрочем, скромность его положения никто не поставил бы ему в вину, если бы только он сам не вздумал им рисоваться. Но этого он остерегался. Он так боялся, как бы эти надменные молодые люди не стали смотреть на него свысока, что дал им понять, будто принадлежит к старинному судейскому роду и пользуется значительным достатком. Скудость его багажа опровергала это хвастовство. Но ведь он путешествует; он задержался случайно в этих краях, а намеревался пробыть здесь всего несколько дней! И чтобы оправдать в глазах Луи де Мерана пустоту своего кошелька, он несколько раз делал вид, что порывается уехать, дабы посетить «своего банкира» и получить требующиеся ему деньги.

— Стоит ли об этом говорить! — сказал хозяин, который смертельно скучал, оставаясь один в своем замке, и поэтому радовался обществу Ораса.— Мой кошелек к вашим услугам. Сколько вам нужно? Сотню луи?

— Мне нужно не больше сотни франков! — воскликнул Орас, обомлев от столь блистательного предложения; ему не давала покоя мысль о «чаевых», которые нужно будет раздать слугам при отъезде.

— Вы шутите! — возразил его друг.— Скоро будет сельский праздник. Иногда мы развлекаемся целую неделю. Идет адская картежная игра. И если вы не хотите прослыть скаредным мещанином — ведь вас не знают у нас в провинции,— вы обязательно должны бросить горсть золотых на стол.

Хотя Орас отлично понимал, что никогда не сможет вернуть эту сумму, если только ему не повезет в игре, достаточно было этого слабого проблеска надежды, чтобы он слепо уверовал в успех и принял предложение нового своего друга. Он никогда не брал в руки карт, потому что не имел к тому возможностей и не знал ни одной игры, за исключением бильярда. Правда, на бильярде он играл превосходно, чем заслужил уважение тех важных особ, среди которых вращался. Увидев, как играют в буйот, он вскоре постиг правила игры и в день праздника со страстью устремлялся на новый для него путь опасностей и тревог.

На беду, в этот день ему необычайно везло. С сотней луидоров в кармане он выиграл тысячу. Он тут же вернул долг де Мерану, отложил четыреста луидоров и продолжал играть все следующие дни на остальные пятьсот. Он проиграл, отыгрался и наконец, испытав на себе все прихоти неверного счастья, вернулся

в замок Меран с семнадцатью тысячами франков золотом и банковыми билетами. Для молодого человека, вечно испытывавшего нужду в деньгах и никогда не ведавшего обеспеченной жизни, это было целое состояние. Он чуть с ума не сошел от радости, и я уверен, что с этого дня он действительно немного тронулся. Он прибежал к нам, чтобы сообщить о своей удаче, но, впрочем, не подумал вернуть мне сто пятьдесят луидоров, которые я ему ссудил. Я не решился напомнить о долге, хотя и находился в стесненных обстоятельствах; я не допускал мысли, что он может об этом забыть. Однако он действительно забыл, и я прощаю ему от всей души, ибо верю, что сделал он это не по злой воле. Лучшее доказательство тому — поспешность, с которой он пришел сообщить мне о своем богатстве.

Первой его заботой было послать сто луидоров матери; но он не посмел написать ей, что это карточный выигрыш: бедная женщина скорее испугалась бы, чем обрадовалась деньгам. Он сообщил ей, что это плата за литературные труды, которым он предается в тиши моей сельской обители и отсылает парижскому издателю.

— Я хочу,— сказал он смеясь,— примирить ее с профессией литератора; когда-то она отнеслась очень неодобрительно к моему выбору, но отныне будет считать это занятие весьма почтенным. Через несколько месяцев я пошлю ей еще тысячу франков, а потом еще, пока не кончатся деньги. Какая досада, что нельзя отправить ей сегодня же всю сумму! Я был бы так счастлив, если бы сразу расквитался за все те жертвы, которые приносила она с первого дня моего рождения. Но она ничего бы не поняла, потребовала бы объяснений, которых дать я ей не могу; а мои столь же разумные, сколь и благожелательные земляки, увидев, что матушка Дюмонте обзаводится посудой и покупает дочке платья, несомненно решат, что я кого-нибудь ограбил, если могу предоставить своему семейству подобную роскошь. Разумеется, отец, который имеет притязание судить о литературе, захочет прочесть мою прозу в напечатанном виде. Я скажу, что пишу под псевдонимом, вырежу из какого-нибудь недавно переведенного немецкого поэта-мистика сотню страниц и пошлю ему, написав, что это мое. Он не поймет ни слова, но покажет всем городским умникам, которые, не смысля ничего в литературе, признают меня наконец выдающимся человеком.

Говоря все эти глупости, Орас, любивший иногда посмеяться над самим собой, хохотал от всей души. Он действительно тотчас бы отправил все деньги матери, если бы мог это сделать, не испугав ее. Сердце у него было доброе; и радовался он тому, что разбогател, не столько из-за самого богатства, сколько из-за победы,

одержанной над его, как говорил он, злым роком. К несчастью, назавтра он и не вспомнил о своем решении. Мать ничего больше от него не получила, равно как и все его парижские кредиторы. От этого восторженного порыва осталась только какая-то странная, безрассудная гордость — он поверил в свою счастливую звезду игрока, как Наполеон верил в свою звезду полководца. Эта нелепая вера в провидение, готовое удовлетворить его прихоти, и в бога, склонного покровительствовать ему во всех делах, придала ему самоуверенности и дерзости. Он стал жить на широкую ногу, как молодой человек, которому родители высылают пятнадцать тысяч франков каждые полгода. Он купил лошадь, швырял золотые монеты всем слугам в замке, написал в Париж своему портному, что получил наследство, и велел выслать ему наимоднейшие костюмы. Через две недели он появился наряженный самым нелепым образом. Друзья поиздевались над его безвкусным одеянием и посоветовали сменить портного из Латинского квартала на знаменитость, одевавшую весь высший свет. Орас раздарил свой новый гардероб псарям своих приятелей и заказал другой Юману, у которого шил Луи де Меран. Рекомендация этого богатого, изящного молодого человека открыла ему у короля портных кредит, который мало его обеспокоил, но как бы разверз перед ним невидимую бездну.

Веселые приятели, увидев такую беспечную щедрость и костюм денди, чудесно скрывавший плебейское происхождение Ораса, окончательно приняли его в свою среду и окружили его поклонением. В наши дни не время, а деньги — великий наставник. Ораса больше не сдерживала и не угнетала его бедность, он отдался всем порывам своей искрометной веселости, своего дерзкого воображения. Деньги сотворили с ним чудо; ибо с верой в будущее и радостями настоящего они вернули ему работоспособность, казалось, утраченную навеки. Он вновь обрел все свои таланты, подавленные горестями и заботами минувшей зимы, и у него появилось ровное, веселое настроение. Взгляды его, хотя не стали справедливее, упорядочились и приобрели некоторую широту. У него вдруг определился стиль. Он написал небольшой, но примечательный роман, выведя в качестве героини бедную Марту и взяв сюжетом свое любовное приключение. Себя он выставил в более привлекательном виде, чем был в действительности, причем весьма искусно объяснил и опоэтизировал свои пороки. Можно сказать, что если бы его книга имела больше читателей, она явилась бы самым пагубным произведением романтической эпохи. Это была не только апология, но и апофеоз эгоизма. Разумеется, Орас был способен на большее; но он вложил в свою книгу достаточно таланта, чтобы придать ей действительную ценность. Так

как теперь он был богат, то легко нашел издателя; и роман, напечатанный за его счет и вышедший вскоре после его возвращения в Париж, имел известный успех, особенно в высшем свете.

Эта обеспеченная жизнь в сочетании с умственным трудом и физическими упражнениями была идеалом и подлинной стихией Ораса. Я заметил, что речь его и манеры, казавшиеся смешными, когда он старался превратить их из буржуазных в аристократические, приобрели изящество и уверенность, когда он стал силен собственными заслугами, богат собственными деньгами и больше не стремился подражать другим.

В Париже новые друзья ввели его в дома богачей и аристократов, где он познакомился со старинным хорошим обществом и с новым высшим светом. Он побывал на балах у еврейских банкиров и на менее пышных, но более изысканных вечерах у нескольких герцогинь. Он появлялся в гостиных исполненный самоуверенности, чувствуя, что любовник и ученик изысканной виконтессы де Шайи нигде не может быть смешным.

После двух месяцев такой жизни Орас совершенно преобразился. Он заехал к нам однажды утром в своем тильбюри, в сопровождении грума, который остался у подъезда присматривать за прекрасной лошадью. Орас, как ни в чем не бывало, поднялся на пятый этаж и имел достаточно такта не показать нам, что он запыхался. Одет он был безукоризненно, а его непокорные кудри подчинились наконец искусству Бушро, преемника Мишалона. У него были белые, как у женщины, руки, длинные ногти, лакированные башмаки и трость от Вердье. Но больше всего нас поразило то, что говорил он совершенно естественным тоном, причем никто бы не догадался, каких трудов ему стоило это совершенство.

Единственным признаком, обнаруживавшим, как недавно произошло это превращение, была торжествующая радость, озарявшая, словно ореолом, его чело. Эжени, которой он, войдя, впервые в жизни поцеловал руку, сначала с трудом сохраняла серьезность, но в конце концов она вслед за мной изумилась той легкости, с какой выпорхнул из куколки этот юный мотылек. Орас прошел такую прекрасную школу, что научился не только хорошо держаться, но и хорошо поддерживать разговор. Он не говорил больше о самом себе, а расспрашивал обо всем, что могло нас интересовать, и делал вид, что его это тоже чрезвычайно интересует. Мы видели первые его попытки приблизиться к образцу, которого он наконец достиг, и были поражены, как быстро он утратил заносчивость и высокомерие выскочки.

— Расскажи мне что-нибудь о себе,— сказал я.— Твои дела как будто идут блестяще. Надеюсь, новым своим богатством ты

обязан не только картам, но и литературе; выступил ты для начала совсем неплохо.

— Выигранные деньги подходят к концу,— простодушно ответил он.— Правда, я надеюсь пополнить их, черпая из того же источника, и до сих пор мне везло, но так как нужно быть готовым к проигрышу, я подумал о литературе как о более надежном источнике дохода. Мой издатель уплатил мне сегодня три тысячи франков за книжечку, которую я состряпаю в две недели. И если публика примет ее так же благосклонно, как и первую, надеюсь, я скоро не буду нуждаться в деньгах.

«Три тысячи франков за маленькую книжонку,— подумал я,— это дороговато; впрочем, все зависит от договоренности».

— Мне хотелось бы,— сказал я,— поговорить с тобой о твоем романе.

— О! Прошу тебя,— воскликнул он,— не будем о нем говорить! Это так плохо, что я не желаю о нем слышать.

— Это вовсе недурно,— возразил я,— я даже сказал бы, что, с литературной точки зрения, это замечательное изложение своими словами «Адольфа»; можно подумать, ты взял за образец литературный шедевр Бенжамена Констана.

Такой комплимент не особенно понравился Орасу. Он сразу переменился в лице.

— Ты находишь,— сказал он, стараясь сохранить равнодушный вид,— что моя книга — плагиат? Возможно, но я об этом не думал; тем более что никогда в жизни не читал «Адольфа».

— Да я же тебе сам его давал в прошлом году.

— Ты полагаешь?

— Уверен в этом.

— А! Не помню. В таком случае моя книга — это невольный отголосок.

— Ничем иным и не может быть первое произведение двадцатилетнего автора; но поскольку твой роман хорошо построен, хорошо написан и интересен, никто на это не пеняет. Все же, рискуя даже показаться в твоих глазах педантом, я хочу пожурить тебя за выбор темы. Ты, как мне кажется, выступил в защиту эгоизма...

— Ах, дорогой мой! Оставим это, прошу тебя,— немного иронически сказал Орас.— Ты говоришь как журналист. Я вижу, куда ты клонишь! Ты сейчас скажешь, что моя книга *безнравственна*. Так кончались по меньшей мере пятнадцать из прочитанных мной за месяц фельетонов.

Я настаивал на своем. Я даже немного повздорил с ним, нападая на его теорию *искусства для искусства* с упорством, которое почитал за долг дружбы,— и тут весь лоск хорошего тона, дик-

тующего шутливое пренебрежение к своим талантам, сошел с него.

Орас стал сердиться, озлобленно защищался, с язвительностью оспаривал мои положения и, постепенно теряя все свое очарование и деланное спокойствие, вернулся к былой декламации, раскатистому голосу, театральным жестам и даже словечкам из бильярдной Латинского квартала; прежний человек вырвался из плохо замурованного склепа, где, казалось, был потребен навеки. Когда Орас заметил свою оплошность, ему стало так досадно и стыдно, что он вдруг помрачнел и умолк. Но и это было для нас не большей новостью, чем его бурный гнев: слишком часто мы наблюдали, как от декламации он переходил к угрюмому молчанию и начинал дуться на всех.

— Знаете, Орас,— сказала Эжени, дружески положив ему руку на плечо,— хотя вы были очаровательны в начале визита и совершенно несносны теперь, все же я предпочитаю вас видеть таким, как сейчас. По крайней мере, это вы — со всеми вашими недостатками, которые мы знаем наперечет, что не мешает нам любить вас; а когда вы хотите быть совершенством, мы вас не узнаем и просто теряемся.

— Благодарю, красотка,— сказал Орас с развязным видом, пытаясь обнять ее в наказание за дерзость. Но она от него ускользнула, пригрозив оцарапать ему иголкой лицо. Боясь, что не сможет показаться вечером в обществе, Орас отступил. На прощание он попробовал вернуться к непринужденному и изысканному обращению, но это ему не удалось и, почувствовав себя неловким и натянутым, он поспешил уйти.

— Боюсь, мы рассердили его и теперь он придет не скоро,— сказал я Эжени, когда Орас ушел.

— Придет, когда опять выиграет крупную сумму и захочет похвастаться новой каретой и парой рысаков,— ответила она.

— Целых четверть часа я думал, что он избавился от всех своих недостатков, и радовался от души.

— А я огорчалась,— сказала Эжени.— Мне показалось, что он дошел до бесстыдства, а это худший из пороков. К счастью, сколько бы он ни старался, он всегда будет смешон, потому что, вопреки всему его притворству, в нем есть немало простодушия и в конце концов оно всегда скажется.

В тот же день нас поразило и взволновало другое, действительно приятное посещение. Мы стояли на балконе и, перегнувшись через перила, следили за стремительно мчавшимся тильбюри Ораса; на повороте к мосту он едва не сбил мужчину и женщину, которые шли под руку ему навстречу и беседовали, склонившись друг к другу и не замечая, что происходит вокруг.

Орас крикнул «Берегись!» так громко, что голос его, пробившись сквозь уличный шум, донесся до нас; мы увидели, как он хлестнул разгоряченную лошадь, очевидно желая напугать этих невеж, посмевших задержать его хотя бы на секунду. Мы невольно обратили внимание на скромную пару, направлявшуюся в нашу сторону; они, казалось, даже не заметили ни денди, ни его экипажа. Тесно прижавшись друг к другу, они шли медленнее, чем деловито снующие по тротуару прохожие.

— Ты замечал,— сказала Эжени,— что по тому, как идут рука об руку мужчина и женщина, почти всегда можно угадать, какие их связывают чувства? Ручаюсь, эти двое обожают друг друга! Оба они молоды — это видно по сложению и походке. Женщина, должно быть, красива, по крайней мере, фигурка у нее прелестная; видишь, как доверчиво она опирается на руку молодого мужа или нового любовника? Ясно, что она с ним счастлива.

— Вот и придуман роман, о котором эта пара, возможно, и не подозревает,— ответил я.— Постой, Эжени! Теперь, когда они подошли ближе, мне кажется, я узнаю этого человека. Он поднял руку совсем как Арсен, он смотрит на наш балкон. Боже мой! Если бы это был он!

— Я не могу разглядеть его лица с такой высоты,— сказала Эжени.— А что это за женщина с ним? Это наверняка не Сюзанна и не Луизон.

— Да это Марта! — закричал я.— У меня хорошее зрение. Они увидели нас, они идут сюда!.. Да, Эжени, это Марта и Поль Арсен!

— Не говори глупостей! — сказала Эжени, в волнении бросившись из комнаты.— Не надо будить напрасные надежды.

Уверенный в том, что я не мог ошибиться, я выбежал на лестницу встречать дорогих нам выходцев с того света. Мгновение спустя они сжимали Эжени в своих объятиях. Увидев Марту и Арсена целыми и невредимыми, Эжени, которая давно похоронила их и горько оплакивала, едва не лишилась чувств и, когда немного пришла в себя, стала их целовать, заливаясь слезами. Радость Эжени глубоко их тронула; они просидели у нас несколько часов и рассказали нам обо всех своих злоключениях и о нынешней своей жизни. Когда Эжени узнала, что ее подруга стала актрисой, она взглянула на нее с удивлением и обратилась ко мне:

— Посмотри только на нее, она ничуть не изменилась! Похорошела, изящнее одета, но голос, тон, манеры — все осталось прежним. Она держится так же естественно, просто и мило, как раньше. Не то что...

И она запнулась, боясь произнести имя, которое Марта, впрочем, не раз и без тягостного волнения упоминала во время своего рассказа. А Эжени, глядя на Поля и Марту и мысленно продолжая сравнивать их с Орасом, поминутно восклицала:

— Да это ж они! И ничуть не изменились! Мне кажется, мы расстались только вчера.

Марта попросила объяснить, что означают эти недомолвки, и я решил, что лучше прямо и откровенно заговорить с ней об Орасе, чем заставлять ее о нем расспрашивать. Я рассказал ей о его визите и объяснил, откуда взялась эта неожиданная роскошь.

Я не умолчал даже об его отношениях с виконтессой де Шайи. Я сделал это умышленно. Мне хотелось окончательно исцелить эту вступившую на путь спасения душу. Она горько усмехнулась, дрожа, склонилась к плечу своего супруга и сказала с кроткой, печальной улыбкой:

— Ты видишь, я хорошо знала Ораса!

В четыре часа им нужно было уйти. Марта играла нынче вечером. Мы пошли ее послушать — и вернулись растроганные и потрясенные ее талантом, радуясь до слез тому, что нашли дорогих друзей и что они наконец соединились и счастливы.

ГЛАВА XXXI

Орас обладал красивой внешностью, безукоризненными костюмами, искусством вести остроумную беседу; если добавить к этому зарождавшуюся литературную известность, видимость некоторого богатства и имя, которое писалось отныне «*дю* Монте», то неудивительно, что его появление в свете не могло пройти незамеченным; было время, когда, не строя иллюзий, он вправе был надеяться на успех у прелестных салонных кукол, именуемых светскими женщинами. Две-три перезрелые красавицы готовы были ввести его в моду, если бы он захотел принять их покровительство; но он метил выше, и это погубило его. Он забрал себе в голову, что все эти преходящие любовные связи слишком доступны и что он может рассчитывать на блестящую партию. С тех пор как он изведал богатство, он полагал, что самое ценное и существенное в жизни — это деньги. На талант и славу он смотрел теперь лишь как на средство к достижению цели и рассчитывал с помощью даров, отпущенных ему природой, покорить сердце какой-нибудь богатой наследницы. Обладай он ловкостью, терпением и осторожностью — кто знает, может быть, его мечта и осуществилась бы. Но он не сумел рассчитать свои силы, и излишняя

самоуверенность ввела его в заблуждение. Переоценив, как всегда, внушенное им чувство, он затеял интригу с дочерью банкира, романтической пансионеркой, которая отвечала на его письма, назначала ему свидания и даже согласилась на похищение и брак в Гретна-Грин. К несчастью, для этой проделки у Ораса не хватило денег. Две или три тысячи франков аванса за новый роман он промотал раньше, чем получил, а в игре ему теперь не везло настолько же, насколько, по его мнению, везло в любви. Он пошел напролом, решительным тоном потребовал у родителей руки девицы, не преминул похвалиться чувством, которое сумел ей внушить, и даже дал понять, что отказывать уже поздно. Последнее было любовной хитростью, и он надеялся, что девушка ее поддержит; на самом деле он был благороднее, чем утверждал,— он не покусился на честь неосторожной маленькой героини своего романа, и отношения их были настолько целомудренны, что она даже не подозревала об опасности. Родители, люди сообразительные и осторожные,— как все, кто обязан своим богатством только себе,— скоро разгадали истину. Они стали действовать на дочь лаской, изобразили ей Ораса как фата, человека бессердечного, готового скомпрометировать девушку, лишь бы поправить свои дела выгодной женитьбой; они повели переговоры, прекратили переписку и тайные свидания, тянули с ответом, потом заговорили о том, что согласны на брак, но не дадут за дочерью приданого, и в несколько дней успели внушить влюбленным такое отвращение друг к другу, что Орас удалился, негодуя на свою возлюбленную, а она не могла уже слышать о нем без презрения и ненависти. Это печальное происшествие осталось в тайне: обе стороны не собирались его разглашать, и Орас с досады принялся ухаживать за одной красивой и еще молодой вдовой, обладательницей двадцати тысяч ливров ренты.

Вдова была набожна, чувствительна и кокетлива. Орас вообразил, что овладеть ею можно только женившись,— и просчитался! То ли вдовушка без всяких дурных намерений желала сделать из него обычного поклонника, то ли она была менее щепетильна и желала любить, не теряя свободы, но Орас был принят благосклонно, искусно раззадорен и почувствовал себя влюбленным раньше, чем сообразил, какого образа действий следует держаться. Не знаю, удалось бы ему удовлетворить свою любовь и честолюбие, вопреки крайней его молодости, которую он скрывал под густой бородой, мещанскому имени, переделанному на визитных карточках, и бедности, которую можно было еще некоторое время прятать под новым костюмом. Надежда стать в будущем политическим деятелем вернулась к нему вместе с надеждой попасть в парламент при помощи брачного контракта. Он строил самые

заманчивые планы и ждал, пока внушит достаточно сильную любовь, чтобы признаться в истинном своем положении; но у него был враг, только и ждавший, чтобы стать на его пути: это была виконтесса де Шайи.

Хотя Леони была уже равнодушна к Орасу, она все же надеялась, что, согласно предсказаниям маркиза де Верна, он совершит какое-нибудь безумство, как только она его бросит. Но маркиз ошибался, считая Ораса гордым в любви. Орас был только тщеславен, и его непостоянство в сочетании с природной добротой не давали развиться в нем чувству досады. Он очень скоро понял, что виконтесса вернулась к графу де Мейере; но так как внешне она принимала Ораса вполне благосклонно и по-прежнему числила его своим другом, он счел себя удовлетворенным и продолжал встречаться с ней без всяких притязаний и горечи. Обоих это как нельзя более устраивало. Но Орас и дня не мог прожить, не совершив какого-нибудь промаха. Он часто пил,— возможно, чтобы заглушить тайные укоры совести. Однажды, после обильного завтрака в «Кафе де Пари», он опьянел, оживился, расхвастался и позволил вырвать у себя признание в своих любовных успехах у виконтессы. Один из тех, кто коварно вызвал его на откровенность, ненавидел Леони и был близок с графом де Мейере. На следующее же утро граф узнал о неверности своей любовницы. Он не устроил ей сцены,— для этого он недостаточно ее любил,— но наговорил ей колкостей, которые глубоко ее оскорбили. С этой минуты Орас навлек на себя беспощадную ненависть виконтессы. Она встречалась в свете с вдовой, за которой ухаживал Орас, и догадалась, какой оборот принимает дело. Она проявила к вдове дружеское расположение, завоевала ее доверие и навсегда внушила ей отвращение к Орасу одной лишь коротенькой фразой: «Этот человек любит болтать». Орасу в тот же день отказали от дома. Он боролся, и оттого его поражение стало еще постыднее.

Это жестокое унижение совпало с другими неприятностями. Второй роман Ораса вышел в свет и оказался весьма посредственным. Орас исчерпал в первом весь отпущенный ему скудный запас дарований, ибо вложил в него весь скудный запас пережитых им чувств. Для того чтобы создать что-либо новое, требовалось полное обновление всей его внутренней жизни,— только тогда он мог загореться и вдохновиться опять. А он насиловал свой ум и произвел на свет мертворожденное творение. Попытавшись изобразить Леони и свою любовь к ней, он оказался так же холоден и фальшив, как и та, что послужила прототипом его героини, и как его собственное чувство к ней. Этот плохой роман мог, впрочем, иметь некоторый успех в известном кругу, если бы

Орас ясно указал на виконтессу и, отдав ее во власть злословию салонов, поймал бы своих светских читателей на приманку скандала. Но у него было слишком благородное сердце, чтобы стремиться к подобной славе. Он до такой степени опоэтизировал свою героиню, что она утратила всякое сходство с оригиналом и никто не мог узнать в ней виконтессу. Не способный хранить тайну любви, Орас был равно не способен хладнокровно разгласить ее, поддавшись чувству мести.

В тот самый день, когда он получил отставку у осторожной вдовы, Орас проиграл последние деньги и вернулся домой в довольно мрачном расположении духа. На камине он нашел письмо от своего издателя — ответ на записку, посланную им накануне, с просьбой о новом авансе под новый роман. «Проклятое ремесло! — воскликнул он, вскрывая конверт.— Значит, опять писать! Всегда писать, какое бы ни было у тебя настроение! Проявлять легкость стиля — когда мозг отягчен усталостью; свежесть чувств — когда душа иссушена гневом; смелость и блеск метафор — когда воображение подавлено скукой!» Он с раздражением сломал печать и, к величайшему своему удивлению, прочел весьма недвусмысленный отказ, написанный рукой разгневанного издателя, который называл вещи своими именами и неудачную книгу — *завалью*. Почтенный коммерсант потерпел убыток. За две недели, прошедшие со дня выхода романа, не продано и тридцати экземпляров. Кто же нынче пишет так коротко! Томик получился совсем тоненький, и книготорговцы берут этот *блин* только со скидкой. Если бы Орас послушался, он не торопился бы так с развязкой. Еще два листа, и книга выиграла бы по пятьдесят сантимов на экземпляре. А потом — название «не звучное», сюжет «недостаточно нравствен», слишком много «рассуждений» и еще сотни подобных причин, которые окончательно вывели из себя взбешенного автора и повергли его в полное отчаяние.

Когда все богатство писателя заключается в красивых фразах, рваных башмаках и потертом сюртуке, он не падает духом от отказа издателя,— он отправляется в поход и, не смущаясь холодным приемом, в конце концов находит издателя более сговорчивого или более богатого. Но выпрашивать деньги, разъезжая по редакциям в тильбюри и в сопровождении собственного грума, не так-то легко. На следующий день Орас все же попытался это сделать. Всюду его встречали весьма предупредительно, но с улыбкой недоверия к его литературному будущему. Первый роман принес ему не так уж много славы и еще меньше денег. Второй потерпел полное фиаско. Один издатель просил у Ораса предисловия Эжена Сю, другой — рекомендательного письма от гос-

подина Ламартина, третий требовал, чтобы он добился фельетона от Жюли Жанена. Все, точно по уговору, не желали брать на себя издержки, и ни один не соглашался раскошелиться хотя бы на незначительный аванс. Орас послал их всех — и мелких и крупных — к дьяволу и вернулся домой совершенно убитый.

Назавтра он продал свою лошадь, чтобы дать расчет лакею, послезавтра — часы, чтобы выручить несколько золотых и хотя бы еще один день играть роль богатого человека. Он отправился к Луи де Мерану, которого застал за партией виста. Орас выиграл несколько луидоров, потом проиграл их, потом снова выиграл и к трем часам ночи удалился, задолжав пятьсот франков, которые, согласно законам света, обязан был уплатить в течение трех дней одному из своих лучших друзей, обладавшему рентой в тридцать тысяч ливров, если не хотел прослыть нищим и заслужить всеобщее презрение. Напрасно он лез из кожи, чтобы раздобыть эту сумму у какого-нибудь издателя; на третий день, вечером, он, не без душевного трепета, решился занять ее у Луи де Мерана. Он знал, что если не вернется к нему счастье в игре, он не сможет вернуть долг; а былая беспечность уступила место неуверенности и страху с той поры, как он познал пьянящие радости богатства и тягостную горечь разорения. Муки его еще возросли, когда ему показалось, что во взгляде и поведении его друга проскальзывают какой-то холодок и принужденность, так не похожие на обычную его доверчивость и предупредительность. До сих пор де Меран ссужал его деньгами с таким видом, словно сам просил об одолжении, а не оказывал услугу; и нужно заметить, до сих пор Орас неукоснительно их возвращал. Прослыв богатым человеком, он стал аккуратно выплачивать свои долги — правда, не старые, а те, что делал у новых своих приятелей. На сей раз ему показалось, что Луи де Меран дал ему деньги с неудовольствием, которого не показал только из вежливости. Неужели он догадался, что сегодня Орас впервые не имел надежды возместить долг? Но как он мог догадаться об этом? Орас отказался от собственного выезда и покинул свою прелестную меблированную квартиру под тем предлогом, что уезжает в Италию,— поездка, о которой он говорил уже давно,— поэтому-то он якобы и не покупал мебели и не устраивался соответственно своему мнимому благосостоянию. Он делал вид, будто его задержали на несколько дней непредвиденные дела, надеясь, что за это время ему снова повезет в игре, а не то и в любви, и тогда он отложит свою поездку на неопределенный срок.

Однако холодность его знатного друга и, как ему показалось, подчеркнутый отказ сопровождать его в Оперу внушили Орасу

глубокое беспокойство. Он испугался, что сам выдал свое плачевное положение озабоченным видом, не покидавшим его за последние дни, и решил рассеять все сомнения, показавшись нынче вечером в обществе с присущими ему щегольством и блеском. Он разыскал в грязных закоулках Ситэ старьевщика, с которым имел когда-то дела, и продал ему за бесценок свою бриллиантовую булавку; но зато теперь у него в кармане была сотня франков. Он нанял экипаж, надел лучший из оставшихся костюмов, воткнул в петлицу великолепную розу, отправился в Оперу и уселся на авансцене, в одной из расположенных на виду лож, которые сейчас именуются «клеткой со львами». В те времена щеголи из «Кафе де Пари» еще не носили названия «львов», но, думаю, все они относились к одной породе денди или мало чем от нее отличались. Орас принадлежал к этой разновидности человеческого рода и считал своей обязанностью выставлять себя напоказ. Он был постоянным посетителем этой ложи,— Луи де Меран имел там места и приглашал его раза два в неделю. Друзья де Мерана обычно принимали Ораса дружелюбно; его любили, он забавлял своим остроумием эту праздную, скучающую компанию. Но в этот вечер никто не повернул головы при его появлении и никто не потеснился, чтобы дать ему место. Правда, в это время Нурри пел вместе с госпожой Даморо дуэт из «Вильгельма Телля»:

О Матильда, кумир моей души...

Возможно, что они просто очень внимательно слушали. Орас, испугавшись на мгновение, успокоился; а когда в антракте один из этих господ пригласил его вместе с другими отужинать после спектакля, к нему вернулась вся его самоуверенность. Он пересилил себя, и в конце концов ему удалось выказать немало остроумия. Однако время от времени ему казалось, будто окружающие обмениваются презрительными улыбками. Тогда глаза его застилало туманом, в ушах поднимался звон, и он переставал слышать оркестр; лица зрителей расплывались, и зал наполнялся какими-то чудищами — они глядели на него в упор, показывали пальцем, скалили зубы; а женщины, закрываясь веерами, шептали друг другу ужасные слова: «Авантюрист, авантюрист! Болтун, хвастунишка! Ничтожество, ничтожество!» В эти минуты он был близок к обмороку; но когда он приходил в себя и убеждался, что это всего лишь галлюцинация, то огромным усилием воли старался скрыть снедавшую его тревогу. Один из приятелей спросил, почему он так бледен. От этого вопроса Орас пришел в еще большее смятение и ответил, что ему нездоровится. «Вы, может быть, голодны?» — заметил другой. Орас окончательно растерялся.

В этом незначительном замечании ему почудилась ядовитая насмешка. Его охватило желание убежать, скрыться, никогда больше не появляться здесь. Но мгновение спустя он уже говорил себе, что нельзя раньше срока выходить из игры, что нужно потребовать объяснения, принять бой, отважно защищаться и любой ценой узнать, является ли он жертвой тайного сговора или все это ему только мерещится. Он последовал за веселой компанией к пригласившему их амфитриону и сидел там, чувствуя, как то холодеет, то возвращается к жизни — в зависимости от ледяного или доброжелательного тона сотрапезников.

Хозяйка дома была известная содержанка, очень красивая, очень умная, язвительная и злая. Орас всегда ненавидел и боялся ее, хотя она с ним и заигрывала. В этот день на ней было платье из пунцового атласа, ее золотистые волосы развевались, лицо казалось еще более дерзким, чем обычно, глаза горели каким-то сатанинским огнем; это была истая дочь Люцифера. Она приняла Ораса с кошачьей грацией, усадила его рядом с собой, налила ему своей прелестной ручкой самого крепкого рейнского вина. Все бурно веселились и обращались с Орасом так же дружески, как обычно; его просили прочесть стихи, аплодировали ему, льстили и в конце концов подпоили если не до потери сознания, то настолько, что к нему вернулась прежняя самоуверенность.

Тогда один из гостей сказал:

— Кстати о женщинах. Скажите-ка, дорогой, за что вас так ненавидит виконтесса де Шайи? Это верно, что, завтракая в «Кафе де Пари» с Б... и А... вы оскорбительно отзывались о ее поведении?

— Убей меня бог, если я помню! — ответил Орас.— Но не думаю, чтобы я мог это сделать.

— Тогда вам следовало бы перед ней оправдаться; ведь ей сказали, что вы хвалились тем, чем порядочный человек никогда не хвалится.

— Натощак! — подхватил другой.— Но in vino veritas[1], не так ли, Орас?

— В таком случае,— ответил Орас,— как бы я ни был пьян, я ничем не мог похвастаться.

— Он хочет сказать,— вмешалась Прозерпина (так называл в этот вечер Орас любовницу хозяина дома),— что ему нечем хвастаться. Я такого же мнения. Ваша сухопарая виконтесса костлява и скользка, как ракушка.

---

[1] Истина в вине *(лат.)*.

— Она очень умна,— возразил кто-то.— Сознайтесь, Орас, вы были в нее влюблены!

— Возможно. Но если и был, то теперь решительно ничего не помню.

— Однако говорят, вы настолько хорошо все помнили, что рассказывали довольно любопытные подробности о вашем пребывании в деревне прошлым летом.

— Что означает этот допрос? — сказал Орас, подняв голову.— Я нахожусь перед судом?

— О нет! — сказала Прозерпина.— Это всего лишь исправительная полиция. Ну-ка, мой прекрасный поэт, расскажите нам все по-дружески. Виконтесса не стала бы вас так ненавидеть, если бы она вас так не любила.

— А с каких же пор она удостоила меня своей ненависти?

— С тех пор как вы ей изменили, прелестный ветреник!

— Если этого не случилось, то по вашей вине, жестокая прелестница! — ответил Орас тем же насмешливым тоном.

— Так вы признаетесь,— подхватила она,— что поклялись ей в верности до гроба?

— Долго еще это будет продолжаться? — со смехом спросил Орас.

— Несомненно одно,— сказал кто-то,— вы чем-то сильно раздосадовали виконтессу, она очень дурно о вас отзывается.

— Любопытно, что же она может сказать обо мне дурного?

— Вы хотите знать?

— Пожалуй.

— Так вот, она утверждает, что вы бедны, а вы выдаете себя за богача; что вы мальчишка, а стараетесь походить на мужчину; что все женщины гонят вас, а вы разыгрываете победителя.

«Вот оно,— подумал Орас,— настало время выдержать бурю».

— Если виконтессе угодно наносить подобные оскорбления,— твердо произнес он,— то я, не зная способа отомстить женщине, ограничусь тем, что скажу: она ошибается. Но если мужчина осмелится повторить это, хоть на миг усомнившись в моей честности, я отвечу, что он лжет.

Собеседник, которому был адресован этот ответ, сделал гневное движение. Но сосед удержал его и поспешил сказать довольно недвусмысленным тоном:

— Кто же здесь оспаривает вашу порядочность? Если вы выдали тайну своих отношений с женщиной после выпивки, когда признания действительно срываются у нас с языка незаметно для нас самих, виконтесса, клевеща на вас, заходит в своей мести слишком далеко. Но что, если вы сами оклеветали ее? Что, если

с досады на ее отказ вы солгали? Тогда простительно, что она платит вам тем же.

— Но вы-то, сударь,— сказал Орас,— вы, кажется, сомневаетесь? Я хотел бы знать ваше мнение на этот счет.

— Я придерживаюсь того мнения, что вы были ее любовником, под воздействием винных паров кому-нибудь проговорились и тем самым совершили величайшую неосторожность.

— Как вы на это смотрите, господа судьи? — сказала Прозерпина, наполняя бокал Ораса.— Ждем вашего приговора.

— Преступник заслуживает самое большее двухдневного заточения в молельне госпожи де ***.

Тут назвали имя прекрасной вдовы, на которой Орас недавно еще рассчитывал жениться.

— Ах, значит, существует обвинительный акт относительно этой особы тоже? — спросила Прозерпина, глядя на Ораса так укоризненно, что он чуть не задохнулся от тщеславной радости.

Хотя Орас был слегка навеселе, он понял, что ему нужно сохранить ясную голову, и отставил бокал; он пытался по лицам окружающих угадать, что означает эта атака: расставляют ли ему коварную ловушку или же дружески над ним подтрунивают? Решив, что здесь нет недоброжелательства, он стал шутливо отвечать на все расспросы. Последние слова Прозерпины пролили свет на одно до сих пор загадочное для него обстоятельство: он понял, что не кто иной, как виконтесса, очернила его в глазах вдовы. Кроме того, ему стало ясно, что она старается повредить ему во мнении друзей; из того, что произошло сегодня вечером, можно было заключить, что ее ожесточенные нападки на него были следствием оскорбленного чувства. Ему показалось, что все склонны смотреть на дело именно так и, буде это подтвердится, счесть все возведенные на него обвинения клеветой разгневанной ревнивой женщины. Оправдаться он мог, только признавшись в своей близости с виконтессой; но признаться в этом — значило заслужить упрек в фатовстве, который он упорно отводил чуть ли не целых полчаса. Оставался один выход: напиться до бесчувствия, чтобы получить право говорить как бы помимо своей воли. Орас так и поступил.

Но в силу одной из странных особенностей нашего сознания, которое угасает, когда мы хотели бы его сохранить, и упорно не желает нас покинуть, когда мы рады бы от него избавиться,— чем больше Орас пил, тем трезвее, казалось, становился. У него разболелась голова, отяжелели веки, заплетался язык, но никогда его мысль не работала с такой ясностью. Однако нужно было плести вздор, и он плел вздор. Позже, когда я своими расспро-

сами припер его к стенке, он мне сам во всем признался. Он разыграл опьянение, не будучи пьяным, и, притворившись, что ничего не соображает, прекрасно сообразил, какие неоспоримые доказательства истины следует привести. Он это делал даже со злорадством, негодуя на коварное создание, желавшее опозорить его, и наконец изведал мрачное наслаждение мести, видя, как слушатели аплодируют каждому его признанию и отмечают их, как бы намереваясь разоблачить его хитроумного врага — виконтессу.

Но вдруг хозяин дома, поднявшись, чтобы проститься с уходящими гостями, произнес с холодным презрением следующие грубые слова: «Ступайте спать, Орас; хотя вы охмелели не больше моего, *вы ведете себя как пьяный...*»

Последнего слова Орас не слышал, и я остерегусь повторить его. Ораса словно громом поразило; ноги его подкосились, язык не повиновался. Его усадили в карету и скорее выбросили, чем высадили у дверей Луи де Мерана, где Орас нашел временное пристанище после того, как съехал со своей квартиры. Что он пережил, оставшись один, способен понять лишь тот, кто сам может упрекнуть себя в подобном презренном поступке. Он не в силах был дотащиться до кровати и, жестоко страдая, провел остаток ночи в кресле, пытаясь осознать весь ужас своего положения. Муки Ораса еще усилились оттого, что его сознание совершенно прояснилось и он не обманывался более,— он знал, что отныне вызвал осуждение, недоверие и презрение в людях, которых он хотел поразить и обмануть, и что, при всем превосходстве ума, сам попался в расставленную ему ловушку. Теперь он понял, какому его подвергли испытанию и как он должен был себя вести, чтобы выйти из него с честью. Если бы он достойно и мужественно встретил все обвинения Леони, продолжая хранить в тайне ее минутную слабость, и пренебрег бы подозрениями вместо того, чтобы отвести их от себя, прибегнув к гнусной мести, то, хотя его судьи были не слишком сведущи и не отличались чрезмерной щепетильностью в такого рода вопросах, у них нашлось бы достаточно терпимости, чтобы все простить. Порицая его тщеславие, они все же оценили бы его благородство и доброту. Эти легкомысленные молодые люди, которые во многих отношениях были ничуть не лучше его, все же получили в свете какое-то подобие рыцарского воспитания, и оно внушило бы им известное великодушие, если бы Орас первый подал пример. Не сумев подняться на эту высоту, он пал ниже, чем того заслуживал.

Сомнений больше не оставалось. В карете четверо или пятеро участников ужина, притворившись, будто поверили, что Орас

спит,— так же как он притворился спящим,— намеренно обменивались вслух весьма нелестными и ироническими замечаниями на его счет. А он вынужден был молчать, ибо вынужден был делать вид, что ничего не слышит. Ему хотелось закричать, страшные судороги пробегали по его телу, но впервые в жизни он не поддался нервному припадку и нашел в себе силы сдержаться, ибо видел, что ему не поверят и только поднимут его на смех. Поистине, это была слишком суровая кара для молодого человека, повинного лишь в тщеславии, ветрености и недомыслии.

Было уже за полдень, когда в комнату вошел Луи де Мера́н — с таким суровым видом, что Орас, не вынеся столь непривычного обращения, закрыл лицо руками, чтобы скрыть слезы. Луи, обезоруженный его горем, пододвинул стул, сел рядом с ним и, ласково взяв его за руки, заговорил, проявив при этом больше ума и возвышенных чувств, чем можно было от него ожидать. Это был довольно невежественный молодой человек, избалованный с детства, но по натуре добрый,— отзывчивое сердце, когда нужно, пробуждает ум.

— Орас,— сказал он,— я знаю, что произошло ночью за ужином, на котором я не хотел присутствовать, чтобы не быть свидетелем вашего унижения. Я бы не утерпел, вступился бы за вас и только бы нажил неприятности со стороны людей, которых вынужден предпочитать вам и в силу давней дружбы, и оказанных взаимных услуг. Я сделал все, чтобы помешать вам пойти вчера в театр; вы не пожелали понять мои намеки. Кончилось тем, что вы разоткровенничались и тем самым еще ухудшили свое положение. Вы, несомненно, во многом виноваты, но, по совести сказать, ошибки ваши кажутся мне простительными; однако вы не найдете ни малейшего к вам снисхождения в холодном, высокомерном свете, куда вы захотели проникнуть с такой самонадеянностью, предварительно не изучив его. У вас есть непримиримый враг, и вы вправе отвечать ему обидой на обиду, оскорблением на оскорбление. Это коварная женщина, и я на собственном горьком опыте убедился, как необходимо ее остерегаться. Но она имеет положение в свете, а вы нет. Насмешники будут за вас, люди влиятельные — за нее. Она изгонит вас отовсюду, так же как изгнала от госпожи де ***. Послушайтесь меня, оставьте Париж, отправляйтесь путешествовать, удалитесь, пусть о вас забудут. А если вы непременно хотите вернуться в то общество, которое — разумеется, весьма произвольно — называют хорошим, появитесь не раньше, чем добьетесь обеспеченного существования и литературной известности. Проступок ваш серьезен: вы хотели обмануть нас. К чему? Никто из нас не стал бы вас попрекать бедностью и

незнатным происхождением. С вашим умом и способностями вы рано или поздно были бы приняты в нашем обществе; может быть, это было бы не так скоро, зато более надежно. Вы же, не завоевав твердого положения, захотели сразу насладиться богатством и почетом, между тем как приобрести их вы могли бы только своим трудом и достойным, скромным поведением. Если б я знал, что вам не двадцать пять лет, а только двадцать, я больше опекал бы вас. Если бы я знал, что вы сын мелкого провинциального чиновника, а не внук парламентского советника, я отговорил бы вас от этой детской затеи и не позволил бы вам переделывать свою фамилию на дворянский лад. Если бы я знал, что у вас нет состояния, я не толкнул бы вас на такой образ жизни, которым вы можете опозорить свое доброе имя. Ошибка сделана. Предоставьте времени, унимающему злословие, и моей дружбе к вам, которая остается неизменной, ее загладить. Вы талантливы, образованны. Если вы будете действовать разумно, вы когда-нибудь достигнете столь же высокого положения, как те блестящие особы, которые поразили вас своими непринужденными манерами,— и тогда, возможно, вы взглянете на них с сожалением. Обещайте мне, что уедете и не совершите никаких сумасбродств, пытаясь отомстить за возведенные на вас обвинения. Будь у вас даже дюжина дуэлей, вы не докажете, что говорили правду, и только придадите этому происшествию ненужную огласку. Для путешествия вам потребуются деньги; вот они. Этого, конечно, не хватит, чтобы жить за границей на широкую ногу, как сыну состоятельных родителей, но вполне достаточно, чтобы скромно ждать результатов своего труда. Вернете, когда сможете. И пусть это вас не беспокоит. Я богат, и поверьте, что никогда еще с большим удовольствием не ссужал вас деньгами.

Орас, проникнутый раскаянием и признательностью, крепко пожал руку Луи, наотрез отказавшись от предложенного бумажника, трогательно поблагодарил его за добрые советы, пообещав следовать им, и поспешно покинул его дом. Луи де Меран немедленно написал мне, сообщив обо всех событиях последних дней, и просил предложить Орасу от моего имени сумму, которую тот отказался взять, хотя она была необходима ему для путешествия.

К сожалению, дружеская помощь этого прекрасного молодого человека не достигла назначения так быстро, как он того хотел. Орас ко мне не пришел, и я несколько дней безуспешно его разыскивал повсюду.

ГЛАВА XXXII

Три или четыре дня Орас терзался в одиночестве, не зная, куда деваться от стыда, как спастись от надвигавшейся на него нищеты. Для него это был жесточайший удар; пожалуй, ничто другое не способно было его так потрясти. Любовные огорчения, угрызения совести, даже нужда с ее заботами никогда по-настоящему его не задевали; но рана, нанесенная его тщеславию, оказалась слишком тяжелым наказанием. К несчастью, даже и этого было недостаточно, чтобы он исправился. У Ораса не было ни сил, ни надежды опровергнуть вынесенный ему приговор. Сидя днем взаперти на своем чердаке, блуждая ночами по пустынным улицам, он ломал руки и проливал слезы как дитя. Свет — то есть жизнь, полная блеска и развлечений, этот элизиум его грез, его убежище от упреков совести — отныне был закрыт для него навсегда! Утешения Луи де Мерана казались ему обманчивыми. Он прекрасно знал, что люди, обладающие законными, по их мнению, притязаниями, относятся безжалостно к необоснованным притязаниям других. Он был слишком горд, чтобы стремиться вернуть себе милость, попытавшись оправдать свое поведение; но даже если бы он был уверен, что выйдет в глазах света победителем из своей борьбы с виконтессой, одна мысль о возможном повторении перенесенных унижений заставляла его содрогаться от ужаса и отвращения.

Он так кичился своим кратковременным благополучием и в разговорах со старыми друзьями, и в письмах к родителям, что, попав в бедственное положение, не смел ни к кому обратиться, и, по правде говоря, ему трудно было принять какое-нибудь решение. Он чувствовал, что проще и благоразумнее всего было бы вернуться на родину и работать там над каким-нибудь литературным произведением, чтобы расплатиться с неотложными долгами, собрать немного денег на дорогу и отправиться пешком в Италию; но на это у него не хватало мужества. Он знал, что родители, преувеличивая его литературные успехи, конечно, протрубили о них на всех перекрестках, и боялся, что в один прекрасный день в их провинциальный городок случайно долетят слухи из Парижа и обратят завоеванный им почет в презрение. Полгода назад он весело и беззаботно брал бы в долг по луидору в неделю у товарищей по факультету,— в студенческом кругу никто не стыдится бедности, и молодой человек признается со смехом, что накануне остался без обеда, не имея девяти су, чтобы оплатить свою долю у Руссо. Но когда посещаешь салоны, закрытые для бедняков, когда твой экипаж обдает грязью шагающих пешком

приятелей, тогда скрываешь нужду, как порок, а голод, как бесчестье.

Все же как-то вечером Орас, набравшись храбрости, явился ко мне, хотя, наверное, раз десять готов был повернуть обратно. На него было больно смотреть: он побледнел, щеки у него ввалились, глаза погасли. Растрепанные волосы еще хранили следы завивки, но, пытаясь лечь естественно, топорщились непокорными жесткими вихрами вокруг лба. Он даже не пытался опрятностью прикрыть свою нищету. Весь его небрежный вид свидетельствовал о глубоком упадке духа. Тонкая, искусно плиссированная сорочка была грязна и вся измялась; на сюртуке прекрасного покроя пуговицы частью были сломаны, частью оторвались совсем, видимо, уже несколько дней Орас его не чистил; к ботинкам присохла грязь; перчаток не было, и в руках он держал не свою изящной работы трость, а толстую палку со свинчаткой, словно опасался нападения.

К счастью, мы с Эжени были предупреждены и не проявили никакого удивления при виде происшедшей с ним перемены. Мы притворились, будто ничего не заметили, и, не задав ему ни одного вопроса, поспешили предложить ему пообедать с нами. Мы, правда, только что встали из-за стола, но Эжени за какие-нибудь четверть часа приготовила новый обед, и мы делали вид, что тоже принимаем участие в трапезе; Орас же слишком изголодался, чтобы обращать внимание на наши хитрости. Он ел с такой жадностью, что к концу обеда отяжелел и задремал, сидя на стуле, раньше, чем Эжени убрала скатерть. Соседняя с нами квартира, в которой раньше жила Марта, случайно пустовала. Мы быстро перенесли туда кровать и несколько стульев; затем Эжени подошла к Орасу и ласково сказала:

— Вы плохо себя чувствуете, дорогой Орас, подите прилягте! У нас несколько дней ночевал один наш приятель из провинции, его кровать к вашим услугам. Располагайтесь тут, пока вам не станет лучше.

— Это верно, я совсем болен,— ответил Орас,— и если я вас не очень стесню, то воспользуюсь вашим гостеприимством до завтра.

Мы проводили его в комнату Марты; но, видимо, это не пробудило в нем никаких тягостных воспоминаний. Он словно отупел; и в этой тупости, так не похожей на обычную его живость, было что-то пугающее.

На другое утро он еще спал, когда появился Поль Арсен с ребенком Марты на руках.

— Я принес вам вашего крестника,— сказал он Эжени, которая обожала этого здорового, толстого мальчугана и дала ему

имя Эжен.— Его мать сегодня вечером занята, а следовательно, занят и я. Марта дебютирует вечером в театре Жимназ, куда я, как вам известно, поступил кассиром. Матушка Олимпия прихворнула и совсем с ног сбилась. Мы боимся, как бы наше *солнышко* не осталось без присмотра. Вся надежда на вас: пусть он тут побудет до вечера, если только это вам не в тягость.

— Давайте-ка мне скорее ваше *солнышко!* — радостно вскричала Эжени, отбирая у Арсена малыша, которого тот в своей наивной и возвышенной любви и не называл иначе.

— *Солнышко,* что и говорить, прелестно,— сказал я,— но подумала ли ты, какая сейчас произойдет встреча!

— Арсен,— сказала Эжени,— собери все свое мужество и хладнокровие: Орас тут.

Арсен побледнел.

— Неважно,— сказал он.— После того, что вы мне рассказали, я знал, что должен буду встретиться с ним не сегодня-завтра. У ребенка на лбу не написано, как его зовут, и, кроме того, по милости Ораса мальчик не носит имени отца. Бедный крошка! — добавил он, целуя сына Ораса.— Я доверяю его вам, Эжени; не отдавайте его законному владельцу.

— Он его не потребует у вас, будьте спокойны! — ответила она со вздохом.— Предупредите вашу жену, пусть не приходит к нам несколько дней. Орас должен покинуть Париж, и встречи легко избежать.

— Будем надеяться,— сказал Арсен.— Мне кажется, этот человек не может даже смотреть на Марту, не причиняя ей зла. Однако, если она пожелает его видеть, ее воля. До сих пор она говорила, что не хочет этого. Прощайте. Вечером я приду за своим ребенком.

— О, у вас ребенок? — равнодушно спросил Орас, выйдя около десяти часов к завтраку.

— Да, у нас ребенок,— ответила Эжени с тайным лукавством и укоризной.— Как он вам нравится?

Орас взглянул на малыша.

— Он не похож на вас,— так же равнодушно сказал он.— Впрочем, эти новорожденные вообще ни на что не похожи; или, вернее, все они похожи друг на друга. Для меня всегда было загадкой, как можно отличить одного младенца от другого в этом возрасте. А ему сколько? Месяц? Два?

— Сразу видно, что вы не удостаиваете детей своим вниманием! — сказала Эжени.— Ему восемь месяцев, и он просто чудо как хорош для своего возраста! Вам не кажется, что это прелестное дитя?

— Я ничего в этом не понимаю. Однако, если это доставит вам удовольствие, я готов признать его *чудом*... Но что это я! Невозможно, чтобы вы были его матерью. Я же видел вас восемь месяцев назад... Полноте! Это не ваш ребенок.

— Нет,— резко сказала Эжени,— я подшутила над вами. Это сын нашего привратника, мой крестник.

— И вас это забавляет — таскать его на руках, когда вы занимаетесь хозяйством?

— Может быть, вы подержите его, пока я приготовлю завтрак? — сказала она, протягивая ребенка Орасу.

— Если это ускорит завтрак, я готов; но, право, я даже не представляю себе, как к *этому* прикоснуться; и если ему вдруг придет охота заорать, тогда уж извините, я его просто положу на пол. Фи! Раз вы не его мать, скажу вам откровенно, Эжени: я нахожу его довольно-таки безобразным, у него такие толстые щеки и круглые глаза!

— Он красивее вас! — воскликнула с непритворным гневом Эжени.— Вы недостойны прикоснуться к нему!

— Ну, вот он и запищал,— сказал Орас.— Позвольте, я отнесу его к дорогим родителям.

Малютка, испугавшись черной бороды Ораса, запрокинул головку и с криком припал к груди Эжени.

— А я,— сказала она, лаская его, чтобы успокоить,— я была бы счастлива иметь такого сыночка, как ты, бедное мое солнышко!

Орас презрительно усмехнулся и, опустившись в кресло, задумался. Прошлое, казалось, проснулось наконец в его памяти; и когда Эжени, посадив крошку ко мне на колени, вышла в соседнюю комнату, он уныло заметил:

— Я действительно не способен оценить радости отцовства, и, кажется, Эжени мне этого никогда не простит; в этом вопросе все женщины одинаково несправедливы и безжалостны. Я сто раз спрашивал себя после *моего несчастья,* чем же может прельстить двадцатилетнего юношу семейная жизнь,— однако не могу этого постичь. Если бы ребенок мог появиться на свет сразу в том возрасте, когда дети уже красивы и умны (разумеется, если ребенок не безобразен, не горбат, не рыжеволос, не слабоумен), я, пожалуй, согласился бы, что им можно заинтересоваться. Но заботиться о таком нечистоплотном, крикливом, ничего не смыслящем и, однако же, деспотичном существе — на это способны только женщины; недаром бог создал их иначе, чем нас.

— Это верно лишь отчасти,— отвечал я.— Женщины любят их нежнее и лучше умеют их воспитывать в первые годы жизни; но я никогда не понимал, как к этим слабым существам, таящим в себе загадку неведомого прошлого и будущего, можно испытывать одно

лишь отвращение. Люди из народа лучше нас. Они любят своих детей от всего сердца. Неужели, Орас, вы никогда не испытываете чувства умиления при виде того, как дюжий рабочий выходит вечером на порог дома, обняв своего малыша обнаженными по локоть и еще черными от работы руками, и как играет с ним, чтобы дать отдых жене?

— Это добродетели, несовместимые с чистоплотностью,— ответил Орас с пренебрежительной насмешкой, забыв, что сам он в эту минуту был довольно грязен. Он провел рукой по лбу, как бы собираясь с мыслями.— Я очень благодарен, что вы меня приютили на ночь,— продолжал он.— Но зачем вы поместили меня в этой роковой комнате? Чтобы вызвать спасительное раскаяние? Я видел ужасные сны. Настроение у меня все равно самое мрачное, так уж позвольте задать вам один тягостный для меня и щекотливый вопрос: что ж, вы так и не узнали, Теофиль, что сталось с той несчастной, чье сердце я, оказывается, злодейски разбил, совершив поистине чудовищное преступление? Я, видите ли, не плепился мыслью стать в двадцать лет отцом, не имея средств к существованию!

— Орас,— воскликнул я,— вы спрашиваете меня об этом из праздного любопытства, что написано у вас сейчас на лице, или в вас говорит чувство, которое, надеюсь, еще живо в вашем сердце?

— Лицо мое окаменело, дорогой Теофиль,— ответил он, малопомалу впадая в декламацию.— Не знаю, в состоянии ли я буду когда-нибудь вновь смеяться или плакать. Не допытывайтесь о причине, это тайна. А сердце? Сердцу, видно, суждено оставаться непонятым. Но вы, вы, Теофиль, всегда относились ко мне лучше и снисходительнее, чем остальные, как могли вы усомниться в том, что в моем сердце вечно будет кровоточить незаживающая рана? Если бы я только знал, что Марта жива и утешилась, у меня с души свалился бы камень, который лег гнетом на все мое прошлое, а может быть, и будущее.

— В таком случае,— ответил я,— скажу вам правду. Марта не умерла. Марта не несчастна, и вы можете забыть о ней.

Орас принял это известие без ожидаемого мною волнения. Он скорее походил на человека, со вздохом облегчения сбросившего тяжелую ношу, нежели на примиренного с небом грешника.

— Слава богу,— сказал он, меньше всего думая о боге, и, не задав ни одного вопроса, снова впал в задумчивость.

Однако днем он опять вспомнил о Марте и пожелал узнать, где она и как живет.

— Мне не поручали давать вам какие бы то ни было разъяснения на этот счет,— ответил я,— и не советую вам, во имя вашего

и ее спокойствия, их добиваться. Ошибки ваши исправлять уже поздно, и вам достаточно знать, что они не нуждаются в исправлении.

— Но если Марта покинула меня без сожаления,— ответил с горечью Орас,— и не помышляла о самоубийстве, как я того опасался, если она вовсе не была несчастна, а просто разлюбила меня — то ли потому, что я ей наскучил, то ли по непостоянству,— вина моя не так уж велика, и ни она, ни кто-либо иной не вправе меня ни в чем упрекать.

— Оставим этот разговор,— сказал я.— Сейчас самое неподходящее время для объяснений.

Орас рассердился и ушел; однако в обеденный час вернулся, хотя Эжени не решилась пригласить его к обеду, боясь показать, что знает его положение. Я тоже не хотел говорить, что оно мне известно, и ждал, пока он признается сам. Но он, казалось, еще не был к этому расположен. Войдя, он сказал:

— Это снова я. Мы простились слишком холодно, Теофиль; я не могу оставаться с тобой в таких отношениях.

И он протянул мне руку.

— Не будем об этом говорить,— перебил я его,— но если ты хочешь доказать, что не сердишься, то должен с нами пообедать.

— Охотно,— ответил он,— если этим можно загладить мою вину...

Мы принялись за еду и еще не встали из-за стола, когда матушка Олимпия пришла за малюткой, которого пора было укладывать спать.

Среди множества треволнений этого дня Арсен и Марта не подумали, что старушка может встретить у нас Ораса и наболтать лишнего. К несчастью, она любила поговорить. Матушка Олимпия, по собственному ее признанию, души не чаяла в своих молодых друзьях, а сегодня, радостно взволнованная переменой в их судьбе и блестящим положением в модном театре, особенно склонна была к чувствительным излияниям. Напрасно Эжени пыталась поскорее выпроводить старушку, увести ее на кухню, заставить говорить потише: матушка Олимпия ничего не понимала во всех этих ухищрениях и выражала свою радость и умиление в пространных речах и громких восклицаниях, неоднократно упоминая о господине и госпоже Арсен. В конце концов Орас, который сперва было принял ее за привратницу и не удостоил своим вниманием, начал к ней присматриваться, и, едва она ушла, он принялся нас расспрашивать. О каком Арсене она говорила? Значит, Мазаччо стал супругом и отцом? И ребенок привратника на самом деле его сын? Почему же мы сразу этого не сказали? «Впрочем,— добавил он,— я сам должен

был догадаться. Этот бутуз весь в отца, такой же уродливый и курносый».

Это высокомерное пренебрежение и раздражало и возмущало Эжени. Она даже разбила две тарелки и, я уверен, несмотря на всю свою кротость и обычную выдержку, испытывала непреодолимое желание швырнуть третью в голову Ораса. Я избавил ее от этого искушения, решив открыть ему всю правду. Поскольку Орас все равно должен был рано или поздно все узнать, лучше было его предупредить и посмотреть, как он это примет. Арсен несколько дней назад разрешил мне и от своего имени, и от имени Марты действовать так, как я сочту нужным.

— Как же вы не догадались, Орас,— сказал я,— что Поль Арсен женат на особе, которая вам хорошо известна, а нам бесконечно дорога?

Он на мгновение задумался, переводя тревожный взор с меня на Эжени, потом вдруг заговорил развязным тоном, который он перенял у маркиза де Верна.

— Действительно,— сказал он,— это может быть только *она*. Как же я, глупец, не понял, почему вы так растерялись перед этой старой ведьмой, которая пришла за ребенком!.. По ребенок... Ах!.. ребенок!.. Вот оно что... Старуха ясно сказала: «Его отец», говоря об Арсене... Ребенок восьми месяцев... Ведь вы сказали утром... восемь месяцев, Эжени!.. А Марта покинула меня девять месяцев назад, если память мне не изменяет... Боже правый! Вот уж поистине развязка! До такой я не додумался в своем романе!

Тут Орас откинулся на спинку стула и разразился хохотом, таким неестественным и резким, что нам стало не по себе, как от хрипа умирающего.

— Довольно вам смеяться! — воскликнула Эжени, встав с места в гневе, придавшем ей величественную красоту.— Этот ребенок, которого Поль Арсен воспитывает и любит как своего, в действительности ваш, если хотите знать. Вам он показался уродливым потому, что, по-вашему, он похож на Арсена; а Поль находит его красивым, хотя он и похож, бедный крошка, на самого неблагодарного эгоиста, какой только есть на свете!

Этот взрыв священного гнева обессилил Эжени; она упала на стул, задыхаясь и обливаясь слезами. Орас, выведенный из себя этими словами, которые обрушились на него подобно проклятию, тоже вскочил, но тут же снова опустился на стул, сраженный голосом своей совести, и закрыл лицо руками.

Он просидел так больше часа. Эжени между тем вытерла слезы и принялась хозяйничать; я молча ждал исхода происходившей в душе Ораса борьбы — между гордостью, сомнением, раскаянием и стыдом.

Наконец он очнулся от тревожного раздумья, поднялся и взволнованно зашагал по комнате.

— Эжени, Теофиль! — воскликнул он, схватив нас обоих за руки и пристально глядя нам в глаза.— Вы не смеетесь надо мной? Это решающая минута в моей жизни; в ваших руках моя гибель или спасение! Я хочу знать, смешон я или низок? Я предпочел бы быть смешным, даю вам честное слово!

— Надеюсь,— с презрением ответила Эжени.

— Эжени,— сказал я своей гордой подруге,— умоляю вас, будьте мягки и снисходительны к Орасу. Он достоин сожаления, потому что очень виноват. Вы поддались благородному порыву и бросили Орасу тяжкий упрек. Но так не врачуют душевные недуги. Предоставьте мне поговорить с ним и доверьтесь тому чувству уважения, любви и восхищения, которые я питаю к нашим отсутствующим друзьям.

— Уважение, восхищение,— возразил Орас,— только и всего?.. Этого мало. Не придумаете ли вы еще какую-нибудь хвалу, более достойную великого, божественного Поля Арсена! Я охотно скажу «аминь» в ответ на ваши славословия, но не раньше, чем вы мне представите неоспоримые доказательства того, что я действительно отец, единственный отец этого ребенка, которого они хотят мне навязать.

— У них совершенно иные намерения,— сказал я с холодной суровостью.— Они хотят только одного: чтобы вы и не помышляли о своем сыне. Вам никогда не представляли его как сына, никогда не говорили о нем; а если вы вздумаете когда-нибудь потребовать ребенка себе, они сумеют оградить его от этого запоздалого и незаконного покровительства, ибо закон не дает вам на него никаких прав. Так не оскорбляйте же благородство и преданность, которых не можете понять. Это унизит вас в чужих глазах и в ваших собственных, когда с них снадет пелена. Впрочем, в эту решающую минуту, как вы справедливо выразились, дело заключается именно в том, чтобы вы хоть на миг прозрели. Вы должны одержать победу над недостойными вас чувствами и искренне раскаяться. Вы должны уйти отсюда, преисполненный уважения к матери своего сына и благодарности к его приемному отцу, запомните это! Вы должны честно признаться, что вели себя как мальчишка, как безумец, если не хотите, чтобы я навсегда отказал вам в своей дружбе и расположении.

— Великолепно! — ответил Орас, все еще пытаясь бороться против моего приговора.— Я должен еще приносить извинения за то, что меня объявили отцом ребенка, о котором я впервые слышу и которого почему-то приписывают мне! Какой же искус должен я пройти, чтобы доказать свое глубокое сожаление? Какое публич-

ное покаяние должен принести, чтобы искупить свою чудовищную вину?

— Никакого! В эту историю посвящены только четверо, вы будете пятым. Но если вам, избави бог, вздумается предать ее гласности, рассказав все на свой лад, я вынужден буду открыть истину и объявить всем, кто вас знает, что вы солгали. Вы требуете неоспоримых вещественных доказательств! Как будто можно предъявить их! Как будто есть другие доказательства, кроме моральных! Тем самым вы как бы сами признаетесь, что ум ваш слишком туп, а душа слишком мелка, чтобы поверить чему-либо, кроме прямого свидетельства ваших чувств. Если так смотреть на вещи, то любой человек может отвергнуть и оттолкнуть своих детей под тем предлогом, что он не находился все время безотлучно при своей жене.

— Чего же вы от меня требуете? — спросил Орас, едва сдерживая бешенство.— Чтобы все узнали мою тайну? Чтобы я провозгласил добродетель Марты в ущерб собственной чести? Вы предлагаете смертельный поединок между репутацией этой женщины и моей собственной репутацией.

— Нисколько. Не забывайте, Орас, мы не в высшем свете, который вы только что покинули. Соглядатаи из модных салонов не станут вмешиваться в тайны вашей личной жизни, и Марта не нуждается, как некая виконтесса, в спасении своей чести ценой вашего бесчестья. Все события происходили в очень узком и замкнутом кругу. Самое большее четверо, пятеро старых друзей спросят вас о ваших отношениях с Мартой. Если вы ответите им, что она была неверной, недостойной любовницей, этот слух может распространиться дальше и повредить ей, особенно теперь, когда она на виду и создает себе положение. Но вы можете сохранить и свое достоинство, и достоинство Марты — они отнюдь не противостоят друг другу. Если вы не понимаете, как нужно вести себя в данных обстоятельствах, я скажу вам. Вы откажетесь вступать в какие бы то ни было объяснения; никогда не станете упоминать о ребенке, которого Арсен, решившись на святую ложь, признал и объявил своим сыном; вы будете отвечать коротко и твердо, как подобает настоящему мужчине, что относитесь к Марте с глубоким уважением, которого она заслуживает. Поверьте, это заявление послужит к вашей чести даже в глазах тех людей, которые подозревали бы истину. Только это сможет заставить их простить и забыть ваши заблуждения... Если бы вы действовали так же по отношению к другой, пусть даже менее достойной женщине, возможно, вы вернули бы себе уважение судей более придирчивых и требовательных, чем ваши старые друзья.

Этот намек вызвал новое объяснение, и смущенный Орас выслушал мои справедливые упреки в угрюмом молчании. Однако он

долго не соглашался признать свою вину перед Мартой, и в течение двух часов я боролся не против его недоверия — оно было притворно,— а против его упрямства и досады. Но, несмотря на все сопротивление, я увидел, что мне удалось его поколебать и он готов сдать позиции. В девять часов вечера он ушел, сказав, что хочет побродить по городу и подышать воздухом, так как ему необходимо побыть одному и поразмыслить на свободе. «Я вернусь около полуночи,— заявил он,— и откровенно скажу вам, к чему я пришел, оставшись наедине со своей совестью. Мы еще поговорим обо всем, если я не слишком надоел вам».

Он пришел около часу ночи, с оживленным, хотя все еще очень бледным лицом, приветливый и общительный.

— Ну как? — спросил я, пожимая его протянутую руку.

— Вот что! — ответил он.— Я одержал над собой победу; вернее, вы с Мартой меня победили и теперь можете делать со мной все что угодно. Я был безумцем, несчастным человеком, которого терзали мучительные сомнения, но вы — вы люди сильные, спокойные и мудрые. Вы помогли мне распознать истину, когда лик ее заволакивало туманом моего воображения. Послушайте, что со мной произошло; я хочу вам все рассказать. Расставшись с вами, я пошел в Жимназ: мне хотелось увидеть Марту на подмостках, услышать, как она жеманно преподносит зрителям сентиментальные пошлости наших ничтожных буржуазных драм. Да, я хотел увидеть ее такой, чтобы навсегда избавиться от грызущей меня досады, чтобы втайне презирать ее и презирать самого себя за то, что я ее любил! Но вот передо мной появился ангел красоты, и я услышал голос чистый и трогательный, как у мадемуазель Марс. Да, то была красота, то был голос моей Марты. Но насколько облагороженные, одухотворенные работой ума и искусством обольщения! Я говорил вам как-то, что женщина, которая не заботится прежде всего о том, чтобы нравиться, не женщина; а Марта, в ущерб своим природным данным, отличалась раньше каким-то печальным равнодушием, робкой, грустной сдержанностью, от которой тускнело ее очарование. Но, боже великий, какое превращение! Какой блеск красоты, какая изысканность манер, какое изящество дикции, какая уверенность, какая спокойная грация! И при всем том она сохранила тот ясный, целомудренный, кроткий взгляд, который, бывало, сразу усмирял меня, когда я безумствовал от ревности, и повергал меня к ее ногам! Сегодня вечером, уверяю вас, она имела не то что блестящий, но большой и заслуженный успех. Роль была плохонькая, фальшивая, даже смешная. Марта сумела сделать ее правдивой, благородной, захватывающей, не гонясь за внешними эффектами, не прибегая к слишком смелым приемам. Аплодировали не много; в публике не говорили: «Упоительно! Дивно!»; но

каждый, глядя на соседа, повторял: «Как хорошо! До чего же хорошо!» Да, «хорошо» — это подходящее слово. Я узнал в свете, где узнаешь иногда кое-что полезное среди множества дурных вещей, что хорошего труднее достичь, чем прекрасного; или, вернее: хорошее есть самый чистый, самый завершенный вид прекрасного. Ах, право, я был бы очень доволен, если бы все дерзкие кокетки, именуемые светскими женщинами, посмотрели, как эта скромная швея умеет ходить, садиться, держать в руках букет, разговаривать, улыбаться! Да у нее, поверьте, больше достоинства и грации, чем у них всех, вместе взятых! Но где могла Марта всему этому научиться? О, какая могучая, всепроникающая сила — человеческий ум! Право же, я никогда не подозревал, что Марта им одарена в такой степени. Эта мысль открыла мне глаза. «Как мало я ее знал!» — говорил я себе, глядя на нее. Порой она казалась мне недалекой и взбалмошной,— и вдруг она все опровергла и как бы отомстила мне за ошибку, явившись мне во всем блеске совершенства перед всей этой публикой, перед всем Парижем! Ибо скоро весь Париж заговорит о ней, оспаривая друг у друга право ее видеть, ей рукоплескать. Признаюсь, я краснел за самого себя. А как только пьеса, в которой она играла, окончилась, я бросился к артистическому входу, преодолел все преграды, привел в ярость всех привратников и служителей этого своеобразного святилища, разыскал ее уборную, постучался, толкнул дверь и, не дожидаясь, чтобы, согласно обычаю, ко мне вышли для переговоров, осмелился к ней ворваться. Грим она уже стерла, но оставалась в своем прелестном костюме. Волосы, с которых она отколола цветы, рассыпались по ее мраморным плечам и казались длиннее, чернее и роскошнее прежнего. Она была еще прекрасней, чем на сцене! Я бросился к ее ногам и обнял ее колени, повергнув этим в величайший ужас служанку, которая показалась мне слишком уж простоватой для театральной костюмерши. Я знал, что Арсена здесь не встречу; мне было известно, что он кассир и, наверное, занят в конторе в то время, как жена его переодевается. Друзья мои, говорите что хотите: она замужем, она ценит своего мужа, она чтит, она уважает его — все это хорошо и прекрасно! Но любит она одного меня! Да, Марта все еще меня любит, она никогда не переставала меня любить! И, хотя она утверждает обратное, я в этом убедился. Увидев меня, она побледнела как смерть, пошатнулась и упала бы без чувств, если бы я не подхватил ее и не усадил на диван. Минут пять она не могла прийти в себя и не в силах была вымолвить ни слова: когда же наконец заговорила, чтобы рассказать о своем благополучии, покое, счастливом браке,— ее влажные глаза, ее прерывистое дыхание говорили совсем иное. Я с трудом различал слова, слетавшие с ее уст, но всем своим существом я слышал голос ее сердца — он

был громче и красноречивее! Она хотела, чтобы я дождался прихода Арсена: видимо, она боялась возбудить в нем подозрения, принимая меня как бы украдкой. Но господин Арсен достаточно донимал и мучил меня в течение целого года, чтобы я проявил излишнюю щепетильность и не заплатил ему той же монетой хотя бы в течение одного вечера. К тому же я отнюдь не был расположен глядеть на то, как грубая, прозаическая личность назовет на ты, обнимет и уведет женщину, которую я привык считать своей возлюбленной и подругой. Я поторопился уйти, обещав не искать с ней встреч наедине и помимо ее желания. Но еще целый час я не мог в себя прийти от волнения и — если уж говорить все до конца — был влюблен так, как мне давно уже не случалось. Вспомните, Теофиль, сколько раз я твердил вам во время моих безумств, что я никогда никого не любил, кроме Марты, и никогда никого не полюблю — наперекор всем, наперекор ей и самому себе!

Но почему вы хмуритесь? Почему Эжени так недовольно и озабоченно пожимает плечами? Ведь я порядочный человек, а Марта — женщина гордая и чистая. Разумеется, она не пожелает вторично увидеться со мной в отсутствие мужа; а если Арсен разрешит ей это свидание, я сочту своим долгом не обмануть его доверия и охранять его честь. Вам, мне кажется, нечего опасаться, что я нарушу покой этой семьи. О, не беспокойтесь, прошу вас! У меня нет желания похитить у Арсена жену, хотя он и похитил у меня любовницу. Он превосходно вел себя по отношению к ней и моему сыну... если это мой сын! Марта не сказала ни слова о ребенке, я тоже, как вы сами понимаете... Но все же священная неразрывная связь соединяет меня с ней, и, если когда-нибудь я достигну богатства, я не забуду, что у меня есть наследник,— таким образом я сумею вознаградить Арсена за все его заботы; и, поскольку им угодно было лишить меня отцовских прав, я буду проявлять свою отцовскую заботу тайно, подобно доброму гению. Как видите, дорогие мои друзья, я не склонен быть ни таким подлым, ни таким испорченным, как казалось вам утром. Что касается Марты, то я не только не намерен ей вредить или клеветать на нее, но всегда останусь ее поклонником, слугой и другом. Не думаю, чтобы Арсен заподозрил здесь что-нибудь дурное: связав свою судьбу с женщиной, которая принадлежала мне, он должен был предвидеть, что я не смогу умереть для нее, так же как и она для меня. Это человек бесстрастный и рассудительный. Зная меня, он не станет тиранить Марту. А я чувствую, что все сегодняшние события укрепили, утешили и словно воскресили меня. Утром я вел себя нелепо и несносно. Забудьте об этом и отныне смотрите на меня как на прежнего Ораса, которого вы любили и уважали и которого свет не мог

ни испортить, ни развратить. Поймите, что я люблю Марту больше чем когда-либо, я буду любить ее всю жизнь! Поверьте, что она никогда более не испытает ни страха, ни страдания из-за моей любви, а я никогда не дам вам повода упрекать и осуждать меня за отношение к ней.

Пока Орас клялся нам быть добродетельным и благоразумным, перемежая хвастливые заявления самыми противоречивыми планами и надеждами, Марта, вернувшись с мужем домой, рассказала ему, ничего не тая, о своей встрече с Орасом. Услышав это признание, Арсен почувствовал, что кровь стынет в его жилах и сердце разрывается на части. Но он не показал и виду и заранее одобрил все, что сочтет правильным его жена.

— Считаешь ли ты,— спросила она,— что я должна с ним еще увидеться и проявить к нему дружеские чувства?

— Я этого не считаю, Марта,— ответил он,— ты ничем ему не обязана; однако если ты решишь с ним повидаться, ты должна будешь обойтись с ним мягко и по-дружески. Да у тебя, пожалуй, не хватит мужества держаться с ним сурово и холодно; а если бы и хватило, какая в том надобность? Разве только он сам вынудит тебя к этому новыми притязаниями. Но ты говоришь, что их у него нет и не может быть, что он только молит из сострадания к его раскаянию простить его за прошлые грехи... Если ты не находишь ничего предосудительного в его теперешнем отношении к тебе и ничего не опасаешься в будущем...

— Поль,— прервала его Марта,— ты говоришь мне это, а сам весь побледнел, и голос у тебя дрожит. Неужели в глубине души ты встревожен?

Арсен заколебался, но потом ответил:

— Клянусь перед богом, любимая, что если ты сама не встревожена, если ты чувствуешь себя такой же спокойной и счастливой, как сегодня утром, то и я тоже счастлив и спокоен.

— Поль! — вскричала она.— Я люблю тебя больше всего на свете и не стану тебе лгать. Я чувствую себя иначе, чем утром. После того как я увидела человека, причинившего мне столько горя, я еще более счастлива оттого, что принадлежу тебе, но я не была спокойной в его присутствии, и даже сейчас я так взволнована и потрясена, как будто молния упала у моих ног.

Несколько мгновений Арсен хранил молчание; наконец найдя в себе силы заговорить, он попросил Марту ничего не скрывать от него и объяснить, не боясь огорчить его или расстроить, что за волнение она испытывает.

— Я не могу его определить,— отвечала она.— Вот уже целый час я пытаюсь понять, что со мной. Это ощущение гнетущего страха,— такой трепет человек, должно быть, испытывает при виде

орудия перенесенной некогда пытки. Могу только с уверенностью сказать, что это чувство мучительно, даже ужасно; в нем смешалось все — и стыд, и раскаяние в том, что я так долго не умела тебя оценить, сожаление о том, что я столько страдала ради такого ничтожного человека, отвращение и ненависть к самой себе. Словом, я не только не растрогана и не испытываю никакой радости, а напротив — это причиняет мне боль. Все, что говорит этот человек, кажется наигранным, самонадеянным, лживым. Мне жаль его, но какая это горькая, унизительная жалость и для него и для меня! Боюсь, что если ты увидишь его таким, каким он стал,— щеголеватым и грязным, униженным и хвастливым, наивным и развращенным,— ты невольно станешь презирать меня за то, что я предпочла тебе этого комедианта — увы! — еще более жалкого, чем те, с которыми я имела несчастье играть любовные сцены в бельвильском театре.

Марта искренно говорила то, что думала, и нисколько не лицемерила для успокоения своего мужа. Однако она не спала всю ночь. Тревоги, связанные с ее дебютом, усугубляли волнение, вызванное встречей с Орасом. Иногда она забывалась тяжелым сном, и ей мерещилось, будто она снова подпала под его гибельное влияние; и мучительные сцены прошлого представали в сновидении еще более бурными и тягостными, чем были когда-то наяву. Несколько раз она с глухим стоном прижималась к груди Арсена, словно ища у него защиты от врага; а Арсен, успокаивая ее и радуясь этому невольному проявлению доверия и нежности, все же страдал: ему было бы легче, если бы она оказалась просто равнодушна к Орасу.

Наутро, едва встав с постели, Марта взяла ребенка на руки, надеясь, что его ласки отвлекут ее от ночных тревог, как вдруг вошла матушка Олимпия и вручила ей письмо Ораса, над которым он провел всю ночь. Прежде чем отправить письмо, он показал его мне: это был поистине шедевр не только по стилю и красноречию, но также по чувству и мысли. Никогда он не изъяснялся так вдохновенно, никогда не выказывал себя столь благородным, чистым, нежным и великодушным. Невозможно было не поддаться прекрасному порыву его души, не поверить его обещаниям. Он горячо умолял Марту и Поля о прощении, дружбе и доверии. Он честно признавал свою вину; он говорил об Арсене с нескрываемым восхищением: он испрашивал как милости разрешения увидеть сына в их присутствии и вручить его смиренно и мужественно тому, кто его принял и оказался более достоин быть его отцом.

Поль застал жену за чтением этого письма, у нее блестели на глазах слезы.

— Вот, прочти,— сказала она ему,— это от Ораса. Ты видишь, я плачу над его письмом,— и все же я чувствую, что и это только фразы, слова, которые он так хорошо умеет говорить.

Арсен внимательно прочел письмо и, вернув его жене, сказал с глубоким волнением:

— Нет, я верю, что это выражение искреннего чувства и великодушного решения. Письмо прекрасное; и сам он хороший человек, несмотря на все свои пороки. Он лучше, чем можно о нем судить по его поступкам. Так не пишут для собственной забавы. Он плакал, когда писал тебе. Поверь, ты не должна стыдиться того, что считала его сильнее и умнее, чем он есть; у него было стремление ко всем добродетелям, которых он лишен. Ты не вправе отказывать ему в прощении и дружбе, о которых он просит; и если бы я стал тебя отговаривать — это был бы низкий, эгоистический совет.

— Хорошо, я встречусь с ним, но только в твоем присутствии,— ответила Марта.— И все же от одной только мысли, что он увидит Эжена, будет целовать его при нас, назовет его своим сыном, вспомнит, что я мать его ребенка, я глубоко страдаю. Нет, я не хотела бы даже так пробуждать и воскрешать прошлое. Я привыкла считать Эжена твоим сыном и лишь изредка вспоминала, что у него есть отец; а теперь, если он похитит хотя бы одну его ласку, мне будет казаться, что наш мальчик уже не полностью принадлежит нам.

— Мне это еще мучительнее, чем тебе, дорогая,— возразил Арсен.— Но это наш долг, и мы обязаны подчиниться. Всю ночь я размышлял об этом и наконец постиг — ты поймешь меня, Марта,— что нашими желаниями, нашим выбором и нашей волей управляет промысл божий. Ничто не свершается без воли всевышнего, и все им предначертанное должно быть для нас священно. Господу было угодно, чтобы Орас стал отцом, хотя он и отвергал радости и горести семейной жизни. Ему было угодно, чтобы Орас увидел тебя вновь и почувствовал желание обнять своего сына, хотя до сих пор он отказывался от услад и обязанностей отцовства. Ему одному ведомо, какое тайное и могущественное влияние может оказать ребенок на будущее Ораса. Это дитя явится как бы связующей нитью между небом и Орасом, и никто не властен разорвать ее. Посягать на это — кощунство и преступление, лишить же его возможности узнать и полюбить своего сына, если даже он недостаточно узнает и полюбит его,— значило бы обокрасть Ораса, нанести непоправимый ущерб его нравственной сущности. Наш долг не в том, чтобы всецело завладеть нашим *солнышком,* а в том, чтобы и Ораса приобщить к этой радости, потому что богу угодно оказать

ему это благодеяние. Я верю, что один вид нашего малютки тронет его сердце и произведет переворот в его душе.

Марта уступила этим возвышенным религиозным доводам, и ее уважение к Арсену еще более возросло. Встреча состоялась у меня за завтраком. Марта и Арсен принесли ребенка, и Орас, став снова мягким, простодушным и чувствительным, держал себя превосходно и с малышом, и с его матерью, и особенно с Арсеном, чье благородное и спокойное поведение поразило и растрогало его. Это был прекраснейший день в жизни Ораса.

Однако нужно признать, что и этот прекрасный душевный порыв был вызван только тщеславием. Посрамленный и униженный в высшем свете, осуждаемый и бранимый нами, Орас сам наконец почувствовал всю глубину своего падения и бесчестья. Он испытывал страстное желание выйти из этого состояния приниженности и оправдаться перед нами и самим собой в ожидании того дня, когда ему можно будет восстановить свою репутацию в свете. Но он не хотел быть оправданным только наполовину и предстать перед нами добрым и раскаявшимся,— нет, он стремился поразить нас своим величием и вместо жалости вызвать в нас восхищение. И ему удавалось это в течение всего дня. Его нарочито подчеркнутое благородство дало ему случай познать неизведанные им радости удовлетворенного самолюбия, более возвышенные, нежели радости мелочного тщеславия. С этого дня им овладела гордость; его характер, не меняя своей природы, словно приобрел черты какого-то величия, хотя и развивался по тому же пути.

На следующее утро он проснулся слегка утомленный этими новыми переживаниями и душевным переломом, происшедшим, пожалуй, слишком стремительно. Он уже стал думать о Марте несколько больше, чем об Арсене, и о себе самом — несколько больше, чем о своем сыне. Его дружеское отношение к Марте постепенно стало приобретать характер пробуждающейся страсти, к которой примешивались призрачные и преступные надежды. Одним словом, по выражению Эжени, любившей иногда пользоваться научными терминами, его звезда вступила в фазу потускнения. Пора было отправлять Ораса в путь, чтобы лишить его возможности отступить от своих благородных решений. Мне стоило немалого труда и усилий уговорить его готовиться к отъезду. Правда, мысль о путешествии его прельщала, однако ему хотелось иметь в своем распоряжении еще несколько дней. Но тут я проявил необычную твердость; я понимал, что весь его будущий нравственный облик определится тем, как он сейчас поведет себя с Мартой. Я принудил его принять, как бы от меня, ту сумму, что прислал для него Луи де Меран, и назначил день отъезда в Италию, не разрешив ему больше ни с кем видеться.

ГЛАВА XXXIII

Оказавшись обладателем значительной суммы и надеясь вскоре осуществить свою самую заветную мечту, Орас в последние дни совсем опьянел от счастья; неуравновешенное состояние, в каком готовился он к отъезду, меня сильно тревожило. По любому поводу он создавал себе иллюзии, которые могли привести к величайшим неосторожностям или горьким разочарованиям. После недели уныния и глубокой хандры, вызванной его провалом в высшем свете, наступила неделя восторгов, неистовых излияний и безмерной гордости. Все эти волнения подорвали его организм, ослабленный излишествами рассеянной жизни, которую он вел зимой, и я видел, что он во власти лихорадки, на сей раз неприторной, ибо он не жаловался и даже ее не замечал. Опасаясь, как бы он не заболел в пути, я решил проводить его до Лиона, чтобы там дать ему отдохнуть и позаботиться о нем, если первые дни путешествия, не принеся спасительной перемены, только ускорят развитие болезни.

Итак, мы оба готовились к отъезду, и я неотступно следил за каждым его шагом, боясь, как бы он не расстроил наши планы каким-нибудь неожиданным сумасбродством. Меня томило предчувствие неминуемой беды. В мыслях его царил полный беспорядок, во всех действиях проглядывала какая-то необычная озабоченность, в выражении лица было что-то затаенное и странное. Эжени это тоже бросилось в глаза.

— Не знаю, почему,— говорила она,— когда я смотрю на Ораса, мне чудится, что он окончит свои дни в безумии. Все возвышенные чувства, высказанные им за последние дни, кажутся мне следствием тайного разлада во всем его существе; конечно, эти чувства неприторны, однако они ему не свойственны: нельзя в один день отказаться от привычек всей жизни.

Я побранил Эжени за то, что она сомневается в силе божественного воздействия на душу человека, но сам отчасти разделял ее страхи.

Истина заключалась в том, что Орас первый и последний раз в своей жизни утратил власть над собой. Он не отдавал себе отчета в тех неистовых порывах, которые обычно сам в себе вызывал и лелеял. Удар, нанесенный ему светским обществом, оставил в его душе тайное, но жгучее горе. Ему удавалось отвлечься, отогнать его, когда он восторгался собой в новой для него сфере чувств, но кошмар этот продолжал его преследовать, и часто в минуты самых чистых радостей краска сбегала с его лица. Чем сильнее желал он восторжествовать над прошлым, борясь против горьких воспоминаний и возвеличивая себя в собственных глазах мысленными само-

восхвалениями, тем меньше удавалось ему обрести приписываемое себе стоическое спокойствие и презрение к подлым нападкам и глупым сплетням. Чтобы в последний раз определить и обобщить характер Ораса, перед тем как закончить повествование об этом периоде его жизни, я скажу, что у него был великолепно устроенный, развитой и основательный ум, который мог, впрочем, мгновенно помутиться и расстроиться, как прекрасная машина, в которой сломался главный рычаг. Основной пружиной в мозгу Ораса было то свойство, которое Шпурцгейм, создатель новой психологической терминологии, определил как «жажду всеобщего поклонения». Самолюбию Ораса был нанесен жестокий удар в ночь ужина у Прозерпины. Встреча с Мартой за завтраком у меня в доме пролила целительный бальзам на эту рану, но все же смятение и разлад по-прежнему царили в мыслях Ораса.

Утром 25 мая 1833 года (места в дилижансе Лафита и Кайара были заказаны для нас на тот же вечер) Орас, видя, что все приготовления к отъезду закончены, и раздраженный моим постоянным надзором, ускользнул украдкой из дому и направился к Марте. Он не мог совладать с желанием увидеть ее и проститься с ней наедине. Весьма возможно, что мягкое спокойствие, не покинувшее ее, когда она прощалась с ним после общей нашей встречи, вызвало в нем тайное недовольство. Он согласен был ее оставить и отказаться от нее навсегда — из великодушия, но считал, что благородно жертвует своими правами и властью над ее душой. Она же, истолковав его поведение иначе, думала, что, разрешив ему пожать ей руку и поцеловать сына, она как бы даровала ему отпущение грехов. Орас, примирившись с этой ролью, нашел, однако, что он предстал в недостаточно выгодном свете перед Мартой, в которой хотел пробудить сожаления, перед Арсеном, которому хотел внушить признательность, а также перед нами, ибо нас он хотел ослепить. Не думаю, чтобы такая затаенная мысль была у него в день завтрака, но на следующее утро, она, несомненно, появилась; и, увидев, что все мы твердо решили не повторять тяжелую сцену встречи, он остался очень недоволен всеми нами и тем положением, в которое был поставлен. Короче говоря, ему нужно было увезти с собой из Парижа поцелуй и слезы Марты, чтобы с триумфом вступить в Италию в роли великодушного покорителя женских сердец, а не отвергнутого и брошенного любовника. Спешу оговориться, чтобы оправдать его хоть отчасти, что он не отдавал себе отчета в этих мыслях и что не холодный ученик маркиза де Верна отправился к Марте, заранее все рассчитав, а подлинный Орас, снедаемый лихорадкой уязвленного самолюбия, который шел к ней как бы помимо своей воли, ничего не предрешая, с одной надеждой, что ее взгляд, ее слово облегчат его невыносимые страдания.

Не доходя до дома, где жила Марта, неподалеку от театра Жимназ, он зашел в кафе. Усевшись за столик, он нацарапал карандашом несколько бессвязных слов и послал их с каким-то мальчишкой. Посланец вернулся через четверть часа со следующим ответом: «Я рада буду еще раз проститься с вами: мы с Арсеном придем повидаться с вами к отходу дилижанса и возьмем с собой Эжена. Сейчас я не имею ни малейшей возможности вас принять».

Орас горько усмехнулся, скомкал записку, швырнул ее на пол, потом поднял, перечел, спросил подряд две чашки кофе, чтобы прояснить мысли, которые путались все больше, и пришел наконец к заключению: либо она заперлась с новым любовником, и в таком случае она безнравственная женщина; либо, рассуждал он, мужа нет дома, и она не решается остаться со мной наедине,— тогда она восхитительнейшая любовница и самая добродетельная супруга. Если верно второе — я хотел бы последний раз прижать ее к груди; если первое — я должен убедиться в ее бесстыдстве и навсегда вычеркнуть ее из памяти.

Он сунул записку в карман, поправил перед зеркалом волосы и, заметив свою бледность и трясущиеся губы, заказал абсенту. Возбуждающими напитками он надеялся вернуть себе бодрость духа, но они оказали на него обратное действие.

Наконец он переступил порог незнакомого дома, поднялся на пятый этаж, позвонил, притворился, что не слышит решительного отказа Олимпии, слегка оттолкнул ее, пересек две небольшие комнатки и проник в скромную, простую спальню, где застал Марту одну за разучиванием роли; рядом с ней на диване спал ее сын. Увидев Ораса, Марта вскрикнула, и на лице ее отразился испуг. Она поднялась и сурово, хотя и с дрожью в голосе, выразила свое недовольство его неуместной настойчивостью. Но Орас, обливаясь слезами, бросился к ее ногам и принялся описывать свою безумную любовь со всем жаром, на какой было способно его природное красноречие. Марта сначала приняла эти уверения холодно и враждебно; потом она стала пытаться почти евангельскими словами, отмеченными той благочестивой кротостью, которую внушал ей Арсен, вернуть Ораса к проявленным им ранее благородным чувствам.

Но чем больше выказывала она величия и мужества, доброты и ума, тем яснее сознавал Орас, какое сокровище он потерял по собственной вине. Им овладело отчаяние, мрачная неукротимая гордость, которую могла бы породить подлинная любовь. Он отдался этому порыву с присущей ему страстностью. Марта в ужасе хотела уже позвать Олимпию и послать ее в театр за Арсеном, но Орас, выхватив кинжал — настоящий кинжал,— стал грозить, что

убьет себя, если она не согласится выслушать его до конца. И тут он принялся описывать в свойственной ему манере, как ужасна и одинока была его жизнь без нее, как упорно стремился он забыть о ней в объятиях других женщин, какие блестящие победы он одерживал и как ни одна не могла подарить ему хотя бы миг забвения. Он заявил, что едет в Рим, где бросится в Тибр, если не сможет исцелиться от своей любви; и после долгих тирад, столь прекрасных, что ему следовало бы приберечь их для своего издателя, он сделал ей совершенно безумное предложение: стал умолять, чтобы они вместе или бежали, или покончили с собой.

Марта слушала его с тем упорным недоверием, которое дается горьким опытом неудачной любви. Его поведение казалось ей нелепым, желания — преступными и низкими. И все-таки, хотя сердце ее было для него безвозвратно потеряно, она с ужасом почувствовала, что прежняя магнетическая власть этого рокового человека готова возродиться и его таинственное, сатанинское влияние, словно смертельный холод, проникает в ее жилы. Сердце ее сжималось, судорожная дрожь пробегала по рукам, которые Орас силой удерживал в своих; а когда он бросился на колени перед своим спящим сыном, когда, во имя этого невинного существа, соединившего их навеки, наперекор судьбе и людям, стал молить Марту о сострадании, она почувствовала, как в сердце ее просыпается злосчастная нежность к отцу ее ребенка — нежность, смешанная со снисхождением, презрением и жалостью. Орас увидел, как наполнились слезами ее глаза, как затрепетала от рыданий грудь; он крепко сжал ее в объятиях и воскликнул:

— Ты любишь меня! Любишь! Я вижу, я это знаю!

Но она вырвалась с неожиданной силой и, приняв отчаянное решение навсегда избавиться от своего злого гения, сказала:

— Орас, я недостойна вашей страсти, и вы должны поскорее от нее исцелиться. Я не смею пользоваться вашим уважением, зная, что вы платитесь за него своим покоем и достоинством. Я не заслуживаю ваших неумеренных похвал, я обманула вас; ваши подозрения были справедливы: это не ваш ребенок. Это действительно сын Поля Арсена, я была его любовницей и вашей одновременно.

Произнося эту ложь, Марта действовала с исступлением фанатика. Это похоже было на заклинание, изгоняющее демонов именем князя тьмы.

Орас настолько рассвирепел, что даже не усомнился в правдоподобии такого утверждения, не вспомнил о поведении Арсена по отношению к себе. Он, не колеблясь, обвинил этого честного человека в сообщничестве с наглой женщиной и желании навязать ему ребенка. Он забыл, что у него нет ни имени, ни состояния, ни

положения и, следовательно, Арсену не было никакого прока так грубо его обманывать. В этот миг он думал только о раскаянии Марты, разыгранном с целью избавиться от него. Охваченный внезапной яростью, в припадке подлинного безумия он бросился на нее с криком:

— Я убью тебя, бесстыдная тварь, убью твоего сына и себя!

Орас взмахнул кинжалом и, желая, наверное, только испугать Марту, нанес ей, когда она бросилась защищать сына, не смертельный удар, нет,— придется сказать об этом, рискуя закончить довольно пошлой развязкой единственную сколько-нибудь серьезную трагедию, разыгранную Орасом за всю его жизнь,— всего лишь легкую царапину.

При виде крови, обагрившей прекрасную руку Марты, Орас, думая, что убил ее, попытался заколоть и себя. Не знаю, зашло ли бы его отчаяние так далеко, но едва острие кинжала коснулось его жилета, как некий человек, или, вернее, призрак, выросший перед ним из-под земли, бросился к нему, обезоружил и довольно грубо вытолкал на лестницу, крикнув ему вдогонку с язвительным смехом:

— Паясничать, благородный Орас, отправляйтесь в балаган, а виселицы добивайтесь не здесь, а в другом месте!

Орас, пролетев несколько шагов, ударился о стену, схватился за перила и, услышав шаги Арсена, поднимавшегося навстречу, обратился в бегство, опустив голову, надвинув шляпу на глаза и бормоча в ужасе: «Я, очевидно, сошел с ума! Все это сон, наваждение, иначе мне не привиделся бы Ларавиньер,— ведь его убили прошлым летом у монастыря Сен-Мерри, на глазах у Поля Арсена».

Он вскочил в дрожки, велел везти себя во всю прыть, на какую была способна дряхлая кляча, в Бур-ла-Рен, где пересел в первый попавшийся дилижанс. Теперь он спешил покинуть Париж; ему казалось, что всякую минуту его могут задержать по обвинению в убийстве. Я напрасно прождал его весь вечер; внесенный за наши места задаток пропал, но я никак не мог предположить, что он уедет без меня, без вещей и без денег. Когда наш дилижанс ушел, я побежал к Марте и там узнал обо всем, что случилось.

— Он не убил бы меня,— сказала Марта с презрительной улыбкой,— но себя мог слегка поранить, если бы мне на помощь не явился выходец с того света.

— Что вы хотите сказать? — спросил я.— Уж не сошли ли вы тоже с ума, дорогая моя Марта?

— Смотрите, как бы вам не сойти с ума,— ответила она,— а это может случиться от счастья и неожиданности. Ну как, теперь вы достаточно подготовлены? Можно вам сообщить совершенно невероятное и радостное для нас всех событие?

— Довольно предисловий! — сказал Жан, выходя из комнаты Марты.— Я хотел дать ей время подготовить вас к объятиям мертвеца, но сам горю нетерпением обнять своих живых друзей.

Я действительно сжимал в объятиях предводителя бузенготов, который собственной персоной, живой и невредимый, стоял передо мной. После боя его бросили вместе со всеми мертвецами в церковь Сен-Мерри; очнувшись, он почувствовал, что еще не оборвалась нить, которая связывала его с жизнью, и дополз по окровавленным плитам до исповедальни; на следующий день его подобрал и спас один добрый священник. Этот достойный христианин укрыл его у себя и ухаживал за ним в течение долгих месяцев, когда Жан находился между жизнью и смертью. Но священник, человек робкий и боязливый, сильно преувеличил опасность преследований, начатых против жертв шестого июня, и не позволил Жану сообщить о своей судьбе друзьям, уверив его, что нельзя этого сделать, не компрометируя их и не подвергая себя суровости правосудия.

— Я был тогда так слаб душой и телом,— говорил Ларавиньер, рассказывая нам свою историю, что не перечил своему благодетелю; а страх его был так велик, что, не дождавшись даже, пока я хоть немного оправлюсь, он свез меня к своим родителям, добрым овернским крестьянам, и они укрыли меня у себя в горном селении. Надо сказать, за мной ухаживали очень хорошо, но кормили весьма скудно и немало мучили, уговаривая исповедаться; люди они благочестивые, а так как мне было совсем худо, им каждый день казалось, что пришел мой час отдать богу душу. Этот час и правда недалек: не нужно обманываться, друзья мои, хотя меня и поставили на ноги и я достаточно силен, чтобы выгнать господина Ораса Дюмонте. Я основательно покалечен и трещу по всем швам. Две пули в груди да штук двадцать рубцов, которые тоже дают о себе знать. Но мне захотелось умереть под серым небом моего нежно любимого Парижа, на руках у моих друзей и сестры моей Марты. Чего же мне жаловаться — страдать я привык, лечиться не собираюсь, от исповеди избавился и надеюсь спокойно провести те немногие дни, которые мне осталось дожить; ведь в обвинительном акте против патриотов шестого июня не упоминается о моей невзрачной особе. Да, черт возьми! Я не похорошел, милая Марта, и вам нечего бояться, что вы влюбитесь в того Жана, которого знали когда-то таким красавцем, с нежным цветом лица, густой бородой и большими черными глазами!

Жан продолжал шутить весь вечер. Вернулся Арсен, который уже виделся с ним (от Поля скрыли выходку Ораса), и мы поужинали все вместе, радуясь неизменному веселью нашего «призрака». Видя, как он оживлен и счастлив, Марта не могла поверить, что болезнь его неизлечима. Да и сам я, наблюдая, как много сил

и воодушевления осталось еще в этом истощенном теле, не мог отказаться от надежды; но, боясь обмануться, я подверг его долгому и тщательному осмотру. Какова же была моя радость, когда я нашел, что состояние Ларавиньера не так опасно, как он думал, и убедился, что его можно вылечить! В течение нескольких месяцев это стало моей основной заботой, и благодаря здоровому организму и редкому терпению моего пациента он быстро стал поправляться и возвращаться к жизни. Нежные заботы Марты и Арсена немало тому способствовали. Жан еще более сблизился с молодой четой и от души радовался их прекрасному, счастливому союзу. «Видишь ли,— признался он мне однажды,— когда-то я воображал, будто влюблен в Марту, она тогда была несчастна с Орасом; на самом деле это было лишь дружеское чувство. Теперь, когда любовь Арсена возвысила ее и вознаградила за все страдания, я вижу, к великой своей радости, что люблю ее как сестру».

Я не стану рассказывать вам историю Ларавиньера, дальнейшая его жизнь слишком богата событиями, чтобы излагать ее вкратце и наспех. Могу только добавить, что, верный своему неизменному беспредельному героизму, он погиб — на этот раз, увы, действительно погиб — на баррикадах, с оружием в руках, сражаясь рядом с Барбесом, избежав, по крайней мере, ужасов тюрьмы Мон-Сен-Мишель!

Что касается Ораса, то через несколько дней после его внезапного отъезда я получил письмо из Исудена, в котором он признавался во всем, описывал свой стыд и раскаяние и просил прислать его кошелек и чемодан. Я был тронут его печалью и глубоко огорчен жалким положением, в котором он очутился по своей собственной вине, хотя ему так легко было оставить по себе добрую память. У меня еще оставались кое-какие опасения на его счет, и я даже собирался проводить его до самой границы, чтобы усовестить и утешить, но письмо его, весьма разумное, убедило меня, что это лишнее, и я ограничился тем, что послал ему вещи и деньги, пообещав от имени Марты и всех остальных простить, забыть и соблюсти тайну.

Издатель этой истории покорнейше просит читателей дать со своей стороны такое же обещание, тем более что последнее безумство Ораса не повредило счастью Марты, а сам Орас стал превосходным молодым человеком, степенным, усидчивым и безобидным, — правда, немного высокопарным в разговорах и вычурным в своих писаниях, но вполне благоразумным и сдержанным в поведении. Он побывал в Италии, откуда посылал в газеты и журналы довольно примечательные и весьма поэтические путевые записки, на которые никто не обратил внимания, ибо таланты сейчас встречаются повсюду. Он служил воспитателем у богатого неаполитан-

ского вельможи, но, подозреваю, ему пришлось уйти, не доведя своих учеников даже до четвертого класса, так как он стал ухаживать за их матерью. Затем он разразился напыщенной драмой, которая была освистана в театре Амбигю, сочинил еще три романа о своей любви к Марте и два — о любви к виконтессе, писал довольно умеренные передовые в нескольких оппозиционных газетах. Наконец, увидев, что его успех в литературе не соответствует его таланту и запросам, он мужественно решил закончить юридическое образование; теперь он усердно старается создать себе клиентуру в своей провинции, где, я надеюсь, вскоре станет самым блестящим адвокатом.

МОПРА

Жорж Санд работала над романом с лета 1835 года по весну 1837 года. Первая публикация — в журнале «Ревю де Дё Монд» («La Revue des Deux Mondes») с апреля по июнь 1837 года. В том же году у издателя Боннёра вышло отдельное издание «Мопра» в двух томах. Критические отзывы, появившиеся в периодической печати, отметили в новом романе Жорж Санд логическое продолжение свободолюбивых идей, звучавших в предыдущих произведениях писательницы. Характерно вместе с тем, что буржуазно-либеральная критика стремилась истолковать роман в духе отвлеченных принципов любви, гуманности и сотрудничества классов. Так, в большой статье о «Мопра» критик «Ревю де Пари» Шодэг (в номере от 22 октября 1837 года) назвал роман «великолепной поэмой», в основе которой «разгадка вопроса, стоящего перед нашим веком». Этой «разгадкой», по Шодзэгу, оказывается якобы содержащаяся в романе проповедь примирения и сотрудничества дворянства (Мопра), духовенства (аббат Обер) и народа (Пасьянс).

На русском языке роман впервые увидел свет в журнале «Московский наблюдатель» за 1837 год (тт. 13—14), в переводе И. Проташинского; в 1839 году появилось отдельное издание в «Библиотеке романов, повестей и путешествий, издаваемых Н. Н. Глазуновым». Краткий анонимный отзыв в разделе «Новые книги» журнала «Библиотека для чтения» (1837, т. 37) не пошел дальше более чем вольного пересказа в духе чувствительной любовной истории. В 1841 году В. Г. Белинский опубликовал в «Отечественных записках» (т. 16, № 6) рецензию на новое русское издание «Мопра» («Бернард Мопрат, или Перевоспитанный дикарь»; СПб., 1841), рекомендуя роман как «одно из лучших созданий Жоржа Санда». «Сколько глубоких практических идей о личном человеке, сколько светлых откровений благородной, нежной женственной души! И какая человечность дышит в каждой строке, в каждом

слове этой гениальной женщины!» [1]— восклицал Белинский, утверждая, что рассказ Жорж Санд это «сама простота, сама красота, сам ум, сама поэзия».

Зато царский цензор, докладывая в 1854 году цензурному комитету о новом парижском издании «Мопра», требовал запрещения романа в России, не без основания усмотрев в нем стремление «подчеркнуть... необходимость революции». «Почти все герои романа,— доносил цензор,— преисполнены восхищением к доктринам общественного договора и к пагубным идеям, приведшим к роковой революции 1793 года».

Стр. 25. *Гюстав Папэ* — земляк и друг юности Жорж Санд.

Стр. 28. *Картуш* — прозвище знаменитого своими дерзкими налетами главаря воровской шайки в Париже в начале XVIII в.

Стр. 39. *Роман о сыновьях Эмона.*— Имеется в виду «История о четырех сыновьях Эмона» — популярная французская книга XVIII в., написанная на сюжет старинного рыцарского романа.

Стр. 41. *Янсенизм* — близкое к протестантству оппозиционное течение внутри католической церкви, возникшее во Франции в XVII в.

Стр. 43. *Евсевий* (ок. 264—340 гг.) — христианский церковный деятель и богослов, видный историк церкви.

Сенека (4 г. до н. э.— 65 г. н. э.) — римский писатель и философ-стоик.

Тертуллиан (ок. 160—222 гг.) — христианский богослов, один из «отцов церкви», оказавший влияние на формирование средневековой христианской догматики.

Стр. 44. *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138 гг.) — греческий философ-стоик, проповедовавший господство человека над своими страстями.

Пифагор (VI в. до н. э.) — древнегреческий математик и философ.

Стр. 45. *Друидический камень.*— Огромные камни, сохранившиеся в странах, где жили кельтские народы (Франция, Англия, Ирландия, Дания), предположительно служили друидам — кельтским жрецам — для совершения культовых обрядов.

«Исповедание веры савойского викария» — изложение системы религиозно-этических взглядов Ж.-Ж. Руссо, включенное в его книгу «Эмиль, или О воспитании» (1762).

«Общественный договор» (1762) — трактат Ж.-Ж. Руссо, излагающий его социально-политические воззрения, которые легли в основу идеологии французских мелкобуржуазных революционеров-якобинцев XVIII в. и якобинской «Конституции II года республики» (1793).

Стр. 60. *Волшебница Моргана* — фея из кельтских (бретонских) средневековых сказаний, сестра легендарного короля Артура, персонаж рыцарских романов «Круглого стола».

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V. М—Л., 1954, с. 175.

Ургапда — добрая фея из средневековых рыцарских романов, покровительствующая рыцарям.

Стр. 62. *Женевьева Брабантская* — героиня древней немецкой легенды; ее обвинили в измене супругу, герцогу Брабантскому, и в наказание оставили одну в Арденнском лесу, где она родила сына.

Стр. 85. *Кровь Атридов.*— Атриды (г р е ч. м и ф.) — Агамемнон и Менелай, сыновья героя Атрея. В наказание за преступления Атрея боги обрекли на бедствия весь его род, история которого полна убийств и кровосмешений. Выражение стало нарицательным для обозначения семьи, над которой тяготеет злой рок.

Стр. 96. *Франклин* Бенджамин (1706—1790) — выдающийся американский просветитель, ученый и политический деятель времен войны за независимость (1775—1783), завершившейся образованием государства Северо-Американские Соединенные Штаты.

Стр. 100. *Шекспировский Жак.*— Имеется в виду одно из действующих лиц комедии Шекспира «Как вам это понравится».

Стр. 102. *Тассо* Торквато (1544—1595) — выдающийся итальянский поэт эпохи позднего Возрождения, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Стр. 103. *...песни Морвена... тени Фингала и Комалы.*— В конце XVIII в. получили широкую популярность «Сочинения Оссиана» (1765) — поэмы, написанные шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736—1796) и выданные им за перевод на английский язык будто бы найденных им творений легендарного ирландского барда XIII в. Оссиана, сына Фингала, властителя королевства Морвен. Комала — одна из героинь поэм Оссиана.

Стр. 124. «*Новая Элоиза*» — точнее «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) — сентиментальный роман Ж.-Ж. Руссо, пользовавшийся огромной популярностью во второй половине XVIII в. В основе романа — трагический конфликт между сильным и глубоким естественным чувством аристократки Юлии к плебею-интеллигенту Сен-Пре и сословными предрассудками старорежимного французского общества.

«*Прекрасная пастушка*», *святая Соланж, сложила голову на плахе...*— Имеется в виду сказание о французской девушке Соланж, казненной в IX в. за отказ нарушить обет девственности и стать женой графа. Канонизированная церковью, она считалась покровительницей округа Берри, в котором развертывается действие «Мопра».

Стр. 129. *...гора Синайская, на коей перст божий начертал непреложную заповедь.*— Согласно Библии, Синай — гора, на которой пророк Моисей получил божественное откровение.

Стр. 134. *Кондильяк* Этьен-Бонно (1715—1780) — философ-сенсуалист, один из идеологов французского Просвещения.

Фенелон Франсуа (1651—1715)—французский писатель, педагог и моралист, один из предшественников Просвещения; автор «Приключений Телемака» (1699).

Стр. 134. *Бернарден де Сен-Пьер* Жак-Анри (1737—1814) — французский писатель руссоистского толка, автор идиллического романа «Поль и Виргиния» (1787).

Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ-гуманист и моралист, автор «Опытов» (1580—1588).

Монтескье Шарль-Луи (1689—1755) — политический мыслитель и писатель, один из основоположников французской просветительской мысли XVIII в.

...она была напичкана «Эмилем»... — Этические и педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо, изложенные в его романе «Эмиль, или О воспитании» (1762), пользовались большой популярностью в передовых слоях французского общества XVIII в.

Стр. 144. *...Париж с триумфом встречал Вольтера...* — В 1778 г. прибывшему в Париж восьмидесятичетырехлетнему Вольтеру было устроено триумфальное чествование, ставшее демонстрацией популярности и влияния просветительских идей.

...Франклин забросил семена свободы в самое лоно французского двора. — Бенджамин Франклин был первым политическим представителем США во Франции в 1776—1785 гг., накануне Великой французской революции.

Лафайет уже втайне готовил свой неслыханный поход... — Лафайет Мари-Жозеф (1757—1834) — французский политический деятель, участник буржуазной революции конца XVIII в. В двадцатилетнем возрасте отправился в Северную Америку и сражался в войне за независимость на стороне повстанцев. Получил звание генерала американской армии.

Лига — католическая партия, основанная герцогом Гизом в 1576 г. и игравшая во времена религиозных войн во Франции крайне реакционную политическую роль.

Стр. 145. *Тюрго* Анн-Робер-Жак (1727—1781) — государственный контролер финансов при Людовике XVI. Пытался провести ряд реформ для оздоровления французской экономики. Был свергнут придворной аристократической кликой.

Стр. 147. *...прочитав Монтескье...поучала престарелых судей...* — Имеется в виду труд Монтескье «Дух законов» (1748), где обличается произвол королей и выдвигается идея правового государства с разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Стр. 148. *Мальзерб* Кретьен-Гийом (1721—1794) — министр при Людовике XVI. Разделял взгляды Тюрго, покровительствовал просветителям.

Стр. 149. *Артур Ли* (1740—1792) — американский дипломат, был в составе посольства Франклина при французском дворе.

Стр. 150. *Простак Ричард* — персонаж книги Франклина «Наука простака Ричарда» (1732), в которой с просветительских позиций изложены основы поведения и морали «идеального гражданина».

«*Меропа*» (1743) — просветительская трагедия Вольтера.

Стр. 151. *...сфинкс, побежденный Эдипом.* Согласно древнегреческому мифу, сфинкс бросился в море, после того как Эдип разгадал его загадку.

Стр. 160. *Сэмюел Адамс* (1722—1803) — американский политический деятель, видный участник войны за независимость.

Стр. 164. *Вы же вели себя подобно Альбиону, так не удивляйтесь, что Эдме оказалась в роли Филадельфии.*— Альбион — древнее название Англии. Филадельфия — город в Северной Америке, выдержавший длительную осаду англичан в период войны за независимость.

Стр. 167. *Грин* Натаниель (1741—1786) — один из выдающихся американских военачальников периода войны за независимость.

Гейтс Хорейс (1725—1806) — американский полководец периода войны за независимость. Одержал ряд побед, но после поражения при Камбдене был смещен и заменен генералом Грином.

Корнуоллис Чарльз (1738—1805) — английский генерал, в войне за независимость сражавшийся против Вашингтона.

Арнольдс.— Очевидно, Жорж Санд имеет в виду Бенедикта Арнольда (1745—1801), американского генерала. Отличившись в начале войны за независимость, он впоследствии перешел на сторону англичан.

Стр. 169. *Гиперборейские вулканы.* — Согласно греческим мифам, Гиперборея — блаженная страна на крайнем севере известной грекам Европы.

Эльдорадо — блаженная страна в Америке, полная неслыханных богатств и окруженная кольцом неприступных скал, в которую печально проник Кандид, герой одноименной философской повести Вольтера (1769).

Стр. 170. *...который был... его Орестом.*— Орест и Пилад — герои греческих сказаний, олицетворяющие верность в дружбе.

Стр. 172. *Рошамбо* Жан-Батист (1725—1807) — маршал Франции. Принимал участие в американской войне за независимость.

Стр. 201. *Орден траппистов* — возникший в XVII в. во Франции католический монашеский орден, устав которого требовал крайне сурового образа жизни.

Стр. 249. *...неумолимые, как члены Совета Десяти в Венеции.* Совет Десяти — существовавший в начале XIV в. орган тайного политического надзора и сыска в Венецианской республике, которому фактически принадлежала высшая власть в государстве. Действия Совета Десяти отличались жестокостью и вероломством.

Дунайский крестьянин — персонаж одноименной басни Лафонтена (1621—1695), выступающий перед римским сенатом как обличитель злоупотреблений власть имущих.

Стр. 255. *Замок Жака Кера.*— Жак Кер (ок. 1395—1456) французский купец, нажил огромное состояние торговлей с Востоком, стал кредитором короля Карла VII. Получил дворянство, занимал должность королевского казначея и ряд видных государственных постов. Придвор-

ным добились обвинения его в государственной измене и изгнания из Франции.

Стр. 271. *Дело Каласа.*— В 1762 г. в Тулузе был казнен протестант Жан Калас по ложному обвинению в убийстве своего сына, католика. Вольтер в течение нескольких лет боролся за отмену приговора и добился посмертной реабилитации Каласа. Это был сильный удар по престижу и авторитету католической церкви в предреволюционной Франции.

Стр. 280. *Жирондисты* — политическая партия периода французской революции конца XVIII в., выражавшая интересы торговой и промышленной буржуазии.

Гора (монтаньяры) — революционно-демократическая группировка в Конвенте во время французской революции конца XVIII в.

Стр. 281. *Френология.*— См. прим. к стр. 308.

Лафатер.— См. прим. к стр. 308.

Б. Раскин

ОРАС

Роман «Орас» был закончен в начале 1841 года и был предназначен для журнала «Ревю де Дё Монд». Но после отказа Жорж Санд внести в текст изменения, которых потребовал редактор Бюлоз (см. об этом во вступительной статье к настоящему тому), писательница передала рукопись в журнал «Ревю Эндепандант» («La Revue Indépendante»), основанный ею совместно с Пьером Леру в том же 1841 году. «Орас» увидел свет на страницах этого журнала в 1841 году, а затем вышел отдельным изданием в 1842 году у издателя Поншиера.

В период Июльской монархии и в особенности Второй империи «Орас» не вызвал одобрения во французской буржуазной критике. Такой видный критик, как Сент-Бёв, который до «Ораса», в 1840 году, назвал творчество Жорж Санд «наиболее значительным, наиболее оригинальным и наиболее славным появлением новой индивидуальности в литературе за последние десять лет», попросту «не заметил» нового романа писательницы. В первую книгу своих «Бесед по понедельникам» Сент-Бёв включил статью, посвященную сельским повестям Жорж Санд, которые, по его словам, очаровали его своей свежестью, но тут же предупредил читателей, что некоторое время не следил за вновь выходившими ее книгами. На основании сельских повестей Сент-Бёв с удовлетворением замечает: «Жорж Санд — политик, это ни на чем не основанная басня: мы более чем когда-либо обладаем в лице госпожи Жорж Санд художником сердца, любви, пастушеских нравов».

В книге женщины-критика, выступавшей под именем Эжена де Мирекур, «Современники. Портреты и силуэты XIX века. Жорж Санд» (Париж, 1869; 2-е издание) отношение к творчеству Жорж Санд 40-х и последующих

годов резко отрицательное. С пренебрежением пишет она о том, что Жорж Санд «сотворила массу социальных романов, в которых она остается ниже самой себя». Список этих романов начинается с «Ораса». Эжен де Мирекур не может простить Жорж Санд того, что она «пишет общественное благополучие вне вечных законов религии и семьи».

В России роман «Орас» был опубликован в томах XXIII, XXIV «Отечественных записок» за 1842 год (переводчик не указан). Отдельным изданием вышел в 1883 и 1893 годах в переводе В. Крестовского (псевдоним): Ж о р ж С а н д. Орас. Санктпетербург, типолитография А. Е. Ландау, 1883; Ж о р ж С а н д. Орас. СПб., Суворин, 1893.

Отклики на «Ораса» в России были чрезвычайно многочисленны и интересны.

В. Г. Белинский в письме П. А. Бакунину от 7 ноября 1842 года пишет: «Читали Вы «Ораса» Ж. Санд? Если Вы читали его в «Отечественных записках», по-русски только, жаль. Эта женщина решительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего» (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. XII. М.— Л., 1956, с. 115).

В том же 1842 году Герцен записал в своем Дневнике: «С жадностью пробежал я «Ногасе», великое произведение, вполне художественное и глубокое по значению. Горас — лицо чисто современно нам, жертва века больше нежели организации. Он всегда был ниже сильных страстей, глубоких и непреходящих убеждений, всегда был бы мелок и эгоист. Но в переходное время борения двух миров, растравившее все раны, провозгласившее все права личности, указавши бесконечную мощь и власть, дало эгоизму несравненно блистательную арену, и притом романическую. А потом, скептическое состояние умов, особенно во Франции, развило еще более жажду сильных потрясений за дешевую цену. Таков Горас» (А. И. Г е р ц е н. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 2. М., 1954, с. 222—223).

В большинстве случаев русские писатели, критики и публицисты, говоря о Жорж Санд, связывали ее творчество с эпохой, в которой она жила, подчеркивая прогрессивный характер ее деятельности. Достоевский в «Дневнике писателя» (в июне 1876 г.) пишет об «огромном движении тридцатых годов» во Франции, которое, по его мнению, «проявилось в искусстве — в романе, а главнейше — у Жорж Занда». Жорж Санд он считает одним из тех «передовых умов», которые поняли, что «новые победители мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян)» и что «свобода, равенство и братство» оказались лишь громкими фразами и не более...». Ф. М. Достоевский считает, что место Жорж Санд следует считать в начале этого движения и что «она проповедовала вовсе не об одной только женщине и не изобретала такой свободной женщины. Жорж Занд принадлежит всему движению» (Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Полн. собр. соч., т. 10. СПб., 1895). М. Е. Салтыков-Щедрин писал в работе «За рубежом», что «люди сороковых годов и доселе не могут без умиления вспомнить о Жорж Занде и Викторе Гюго, который, впрочем, вступил на стезю новых идеалов несколько позднее».

Высоко оценивая деятельность Жорж Санд, Салтыков-Щедрин отмечает, что «за нею числятся такие создания, как «Орас» и «Лукреция Флориани», в которых подавляющий реализм идет рука об руку с самой горячей и страстной идейностью» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Полн. собр. соч. и писем, т. 14. М.— Л., 1936, с. 199—201).

Стр. 288. *Шарль Дювернe* (1807—1874) — писатель, друг Жорж Санд.

Нынешние маркизы уже не смешны.— В комедии «Версальский экспромт» Мольер заявил: «Нынче маркиз — самое смешное лицо в комедии» — и в своих произведениях вывел ряд маркизов, достойных осмеяния. Новая эпоха, согласно Жорж Санд, требует сатирического изображения буржуазного общества.

Стр. 294. *...принадлежность к Латинскому кварталу...*— То есть к студенчеству. В Латинском квартале находится парижский университет — Сорбонна и другие высшие учебные заведения.

...смешон на Гентском бульваре...— Итальянский бульвар, место прогулок аристократической публики, издавна считался законодателем моды. Во время Реставрации этот бульвар часто называли Гентским, в память пребывания Людовика XVIII в Генте во время «Ста дней» (вторичного правления Наполеона в 1815 г.).

Одеон — театр, расположенный недалеко от Люксембургского сада, часто посещался студенческой молодежью.

Стр. 296. *...возрастной ценз...*— Согласно конституции 1814 г., право быть избранным в палату депутатов имели лица, достигшие сорока лет и обладавшие высоким имущественным цензом. Избирательный закон 1831 года вновь установил высокий ценз, что вызвало недовольство оппозиции.

Стр. 298. *Дантон* Жорж-Жак (1759—1794) — крупный деятель французской революции, глава партии жирондистов, член Комитета общественного спасения. Казнен в период якобинской диктатуры.

Мирабо Оноре-Габриэль (1749—1791) — деятель французской революции. Депутат Генеральных штатов от третьего сословия; член Учредительного собрания. Впоследствии вступил в тайные переговоры с двором.

Питт Уильям Старший (1708—1778) — английский государственный деятель, виг. В 1766—1768 гг.— премьер-министр Англии. *Питт* Уильям Младший (1759—1806) — с 1801 по 1806 г. премьер-министр Англии.

Стр. 299. *...госпожу Дорваль и Локруа в «Антони».*— «Антони» (1831) — драма Александра Дюма (1802—1870); Дорваль (настоящее имя Мари-Амели Делоне; 1798—1849) — французская актриса; Локруа Жозеф-Филипп (1803—1891) — французский актер. Играли в романтических драмах.

Стр. 300. *Кодекс* — первый свод буржуазного гражданского законодательства, введенный в 1804 г. Наполеоном.

Дигесты — главная часть свода римского гражданского права, составленного при императоре Юстиниане в 533 г.

Потье, Дюкоруа, Рогрон — французские юристы, авторы трудов по французскому праву.

Стр. 305. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский художник. Пристрастие его к драматическим сюжетам и к резко контрастирующим тонам создало ему успех в эпоху романтизма.

...страничку из «Павла и Виргинии»... — Имеется в виду роман Бернарден де Сен Пьера «Поль и Виргиния» (см. прим. к стр. 134).

Стр. 306. *«Рене»* (1802) и *«Атала»* (1801) — повести одного из крупнейших французских писателей раннего романтизма, Франсуа-Рене де Шатобриана (1768—1848).

Эжен Делакруа (1798—1863) — французский художник, глава романтической школы в живописи.

Мазаччо (настоящее имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди (1401—1428) — художник итальянского Возрождения.

Стр. 307. *«Мыслитель»* — название, которым обозначают главную скульптурную фигуру в Капелле Медичи работы Микеланджело во Флоренции. Лоренцо Медичи изображен в виде сидящего в глубокой задумчивости воина.

Стр. 308. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский пастор и писатель-богослов, основатель физиогномики — науки, стремящейся обнаружить закономерные связи между характером человека и чертами его лица.

Френология — лжеучение о связи психических свойств человека с формой поверхности его черепа.

Стр. 310. *«Федра»* — трагедия Жана Расина (1639—1699), одного из крупнейших представителей французского классицизма.

Стр. 313. *Барбье* Огюст (1805—1882) — французский поэт. Его первый сборник стихов «Ямбы» (1831) принес ему славу. В нем он противопоставляет трусости и алчности буржуазии героизм парижского народа, сражавшегося на Июльских баррикадах.

Стр. 314. *Музей Дюсомерара* — музей прикладного искусства средних веков и Возрождения, основанный ученым-антикваром Александром Дюсомераром в начале 30-х годов XIX в.

Стр. 319. *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — французский поэт и политический деятель. Сборником стихотворений Ламартина «Поэтические размышления» (1820) открывается история поэзии французского романтизма.

Стр. 320. *Полигимния* — одна из девяти муз греческой мифологии, муза, вдохновлявшая поэтов на героические гимны.

Стр. 323. *Минотавр* (греч. миф.) — чудовище с телом человека и головой быка. Ему приносились кровавые жертвы.

«Манон Леско» — роман аббата Антуана-Франсуа Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско» (1731).

Стр. 325. *...министрами Реставрации...*— Речь идет о процессе, возбужденном под давлением республиканцев против министров свергнутого революцией 1830 г. Карла X.

Стр. 326. *Легитимист.* — После Июльской революции так назывались сторонники монархии Бурбонов.

Стр. 326. «*Деба*» («Журналь де Деба») — газета, занимавшая в годы Июльской монархии либеральную позицию; «*Газетт де Франс*» — орган легитимистов; «*Насьональ*» — орган республиканской оппозиции.

Стр. 328. «*Фигаро*» — сатирическая газета, основанная в 1825 г.

Стр. 329. *Фенелонова Калипсо.*— Фенелон — см. прим. к стр. 134; Калипсо — нимфа, к которой попадает Телемак в книге Фенелона.

Саул — библейский персонаж, отличавшийся богатырским сложением.

Лафайет (см. прим. к стр. 144)—в период Июльской монархии был одним из популярных лидеров либерального движения.

Стр. 340. *Зал Тэтбу* — театральный зал, в котором в 30-е годы XIX в. устраивались собрания сенсимонистов, читались лекции, посвященные вопросам женского равноправия.

Стр. 345. *Вителий* Авл — римский император, царствование которого длилось всего несколько месяцев 69 г. н. э. Его жестокость, развращенность и жадность вызвали к нему всеобщую ненависть.

Стр. 348. *Беатриче.*— Речь идет о Беатриче Ченчи, которая подверглась насилию со стороны своего отца, графа Ченчи (XVI в.).

Стр. 350. *Фаланстер.*— Согласно учению социалиста-утописта Шарля Фурье (1772—1837), идеальные ассоциации людей, или фаланги, должны были жить и работать на добровольных началах в особых помещениях — фаланстерах.

Стр. 354. *Курье* Поль-Луи (1772—1825) — французский писатель, ученый филолог-эллинист и переводчик. Был непримиримым противником режима Реставрации и бичевал его в многочисленных памфлетах, за которые подвергался суровым преследованиям и был посажен в тюрьму. В своих памфлетах, сочетающих простонародную речь с классически ясной литературной прозой, Поль-Луи Курье клеймил полицейский произвол времен Реставрации, цензурный террор, систему парламентских выборов.

Шарль Нодье (1780—1844) — французский писатель, романист и критик старшего поколения романтиков.

Стр. 356. «*Танкред*» (1813) — опера итальянского композитора Россини (1792—1868).

Стр. 359. *Пенелопа* — один из центральных персонажей поэмы Гомера «Одиссея» — верная жена Одиссея.

Стр. 361. *Карлисты.*— Так называли во Франции в 1830 г. сторонников Карла X.

Стр. 364. *...последние «Размышления»...*— В 1830 г. поэт Альфонс де Ламартин, очень популярный в период романтизма, опубликовал сборник

меланхолической лирики «Поэтические и религиозные гармонии», представлявший собой как бы завершение его первого напумевшего поэтического сборника «Поэтические и религиозные размышления» (1820).

Стр. 370. *Дочь Иродиады.*— Согласно христианской легенде, дочь иудейской царицы Иродиады Саломея потребовала у царя Иудеи Ирода в награду за свой танец голову Иоанна Крестителя. Она была преподнесена Саломее на блюде.

Стр. 372. «*Медведь и паша*» — популярный водевиль Скриба (1820).

Стр. 396. ...«*неотразимыми доводами*» *Фигаро.*—То есть деньгами, которыми ловко пользуется Фигаро, герой комедии Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник» (1775).

Стр. 407. *Жанен* Жюль (1804- 1874) — видный французский литературный критик, близкий к романтикам.

Стр. 408. *Порция* - героиня одноименной драмы Альфреда де Мюссе (1810—1857); *Камарго* — героиня его поэмы «Картины из огня».

Стр. 410. *Шоссе д'Антен* — район Парижа, где в XIX в. жила крупная буржуазия.

Стр. 418. *Бабёф* Франсуа-Эмиль (1760 1798) революционный деятель эпохи французской революции и периода Директории. Возглавил утопически-коммунистический «Заговор равных».

Стр. 421. «*Общество друзей народа*» — республиканское политическое общество, основанное в 1830 г.

Карбонарии — участники тайных революционных (республиканских) организаций в Италии и Франции; первые организации карбонариев начали возникать во Франции в 1820—1821 гг.

Кавеньяк Годфруа (1801—1845) — республиканец, участник Июльской революции 1830 г.

Стр. 422. *Плок* Жан-Александр (1807—1878) — французский адвокат, защитник республиканцев на процессах 1832 и 1834 гг.

Стр. 425. «*Энциклопедическое обозрение*» — литературно-научный журнал, выходивший с 1819 по 1833 г. В 1831 г., в связи с переходом под руководство И. Карно и П. Леру, в журнале появляются статьи социально-политического характера.

Принцип ассоциаций.— В учении сенсимонистов большую роль играл принцип ассоциаций трудящихся при строго централизованной системе производства.

Апостолы.— То есть руководители сенсимонистов.

Стр. 427. *Ламенне* Фелисите-Робер (1782—1854) — французский философ, богослов, общественный деятель, один из создателей учения «христианского социализма». «Будущее» — газета, издававшаяся Ламенне в 1830 1832 гг.

Стр. 429. *Каррель, Арago, Марраст* и др.— политические деятели-демократы. В период Июльской монархии находились в оппозиции к режиму Луи-Филиппа.

Стр. 435. *...Бокаж в роли Буридана...*— Имеется в виду актер Бокаж, игравший роль капитана Буридана в драме Александра Дюма «Нельская башня» (1832).

Стр. 438. *...Меркурий этого Юпитера, обернувшегося дождем из полновесных су...*— Меркурий — посланец богов. Юпитер (Зевс), чтобы проникнуть в покои красавицы Данаи, обернулся золотым дождем (а н т и ч. м и ф.).

Стр. 440. *Гревская площадь* — площадь в Париже, на которой совершались казни.

Мон-Сен-Мишель — монастырь, превращенный в тюрьму, на острове у берегов Нормандии.

Стр. 448. «*Эмиль*». — См. прим. к стр. 45.

Стр. 459. *Сеид* — приверженец, преданный человек. Название происходит от имени Сеида, раба Мухаммеда (Магомета). Образ Сеида есть в трагедии Вольтера «Магомет».

Стр. 462. *Герцогиня Беррийская* (1798—1870) — вдова сына Карла X, герцога Беррийского, матв претендента на французский престол графа Шамбора.

Стр. 476. *Лозен, Креки* — французские вельможи XVII—XVIII вв.

Сен-Симон Луи (1675—1755) — герцог, один из вельмож при дворе Людовика XIV, автор «Мемуаров».

Стр. 485. *5 июля 1832 года*—день, когда было поднято республиканское восстание, в котором приняли участие многие члены «Общества прав человека» и которое охватило рабочие кварталы Парижа. Местом героического сопротивления республиканцев стали баррикады у ограды монастыря Сен-Мерри.

Фермопилы — горный проход в Греции, где в V в. до н. э. отряд спартанских воинов оказал героическое сопротивление войску персов.

Стр. 499. *Дон-Жуан, изображенный Гофманом... Дон-Жуан Байрона...*— В новелле немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана (1776—1822) «Дон-Жуан» (1813) и в одноименной поэме (1819—1823) Байрона широко использован созданный испанской средневековой легендой образ Дона Хуана — дерзкого нарушителя законов морали и религии.

Стр. 514. *Кальдерон* де ла Барка Педро (1600—1681) — крупнейший испанский драматург XVII в.

Стр. 520. «*Адольф*» (1815) — роман Бенжамена Констана (1767—1830), рисующий иссушенного эгоизмом молодого человека, неспособного к истинной любви.

Стр. 524. *Гретна-Грин* — деревня в Шотландии, получившая в XVIII в. широкую известность благодаря тому, что в ней можно было заключить брак без предварительного оглашения.

Стр. 528. «*Вильгельм Телль*» (1830) — опера Россини.

Стр. 537. *Жимназ* — театр на бульваре Бон-Нувель, открытый в 1820 г. для учебной практики студентов консерватории. Вскоре становится профес-

сиональным театром. Основное место в его репертуаре занимали водевили, в частности водевили Скриба.

Стр. 544. *Мадемуазель Марс* (1779—1847) — выдающаяся французская драматическая актриса.

Стр. 557. *Барбес* Арман (1809—1870) — французский революционер-демократ. Один из организаторов и руководителей тайного общества «Времена года».

Т. Хатисова

СОДЕРЖАНИЕ

И. Лилеева. Два романа Жорж Санд 5
МОПРА. *Перевод Л. Коган и Я. Лесюка* 21
ОРАС. *Перевод Р. Линцер* 285
Примечания *Б. Раскина и Т. Хатисовой* 559

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
ТОМ 107

Жорж Санд

МОПРА. ОРАС

*

Редактор С. Брахман

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитоевская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Т. Кузина и Г. Цветкова

Сдано в набор 4/VI 1973 г. Подписано к печати 22/X 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84 1/16. 36 печ. л. 33,59 усл. печ. л. 37,109+ +1 вкл.+6 нак.=37,833 уч.-изд. л. Тираж 303 000. Заказ № 409
Цена 1 р. 98 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28